Ф. В. Фарраръ

ЖИЗНЬ

Іисуса Христа

Ф. В. Фарраръ

ЖИЗНЬ

Іисуса Христа

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com
Все книги автора
Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Фредерик В. Фаррар

Жизнь Исуса Христа

ПРЕДИСЛОВИЕ

Английские богословы и вообще английская духовная литература так мало известны большинству русских любителей духовного чтения, что я позволю себе предварительно в общих чертах познакомить читателя с личностью и взглядами автора в настоящем его творении, сведения о которых я извлекаю из его предисловия.

Фредерик Фаррар, доктор богословия и ординарный капеллян королевы Великобританской, занимает должность профессора в Мальборугской коллегии и известен многими исследованиями и сочинениями по части Новозаветной истории. После глубокого изучения этого предмета, предпринимая описание жизни Спасителя, он весной 1870 г. отправлялся в Палестину для изучения местностей и, перечитав, как видно, множество записок о путешествиях, посетил все места, освященные местопребыванием Господа во время Его земной жизни. Он был в Иерусалиме, на горе Елеонской, в Вифлееме, у колодца Иаковлева, в долинах Назаретских; объехал кругом дивные берега Галилейского озера, побывал в Тире и Сидоне. Под живым впечатлением священной местности, он в том же 1870 г. написал и издал свою книгу, которая выдержала до 1875 г. в Англии *девять изданий.*

Произведение свое ученый доктор называет произведением *верующего сознательно и безусловно.* Напрасно кто-нибудь стал бы искать в нем новых теорий относительно божественной личности Спасителя или мифического тумана с примесью грез падшего неверия. Оно писано не с прямой и специальной целью нападка на скептиков, возражения против которых автор делает с истинно христианской снисходительностью, в надежде, что такие читатели, прочитав его книгу без явного предубеждения, могут то здесь, то там встретить соображения, достаточно веские и уважительные для разрешения воображаемых затруднений и для ответа на отрицание реалистов. Задуманная автором цель этой книги, пишет он в предисловии, будет достигнута, если она возбудит в душе читателя не неблагородные, но высокие мысли, прибавит света к тому, что само по себе ясно как день, делая счастливого счастливейшим, ободрит труженика, утешит печального, укажет слабому истинный источник силы. Избранный им для книги девиз: Да пребудет непоколебима вера.

Случайно выписавши в прошлом году эту книгу, я был увлечен глубоким изучением предмета, новостью и прямотой взгляда на

некоторые события евангельской истории, меткими, но высказанными без заносчивости возражениями против скептицизма, теплотою чувств и прекрасным описанием местностей, которые я встретил в книге доктора Фаррара, а потому и просил ученого автора дозволить мне перевести его творение, чтобы познакомить с ним русскую публику, и в письме от 11 марта нынешнего года получил дозволение в самых лестных выражениях.

Реферат глубокоуважаемого журнала «Церковный Вестник» (1875 г. № 7) об этой книге, из которого я позволяю себе выписать несколько строк, заключался в следующем. «Автор обнаруживает своем труде весьма основательное знакомство со всеми главнейшими результатами новейших исследований по своему предмету, принадлежащих трудам отечественных и иностранных ученых. Но не одной книжной начитанности, давно уже переставшей удивлять мир, автор обязан несравнимым успехом своего труда. В его обширном, серьезном и талантливом исследовании повсюду отражаются черты самобытного английского духа. Глубокая искренность и нежность религиозного чувства автора в одинаковой степени гарантируют его труд и от фривольной сентиментальности, веющей в книге Ренана, и от филистерской, холодной как лед, черствости Штрауса. Трезвый, ясный, рассудительный взгляд не позволяет автору теряться ни в немецкой неопределенной, туманной общности, ни во французской бессодержательной расплывчивости и многоречивости. Классически художественное изложение, благородная мягкость в суждении об иначе мыслящих сообщают книге автора отпечаток благородно-спокойного исследования, чуждого всякой тривиальности и отталкивающей школьно-полемической задирчивости. Ко всему этому следует присоединить живые и сочные краски живописи, дышащие в мастерских и правдивых очерках автора местностей Палестины, служивших местом действий Евангельских событий. Надобно впрочем сказать, что в описании этих мест в книге автора не встречается тех преувеличений и риторики, которыми изобилует книга Ренана».

Такое высокое понятие о творении д-ра Фаррара, высказанное в официальном журнале сотрудниками его, известными их богословскими познаниями, соединенными со светской ученостью, внушило еще большее усердие к работе, принятой мною на себя с большим удовольствием.

Согласно данного мною высокопочтенному автору обещания, я не прибавил в тексте от себя ничего; пропуски и купюры допущены только невольные. Некоторые из примечаний, понятные и любопытные не для одного ученого меньшинства, я внес в самый текст, а из превосходных лексикологических и других заметок, равно как приложения, — предметов, менее общедоступных и только затрудняющих чтение человека, не посвященного в тайны языкознания, а притом требующих со стороны переводчика особой тщательной и медленной обработки, я составляю особое приложение.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Рождество

В полутора верстах от Вифлеема есть небольшая долина, где, под тенью оливовой рощи, стоит простая, как будто запущенная часовня во имя Ангела-Благовестника пастухам. Глядя на эту местность, св. пророк Михей[1] восклицал: *И ты, Вифлеем Евфрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными, из тебя произойдет мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого происхождение из начала, от дней вечных.* Часовня эта выстроена в поле, где, по описанию св. евангелиста Луки[2], *были пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего, как вдруг предстал им Ангел Господень и слава Господня осияла их.* До их счастливого слуха донеслись звуки великой, радостной вести, что в эту ночь между людьми родился в городе Давидове Спаситель Господь наш Иисус Христос.

Окружавшие колыбель Искупителя были люди невысокого звания; место рождения и ясли, заменявшие колыбель, напоминали о бедности и недостатках. Казалось бы, в эту дивную ночь все небо должно было слиться в один радостный хор: светила на небе, пасущиеся стада на земле, «свет и звук в мраке и тишине» и восторги верующих — составить одну величественную картину, писанную небесными красками. Но в кратком изложении этого события у св. евангелиста мы читаем, что ангельские песни слышаны были только бодрствующими пастухами ничтожной деревушки, а пастухи эти, во время холодной зимней ночи, стерегли стада свои от волков и грабителей в полях, где Руфь, считавшаяся между предками Спасителя, скрепя сердце собирала некогда на чужой жатве оброненные жнецами колосья, — где Давид, младший член многочисленного семейства, пас овец отца своего[3].

И «внезапно», прибавляет единственный благовестник событий этой достопамятной ночи, среди равнодушия народа, не чувствовавшего рождения Избавителя, *явилось с Ангелом*

многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение[4].

Можно было ожидать, что христианское благочестие отметит это место достойным памятником и над этой грубой пастушеской пещерой воздвигнет великолепный храм, украшенный мрамором и мозаикой. Но часовня Ангела-Благовестника пастухам представляет простой склеп, и путешественник, спускаясь вниз по выкрошившимся от времени ступеням, которые веду; из оливовой рощи в эту мрачную впадину, с трудом может уверить себя, что находится в таком святом месте. Однако же эта кажущаяся запущенность имеет свой глубокий смысл. Бедность часовни согласуется с убожеством тружеников, видение которых напоминает.

Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь[5], — сказали друг другу пастухи, когда ангельская песнь перестала оглашать ночное молчание. Путь их шел между освещенных луною садов вифлеемских, вверх по уступам холма, на зеленой вершине которого помещался небольшой городок Вифлеем, а в нем находилась гостиница или постоялый двор, который, конечно, ни наружностью, ни удобствами нисколько не был лучше нынешних караван-сараев. Эти сирийские гостиницы ныне, точно так же, как, вероятно, и прежде, представляют и представляли небольшое одноэтажное здание, сложенное из нетесаного камня и состоящее из четырехугольного загона, где можно спокойно оставлять на ночь скотину, и из выложенной сводом ниши для помещения путешественников, ничем не отделенных от находящегося в загоне скота. Лееван, или мощеный пол ниши, приподнят на фут выше уровня пола загона. Огромный постоялый двор, развалины которого видны в Миниэге, на берегу Галилейского озера, мог иметь большое количество подобных ниш, представлявших собой ряд небольших, невысоких и несообщавшихся одна с другою комнат, без передней стены, так что все посетители могли беспрепятственно видеть друг друга. Мебели там нет. Путешественник, желающий спокойствия, обязан запастись своим ковром, на котором может располагаться по своему усмотрению, т. е. сидеть, поджавши ноги во время еды, или лечь, если хочет спать. Там принято за правило, что всякий заботится о себе сам: сам запасается пищей; сам хлопочет о своем скоте; сам приносит воду из соседнего источника. Никто не ожидай и не ищи

постороннего внимания или предупредительности; за то и оплачивается это убежище, безопасность и та часть пола, на которой кто лежал, самой ничтожной суммою. Но если кому доведется запоздать в пути и прийти в гостиницу, когда все лееваны уже заняты, то ему предстоит немалый труд устроить самому по возможности опрятное и приличное помещение для себя и семейства в одном из углов грязного пола, который не занят лошадьми, мулами и верблюдами. Помет, спертый воздух, тяжелый запах от множества животных, неприязненное надоеданье парий-собак, сообщество с самыми низкими попрошайками увеличивают тягость положения путешественника, которое не замедлит осуществиться при путешествии по Востоку.

Подобная гостиница, вся или часть ее, где помещаются животные, нередко устраивалась и устраивается в тех бесчисленных пещерах или горных ущельях, которыми так изобилуют известковые скалы этого центрального хребта. Надо думать, что и постоялый двор в небольшом городке Вифлееме, — называемый Евфрафским, в отличие от соименного ему города в стране Завулоновой[6], — был выделан из подобной пещеры. По крайней мере так говорит св. мученик Иустин, живший в начале второго века (103–166 гг. от Р.Х.) и с малолетства знакомый с Палестиной; таково и древнее, установившееся предание восточной и западной церквей, принадлежащее к тем немногочисленным преданиям, которые хотя и не упоминаются у евангелистов, но совершенно основательно принимаются за достоверные. За этой пещерой возвышается церковь и монастырь во имя Рождества Христова, а в соседней пещере проводил тридцать последних лет своей жизни в посте и молитве высокоученый, красноречивый учитель церкви, блаженный Иероним, которому приписывают перевод Библии на латинский язык.

Из своего северного убежища в Назарете, в горной стране Завулоновой, в зимние холода, простой плотник совершал путь с обрученною ему женою, которая была уже на последних днях своей беременности. Это были Иосиф и Мария. Они происходили из дома и племени Давидова, но были крайне бедны. Подобное положение потомков царского рода нисколько не удивительно. Гиллел, великий раввин, будучи тоже потомком Давида, провел большую часть своей жизни в крайней нищете, занимаясь ремеслом. За несколько веков до

пришествия Христа Спасителя мы видим внука знаменитого законодателя Моисея[7] неизвестным бродячим левитом, который нанимается в услужение за две одежды и десять сиклей (около 9 руб.) в год. Зеленая чалма в Египте и Аравии, отличающая потомков Магомета, видится нередко на бродягах и нищих. Но происхождение Марии из царственного дома Давидова не подвержено ни малейшему сомнению[8]. Разность родословной в именах произошла единственно от того, что евангелист Матфей указывает на старшую царскую линию, а евангелист Лука исчисляет природных предков. Потому что у евреев существовало право ужичества, по которому жена бездетно умершего поступала в жены к ближайшему родственнику, например, к родному или двоюродному брату покойного, с тем чтобы он продолжил братнее поколение. Таким образом, в отношении родителей Иосифа: у Рисая был сын Илий, умерший бездетным; жена Илия перешла к Иакову, сыну Авиуда, двоюродному брату покойного, и родила Иосифа: следовательно, Иосиф, будучи природным сыном Иакова, считался по праву ужичества сыном Илииным.

Целью настоящего тягостного путешествия Иосифа и Марии из Назарета в Вифлеем (около 120 верст) была приписка, во время производившейся тогда народной переписи, как членов дома Давидова, к поселению, которое было родиной их великого предка, где он, будучи еще мальчиком, пас стада свои в уединенных горах. Неизвестно, для верного ли обложения народа податями или написания общего положения по управлению предполагалось составить этот перечень подданных Римской империи, часть которой составляла и Иудея; но политические условия тогдашней империи были таковы, что одного простого намека со стороны императора было достаточно для того, чтобы его мысль приведена была в исполнение в самых отдаленных углах его владений. Таким образом надо думать, что эта перепись объявлена первоначально[9] Сентием Сатурнином, начата Публием Сульпицием Квирином, когда он был в первый раз легатом в Сирии, и окончена в течение второго срока службы этого последнего. Из уважения к еврейским предрассудкам, нарушение которых было всегда сигналом к внутренним беспокойствам и возмущениям, перепись совершалась не как у римлян, по месту жительства каждого, но, согласно еврейского обычая, по поселению, к которому семейство первоначально принадлежало[10]. Иудеи крепко держались своих

родословий и памяти давно отживших племенных отношений. Поэтому хотя путешествие было для Иосифа тяжело и неприятно, но сердце его утешалось мыслью, что его высокое происхождение будет признано письменно и законным образом, а с тем вместе и радостными надеждами о скором пришествии Мессии, которым необыкновенные, почти что ему одному известные, обстоятельства придавали еще большее утверждение и большую силу.

Путешествие на Восток дело нелегкое, в особенности когда страна возбуждена политическими неприятностями. Местечко Бироф в 7 1/2 верстах от Вифлеема, а, может быть, и Иерусалим (в 3 верстах) были ночлегом Иосифа и Марии перед остальным последним переходом. Немудрено, что предчувствие близких родов замедлило ход матери, почему другие путешественники успели опередить их, и когда Иосиф с обрученною ему женою, преодолевши трудности крутого ската при колодце Давидовом, добрались до гостиницы Вифлеемской, то не нашли уже ни одного свободного леевана. Легко может статься, что этой гостиницей был дом Кимгама[11] и, следовательно, местность, где тысячу лет тому назад стоял дом Вооза, Иессея и Давида. Перепись собрала в небольшой городок такое количество странников, что в гостинице не оставалось никакого помещения. В необделанной известковой пещере, предназначенной для стойла, среди сена и соломы, разбросанных для корма и подстилки скоту, далеко от постоянного местожительства, между чужими людьми, в холодную зимнюю ночь, — при обстановке, лишенной не только земного величия, но даже обыкновенного удобства, — родился Христос Спаситель мира. А между тем в расстоянии нескольких верст, на плоской вершине крутой скалы, называемой ныне Джебель-Фурендис, или «маленький горный рай», возвышался укрепленный дворец великого Ирода. Великолепные дома его друзей и придворных теснились около подошвы холма. Скромные путешественники, проходившие мимо, слыхали там нередко звуки соблазнительной музыки, оглашавшие его пиршества, и крики диких наемников, оружие которых заставляло народ покоряться деспотической воле его владыки. Но истинный царь Иудейский и Господь вселенной родился не в крепости и не в царских палатах. Носящие роскошную одежду живут во дворцах. Стойло на небольшом постоялом дворе более приличествовало месту рождения Того, Кто пришел объявить миру,

что пред лицом Божиим душа великого монарха не дороже и не выше, чем душа последнего из его рабов, Кто на земле не находил места, где бы преклонить голову, Кто с позорного креста управляет всей вселенной.

По качающемуся над входом фонарю пастухи тотчас узнали гостиницу и, вошедши туда, нашли Младенца, лежащего в яслях, а при нем Иосифа и Марию. Воображение поэтов и живописцев создало много картин, представляющих великие и славные моменты этого события. Ясли-колыбель окружили они лучами и сиянием, до того осветившими всю местность, что присутствовавшие закрыли глаза от блеска. Но все эти измышления исчезают перед действительностью. Такую славу, какую видели пастухи, можно прозревать только разумными очами веры, а в сущности они увидали только галилейского ремесленника не первой молодости, молодую мать, о которой не могли иметь и понятия, что она Матерь-Дева, и находившегося при ней новорожденного Младенца, Которого, за невозможностью получить постороннюю помощь, она укрывала в пеленки своими руками. Свет, который светится во тьме, не есть свет физический, но луч духовный. Рассвет свыше осветил тогда только немногие верные и простые сердца.

Писатели апокрифических евангелий, по своей склонности к хорошей обстановке и неутомимости в изобретениях, говорят, что пастухов было четверо и их звали: Мисаил, Ахиил, Кириак и Стефан; местом же рождения их указано селение Беит-Сагюр. Но это ничем не подтверждается.

Настоящие вполне достоверные евангелия, каждая страница которых дышит простотой, видимым признаком правдивости рассказа, приводят это событие без всяких пояснений и дополнений. Они не нуждаются в избытке мистерий и чудес, которыми южное еврейское воображение старалось обставить приход Мессии; не нуждаются и в апокрифических рассказах относительно новорожденного Младенца. Эта господствующая в них историческая простота составляет очевидный до осязания контраст с подложными евангелиями ранних веков и со всеми придуманными на разные случаи легендами. Если бы наши евангелия не имели самостоятельности, то разделяли ли бы характеристику, принадлежащую всем без исключения изобретениям относительно жизни Спасителя. Для ума непросвещенного

невероятно, чтобы такое поразительное в мировой истории событие совершилось без колебаний н катастроф. И вот, в апокрифическом Евангелии, приписываемом апостолу Иакову, есть целая глава, посвященная описанию: как в благоговейный момент рождения Спасителя полюс небесный прекратил движение; птицы замолчали; кто торговал, перестал торговать; кто что брал, не покидал; кто нес в рот, не доносил; но глаза всех вдруг обратились к небу. Множество других чудес сохранилось в преданиях. Но измышления людские не похожи на дела Божии. В Его начертаниях нет ни поспешности, ни остановки, ни колебания, ни непоследовательности: Он творит все в величественном молчании и совершаемое Им видится в свете, который светит спокойно во тьме. Непроницаемая пучина советов Божиих восстает волною; проливаются ее глубокие источники; разливается спасение в народах, а ничего не видно на поверхности человеческих обществ, ни малейшей волны на море житейском: дела человеческие идут своим порядком.

Сколько времени Мать с Младенцем пробыла в пещере, мы сказать не можем, потому что в Евангелии описания нет, но достоверно то, что в настоящее время народ не остается подолгу в палестинских гостиницах, как не приспособленных для продолжительного житья, и из Евангелия св. Матфея[12] известно, что волхвы посетили Марию уже в доме, а не в гостинице. Более полное описание этого события находим мы в Евангелии святого Луки. Необыкновенная прелесть рассказа, удивительная простота, спокойный тон благородной сдержанности дают много намеков, что сообщенные им известия, представляющие отрывочные заметки о детстве Спасителя, записаны им прямо со слов Пресвятой Девы. Трудно даже представить себе, чтобы эти рассказы происходили из какого-нибудь другого источника, с одной стороны потому, что матери суть природные историки младенческих лет своих детей, с другой и важнее всего потому, что в слоге евангелиста, носящем на себе оттенок женской памяти и женского взгляда, мы встречаем очевидное подтверждение этой догадки. Всякая другая мать, давши волю воображению, из пристрастия к своему ребенку, каждому ничтожному случаю в его жизни придала бы особое, важное значение; но для Марии подобные преувеличенные рассказы показались бы слишком ничтожными, были бы ей совершенно чуждыми. Другие могли всему удивляться, а для

Нее всякое удивление исчезало в одном господствующем откровении, в одном всепоглощающем сознании, что Сын Ее есть Сын Божий. Она не расточала, но *сохраняла все слова сии в сердце своем*. Глубокий смысл и святость этого молчания со стороны Пресвятой Девы служат прямым объяснением того обстоятельства, что единственно только евангелисту Луке вверены были вполне некоторые подробности относительно детства Спасителя.

ГЛАВА II

Сретение Господне

У всех четырех евангелистов находим мы только четыре события, совершившиеся в течение младенческой жизни Спасителя: обрезание, принесение Его в храм, известное у нас под именем Сретения Господня, поклонение волхвов и бегство в Египет. Первые два описаны у св. Луки, два последние у св. Матфея. Но в рассказах их нельзя найти ничего такого, что бы указывало на противоречие их между собою. Если в виду других оснований мы имеем полный повод принимать евангелистов за свидетелей непогрешимой истины, то каждый должен веровать и тому, что, при очевидной отрывочности рассказов, свидетельства евангелистов должны быть принимаемы за дополнения одного к другому. Если бесчестно утверждать о существовании полного согласия там, где его не существует, то настолько же бесчестно отрицать существование этого согласия там, где оно очевидно. Верная и подробная последовательность биографического рассказа не была известна евреям и совершенно чужда их литературе и темпераменту. Рассказы о детстве, описания событий этого возраста, с указанием на будущее величие ребенка, были редкими явлениями во всей древней литературе. Только со времени просвещения людей евангельским светом детство получило истинное свое значение в отношении к целой жизни человека.

Порядок событий, совершившихся до возвращения в Назарет, может быть предметом различных толкований и догадок. Обрезание совершено по прошествии восьми дней, принесение в храм — в сороковой день после рождения[13]; поклонение волхвов происходило,

когда Иисус родился в Вифлееме[14], а бегство в Египет непосредственно за выбытием волхвов из Вифлеема. Предположение, что возвращение из Египта предшествовало принесению Иисуса в храм, не только совершенно невероятно, но и положительно невозможно. Не говоря уже о том, что подобное перемещение событий было бы явным нарушением Моисеева закона, — оно или вносит новое предположение, что принесение в храм было отложено, а это, по-видимому, противоречит с дважды повторенным выражением св. евангелиста Луки (2, 23, 39) или допускает мысль, что для бегства и возвращения из Египта достаточно было сорокадневного путешествия. Но так как нет ни одного предположения без опровержений, которые необходимо проистекают от неизвестности обстоятельств, то примем за известное, что в течение сорока дней святое семейство мирно и спокойно проводило время в местности, которая была зрелищем столь многих важных событий и освящена многочисленными преданиями предков и расы.

Относительно обрезания ни у четырех евангелистов, ни даже в апокрифических евангелиях, исключая Аравийского, в котором видно явное желание не рассказать случай, а ввести обрезание в догмат, подробностей никаких нет. Для христианина обрезание имеет только одну важную сторону. Оно утверждает его в мысли, что действительно Христос пришел *не разорить, но исполнить закон*[15]. *Так подобало Ему исполнить всякую правду*[16]. С ранних пор Он уже начал претерпевать мучения для нашего спасения, для научения нас духовному обрезанию, — обрезанию сердца со всеми его злыми побуждениями. Вифлеем был преддверием Голгофы. Ужена колыбели Младенца напечатлелось кровавое изображение креста Искупителя. В день обрезания Христос принял торжественно имя Иисуса, которое возвещено было в словах ангела: *Иосиф, Сын Давидов! не бойся принять Марию жену твою: ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же Сына и наречет Ему имя Иисус; ибо Он спасет людей своих от грехов их*[17]. Иосия значит спасение; Iеrocуа, Iесуа, Iесу, были формы, в которых оно встречалось, и означали «*чье спасение Иегова*»; Иисус — греческая форма этого имени. Оно очень часто давалось у евреев и пользовалось особым уважением, потому что его носил великий путеводитель, победоносно введший их во владение обетованною землею, и великий первосвященник, который

предводительствовал отрядом изгнанников, возвращавшихся из Вавилона. Но с настоящего времени этому имени предназначалось приобрести, не только между иудеями, но в целом свете, бесконечно великое значение, — более священное, чем название Сына Божия. У евреев слово «Мессия», у греков «Христос» были именами, представлявшими Его звание, как помазанника, пророка, первосвященника. царя; но имя «Иисус» было имя личное, которое Он носил, как сложивший с Себя добровольно божественную славу для того, чтобы между грешными явиться безгрешным человеком.

В сороковой день Пресвятая Дева с Младенцем пришла в храм иерусалимский для исполнения предписанного в законе обряда очищения. Она принесла в храм Господа храма. Назначенная при этих случаях жертва должна была состоять из годового ягненка для всесожжения и молодого голубя или горлицы в жертву за грех. Но Моисеево снисхождение к бедному классу, которому подобная жертва была бы не по силам, дозволяло, в случае недостаточности, приносить двух горлиц или двух голубей[18]. С такою-то скромной жертвой Мария явилась к священнику сама, и в то же время Иисус, как первенец, должен был быть принесен Богу и, согласно закону, искуплен от службы при храме обыкновенною податью, составлявшею пять сиклей (около 4 р. 50 к.[19]). Дальнейших подробностей относительно принесения Иисуса в храм в евангелиях нет, но это посещение замечательно признанием Младенца за Спасителя мира, которое высказано двумя лицами: св. Симеоном и Анною.

Относительно Симеона сказано только, что он был *муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем*[20]. Ему предсказано Духом Святым, что он не умрет, доколе не увидит Христа Господня. Движимый особым вдохновением свыше, он вошел в храм и там, узнавши святого Младенца, взял Его на руки и высказал те превосходные слова, которые больше чем осьмнадцать столетий восхищают сердце всякого христианина. Пророчество, что Младенец будет *Свет к просвещению язычников*[21], а равно неожиданность сложившихся таким образом обстоятельств смутили родителей, от которых старец пророк не скрыл их будущих скорбей. Он предуведомил Мать Деву относительно тех сопротивлений злобы, с которыми предназначено встретиться Ее Божественное Дитя, а также и

о народных опасностях, которые должны возмутить недалекое будущее.

Легенда не оставила в покое и Симеона. По Аравийскому Евангелию[22], Симеон признал Иисуса, потому что увидал Его на руках Матери в виде огненного столба. Константинопольский патриарх Никифор (758–828) рассказывает, что при чтении Священного Писания Симеон случайно остановился и задумался на словах пророка Исаии: *Се Лева во чреве зачнет и родит Сына*[23] и в это время получил от Бога извещение, что не умрет, пока не увидит исполнения сказанного. Попытки отожествления этого Симеона с другими личностями того же имени были очень неудачны. Если бы он был Симеоном, бывшим первосвященником или председателем синедриона, то св. евангелист Лука не назвал бы его просто «человеком в Иерусалиме, которому имя Симеон». Указание в апокрифических евангелиях Иакова (гл. XXVI) и Никодима (гл. XVI), что ему было тогда 113 лет, ни на чем не основано; точно так же как и умышленное будто бы молчание Талмуда о Симеоне, вследствие привязанности этого последнего к христианам, есть только предположение. Он не мог быть одним и тем же лицом с раввином Симеоном, сыном Гиллела и братом Гамалиила, который в это время не должен был быть слишком преклонных лет; тем менее можно его считать за Симеона Справедливого, который жил гораздо позднее, предсказал, как говорят, разрушение Иерусалима и был последней личностью, пережившею синедрион. Необъяснимо только то, что о происхождении Симеона не существует никаких указаний, между тем как о пророчице Анне передано несколько очень замечательных обстоятельств, между которыми то, что она была дочь Фануилова, из колена Асирова, — как достаточно веское доказательство сильного уважения евреев к племенным отношениям.

ГЛАВА III

Поклонение волхвов

Краткий рассказ о посещении волхвов во торой главе Евангелия от Матфея представляет событие особой важности в истории

христианства. Как торжественное до некоторой степени заявление, что Младенец есть ожидаемый Мессия, оно ставит события евангельской истории в ближайшее соприкосновение с верованиями евреев, с древними пророчествами, с политической историей и с новейшей наукой, — представляя при этом новое утверждение нашей вере, явившееся случайно, из неожиданного источника, а потому не возбуждающее ни малейшего сомнения.

Со времени пленения правителями у евреев были то персы (536–332 гг. до Р.Х.), то египто- или сиро-греки (332–142), то князья Асмонеи и наконец, после небольшого промежутка независимости (142 — 63) евреи, вследствие покорения Иерусалима Помпеем в 63 г. до Р.Х. перешли под иго римлян. Правление Ирода (с 37 г. до Р.Х.) носит на себе характер космополитизма. В этом человеке соединен был восток и запад. Едомитянин по отцу Антипатру и измаелит по матери Кипре, он, вследствие положительного заявления синедриона[24], стоившего многим из его членов жизни, что евреи, на основании коренных своих законов[25], не потерпят царем иноверца, принял еврейскую религию. Жизнь его была смесь воззрений, заимствованных у этих двух великих арийских пород. По политическим и правительственным воззрениям он был римлянин, а по образу жизни и наслаждений — истый грек. Но проницательность научила его издавна, что все его спасение заключалось в раболепном поклонении Риму, от которого или, ближе всего, от Антония он получил в управление царство Иудейское. Заручившись титулом великого, погрязший в разврате старик жил во вновь воздвигнутом им дворце на Сионе. Полупомешанный, вследствие прежней невоздержанной жизни, Ирод в настоящее время был сильно поражен и взволнован приходом восточных волхвов, принесших неожиданное известие, что они видели на востоке звезду новорожденного Царя Иудейского и пришли поклониться Ему. Идумейский самозванец, известный вероотступник, ненавистный тиран ненавидевшего его народа, святотатственный грабитель гроба Давидова[26], Ирод, выслушивая эти известия, едва мог воздержаться от ужаса и негодования. Внук того, кто, как многие думали, был простым служителем в храме аскалонском, а в юности участвовал в шайке разбойников, он очень хорошо знал, как ничтожны его исторические претензии на трон, на котором он сидел, благодаря только успешности

и деятельности своих происков. Но насколько он был жесток, настолько же и коварен. Заметив, что весь Иерусалим разделяет его недоумение, Ирод созвал в свой дворец главнейших священников и книжников, чтобы спросить их, где должен родиться Мессия. Получив прямой и положительный ответ, что, согласно пророчеству св. Михея, эта высокая честь предназначена Вифлеему, Ирод задумал и затаил в душе своей злобный и возмутительный замысел: отпуская мудрецов в Вифлеем, он наказал им дать ему знать тотчас, как найдут Младенца, чтобы и он мог пойти поклониться Ему[27].

Прежде продолжения рассказа остановимся на вопросе: кто были эти восточные мудрецы и что известно относительно их таинственной миссии?

Название волхвы или маги, данное им в греческом тексте у св. евангелиста Матфея, имеет слишком широкое, неопределенное значение. Под именем магов разумели сначала касту мидийских и персидских ученых, а потом это имя перенесено на всех так называемых восточных астрологов[28] или звездочетов. Люди этого звания были известны в древности под именем халдеев и посещение их не считалось на востоке делом необыкновенным. Диоген Лаэрций[29] рассказывает, что какой-то сирийский маг предсказал Сократу насильственную смерть; Сенека[30] сообщает, что маги, «которые случайно были в Афинах», посетили гробницу Платона и принесли ему, как божеству, в жертву ладан. Для определения их звания, страны, количества и имен нет ничего основательного, хотя можно указать на множество сбивчивых и разноречивых сведений. Основываясь на пророчестве Исаии: *и прийдут народы к свету твоему и цари к восходящему над тобою сиянию*[31], предание возводит их в царей. Предположение, что они аравитяне, составилось из того, что принесенные ими дары — ливан и смирна — суть произведения Аравии, причем принято и указание в псалме 71, 10. *Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань: Цари Аравии и Савы принесут дары.* Относительно числа их существует тоже двойственное предание. Св. Иоанн Златоуст и блаженный Августин насчитывают их двенадцать человек, а другие отцы церкви утверждают, что их было только трое, по числу принесенных даров. Некоторые называют их даже по именам, указывая родину и описывая наружность каждого: Мельхиор-старец,

убеленный сединою; Каспар — розовый, безбородый юноша; Бальтазар — смуглый молодой человек, в первой поре возмужалости. Из того же предания известно, что Мельхиор был потомок Сима, Каспар — Хама, а Бальтазар — Иафета. Таким образом воображение видело в них представителей трех периодов жизни и трех отделов земного шара. Правда, что подобные вымыслы никогда не могут получить значения исторического, но они важны своим влиянием на превосходные произведения иконописи.

Какие же, спрашивается, были причины, побудившие волхвов к предпринятою этого путешествия?

Тацит, Светоний и Иосиф[32] сообщают, что в это время по всему востоку господствовало, на основании древних пророчеств, напряженное ожидание, что в скором времени восстанет великий царь в Иудее и будет владычествовать над целым миром. Существующее против этого возражение, что римские историки только повторяли восточные сказания, которые заимствовали у Иосифа, не заслуживает опровержения, с одной стороны как ни на чем не основанное предположение, с другой потому, что, допустивши его, мы найдем у других еврейских и языческих современных писателей достаточное количество доказательств, что погруженный в грех и расслабленный мир находился в смутном ожидании своего Искупителя. «Благословенный день недалек от нас», восклицает Симеон, сын Гамалиила. Некоторые из указаний Светония и 47 Виргилиева эклога вместе с третьей книгой прорицаний Сивиллы служат признаком, что ожидание это было высказано у язычников полвеком раньше, чем появились творения Иосифа, и признавались невольными пророчествами язычества.

Стало быть, нет ничего удивительного, что когда явились некоторые особые обстоятельства для возбуждения непосредственного убеждения относительно исполнения этого столь широко распространенного на востоке ожидания, маги направили свой путь к Иерусалиму. А так как из сказанного видно, что событие это само по себе не невозможно и не неправдоподобно, то для подтверждения исторической верности его довольно одного евангельского свидетельства.

Св.евангелист Матфей рассказывает, что поводом ожида ния, возбужденного в волхвах, было видение звезды Мессии на востоке, а

причиной путешествия — желание отыскать Его.

Появление новой необыкновенной звезды, согласно с тогдашними верованиями, астрологи не могли объяснить себе иначе, как рождением великого Царя. Понятие о Мессии они могли получить из пророчества языческого предсказателя Валаама, которое, по силе его выражений и картинности, могло быть известно во всех восточных странах. Почти век спустя ложный Мессия, в царствование Адриана, получил от знаменитого раввина Акибы прозвание «Бар-Кохеба» — сына звезды — и требовал, чтобы на выпускаемых им монетах было изображение звезды. Греки и римляне были убеждены, что рождение и смерть великих мужей сопровождаются появлением или исчезновением небесных тел, и такое верование продолжается даже у средневековых христиан. Блестящая звезда, показавшаяся во времена Тихо-де-Браге и замеченная им 11 ноября 1572 года, должна была, по общераспространенному тогда мнению, означать короткую, но блестящую жизнь какого-нибудь северного воина, поэтому на нее глядели как на провозвестницу судьбы Густава Адольфа. По наблюдениям астрономов 17 декабря 1603 г. произошло соединение Сатурна и Юпитера в знак Рыб. В сентябре 1604 г. между Марсом и Сатурном явилась звезда первой величины, ярко светившая в течение целого года, но постоянно бледневшая и исчезнувшая в 1806 г. По вычислениям Кеплера, проверенным последующими астрономами, то же самое явление должно было иметь место в 744 г. от основания Рима или за три года до Рождества Христова. Такое появление звезды и обстоятельства его сопровождавшие представляют любопытное явление в истории экзегетики и замечательны в другом отношении. Но мы считаем обязанностью предупредить читателя, что справедливость совпадения этого астрономического явления с рассказанным у св. евангелиста Матфея есть чисто предположение и должна быть принимаема с большой осторожностью.

Но так как учение астрологов вполне несостоятельно, объяснение неисповедимых судеб и чудес Божиих естественными явлениями повело бы к отрицанию самого чуда, то все эти указания на учения астрологов и на научные сведения приводятся здесь не как оправдание пророчеств астрологов или объяснение явления путеводительной звезды, а как указание на естественную возможность приготовления волхвов звездою заранее к великому событию. Астрология сама по

себе нелепа; но ничего нет нелепого в том предположении, что волхвы через заблуждение дошли до истины, если были проникнуты духом простоты и истины. Саул, отыскивающий своих ослов и находящий царство, представляет собой тип многих подобных ему искателей, живших в последующее время.

Таким образом волхвы, *выслушав царя, пошли; и се звезда, которую видели они на востоке, шла пред ними и остановилась над местом, где был младенец. Возрадовавшись великою радостию,* они воздали Иисусу в Его простой и убогой «храмине» поклонение, которым не удостоили самозванца едомитянина в его роскошном дворце. *И открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладони смирну*[33]. Мысль древних христиан видела в этих дарах символическое значение: смирна, или мирра, принесена была Ему как человеку; золото — как царю, а ладан — как Богу: невинные фантазии, достойные памяти по их историческому интересу и по тому влиянию, какое они имели на христианскую поэзию и живопись.

ГЛАВА IV

Бегство в Египет и избиение младенцев

Принесши дары, маги предполагали, конечно, возвратиться к Ироду, но предупреждены были Богом во сне, чтобы возвращались домой другой дорогой. Дальнейших следов их существования ни из Священного Писания, ни из истории, ни даже из древних апокрифических сказаний не видно, но посещение их было поводом к чрезвычайным событиям.

Египет, во все века, был единственным местом убежища для всех жителей Палестины, укрывавшихся от ареста, преследования или недовольства. Перебежать за реку Риноколуру, нынешний Эль-Ариш, было можно в три дня, а другим берегом кончались владения Иродовы.

Относительно бегства и его продолжительности Священное Писание[34] не сообщает никаких подробностей, рассказывая единственно только то, что святое семейство бежало из Вифлеема ночью и возвратилось, когда Иосиф был удостоверен новым сновидением, что может явиться снова на родину без всякой опасности для Спасителя. Апокрифические легенды, которые обессмертило искусство итальянцев, передают: как на пути драконы приходили и поклонялись Ему; львы и леопарды воздавали почести; розы иерихонские расцветали под Его стопами; пальмы, по Его повелению, склонялись, чтобы подать Ему финики; разбойники приходили в страх пред Его величием; дни чудесным образом сокращались. Они рассказывают нам далее, как, при Его входе в страну, все идолы земли египетской внезапно пали со своих пьедесталов и лежали ниц, разбитые вдребезги; перечисляют множество сделанных, по слову Его, чудесных исцелений от проказы и беснования. В них читается, что Иосиф с Марией и Младенцем жили два года вне Палестины, в селении Матариеге, в нескольких верстах от Каира, что там был негодный для питья источник, воды которого обращены Иисусом в годные, что наконец там стоял древний сикомор, в тени которого Он отдыхал от жары. Но все это обилие чудес и разнообразие сказаний, вытекающее из пристрастия сочинителей их ко всему сверхъестественному или из произвольного применения ветхозаветных

пророчеств[35], представляет очевидный контраст с достоверной простотой евангельского рассказа. Св. Матфей не говорит ни где проживало святое семейство в Египте, ни когда кончилось его удаление из родины; он указывает только на причины бегства и возвращение, давая глубокое значение словам пророка Осии: *из Египта воззвал Я Сына Моего*[36].

Но вслед за бегством последовало замечательное событие. Так как волхвы не возвращались, то страх и зависть Ирода начали принимать более мрачный и злобный характер. Само собой разумеется, что он не имел ни малейшего намерения восстановить Младенца на престоле Давидовом; может быть, даже не стал бы преследовать Его в хлеве деревенского постоялого двора. Не зная сам, кто был Младенцем, которого намеревались посетить волхвы, но видя в Нем будущего соперника для себя и для своей династии и припоминая только, что Он должен быть грудной младенец (ибо восточные матери обыкновенно кормят грудью детей до двух лет[37]), — он издал варварское повеление избить в Вифлееме и его окрестностях всех младенцев от двух лет и менее. Каким образом исполнен был этот декрет, неизвестно. Дети могли быть умерщвляемы тайно, постепенно и различным образом, или, как существует общее предположение, страшная казнь совершилась в один час. Декреты тиранов, подобных Ироду, поражавшие внезапно народ, приводили его в такое отупение, что мог слышаться только шепот об них, а не громкий говор. Однако ничем нельзя было заглушить отчаянного вопля скорбных матерей, разбойническим образом лишаемых их малюток. Те, которые слышали, могли представить живее, чем пророк в его восторженном видении[38], что сама Рахиль, великая прародительница их племени, гробница которой находилась на краю дороги, в одной миле от Вифлеема, присоединила свой скорбный голос к плачу и рыданию тех матерей, которые неутешно плакали о своих детях.

Для нас такая жестокость непонятна, потому что нравы наши смягчены осьмнадцатью веками христианства и мы не видывали ничего подобного деяниям сумасбродных деспотов древнего мира. Но избиение младенцев, равно как его причины, легко объясняются некоторыми обстоятельствами из истории этой самой эпохи. Детоубийство в те времена было делом не диким вообще для всего

римского правительства. Светоний[39] в жизнеописании Августа приводит обстоятельство, что перед рождением императора распространилось в Риме предсказание о скором рождении царя, который будет царствовать над римским народом. Чтобы предупредить опасность для республики, сенат постановил забросить или подкинуть всех детей мужского пола, которые родятся в этом году. Только те из сенаторов, у которых жены были беременны, подали особые мнения и предупредили возможность издания подобного постановления, в надежде, что пророчество может исполниться на их детях. Св. Евссвий приводит из Гегезиппа, родом еврея, случай, что Дометиан, испугавшись возрастающей силы имени Христова, издал повеление уничтожить всех потомков рода Давидова. Два внука св. Иуды, брата Господня, были тогда в живых и известны под именем деспосинов, или царских детей. Они были захвачены Покатом и другими назорейскими еретиками и представлены лично императору. Но Дометиан, принимая во внимание их невысокое положение, как сельских жителей, и грубые от полевых трудов руки, отпустил их на свободу с чувством жалости и презрения. То же самое утверждает и Юлий Африканский, родившийся в Эммаусе в начале третьего столетия[40].

Но скорее и ближе всего избиение младенцев объясняется характером самого Ирода. Господствующими страстями этого способного, но жестокого правителя были безграничная гордость и мучительная зависть. Вся жизнь его была облита кровью жертв его злобы. Он казнил князей и знать, умертвил десятки членов синедриона; устроил нарочно такую забаву, при которой утонул на его глазах брат жены его, молодой и благородный Аристовул; велел задушить свою жену, красивую княжну из асмонеев, Мариамну, хотя, по-видимому, она была единственным в мире существом, к которому он был сердечно привязан. Сыновья его, Александр, Аристовул и Антипатр, сын дяди Иосифа Антигон, дядя и отец его жены Александр, теща Александра, родственник Кортобан и друзья Досифей и Гадий составляют меньшинство из множества народа, павшего жертвами его кровожадности и опасений. Ни цветущая юность принца Аристовула, ни седая голова князя Гиркана не защитила их против его коварно-ласкательного бешенства. Казнь удушением, казнь сожжением на костре, казнь разрублением пополам, вынужденные невыносимыми пытками признания, наглый и бесчеловечный разврат испестрили

летописи его царствования, которое было так ужасно, что по энергичному слову еврейских послов к императору Августу, «пережившие время Иродовой жизни более жалки, чем пострадавшие»[41]. Преследуемый призраками умерщвленной им жены и сыновей, мучимый угрызениями своей совести и чужой кровью, в последние дни свои он предался черной и безнадежной лютости, истребляя все, что попадало под руку[42]. Таким образом нисколько не удивительно и не невозможно, что дикий варвар, с тонким слоем испорченного и поверхностного образования, действовал так, как описывает св. евангелист Матфей, тем более что достоверность событий подтверждается независимо от того иными источниками. Когда Августу, говорит Макробий[43], рассказали, что между мальчиками менее двух лет, избитыми в Сирии, был убит один из сыновей Ирода, Август ответил: лучше быть Иродовой свиньей, чем его сыном.

Хотя Макробий принадлежит к числу позднейших писателей и ошибается, предполагая, что сын Ирода, Антипатр, умерщвленный отцом одновременно с избиением младенцев в Вифлееме, погиб будто бы вместе с ними, однако же рассказ его, в котором существует хотя несколько смутное воспоминание об этом жестоком побоище, может служить при других удостоверениях одним из доказательств события.

Почему же, спрашивается, Иосиф не рассказывает о таком позорном поступке? Может быть, потому, что все это совершилось втайне, так, что он и не знал. Может быть, потому, что в эти ужасные дни умерщвление детей, вследствие простого подозрения, считалось очень не важным делом в сравнении с прочими Иродовыми поступкам. Может быть, потому, что это пройдено молчанием у Николая Дамасского, который был для Ирода тем же, чем Веллей Патеркуль для Тиверия. Николай Дамасский, писавший в духе тех Иродовых придворных, которые хотели из развратного и кровожадного самозванца сделать своего политического Мессию, превозносил все действия своего покровителя и скрывал или смягчал все его преступления. Но наиболее достоверная причина заключается в том, что Иосиф, в котором, несмотря на все его литературные заслуги, нельзя не видеть вероотступника и льстеца, старался обходить как можно далее события, соприкасающиеся с жизнью Спасителя.

Несмотря однако же на неясность рассказа событий у Иосифа, каждое передаваемое им из Иродовой жизни обстоятельство поддерживает мнение относительно его кровожадности. В это самое время два красноречивых европейских учителя, Иуда и Матфей, подговорили учеников сбросить громадного золотого орла, которого Ирод поместил на воротах храма. Иосиф объясняет это отважное покушение преждевременным распространением слухов об Иродовой смерти, но Ларднер предполагает, что заговорщики осмелились на такой поступок вследствие мессианских надежд, только что возбужденных посещением мудрого человека. Но покушение было открыто; Иуда и Матфей с сорока приверженцами были сожжены заживо. При таких преступлениях, которые читаются у Иосифа на каждой странице, он мог не обратить внимания на тайное избиение младенцев в небольшом поселении. Кровь их была каплей в кровавой реке, в которой Ирод погружен был по горло.

За пять дней до своей смерти, которая, надо думать, последовала вскоре после избиения младенцев, Ирод покушался на самоубийство и дал приказ казнить своего сына Антипатра[44]. Все, что только было ужасного, столпилось вокруг смертного одра тирана. Он умер, заеденный омерзительными насекомыми, гнусная болезнь, которая, по указаниям истории, во все века поражала одних только злодеев, закоснелых в свирепости и ревности преследования. Возле его одра невыносимых мучений, в этом блестящем и роскошном дворце, который он построил для себя под пальмами иерихонскими, пораженный заразой и томимый жаждой, больной наружно и пожираемый медленным внутренним огнем, окруженный заговорщиками-сыновьями и грабителями-рабами, презирающий всех и всеми презираемый, желающий смерти, как избавления от терзаний, и боящийся ее, как перехода к более жестоким ужасам, терзаемый угрызениями совести, но еще не совсем насытившийся кровью, ужас для окружавших его) но еще больший ужас для себя, по своей преступной совести, разложившийся прежде смерти, заедаемый гадинами, видимой карой перста Божия за семьдесят лет последовательных мерзостей, презренный старик, которого люди назвали Великим, лежал в диком безумии, ожидая прихода последнего часа. Когда он узнал, что ни из родных, ни из приближенных нет по нем ни одного плакальщика, то решился заставить их плакать о

других. Он издал повеление, чтобы лучшие в царстве фамилии и главы колен собрались в Иерихон под страхом смертной казни за неисполнение, а сестре своей Саломии тайным образом приказал, собравши их и заперши в гипподром, умертвить всех в минуту его смерти. Таким образом, захлебываясь кровью, замышляя убийства даже во время бреда, душа Ирода сошла в мрачную сень ада.

В пурпуровой одежде, в короне на голове, со скипетром в руке, труп Ирода возложен был на блестящий катафалк и с воинскими почестями, с курением ладана препровожден в его склеп в И родию, недалеко от места рождения Спасителя. Но очарование владычества Иродова рушилось и народ увидал, как обманчив был его мишурный блеск. День Иродовой смерти, как это было предвидено, был настоящим праздником; завещание его родило споры; царство разделено; последний приказ не исполнен; сыновья большей частью умерли в бесславии и ссылке. Проклятие Божие постигло этот дом и, хотя от десяти жен и множества наложниц у него было девять сыновей и пять дочерей, но в течение ста лет от семейства *Гиеродулов*, «священных рабов», как в насмешку и в воспоминание о низких обязанностях при храме аскалонском отца Иродова называли это семейство современники, не осталось ни одного потомка, чтобы увековечить его имя.

Если известие об Иродовой смерти скоро дошло до Иосифа, то жизнь святого семейства в Египте была слишком непродолжительна, для того чтобы повлиять на человеческое развитие там Иисуса. По этой, может быть, причине и св. евангелист Лука проходит об ней молчанием. Первым намерением Иосифа было, вероятно, упрочиться в Вифлееме, городе его предков, освященном многими прекрасными и героическими воспоминаниями. Приятно было бы пожить там трудом, который больше чем где-нибудь в другом месте мог удовлетворить нуждам бедного семейства! Раз побывав в Вифлееме, Иосиф не мог не чувствовать привязанности к маленькому городку, соседнему с Иерусалимом, тем более что он так недавно был местом достопамятных для него событий. Но еще на дороге до него дошла весть, что Архелай сделался правителем в царстве отца своего Ирода[45]. Народ был бы рад, когда бы истребилось в конец все поколение идумеянина, а окончил тем, что предпочел Архелаю Антипу. Но Август, сверх всякого ожидания, взглянул благосклонно на

Архелая, который, хотя был моложе Антипы, но еще при жизни отца объявлен наследником престола. Торопясь заявить себя истинным сыном Ирода, Архелай, прежде утверждения в правах владетеля, утвержденный властью Рима, показал подданным образчик своих будущих качеств, приказав убить в храме 3000 своих граждан. Стало ясно, что при таком управлении надежда на безопасность исчезла, и Иосиф, покорясь только воле Божией, отыскивая только приюта для себя и Марии, возвратился обратно в те местности Галилеи, где, под кровом бедности и неизвестности, святое семейство могло проживать спокойно, хотя и эта часть Палестины состояла под властью другого сына Ирода, одинаково бессовестного, но еще более дерзко-равнодушного Антипы.

ГЛАВА V

Детство Иисуса

Природа Палестины великолепна. Вдоль берега Средиземного моря расстилаются две равнины, Сефельская и приморская, прерываемые только крутыми отрогами гор Кармила. Параллельно с ними тянется длинный ряд холмов по большей части с круглыми или неопределенными очертаниями; на восток от него глубокая низменность Ель-Гор и долина Иорданская, а по ту сторону Иордана рисуется прямая, непрерывная, багряная линия гор Моавитских и Галаадских. Таким образом характер страны с севера к югу представляет четыре параллельных ленты: приморской береговой линии, горной страны, Иорданской долины и заиорданских земель.

Горная страна, занимающая пространство между приморской низменностью и глубокой Иорданской долиной, оканчивается двумя продолжениями длинного ряда холмов, пересекаемого равниной Иезреель, или Есдрелон. Южная масса этих известковых холмов образует Иудею, а северная — Галилею.

Галиль по еврейски означает окружность и было сначала названием провинции, состоящей из двадцати городов в округе Кедес-Нафтали, отданном Соломоном Хираму, в вознаграждение услуг по доставке строевого леса для храма. Взглянувши на нее, Хирам сказал Соломону: *Что это за города, которые ты, брат мой, дал мне?* И назвал их землю *Кавул* (презренная[46]). Таким образом Галилея навсегда осталась страной презренной и это презрение еще более усилилось в сердцах евреев тем, что в последнее время она заселена была смешанным народом и называлась Галилея *языческая*[47]. Там жили не одни финикияне и аравитяне, но, во времена Спасителя, находилось множество греков, язык которых был там общеупотребительным. Холмы, представляющие северную границу долины Иезреель, тянутся по большей части с востока и запада от Иорданской долины к Средиземному морю. Они вместе с их южными скатами принадлежали также к владениям колена Завулонова.

В центре этой цепи холмов есть известковое ущелье, образующее вход в небольшую долину. Миновав ее, путешественник поднимается вверх по крутой и узкой дорожке, окаймленной зеленью и цветами, среди местности, в которой нет ничего колоссального и необыкновенного, но все отрадно и живописно. Под ним с правой стороны постоянно расширяющийся дол, достигающий в самом широком месте около полутора верст и разбитый изгородями из кактусов на небольшие поля и сады, которые после весенних дождей носят на себе отпечаток неописанного спокойствия и сияют богатством зелени. Близ узкой тропинки, не в дальнем расстоянии один от другого, находятся два колодца, и женщины, которые черпают из них воду, покажутся путешественнику гораздо красивее и румянее, быстроглазые мальчики-пастухи счастливее, смелее и веселее, чем где бы то ни было. Долина постепенно обращается в небольшой натуральный амфитеатр холмов, принимаемый некоторыми за кратер остывшего вулкана. А там, далее, цепляясь за расселины холма, возвышающегося футов на пятьсот над долиной, лежат, словно горсть перлов, в изумрудном покале, плоские крыши и узкие улицы восточного города, где видна небольшая церковь, массивное монастырское здание, высокий минарет мечети, светлый и обильный источник, построенные из белого камня дома и рассеянные между ними сады с тенистыми фигами и оливами, с множеством белых и красных цветов на померанцевых и гранатовых деревьях. Весной все это глядит неописанно светло и спокойно. Голуби воркуют на деревьях; птицы порхают туда и сюда с непрерывной деятельностью; светло-синяя сивоворонка, самая обыкновенная, но и самая красивая из птиц Палестины, блещет как живой сапфир, порхая по полям, эмалированным бесчисленными цветами. Этот-то небольшой город и есть Эль-Назираг, Назарет, где Сын Божий, Спаситель человечества, провел около тридцати лет своей земной жизни[48]. Тут был Его дом, Его родное селение. Этот город дал Иисусу название Назарянина, которое в виде насмешки употреблено было евреями в надписи на кресте, но которое Сам Господь не считал для Себя унижением повторить в видении перед своим преследователем Савлом. Вдоль узкой горной тропинки не раз священные стопы Его отпечатлевались на этой земле; потому что тут лежал единственный путь, которым Он в

детстве, юности и зрелых летах должен был следовать в Иерусалим и обратно.

Каков же был образ Его жизни в течение этих тридцати лет? Вопрос, от которого не может удержаться христианин. Но ответ Евангелия ограничивается короткими словами.

Из четырех евангелистов св. Иоанн, любимый ученик Иисуса, и св. Марко, друг апостола Петра, проходят эти тридцать лет молчанием; св. евангелист Матфей посвящает одну главу описанию поклонения волхвов и бегству в Египет, а затем переходит к проповеди Крестителя. Один св. евангелист Лука, после описания событий, сопровождавших Сретение Господне, сохранил для нас бесценное описание детства Спасителя в двух стихах своего Евангелия: *Младенец возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Он преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков*[49]. Само собой разумеется, что это развитие было развитием человеческой природы. Он не пришел в мир одаренным бесконечным знанием, но, как повествует св. Лука, научался премудрости постепенно. Он не был облечен безграничной властью, но испытал слабости и несовершенство детского возраста. Он рос, как растут все дети, но в безгрешной и непорочной красоте, как цветки роз весной или лилия при воде[50].

Однако же молчание об этом евангелий выразительнее всякого красноречия. В этой сдержанности благовести ков мы видим более мудрости и глубоких поучений, чем в том, что они исписали бы множество книге изложением малейших подробностей.

Это их молчание поддерживает в нас безусловное к ним доверие. Они желали передать нам только истину, а не пышный рассказ. По складу наших человеческих понятий, мы никак не можем ожидать, чтобы Иисус Христос тридцать лет своей кратковременной жизни провел в полной неизвестности; чтобы Он жил не только в отвоеванной земле, но в самой презренной ее провинции и притом в пренебрегаемой наиболее других ее долине; чтобы в течение всех этих тридцати лет неизреченная Его светлость, заключенная в человеческое тело, ничем не обозначилась и оставалась никем неузнанною; чтобы в течение этих продолжительных лет не было ни проблеска великих деяний, ни изумительных чудес, ни ангельских хоров, поющих: «аллилуия!», ни симфоний на арфе «для возвещения, откровения и

прославления грядущего Царя». Не этого ожидали мы; не это можно было вообразить себе или выдумать.

Не этого мы ожидали, но так совершилось, а потому и молчат евангелисты. Само противоречие действительности с нашим представлением служит тому доказательством. Если бы в детстве Спасителевом были какие-нибудь выдающиеся события, то конечно нам рассказали бы их евангелисты, как справедливые свидетели. Но они не поддавались увлечениям. Истина, которую они высказывают нам в своем молчании, есть откровение путей Божиих, которые не сходны с путями человеческими, а потому и противоречат с тем, чего мы ожидаем. Эта истина отвергает все, чему мы, вследствие долгого обдумывания, пожелали бы совершиться. Жизнь в неизвестности была вместе и исполнением древних пророчеств: Он должен возрастать как растение, «как корень на сухой земле», потому что Он не искал для себя никакой славы и принял на себя вид раба[51].

Зато стоит только обратиться к апокрифическим евангелиям и мы тотчас же найдем громадную разницу ложных людских идеалов от деяний божественных. Там мы увидим, каким образом, следуя общечеловеческим наклонностям, баснописцы окружают детство Иисуса чудесным сиянием, устраивают предзнаменования, приписывают Ему вымышленные, иногда даже жестокие, ненатуральные, неприятно действующие на ум и сердце деяния. Не служит ли это ясным доказательством, что евангелисты в своих повествованиях руководились Св. Духом, передавая как жил Тот, в ком Бог явился человеком, как бесконечно высока эта благородная евангельская простота перед театральным изображением детского несмысленного всемогущества, которым наполнены первоевангелие Иакова, псевдоматфеево и Аравийское? Они вообразили, что этим почтут Христа, но почтить Его не может никакая выдумка. Кто выдумывает, тот унижает Его, тот примешивает слабое и несовершенное к недоступным и внушающим благоговение путям Божиим. Истинное Евангелие представляет Иисуса простым, красивым, послушным и смиренным отроком. Он повинуется родителям, занимается мирными обязанностями, согласными с требованиями дома и возраста; он любит всех людей, и все люди любят невинное, милое и благородное дитя. Он уже знал, что Бог Его Отец и милость Божия являлась на Нем, как утренняя заря или роса

небесная, и светилась невидимым ореолом вокруг детского, святого чела Его. Невидимо нисшедший Дух Святой с детства не покидал святого отрока. Но какая громадная разница между Ним и Иисусом, описанным в апокрифических евангелиях. Там он злобен, требователен, надменен и мстителен. Некоторые из рассказанных там чудес бесцельны и неосмысленны, как, например, повествование о ношении воды в поле платья, о коротком столе, растянутом Им до желаемой длины, о бросании полотна в красильный чан и вынимании оттуда окрашенным в желаемый цвет, — а некоторые просто чудовищны, например, поражение смертью целой толпы мальчиков, которые Его оскорбляли, последствием чего было народное негодование и страх Марии отпускать Иисуса из дома. Нет! В сокровенной тиши, в молитве, в тихом кругу домашних обязанностей, как Моисей в пустыне, Давид среди пастухов, Илия в Галааде, Иеремия в своем спокойном доме в Анафофе, как Амос в сикоморовых рощах Фекуи, приготовлял себя отрок Иисус для своего великого земного подвига. Внешняя Его жизнь была такова же, как жизнь всех детей Его возраста, положения и месторождения. Он жил, как жили все дети поселян в этом мирном городе, и во многом сходно с тем, как они живут ныне. Кто видел назаретских детей, в их красных кафтанах, в светлых шелковых или суконных туниках, в разноцветных поясах, а по временам в широких белых или голубых жакетках; кто наблюдал идиллическую живописность их забав и слыхал их звонкий смех, когда они бродят вокруг холмов своей родной долины или играют партиями на скате холма, возле красивого и обильного источника, тот может, пожалуй, составить себе некоторое понятие, каким глядел в то время отрок Иисус и чем забавлялся. Путешественник, который, как это сделал я, пошел бы следом за возвращающимися домой детьми, при виде незатейливых домиков, скудной обстановки, обыкновенной, но свежей и здоровой пищи, счастливой, патриархальной, без всяких особых событий жизни, мог бы, пожалуй, составить живое представление обстановки, в которой жил Иисус. Нет ничего проще этих домов, с греющимися на крыше голубями, с виноградными лозами, которые растут под окнами. Циновки или ковры раскинуты по стенам; башмаки или сандалии поставлены при входе; среди потолка висит лампа, составляющая единственное украшение комнаты; в небольшой нише в стене помещен деревянный расписанный яркими

красками сундук, для хранения книг и других дорогих семейных принадлежностей; на довольно широком месте для возлежаний, тянущемся вокруг стен, скатаны цветные одеяла, которые служат постелями, и на том же месте установлена в порядке глиняная посуда для обыденного употребления. Около двери стоит обыкновенно кувшин из красной глины со множеством ветвей, покрытых листьями и воткнутых в горлышко для сохранения прохлады в воде. В обеденное время в центре комнаты помещается расписной деревянный стол, где на большом подносе становится блюдо из риса и говядины и *либбан* или печеные плоды. С этого подноса берет себе всякий, кто сколько хочет. Перед обедом и после служанка или самый младший член семейства поливает на руки обедавших воду из медного кувшина над медным тазом. Так же, должно быть, спокойно, просто, смиренно, без приключений проходила и жизнь святого семейства в Назарете.

Восторженная фантазия средневековых маэстро выработала совершенно противоположные образы. Джиотто и Фра-Анджелико изобразили Марию с Младенцем сидящими ка тронах, которые стоят на мозаичном полу, под голубыми с золотом балдахинами. Они одели их в материи роскошных и нежных цветов и разукрасили золотыми вышивками с осыпью из драгоценных каменьев. Далеко не то было в действительности. Когда Иосиф возвращался в Назарет, ему известно было, что они должны искать безопасности в уединении и что жизнь Пресвятой Девы с Младенцем должка проходить не в свете, гласности и богатстве, а в тайне, труде и бедности.

Но эта бедность была не жалкая и отвратительная нищета, а состояние приятно-простое, довольное, счастливое и всегда радостное. Мария, как и все женщины ее состояния, пряла, готовила пищу, ходила за покупкой плодов и каждый вечер с глиняным кувшином на плече или на голове посещала источник, после того названный источником Пресвятой Девы. Иисус в детском возрасте учился, а в субботние дни ходил в синагогу.

Св.евангелист Матфей указывает нам, что с поселением святого семейства в Назарете исполнилось слово пророческое: *Он Назореем наречется*. Известно, что пророчества, выраженного именно этими словами, в Священном Писании не встречается. Но так как имя Назорея, или Назарянина, возбуждало презрительное отвращение, что видно из слов Нафанаила: *из Назарета может ли быть что доброе?*

[52], то св. евангелист составил это выражение из различных пророчеств, мало понимаемых его соотечественниками. Талмудисты называют Иисуса постоянно *Га-Нозери;* Юлиан, говорят, издал особый декрет, чтобы христиане назывались не иначе как презрительным именем *Галилеяне;* палестинские христиане в это самое время известны были под названием *Нузара* (в единственном числе *Нузрани).*

Разве из Галилеи Христос придет? спрашивал удивленный народ. *Посмотри и увидишь* говорили раввины Никодиму, *что из Галилеи не приходил пророк*[53]. Впрочем, не надо было долго искать и пристально вглядываться для того, чтобы признать эти слова невежественными и ложными, потому что, не говоря о Бараке, освободителе, о судье Елоне, об Анне-пророчице, четыре великих пророка: Иона, Илия, Осия и Наум родились или по крайней мере пророчествовали наибольшее время в пределах Галилеи. Однако же, несмотря на гордое презрение, небольшой город Назарет, расположенный в здоровой и уединенной местности, между пределами великих наций и в центре смешанного населения, был высоко превознесен честью быть обиталищем детства Спасителя, местом спокойного Его *преуспеяния в премудрости, и возрасте, и в любви у Бога и человеков*[54].

ГЛАВА VI

Иисус во храме

Подобно тому, как на луне существует одна полусфера, которой во всей ее полноте не видал ни один глаз человеческий, но в то же самое время лунные качания дают нам возможность составить предположения об ее общем характере и виде, в жизни Спасителя существует длинный промежуток времени, который вполне не рассказан, но видимая его сторона освещена таким ярким лучом, который дает средства распознать общие его свойства.

Когда бывает видима только половина луны, на неосвещенной ее части посредством телескопа можно различить несколько блестящих точек, представляющих вершины настолько высоких гор, что до них достигают лучи солнца. Одно из блестящих и величественных событий в детстве Спасителя указывает нам на неизвестную, при других условиях, часть Его жизни и вполне достаточно для установления правильного на нее взгляда.

Для еврейского мальчика достижение двенадцатилетнего возраста было временем критическим. Двенадцати лет, согласно еврейских преданий, Моисей покинул дом Фараоновой дочери; Самуил слышал голос, который воззвал его к пророческой деятельности; Соломон дал суд, впервые открывший его мудрость, а Иосия, царь израильский, в первый раз задумал свое великое преобразование. К этому году мальчик, какого бы он звания ни был, согласно учения раввинов и по народному обычаю, должен был изучить какое-нибудь ремесло для независимого существования. С этого года он освобождался вполне от власти родительской, которая не могла уже продать его в неволю. С этого года он становился *Бенгат-Тораг*, или сын закона. До того времени он назывался *катон* — малолетний, а с этих пор получал название *гадол*, или взрослый, и с ним обращались как с полноправным. С этих же пор он начинал носить *тефиялин*, или филактерию, (повязку из пергамента со множеством текстов), и должен был быть представлен отцом своим в синагогу в одну из суббот, которая по этому случаю называлась *Саббит тефиллин*. Согласно учения раввинов, *Сефер Гилгулим* (мальчик меньше 12 лет)

проводил только *нефес*—животную жизнь, а с этой поры начинал получать *руах*, или дух, который, если жизнь его будет добродетельна, должен развиться в *нисема* — разумную душу.

Достижение двенадцатилетнего возраста составляло решительную эпоху образования еврейского мальчика. Иуда Бен-Тема говорит о самом себе, что в пять лет он изучал писание, *Микра*, в десять *Мишну*, а в тринадцать *Талмуд*; в осьмнадцать лет он женился, в двадцать приобрел богатство, в тридцать — твердость, а в сорок — мудрость и так далее. При этом рассказе, мы не должны забывать, что еврейский народ и вообще восточные жители развиваются с неизвестной для нас быстротой и что мальчики в эти годы должны отправлять воинскую службу и даже, к великой порче самого поколения, между палестинскими и малоазиатскими евреями считаются способными к женитьбе.

По закону, который требовал ежегодной явки в Иерусалим мужчин на праздники Пасхи, Пятидесятницы и Кущей, женщинам бывать там не полагалось. Но Мария, благочестиво сохраняя правило, рекомендованное Гиллелом, сопутствовала своему мужу каждый год. В настоящее время они захватили с собой и молодого Иисуса, который пришел уже в возраст, возлагавший ответственные отношения к закону. Легко себе вообразить, как сильно должен был повлиять на Него этот перелом совершенно уединенной жизни при вступлении в великий внешний мир, при путешествии через страну, где каждый холм, каждое поселение рождало священное воспоминание, при этом первом посещении храма Своего Отца, — храма, с которым связывалось так много великих событий в истории царей, Его предков, и пророков, Его провозвестников.

Назарет стоит от Иерусалима в 120 верстах и, несмотря на напряженную, ревнивую неприязненность самарян, огромный галилейский караван богомольцев, отправляясь ежегодно на праздник, проходил по прямому направлению наименее опасной дорогой, пролегавшей через владения колен Манассиина и Ефремова. Покидая гирлянду холмов, которые окружают небольшой город на манер лепестков открывающей свою почку розы, караван углублялся через узкий, окаймленный цветами, известковый проход в огромную долину Иезреель. Когда праздник совпадал с концом апреля или началом мая, вся страна представляла веселый, зеленый и приятный вид. Полосы

огромных засеянных хлебом полей по обе стороны дороги и великолепные поляны блистали, как одежда первосвященника, оттенками голубых, пурпуровых и ярко-красных цветов. Пересекши реку Кисон, караван проходил через Сунем, вызывающий воспоминание о пророке Елисее, — царственный Иезреель с чеканными саркофагами, которые остались единственными свидетелями его прошедшего блеска, живописную линию обнаженной и безросной Гелвуи, — песчаный Фанаах с его воспоминаниями о Сисаре и Бараке, — Маггидоне, где в первый раз мог увидать Иисус шлемы, мечи и орлы римских легионов. Затем дорога направлялась к Ен-Ганниму, где, возле источников, среди тенистых и красивых садов, которые до сих пор отличают местность, — караван вероятно делал своей первый ночлег. На следующий день ему приходилось подняться на горы Манассиины, пересечь так называемые ныне Заливные Луга и, обогнувши через фиговые сады и оливовые рощи около Эль-Гива, оставить в правой руке холмы, которые в величественной красоте своей составляют венец гордости Самарии, но которые, по слову пророка, должны считаться «поблекшими цветами». Второй их ночлег должен был быть близ колодца Иакова, в превосходной и плодоносной долине, между Гевалом и Гаризином, невдалеке от древнего Сихема. Путешествие третьего дня начиналось через Силом, Гаваю и Вефиль до Бирофа, а во время хорошей весны, совершивши небольшой переход, путешественники были в виду иерусалимских башен. Оскорбительные крылья римского орла уже осеняли святой город; но высоко над его стенами поднимался, во всем его блеске великий храм, с его позолоченной крышей и мраморной колоннадой. Еще жив был Иерусалим, воспетый царственным поэтом, — Иерусалим, о котором так горько плакали изгнанники при водах Вавилонских, когда снимали свои арфы с ив, чтобы пропеть полную сетования песню, желая припомнить ее, хотя бы правые руки их забыли свое искусство[55]. Кто измерит глубину чувств Иисуса при виде этого достопамятного и незабвенного места совершения стольких и таких великих событий?

Число собиравшихся на празднике с каждой стороны путешественников, можно с достоверностью сказать, представляло десятки тысяч. Их приходило гораздо более, чем мог поместить город, и огромное количество странников, точно так же, как нынче в великие дни Страстной Седмицы и Пасхи, ставило для себя небольшие

суккофы, или шалаши, из циновок и зеленых лоз, — убежище довольно сносное при нужде. Праздник продолжался целую неделю, неделю величайшего счастья и строгого религиозного благоговения, а затем огромный караван с мулами, лошадьми, ослами и верблюдами покидал свои временные помещения и поднимался домой. Дорога оживлялась веселостями и музыкой. Часто под звуки барабанов и тамбуринов певались напутственные песни и умолкали единственно для того, чтобы путешественники могли освежить себя финиками, арбузами, огурцами и водой, забираемой в кожаные бурдюки и глиняные кувшины, при каждом живом источнике, при каждом проточном ручье. Скрытые покрывалами женщины и величественные старики отправлялись по большей части верхом, а сыновья их и братья с длинными посохами в руках предводительствовали караваном, ведя на веревках вьючных животных. Юноши и дети гуляли или играли в стороне, вблизи родителей и по временам, когда уставали, взбирались на лошадь или на мула. Трудно найти хоть какой-нибудь след для утверждения или предположения, чтобы женщины, мальчики и мужчины составляли три отдельных группы каравана: по крайней мере в новейшие времена не существует такого обычая, но во всяком случае среди такого моря человеческих существ легко бывало затеряться.

Апокрифическая легенда говорит, что во время путешествия молодой Иисус, оставив караван, возвратился в святой город. С большей верностью и простотой сообщает св. евангелист Лука[56], что отрок Иисус остался в Иерусалиме, будучи вероятно увлечен порывом новых возвышенных чувствований. По окончании только дня хватились Его родители. До самого вечера, пока не пришли на место ночлега, они не замечали Его отсутствия. Предполагая, что молодой Иисус находился в другой группе друзей или родственников, они провели день беззаботно, но когда настал вечер и все их старательные поиски не открыли Его следа, то им пришлось с грустью удостовериться, что Он вероятно отстал от каравана возвращающихся странников. На следующий же день, в заботе и скорби, вероятно, делая самим себе упрек, что не были достаточно верны в исполнении своей священной обязанности, они возвратились в Иерусалим. Страна была в диком и беспокойном положении. Этнарх Архелай, после десяти лет жестокого и бесчестного царствования, низложен императором и изгнан в Галлию, в Виенну. Римляне присоединили к себе провинцию,

которой они управляли, и введение их системы обложения податями, сделанное Копонием, первым прокуратором, произвело восстание. Мятеж, под предводительством Иуды из Гамалы (в Галилее) и фарисея Садока охватил всю страну, подвергши ее истреблению меча и огня. Такое состояние государства не только затрудняло путешествие, потому что лишало защиты каравана, но возбуждало скорбные мысли: не попался ли Иисус среди диких враждующих национальностей, собравшихся вокруг стен Иерусалима; не испытал ли Он какой-либо опасности или неприятности? При подобном несчастье, поистине, оружие пронзило материнское сердце Пресвятой Девы.

Но ни в этот день, ни в продолжение ночи, ни даже почти до вечера третьего дня они не могли найти Иисуса, пока не встретили в том месте, куда, по странному затмению, обратились уже только при окончании поисков, — в храме, — сидящим посреди учителей, слушающим и спрашивающим их. *Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его*[57].

Последнее выражение, равно как весь текст и все, что мы знаем о характере Иисуса и обстоятельствах Его жизни, показывают, что молодой человек оставался там для познания и научения, а вовсе не для того, как представляет Аравийское Евангелие, чтобы устроить перекрестное испытание между Им и учителями и сделать исчисление сфер и небесных тел с их свойствами и движениями, а еще менее для разъяснения каких-то физических, метафизических, гиперфизических и гипофизических истин! Само собой разумеется, что это одни пустые выдумки аполлинариан, предпочитавших свои еретические и притворно почтительные мечтания простому и полному истины рассказу, в котором св. евангелист указывает нам, что молодой Иисус, как и прочие дети, рос, получая знания постепенно, согласно с развитием человеческой природы. Он оказывал там, говорит св. Евангелие, почтение к старшим, как ревностный и даровитый ученик, энтузиазм которого возбуждал в них удивление, а умение держать себя приобрело их уважение и любовь. Всякий оттенок требовательности или желания выставить себя вперед был совершенно чужд этому характеру, который, с раннего детства, отличался кротким и смиренным сердцем. Между присутствовавшими там могли быть убеленный снегами чуть не столетней жизни великий Гиллел, один из основателей училища, известный под названием Масора, почитаемый

евреями за второго Моисея, — сын его, раввин Симеон, так высоко ценивший молчание, — внук его, утонченный и либеральный Гамалиил, — Шаммай, великий противник Гиллела, имевший громадное количество учеников под названием книжников, — Анан, или Анна, будущий судья Спасителя, — Воиф, тесть Ирода — Баба Бен Бута, которому Ирод выколол глаза, — Нехания Бен Гискана, знаменитый своими победными молитвами, — Иоанн сын Закхеев, предсказавший разрушение храма, — богатый Иосиф из Аримафеи, — робкий, но почтенный Никодим, — молодой Ионафан, написавший знаменитый халдейский парафраз и заслуживший безграничный почет своих современников. Хотя никто из них не мог догадаться, кто был перед ними, но все восхищались и удивлялись при виде умного и благородного во всей ранней красе жизни молодого человека, который, никогда не учившись в раввинских школах, выказывал такую удивительную мудрость, такое глубокое изучение божественных писаний.

Здесь-то, или в знаменитом четырехугольном отделе *Лискат-гаггаризиф,* или в отделе для продаж *Хануиоф,* или в другой какой-нибудь огромной комнате, примыкавшей ко двору язычников и предназначавшейся для поучений, сидел Иисус у ног своих учителей на расписном мозаичном полу, как застали Его Иосиф и Мария. «Исполненные духа почтения к великим современным священникам и религиозным учителям, который был характеристикой простых и набожных галилеян в этом периоде, они поражены были страхом, увидя Иисуса спокойным и радостным в присутствии таких знаменитостей. Много было у них поводов думать, что Он умнее своих учителей и несравненно выше их; но до сих пор они знали Его за молчаливого, кроткого, послушного отрока и, может быть, постоянное соприкосновение с обычными дневными занятиями несколько сгладило в их памяти Его высокое происхождение. Однако же не Иосиф, а Мария одна решилась обратиться к Нему со словами нежного упрека: *Чадо! что Ты сделал с нами? Вот отец Твой и я с великою скорбию искали Тебя?*[58]. На это последовал ответ, трогательный по невинной простоте, проникнутый глубиной сознания и памятный навеки, потому что это были первые переданные нам слова Господа Иисуса: *Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?*

Этот ответ настолько естественный, насколько же и благородный, носит сам в себе печать достоверности. Сочетание мыслей, в нем содержащихся, удивление, смешанное с небольшим неудовольствием, что родители так мало Его поняли, полное сознание собственного достоинства в соединении с полным смирением не могут быть выдуманными. Этот ответ находится в совершенном согласии со всем Его учением, в согласии с изречением к искусителю: *не хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом Божиим*[59], со спокойным ответом ученикам при колодце Самарийском: *Моя пища есть творить волю пославшаго Меня и совершить дело Его*[60]. Мария сказала Ему: «Твой Отец», но в ответе своем Он сознал, что у Него нет отца, кроме Бога. В выражении Его: «разве вы не знали», — Он почтительно напоминает все, что им было известно, а словами «Мне должно» указывал на свое самопожертвование, с которым Он предпримет земное странствование даже, до крестной смерти. *Но они не поняли сказанных Им слов*[61]. Даже этот старец, который был покровителем Его детства, даже Мать, которая знала дивную тайну Его рождения, не поняли глубокого смысла этих изречений. Странная и печальная судьба первого выражения Иисуса, которое Он высказал самым близким, самым дорогим для Него личностям. Странно, но пророчески указывало оно на все остальное время Его жизни. *В мире был и мир произошел чрез Него, и мир Его не познал; пришел к своим и свои Его не приняли*[62]. Хотя сознание происхождения от Бога теперь уже очевидно выяснилось в Его уме, хотя луч славы Его тайного величества видимо осиял Его; однако же с сердечной простотой, сознавая Свою обязанность и святое послушание, Он пошел за отцом и матерью в Назарет и был у них в полном повиновении[63].

ГЛАВА VII

Дом в Назарете

Если относительно жизни Иисуса до двенадцатилетнего возраста нам сообщено только одно событие, рассказанное в предыдущей главе, то относительно последующих осьмнадцати лет осталось единственное изречение у евангелиста Марка[64]:

Не плотник ли Он?

Но довольно и этого выражения, потому что заключающееся в нем глубокое содержание произвело воистину великое и благотворное влияние на судьбу человечества. Оно утешило и осветило состояние бедности, облагородило труд, возвысило общее воззрение человечества на все состояния, указавши, что в каждом из них, отдельно от привходящих обстоятельств, есть своя доля величия и достоинства пред лицом Божиим.

1. В нем слышится, что не только в течение трех лет учения, но в течение всей своей жизни Спаситель был беден. Плотниками в городах палестинских бывали греки, очень искусные ремесленники. Плотник деревенский и, если верить преданию, не совсем искусный, каким был Иосиф, мог занимать очень неважное положение и жить в чересчур умеренном довольстве. Но во все времена существовало преувеличенное желание богатства, преувеличенное удивление к тем, кто им владеет, преувеличенная вера в его влияние на устройство и улучшение чрез него счастья жизни. Вследствие таких заблуждений, заботы, зависть и скупость затопляли и разрушали жизнь человека. Поэтому Иисус добровольно принял на Себя смиренное состояние бедности, — конечно не той ужасающей, возмутительной, забитой нищеты, которая встречается редко и по большей части неисправима, но самый обыкновенный жребий честной бедности, которая, при некотором самоотвержении, может сама восполнить обыденные нужды незатейливой жизни. Идумейская династия, захватившая престол Давида, могла выставлять напоказ позолоченные пороки развратного эллинизма; но Он, сошедший с неба для того, чтобы быть другом и спасителем человечества, а с тем вместе царем вселенной, осветил более чистые, лучшие и простейшие предания и обычаи

своего народа и избрал состояние, в котором всегда жило и должно жить огромное большинство рода человеческого.

2. В непросвещенных умах всегда существовала любовь к праздности, которая принимается ими за признак аристократизма. Эта страсть предоставляла труд на долю людей низкого состояния и слабейших, налагала на этих людей клеймо унижения и позора. Но Господь Иисус хотел показать нам, что труд есть чистое и благородное занятие; что он есть соль жизни и пояс мужества; что он спасает тело от расслабляющей бездеятельности, а душу — от растлевающих ее дум. Христос потрудился, делая все сам своими руками. Насмешка Цельза, не допускающего возможности, чтобы Он, будучи плотником, приходил на спасение мира, указывает, как много выиграл в этом смирении Иисусовом народ; какой великолепный и достойный подражания пример подобного смирения в Том, кто принял на себя дело обновления общества и обновления вселенной!

3. Из этого продолжительного молчания, из этой глубокой неизвестности, из этого однообразия жизни без событий, о которой сказать нечего, мы можем научиться, что пред лицом Божиим имеет значение наша внутренняя, а не внешняя жизнь. Мир придает много важности исключительной жизни благодетелей человечества, великих мыслителей и могучих героев; но их было и должно быть очень немного. Одна из мириад капель дождя, упавшая в болото, пустыню или на гору, одна из мириад снежинок, попавшая в бездонное море, — вот символы обыкновенной жизни, которые были и будут приличны для большей части людей. Они умирают и, как только умерли, — тотчас забыты. Проходит несколько лет: ползучий мох съедает буквы их имен на памятниках, а если они до известной степени и сохранятся, то не возбудят воспоминаний в тех, которые стоят перед их надгробными камнями. Люди обыкновенные и мало значащие способны считать самих себя необходимыми, между тем как величайшие из людей необходимы только до некоторой степени и, спустя немного времени, небольшая зеленая насыпь скроет тех, которые гремели своими деяниями на всю вселенную.

4. Относительная ничтожность людская была, есть и будет жребием бесчисленного большинства. Откуда многие, соображая, что их деяния малозаметны и что сравнительно с громадной массой человечества они настолько же необходимы, как и ефемериды,

которым назначено пожужжать немного в летний полдень, выводят заключение, что им ничего не остается, как есть, пить и спать. Но Христос явился для убеждения, что это относительное ничтожество есть положительная необходимость. Он пришел научить, что постоянное возбуждение, бросающиеся в глаза деяния, особые заслуги, блестящие успехи не составляют существенных элементов жизни и что мириады верующих в Бога находятся в числе незначительных и темных людей. Если хочешь быть Божиим, скрывайся, как Бог, — таково ободряющее, утешающее, облагораживающее нас поучение этих безгласных лет. Самый тихий и вполне неизвестный жребий очень часто приходится принимать за счастливейший, чему очевидным доказательством служит то, что эти годы, проведенные в доме и в занятиях назаретского плотника, были самыми счастливыми в жизни Спасителя. Если в последующее время Его скорбной жизни видимо было, что Он силен духом и слова Его казались вытекавшими из сильного потока, обильного счастьем; то каково же было довольство в эти ранние годы, когда бури справедливого гнева не возмущали еще этой кроткой души, когда Его сердце не горело негодованием, видя повсюду людские грехи и людское лицемерие? «Юность, говорит проповедник-поэт, прыгает быстро и радостно, подобно воздушным пузырькам, светится подобно невещественной радуге, которой и образ, и цвета фантастичны». Если такое описание верно для беспечной юности, то насколько сильнее следует применить его к невинной, безгрешной, совершенной юности Иисуса?

5. Занятие ремеслом нисколько не мешало Иисусу развиваться умственно, чему мы имеем очевидное доказательство. Не придавая важности грубым историям апокрифических евангелий, нельзя не согласиться, что некоторое простое, религиозное образование могло быть преподано и в маленьком Назарете каким-нибудь *соферимом* или другим служителем синагоги. Из дошедших до нас сведений видно, что *соферимы и хазанимы*, состоявшие при синагоге, могли давать ученикам своим звания *микредардике*, или домашних учителей. Но так как основание правильных школ для детей у евреев относится ко временам Иисуса, сына Гамалиила 1-го, то может быть, что и дозволение служителям синагог давать дипломы вышло позднее. Во всяком случае Иисус, будучи «совершенным человеком», учился, как

учились все другие дети, основам человеческого знания. Не мудрено и то, что Он получил первоначальное образование дома от своего отца, согласно повелению закона: *и так положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут оне вместо повязки над глазами вашими*, говорит Моисей[65], прибавляя: *и учите им сыновей своих, говоря об оных, когда ты сидишь в доме своем, и когда идешь дорогою, и когда лежишь, и когда стоишь.* Конечно, в дневных молитвах синагоги Он часто слышал все, чему местные старцы должны были учить относительно закона и пророков. Из неприязненных вопросов Его завистливых врагов: *откуда у Него это? Как Он знает писания не учившись?*[66]. Несомненно, что Он не бывал в Иерусалиме для образования и не посещал ни одной из раввинских школ. Но во всех этих вопросах явным образом дышит раввинский дух дерзкого презрения к каждому *ам-га-аретцу,* или непросвещенному провинциалу. Старые народные учителя, привыкшие к обычным избитым формулам обветшалой религии, которые были поддерживаемы устным законом, не были способны оценить божественной, самобытной мудрости, получаемой единственно от Бога. Они не могли стать выше мнимопоучительного изречения сына Сирахова, что премудрость приходит к ученому только при возможности иметь много свободного времени[67]. Но нельзя не заметить, что если бы Иисус получил хотя малейший оттенок их технического воспитания, то Он не имел бы против них такого сильного оружия, которым мог приводить в стыд надменную исключительность их узкого образования.

6. Это свидетельство Его врагов представляет нам убедительное и счастливое доказательство, что учение Иисусово не было, как стараются внушить некоторые, эклектической или сборной системой, заимствованной из многоразличных сект и у разных учителей того времени. Известно, что Он никогда не вращался между школьными учителями, которые считали главным делом учить отеческим преданиям. Хотя школы в больших городах устроены были у евреев назад тому уже восемьдесят лет, но их не было еще в презренном и простом Назарете. Да и у кого же Иисус мог заимствовать свое учение? У восточных гимнософистов или греческих философов? Но никто не решится допустить такого дикого предположения. У фарисеев? Но основы их учения несовместимы с идеей истинной

религии и с Его откровением. У саддукеев? Но их эпикурейская беспечность, их политические наклонности, их легкий рационализм, их налощенная бездеятельность были гораздо отвратительнее для истинного христианина, нежели чистый иудаизм. У ессенян? Но они составляли замкнутое, аскетическое и изолированное общество, проповедовавшее отвращение к браку и удаление от всякого общества, чему никогда не сочувствовало Евангелие. Сам Иисус относился к ним всегда с порицанием, указывая как на удерживающихся от умащения себя, когда постятся[68], или как на скрывающих свою свечу под спудом[69]. У Филона и александрийских евреев? Филон был добрый человек, великий мыслитель и современник Христа; однако даже допустив предположение, что имя его дошло до слуха жителей такой отдаленной страны, как Галилея, что очень сомнительно, то и в этом случае придется сказать, что для народной философии не найдется системы менее сходной с учением Иисусовым, как филоновское мистическое богословие и иносказательно выраженные сумасбродства его «Моря Отвлечений», которые так и замерли в его сочинениях. У Гиллела и Шаммая? Мы их мало знаем, но известно, что система Шаммая и Гиллела имела в своем основании устные предания, — устарелый, надменный, бессильный и бесхарактерный ритуализм левитов, который обличало и отвергало учение Иисусово. Школа, в которой Он учился, была не школой книжников, а школой святого послушания, тихого довольства, неиспорченной простоты, беспорочной чистоты, веселого труда. Наставления, которые Он получал, были не наставления раввинизма, в которых надо было перебрать массу детских фантазий и каббалистических глупостей для того, чтобы найти одну истинную и великую мысль, а — Св. Писание, природа и жизнь, равно как Книга Божия, писанная на скрижалях Его сердца.

Воспитание еврейского мальчика из низкого сословия ограничивалось изучением писания и нравственности. Родители обыкновенно сами бывали единственными его учителями. Нет никакого повода сомневаться, что и наставниками Иисуса в изучении *Шема*[70], *Аллилуия*[71], а также других простейших частей Св. Писания, на страницы которого Его божественная премудрость пролила впоследствии времени такие потоки света, были Иосиф и Мария.

Но Он, само собой разумеется, получил дальнейшее, чем это, развитие.

На востоке искусство писать было распространено и в то время. Ясный намек на форму еврейских букв, состоящих из небольших черточек и точек, в Его выражении, приведенном у св. Матфея[72], равно как писание пальцем на земле в храме[73] доказывает, что Иисус умел писать. Его знания в Св. Писании были глубоки и обширны, так что Он, по большей части, приводил тексты на память: это ясно не только из Его цитат, но из бесчисленных указаний на закон, Св. Писание, пророчества Исаии, Иеремии, Даниила, Иоиля, Осии, Михея, Захарии, Малахии, и почти на всю книгу псалмов. Вероятно (хотя ясных доказательств на то не имеется), что Ему знакомы были и не канонические книги. Такие глубокие и совершенные познания в Св. Писании рождали у Него невольно этот нередко повторяемый Им вопрос: «Разве вы не читали?» Язык, на котором говорил обыкновенно Спаситель, был язык арамайский или сиро-халдейский. Еврейский язык в этом периоде был уже языком мертвым, известным только хорошо воспитанным людям, и доставался с трудом. Однако же ясно, что Иисус знал и по-еврейски, потому что приводил тексты прямо из еврейского подлинника. По-гречески он должен был говорить, потому что греческий язык был общеупотребительным в ближайших к Его родине городах: Сепфорисе, Кесарии и Тивериаде. Писатель греческих антологий, поэт Мелеагр, в собственной своей эпитафии, утверждает, что греческий язык был понятен для сириян и финикиян, а он говорил наречием родной Ему Гадары, близкой от Назарета и принимавшейся за Сирийские Афины. Греческое влияние действовало на Палестину со времен Александра Великого точно так же, как при близких сношениях с Птоломеями и Селевкидами. Грек был всеобщим посредником для сношений; без греческого языка Иисус не мог бы разговаривать с иностранцами, как, например: с Центурионом, рабу которого исцелил ухо, с Пилатом или с греками[74], которые желали видеться с Ним в последнюю неделю Его жизни. Некоторые из приводимых Им текстов Св. Писания[75] были взяты прямо из греческого перевода 70 толковников, хотя они и разнствовали с еврейским оригиналом. Сомнительно, чтобы Он знал латинский язык, однако же не невозможно. Римлян в Иудее должно было быть очень много: бывшие в народном употреблении еврейские монеты носили на

себе латинскую надпись[76]. Но познания Его в этих языках, надо думать, не были слишком обширны; это видно из того, что в Его учении нет ни малейшего намека на литературу, философию или историю греков.

7. Однако, где бы ни учился отрок Иисус, — в доме ли матери, или в школе при синагоге, — мы уверены, что лучшим Его учением было непосредственное, полное знание воли Его Отца. В глубине внутреннего Его сознания раздавался тот Голос Божий, который говорил с нашим прародителем, когда он гулял в прохладный вечер под райскими пальмами. Он слышался Ему в каждом звуке природы, во всяком жизненном деле, в каждый промежуток уединенной думы. Земная жизнь Его была ефудом, на котором написано было одно слово «Бог». Везде и на всем читал Он имя Своего Отца, написанное у Себя в душе, в самых обыкновенных случаях жизни, в солнечных лучах, в звездном свете. Тишина, невозмутимое уединение счастливой родной долины, с ее зелеными полями и превосходными видами, способствввали развитию духовной жизни и нам известно, что из каждого случая, — из игр невинных детей, из купли и продажи на небольших рынках, из орошения источника, из красоты горных лилий и их преход идей миловидности, из хрипучего писка неоперенных птенцов ворона, качаемых ветром в их гнезде[77], — Он извлекал пищу для нравственного просвещения и духовной думы.

Но мы не должны терять из виду, что большая часть Его дела совершена была в эти пройденные молчанием, нигде не упоминаемьш годы. Он был не только «препоясан мечем по бедрам Его»[78], но постоянно держал его наготове. Эта нешумная битва, в которой нет ни треска, ни звука оружий, но которой враги наши тем не менее ужасны, потому что невидимы, — продолжалась в течение всех лет Его послушания. В эти годы Он начал творить то, чему после начал учить. Это были годы безгрешного детства, безгрешного отрочества, безгрешной юности, безгрешного мужества, проведенные в смирении, труде, неизвестности, подчинении, довольстве и молитве, для того чтобы они служили вечным примером всему человечеству. Ибо мы не можем подражать Ему в занятиях Его служения и не в состоянии хотя слабым образом воспроизвести в нашей жизни внешнюю обстановку трех последних лет, заканчивающих Его учение.

Большая часть из нас поставлена провидением в среду общечеловеческих, невыдающиеся, скромных обязанностей, которые очень сходны с тридцатью годами Его уединения. Жизнь Его в течение этого времени должна служить нам примером. Нельзя не заметить, что Его не чудесные дела были сами по себе чудом. Потому что вся жизнь Его была тайной. Насколько могущественны были Его деяния, настолько же могущественно Его молчание, Его бездействие и уединение. Великий учитель, который явился для научения всем добродетелям, для указания пути жизни, начал свою благодетельную жизненную деятельность с ранней юности: Он явился поучать, но своим, чудесным, непостижимым и тогда еще неслыханным способом.

Одно Его присутствие в доме Его детства делало счастливым все, что Его окружало. Еще не наступило время битвы, время оружия, когда многие в Израиле должны были восстать и пасть из-за Него; когда мысли многих сердец откроют я; когда небесное царство подвергнется усиленному исканию и смелый возмет его силой. Для семейного кружка достаточно кроткого влияния одной любящей души, чтобы все вокруг дышало невыразимым спокойствием. Ничто простонародное, тираническое, буйное не могло устоять против Его благодетельного влияния; никакая бранная ссора не могла сломить Его кротости. Но и дом Иисуса не был обыкновенным домом. Под руководством и с помощью Иосифа, при святости и ласках Марии, при освещении молодого Иисуса истинным светом небесным, мы можем справедливо заключать, что это был дом истинного благочестия, ангельской чистоты и невозмутимого спокойствия. Легенды древних христиан передают нам, что когда ходил и когда спал Иисус, над Ним сияло вокруг светлое облако: может быть, это так и было, но только облако, невидимое простыми глазами, а красота святости и мир Божий.

8. Обращаясь к разрешению вопроса относительно количества всего семейства Иосифова, жившего в Назарете, и читая в Евангелии от Луки[79], что Мария *родила сына первенца*; в Евангелии Иоанна[80], что Иисус *пришел в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его;* от Матфея[81], что когда Он еще говорил к народу, Матерь и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним, мы встречаемся с вопросом: кто были братья Иисусовы? Много трактатов писано было об этом предмете, много споров за происхождение, равно как за имена:

но все эти споры основывались только на догадках или на различных противоположных друг другу преданиях[82].

9. Кроме этих неважных недоразумений, не касающихся впрочем личности Спасителя, невозможно найти ни одного темного облачка, которое заслоняло бы собой чисто небесную юность Иисуса в маленьком галилейском городе. Он вместе с братьями и отцом занимался одинаковым с ними ремеслом и жил с ними под одним и тем же смиренным кровом; но можно быть вполне уверенным в том, что Он предпочитал одиночество, отыскивая уединения в зеленых горах, под фиговыми и оливовыми деревьями, во время полдневного жара и при звездах ночи. Были времена, даже во время учения Иисусова, когда Он отсылал от Себя самых верных Ему и самых любимых людей, для того чтобы остаться наедине.

Посещая в Палестине Сихем и поворот на дорогу из Вифании через Елеонскую гору, откуда в первый раз открывается вид на Иерусалим, невольным образом рождается какая-то нравственная уверенность, что Иисус посещал эти места. Но к ним можно присоединить и вершину холма, на котором стоит Назарет. Хотя эта вершина в настоящее время замечательна, по несчастью, не христианским памятником, но высокой развaленной и рассыпавшейся молельней неважного мохаммеданского святого Неби-Измаила.

10. Не найдется в Назарете ни одного десятилетнего ребенка, как бы он туп и нечувствителен не был, который бы не посещал часто этой местности. И конечно не было в Назарете ни одного мальчика в древнее время, который бы не увлекся общечеловеческим инстинктом, не взобрался на эти покрытые тмином скаты к превосходному с удобными всходами месту, откуда открывается вид на всю округу. Холм возвышается почти на шесть сот футов над уровнем моря. На четырех или пятистах футах внизу расстилается красивая долина. Вид с этого места, по красоте и разнообразию, можно назвать необыкновенным. Но он принимает неописанную прелесть вследствие нашей уверенности, что здесь, среди горных цветов, при тихом дуновении ветра, развевавшего Его волосы, Иисус нередко наблюдал за носившимися в безоблачной синеве орлами; оглядывался назад при шуме над головой крыльев длинной линии пеликанов, перелетавших с потока Кисонского на Галилейское озеро. А что за вид представлял Его взорам в весеннее время усеянный тмином луг! Каждое поле, каждое

фиговое дерево, каждый дом и синагога, конечно, были Ему вполне знакомы, но милее всех плоскокрышных домов было для Его взоров небольшое жилище сельского плотника. К северу, углубившись книзу, лежала узкая и плодоносная равнина Асохис, с которой начинался покрытый лесом горный хребет Нафтали, а за ними на отдаленном горизонте Ермон, возвышающий в небесную синеву блестящие колоссальные рамена свои, покрытые почти что всегдашним снегом. На восточной стороне, в расстоянии нескольких верст поднималась зеленая, округлая вершина Фавора, заросшая дубами и соснами. На западе сквозь прозрачный воздух мог Он видеть пурпуровую вершину Кармила, среди лесов которого Илия нашел себе пристанище, — Гаифу, Акру и длинную линию белых песков, окаймляющих воды Средиземного моря с разбросанными там и сям парусами кораблей из Хиттима. К югу, с небольшим перерывом красивых очертаний Малого Ермона и Гелвуи, расстилалась вся долина Есдрелонская, или Иезреельская, замечательная не только в Палестинской, но и в всемирной истории, потому что поперек нее тянулась южная дорога к тому городу, который некогда избил всех пророков, и где, может быть, даже тогда в тусклом очертании пророческой прозорливости, Он предчувствовал уже душевное томление в саду, насмешки, бичевания, крест и венец терновый.

Местность, открывавшаяся пред глазами юного Иисуса, была центральной в мире, который Он пришел спасти. Она находилась в самом сердце земли Израильской, а вокруг нее теснились отделенные только узким рубежом гор и потоков прилежащие к ней Финикия, Сирия, Аравия, Вавилония и Египет. Острова язычников и все славные страны Европы были по большей части видимы за светлыми водами Восточного моря. Римское знамя развевалось пред Ним на равнине; греческая речь слышалась в городах понизовых. И хотя все это, по-видимому, было мирно, зеленело своей изумрудной настилкой, блистало живыми лучами солнца, оттенялось пурпуром от пронесшегося над ним дождевого облака, но эта местность искони была полем народной битвы. Фараоны и Птоломеи, Эмиры и Арсахиды, судьи и консулы производили войны на этом улыбающемся пути. На нем сверкали копья амаликитян; он стонал под колесницами Сезостриса; он повторял эхом свист луков Сенна-Херима; он был утоптан македонскими фалангами; на нем бряцали мечи римлян; он

предназначен был впоследствии быть оглашенным криком крестоносцев, слышать пушечные громы новейших народов. В этой Есдрелонской долине, казалось, встретились друг с другом Европа и Азия, иудейство и идолопоклонство, варварство и цивилизация, Старый и Новый Завет, — история прошедшего и надежды настоящего. Ни одна Палестинская местность не имела такого глубокого значения для судьбы человечества; ни одна больше ее не могла привлекать к себе взоров молодого Иисуса.

ГЛАВА VIII

Крещение Иоанново

Таким образом в смиренном послушании и святом молчании проходило отрочество, юность и первое время возмужалости Иисуса, пока Ему не минуло тридцати лет[83]. Этот великий урок для людей всякого звания и всех веков, заключающийся в продолжительном труде и тридцатилетней неизвестности, поучает нас более, чем может научить простое слово. Время Его учения, время великого дела искупления еще не наступало. Он открывал пути спасения только примером, а не откровением и смертью.

Между тем уже начал раздаваться голос в пустыне, который возбуждал сердца народа мощным воззванием: *покайтесь, ибо приближалось царство небесное*[84].

Век тот был переходным веком неизвестности и сомнений. При постоянном возрастании всеобщего развращения, при упадке священных учреждений, в густых тучах на политическом горизонте, становившихся чернее и чернее, многим благочестивым евреям могло показаться, что будто прорвались на землю снова источники бездны. Уже скипетр передан был чужеземцу, уже в первосвященство стали вмешиваться идумейские тираны или римские прокураторы; уже главное влияние на приниженный синедрион было в руках льстивых иродиан или коварных саддукеев. Не было, по-видимому, утешения ни в чем, кроме усиленной верности Моисееву закону, кроме напряженных ожиданий прихода Мессии. В такую эпоху смут и тревог, когда старое изветшало, а что будет вновь, еще неизвестно, извинительно было даже для фарисеев высматривать удобный случай для возмущения, и еще извинительнее для ессенян уважать холостую жизнь и удаляться от сообщества с людьми. Это было общее ожидание «грядущего гнева», который был болями пред рождением грядущего царства, глубочайшей тьмой перед близким рассветом. Мир устарел, и сумасбродство язычества дошло до отвратительных размеров. За атеизмом, как это и всегда бывало между народами, следовал упадок нравственности. Несправедливость перешла крайние пределы.

Философия стала отрицать, исключая некоторых излюбленных, все свои функции, которыми прежде хвалилась. Преступление царствовало повсюду, и не было никаких средств против ужасов и разрушения, которых оно было причиной. Угрызений совести как будто не бывало; люди стали как бы «бесчувственны». Ожесточение сердец и окаменение нравственного чувства были таковы, что даже способные, при этом положении дел, чувствовать душевные муки считались людьми ненормальными и несчастными.

В такие периоды обыкновенно проявляется сильнейшее стремление к аскетизму. Уединенное общение с Богом среди диких видов природы предпочитается возмутительным мыслям мертвого духом общества. Независимое положение, поддержка существования из самых простейших источников, которые могут восполнить только простейшие жизненные потребности, гораздо привлекательнее, нежели пожирающие и разъедающие, как скорби и бедствия подавленной и борющейся нищеты. Запустение и молчание равнодушной ко всему природы доставляют в иное время сладостное убежище от людского шума, посредственности и злобы.

Но аскетизм, кроме того, может происходить от разных причин. Он может быть результатом или цинической надменности, которая желает стать отдельно от всех людей, или отвратительного пресыщения эпикурейца, которое он старается скрыть от самого себя, или себялюбивого ужаса фанатика, занятого единственно своим спасением. Совершенно противоположны с этим и истинно благородны были строгая простота и самоотверженность Иоанна Крестителя. Не без основания средневековые живописцы представляли его изможденным рановременно пустынножительством. С ранних лет в молодом назорее оказалось стремление к одинокой жизни, но было результатом полного сознания его призвания, произошло из желания исполнить назначение, рожденное пламенными надеждами. Свет, который светился в нем, обратился бы, если бы встретилась надобность, в самопожирающее пламя не для его собственой славы, а для того чтобы осветить путь грядущего царя.

Природа Иоанна Крестителя была полна подвижности и огня. Продолжительная борьба, последствиями которой были в нем полное господство над самим собой, самоуничтожение в присутствии своего Господа, способность глядеть смело в лицо опасности и смирение

среди восторженных похвал выработали в нем непреклонную твердость, отразившуюся в его характере, виде и учении. Если он и приобретал успокоение в продолжительной уединенной молитве и покаянии, то это не было спокойствие мира. Победа, которую он одержал над собой, оставила следы жестокой битвы; спокойствие, которого она достигла, было похоже на рокот отдаленной бури. Учение его носило на себе отпечаток той пустыни, где были только скалы, змеи и бесплодные деревья. В своих проявлениях и деятельности он уподоблялся горящему факелу; его общественная жизнь была похожа на землетрясение; сам он был не человек, а речь, и мог смело назвать *себя голосом вопиющаго в пустыне: приготовьте путь Господу*[85]. Огонь разгорался в его сердце, когда он думал; огонь сходил с языка. Но Иоанн с самого детства был добровольным отшельником. Уединение пустыни научило его распознаванию невыразимого языком человеческим. Там осуществился для него невидимый мир; там дух его принял пламенное направление. В уединенных беседах с своим собственным великим сердцем, в беседах с высокими думами длинного ряда пророков, его предшественников, обращавшихся к тому же мятежному народу, в беседах с голосом природы, доходившим до него в звуках гор и моря, он получил более глубокое образование, чем мог получить у ног Гиллела и Шаммая. В тропический полдень, в глубокой Иорданской долине, когда воздух становится вроде тонкого, легкого пламени, — в длинную ночь при свете звезд, которые кажутся огненными шарами на пурпуровых небесах, слушая завывание диких зверей, — в брожении близ ленивых, отсвечивающих кобальтом вод Мертвого и проклятого озера, где перед его глазами расстилалась темная солончаковая растительность берега и восставали души грешников, погибших под сернистым пеплом, — он научился слову, получил откровение, недоступное для слуха обыкновенного человека и достигаемое не в школах раввинов, а в школе уединения под надзором и управлением божественным.

Такие только учителя и пригодны к подобному времени. Довольно и даже слишком много было этой посредственности, старозаветных законников, говоривших плавно и занимавшихся плутнями. Книжники или лоснившиеся от хорошей жизни и гордые всеобщим к ним почтением фарисеи, красуясь громадной филактерией и роскошной одеждой, давали в синагогах снотворные поучения, представляющие

сбор разлетающихся в прах ребячеств и расшатанных в основании положений с предвзятой мыслью: но Иоанн был далеко не такой учитель, как ему современные. Прежде чем раздавался громовой звук его голоса, который рокотал гневом и негодованием, загорелая наружность, длинные волосы, кожаный пояс, одежда из верблюжьего волоса уже доказывали, что тут истинно человек во всем его природном величии, с несокрушимой силой воли, — человек, который, подобно суровому фесвийцу Илии, мог бы спокойно стоять перед разодетым в пурпур Ахавом и развратной Иезавелью. Жизнь его была известна всем. Все знали, что питьем ему служит только речная вода, а едой — акриды и дикий мед[86]. Всякий чувствовал на себе могущество его влияния, которое предоставляется всегда полному самоотвержению. Кто выше общечеловеческой гордости, тот выше всякого страха. Не рассчитывая ни на что от любви своих последователей, он не боялся их нерасположения; не имея в виду выиграть что-либо от рабски льстивой администрации, он не терял ничего, высказывая ей в глаза справедливое порицание. Он стоял выше своих братьев на неизмеримой высоте спокойствия и чистоты, не ослепленный ничтожной мглой, которая застилала их глаза, и невозмутимый от влияний, которые нарушали спокойствие их жизни.

Неудивительно, что такой человек чувствовал себя силой среди народа. Далеко прошла молва, что в пустыне Иудейской живет человек, которого жгучее слово достойно того, чтобы его услышать, который своими изречениями напоминает Исаию, а жизнью — Илию. Тиверий запятнал императорский трон своим бесславием; Понтий Пилат довел до безумия фанатичный народ своей наглостью, жестокостью, насилиями и убийствами; Ирод Антипа представлял восприимчивым подражателям пример рассчитанного вероотступничества и бесстыдного распутства; Каиафа и Анна поделили между собой обязанности первосвященства, которое только бесчестили. Но не об этих политических обстоятельствах вел речь новый пророк. Уроки, которые он преподавал, не ограничивались этим узким кругом, а имели всеобщее нравственное и социальное значение. Учение его было вполне практично, приятно, хотя и томительно для сердца, бесстрашно, а потому вполне искренно, так что должны были найтись люди, готовые посетить его строгое уединение. И действительно фарисеи, саддукеи, книжники, воины, священники и

мытари стали приходить толпами, чтобы послушать слова его. Местом его проповеди озера. Г розно нависшие над этим узким проходом, ведущим из Иерусалима в Иерихон, скалы были притоном опаснейших разбойников; крокодилы и другие дикие звери не были еще истреблены в заросших тростником заводях Иорданских; но отовсюду, — из жреческого Хеврона, из святого Иерусалима, из улыбающейся Галилеи сходились к нему люди, чтобы уловить звук этого странного для них голоса. Слова его были подобны молоту, дробящему в пыль каменные сердца, или пламени, проникающему в отдаленные тайники заветных дум. Не допуская ни тени лести, ни выражения подслужничества, ни страха колебания, он громил сборщиков податей за их вымогательство; воинов за их насилия, низость и недовольство; богатых саддукеев и пышных фарисеев за формализм и притворство, которое обратило их в порождение ехиднины. Он толковал народу, что все излюбленные им почести и привилегии не поведут ни к чему, если не покаются, а будут видеть в них защиту против грядущего гнева[87]. Он укорял их вообще в кичливости высоким происхождением от Авраама, прибавляя, что Господь, сотворивший Адама из земли, может восстановить детей Аврааму из камней, лежащих по берегам Иордана[88]. Чувствуя угрызения совести, люди слушали его с разбитым сердцем, и, когда он избрал крещение символом покаяния и очищения, то крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои[89].

Но у него было иное, особое, исполненное надежд призвание, — назначение быть провозвестником грядущего Мессии. Для себя он не требовал никакой славы, кроме славы Предтечи; для своего крещения никакого значения, кроме посвящения в тайны царства, которое наступает. Когда депутация от синедриона спрашивала его, кто он; когда весь народ задумывался о том, Христос ли он или нет, — Иоанн, не колеблясь ни на минуту, отвечал, что он не Христос, не Илия, ни другой из пророков. Он есть голос в пустыне, и ничего более. А голос этот возвещал пораженному величием истины народу, что вслед за ним идет Тот, *который стал впереди его, потому что был прежде его, у* которого он *не достоин развязать ремень у обуви Его*[90], *кто будет крестить* — не водою, *а Духом Святым и огнем*[91]*; у кого лопата Его в руке Его и Он очистит гумно свое;* кто *соберет пшеницу свою в*

житницу, а солому сожжет огнем неугасимым[92]. Время внезапного пришествия.

Покаяние и царство небесное были двумя исходными пунктами проповеди Иоанновой и, хотя он не удостоверял своего посланничества никакими чудесами, однако грозил притворству обличением, дерзости — низложением; обещал кающемуся прощение, чистому сердцем — царство небесное. Два великих положения, вынесенные им из пустыни, содержали два главных откровения, к которым стремится все Евангелие; закон и пророчество; обличение греха и обещание прощения, — пламя, которое сжигает, и свет, который утешает.

К этой проповеди, к этому крещению пришел Иисус из Галилеи, когда Ему минуло тридцать лет. Иоанн был Ему родственником, но обстоятельства жизни разлучили их далеко друг от друга. Иоанн провел детство в доме праведного священника, своего отца, в Ютте, находившейся далеко на юге в колене Иудином; Иисус жил в глубоком уединении в мастерской отца своего в долине Галилейской. Когда Иисус в первый раз явился на берегу Иорданском, — великий Предтеча, согласно собственного, дважды выразительно повторенного признания, не знал Его[93]. Иисус не был еще заявлен Мессией своему пророку-провозвестнику, но было у него нечто во взоре, нечто в безгрешной красоте Его, нечто в торжественном величии Его вида, что увлекло и поразило душу Иоаннову. Для других Иоанн был непогрешимый пророк, смело возражавший царям, с негодованием обличавший фарисеев; но, в присутствии Иисуса все его высокие дарования были ничтожны. С детской покорностью и робостью остановился грозный пророк пустыни пред величием внутреннего спокойствия, пред чистотою безгрешной жизни. Боевая сила, которую не остановишь легионами, высокое мужество, перед которым бледнеют князья и трепещут иерархи, — укрощаются сами собой, подчиняются, благоговеют перед нравственной силой, которая, будучи слаба по наружности, вооружена невидимой броней. Иоанн склонился, по вдохновению, перед человеком, прежде чем узнал божественное Его призвание. Он почтительно пытался отклонить Иисуса от Его намерения. Исповедовавший других, теперь сам со смирением и почтением исповедуется Иисусу: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?[94]

На вопрос: вследствие чего же Господь желал принять крещение из рук раба? — мы находим ответ в Его собственных словах: *так надлежит нам исполнить всякую правду.*[95] Он делал это для того, чтобы исполнить всякое требование, согласное с божественной волей. Видя обращение с Ним Иоанна, даже признания за Христа, нельзя ни на минуту усомниться, что Иисус принял крещение не как последствие покаяния, потому что был безгрешен, но что тут был лишь исключительный случай. Он принял крещение для подтверждения в Иоанне значения своего великого Предтечи, — последнего и величайшего из сынов Ветхого и первого провозвестника Нового Завета. Следовательно, Он принял его как лучший символ нравственного очищения и как смиренное посвящение себя на служение, которое явилось не для нарушения, а для исполнения закона. Возражение Иисусово исключает всякую возможность к иному толкованию: *оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду.*

Когда Иисус вышел из воды, тогда дан был ясный знак, что это был Тот, Который должен был прийти. *И се отверзлись Ему небеса, и увидел Духа Божия, который сходил как голубь, и опускался на Него. И се глас с небес глаголющий: Сей^сть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение*[96].

ГЛАВА IX

Искушение

Слабый человеческий состав, возмущенный сильными ощущениями при предыдущих событиях, требовал успокоения. Для приготовления себя к великому подвигу искупления и для беседы с Богом Иисус искал уединения. И вот с вод Иордана Он взят был или, как говорит св. Марко, *уведен* Духом в пустыню[97].

Предание, не из древних, а относящееся к временам крестовых походов, представляет, что событие искушения происходило на горе, которая стоит к востоку от Иерихона и, по сорокадневному посту, названа Карантания. Обнаженная от всякой растительности, действительно как бы проклятая гора, она восстает стремниной на выжженной солнцем, пустынной равнине, глядясь в неподвижные, сернистые воды Содомитского озера и представляет резкий контраст с дивной горой Блаженств над прозрачным кристаллом озера Геннисаретского. Вследствие чего воображение крестоносцев приняло Карантанию за притон сатанинский, — за такое место, где, по выражению пророков, живут совы и совершают свои пляски демоны.

Там Он был со зверями, говорит св. евангелист Марко[98], и они не сделали Ему вреда. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона, восклицает боговдохновенный пророк[99], и обещание исполнилось, как на Христе, так и на многих верных сынах Его. Да не смущаются же при этом те, чья робкая вера сторонится от всего, что походит на чудо. Жестокое преследование дикими животными их властелина, человека, или робкое их бегство от него — дело неестественное. Страх и злоба животных, хотя и продолжаются вследствие наследственного инстинкта, но не были довечны и начались вследствие жестоких и напрасных нападений. В истории нет недостатка в примерах, что людская доброта, присутствие духа и кротость побеждали бешенство самых лютых зверей. Нет никакой справедливой причины отвергать единодушное верование древних веков, что дикие звери Фиваиды ходили свободно между святыми отшельниками, не нанося им вреда, и что самые злобные из зверей

были тихи и кротки с Франциском Ассизским. Кто не знает таких людей, присутствие которых не пугает птиц, — которые без всякой опасности подходят к злобным собакам? Мы лучше хотим думать, что не чудесная сила, а просто человеческое влияние безгрешной личности Спасителя сохраняло Его от всякой опасности. На катакомбах и других древних памятниках первых христиан Он часто изображался восхищающим зверей своим пением. Все, что было истинного и прекрасного в древних легендах, было преобразованием Его жизни и деяний.

Он пробыл в пустыне сорок дней, — число, которое встречается в Св. Писании очень часто и всегда при искушениях или наказаниях. Ясно, что оно было священное и знаменательное. Сорок дней оставался Моисей на горе Синайской, сорок дней Илия в пустыне. В течение всего этого времени, по словам св. евангелиста Луки: Он был искушаем от диавола и ничего не ел в сии дни; а по прошествии их на последок взалкал[100], и наступило время искушения. В минуты сильных душевных движений и тяжелых дум обыкновенные телесные нужды умеряются, а иногда и забываются совсем. В это время человек вообще может выносить без утомления невероятный труд; воин — сражаться целый день, не чувствуя своих ран или забывая об них. Но когда энтузиазм пройдет; когда восторженность охладеет; когда огонь станет угасать; когда природа, уставши и надсадившись, войдет в свои права; одним словом, когда кончится реакция и человек почувствует, что он истомлен, измучен и потерял присутствие духа: тогда настает час крайней опасности и бывало немало примеров, что в эти минуты люди становились жертвами коварной приманки или смелого нападения. В такую-то минуту Спаситель начал битву с силой злобы и одержал победу.

Не будем входить в рассуждение о том, в чем и как выразилось такое борение, потому что это было бы с одной стороны напрасно, ибо событие представляет вопрос, полное разрешение которого для нас невозможно, с другой стороны непочтительно, потому что евангелисты могли знать это или из уст самого Спасителя или от тех, кому Он сообщил, а Спаситель мог рассказывать в том виде, в каком подобное событие может сообщить самое верное впечатление или наиболее назидательный урок. Нельзя не заметить, что каждый отдельный истолкователь этого происшествия высказывал свой собственный

взгляд. Начиная с Оригена до Шлейсрмахера, некоторые глядели на него как на видение или на притчу, как на символическое описание внутренней борьбы. С этим взглядом соглашался и Кальвин, хотя и старался во всем придерживаться буквального понимания. Установление того или другого взгляда составляет предмет экзегетики; но какие бы ни были у кого взгляды, которые он считает за ближайшие к истине, во всяком случае существенная мысль этого события, что борение было сильное, личное и вполне действительно, что Христос ради нашего спасения встретил и поборол сильнейшего врага, должна остаться неприкосновенной.

Само собой разумеется, что вопрос о том, способен ли Христос грешить или нет, — или, выражаясь речью схоластикорелигиозных стран — вопрос о погрешимости Христа, на основании Его невозможности грешить или возможности не грешить, — никогда не закрадется в простое и нелукавое сердце истинно верующего. Мы веруем, что Господь наш Иисус Христос есть безгрешный Агнец Божий без пятна и порока. Однако же наше усердие в этом случае не должно заходить за пределы. Если борьба Его была только обманчивой фантасмагорией, то какую могла принести она для нас пользу? Если нам приходится вести отчаянную битву в таком вооружении человеческой свободной воли, которое иссечено и изрублено множеством жесточайших ударов еще на груди отцов наших, то какое же утверждение для нашего духа видеть вождя, который выходит из битвы победителем единственно от того, что никакая опасность для него недействительна, что он не только не ранен, но и не способен к тому, чтобы получить какую бы то ни было рану? В чем же видна будет храбрость воина, если он будет биться в кажущемся сражении с призраками врагов? Мы сами тогда под личиной преданности отвергли бы высказанные апостолом великие истины, ***чту хотя Он и Сын, однако страданиями навык к послушанию***[101]***, что имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха***[102]. Такое понимание, вместо живого Христа, в котором мы должны исповедовать как совершенного Бога, так и совершенного человека, — представляло бы нам какой-то призрак, носящийся в эмпиреях схоластических мудрствований и не возбуждающий ни пламенной любви, ни глубокого почтения.

Откуда бы ни происходили подобные лжеучения, мы, приступая к чтению настоящего рассказа, не дозволим себе предполагать, что будто бы Он не был способен к действительному искушению. Кто, на основании этого великого образца, стремится устроить жизнь свою святой, безмятежной и безгрешной, тот, по мере своего старания, может до известной степени осуществить на себе напряженность борения и тягостной скорби, которые охватят его сердце, когда, вследствие внутренних или внешних побуждений, он будет поставлен даже в кажущуюся возможность к падению. Само собой разумеется, что борение в человеке греховном не таково, как было в Иисусе. В житиях многих святых, проводивших жизнь в пустыне, в полном отдалении от мира, мы находим, что в уме пустынножителей появлялись нередко возмутительные образы и богохульные мысли, которые подсказывались собственной немощью или наветом злого духа, но которых они сами не могли отличить от своих собственных дум. В Иисусе Христе подобное смешение было положительно невозможно, потому что Он жил, не зная греха, между тем как в людях, какова бы их жизнь ни была, подобные мечты являются нередко не больше, не меньше как последствиями прежней греховной жизни. Эти возмутительные образы и богохульные мысли у пустынников были призраками забытых или незабытых грехов, зловредными испарениями застойных болот, оставшихся в глубоких тайниках не вполне очищенного сердца. В Иисусе Христе не было этой ужасной неспособности установить различие между тем, что происходит от внутренних побуждений и что вынуждено силой извне, — между тем, что поддерживается слабой волей или на что она, при вечно изменяющейся смежности дум с действиями, почти соглашается, и тем, что хотя и воспринимается ею извне, но отвергается всеми душевными силами. Слабо или превратно то понимание, которое воображает, что человек сознает искушение, по мере того как оскверняется им, или что нет возможности различить силы искушения от укора преступной думы. «Внушение происходит от диавола, а согласие зависит от нас», говорит блаженный Августин. «Грех есть последствие сперва внушения, потом удовольствия, а наконец соглашения», утверждает св. Григорий Богослов. И так Иисус был искушаем. Вождь нашего спасения стал совершен чрез страдания, ибо как сам Он претерпел; то может и искушаемым помочь[103].

Пустыня Иерихонская и сад Гефсиманский были свидетелями двух тяжелых борений, из которых Он вышел победителем над самыми сильнейшими натисками врага душ человеческих. Но и в течение всей своей жизни. Он не был свободен от искушений, ибо в противном случае жизнь Его не была бы истинно человеческой жизнью. Он никогда не оставил бы нам такого близкого примера, чтобы мы могли следовать по стопам Его. Св. евангелист Лука говорит положительно, что, окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени[104], то есть до первого удобного случая. Но мы можем быть вполне уверены, что если Он вышел победителем над темной силой в пустыне, то все последующие искушения до последнего пролетели слегка над Его безгрешной душой, как темное облако в летний день пролетает в голубом небе, не запятнав его.

1. Истощение продолжительным постом подействовало тем сильнее на телесный состав Иисуса, что пост был для Него обстоятельством необычным. До сего времени и потом Он не вел замкнутой жизни аскета, не налагал на себя жестоких до самоистощения истязаний. Он не имел нужды искупать страданиями грехов, которых у Него не было. Напротив того, Он пришел, как человек, который, по Его собственным словам, «ест и пьет»[105], принимал участие в нешумных празднествах и невинных собраниях друзей, так что враги Его позволили себе говорить про Него: вот человек, который любит пить и есть вино, друг мытырям и грешникам[106]. Но делом и словом Он проповедовал всегда и во всем умеренность. После этого сорокадневного поста, перенесенного при сверхъестественной помощи, голод чувствовался еще сильнее. Тогда явился искуситель, — в образе ли духа тьмы или ангела света, в образе ли человека или невещественного внушения, мы не знаем, да и не имеем притязания об этом рассказывать. Мы удовольствуемся неуклонным следованием евангельскому рассказу, употреблением высказанных там выражений не с сухим догматическим указанием, что они должны быть более или менее иносказательны, но в видах извлечения из них тех нравственных истин, которые одни до нас касаются, одни не допускают при разъяснении никакого спора.

Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами, так начал свое дело искуситель[107]. Иисус чувствовал голод и так как указанные Ему камни могли быть из породы так называемых камней

иудейских, которые похожи на караваи хлеба и, по легендарному преданию, представляют окаменелые плоды долинных городов, то вид их мог действительно усиливать страдания голода.

Чрезвычайная тонкость и типичная общность каждого из искушений служит самым строгим доказательством подлинности и божественного происхождения этого рассказа. Они не только не сходны с грубыми и простыми историями об искушениях, которые бывали с великими из святых мужей, но в них замечается ясность взгляда, своеобразность понимания, которая превосходит всякую силу изобретения. Это было искушение чувств, обращение к низшим, но тем не менее сильным потребностям человека, которые у него одинаковы со всеми животными. Но не переходя в простую, грубую форму, это обращение прикрыто тысячью тонких покровов. Израиль почувствовал голод в пустыне, и в этой крайней нужде Господь напитал его манной, которая была пищей ангельской, хлебом небесным. Почему же Сын Божий не может достать Сам Себе пищу в пустыне? Он может сделать это, если захочет, и зачем будет раздумывать? Если ангел указал блуждающей Агари источник; если ангел тронулся голодом Илии и указал ему пищу; для чего ожидать услуги ангелов Тому, кто в ней не нуждается, но кому, если бы Он только пожелал, с такой радостью готовы были послужить ангелы?

И как глубока была мудрость ответа Иисусова! Обращаясь к той истине, которой поучало ниспослание манны, и приводя одно из превосходнейших выражений Ветхого Завета, Господь ответствовал: *написано не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*[108]. И какой урок для нас, подтвержденный великим примером! Мы отсюда поучаемся, что человек не должен руководиться требованиями только общей с животными природы; что он не должен злоупотреблять этими низшими потребностями, считая их единственной поддержкой и удовольствиями жизни; что мы не принадлежим самим себе и не можем делать всего, что захотим, с тем, что считаем даже своей собственностью; что и те вещи, которые позволительны, не всегда приличны; что у человека существуют более высокие правила жизни, — нечто возвышеннейшее, чем его бренный состав и его материальная поддержка. Кто воображает, что живет одним хлебом, кто ставит хлеб главной целью жизни, обладание им высшей ценностью, тот, не стараясь снискать для себя божественной

пищи, погибнет с голоду среди изобилия. Но кто знает, что человек живет не одним хлебом, тот, даже для спасения временной жизни, не утратит того, что делает самую жизнь драгоценной; тот будет верить, что, исполняя только свой долг, получит от Бога все необходимое для поддержания тела, которое Он сотворил; тот будет усиленно искать хлеба небесного и той живой воды, пивший которую не возжаждет вовеки.

Первое искушение по форме своей чрезвычайно сходно с последней насмешкой, обращенной к Иисусу в то время, когда Он был на кресте: *если Ты Сын Божий, сойди с креста*[109]. Но с креста Спаситель не дал ответа, а здесь Он отвечал для того, чтобы высказать великое вечное правило. Он не сказал однако же: «Я Сын Божий». В глубине Своего смирения, при величайшем самопожертвовании, Он не пожелал выставить свое равенство с Богом, хотя, *будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу*[110].

2. Порядок искушений у евангелистов Матфея и Луки не один и тот же: у первого искушение на крыле храма прежде видения с горы царств мира. Так как оба порядка не могут быть справедливыми, то легко может статься, что св. Лука переместил события под влиянием той мысли, что искушение духовной гордости и произвольного приложения чудодейственной силы гораздо тоньше, а потому сильнее, чем искушение пасть ниц и признать силу злобы. Прибавление у ев. Матфея слов «потом», «опять», «тогда» указывает, что он держался истинного порядка событий; обстоятельство, что Он был в числе апостолов, сопровождавших Иисуса в течение земной Его жизни, а потому мог слышать личный рассказ Спасителя, придаст еще большую важность принятому им порядку изложения.

Таким образом Иисус победил и отверг первое искушение выражением безвозвратной надежды на Бога. С чрезвычайной тонкостью, применяясь к этому образу мыслей, дьявол при втором искушении обращается непосредственно уже к этому полному упованию, требует ясного его заявления не только в избавлении себя от обыкновенной телесной нужды, но в отвращении угрожающей опасности. *Потом берет его диавол во святый город,* говорит евангелист, и *поставляет Его на крыле храма*[111], которые были так высоки, что, например, по описанию современников, с крыши на *Стоа Базиликэ,* или царском портике, на южной стороне храма, обращенной

в глубокую долину Кедронскую, невозможно было глядеть вниз без головокружения. *И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз,* для возбуждения гордости, повторяя свое сомнение относительно Его божественного происхождения, дьявол испытывает Его упование на Бога. Ты будешь в опасности; спасись от нее, если Ты можешь, и докажи этим Твою божественную власть и природу. *Ибо написано: ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да непреткнешься о камень ногою Твоею*[112]. Докажи же Сам на деле Твое упование и надежду на Бога. В этом искушении не было ничего себялюбивого или чувственного. Оно было обращением не к природным потребностям, а к извращенным духовным инстинктам. Не доказывает ли нам история сект, партий, церквей и людей с высокими духовными дарованиями, что найдутся тысячи людей, не погрязших в топях чувственности и державших себя высоко в самых крайних опасностях, но летевших стремглав с крыла духовной гордости? Но как спокоен, как осторожен был этот простой отверг Иисуса. *Написано также: не искушай Господа Бога твоего*[113]. Таким образом из слов Спасителя вытекает, что человек не должен испытывать до конца божественную волю; что он не должен дерзать на все, с уверенностью, что Бог все сделает для него; что он не должен требовать или просить чудесного, божественного вмешательства во все свои собственные предначертания и самодурства; что он не должен подвергать Его силу и власть испытанию для своего в них удостоверения. Если Ты идешь путем долга, возложи на Бога все свое упование, но не слушай этого высокомерного шепота: *вы, будете, как боги*[114] и не дозволяй ничего самовольного и капризного в твоих просьбах о помощи: тогда над тобой сбудется то, что дьявол умышленно пропустил из псалма: *ты будешь сохранен во всех путях твоих*[115]. В самых словах искусителя «бросься вниз» слышится сознание его бессилия. С этой ужасной высоты он не посмел сбросить Того, кто был храним Богом. Св. Писание, которое он приводит, истинно, хотя он представил его в превратном виде. Никакое сильное искушение не может обусловливать необходимость греха: Господь указывает пути для его избежания.

3. Уничтоженный при обращении к натуральным потребностям и при желании возбудить гордость, искуситель обращается к последней слабости благородных душ. С высокой горы он показывает Иисусу все

царства мира и славу их[116] и, как князь мира, предлагает их Тому, Который был деревенским плотником, взамен одного действия признательности. Он говорит Иисусу: *все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне.* «Царства мира и славу их!» Есть люди, которые говорят, что их не соблазнит никакое царство. Легко может статься; потому что не нужно царства; достаточно гораздо меньшего. Только Христос был искушаем таким образом; Его великая душа не могла быть искушаема чем бы то ни было маловажным. Но для нас этого не было, потому что мы ценим себя гораздо ниже, продаем наш товар за всякую подходящую цену. Можно купить нас задешево. Не надо возводить на горную высоту, довольно крыла на храм, довольно невысокой колокольни, какая найдется в городе, но что говорить далее? довольно поставить нас у окна или у дверей наших домов и пообещать дать то, что мы видим, — и мы поддадимся искушению, и будем благодарить искусителя. Ничтожная монета, пара сапог, всякая безделица могут заставить нас преклонить колена перед дьяволом. Но Иисус думал: *какая польза человеку, если он приобретет весь мир и душе своей повредит?*[117]

Был тогда один из живущих на земле, который мог, без преувеличения, сказать, что владеет целым миром: это Тиверий, римский император, могущественнейший из людей тогдашнего времени, — абсолютный, неоспоримый, боготворимый правитель всего прекраснейшего и богатейшего из царств земных! Власть его была безотчетна; богатства несметны; удовольствия — без помехи. Удовлетворяя страсть к безграничной роскоши, он не так давно избрал местом своего жилища одно из прекраснейших мест на земной поверхности, под тенью уснувшего вулкана, на восхитительном острове, пользующемся превосходнейшим климатом в мире. Что же вышло? Он был, как Плиний его называет: «самым несчастнейшим человеком»[118]. Оттуда-то, из этого притона тайного позора, с этого острова, где на высоте своего счастья он испытал, чем оканчивается счастье человека, — с совершенно независимой властью и с беспредельным потворством себе, предавшемуся на служение исключительно только заботам о собственной жизни, — он писал своему раболепному и развращенному сенату, что не знает о чем написать и жалуется на всех богов и богинь, что они его загубили[119]. Редко свет видел такие поразительные доказательства, что все

богатейшие дары его, заключающиеся в обаянии золота, обращаются в пыль и прах; что громаднейшие здания, служащие для личного блеска и удовольствий, не защитят от вторжения несчастий и не устоят против них, как сложенные детьми грудки песка против морского прилива.

Так грустно и печально оканчивается обыкновенно греховное собирание имуществ богатыми и владыками. Виновная совесть служит для них достаточным мстителем и, если бы нам отдан был во владение целый мир, то он ни на час не мог бы утешить наших внутренних терзаний, вознаградить хоть отчасти за эти мучительные страдания.

Но кто стал наследником царства небесного, тот становится господином над громадным и вещественным миром; тот бесконечно чист. Царство Божие там, где нет ни малейшего подобия ни власти, ни разрушительных даров сатаны; где душа при всяком искушении смело может повторить ответ Иисуса; *отойди от Меня, сатана, ибо неписано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи*[120].

Таким образом Иисус явился победителем посредством самоотвержения, которое одно и может предоставить победу. Минуты этого великого борения, увенчанного победой, можно считать самыми лучшими и счастливейшими в жизни человеческой. В них чувствуется такое возвышенное наслаждение, которое недоступно для наших земных выражений.

Тогда оставляет Его диавол, прибавляет св. евангелист Матфей, — *и се, Ангелы приступили и служили Ему*[121].

ГЛАВА X

Первые Апостолы

Вышедши победителем из тройственного искушения, Спаситель покинул пустыню и возвратился к волнам Иорданским.

Три первых евангелиста[122], пропуская некоторые происшествия, начинают описание Иисусова учения с заключения в темницу Иоанна Крестителя и сообщают только об удалении Господа в Назарет. св. евангелисту Иоанну обязаны мы сведениями о днях, которые следовали непосредственно за искушением. Все внимание этого четвертого евангелиста обращено на учение Иисуса в Иудее. Он, по-видимому, поставил себе задачей не рассказывать того, чего не видал лично, и есть много намеков, что он был связан с Иерусалимом какими-то личными отношениями. По занятиям своим Он был рыболов, и нет ничего невозможного в том, что Он живал в Иерусалиме, в известные времена, по торговым делам отца и брата, имевших свое судно и бывших хозяевами наемных работников; потому что рыба из Галилейского озера распродавалась в Иерусалим в большом количестве. Как бы то ни было, но Иоанн единственный евангелист, сообщающий нам о призвании первых апостолов, со всеми особенностями и оттенками, которые неизгладимо начертались в его сердце и памяти.

Депутация синедриона, о которой мы уже упоминали, приходила к Иоанну Крестителю, по-видимому, за день до возвращения Спасителя из пустыни. На следующее утро[123] Креститель, увидев приближающегося Иисуса, торжественно и прямо засвидетельствовал, что это Мессия, указанный ему ясным знамением, что это — Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Нам неизвестно, что думал Предтеча, произнося эти слова: разумел ли он агнца пасхального или агнца утренней и вечерней жертвы. Неизвестно и то, было ли действительно в выражении Его употреблено слово «мира» или это только греческий перевод еврейского слова «народ»; понимал ли он, как изумительно глубока важность его выражения, или он высказал это вне себя, — в пророческом вдохновении. Но совершенно ясно, что так

как все его мысли, обязанности и положение извлечены из пророчеств о событиях евангельских, то он должен был употребить это выражение с видимым желанием изобразить картину божественного терпения и страданий, согласно пророчества Исаии и Иеремии[124]. Слова его должны были иметь то значение, что этот кроткий и безгрешный человек должен быть человеком страданий и что эти страдания предпринимаются для спасения Его народа. Нашли или нет слова эти верный отголосок в сердцах слушателей, но во всяком случае они должны были возбудить в их умах мысль о безгрешности, страдании и искуплении. Замечательно однако, что на первый день это свидетельство не имело никаких последствий. Только на второй день, когда Креститель, стоя вместе с двумя своими учениками и видя снова пришедшего к нему Иисуса, с благоговением и удивлением воскликнул: *се, Агнец Божий!* — то два молодых галилеянина, два ученика Иоаннова, последовали за удалявшимся Иисусом. Услышавши звук их робких шагов и обратившись назад, чтобы посмотреть на тех, которые приближались к Нему, Иисус кротко спросил их: *что вам надобно?* Но какая глубина мысли в вопросе Спасителя, как он необходим для всех, кто приходит к Господу! Один из известнейших учителей, Бернард, имел обычай постоянно спрашивать себя: «Бернард, зачем ты здесь?» Вопрос этот истекал прямо из этого спокойного и простого вопроса: «что вам надобно?»

Равви! — сказали они Ему, называя Его почетным в то время званием учителя, — *где живешь?*

Где жил в то время Иисус, неизвестно. Может быть, во временном суккофе, или шалаше, покрытом сверху полосатой аббой, обычной на востоке одеждой, и заслоненном с боков перевитыми между собой ветвями; потому что такие суккофы служили единственным жилищем для сотни людей, приходивших к крещению Иоаннову.

Так как это было только начало учения Иисусова и они не знали определительно, кто Он таков; не слыхали дивных слов, сходивших с уст Его; при следовании за Ним руководствовались неопределенными побуждениями или даже, может быть, простым любопытством, то ясно, что они пошли за Ним добровольно и желали высказать Ему предмет их свободной воли, Он отвечал им: пойдите и увидите[125]. Опять слова были просты и хотя встречаются в очень важных местах Св. Писания, но никогда не производили большого влияния, как при

настоящем случае. И действительно они пришли, увидели, а так как было около десятого часа, то есть около четырех часов пополудни, потому что евреи считали часы с шести часов утра, то остались там на целый день и, вероятно, провели всю ночь, убедившись глубоко, что царство небес наступило; что надеж ды длинных веков исполнились; что они были в присутствии Того, кто был желанием всех народов: первосвященником большим Аарона, пророком высшим Моисея, царем славнейшим Давида, истинной звездой Иакова и скипетром Израиля.

Имя одного из этих юношей было Андрей, которого церковь и прозвала первозванным; другой, которого имя скрыто, был сам благовестник, любимый ученик, св. евангелист Иоанн. Немудрено, что самомалейшие подробности, даже самый час события, высоко ценились его памятью и не были забыты в глубокой старости.

Первой заботой св. Андрея было найти поскорее брата своего Симона и сообщить ему о великой находке. Он привел его к Иисусу, который, взглянув на него пристально царственным взором, проникающим в самые глубокие тайники душ человеческих, сказал Ему: ты Симон, сын Ионин; ты наречешься Кифа, что значит камень (Петр). Это было символическое изречение, на которое нельзя смотреть, как на произвольное изменение только имени. Так как слово «Иона» по-еврейски означает «голубь», то некоторые толкуют, что этим изречением Господь хотел сказать: ты, Симон, сын слабого голубя, сделаешься твердым, как скала. Существенное значение имен и предсказание в них судьбы человека были постоянными верованиями евреев всех веков. На самый язык свой они смотрели как на священный, как на пророчественные драгоценные камни на груди Ааронової. Их верование в таинственный смысл и могущество звуков языка может показаться пустым и суеверным для человека искуственно образованного, но разделялось многими великими мыслителями каждого века.

Почему же однако эти два галилейские юноши, Иоанн, пылкий и восторженный, и Петр, быстрый в своих привязанностях, но робкий в решениях, с первого же взгляда, с первого слова бросились к ногам Иисуса? По виду или по вдохновению узнали они в назаретском плотнике предсказанного пророками Мессию, Сына Божия и Спасителя мира?

Нет сомнения, что они догадались отчасти из Его слов, отчасти из свидетельств о Нем Иоанна Крестителя, а отчасти и по Его виду. Предания об этом последнем предмете весьма различны, и мы считаем нелишним на них остановиться.

Кто изучал средневековые изображения Спасителя, должен был заметить, что некоторые из них, особенно в требниках, были лишены всякого благообразия; напротив того, другие представляли самый высокий идеал красоты человеческой. Откуда же происходило это противоречение?

Из объяснений пророчеств, в которых старались отыскать не только описание жизни, но и наружности Мессии.

Древняя церковь, привыкши видеть, что языческая скульптура старалась довести до совершенства изображения богов и богинь Олимпа и опасаясь внести в свои пределы роковую испорченность чувственного развращения, находила, по-видимому, удовольствие уничтожать уважение к красоте лица. Идеал наружного вида Спасителя она извлекала из описаний пророка Исаии[126], представлявшего Его таким, *что многие изумятся, смотря на Него, столько был обезображен паче всякого человека лик Его и вид Его паче сынов человеческих; и мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.* Она извлекала его из псалма Давидова: *Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение народе; Я пролился, как вода; все кости мои разсыпались; сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя изсохла, как черепок; язык мой прильпнул к гортани моей, и Ты свел меня к персти смертной*[127]. Красота Его, говорит Климент Александрийский[128], была в Его душе и действиях, а наружность Его была принижена. Св. мученик Иустин[129] описывает Его не имеющим ни красоты, ни славы, ни вид внушающего уважение. Телом, говорит Ориген[130] Он был мал, нехорошо сложен и не благороден. Тертуллиан[131] пишет, что тело Его не имело красоты человеческой, еще менее небесного блеска. Подобные безобразные выводы дошли до ужасных крайностей.

Напротив того другие, будучи поражены такими возмущающими душу мыслями, представляли в чертах Иисуса отражение дивной красоты Давида, Его великого предка, а блаженный Иероним и Августин предпочитали применять к Нему слова Псалма 64. 2, 3: *Ты*

прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; препояшь себя по бедру мечем Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею. Естественно, что за отсутствием положительных указаний, этот взгляд встреть сильнейшее сочувствие и был осуществлен в величайших произведениях Фра Анджелико, Микель Анджело, Леонардо да Винчи, Рафаэля и Тициана.

Независимо от преданий, мы с почтительным убеждением веруем, что не было ничего неприятного, а напротив, как утверждает блаженный Иероним, «сияло нечто небесное» в земном виде Спасителя, которым облечено было вечное Божество и бесконечная святость. Безукоризненная совесть, дух мира чистейшая жизнь не могли не отражаться в чертах лица Сына человеческого.

О ком Иоанн свидетельствовал как о Мессии; за кем народ с радостью признавал право на царство; кого Иерусалим приветствовал торжественно, называя сыном Давидовым; кому женщины служили с таким глубоким уважением; чей образ, виденный во сне женой римского прокуратора, вдохнул в эту гордую римлянку благоговейную заботливость; чье одно слово заставило Филиппа и Матфея бросить все и последовать на Ним; чей один взор довел до раскаянья сердце Петра; в чьем присутствии одержимые злым духом трепетали от страха и успокаивались; пред кем в минуты слабости Его немощной плоти, после предания и измены ученика, самые заклятые враги Его задрожали и пали ниц, несмотря на их бешеный гнев, — Тот не мог не иметь величественного вида пророка и первосвященника. Все события Его жизни убеждают, что в лице и во взорах Иисуса выражались сила, терпение, достоинство и влияние, которое привлекало к Нему все окружающее. «Конечно, — говорит блаженный Иероним, — огненное пламя и небесная светлость блистали в Его очах и величие Божией славы сияло на лице Его».

Третий день по возвращении из пустыни проведен был Иисусом, по-видимому, в разговорах с новыми учениками, а на четвертый Он *восхотел идти в Галилею*[132] и во время путешествия встретился с другим молодым рыболовом, Филиппом из Вифсаиды, которому было тогда около тридцати лет. Это единственный апостол, у которого было греческое имя. Имя Андрей точно также греческое, но у него было и еврейское — Дидим (близнец), а у Филиппа другого имени не было, по крайней мере нам неизвестно. Легко может статься, что это имя было

дано ему вследствие распространенного обычая называть детей по именам царствующих особ, а может быть и то, что оно указывало на родство с эллинским населением, жившим в смешении с галилеянами на берегах Геннисаретского озера. Это могло быть поводом к тому, что к св. Филиппу, прежде чем к кому-либо из апостолов, обратились греки, которые в последнюю неделю земной жизни Господа желали видеть Его. Одного слова *иди за мною!* было достаточно для того, чтобы благородный, простосердечный рыболов привязался к Иисусу до конца своей жизни.

На следующий день к этому священному и счастливому обществу присоединился пятый неофит. Торопясь сообщить свое открытие, Филипп отыскал своего друга Нафанаила. Так как Варфоломей, или Вар Фолмаи, означает «сын Фолмаи», следовательно, только имя по отцу; имя Нафанаила из Каны Галилейской между учениками Иисуса Христа встречается только еще один раз в Евангелии от Иоанна[133], а о призвании собственно Варфоломея в апостолы нет никакого рассказа, то Нафанаила и принимают за апостола Варфоломея. Разобщение со всем миром Иисусовой жизни было до сего времени так велико, что Нафанаил, знавший Филиппа, не знал ничего о Христе. Простой разум Филиппа находил, по-видимому, удовольствие в противопоставлении величия призвания Иисуса с неважностью Его происхождения: *мы нашли Того, о котором писали Моисей в законе и пророки*, не принца из рода Иродова, не князя Асмонея, не светильник из школ Гиллела и Шаммая, не восторженного юношу из пооедоватслец Иуды из Гамалы, нет!.. *Иисуса, сына Иосифова, из Назарета*[134].

Нафанаил понял, по-видимому, мысль Филиппа и обратил внимание прямо на место происхождения. *Из Назарета*, сказал он, *может ли быть что доброе?* Ответ Филиппа был тот же, который дал Иисус двум первым ученикам своим: *пойди и посмотри.* До сего времени вопрос «может ли быть что доброе из Назарета?» повторяется нередко между людьми; ответ на него остается один и тот же, как был тогда. Но во времена Спасителевы слова: «прийди и посмотри» означали: пойди и посмотри на Того, Кто говорит, как не говорил еще никто до сего времени! Приди и посмотри на Того, Кто, будучи только плотником из Назарета, уловляет души всех приближающихся к Нему, с первого взгляда открывает глубокие задушевные тайны, чувством

горячей любви привлекает к себе закоренелых грешников! Приди и посмотри на Того, от которого, по-видимому, веет непреодолимое очарование безгрешной чистоты и недоступного величия божественной жизни! С тех пор как небеса, отверзавшиеся при видениях св. Стефана и Павла, затворились снова, земной вид Богочеловека не бывал уже видим и мы не можем повторить ответа св. Филиппа в том смысле, как он был им сказан. Зато в ответе на все сомнения мы можем сказать: приди и посмотри, как умирающий мир воскрес, растлевший возродился, одряхлевший обновился! Приди и посмотри, как мрак осветился, отчаяние изгнано! Приди и посмотри на попечение о заключенном в темницу преступнике, на свободу ходившего в оковах раба! Приди и посмотри, как бедное, невежественное большинство освобождено от невыносимого ига меньшинства богатых и ученых! Приди и посмотри, как восстают дома призрения больных и сирот на развалинах колоссальных амфитеатров, где некогда проливалась кровь человеческая! Приди и посмотри, как гнусные символы всеобщего растления уничтожены и заменены святейшими храмами! Приди и посмотри, как селения роскоши и тирании преобразились в красивые и счастливые жилища, безжизненный атеизм — в оживотворяющее христианство, возмутители — в детей, идолопоклонники — в святых мужей! Да, приди и посмотри на величественные деяния этой великой, продолжающейся девятнадцать веков, христианской драмы, тогда ты увидишь, что все это стремится к одному великому развитию, издавна предначертанному в Совете Небесной Воли; тогда ты в почтительном смирении постигнешь, что каждый кажущийся случай в действительности есть действие Провидения, совершающего все в стройном порядке и с полным убеждением; тогда услышишь ты голос нашего Спасителя, который «отыскивает тебя со словами любви и сострадания, — и ты воскликнешь с Нафанаилом: «Учитель! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев!»

Разборчивость Нафанаила относительно места происхождения пропала мгновенно. Увидя его, Иисус узнал на челе его божественную печать и сказал ему: *вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства; Почему ты знаешь меня?* спросил Нафанаил. *Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей,* отвечал ему Иисус, *Я видел тебя.*

У благочестивых евреев существовал обычай, одобренный и Талмудом, совершать *Кришму*, или дневную молитву, под смоковницей. Некоторым поэтому и представлялся чем-то знаменательным вызов апостола из-под тени дерева, которое служило символом еврейских уставов и преданий, но уже начало склоняться к земле; ибо они мгновенным возбуждением в уме апостола подобных мыслей, вследствие напоминания о смоковнице, хотели объяснить внезапный ответ Нафанаила: «Равви! Ты Сын Божий; Ты Царь Израилев!» Но если при поэтическом настроении самые обыкновенные обстоятельства могут представляться в виде аллегории, то этого одного недостаточно для вызова подобного ответа. Всякий с первого взгляда в этом случае должен быть поражен кажущейся несоразмерностью между основанием и последствием. Но для правильного объяснения быстроты убеждения мы должны взглянуть поглубже в душу человеческую.

Есть минуты, когда милость Божия осязательно посещает человеческое сердце; когда мысль орлиным полетом стремится в безграничное небо; когда, восхищенные присутствием Божиим, мы слышим глаголы неизреченные. В это время мы проживаем целую жизнь, потому что возбуждение душевное таково, что уничтожает всякое время. В подобные минуты человек становится ближе к Богу, познает Бога и Он, по-видимому, знает его. Если бы кому-либо из людей можно было видеть в это время нашу душу, то он узнал бы все, что есть в нашем существе великого и бессмертного. Но видеть это невозможно для человека: возможно только Тому, чья рука ведет нас, чья десница управляет нами, хотя бы мы взяли крылья утра и полетели в отдаленные моря[135]. Подобное ощущение должен был испытывать Израильтянин, в котором не было лести, когда он сидел, молился и думал под своей смоковницей. Об этих-то ощущениях, известных только тому, кому дано читать тайны людского сердца, напомнил Господь Нафанаилу. Пусть же скажет тот, кому довелось испытать подобные чувства: как бы он взглянул на такого человека, который бы открыл ему то, что он в эти минуты внутренно видел и проник его сердечные движения? А то, что в жизни христиан бывали такие уединенные думы, такое восхищение до третьего неба, в продолжении которого душа стремится преодолеть границы пространства и времени и становится лицом к лицу с Вечным и Невидимым, — такое

воспламенение небесным огнем, которое в одно мгновение навсегда сжигает все, что есть в нас мелочного и низкого, — то неоспоримо доказано словом и делом. И если кто-либо из моих читателей испытал на себе это божественное изменение, уничтожающее прежнее и в то же время творящее или обновляющее нового человека, то такой поймет это быстрое сочувствие, это мгновенное убеждение, это сотрясение как от электрического удара в сердце Нафанаила, которое заставило его броситься пред Иисусом на колена и вызвало такой внезапный ответ: *Равви, Ты Сын Божий; Ты Царь Израилев.*

И действительно впоследствии вся жизнь Нафанаилова обличала в нем душу спокойную, требующую уединения и притом восторженную, которой место было не на земле, но там, где царствует вечный мир и спокойствие. Мир был для него ничто, потому что он погрузился в Бога: но мы уверены, что ни в дни его мученичества, ни даже в минуту предсмертной муки, он не забыл тех слов, в которых выражалось, что Господь взыскал и познал его и внял задолго прежде задушевным его думам. Без сомнения, не однажды, а много и много раз исполнялось над ним и его сотоварищами обещание Спасителя, что они глазами веры будут видеть *небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому*[136].

ГЛАВА XI

Первое чудо

На третий день, говорит св. евангелист Иоанн[137], *был брак в Кане Галилейской.* Описывая с полным знанием и живым воспоминанием каждое событие, совершившееся в эти достопамятные, божественные дни, он делает свое указание на них так, как будто они всем вполне известны. Третий день понимали различным образом, но проще всего считать его за третий день после отправления в Галилею. Если Иисус с вод Иорданских близ Иерихона *восхотел идти в Галилею,* то при поспешном путешествии, идя обыкновенным путем, Он должен был остановиться на первую ночь в Силоаме или Сихеме, на вторую в Енганниме, на третью, пересекши долину Иезреель, мог достигнуть Назарета и, узнав, что ни Матери, ни братьев там нет, через

полтора часа прибыть в Кану, ко времени брака. Церемониал на востоке начинался не раньше сумерек, когда невеста, покрытая с головы до ног широкой и развевающейся по ветру вуалью, убранная живыми цветами и одетая в лучшие свои платья, при свете факелов, с песнями, под звуки флейты и барабана, отправлялась обыкновенно в дом жениха. Там ожидали ее девицы — односелки и встречал жених со своими молодыми друзьями.

Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. Иосиф вероятно уже умер, что можно заключить из полного молчания о нем евангелистов, которые, после посещения им Иерусалима на пасхе, даже не поминают его имени.

Продолжался ли брачный пир, по обычаю[138], семь дней или менее, как это бывало между бедняками, неизвестно: но пир еще не был окончен, а оказался недостаток в вине. Кто знает, как уважается на востоке гостеприимство, какой священной обязанностью, доходящей до расточительности, считается угостить не только званого, но даже неожиданного гостя, тот поймет, какое ужасное несчастье, какой неожиданный удар для новобрачных представлял этот оказавшийся внезапно недостаток!

Никто так, как Мария, не знал, кто был Ее Сын. Она чувствовала, что для Нее прошли тридцать лет терпеливого ожидания, пока Он объявит себя миру тем, чем Он есть. Прошло то время, когда Он рос перед Ней, как растут прочие дети; развивался в кротости, смирении и премудрости пред лицом Божиим. Теперь, в тридцать лет, голос великого и высоко прославленного народом пророка провозгласил Его обещанным Мессией; теперь Он имел учеников, признававших Его учителем и Господом. Она чувствовала, что близок час Его великого учения, что утратились навсегда их прежние отношения; что в этом случае Его мысли не суть Ее мысли, что Его пути не суть Ее пути[139]. Вследствие этого, несмотря на сильное желание любвеобильного сердца помочь горю новобрачных, со стороны ее последовало только робкое замечание: ***вина нет у них;***со стороны Иисуса ответ: ***что мне и тебе, жено? еще не пришел час Мой.***Ответ этот с первого взгляда кажется как-будто жестким, но это зависит частью от перевода, частью от изменившихся общественных условий. Слово «женщина» употреблялось как самое почтительное при обращении к особам женского пола царственных домов, как самое нежное при об ращении

к любимым женщинам, а слова: «что Мне и Тебе» представляют буквальный перевод сиро-халдейской фразы *маливелак*, поставлявшейся нередко предисловием к тому, что будет говорено далее, без всякого нарушения вежливости.

Доказательством служит то, что тотчас после этого ответа Мария сказала служителям: ***что скажет Он вам, то сделайте.***

На востоке первейшей необходимостью считается после путешествия омыть ноги, перед едой — умыть руки, а для исполнения этих потребностей там обыкновенно стояло (как это в обычае и теперь) возле входа в дом шесть огромных каменных водоносов, наполненных водой и заткнутых пучками свежих зеленых листьев, чтобы сохранить в воде прохладу. Каждый из этих водоносов содержал от 2 1/2 до 3 ведер воды, и Иисус велел наполнить их до верха. Когда, согласно Его велению, служители, разливши воду из водоносов по небольшим сосудам, отнесли ее к распорядителю пира, то этот последний, *отведав воды*, сделавшейся вином (он не знал откуда оно; знали только служители, черпавшие воду), позвал жениха и сказал ему: *всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе.*

Это было первое чудо, которое совершено просто, божественно, спокойно, в котором нет ничего выдающегося. Такой образ совершения чудес превосходит наши понятия, потому что мы при чудесах предполагаем особую торжественность, гром восклицаний и удивления. Современники Его толковали тоже, что будто бы на Нем, — для Которого горы и моря представляются ничтожеством, пред очами Которого звездное небо кажется светлой точкой в неизмеримой пустыне, — на Нем лежала обязанность совершать Свои чудеса перед учеными, которые могли бы правильно оценить их. Но Иисус ведал, что *род сей лукав и ищет знамения*[140], а потому *утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам*[141]. Он с укором говорил современному народу: *вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес*[142]. Поэтому для истинно верующего Сын Божий останется Сыном Божиим, хотя бы Он и не творил чудес, — подобно Иоанну. Совершенные Им чудеса направлены были не для удовлетворения праздного любопытства, не для убеждения холодного скептицизма: это были дела смиренной веры и всеобъемлющей любви, которая не только не отказывала страдальцу, просящему о помощи, но

предупреждала нередко просьбы. Чудеса были несущественными, а только случайными знаками Его великого назначения; главным предметом их было облегчение страждущих, откровение священных истин, а в настоящем случае, при браке в Кане, восстановление невинной радости между огорчившимися *в день женитьбы и в день веселия сердец их.* Незначительная деревушка, простая свадьба, скромный дом, несколько человек гостей из простого звания были свидетелями первого чуда, как несколько пастухов были свидетелями сверхъестественных событий, совершившихся при первом появлении на свет Иисуса.

Пусть иные для лучшего понимания или разъяснения чуда предполагают, что это претворение воды в вино было ускоренным природным процессом, или что вода была намагнитизирована, или наконец, что гости были в особом настроении ко всему сверхъестественному. Не будем обвинять их в суеверии и уступках духу скептицизма для того, чтобы не показаться насильственно требовательными фарисейскими богословами, Иисус преподавал уроки милости и правды всем вообще людям, как принимавшим, так и отвергавшим Его. Будем снисходительны к заблуждающимся и сохраним в своем сердце, что чудо есть чудо и нам никогда не достигнуть того, чтобы понять средства, которыми оно совершается. Принимая существование чудес, мы допускаем нечто превышающее, но не вовсе уничтожающее законы, по которым действует природа. И если мы однажды навсегда убедимся, что природа есть не что иное, как выражение мысли ее Творца; если мы примем в основание научный факт, что самое простейшее, элементарное действие законов природы выходит из пределов объема нашего самого возвышенного понимания; если единожды навсегда познаем, что Божественное Провидение не есть отдаленный абстракт, но живая и любящая сила, заботящаяся о жизни человеческой; наконец, если мы однажды навсегда уверимся, что Христос есть Единородный Сын Божий, Божие Слово, сошедшее на землю для совершения дела Отца, с тем, чтобы заявить Его человечеству: то для поддержания нашей веры нет надобности в чудесах евангельских. Мы будем смотреть на них, как на действия для нас сверхъестественные, а для Его божеского существа настолько же обыкновенные, естественные и неизбежные, как для солнца лучеиспускание. Они, как говорит св. Иоанн, не были ни

предвестия, ни силы, ни знамения, но дела, — дела обыкновенные для Того, чье существование на земле было самым высшим из всех чудес.

Обратим же особое внимание на две характерные черты этого первого чуда Спасителя.

Первая из них есть отсутствие всякого себялюбия. Кто, для укрощения собственного своего жестокого голода, не хотел обратить в хлеб камни в пустыне, Тот с удовольствием для устранения огорчения и забот скромного свадебного пира обращает воду в вино. Первым чудом Моисея было обращение реки в кровь для сурового наказания преступного народа; первым чудом Иисуса было обращение воды в вино для успокоения забот невинного семейства.

Сверх того, подобно всем чудесам Христовым, это первое чудо соединяет в себе характер дела милосердия, эмблемы и пророчества. Мир дает сначала то, что у него есть лучшего, а потом подонки и горечь. Христос пришел обратить униженное в великое и прекрасное: закон Моисеев — в закон свободы; крещение Иоанново — в крещение Духом Святым и огнем; самоотречение грустного уединения в самоотречение счастливого домашнего крова; заботу и вздохи — в надежду и благословение, воду — в вино. Священное таинство брака, почтенное и украшенное Его святым присутствием и удостоенное первого чуда, предрекало таинственный брак между Ним и церковью, а простая вода, измененная чудесным образом в вино, была прообразованием нашей земной жизни, измененной и облагороженной предвкушением небесных радостей, прообразованном того вина, которое Он будет пить с нами в царстве Божием на брачной трапезе Агнца.

ГЛАВА XII

Местность, где началось Христово учение

Первое чудо Спасителя убеждает нас, что Он пришел не удалить своих учеников от мира и их обычных обязанностей, а научить людей жить лучше, благороднее и счастливее в мире. Он желал видеть их супругами, отцами и гражданами и доказал, что настолько же одобряет восторженность аскета в пустыне, видение мистики в пещере, насколько святые радости в семействе, невинную веселость в общественных собраниях. Он проповедовал общительность, удостаивал своим присутствием невинные собрания.

Ввиду таких нравственных правил, сама местность, которую он избрал для первоначального своего учения, представляет нечто знаменательное. Иоанн Креститель проповедовал среди безмолвия пустыни, при водах Мертвого озера; голос его отражался только в кремнистых стремнинах, возвышавшихся над знойным Гором. Ближайшие к месту проповеди города были построены на случай отражения набегов неприятельских; путь туда был залит людской кровью. Все вокруг напоминало близость преступного прошедшего и мертвенного запустения. Вода отделяла из себя смолянистый запах; плоды под прикосновением обращались в пепел; горячая, белая пыль поднималась из-под ног путника, шедшего над могилой погрязших в чувственности и схороненных под озером городов. Вблизи таких мертвенных вод, под медно-красным небом, среди раскаленной пустыни, изрытой оврагами, проповедовал Иоанн крещение покаяния. Иисус Христос, сопутствуемый матерью, братьями и учениками, центром первоначального своего учения избрал красивый, кипучий деятельностью город, мраморные здания которого гляделись в светлые воды разливавшегося близ него озера.

Это был Капернаум, расположенный под красивыми склонами холмов, окружающих местность, которую можно назвать земным раем. В целой Палестине нет ни таких деревьев, ни таких садов, как в стране Геннисаретской. Самое имя ее *ганнесарим* означает сады изобилия. Бесчисленное множество цветов рассыпано по небольшой равнине, которая выглядывает изумрудом. Нельзя выбрать природы благодатнее,

местности живописнее и соответственнее тем словам благовестия, в которых проповедовались человечеству самые утешительные надежды, самые чистейшие удовольствия. Необходимо было, чтобы первые звуки этого благовестия раздались в стране необычайно красивой, как Геннисаретская. В обстановке не было ничего пышного, ничего колоссального: не было ни горной суровости, ни горного величия; не видно было того мертвого великолепия, которое поражает наши глаза при взгляде на огненные вершины тропических вулканов или на ледяные стремнины северного хребта. Местности, которые вечно грозят пожаром или потоплением, могли бы ему служить символом нашей жизни только тогда, когда бы ей суждено было проходить постоянно в убийственных горестях и неотвратимых несчастьях. Эти зеленые пастбища, эти тихие воды, эти пестрые птички и цветущие олеандры, эта углубляющаяся поверхность туземного озера, своей прохладой предоставляющего истинную усладу раскаленной от жары стране, — вполне соответствовали характеристике жизни, составленной из невинных и простых элементов и полной незатейливыми удовольствиями, которые, как дождь и свет солнечный, предоставлены в одинаковой мере для всех и для каждого. Первое, что путешественник видит, выходя из Голубиной долины и бросая первый пристальный взор на Геннисарет, — это небольшое, в 20 верст длины и 9 ширины, озеро в виде арфы, от чего, говорят, произошло и первоначальное его название (*Хиннереф, или арфа).* На дальней, или восточной, стороне тянется зеленая полоса шириной около 200 сажен, за которой поднимаются на 300 фут. высоты над уровнем озера откосы уединенных холмов, прорезанных сероватыми оврагами, без деревьев, без поселения, без всяких следов обработки, — местность, куда нередко удалялся Спаситель, когда после тяжких трудов искал полного уединения в беседе с Богом. Озеро, — с его прозрачными водами и каймой из цветущих олеандров, сквозь зелень которых просвечивают светло-голубые крылья сивоворонок, — с множеством пеликанов, опускающихся к воде за рыбой, — лежит на дне большой котловины, или бассейна, на 500 фут. ниже Средиземного моря. Отсюда палящий изнурительный жар на долине, но отсюда же разнообразие растений, плодородие почвы, роскошь цветов, изобилие жатв, которые поспевают месяцем раньше, чем где бы то ни было, и множество ручейков, которые журчат,

ниспадая с холмов в озеро. Теперь, кроме небольшого разрушающегося городка Тивериады, достигшего последней степени одряхления, и несчастной деревушки Меджделъ (древн. Магдала), — где дикость жителей лучше всего высказывается в том, что дети играют на улице совсем нагие, — там нет никаких жилых мест, некогда окружавших берег; жалкая, исковерканная лодка, не всегда способная к плаванию, — заменила веселый и многочисленный флот. Отвратительная неподвижность и апатическое бездействие настоящих прибрежных жителей доказывает ясно, что рыбы еще много. Но красоты природы остались до сего времени те же. Так же неизменно лежит озеро у склона холмов, отражая переменные цвета атмосферы, как опал, оправленный в изумруд; так же чисты и прозрачны воды, как и в то время, когда лодка апостола Петра качалась на их струях, а Иисус смотрел в их кристальную глубину; так же, горлицы воркуют в рощах, пеликан ловит рыбу; так же, как прежде, зеленеют там пальмы и поля, струятся источники, но вместо строений рассеяны серые груды развалин. Настолько убавилось населения и деятельности, настолько прибавилось торжественности и интереса. Если все до последнего следа людского населения исчезнут; шакал и гиена будут выть около лежащих в тени обломков синагог, где некогда учил Христос, то и тогда избранный Иисусом для начала учения Геннисарет[143], с его уединенными струями, пробудит в нас святые восторги.

Но огромную разницу представлял общий вид Теннисаретской долины во времена Спасителя. Она была гораздо красивее, потому что гуще, зеленее и лучше обработана. Иосиф[144], в припадке пылкого восторга описавши красоту вод озера, дивную температуру, пальмы, виноградные лозы, померанцы, фиги, миндальные деревья, гранаты и теплоту весны, говорит, что времена года по-видимому здесь спорят за честь владения этой местностью, и природа, для того чтобы достигнуть разнообразия, истощила тут все свои силы. Талмудисты толкуют, что эта долина, гордость природы, принадлежащая колену Невфалимову, была такова во исполнение Моисеева благословения: *Невфалим насыщен благоволением и исполнен благословением Иеговы; море и юг во владении его*[145]. Придумана была даже поговорка с более глубоким смыслом, чем предполагали ее составители, что «Господь сотворил семь озер для земли Ханаанской, и оставил себе одно Галилейское».

Но не по одной только красоте, центральному положению и народной деятельности Галилея была особенно приспособлена к восприятию Христова учения, а в исполнение древнего пророчества Исаии, что *земля Завулона и земля Невфалима, по ту сторону Иордана, Галилея языческая увидит свет великий* и что *для тех, которые сидят в стране и сени смертной, возсияет свет*[146]. Потому что Иисус Христос даже во время своей земной жизни должен был быть *светом к просвещению язычников*, точно также как *славой народа своего Израиля*[147]. Люди всяких национальностей жили по соседству, ибо это была дорога к морю. «Города, — говорит Иосиф[148], — лежали там очень тесно и множество поселений было, по случаю плодородия земли, до того густо населено, что в самом малейшем из них находилось до 15000 жителей». Причем он прибавляет, что тамошние жители был народ деятельный и старательный; обрабатывали каждый клочок богатой и плодоносной почвы и с детства привычны к войне. Около четырех дорог вело к озеру. Одна лежала на западной стороне к низовьям долины Иорданской; другая, переехавши мост на южной стороне озера, проходила через Перею к волнам Иорданским близ Иерихона; третья пролегала через Сепфорис, веселую и нагорную столицу Галилеи, к знаменитому порту Акре на Средиземном море, а четвертая тянулась через горы Завулоновы к Назарету и таким образом через Есдрелон в Самарию и Иудею. Через этот участок Палестины проходили огромные караваны из Египта в Дамаск, и язычники, которые пробирались в Юлиеву Вифсаиду или Кесарию Филиппову, постоянно были видимы на улицах Капернаума. Во времена Иисуса Христа, Галилея, по населению и деятельности, была промышленной провинцией Палестины и воды этого озера рассекались почти четырьмя тысячами судов разного вида, начиная от военных кораблей римлян до грубых лодок рыбаков Вифсаиды и позолоченных шлюпок Иродова дворца. Итурия, Самария, Сирия, Финикия находились в таком близком расстоянии, что для достижения туда стоило только переехать реку, озеро или холм. Город Тивериада, — который Ирод Антипа построил, сделал столицей Галилеи и назвал по имени царствовавшего римского императора, — возведен был с удивительной быстротой. В то время, когда евангелист Иоанн писал свое Евангелие, озеро Галилейское получило уже, по вновь созданному городу, название Тивериадского. Если Иисус

Христос не входил никогда в языческий амфитеатр или на улицы Тивериады, проходившие по разрытым кладбищам (что считалось осквернением могил), то Ему часто приходилось видеть в отдалении стены этого города с их укрепленными башнями, а равно и золотой дом Антипы, отражавший далеко в озере мраморных львов и скульптурные архитравы. Европа, Азия и Африка платили контрибуцию этому народу; люди всех национальностей встречались на его рынках. По всему протяжению западного берега Геннисарета жило смешанное население из евреев и язычников; дикий сын Аравийской пустыни мог быть там видим бок о бок с предприимчивым финикиянином, изнеженным сирийцем, презрительным римлянином, изворотливым, коварным и развращенным греком.

Дни приятного уединения в счастливой долине Назаретской прошли; началась жизнь постоянного труда, глубокой скорби, смятений, путешествий, борьбы, проповеди, исцелений и совершения добрых дел. При вступлении в общественную деятельность, Иисус в первый раз недолго оставался в Капернауме; но эти дни были типом Его остальной жизни. Ему пришлось проповедовать в еврейской синагоге, построенной римским центурионом[149], и дело Его милосердия в Кане стало известно людям всех национальностей. Всем было ясно, что вновь восставший пророк несходен со своим великим Предтечею, он явился открыть, что Вечность не есть нечто будущее, а только невидимое. Он пришел научить, что Бог есть не туманный абстракт, удаленный от людей бесконечной высью голубого неба, но что Он есть Отец, *о котором живем, движемся и есмы* и что служение Ему состоит не в жертвах и приношениях, а в делах милосердия и справедливости, в смирении и любви. Он пришел не с тем, чтобы нарушить природную гармонию жизни человеческой, чтобы поднять в ней бурю и волнение, но чтобы настроить каждую струну этой тысячеструнной арфы и согласить се с гармониею небесною.

Но местность, где стоял Капернаум, — этот город, который, по Евангелию св. Матфея, Иисус считал *своим*[150], который был свидетелем стольких великих чудес, слышал столько великих откровений, — остается до сего времени неразысканной. Достоверно известно, что он был на месте Кан-Миниега или Телль-Гума; но на месте которого из двух? Оба города находятся в соседстве с

Вифсаидою и Хоразином; оба примыкают к водам Геннисаретского озера; оба стоят на дороге к озеру; притязания того и другого на право быть Капернаумом подтверждаются сильными доказательствами; решение на пользу которого-нибудь из них представляет неразрешимое затруднение. Посетив местность и старательно изучив там многообъемные доказательства путешественников, я отдаю преимущество Телль-Гуму. Там, на высоко выдающемся месте, заваленном обломками белого мрамора, возвышаются разрушенные стены, в которых была, может быть, синагога, построенная в цветистом сложном стиле иродианского века, а среди зелени и гигантской заросли лежат разбросанные остатки колонн и архитрав, доказывающие, что на этом месте стоял красивый и богатый город. В Кан-Миниеге нет ничего, кроме обыкновенного разрушенного караван-сарая и множества сероватых груд, которые могут быть и не быть развалинами развалин. Но в которой бы из этих местностей ни был дом апостола Петра, признаваемый у евангелиста Матфея жилищем Иисусовым[151], — во всяком случае дом этот разрушен до основания. Даже странствующий бедуин старается избегать этих древних развалин, где бродят по ночам одни лисы да шакалы. Исполнилось грустное и торжественное проклятие, прогремевшее над этим живописным и цветущим городом: *ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе; то он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе*[152].

ГЛАВА XIII

Праздник Пасхи

Пребывание Иисуса в Капернауме было на этот раз непродолжительно[153]. Нет ничего невероятного в том, что Он выжидал только большого каравана богомольцев, который к этому времени собирался, чтобы отправиться в Иерусалим на праздник Пасхи.

Три первые евангелиста умалчивают относительно посещения Спасителем Иерусалима, начиная с двенадцатилетнего возраста до самой смерти. Один только св. Иоанн, согласно принятых им однажды навсегда предначертаний и характеристики своего благовествования, рассказывает о проповеди Христовой в первую Пасху и приводит обстоятельства ее сопровождавшие.

Выдающимся при этом событием было очищение храма. Но оно так мало повлияло на искоренение жадности, господствующего порока евреев, что Иисус вынужден был в более строгом виде повторить при конце своего учения и за четыре только дня до своей смерти.

Мы уже видели, какими огромными толпами прибывал народ в святой город к большим годовым праздникам. Тогда, также как и теперь, бесчисленное множество странников из различных местностей вносило с собой множество новых потребностей. Путешественник, который в настоящее время посещает Иерусалим в праздник Пасхи, совершает свой путь к воротам церкви Гроба Господня через толпу продавцов икон и разных мелочных предметов, покупаемых на память о посещении Гроба Господня. Эти мелкие торгаши, сидя с поджатыми под себя ногами на земле, не только наполняют все пустое пространство перед церковью, но даже захватывают примыкающие к ней улицы. Гораздо многочисленнее и гораздо крикливее были продавцы и покупатели, теснившиеся по пути, ведущему к храму, в Пасху, на которую пришел Иисус с прочими богомольцами, потому что тут продавались не драгоценности и безделушки, как нынче, а быки, овцы и голуби. Она в тот год (30 г. по Р.Х.) должна была быть в апреле. По обе стороны восточных ворот, даже до портика Соломонова, устроены были лавки для купцов и столики для менял или мытарей.

Требование на последних обусловливалось тем, что, за двадцать дней до Пасхи, священники начинали собирать древний священный налог — полсикля, или 45 коп. с человека, уплачиваемых ежегодно каждым евреем, богатым и бедным, в искупление за душу, и предназначенных на расходы служения в скинии[154]. Но выплачивать эту подать монетой, принесенной из разных стран, либо чеканенной из меди, либо носившей на себе языческие символы и надписи, считалось противозаконным. Можно было присылать такую монету из отдаленных мест, но каждый еврей, который являлся в храм, предпочитал вносить налог лично и в этом случае обязан был добыть мелкой серебряной монеты взамен обыкновенной ходячей. Менялы променивали ему с вычетом 5 %, в виде обыкновенного *колбан*, или роста.

Будь эта торговля сосредоточена на непосредственно прилежащих к священным строениям улицах, было бы извинительно, хотя и не совсем пристойно. Такие сцены происходили, читаем мы у языческих писателей[155], около храма Венеры на горе Эрике и около храма Сирийской богини в Гиераполисе. Скажем ближе. Они повторялись нередко при церкви св. апостола Павла. Но зло при храме Иерусалимском не останавливалось на этом. Соседство двора язычников с его широким промежутком и длинными аркадами, служило искушением для еврейской жадности. Из Талмуда мы узнаем[156], что некто Баба-бен-Бута первый пригнал 3000 овец в этот двор, а оттуда и в святилище. Лавки мелких торгашей и палатки менял примыкали прямо к священной ограде. Во внутренности двора язычников, страдая от жары в палящий апрельский день, заражая сам храм зловонием и нечистотами, томились целые стада овец и быков, пока погонщики торговались и менялись с богомольцами. Там были люди с огромными плетенками, наполненными голубями, а под тенью аркад, образуемых четырехугольными рядами Коринфских колонн[157], сидели за столиками, покрытыми стопками разной мелкой монеты, менялы, несмотря на всеобщее к ним презрение и брань за бесчестную торговлю. Таков был входной двор в храм Всевышнего! Двор, который был свидетелем, что этот дом, предназначенный быть домом молитвы для всех народов, был обращен в место, которое, по нечистоте, походило на бойню, а по торговой суматохе — на огромный базар. Мычанье быков, блеянье овец, говор на разных языках, торговля и

брань, звон монеты и стук весов мог быть слышан на соседних дворах и мешать пению левитов и молитвам священников.

Исполненный справедливого негодования и непреодолимого гнева к такому глубокому непочтению, Иисус, при входе в храм, сделал бич из лежавших на полу прутьев и, желая очистить священный двор от оскверняющих его нечистот, сначала выгнал без разбора овец, быков и гнусную толпу, которая окружала их[158]. Затем, подошедши к менялам, Он опрокинул их столы, рассыпавши заботливо сложенные груды разменной монеты и оставя хозяев собирать рассеянные по полу деньги. Потом, объявив повелительно: ***возьмите отсюда!*** — Он приказал удалиться продавцам голубей, но с меньшей строгостью; потому что голуби были жертвами бедняков. Наконец обратившись к устрашенной, оскорбленной и ворчащей про себя бесстыдной толпе, Он объяснил ей свое право, сказавши: *Дома* ***Отца*** *Моего* ***не делайте домом торговли***[159]**.** При сем ученики его вспоминали, что написано в псалмах Давидовых: ***ревность к дому Твоему снедает меня***[160]**.**

Отчего же такое множество невежественных странников не выразило никакого сопротивления? Отчего эти жадные торговцы удовольствовались только ворчанием и шепотом проклятий, когда видели, что быки и овцы их бродил и по улицам; сами они выгнаны; деньги их сброшены на пол молодым и неизвестным человеком в одежде презренного галилеянина? Оттого же, отчего Саул терпеливо перенес оскорбительные слова Самуила, которые произносились в присутствии целого войска. — отчего Давид, хотя и с отвращением, но повиновался распоряжениям Иоава, — отчего Ахав не смел арестовать Илию в дверях Навуфеева виноградника. Одним словом, грех есть слабость. Нет на свете ничего уступчивее греховной совести; нет ничего непобедимее сильного взрыва богоподобного негодования против всего, что само по себе отвратительно и гнусно. Разве смели эти низкие, поругавшиеся над святыней торговцы и покупатели, сознавая злое дело, противиться этому сокрушительному порицанию или стать лицом к лицу перед светом этих очей, в которых блистало ярко заступничество за оскорбленную святынию? Когда Финеес, ревнуя о Господе, убил князя Симеона и Мадианитянку, отчего не нашлось ни одного человека отомстить ему за это убийство? Оттого, что порок никогда не устоит перед добродетелью. Низкие и пресмыкавшиеся иудеи, продажные торговцы, чувствовали в скудном

остатке своей совести, не дотла источенной безверием и жадностью, что прав был в этом случае, как и во всех своих действиях, Сын человеческий.

Даже священники, фарисеи, книжники и левиты, несмотря на свою гордость и формализм, не могли порицать такого действия, которое могло бы быть совершено и Неемией, и Иудой Маккавейским, и которое согласовалось во всем с самыми чистейшими и лучшими их преданиями. Неизвестно, были ли они свидетелями этого события: но если были, — то опомнившись от удивления, злобы и поражения, а если не были, — то услыхав о событии, они вскоре пришли к Иисусу и, хотя не смели порицать Его поступка, однако же с негодованием требовали какого-нибудь знамения в удостоверение того, что Он имеет власть действовать таким образом[161].

Ответ Спасителя был гораздо выше их разумения. *Разрушьте*, сказал Он, *храм сей и Я в три дня воздвигну его*[162]. Он привел их в крайнее недоумение.

Разрушить храм, — храм, на который известнейший своим богатством царь истратил все свои громадные сокровища, — храм, при постройке которого нужна была тысяча упряжек лошадей, нанято десять тысяч работников и тысяча священников в священных одеждах клали на место камни, обтесанные каменщиками, — храм, который был одним из чудес света, по его колоссальным мраморным основаниям, по дорогой мозаике, по дивному лесу, по блестящим крышам, по золотым, изваянным над входной дверью виноградным лозам, с их висящими гроздями, по шитым занавесам, изукрашенным пурпуровыми цветами, по обилию в нем серебра, золота и драгоценных камней! Сорок шесть лет употреблено на его постройку и до сих пор он не был еще окончен, а этот неизвестный галилеянин велит разрушить его, обещаясь в три дня вновь воздвигнуть его! Такое буквальное и видимо ложное толкование дали они Его словам, хотя, применяясь к великим пророчествам[163], могли видеть, что в них скрывалась глубокая тайна.

Какое неизгладимое впечатление произведено было этими словами на умы фарисеев, тому лучшим доказательством служит, что спустя три года они слышались сильнее других в обвинении, возводимом на него книжниками и фарисеями; слышались и с креста распятого с Ним презренного разбойника. Но чтобы из этой фразы составить

обвинение, надо было извратить ее, высказавши таким образом: могу разрушить храм сей[164], или: Я разрушу храм сей рукотворенный[165]. Он никогда не говаривал ничего подобного; но им известно было, что придача Его словам политических и мятежных замыслов представляла вернейшее средство возбудить бешенство суда, которому он был предан. Повторение их спустя долгое время первомучеником Стефаном было главной причиной его жестокой смерти[166].

Но Он говорил, объясняет святой Иоанн, *о храме тела Своего* и прибавляет, что самые ученики Его поняли Его слова только уже после Его воскресения. Действительно, до этого времени был один только храм истинного Бога, храм символический и, согласно верования евреев, заключавший в себе «облако славы», которое было ясным свидетельством присутствия Божия в народе. Но теперь Дух Божий избрал жилищем храм нерукотворенный, в священном теле Сына Божия, сделавшегося плотью. Спустя после того три года, со дня великой Пятидесятницы и потом навсегда Дух Божий предпочел всяким храмам чистое, правое сердце. Каждый христианин, в своем смертном теле, предназначен быть храмом Святого Духа. Это общее верование, это — верховная привилегия человека, предоставленная ему Новым Заветом. Для этого Господь Иисус Христос нисшел на землю, пострадал и воскрес из мертвых. Нет ничего поразительнее для ума, который глядит очами чувственными, а не очами веры; нет ничего обиднее для ума фарисейского, который не может оторваться от материальности, — как такое убедительное уверение, что священный храм в Иерусалиме не будет уже более специально привилегированным местом, куда люди будут сходиться для поклонения Отцу. Но эти ученые люди могли, если бы захотели, иметь некоторое понятие о том, что под этими словами разумел Христос. Им известно было, что Иоанн провозгласил Иисуса Мессией; они могли сообразить это возражение Иисуса с последующими Его словами: *здесь находится Тот, кто больше храма*; они слышали от Учителя собственной их секты извлеченную из пророчества Даниила мысль[167], что истинною «Святая Святых» был сам Мессия.

Из последующих событий заметно, что иудеи не хотели высказаться, но имели более точное понятие о словах Иисуса: «разрушьте храм сей и Я в три дня воздвигну его», потому что на основании только этих первых слов, обращенных к ним всенародно,

когда Иисус умер и был уже погребен, — они пришли к Пилату и сказали ему: *мы вспоминаем, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну*[168]. Нет ни малейшего следа, чтобы Иисус разъяснял им свою мысль лично; нельзя предположить, чтобы они слышали ее от учеников Его, которые, по собственному их сознанию, сами не могли понять и усвоить ее, несмотря ни на какие объяснения Учителя. Фарисеи и священники понимали яснее, чем апостолы, потому что не были, как эти последние, людьми любящими, непорочными и простосердечными, потому что несмотря на познание и ученость, сердца фарисеев были преисполнены ненависти, окончившейся умерщвлением их Искупителя и обратившей кровь Его на головы их и на головы детей их.

Но в этих словах Иисусовых заключался и другой смысл, не менее неприятный для их предрассудков, не менее полный предостережения, но более ясный для их понимания Храм Иерусалимский был средоточением всех учреждений Моисея, главным местом всей обрядности. Но храм этот был осквернен и они сами были попустителями такого осквернения. Дозволяя Тому, на кого глядели, как на бедного галилейского учителя, очистить храм, чего по своему нерадению, или по собственным интересам, или из робости не решались сделать ни Каиафа, ни Анна, ни Гиллел, ни Шаммай, ни Гамалиил, ни Ирод, — разве они не разрушали храма, не попирали его святыню и своими поступками не доказывали, что истинное значение храма погибло навеки? Кончайте же, — значили слова Иисуса, — ваше дело разорения: в три дня Я, как Искупитель, воздвигну нечто лучшее и величественнейшее. Я воздвигну не рукотворенный храм, а живую церковь. Такой смысл дает, по-видимому, этим словам первомученик Стефан; таково его мнение, которое он излагает во многих местах своих бесподобных рассуждений. Но для таких и тому подобных мыслей фарисеи были глухи, тупы и слепы. Они, казалось, проходили мимо них в молчании, но с злобой и ненавистью были подозрительны, но равнодушны к прямому разрешению сомнений; невежественны, но слишком надменны и горды, чтобы стараться познать истину.

Неизвестно, какие чудеса совершал Иисус в это время, но *многие*, пишет св. евангелист Иоанн, *видя чудеса, которых Он творил, уверовали во имя Его*[169], (Иоан. 2, 23.25.) — однако же не той

сердечною верою, которой Он добивался от них. Божественный взор Его проник, что сердца их были холодны, упорны, вероломны и лукавы.

ГЛАВА XIV

Никодим

Касту, или секту, фарисейскую составляли по большей части упорные ханжи и высокомерные фанатики. Но было бы странно, если бы в ней не нашлось исключений, если бы в ней вымерли дотла честь, совесть и всякое нравственное чувство. Даже между начальниками, книжниками, фарисеями и зажиточными членами синедриона Христос нашел верующих и последователей[170]. Первым и замечательным из них был Никодим, богатый человек, старейшина, фарисей и член синедриона.

Из рассказов евангелистов видно, что робость секты сильно просвечивалась в Никодиме, так что не могла поддаться даже честному желанию сделаться новым человеком и признать гласно Пророком Того, кого считал таким в своем сердце. Несколько слов, которыми он хотел остановить дикую несправедливость своих товарищей в синедрионе, когда они рассуждали о деяниях и поступках Иисусовых, были крайне осторожны и не давали никакого намека о личном веровании Никодима в Галилеянина, ненавидимого его сектой. Даже в то время, когда сила Христовой любви, выразившейся в страданиях на кресте, внушила смелость и отвагу самым робким из Его учеников, Никодим не выступил вперед с выражением своей привязанности. Предание говорит, что только после Воскресения Христова он стал явным учеником, получил крещение от Петра и Иоанна и что родственник его Гамалиил принял и скрывал его в своем загородном доме до смерти, после которой предал тело честному погребению возле могилы св. архидиакона Стефана.

Таков был равви, который, колеблясь между желанием познать истину и страхом от своих товарищей, приходил к Иисусу, но из осторожности единственно только ночью. Ему очень хотелось узнать ближе этого молодого галилейского пророка, но, считая себя высокопоставленной особой, он не почтил Его признанием за учителя,

посланного Богом, и не посещал явно для поддержания собственного достоинства, а может быть, и для безопасности.

Первые слова его, обращенные к Иисусу, показывали неправильное направление его ума, полупокровительственное желание спросить и полускрытую неохоту высказать прямо свой вопрос. Будучи сам учителем, он сказал только: *Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какия Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог;* но не решился произнести: «Что же мне делать?»

Прозревая глубину его сердца и избегая формальностей и установки предварительных пунктов рассуждения, Иисус поразил его торжественным и прямым обращением к нему: *истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, то не может увидеть царствия Божия.* Ученик мой должен принадлежать Мне сердцем и душой, или не быть совсем Моим учеником: следовательно, вопрос заключается не в том, что делать или чего не делать, но в том, кем быть.

Никодим понял важность ответа, но подобно иудеям в предыдущей главе, не мог или не хотел вникнуть в настоящее его значение, а, приняв слова Его в буквальном смысле, старался придать речи совершенно материальный и непонятный *оборот. Как может человек,* — говорит он, — *родиться, будучи стар? Неужели он может в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?*

Такое желание состязаться на словах не вызвало со стороны Иисуса никаких замечаний. Он только дал более ясное толкование первоначальным своим словам, высказавши, что говорил не о плотском рождении, но о том духовном возрождении, приход которого и самый образ действия неведом никому настолько же, насколько неизвестны приход и направление ветра. *Ветр дышет, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит.* Он говорил о рождении водой и Духом, об очищении от грехов, которое само по себе есть уже обновление, о внешнем символе и внутренней благодати, о смерти в грехе и новом рождении в добродетели.

Понимая, по-своему, что язычники действительно могли нуждаться в возрождении, при допущении в общение с иудеями, Никодим никак не мог себе представить, чтобы он, сын Авраама, раввин, ревностный хранитель закона, мог быть подведен под один с ними уровень, а

потому и спросил Иисуса: *как это может быть?* Неужели и для него необходимо возрождение?

Ты учитель Израилев и этого ли не знаешь? сказал ему Господь. Первоприсутствующий синедриона назывался *Наси*, товарищ его отцем дома *Суда*, а третий член, сидевший по левую руку первоприсутствующего, носил название *Хакам*, или человека мудрого, ученого, учителя. Таким образом слова Спасителя к Никодиму говорили ему: ты третий член синедриона, мудрый человек, а не понимаешь самых первых, самых простых уроков посвящения в тайны царствия небесного? Если твое познание так материально, так ограничено, что ты спотыкаешься на пороге, то как же ты поймешь те дальнейшие истины, которые может открыть тот, который пришел свыше? Вопрос выражал сожаление и упрек, но Иисус продолжал передавать учителю израильскому более возвышенные, более важные правила Своего учения. Он беседовал с ним о спасении человека, которое стало возможным чрез страдания и вознесение Сына человеческого, — о любви Божией, выразившейся в ниспослании на землю Его Единородного Сына не для осуждения, а для спасения мира, — об освобождении от всего посредством веры, — об осуждении, которому должны подлежать отвергающие добровольно те истины, которым Он пришел научить.

Таковы были тайны царствия Божия, — истины, некогда уснувшие, но теперь вновь пробужденные. Они разрушали все предрассудки, ломали все прежние убеждения древнего совопросника. Чтобы научиться им, надо было разучиться всем прежним привычкам, всему образу ведения жизни; но мы видим из последствий, что они глубоко запали в сердце Никодима. Нет сомнения, что при дальнейших рассуждениях Иисус кротко укорял его за страх, который заставлял великого равви искать защиты полночи для дела, которое не только не требовало тайны, как будто дело темное, но, напротив того, было приходом к истинному и единственному свету.

Были ли в продолжение этой первой Пасхи произнесены Иисусом какие поучения или сотворены знамения, мы не находим в Евангелии дальнейших подробностей. Видя повсюду упорство и безумное сопротивление, Спаситель покинул Иерусалим и пошел с учениками в Иудею[171], по-видимому, к берегам Иордана, потому что *там*, — говорит нам св. Иоанн, — *Он жил с ними и крестил.* Продолжал и

Иоанн Креститель свое крещение покаяния, но уже удалившись в Энон, близ Салима, местность до того неизвестную, что нет возможности определить, где она находилась.

Много между богословами было споров относительно значения первоначального крещения апостольского, равно как об отношении крещения Иисусова к крещению Иоаннову, но все эти пререкания не привели ни к какому разъяснению сущности дела. Иисус разрешил этот простой и прекрасный обряд, как знак принадлежности к Его ученикам, как народный символ желания очистить сердце для того, чтобы нескверным войти в царство небесное. Как крещение Иисусово, так и крещение Иоанново были символами покаяния и достигаемой через него чистоты совести. Для того, кто понимает, что для каждого грешника покаяние есть истинное дело жизни, неудивительно, что первоначальная проповедь Спасителя и Его Предтечи заключалась в словах: *покайтесь, ибо приблизилось царствие Божие!* Время приготовления, время предварительных свидетельств еще не пришло, и крещение, преподаваемое учениками, было переходом к учению откровения. А то обстоятельство, что Иоанн уже не проповедовал долее в пустыне, считая за лучшее оставить местность, видевшую его победу и славу, — означает, что он стал уже бледнеть перед яркостью евангельского рассвета. Смиренный дух Предтечи, с полной покорностью воле Божией, принял на себя короткую свою миссию, которую и выполнял непрерывно.

Еще приходили некоторые креститься у Иоанна и в Эноне, но уже в меньшем количестве, потому что теперь множество притекало к крещению учеников Иисусовых. Однако же неблагородная зависть, не затмившая просвещенной души Предтечи, нашла для себя уголок в сердцах его последователей. Долго ли она тлела, мы не знаем, но обнаружилась во время рассуждений в суде, возбужденных тем обстоятельством, что два великих учителя, из которых один засвидетельствовал, что другой есть обещанный Мессия, крестили великое множество народа, несмотря на запрещение со стороны синедриона и всех предержащих властей. *У Иоанновых учеников произошел спор с Иудеями об очищении. И пришли к Нему, и сказали Ему: Равви! Тот, Который был с Тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот, Он крестит, и все идут к Нему.* Ответ Иоанна дышит скромностью и смирением. Он сказал им, что не должен

входить в соперничество, которое было бы изменой против глубочайших его убеждений, обращением в ложь самых торжественных слов его. Бог есть источник всех даров для человека, и пред Его очами нет дара выше великодушия. Иоанн напомнил им о своем свидетельстве, что он не Христос, а только Его предвестник, что он не Жених, а друг Жениха, и что его сердце всегда радуется, услыхав голос Жениха. С этих пор он доволен тем, что будет умаляться, что его небольшой свет будет поглощен безграничным рассветом. Он был только земным Предтечей, но носил в душе печать твердого убеждения, что Бог есть истина, что Он передал все Своему Сыну и что чрез Него одного возможно достигнуть вечной жизни.

ГЛАВА XV

Самарянка

Иудеи, подстрекательство которых возбудило неудовольствие в последователях Иоанновых, должны были быть из фарисеев, очень неприязненно глядевших на успехи учения Иисусова. Враждебные их отношения к Иоанну не были так глубоки, как злоба на Иисуса, потому что проповедь последнего шла видимо успешнее. Поэтому или вследствие положительного намерения переменить местность[172], или вследствие того, чтобы не огорчать долее учеников Иоанновых, или, наконец, вследствие дошедших слухов, что Иоанн был заключен Иродом Антипой в темницу[173], а скорее всего вследствие всех этих скопившихся вместе обстоятельств, — Иисус оставил Иудею и отправился снова в Галилею. Будучи на севере Иудеи, Он избрал дорогу, ведущую через Самарию. Фанатизм ненависти и фарисейская брезгливость, которые заставляли иудеев избегать этого пути, для Него не существовали.

Вставши рано утром, чтобы воспользоваться, сколько можно более, часами прохлады, Он остановился для отдохновения в городе **Сихзре.** Где именно стоял этот город, неизвестно, хотя евангелист Иоанн подробно описывает его местоположение, говоря, что он находился ***близ участка земли, данного Иаковом сычу своему Иосифу.***Было ли это действительно название города или только его прозвище, точно также неизвестно; ибо евангелист Иоанн прибавляет, что это был город, ***называемый Сихарь,***точно так же как в главе 11 ст. 16 и 22, ст. 4, говоря об апостоле Фоме, присовокупляет ***называемый Дидим***и в главе 14 ст. 13, говоря о месте, на котором сел Пилат для произнесения судз над Иисусом, прибавляет ***называемом Лифострогпон, а по-еврейски Гаввафа.***Может быть это название было ***секер,***ложь, указывавшее на ложное богослужение на Гаризине, или ***сиккор,***пьяный, напоминающее слова пророка Исаии[174], или *сукар*, гробница, **в** воспоминание бывшей на том месте гробницы Иосифа[175]. По описанию евангелиста, это была та самая плодородная местность, которая, вследствие особого распоряжения, завещана

патриархом Иаковом любимому сыну Иосифу, поэтому скорее всего можно предполагать, что указываемый им город был **Сихем, в** переводе — «один участок».

Там был *колодезь Иаковлев* — продолжает евангелист, — подобно всем колодцам на востоке, прикрытый вероятно небольшим альковом и окруженный местами для сидения, сложенными из камней.

Было около *шестого часа,* — время, соответствующее нашему полудню, — и Иисус, утомленный длинным путешествием, а может, и солнечным жаром, сел возле колодца. Выражение, употребленное в оригинале, дает такой оттенок, что путешественник от изнеможения тяжело опустил свои члены на седалище, стараясь сколько возможно предоставить себе полный покой. Ученики Его, — вероятно две пары братьев, избранных раньше всех, и два друга, Филипп и Варфоломей, — отлучились в город купить пищи. Чувствуя голод и жажду, Он, понесший на себе все наши слабости, сидел в томительном ожидании. Но вдруг Его уединение прервано было приходом женщины. Из последующих слов Его, что *через четыре месяца жатва будет,* надо думать, что был май месяц, а в Палестине в жгучие майские полдни редко кто выходит из дому. Женщина эта могла прийти в такое время или случайно, или потому что избегала тех часов, в которые сходились за водой все горожанки. Восторженное почтение к великому предку Иакову, а может быть, особая прохлада и свежесть источника были достаточными причинами, приведшими ее взять воды из этого именно колодезя, а не из ближайших источников. Вода на востоке не только необходима, но составляет предмет особой роскоши, и палестинские уроженцы могут считаться знатоками в определении ее качеств.

Иисус приветствовал ее приход. Дивный вид богатой жатвами местности, на которой с одной стороны тянулись необозримые поля, с другой возвышались круглые массы гор Евала и Гаризина, история Иакова, соседство гробницы Иосифа, воспоминание об Иисусе Навине, Гедеоне и длинном ряде царей израильских представляли много тем для размышления. Но Иисус чувствовал жажду и утомление. Сидя возле прохладной воды, Он не имел средств достать ее и сказал женщине: *дай мне пить.*

Каждый путешественник на востоке очень хорошо знает, с какой радостью и готовностью исполняется подобная просьба. Жалкий

феллах, даже дикарь бедуин, чувствует, по-видимому, необыкновенное удовольствие, если им удается угостить жаждущего путешественника этим бесценным напитком. Но ненависть и соперничество между иудеями и самарянами были так упорны, общение так мало, что даже подобная просьба могла вызвать в самарянке выражение удивления и сомнения. *Как ты, будучи иудеем, просишь пить у меня, самарянки, ибо иудеи с самарянами не сообщаются*, говорила женщина.

Кротко, без укора Спаситель отвечал ей, что если бы она знала Его и просила у Него, то Он дал бы ей живой воды. Сообразив глубину колодезя и неимение у него никаких средств достать воду, самарянка с недоверием и национальной гордостью выразила свое сомнение, как относительно того, что Он может достать воду, так и относительно того, что будто бы Он больше отца их Иакова, который сам выкопал этот колодезь и пил из него. Но было в словах Его нечто поразительное, нечто внушающее ей благоговение; потому что она в дальнейших речах своих стала называть Его господином.

Она думала об обыкновенной воде, пьющий которую возжаждет вновь, а вода, о которой Он говорил, хранилась в источнике, находящемся в сердце, — утоляющем навсегда всякую жажду и текущем в жизнь вечную.

Иисус просил ее о ничтожной услуге, а сам предлагал ей вечный дар. Чувствуя сердцем, что она находится в присутствии какого-нибудь великого пророка, она стала просить, но, не поняв Его слова, желала получить воду, с тем чтобы напившись ее, не ходить уже более к этому колодцу.

Вследствие чего Иисус, прервавши вдруг первоначальный разговор, обратился к ней с приказанием: *пойди и позови мужа своего и приди сюда*. Что вызвало подобное требование, догадаться трудно. Поводом к нему мог быть с незапамятных времен укоренившийся на востоке обычай, что для мужчины, а в особенности для равви, было не только неприлично, но прямо непозволительно вести разговор с чужой женщиной, а легко могло быть и желание поразить каменное сердце женщины, пробудить в ней уснувшую совесть. Самарянка принуждена была отвечать, что у нее нет мужа, а Спаситель, подтверждая эту грустную исповедь, высказал ей тайну ее свободной и развратной жизни. У нее было пять мужей и тот, с которым она теперь жила, не был ее мужем.

Увидя, что пред нею великий пророк, но стараясь удалиться от рассказа своей собственной истории, — о которой, само собой разумеется, ей желательно было говорить насколько возможно меньше, — женщина тотчас же обратилась к вопросу, сильно занимавшему поколение, к которому принадлежала она, и поколение, к которому принадлежал тот, с кем она говорила, поселяя между тем и другим вражду непримиримую, Судьба предоставила ей беседу с великим учителем: разве это не удобный случай разрешить навсегда великую распрю между иудеями и самарянами: Иерусалим ли, построенный Соломоном, или гора Гаризин, давнишнее святилище, — откуда Иисус Навин произносил свои благословения, где Авраам готов был принести в жертву сына своего Исаака, — были святым местом Палестины? Указывая на вершину горы, возвышающейся на восемьсот футов и сохранившей еще развалины древнего храма Манасии, разрушенного Гирканом, она предложила Ему вопрос: *отцы наши поклонялись на этой горе, а вы. говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме.*

Короток и прост был ответ Иисуса на этот вопрос, относительно самарян. Иудеи совершенно правы. Иерусалим есть местность, избранная Богом, и в сравнении с самарянством иудейство было чище и правильнее. Но, после объяснения временного племенного спора, Он произнес замечательные пророческие слова, что *наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу, но на всяком месте в духе и истине.*

Глубоко тронута была самарянка. Но могло ли одно просто случайное слово неизвестного человека и чужеземца разубедить ее вдруг в верованиях, в которых родились и воспитались она и ее отцы. *Знаю,* отвечала она, что *придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все.*

Тогда Иисус сказал ей: *это Я, который говорю с тобою.*

Странное стечение обстоятельств! Рождение Иисуса было в первый раз открыто ночью нескольким неизвестным и невежественным пастухам; первое полное и ясное личное извещение об Его звании, как Мессии, сделано при колодце, в томительный полдень, одной неизвестной женщине, самарянке. К этой бедной, невежественной грешнице обращены были слова с бессмертным значением, — слова, которым впоследствии до скончания мира все будущие века будут

внимать, преклонив колени, с затаенным дыханием! Чьего ума достанет придумать, чьей фантазии вообразить такие простейшие события, недоступные для ума человеческого?

На этом прерван был разговор. Ученики возвратились. В прозрачном воздухе издалека могли они видеть и слышать своего учителя в продолжительном, важном разговоре с одинокой фигурой. Потому что колодезь Иакова расположен на возвышенном месте, на одном из отрогов Гаризина, в той части долины, которая невозделана, лишена тени, деревьев и жилья.

Он, еврей и равви, разговаривал с женщиной, и притом с самарянкой! Ученики удивились, однако же ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: О чем говоришь с ней? Мысль об Его величии, любовь и вера к Нему заглушали всякое удивление, всякое любопытство.

Между тем женщина, в восторженном настроении забывши даже свои водоносы, поспешила в город передать чудесную встречу: *здесь находится тот, который открыл ей тайну ее жизни. Не Мессия ли это?*

Самаряне, — как заметно из рассказов всех евангелистов, будучи проще и склоннее к убеждениям, нежели иудеи, — тотчас же, по словам женщины, толпами высыпали из города. Видя их приближение, ученики просили Его, чтобы Он чего-нибудь съел, потому что было далеко за полдень, а путешествие, совершенное им утром, утомительно. Но, восхищенный возможностью преподать учение, Иисус забыл о голоде. *У меня есть пища, которой вы не знаете,* говорил Он своим ученикам. Но они слишком мало понимали, что с самого детства Он жил не одним хлебом. В них постоянно встречал Он то же самое грубое, буквальное понимание Его слов. Писания их, истинный язык, на котором они говорили, — исполнены иносказаниями, но в этом случае ум их не проникся смыслом слов Иисусовых и остановился на мысли: *разве кто принес Ему есть.* Каково же было Ему при каждом случае встречать даже в своих избранниках такое странное непонимание, что материальные образы служили только проводниками для глубоких духовных мыслей? Но у кроткого и смиренного сердцем не было нетерпения. *Моя пища,* сказал Он им, *есть творить волю пославшаго Меня, и совершить дело Его.* Показывая же на стремившихся к Нему полем жителей Сихаря, Он продолжал: *не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит*

жатва? А Я говорю вам: возведите очи ваши, и посмотрите па нивы, как оне побелели, и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Вы будете счастливыми жнецами жатвы, которую Я посею в труде и скорби; но Я, сеятель, радуюсь мысленно грядущей радости.

Личное объяснение самарян с Иисусом убедило многих из них гораздо сильнее, нежели рассказ женщины. Снисходя к просьбам жителей Сихаря, Он пробыл там с учениками около двух дней. Само собой разумеется, что это двухдневное учение имело сильное влияние на обильное обращение самарян в последующие годы[176]. А в то время с восторгом говорили они известившей их женщине: *уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира, Христос.*

ГЛАВА XVI

Отверженный назарянами

До сего времени в рассказе можно было следовать хронологическому порядку, указанному евангелистом Иоанном. Теперь в первый раз встречаемся мы с серьезно трудным вопросом, касающимся порядка, в каком преподаваемо было Иисусом Его спасительное учение.

Множество писателей всех христианских наций, посвятивши на это года, а некоторые всю свою жизнь, старались разработать этот вопрос, но к достижению полного соглашения оказалась совершенная невозможность. Рассмотрение этих двусторонних доказательств, по множеству спорных пунктов, — которые пришлось бы разъяснить, прежде приступления к решению задачи, — составило бы книгу в несколько объемистых томов, но, не устранивши окончательно затруднений, вышло бы только из рамки задуманного мною труда. Я старался удержать только *главные положения* и, не входя в споры, не претендуя устранить возможные возражения, рассказать события в том порядке, который, после учащенной работы, мне показался наиболее достоверным, стараясь однако же удержать евангельский порядок для тех событий, время которых определено у евангелистов. Приведение в неоспоримый, надлежащий порядок происшествий кажется для меня невозможным, да и не представляется делом необходимым. Если бы точное определение сроков и места Христова учения было существенно необходимо для полного уразумения жизни Спасителя, то каждый из христиан может быть уверен, что нам сообщены были бы об этом нужные сведения. Божественное вдохновение, руководившее евангелистов при их рассказах о жизни Иисуса Христа, внушало им единственную мысль рассказать нам все необходимое для мира и благоденствия наших душ и не допускало с их стороны никакой заботы об удовлетворении нашего любопытства и еще менее исторического интереса. В их писаниях не трудно заметить прямое указание, что все мысли наши должны быть обращены более на духовное, внутреннее содержание, чем на материальную сторону рассказов; все взгляды сосредоточены на личности Иисуса Христа,

который живет с нами вовеки, постоянно, даже до конца мира, а не наружные проявления той жизни, которая в Совете Божественной Воли предназначалась Ему, как средство для искупления человечества. Нам никогда не доведется узнать всего того, что нам хочется, но мы можем быть всегда сынами Божьими и учениками Христовыми, если сохраним только слова Его, переданные нам апостолами, и будем делать только дела, которые Он нам вменяет в обязанность.

Св. евангелист Иоанн[177], как мы видели из предыдущей главы, говорит, что, *по прошествии двух дней*, проведенных между простосердечными самарянами, — *Иисус вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве.* Продолжая рассказ, тот же евангелист упоминает: *когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его, видев все, что сделал в Иерусалиме на празднике.* После этого идет прямо история о приходе Иисуса вновь в Кану Галилейскую и исцелении там царедворцева сына. Союз «ибо» в предыдущем выражении не относится, по-видимому, ни к предыдущим, ни к последующим событиям. Я понимаю этот стих таким образом, что в Назарете, Его родном городе, ожидало Его, несмотря на прежний блестящий прием, отвержение и Он не был к тому неприготовлен, ибо Сам всегда утверждал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. На учении в Галилее евангелист Иоанн не останавливался никогда. Полное описание учения в Назарете мы находим у евангелиста Луки[178].

Таким образом, руководясь рассказами евангелистов Матфея и Марка, а в особенности евангелиста Луки[179], мы приходим к убеждению, что Иисус из Сихаря отправился не прямо в Назарет, но по пути учил постоянно, возбуждая удивление и пользуясь хорошим приемом в синагогах галилейских. Таким образом Он достиг Назарета[180], где, вероятно по обычаю, укоренившемуся из детства, вошел в один из субботних дней в синагогу.

Судя по величине города, надо думать, что в Назарете была всего только одна синагога, вероятно, во всех отношениях, — исключая того, что попроще с виду и поплоше строительными материалами, — на синагоги, развалины которых видим в Телльгуме или Ирбиде. Синагоги вообще состояли из простой четыреугольной залы, с портиком из колонн греческой архитектуры. Самая отдаленная сторона

(где помещалось святилище) обращена была, со времен Соломона, постоянно к Иерусалиму, который и назывался *киблег*, то есть священное направление. В более богатых местностях синагоги строились из белого мрамора, с изваянием на наружной стороне грубых, рельефных украшений из виноградных лоз и гроздей, или из распустившейся ветви, или из сосуда с манной. Близ входа, с одной стороны стояли сиденья для мужчин, на другой стороне за решеткой садились обыкновенно женщины, завернутые в свои широкие покрывала. На одном конце находился *теббаг*, или ковчег, из раскрашенного дерева, заключавший в себе Священное Писание, а в стороне устроивалось *бима*, или возвышенное седалище, для чтеца или проповедника. Клира (в строгом смысле этого слова) не было, но на некотором возвышении сидело человек около десяти и более *батланимов*, чтецов или старцев руководителей, а выше всех их стояло седалище начальника синагоги *рош-гак-кенезеф*. Согласно указаний евангелиста Марка[181], сиденья эти устанавливались под ковчегом, следовательно, лицом к собранию. Младшие по чину назывались *хаццанеши*, на обязанности которых лежало хранение священных книг, *шелиахами*, вроде прислужников, и *парназимами*, или пастырями, нечто вроде дьяконов. Самая синагога в древности называлась *Беф Тефиллаг*, дом молитвы, а во времена Спасителя носила название *Беф Кенезеф*, дом собрания. Часы этих собраний были: 3-й *(шакарив)*, 6-й (*минха*) и 9-й *(ирабиф)*.

Служба в синагоге была несколько похожа на нашу[182]. После молитв *шема*, — состоявших из гимнов, осьмнадцати *берахоф*, или благословений, читались обыкновенно два поучения: одно из закона, называемое *парашаг*, а другое из пророков *гафтараг*. Для исполнения этих обязанностей не было особых личностей, потому что обязанности священников и левитов, состоявших единственно только при Иерусалимском храме, были совершенно другие. Поучения эти могло читать не только лицо, имеющее на то право или получившее позволение от начальника синагоги, но всякий, кто только, по своему желанию, смог прибавить свой собственный *мидраш*, или толкование, на прочитанное. Чтение *парашага*, или поучение, из Пятикнижия Моисеева, по-видимому, должно было быть окончено, когда Иисус вошел на проповедническое место. Вероятно, признавая за ним право на исполнение этой почетной обязанности, *хаццан* отдернул в сторону

шелковый занавес раскрашенного ковчега, содержащего священную рукопись, и подал Ему *мегиллаг*, или сверток, содержавший пророчества Исаии, которые относились к *гафтарагу* дня. Спаситель развернул рукопись и нашел известное место — пророка Исаии 61 главу. Все собрание встало, чтобы выслушать Его. Для *гафтарага* следовало прочитать от третьего до двадцать первого стиха, но Иисус прочел только первый и часть второго. *Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное.* Затем Он закрыл *мегиллаг*, вручил обратно *хаццану* и, согласно иудейскому обычаю, сел, чтобы сказать свое слово.

Это место, замечательное само по себе, должно было приобрести особую торжественность в устах Того, к Кому оно относилось. Сначала все глаза собрания были устремлены на Него с напряженным вниманием. Можно представить себе трепет ожидания и возбуждения, — который чувствовался в сердцах слушателей, когда в речи, одно краткое содержание которой сохранили для нас евангелисты, — развивалась мысль, что Он и есть именно тот Мессия, о котором 700 лет тому назад предсказывал великий пророк. Слова его были полны чувства, авторитета и силы, не допускавших противоречия и производивших невольное удивление.

Но, продолжая слово, Он заметил перемену. Восхищение Его мудростию и благостию прошло, как только грубые назаряне вникнули вполне в смысл Его заявлений. У евреев было в обычае, во время служения, выражать явно свои чувствования, и вскоре Иисус услышал ропот негодования и возмущения. Он увидел, что эти прямо к Нему обращенные глаза, которые сначала глядели на Него со вниманием, засветились злобой и ненавистью. *Не плотников ли Он сын?* заметили слушатели. *Не Его ли мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосия, и Симон и Иуда? и сестры Его, не все ли между нами? Откуда же у Него все это?* Это ведь не молодой и ученый равви из школы Гамалиила или Шаммая, а говорит с авторитетом, которого не допускали себе великие книжники! Какое право учительствовать имеет этот никем не признанный учитель, простой плотник из нашей деревни? Откуда может Он знать писания, которым никогда не учился?

Подтвердив, что они видят действительно того Иисуса, о котором говорят, Спаситель оставил без объяснения вопрос о невысоком положении, которое Он занимал в предшествующее время, с одной стороны, потому, что это не уменьшало Его величия как Мессии, с другой потому, что всякий честный назарянин мог бы припомнить о слишком не важном происхождении Амоса, который был пастухом, когда поручил дар пророчества. Он знал вполне, что им хотелось какого-нибудь изумительного подтверждения Его прав на звание Мессии; их грызла зависть, что Он, не говоря об учении и делах в Иерусалиме, совершил чудо в Кане, явил свою силу в Капернауме, а для них не хотел сделать ничего. Он знал, что скептически насмешливая пословица: *врач исцелися сам!* просилась на их уста. Но чтобы показать, что Он не простой назарянин, живший среди них тридцать лет, и принадлежит не им, а всему миру, Он напомнил что чудеса не имеют никакого отношения к местности, что во время повсеместного голода Илия спас единственно только в Сарепте вдову финикиянку, Елисей из всех прокаженных в Сирии исцелил одного Неемана. Как? они, стало быть, не лучше язычников и прокаженных? Слышать такое сравнение от того, которого считали равным им согражданином, показалось для них тяжелее всего и долго подавляемое бешенство разгорелось в пламя. Проповедник был прерван уже не шепотом неодобрения, но криками ярости. В припадке кровожадной злобы, которая была всегда характеристикою этого странного, буйного, нетерпеливого народа, похожего своим сердцем на бури, в одно мгновение возмущающие светлую поверхность их озера, они вывели Его вон из синагоги и повели на вершину горы, на которой город их был построен чтобы свергнуть Его. Небольшой город Назарет гнездится на южных высотах холма; множество отвесных скал находится на его откосах и очень немудрено, что вершины их за две тысячи лет тому назад были еще круче и отвеснее, К одной из таких скалистых стремнин привели назаряне Иисуса, чтобы сбросить Его оттуда. Но час Его еще не пришел и они были спасены от совершения преступления, которое поразило бы их вековечным позором. *Он, прошедши посреди их, удалился.* Для объяснения этого нет надобности прибегать к чему-либо чудесному и еще меньше нужды отыскивать возможности для Иисуса в предположении, что Он мог укрываться тайным образом среди узких и извилистых улиц города. Легко может

быть, что Его молчание, Его спокойное благородство в обращении, ясная невинность Его взора победили злобу. Отложив в сторону все сверхъестественное заметим только, что одно присутствие Иисусово вселяло в окружавших Его, кто бы они ни были, глубочайшее к Нему почтение и уважение, в котором не могли Ему отказать невольно склонявшиеся перед Ним, самые злобные и безжалостные враги Его. Эти чувства к Нему выразились даже тогда, когда Иисус успел скрыться от озлобившихся и уже взявшихся за камни иудеев в самом храме. Одним взором Он обезоружил смелых изуверов, прислужников, синедриона, которые не решились арестовать Его, когда Он учил всенародно во время праздника кущей в Иерусалиме. Одним словом, Он заставил вооруженную шайку Его врагов пасть перед ним на земно в саду Гефсиманском. Внезапно и спокойно упрочивал Он за собою свободу, проходил между своими пленителями и, глядя им в глаза своим добродушным взором, проходил невредимо чрез толпу. Подобные происшествия бывали в истории; они встречаются и в настоящее время. Враги Иисуса остановились, опомнились, устыдились и рассеялись. Так оставил Он их, с намерением, по-видимому, никогда не возвращаться, никогда не проповедовать вновь в маленькой синагоге. Появилась ли в душе Его свойственная человеку печаль, когда Он, утомленный, начал спускаться откосом по направлению к Кане? Выступила ли на очах Его хотя одна незваная слеза, когда Он глядел на роскошную долину Есдрелон, пурпуровые высоты Кармила и белые пески, окаймляющие воды Средиземного моря? Был ли тут, в этой зеленой долине, где Он играл в детстве, где трудился в возмужалых летах, хоть один человек, о котором бы Он печалился при своем удалении? Бросил ли Он продолжительный, медленный взгляд на скромное жилище, где Он трудился как деревенский плотник? Нашелся ли хоть один товарищ детства, хоть один друг счастливой юности, который бы сопровождал Его с грустью, жалостью и огорчением? Очень натуральны эти вопросы, но на них не сыщем ответа у евангелистов. Они молчат обо всех чисто человеческих движениях сердца Иисусова и передают единственно те сведения, которые касаются прямо и единственно только Его миссии на земле. Мы знаем одно, что с этих пор другие друзья, — благородные сердцем рыбаки из Вифсаиды, — ожидали Его возращения из озлобленного Назарета; что с этих пор дом Его, —

насколько Он мог иметь дом, — был уже в маленьком городке Капернауме, на светлых водах Галилейского озера.

ГЛАВА XVII

Начало учения в Галилее

Отвергнутый в Назарете, Иисус возвратился в Кану[183], где совершил первое чудо для поддержания радости и веселия между друзьями. Едва только Он пришел туда, один царедворец из соседнего дворца Ирода Антипы явился к Нему, прося сойти в Капернаум и исцелить его умирающего сына. Спаситель ни разу не посещал Тивериады, но голос Иоанна раздавался там не раз, возбуждая страх и почтение при дворе развратного деспота. Известно, что Манаил[184], молочный брат Ирода, стал впоследствии христианином и что в числе женщин, служивших Иисусу имением своим, была Иоанна, вдова Хузы, Иродова домоправителя. Так как этот царедворец, вследствие чудесного исцеления сына, уверовал со всем домом, то с некоторой достоверностью состоялось предположение, что царедворец Антипы был не иной кто, как Хуза.

Повелительная настойчивость просьбы, которая показывала, что не глубок еще корень внутреннего убеждения, требовала обождания в исполнении. Необходимо было показать, что Иисус не простой *гаким*, или благотворительный лекарь, готовый лечить во всякое время местных жителей и показывать свои чудесные силы по первому знаку и слову всякого страждущего, приходящего к Нему, как к последнему отчаянному средству. Иисус порицал постоянно дух требования и чудес, как единственную возможность к утверждению в вере. Однако же, снисходя к отцовской тревожной заботливости, Он отпустил царедворца домой, не без уверенности, что сын его будет жив. Свидание их было в семь часов, то есть по-нашему в час дня, поэтому даже в самый короткий ноябрьский день отец имел возможность дойти засветло до Капернаума, который был в расстоянии от Каны не более пяти часов хоть бы. Однако же душа отца была до того успокоена обещанием Христовым, что он провел ночь в каком-то местечке, лежащем на дороге. На следующий день рабы царедворца, вышедши навстречу, рассказали ему, что горячка оставила его сына, и, по соображению царедворца, это произошло в тот самый час, когда

произнесены были утешительные слова. Таким образом Иисус во второй раз заявил свое пребывание в Галилее совершением чуда. Высокое положение царедворца было причиною, что молва о событии разошлась очень широко, а это обстоятельство, без сомнения, содействовало радостным и восторженным приемам, которые оказываемы были Виновнику исцеления, при начале учения.

Но здесь встречаемся мы снова с хронологическими затруднениями. Однако же объяснившись однажды навсегда, насколько они важны в отношении Христова учения и евангелистов, мы перейдем прямо к сопоставлению рассказов евангельских. Да и кто бы посмел требовать вполне научного изложения жизни и учения, которые в своем величии и красоте были бесконечно выше анализа простосердечных и верующих людей, каковы были апостолы?

Св. евангелист Иоанн, как мы уже заметили, не считал нужным рассказывать учение Христа во время пребывания Его в Галилее, хотя положительно утверждает, что оно существовало[185]. Обстоятельства предоставили ему возможность получить полное и глубокое сведение об учении, которое преподавалось Иисусом во время Его пребывания в Иудее, о котором лишь кратко упоминают прочие евангелисты. В этих видах Иоанн[186], прерывая свой рассказ, переходит прямо к возвращению Иисуса на праздник иудейский[187]. Если, как это можно почти с достоверностию предположить, упоминаемый евангелистом праздник был Пурим, то при этом пропущены события, совершившиеся в течение нескольких месяцев. Чтобы пополнить этот пробел, обратимся к благовествованию св. евангелиста Луки, который, по-видимому, придерживался некоторым образом хронологического порядка[188].

Соображая вместе относящиеся к этому времени слова первых трех евангелистов[189], мы находим, что Иисус Христос, оставя Кану, пришел и поселился в Капернауме, который с этого времени стал для Него своим городом[190], тем более что за Ним переселились туда Его мать и братья, которые не могли не чувствовать тяготевшей над Ним общей ненависти назарян, отразившейся, конечно, и на их жизни. Но их дом не был Его домом, которого, в собственном смысле этого слова, у Него и не было. Для временного пристанища Он избрал дом одного из старейших апостолов. Верно то, что Симон и Андрей, как говорят,

происходили из Вифсаиды, а жили в Капернауме в доме, принадлежащем теще Петра[191]. Но так как Вифсаида была подгородною слободою или даже частью Капернаума, то легко может статься, что они, смотря по надобностям учителя, переходили с одного места на другое.

Первые три евангелиста сообщают нам подробные сведения о первой субботе, проведенной Спасителем в Капернауме, и дают нам понятие о чрезвычайной в это время деятельности учения Его, которая была бы не под силу даже самым ревностнейшим и лучшим из Его последователей. Это было временем, в которое жизнь Его превосходит все, что мы можем видеть высокого в величайших из Его предшественников. Уединение пустынника, самотерзание аскета кажутся делом легким и обыкновенным в сравнении с неутомимыми делами любви до полнейшего самоотвержения.

День начался в синагоге[192]. Если Капернаум был то же самое, что Телль-Гум, то развалины из белого мрамора со скульптурными украшениями, находящиеся на небольшом возвышении близ светлого озера и занимающие своими обломками немалую часть теперь пустынного и разоренного города, представляют, может быть, развалины той самой синагоги, где проповедовал Иисус[193]. Ко времени Его пришествия она, должно быть, была уже полна народа, и поучения, обращенные к внимательной и полной ожидания толпе, — поучения не смутные, не мертвые, не застывшие в известных формулах, а такие, в которых передаются живые мысли пламенным словом, — поучения, в которых сердце говорило сердцу, — требовали немалой жизненной энергии, немалого истощения сил физических. Но это еще не все. Когда Он говорил свою высокую проповедь, когда собрание простосердечного, но верующего и понятливого народа слушало Его с немалым восторгом, вперяя пристально взоры в Его уста с почтительным удивлением, — вдруг глубокое молчание прервано было дикими криками и неистовыми возгласами какого-то несчастного безумца. Всякое ненормальное состояние ума человеческого, даже опьянение, евреи приписывали нечистой силе; к женщине, вышедшей с непокрытою головою, садился бес в волосы; неумовение рук перед едою предавало всякого в жертву бесу *шибта;* если бросается на вас в поле бык, говорит Талмуд, значит сатана проскочил меж его рогами. Одним словом, всякое сумасшествие,

всякая внезапная болезнь, всякое меланхолическое настроение, всякое непредвидимое препятствие в жизни, даже и теперь на Востоке, считаются происходящими прямо от влияния демонов. Но несчастный беснующийся, в глубине своей извращенной природы, чувствовал на себе влияние чистого присутствия Иисуса, Его дивного голоса, Его божественного призвания. При всем расстройстве нравственного состояния, он восставал против этого влияния и в крайнем ужасе просил оставить его в покое, хотя в речах злого духа слышались приветствия Иисусу Назарянину, как святому Божиему.

Взглянув на неистовствовавшего и озлобленного страдальца, замечая двойственность его сознания и обращаясь к духу, который, по-видимому, усиливал свои мольбы ужаса, Иисус сказал: *замолчи и выйди из него!* Спокойствие, доброта, сила божественного изречения были непреодолимы. Беснующийся пал на землю в страшном припадке, с криками и конвульсиями, но вскоре оправился и встал на ноги совершенно здоровым. Его взоры, его обращения доказывали, что он избавился от влияния духа злобы и получил вновь рассудок. Ни одно еще из чудес Иисусовых не было совершено так торжественно и властительно. Народ разошелся с чувствами неописанного удивления.

Встав со своего места в синагоге, Христос удалился в дом Симона. Но и здесь встретило Его горе и страдание. Симон, присоединившийся к Нему по первому призванию на берегах Иорданских, был человек женатый, и теща его страдала от сильной горячки. Не нужно было неотступных молений, как при исцелении сына знатного царедворца; довольно одной просьбы огорченного семейства. Иисус стал подле больной, взял ее за руку, поднял и запретил горячке. Голос Его, потрясший все существо болящей, остановил болезнь и восстановил мгновенно здоровье. Она встала и стала заниматься домашними обязанностями.

Очень может быть, что строгость соблюдения евреями их суббот предоставила Иисусу небольшой промежуток успокоения. Но, прежде захождения солнца, беспокойный народ, выждавши окончания субботних часов, явился вновь с просьбами о помощи. Весь город тесною толпою окружал двери небольшого домика, принося с собою больных и бесноватых. Зрелище было необыкновенное. Там, вдали, расстилалось прозрачное озеро, в водах которого бледно-розовым цветом отражались последние лучи заходящего солнца, обливавшие

золотым цветом восточный хребет гор, а здесь, среди спокойствия природы, собраны были, во всем их ужасном разнообразии, людские болезни и страдания. Тишина субботних сумерек прерывалась только криками беснующихся, свидетельствовавших о присутствии Сына Божия. Между же ними, среди сгущающегося мрака, мелькала там и сям единственная личность, совершенно спокойно и невозмутимо укрощавшая своим голосом безумие бесноватых и вопли лунатиков, возвращавшая здоровье страдавшим припадками и расслабленным. Это был пророк Назарейский, Христос, Спаситель мира. Он ходил между ними, сострадая их страданиям. Крики их раздирали Его сердце; вопли и вид такого множества страждущих наполняли душу Его жалостью; Он проливал за них кровь свою и страдал с ними, так что евангелист Матфей применяет к этому с небольшим изменением слова пророка Исаии: Он взял на себя наши немощи и понес болезни[194]. Матф. 8, 17–24. Исаии 58, 4.

Слава об этом чудесном дне прошла чрез Галилеию и Перею до отдаленных частей Сирии[195], и нам может показаться, что утомленный Иисус нуждался в продолжительном успокоении. Но самым дорогим и лучшим отдыхом было для Него уединение и молчание, — где Он мог один невозмутимо беседовать со своим Небесным Отцом. Только что небольшая долина Геннисаретская покрылась густым мраком, который предшествует рассвету, как Иисус, никем не замеченный, встал и отправился в пустынное место, где освежил свой дух спокойствием молитвы. Хотя дело, на которое Он послан, заставляло Его проводить дни между толпившимся и возбужденным народом, однако же Он не любил огромных сборищ и избегал выражения удивления и благодарности тех, которые видели в Нем источник жизни. Но для Него не было минуты покоя и уединения. Народ искал Его настоятельно; Симон и его друзья ходили за Ним следом в ревностном желании постоянно видеть и слышать Его. Все прилагали старание, чтобы удержать Его, чтобы Он не уходил от них. Но Иисус спокойно отстранял их беспокойные просьбы. Цель Его не была сделаться центром народного удивления или проводить время в творении чудес, которые, будучи делами милосердия, были по большой части направлены к тому, чтобы открыть сердца для божественного учения. Однако же исходившая от Него благодать не могла ограничиться одним Капернаумом. Далмануфа, Магдала,

Вифсаида, Гаризин были в близком расстоянии. *И другим городам благовествовать Я должен царствие Божие*, говорил Он, *ибо на то Я послан*[196].

Но это намерение, по-видимому, не тотчас привелось в исполнение. Ему, вероятно, хотелось более прочным образом утвердить веру в жителях Капернаума, прежде чем удалиться на проповедь в населенное соседство. Таким образом Он отправился по направлению берега, как надо думать, к месту, где стояли на якоре небольшие суда первых учеников Его, близ покрытой крупным белым песком набережной, окаймляющей воды озера со стороны Вифсаиды. В недалеком расстоянии позади Его тянулся неотступно следовавший за Ним народ из соседних местностей и когда Он остановился, чтобы сказать слово, две пары братьев-рыбаков, Симон и Андрей, Иаков и Иоанн задумали заняться тем трудом, которым всегда зарабатывали свой насущный хлеб[197]. С удалением Иисуса на покой, в течение нескольких коротких часов ночи, Симон и товарищи, сострадая к потребностям толпы, окружавшей их с нелицемерной приязнию, уже пробовали наловить рыбы. Но улов был неудачен. Они сидели двое на берегу, проводя время за мытьем, а двое других братьев с отцом их Зеведеем — в лодке за чинкой сетей. Когда Иисус вышел на проповедь, народ, отчасти из желания не проронить ни одного слова, которое сходило с уст Того, Кто говорил, как не говаривал никто из людей, отчасти с намерением прикоснуться к Нему и избавиться от всякой бывшей на нем язвы, — стал скучиваться теснее и теснее, мешая Его движениям. Тогда Он дал знак Симону войти в лодку и отчалить ее от берега, так, чтобы ставши на борт, можно было учить оттуда народ. Сидя на этой новой кафедре, вдали от тесной народной толпы, Он учил с небольшого судна, которое качалось на голубых волнах, освещаемых восходящим солнцем. Окончив проповедь, Иисус вспомнил не о Себе и не о Своих потребностях, но о бедных и обманутых в своих ожиданиях наловить рыбы учениках. Он знал, что труды их были напрасны, и вероятно заметил, что даже во время Его речи они стали уже приготовляться к более удачному лову. С истинным сочувствием к делу любви, Он повелел Петру отплыть с лодкою в глубину и всем разом закинуть сети. Петр был крутого нрава, но одно слово Того, кого он так глубоко чтил и могущественной власти которого был свидетелем, было достаточно для того, чтобы он тотчас же приступил

к делу. Вера его получила вознаграждение. В несколько мгновений сети были переполнены рыбой.

В первые минуты рабочий инстинкт взял верх над чувствованиями. Симон и Андрей позвали Зеведея, его сыновей и наемщиков сойти в их судно и помочь вытащить надрывающиеся от тяжести сети; обе лодки до борта нагружены были уловом. Но как только кончили работу, Петр познал чудесную силу. С природною пылкостью и стремительностью припал он к коленам Учителя… не думайте — с благодарностью или для выражения преданности. Нет! для того, чтобы воскликнуть: *выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный.* Луч неестественного света осветил перед ним и его собственное недостоинство, и величие Того, кто был с ними в лодке. Это был крик человека, глубоко сознавшего свое ничтожество, — крик, свойственный только возвышенным, благородным душам. Это было чувство страха и боязни, прежде чем они имели время возрасти до обожания и любви. Св. Петр не держал, конечно, и в мысли, чтобы Господь оставил его, он думал о своем недостоинстве быть близ Него, но Испытующий сердца и утробы видел ясно, чего он хотел. *Не бойся, отныне будешь ловить человеков,* — таков был ответ Спасителя;.

Во все время своей жизни Господь Иисус Христос с особою силою умел применять свои слова к обстоятельствам данной минуты. Теперь вокруг Него в небольших лодках лежали груды блиставшей на солнце, но уже приготовленной на смерть рыбы и тут же Он призывал омытых и очистившихся, искупленных и освященных грешников на высокое дело, на улов в евангельскую сеть людей, но не для смерти, а для спасения. Этого окончательного призывания было достаточно, чтобы сам Петр, брат его и соучастники стали *ловцами людей.* Они уже призваны были Иисусом прежде на берегу Иорданском; они уже слышали свидетельство Предтечи, но еще не слыхали приглашения забыть все и следовать за Ним; еще не были знакомые с могущественными чудесами, которые бы утверждали их веру; еще не научились вполне чувствовать и сознавать, что те, которые последуют за Ним, не только получат в тысячу раз больше во всем, что касается до устройства счастья в их временной земной жизни, но и в будущей, нескончаемой и вечной.

Мы уже видели, что в самом начале Своего учения Спаситель приготовил шесть апостолов призванием к будущему служению.

Четверо из них приглашены были не только видеть в Нем учителя, но оставить все и последовать за Ним. Один только (впоследствии евангелист св. Матфей) получил отдельное призвание, — которое, по-видимому, совершилось в это самое время. У самого евангелиста Матфея оно описано после проповеди на горе, чуда над гадаринским бесноватым и исцеления расслабленного[198], у евангелиста Марка — после исцеления расслабленного, но прежде посещения Гергесы[199], у евангелиста Луки после исцеления расслабленного, но перед избранием двенадцати апостолов и проповеди на горе[200]. Но так как, по-видимому, каждому из евангелистов хотелось рассказать это событие в соприкосновении с данным св. Матфеем Иисусу праздником, который шел непосредственно за призванием апостолов, то порядок событий и оказался перемешанным.

В самом Капернауме или вблизи него производился сбор податей и пошлин. Будучи расположен на узле дорог, ведущих к Тиру, Дамаску, Иерусалиму и Сепфорису, Капернаум был центром торговли и в то же время самым удобным местом для сбора пошлин. Но платеж этих налогов возмущал душу евреев, задевая самую чувствительную ее струну. Он был не только ежедневным и ужасным свидетельством, что Господь как бы совсем отступился от своей земли, — что все блестящие надежды на явление Мессии и обещания древних времен утонули в глубоком мраке под игом чужеземных правителей, обращавшихся с избранным Богом народом жестоко и презрительно, — но плата этих налогов носила на себе в глазах чувствительной до мелочности совести природного еврея характер вероотступничества. Она казалась ему нарушением основных правил Феократии[201], и могла быть извиняема единственно, как следствие жестокого и неизбежного насилия. Поэтому не следует удивляться, что на лица, собиравшие повинности, евреи глядели с глубоким отвращением. Если же припомнить, что провинциальные сборщики были не римские воины, не истинные откупщики податей, а самые ничтожнейшие подчиненные им лица, избранные нередко из подонков еврейского народа, то нет ничего удивительного и в том, что мытари пользовались самой гнусной репутацией наравне с отъявленными грешниками и прокаженными. А если какое-нибудь занятие презренно и отвратительно, то и занимающиеся им способны сами понизиться до уровня, на который народная ненависть поставила их занятие.

Если еврей не мог убедить себя, что существует обязанность платить подати, то насколько же более преступным было в глазах его даже относительно честное орудие сбора этих податей? Если сами откупщики пользовались только ненавистью, то можно судить о глубине отвращения, которое чувствовалось к посреднику между откупщиком и народом, — коренному еврею.

Но Тот, Кто пришел отыскать и спасти погибшего, Кто должен был вызвать христианскую святость из среды языческого разврата, — Тот мог из еврейских мытарей сделать апостолов и евангелистов новой, живой веры. В избрании их Иисус руководствовался духом божественного нелицеприятия и совершенной любви, независящим от рассчетов политического и законного благоразумия. Он отверг книжников, пользовавшихся почетом[202], и избрал презренных и ненавистных сборщиков податей[203]. Св. Матфей оправдал этот выбор, обративши свое знание письмен на святое дело и сделавшись самым ранним биографом Христа Спасителя.

Нет сомнения, что св. Матфей слышал прежде некоторые из поучений Иисуса, видел некоторые чудеса Его. Сердце его было тронуто и, при взгляде Того, кто не презирал никого и не питал ни к кому ненависти, — мытарь, даже в то время как сидел за сбором, был готов к призванию. Достаточно было одного слова: *следуй за мною;* достаточно этого простого, безыскусного изречения, указывавшего, однако, на расположение Иисуса и на готовность употребить призываемого избранным орудием благовествования Царствия Божия, для того чтобы истребить навек в душе мытаря жадность к презренным занятиям. *Он, встав,* говорит евангелист Марко, *последовал за Ним,* тронутый, вероятно, дивным изменением меча Ифуриила на всезабывающую, всепрощающую любовь Иисусову.

ГЛАВА XVIII Двенадцать апостолов и Нагорная проповедь

После одного из таких дней дел милосердия и неусыпного труда, Иисус, почувствовав потребность уединения и покоя, *взошел на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу*[204]. Есть нечто невыразимо умилительное в этих уединенных часах! Полное молчание и тишина, прерываемые только криками ночной птицы или завыванием шакала; звезды восточного неба, огненные диски которых тонут в неизмеримой вышине; коленопреклоненная на покрытой росой траве фигура человека печали, вдыхающего в себя силу на дальнейший труд из чистого воздуха; небеса, открытые при этом напряженном и молчаливом сообщении с Отцом и Господом, — все это вместе представляет картину, полную благоговейного восторга и беспредельного очарования.

Как уединенное бдение, так и проповедь на горе происходили, надо думать, на единственном возвышении, известном в настоящее время под названием Курн-Гаттин, или «Рог Гаттина». Холм этот своей вершиной похож на восточное седло с двумя высокими луками. С западной стороны он поднимается немного выше уровня обширной, волнующейся травой долины, с востока ниспадает обрывом к небольшой плоскости, на которой у самого обрыва теснится деревушка Гаттин, а отсюда путешественник сквозь дикие тропические заросли спускается к светлым водам Галилейского озера. На западной стороне озера, где находится Капернаум, только и есть этот один замечательный холм и один по своему строению приспособлен как к тому, чтобы быть местом непродолжительного уединения, так и к тому, чтобы служить помещением для толпы народа, постоянно отыскивавшего Иисуса. Сюда, в глушь диких, представляющих окраины Голубиной Долины утесов вечером удалился Иисус, вероятно, останавливаясь на время, чтобы освежиться чистой водой из небольшого потока, или вкусным яблоком с нубка, или чтобы взглянуть на орлов, спускающихся вниз с какой-нибудь близкой вершины скалы. Сюда утром, менее, чем Божественный Учитель, внимательная к красотам природы толпа последовала за Ним, не желая

ни на минуту лишиться Его вдохновительного присутствия и ожидая нетерпеливо послушать высоких слов, которые сходили с уст Его.

Но на самом рассвете, пока народ еще не собрался, Иисус созвал бывших постоянно при Нем учеников своих. До сего времени их отношения к учителю были совершенно свободны и ничем не связаны: сомнительно даже, понимали ли они вполне свое значение. Но теперь настал час и Иисус сделал окончательный, целесообразный выбор двенадцати апостолов, — число незначительное в сравнении с огромной, из нескольких сотен, свитой, называвших себя последователями Гиллела или Гамалиила. Да и положение в народе было незавидно.

Вот общие списки апостолов, которые мы находим у евангелистов и в Деяниях апостольских.

	Матф. 10, 24.	Мар. 3, 16-19.	Лук. 6, 14-16.	Деян. ап. 1,13.
1	Симон.	Симон.	Симон.	Петр.
2	Андрей.	Иаков.	Андрей.	Иаков.
3	Иаков.	Иоанн.	Иаков.	Иоанн.
4	Иоанн.	Андрей.	Иоанн.	Андрей.
5	Филипп.	Филипп.	Филипп.	Филипп.
6	Варфоломей.	Варфоломей.	Варфоломей.	Фома.
7	Фома.	Матфей.	Матфей.	Варфоломей.
8	Матфей.	Фома.	Фома.	Матфей.
9	Иаков Алфеев.	Иаков Алфеев.	Иаков Алфеев.	Иаков Алфеев.
10	Леввей	Фаддей.	Симон Зилот.	Симон Зилот.
11	Симон Кананит.	Симон Кананит.	Иуда Иаковлев.	Иуда Иаковлев.
12	Иуда Искариотский.	Иуда Искариотский.	Иуда Искариотский.	

Симон и Андрей — сыновья Ионы, Иаков и Иоанн, — сыновья Зеведеевы, и Филипп — все были родом из Вифсаиды. Если Матфей

был Левий, то он был сыном Алфея, а потому братом Иакова-младшего и Иуды, который считается одним и тем же лицом с Леввем и Фаддеем. Они происходили, надо думать, из Каны или Капернаума и, согласно тому преданию, что Мария, вдова Алфея, или Клеопы, была младшей сестрой Богородицы, были двоюродными братьями Христа Спасителя. Нафанаил, или Варфоломей, был уроженцем Каны Галилейской. Фома и Симон Зилот были тоже галилеяне. Иуда Искариот был сын Симона Искариота, получившего это последнее название по месту происхождения из Кериофа, города, находившегося на южных берегах Иордана.

Из этого собора апостольского трое: Иаков-меньшой, Иуда, брат его, и Симон Зилот почти что ничем не известны. Личности Иакова и Иуды, вследствие громадного числа соименников между иудеями, очень неопределенны. Хотя они написали каждый по соборному посланию, но принадлежность им этих произведений была предметом продолжительных споров и несогласий. Лично до них относящегося, кроме одного вопроса, сделанного Иудою *не Искариотским* и переданного в Евангелии от Иоанна[205], у евангелистов нет ничего. Симон известен по своему прозванию *Зилот*, или *Кананит*, — два имени совершенно равнозначащие и переводимые словом «ревнитель». Это прозвище намекает на то, что он был прежде одним из диких и необузданных последователей Иуды из Гискалы, восстававшего против римских притеснений, но это тоже ни больше ни меньше, как одна догадка. Греческие имена Филиппа и Андрея, вместе с тем обстоятельством, что греки, желавшие видеть Господа, обратились прямо к Филиппу, а Филипп к Андрею[206], указывают, что они, по-видимому, принадлежали к эллинистам, но кроме первого их призвания, в Евангелии лично о них ничего не упоминается. То же должно сказать о Матфее и Нафанаиле. Относительно Фомы, так называемого *Дидима* (оба эти имени, греческое и еврейское, имеют одно и то же значение «Близнец»), есть несколько замечательных рассказов, которые указывают на простой и наивный, но в то же время пылкий и великодушный его характер: он готов идти на смерть, но верить с большим трудом[207]. Что касается до Иуды Искариота, единственного, по-видимому, иудея в апостольском соборе, то о нем мы будем иметь грустный случай говорить в другом месте. У всех

евангелистов он нередко отмечен ужасным в своей простоте присловием: *Иуда Искариот, который и предал Его*[208].

Иаков, Иоанн и Петр были ближайшими спутниками и друзьями Иисуса, — избранниками из избранных. Они присутствовали при исцелении дочери Иаира, при Преображении, при Его тягостном душевном борении в саду Гефсиманском. Относительно Иакова известно только то, что впоследствии он удостоен высокой чести быть первомучеником из собора апостольского. Хотя и сам он и брат его Иоанн были простые рыбаки, но находились в лучших обстоятельствах, нежели прочие апостолы. У отца их, Зеведея, было не только судно, но и наемные работники. Из слов св. Иоанна видно, что он был *знаком первосвященнику.* Прежде еще мы высказали предположение, что Иоанн мог жить подолгу в Иерусалиме для распоряжения по продаже рыбы, доставлявшейся из Галилейского озера, а теперь прибавим только то, что в Евангелии у Иоанна мы находим более пространный рассказ об учении Иисусовом в Иудее, пропущенном совсем у других евангелистов.

Св. Иоанн и св. Петр, — один как символ созерцательной, другой — практической жизни, представляют, без всякого сомнения, две величественнейшие и достойнейшие особого изучения личности во всем апостольском соборе. В характере Иоанновом многие ошибались. Он был действительно преисполнен божественной любви, осуществивши в себе вполне всю глубину, все великое значение новой заповеди Господа[209] в несравненно большем размере, чем прочие апостолы; преисполнен обдуманного и всепоглощающего почтения к учителю и Господу, как это удостоверяют Его Евангелие и Послание. Он был недосягаемо велик своим возвышенным и святым сердцем, но вместе с тем он был бесконечно далек от того типа женственной привязанности, в каком его обыкновенно представляют. Прозвание *Воанергес*, или сынов Грома, которое он разделял с братом своим Иаковом, их общая просьба о первенстве в Царствии Божием, их страстное желание призвать с неба огонь на оскорбившее их Учителя самарянское селение, жгучая энергия, с которой написан Апокалипсис, и передаваемое преданием событие с еретиком Керинфом[210], — все это показывало, что не дух голубя, а дух орла мог быть принят постоянным символом Иоанна. Среди всеобщего недеятельного и неплодного религиозного направления, ревность и восторженность

были необходимыми деятелями проповеди царствия Божия. Поэтому нет сомнения, что присутствие в характере Иоанна двух таких драгоценных качеств, как его любовь и преданность, высоко ценились его учителем и поставили его учеником, *которого любил Иисус*.[211] Сила и огонь его воображения, редкое соединение в одном лице философской мыслительности и восторженности, строгости и кротости, совершенная вера, вдохновленная бесконечной преданностью, совершенная любовь, которая исключала всякий страх, — вот те превосходные качества, которые делали Иоанна достойным преклонить голову на грудь его Учителя и Господа.

Не менее достоин изучения и характер св. Петра, друга Иоаннова. В продолжении рассказа нам представится много случаев видеть этих великодушных, порывистых, колеблющихся, благородных и робких движений этой чисто человеческой любвеобильной души. Поэтому в настоящее время мы остановимся только на кратком изложении его характера в некоторых особенных случаях. Сердце его было полно огня и силы. Окружен ли учитель зверскими разбойниками, — огонь Петра отражается в обнаженном оружии и мгновенно обращает галилейского лодочника в воина; разошлась ли молва о воскресении, — более быстрый на ногу Иоанн упреждает своего друга, но стремительность Петра успевает опередить чистую любовь Иоанна; оставляя за собой наблюдающего издали ученика, Петр, задыхаясь, бежит осмотреть опустелую гробницу; надо ли переправиться к Спасителю чрез озеро на берег, его товарищи заботятся о сети и стараются поворотить свою лодку носом к берегу, а Петр бросается из судна и, борясь с волной, в мокрой одежде падает к ногам своего Учителя; скажет ли Иисус: *принесите рыбу, которую вы изловили*, — прежде, чем кто произнесет слово, сильная рука Петра уже вытаскивает сеть с серебристой добычей на берег. С такой же стремительностью предупреждает он ответом вопрос Спасителя: *Симон Ионин, любишь ли Меня?* Нет ничего возвышеннее Петровой горячности, которая, смотря по надобности, выражается то в восторженном обожании и хвалах своему Учителю, то в последовании за Ним в темницу и на смерть, — той горячности, которая может возвыситься до деяний великодушной преданности и низойти до усердного исполнения промысловых обязанностей.

Таковы были главные апостолы, из которых Спаситель составил собор, когда восседал на зеленой вершине Курн-Гаттина. Несомненно, что сами апостолы глядели на это последнее избрание, как на формальное и окончательное. С этой поры для рыбаря не было возврата к своей лодке, для мытаря — к своей лавке, как к средствам их существования. Каждый из них отдельно и все вместе должны были принять на себя обязанность постоянного странствования, евангельские труды, довольствование скудной пищей и приютом под неизвестным кровом, — эти отличительные черты счастливейшего периода учения Христова. Они должны были томиться с Ним на солнце в палящий полдень, спать, как делывал Он, под звездным небом.

Когда избрание кончилось, начало собираться множество разноплеменного народа. Не только с густонаселенного берега Галилейского озера, не только из Иудеи и Иерусалима, — нет! из отдаленных приморских городов Тира и Сидона собирался народ, чтобы прикоснуться к Нему, чтобы послушать поучений Его[212]. Сошедши с вершины на *ровное место*[213], Он первоначально позаботился о физических необходимостях своих слушателей-страдальцев: уврачевал их болезни, исцелил бесноватых, изгнавши духов, которыми они были одержимы. Когда после этого народ сел на зелени луга, соблюдая тишину и сосредоточивши все свое внимание[214], Он возвел глаза свои сначала на учеников, потом на собравшееся множество и произнес то достопамятное слово, которое известно под именем «Нагорной проповеди».

Самый невнимательный человек не может быть не поражен той громадной разницей, какая существует между произнесением этой проповеди и произнесением закона на горе Синайской. Закон, обнародование которого окружали громы, молнии, продолжительные и постоянно возрастающие звуки труб, был законом без снисхождения, слово Иисусово раздавалось божественной музыкой среди всеобщей тишины, среди прелести ясного, тихого рассвета. Тот исходил грозой для устрашенной совести от существа невидимого, окруженного облаками, всепожирающим огнем и клубами дыма; этот был произнесен дивным человеческим голосом, который трогал сердца людей единственно только словами мира. Тот объявлен был с голой и окруженной бурями горы, которая своими утесами из красного гранита

как будто грозила опаленной пустыне; этот произнесен на цветущем зеленом лугу, выделяющемся от холма, откосы которого спускаются в сребровидное озеро. Тот поражал сердце страхом и смятением; этот ласкал его миром и любовью. А между тем заповеди на горе блаженств не отрицали, но только дополняли закон, преподанный на Синае ветхому человеку. Тот закон был основан на вечных основаниях различия правды от неправды, — различии строгом и недвижимом, как гранитные основания мира. Легче уничтожить небо и землю, чем вычеркнуть ничтожную букву, одну йоту из этого кодекса, который содержит истинные правила всей нравственной жизни. И Иисус убеждал народ, что Он пришел не отвергать закон, но повиноваться ему и исполнять его в точности, хотя в то же самое время учил, что такое послушание не должно простираться до мелочности и буквального понимания левитов. Оно должно переносить волю и сердце к внутреннему смыслу и духу, содержащемуся в заповедях. Он исполнял этот древний закон, строго содержа его сам и уча содержать его крепко всех, кто веровал в Него, как в Искупителя. Учением своим Он дал этому ветхому закону более общее значение, более глубокую силу[215].

Проповедь начиналась словом «блаженны» и исчислением затем девяти блаженств евангельских. Народ находился в ожидании Мессии, который сломит ярмо, гнетущее его шею, и явится с торжеством победы и мщения. Воображение его наполнено было легендарными пророчествами, как Он станет на берегах иоппийских и прикажет морю пригнать к Его ногам перлы и все сокровища; как оденет весь народ в пурпур и драгоценные каменья и будет питать его лучшей манной, чем та, которая сходила в пустыне. Но проповедь начиналась словом «блаженны» с исчислением блаженств евангельских, в которых Христос открывает иное царство, иное счастье: богатство в бедности, величие в слабости, высокое блаженство в трудах и бедствиях. Продолжая сравнение закона устрашения и закона благодати, Он указал народу, что Ветхий Завет преходящ, новый останется навеки; Ветхий представляет образ и тень, Новый — исполнение и дополнение; Ветхий требовал наружных проявлений, Новый проникал в мысли; Ветхий содержал правила поведения, Новый — тайну послушания. Заповедь «не убей» с этого времени распространилась на оскорбительные слова и на чувство ненависти. Доказано, что зародыш

прелюбодеяния таится в сладострастном взгляде. Запрещение клятвонарушения включило теперь в себя всякую пустую и наружную клятву; закон о праве возмездия уступил место закону полного самоотвержения; любовь к соседу простерлась на врагов[216]. С этого времени дети царствия должны стараться единственно только о том, чтобы быть совершенными, как совершенен Отец их Небесный.

Новая жизнь, которая была последствием этого нового закона, во всех отношениях противоположна с той обычной требовательной мелочностью фарисейского формализма, который до того времени почитался высочайшим типом религиозности. Милостыня должна быть подаваема не с шумом, не напоказ людям, а скромно и тайно. Молитва произносится не с торжественностью, а в святом уединении. Посты исполняются не для вида, чтобы прославлялись добродетели постящегося, а втайне, для самоотвержения. Все эти действия преданности совершаются единственно только из любви к Богу, в простоте сердечной, которая не ищет земных наград, но собирает для себя самой небесные и нетленные сокровища. Чистосердечие такого служения должно быть полное, не допускающее разделения. Заботы и печали жизни не должны ни развлекать усердия, ни возмущать покоя. Бог, к Которому обращены те молитвы, есть Отец. Таким образом, Тот, Кто питает птиц небесных, — которые не сеют, не жнут, — и одевает в лучшие, чем царские, одежды цветы полевые, не заставит нуждаться в пище и одежде, дает ту и другую без хлопот и забот детям своим, поставившим за первое свое желание искать Его милости.

Какое же должно быть основание этого учения? Самоиспытание, исходом которого будет снисхождение, не осуждающее чужих грехов, — кротость, не верующая им, — забвение, не знающее их, — скромность, не позволяющая ни уничтожить, ни унизить ничего святого, — вера, ищущая настоятельно даров свыше и знающая, что при справедливом искании получить их, — самоотречение, которое из желания славы Божией и счастья людям руководит поступками и деяниями в отношении целого мира.

Врата узки и путь тесен, но они ведут к бессмертию. По жизни и действиям исповедников надо судить — справедливо или ложно их учение. Надо беречься лжепророков, которые приходят в овечьей одежде, а внутри волки хищные. Они могут быть узнаны по плодам их.

Наконец Он утверждал, что выслушавший эти слова и исполнивший их подобен человеку благоразумному, *который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.* А кто слушает и не делает этого, тот подобен *человеку безразсудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.*

Таково было, но в более ярких, более осязательных очертаниях содержание этой могучей проповеди. Неудивительно, что те, которые слышали ее, *дивились учению Его.* Удивительней же для них всего было то, что Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

Книжники, или соферимы (от «сефер» — книга), существовали со времен Эздры: их обязанность состояла в переписке, чтении, исправлении, изложении и защите книг закона, который разделялся на закон устный (*Тора себеалпи*) и закон письменный (*Тора себекетеб).* Устный закон или предания вошли всецело в Талмуд. Читая в нем это учение книжников, нельзя не удивляться узкости, догматичности и материальности взгляда. Оно холодно по изложению, пусто по содержанию, изветшало и заключает в себе беспрестанное повторение одного и того же. В нем нет ни свежести, ни силы, ни огня; оно рабствует перед властями, противится всякой независимости; в нем чувствуется в одно время ученость и малоумие, заносчивость и низость. Оно ни на волос не отступает от известной линии комментарий и предвзятых мыслей, полно колеблющихся выводов и в истинных верованиях придерживается до безрассудства буквы закона. В этом учении вы тотчас заметите путаницу законных мелочей и целый лабиринт систем, предпочтение памяти и повторения задов перед гениальностью и оригинальностью. Оно постоянно вращается около священников и фарисеев, в храме, в синагоге, в школе, в синедрионе и ужасно хлопочет о самых ничтожнейших мелочах. Нельзя сказать, чтобы оно лишено было вовсе нравственного значения: там и сям, между кучей вздора, попадается и высокая мысль. Но оно в тысячу раз больше занято левитскими обрядами относительно мяты, анису и тмину, длиною каемок, шириною филактерий, мытьем чаш и блюд, приметами при появлении нового месяца и при начале суббот.

Само собою разумеется, что учение Иисусово было настолько отлично по своему характеру, настолько возвышеннее по своему содержанию, насколько храм голубого неба, под которым оно преподавалось, был выше душной синагоги или тесной школы. Оно преподавалось там, где представлялся случай: на горе, при озере, на дорогах, в доме фарисея, на пиршестве у мытаря: но, передаваемое в царском портике учителям израильским, оно не становилось лучше и возвышеннее, чем тогда, когда единственным слушателем был невежественный народ, которого надменность фарисейская считала проклятым. Оно не допускало исключений и передавалось равно величественно и прекрасно как одному слушателю, так и восторженной толпе. Некоторые из величайших откровений слышали не правители, не народ, а беглец из еврейской синагоги, робкий посетитель в тиши полночи или слабая женщина в полдень при колодце. Это учение относилось не к мелочным десятинам, не к обрядовым очищениям, а обнимало собой человеческую душу, человеческую будущность, человеческую жизнь: оно поучало Надежде, Любви и Вере. В нем не найдешь определений, изъяснений, схоластических систем, философских теорий или запутанных трудностями и сомнениями споров, — но быстрый проницательный взгляд в глубину человеческого сердца, — неоспоримые положения, которые не под защитой исключений и ограничений, а сами по себе обращаются прямо к совести с непреодолимой простотой, овладевая сердцем и господствуя над ним полновластно. Происходя из глубины святых побуждений, это учение электрическим пламенем проникает все существо каждого слушателя. Одним словом, авторитетом этого учения был авторитет Воплощенного Божества: оно было голосом Бога, говорящего языком человеческим. Бесконечная чистота его была проникнута нежнейшим сочувствием, строгость — невыразимой любовью.

Теперь имея возможность сличить Христово учение, учение бывшего плотника в Назарете, со всем тем, что есть на свете лучшего и величайшего в философии, красноречии и поэзии, не должны ли и мы в сердечном восторге воскликнуть, что это учение лица, имеющего власть, что Он говорит так, как не говаривал ни один человек в мире? Произносили, по Божьему милосердию, и другие учителя слова, исполненные мудрости, но кому же из них довелось переродить

человечество? Чем был бы в настоящее время мир, если бы у него не было ничего лучшего, кроме сухих афоризмов и осторожных колебаний Конфуция или сомнительных принципов Платона? Сделало ли бы человечество такой громадный нравственный шаг вперед, как теперь, если бы величайший из пророков не предоставил нам свыше лучшее, чем Сакия Моуни, с ее неестественным аскетизмом, или магометанство, с его циничным освящением многоженства и деспотизма? Христианство, может быть, отступило от своего древнего великого идеала, может быть, утратило нечто из первобытной девственной чистоты, нынешняя борьба и разделение церквей в течение длинного ряда веков омрачили немного блеск нового Иерусалима, сошедшего с небес от Бога. Но за всем тем христианство не лучше ли, чем были древние Рим и Греция; не лучше ли, чем теперь, в настоящем положении, Турция и Аравия, покрытые плесенью исламизма, или Китай, пораженный атрофией буддизма? Даже, как нравственная система, — хотя христианство бесконечно выше всякой моральной системы, — оно совершенно своеобразно и при этом мы смело утверждаем, что ни одно из вероисповеданий не обладает подобной способностью привлекать к себе людские сердца. Другие религии очевидны своими недостатками и заблуждениями; относительно нашей доказано, что она целостна и совершенна. Другие системы были сложны и исключительны, наша проста и всеобща; те были временные и ограниченны известным пределом, а наша вечна и обнимает весь род человеческий. Конфуции, Сакия Моуни, Магометы никогда не могли составить себе понятие об идеале общества, не впадая в жалкие заблуждения; Христос установил действительное, вечное и славное царство, которого теория и история доказывают, что оно вовеки осталось тем, чем было заявлено сначала, — царством небес, царством Божиим.

И как изящна, как свежа простая речь Спасителя сравнительно с другими учениями, которые когда-либо доходили до слуха народа! В ней нет ничего научного, ничего искусственного; нет торжественных воззваний; нет заботливой выработки; нет исторических приемов; нет школьной мудрости. Прямой, как стрела, этот язык проникает в глубины души и духа, чтобы там начертать свои правила. Все коротко, ясно, точно, полно святости, полно обыкновенных обыденных образов. Там указаны события и предметы, с которыми сроднились жители

Галилеи; оно было только пояснением великого древнего обетования нравственного закона. В нем говорится о зелени полей, о вешних цветах, о распускающихся весной деревьях, о светлом или пасмурном небе, о восходе и закате солнца, о ветре и дожде, о ночи и буре, о хмурой погоде и ведре, об источниках и реках, о звездах и светочах, о меде и соли, о трепетном ситнике и горящих плевелах, о разодранной одежде и разорванных мехах с вином, о яйцах и змеях, о жемчужинах и монетах, о сетях и рыбе. В речах Иисуса постоянно встречаются вино и пшеница, ячмень и масло, управители и садовники, работники и хозяева, цари и пастухи, путешественники и отцы семейств, придворные в роскошных одеждах и невесты в подвенечных платьях. Он знал всю жизнь и глядел на нее настолько же милостивым, насколько царственным оком. Он радовался народной радостью, не меньше, как печаловал об их заботах. Глаза Его, так часто полные слез, при виде страданий земной безнадежности на смертном одре, блистали еще ласковее, когда смотрели на игры счастливых на земле детей в зеленеющем поле или среди уличной деятельности.

ГЛАВА XIX

Чудеса

За посвящением народа в тайны великого учения тотчас же последовало и подтверждение его великими знамениями. Иисус переходил как выразился св. Евфимий, от учения к чудесам. Уча, как имеющий власть, Он подтверждал эту власть соответственными ей деяниями.

Можно подумать, что после ночи, проведенной в молитве под открытым небом, после избрания двенадцати учеников на рассвете и после продолжительного разговора с ними и с разноплеменным народом, в течение дня, Спаситель удалился на покой, которого требовала постоянная деятельность. Но не так было на самом деле: несколько последующих дней были днями беспрерывного и неустанного труда.

Св. евангелист Матфей рассказывает двадцать, св. Марко — осьмнадцать, св. Лука — девятнадцать, а св. Иоанн — семь чудес. Полное число различных чудес, так как некоторые повторяются у каждого из евангелистов, будет тридцать три.

Когда кончилась проповедь[217], огромная толпа рассеялась по разным направлениям: те, которых жилища находились в долине Геннисаретской, последовали за Иисусом. Прошедши деревню Гаттин и спустившись в овраг, они оставили справа Магдалу и пошли чрез Вифсаиду к Капернауму.

При сходе с горы и тотчас при входе в одно из небольших поселений, шествуя, вероятно, несколько впереди народа, который из почтения не желал беспокоить Его после трудов, Иисус увидел жалкое зрелище. Внезапно с сильным воплем упав на колена и потом от сердечной скорби и мольбы припавши лицом к земле, явился лишенный волос, в разорванной одежде, с выступившими на губах струпьями больной, зараженный в сильнейшей степени проказой и отвратительный с виду[218]. Требовалось со стороны страдальца поразительная уверенность, что молодой Пророк из Назарета может исцелить его, потому что все признавали невозможность излечения от

подобной болезни, которая, раз всосавшись в кровь, была неискоренима и развивалась, постоянно усиливаясь. Сильное желание прокаженного остаться в живых выразилось нетерпеливой мольбой: *Господи, если Ты хочешь, Ты можешь очистить меня!* Скор, как эхо, был ответ на такое верование: *хочу, очистись.* Все чудеса Христовы были откровениями. В иное время, когда обстоятельства того требовали, Он замедлял ответом на просьбу страдальца, но на мольбу прокаженного Он отозвался мгновенно. Прокаженные считались величайшими грешниками, и Христос хотел научить нас, что сердечная молитва грешника о спасении и очищении встречает всегда мгновенный прием. Когда Давид[219], тип всех истинно кающихся, воскликнул с полным раскаянием: *я согрешил пред Господом,* — Нафан должен был тотчас же передать милостивое разрешение от Бога: *Господь снял с тебя грех твой: ты не умрешь!*

Но прежде продолжения рассказа обратимся к тому, как между евреями принимались прокаженные и каков был обряд очищения.

В мнении евреев болезнь эта была ужасна. В книге Левит рассуждению о ней посвящено две главы: 13 и 16. В последней описан подробно обряд очищения. Священник велит принести две птицы живых, чистых, кедрового дерева, нитку красной шерсти и иссопа; затем велит заколоть одну птицу над чистой водой, в глиняном сосуде, куда погружает все принесенное вместе с живой птицей; кропит жидкостью на очищаемого семь раз, а живую птицу отпускает на свободу и объявляет больного очищенным. После того прокаженный должен обрить на себе волосы, искупаться и семь дней оставаться вне дома; потом вновь весь обриться, искупаться и, возвратясь домой через семь дней, на восьмой принести двух агнцев и одну агницу (однолетних, без порока), три десятых частей ефы пшеничной муки и один лог елея. Часть крови от агнца, принесенного в жертву повинности, и часть масла употреблялась с некоторыми обрядами для помазания правого уха, больших пальцев правой руки и правой ноги, остальная выливалась на голову очищаемого. Тогда уже больной объявлялся окончательно чистым.

Спаситель только простер руку, прикоснулся к прокаженному, и он мгновенно очистился.

Но это было великим нарушением буквы закона, который требовал обрядового очищения, даже от прикосновения к прокаженным[220], а в

то же время и объяснением духа закона, который хотел милости, а не жертвы. Чрез прикосновение к телу прокаженного не осквернилась рука Иисусова, но тело прокаженного очистилось прикосновением святой руки Его. Таким же образом коснулся Он и нашей греховной человеческой природы, и мы сделались вполне чистыми.

Возвращение прокаженному здоровья было следствием сострадания Иисуса и Его доброй воли. Но даже и в этом случае Он выразил совершенное повиновение Моисееву закону, повелевши прокаженному сколько для доказательства чуда, столько же ввиду необходимости для страдальца и во исполнение Левитских установлений, идти, показаться священнику, принести обычные жертвы и получить законное удостоверение о своем очищении[221]. К такому приказанию Он прибавил прямое и строгое запрещение говорить об этом кому бы то ни было. Откуда выходит, что внезапность, с которой совершено было чудо, скрыла его втайне от всех присутствовавших, кроме, вероятно, нескольких лиц, непосредственно следовавших за Ним, хотя оно совершено было днем, вблизи города и в недалеком расстоянии от шедшей за Иисусом толпы. Но для чего же Спаситель, как при этом чуде, так и при многих других, говорил тем людям, над которыми они совершались, о сохранении того в тайне, — что впрочем никогда не исполнялось. Истинной и прямой причины, не имея о том извещений евангельских, мы не знаем, но ясно, что это зависело от обстоятельств времени и места, а равно от степени умственного развития лиц, над которыми чудеса совершались; ибо при одном случае, когда обстоятельства были различны, Он даже требовал громкого изъявления благодарности[222]. Может быть, это делалось для того, как предполагает св. Иоанн Златоуст, чтобы смирить дух гордыни, научить людей не толковать без толку о глубоком, внутреннем смысле даров Божиих, или для того, чтобы не возбудить сильного смятения в пораженных удивлением умах галилеян, или, быть может, даже для того, чтобы видеть самого Иисуса в истинном свете, не как великого совершителя чудес, не как всеобщего гакима, но как Спасителя мира посредством откровения и надежды.

Каковы бы ни были общие причины подобных запрещений, в настоящем случае необходимость молчания была очевидна.

Св. Марко[223] указывает нам ясно, что Иисус отослал прокаженного от себя необыкновенным образом. ***И посмотрев на него строго, тотчас отослал его,***говорит евангелист. Какая же была причина такого строгого взора, такого безотлагательного удаления? Легко моглостаться, что на прикосновение к прокаженному, хотя это прикосновение было целебно, неосмысленное и недуховное правоверие глядело бы как на неполное очищение, а на Иисуса как на неочищенного по обрядам. Это подтверждается даже тем, что, вследствие распространения вести о чуде через рассказы прокаженного, ***Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных[224],*** хотя народ, по-видимому, обращал мало внимания на признаваемую левитами нечистоту, потому что приходил к Нему толпами и в пустыню, в которую Он удалился[225].

Прежде или уже после такого удаления исцелил Иисус слугу сотника[226], неизвестно; но из того обстоятельства, что как евангелист Матфей, так и евангелист Лука помещают это чудо вслед за проповедью на горе, можно с достоверностью предположить, что Иисус, окруженный народом, искавшим Его в пустынных местах, увидел, что Ему невозможно удовлетворять всех мелочных требований законников даже и временным удалением от сообщения с людьми.

Как только приблизился Он к Капернауму, где основал свое временное жилище, так тотчас же встречен был депутацией от старейшин иудейских, — вероятно, батланимов главной синагоги, — чтобы ходатайствовать за сотника, у которого самый верный и привязанный к нему раб лежал на смертном одре. Могло бы показаться странным, что старейшины иудейские хлопотали о таком человеке, который, будь он римлянин или нет, — все-таки был язычником и не мог быть даже новообращенным. Но они сами разъяснили, что сотник этот питает любовь к народу, и даже, удивительное дело в язычнике, которые вообще на иудеев смотрели с отвращением, построил на свой счет для них синагогу. Обращение иудеев к Иисусу доказывает, что это событие принадлежит к раннему периоду Его учения, когда мириады глядели на Него с удивлением и надеждой. Иисус тотчас же склонился на их просьбу, ***Я прийду и исцелю его!***Но на дороге Он встречает других вестников, друзей сотника, который послал их, сказать Иисусу: ***Не трудись, Господи! Ибо*** я ***недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой: но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.***Если сотник, будучи

человеком подвластным, имеет слуг, готовых исполнить всякое приказание, то разве не может Христос приказать невидимым слугам исполнить Его волю, не принимая на себя личного труда? Будучи тронут верой, гораздо большей, чем встречал в народе израильском, Он вывел отсюда такое заключение, которое грустно и неприятно звучало для слуха иудеев, что многие природные ***сыны царства извержены будут в тьму кромешную и многие прийдут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небесном.***Посланные же от сотника, возвратившись к нему, увидели, что целительное слово Иисусово произвело свое действие и ***выздоровел слуга его в тот час.***

Не удивительно, что после стольких чудесных действий Иисус не находил себе покоя. С раннего рассвета на вершине горы до позднего вечера в доме, избранном для житья, народ толпился около Него, не страшась нарушить Его уединения, не обращая внимания на Его утомление и только горя нетерпением видеть Его, воспользоваться чудесами и послушать слов Его. Даже для еды недоставало времени[227]. Такая жизнь в высшей степени тягостна и утомительна, а для смиренных и возвышенных натур, находящих истинное удовольствие в уединении и совершеннейшее счастье в одинокой молитве, подобное беспрестанное сборище народа, этот, по-видимому, бесконечный труд представляли невыносимое мучение, если бы дух не поддерживался безграничным состраданием и любовью. Но в сердце Спасителя любовь и сострадание к людям были беспредельны. К этому, должно быть, времени относится замечательное событие, которое пересказывает нам один только евангелист Марко[228]. Родственники и ближние Иисусовы, услышавши о делах Его, пришли из своего дома, — в Кане или Капернауме, — чтобы взять Его под личный надзор; потому что, как они говорили, ***Он вышел из себя.***Сообщившие им эти сведения обманулись видимой восторженностью всех Его речей и действий, сильным состраданием, пылом горячей любви: они видели в этом чересчур сильное возбуждение, неестественную чувствительность, горячечное увлечение благодеяниями и ревностью. В народе всегда замечается наклонность смешивать пыл энтузиазма с эксцентричностью беспорядочного ума. ***Безумствуешь ты Павел,***— вот впечатление, которое произвела торжественная речь апостола на циничный и

распущенный ум Феста, римского прокуратора[229]. ***Он одержим бесом,*** вот отзыв многих бестолковых и чересчур положительных слушателей, после некоторых полных божественной любви слов Спасителя. Подобые думы наполняли душу близких Его, когда они услыхали о внезапном переходе Его к неусыпной деятельности, после тихого уединения в течение тридцати неизвестных и никаким событием не отмеченных лет. Они не могли сочувствовать Ему, не знали Его, не веровали в Него: они говорили, что *Он вышел из Себя.* Необходимы были положительные доказательства, что Он уже не принадлежит к их составу, что Он уже более не плотник, не брат Иакова и Иуды, а сын Божий и Спаситель мира.

ГЛАВА XX

Иисус в Наине

Согласно слов св. евангелиста Луки[230], Спаситель на тот же день после этих событий отправился из Капернаума в Наин. Очень немудрено, что случай прикосновения Его к прокаженному заставил Его поспешить удалением из города, вследствие толков, которые возбудило это событие.

Наин, — в настоящее время грязная, жалкая деревушка, — находился в расстоянии около тридцати осьми верст от Капернаума и расположен был на северо-западном склоне Джебель эль-Дюги, или малого Ермона. Лестное значение своего имени «красивый», — оставшееся за ним досёле, — он оправдывал своим положением близ Ендора, гнездясь живописно на откосах красивой горы, в виду Фавора и гор Завулоновых. Поднявшись пораньше в прохладные часы утра, как делается всегда на востоке, Иисус отплыл к южной оконечности озера, спустился в долину Иорданскую к тому месту, где склоняется к ней Есдрелон, а оттуда, оставя Фавор в правой, а Ендор в левой руке, мог легко достигнуть деревушки вскоре после полдня.

В этот светлый и счастливый период Его учения Ему сопутствовали не только ученики, но вместе с ними радостная и обожающая толпа народа. Но когда эта счастливая процессия, полная великих надежд и нередко обманчивых верований относительно

прихода царя, обогнула узкий, скалистый всход, который вел к воротам Наинским, навстречу ей вышла другая — печальная, — вынос из городских стен умершего юноши для погребения. Вследствие большей, чем у нас, жителей севера, живости и восприимчивости южной расы, скорбь чувствуется тем глубже. Ничем несдерживаемый вопль раздавался громче, чем обыкновенный плач, тем более что юноша был единственным сыном вдовы матери. Это обстоятельство сильнее всего трогало сердце еврея и было тягостнее для его слуха, чем для нашего; отчасти потому, что умереть бездетным считалось позором, а с другой стороны, оттого, что на лишение потомства во многих случаях глядели как на прямое наказание за грехи[231]. Зрелище страшной печали сильно поразило любящее, кроткое сердце Иисуса. Приостановившись на мгновение, чтобы сказать матери: *не плачь*, Он приблизился и, не заботясь уже более о сохранении обрядной чистоты, прикоснулся к *одру*, или к открытому ящику, в котором лежал умерший. Без всякого приказания исполненные непонятного благоговения носильщики поставили одр. И среди всеобщего молчания, среди замершего на время вопля, раздался краткий голос: *юноша! тебе говорю, встань!* Раздастся ли этот голос среди неведомого, таинственного уединения смерти? Проникнет ли он в непроницаемую, глубочайшую полночную тьму, которая скрывала всегда загробный мир от людского взора? Да, он раздался там; он проник туда. Мертвец встал, начал говорить и *отдал его Иисус матери его.*

Неудивительно, что это чудо навело на всех неописанный ужас. Им мог прийти на мысль Илия и вдова сарептская; мог представиться Елисей и знатная женщина близ Сунима. Они, величайшие из пророков, воскресили для этих женщин их умерших сыновей, но достигши этого усиленными прошениями, борением молитвы, лежанием распростертыми над умершим. Иисус же сотворил чудо спокойно, внезапно, мгновенно, во имя свое, собственной властью, единым словом. *Бог посетил народ свой*, толковали обрадованные и пораженные наиняне и не могли рассуждать иначе.

Около этого времени, а может и в тот же самый день[232], Иоанн прислал к Иисусу своих учеников с коротким вопросом, который однако же дышал сомнением и скорбью: *Ты ли тот, который должен прийти*, спрашивал он, *или ожидать нам другаго.*

Странный вопрос для того, кто первый признал в Иисусе Агнца Божия, — кто в восторженном видении видел отверстые небеса и Духа Божия, сходящего на главу Иисуса в виде голубя!

Некоторые предполагали, что этот вопрос был сделан с намерением уничтожить сомнения, которые ясно высказывались завистливыми и бессердечными последователями Предтечи. Иные, принимая во внимание, что до Иоанна доходили слухи то об явившемся вновь Илие, то о восставшем Елисее, то о каком-то великом пророке без названия, предполагают, что вопрос этот означал: «Ты ли тот самый Иисус, о котором я свидетельствовал?» Наконец некоторые утверждают, что тут не скрывается никакого сомнения, а содержится робкое напоминание, что настало время Иисусу заявить Себя самого Мессией, ожидаемым народами, а вместе с тем кроткий упрек за допущение своему другу и Предтече томиться в темнице и за несовершение в отношении его ни одного из чудес, о которых ходила молва. Но все эти предположения излишни, св. Иоанн, при своем истинном величии, не нуждается в нашей помощи и в наших снисходительных предположениях. Из выразительных слов Того, кто, при этих самых обстоятельствах, восхваляет своего Предтечу и ставит его выше всякого смертного, можно заключить, что на пути своей веры в то, что слышал о Христе, великий пророк вдруг встретил какой-то камень преткновения.

Во всемирной истории находим мы не один, не два примера, что Господь допускал самых лучших и величайших из слуг своих испивать до дна чашу кажущихся неудач; призывал их внезапно к жестоким пыткам мученичества; поражал продолжительными болезнями; отбрасывал как изломанные орудия, негодные для их предназначения, пока не увенчивал бессмертным успехом и благословением их жизнь, — на которую глупцы глядели как на безумие, — и их кончину, неудостоенную никаких мирских почестей. Это и есть тот огонь, которым Он всегда очищает семь раз очищенное золото духа, достойного вечного блаженства. Но ни для кого подобное отеческое испытание не было так тяжело и горько, как для св. Иоанна. Ибо, по-видимому, он был оставлен не только Богом на небе, но и Его Сыном, живущим на земле. Удивителен ли после того предложенный им вопрос: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»

Иисус не дал прямого ответа. Он показал посланным и заставил их удостовериться собственными глазами в том, что доходило до них только по слуху, а затем, как бы применяясь к словам пророка Исаии, повелел им отнести к их учителю ответ, что *слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются; глухия слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют*[233]. Но что важнее, что выше всего, то бедняку преподаются слова утешения. При этом можно вообразить себе — с какой сердечной любовью Иисус прибавил: *и блажен, кто не соблазнится о Мне.* Следовательно, блажен, кто верует Ему, несмотря ни на какие муки и преследования — кто верует, что ему известна вполне воля пославшего Его: каким образом и когда следует начать и кончить дело искупления.

Невозможно и думать, хотя мы не видим ничего подобного у евангелистов, чтобы ученики Иоанновы отправились в обратный путь, не выслушавши от Иисуса иных удостоверений личного сочувствия и слов одобрения для великого заключенника, конец которого уже приближался, — слов, которые были ему слаще меда, утолявшего его голод в пустыне, дороже источника на безводной почве. После же отправления учеников Иисус, далекий от всякой лести, пожелал выразить слушателям свою задушевную мысль о великом пророке пустыни в достопамятном похвальном слове, подтвердив, что он действительно был Голосом на рассвете великого дня, — величайшим провозвестником Божиим, новым Илиею, который, согласно последних слов древнего пророчества, должен был предварить приход Мессии и приготовить путь Ему.

Что смотреть ходили вы в пустыню?
Трость ли ветром колеблемую?
Что же смотреть ходили вы?
Человека ли одетаго в мягкия одежды?
Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворцах царских.
Что же смотреть ходили вы?
Пророка ли?
Да, говорю вам и больше пророка. Сей есть, о ком написано: се, Я посылаю Ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою[234].

Произнесши это изысканной, мерной и восторженной речью похвальное слово, Иисус обратился к тем, которые с более спокойным духом чтили Его Самого и Иоанна, и сказал, что *из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в царствии Божием больше его.* Краткость высказанных Спасителем слов оставляет некоторого рода неясность в их значении. Последний из величайших, говорит однако же общее правило, выше величайшего из последних. При преподанном Спасителем людям новом откровении, при безграничной надежде, при твердом сознании отношений к Отцу и Господу, смиреннейший из сынов Нового Завета получает большие дары, чем величайший пророк старозаветный. В этом царстве Божием, приближение которого объявлено, сыны новозаветные могут настаивать, добиваться всего со святым и более или менее удачным упорством, и такое ревностное упорство, свойственное алчущим и жаждущим правды, никогда не будет отринуто Богом[235].

Многие слышавшие слова Его, а в особенности мытари и те, которые были известны под оскорбительным по тогдашним понятиям названием ам-га-аретс — народ земли, с радостью и благодарностью приняли учение Иисусово и *крестились крещением Иоанновым*[236]. Но другие личности, — аккредитованные учители писания и устного закона, — слушали проповедь Его с презрением и ненавистью[237]. Иисус сравнил этих последних со своенравыми детьми, которые брюзгливо отвергают всякое усиление своих товарищей развлечься и позабавиться: *мы играли вам на свирели, а вы не плясали; мы пели вам плачевные песни и вы не плакали*[238]. Ничто не нравится этим угрюмым, упорным натурам. Флейта и пляски, которые представляют забаву свадеб, восхищают их столько же, как и грустный вопль похорон. *Бог многократно и многообразно говорил отцам их чрез пророков*[239], но все было напрасно. Пришел Иоанн со строгим аскетизмом отшельника, они назвали его беснующимся. Явился Иисус, посещавший их торжества и свадьбы, они говорят про Него: *вот человек, который любит есть и пить вино. Но оправдана мудрость всеми чадами ея*[240].

Проявилась мудрость в ее детях, которые не посрамили своего божественного образа. Глупцы могут принимать жизнь их за

беснование, смерть за недостойную почтения; но самые приниженные из них считаются детьми Божиими и *жребий их между святыми*[241].

ГЛАВА XXI

Грешница и фарисей

Но не тем окончилась деятельность и проповедь Иисуса в этот достопамятный день. Согласно рассказа св. Луки[242], в тот же должно быть день и, может быть, в Наине или Магдале, Иисус получил и принял приглашение одного из фарисеев, по имени Симон. Имя это было (как и Иуда), настолько общеупотребительно между иудеями, что Иосиф в своих летописях перечисляет до двадцати таких замечательных соименников, а не замечательных можно было считать тысячами. Таким образом какое значение имел именно этот Симон в народе, — определить невозможно.

Повод и предмет для приглашения также неизвестны. Но в то время не проявлялось еще видимого или открытого разрыва между Иисусом и партией фарисейской, воображавшей, может быть, сделать из Него послушное орудие для проведения в народе их политических и социальных убеждений. Приглашение сделано Симоном под влиянием, вероятно, любопытства, или из желания принять у себя известного народного учителя, или из намерения выразить не прямо, а стороной одобрение тому, что в словах и направлении Христова учения соответствовало его убеждениям. Ясно одно, что гостеприимство было не вполне радушное, а отзывалось сделанным свысока, как бы из снисхождения. Потому что обычной предупредительности и внимания, которые оказывались всегда почетному гостю, заметно не было. Не подано ни воды для омовения усталых и запыленных ног; не дано приветного поцелуя в щеку; не приготовлено духов для умащения волос; не было ничего, кроме приглашения мимоходом на пустое место к столу и холодных вежливостей, употребляемых в обыкновенном разговоре. Одним словом, прием давал заметить Гостю, что не посещение Его делает честь хозяину, а, напротив, этот последний делает Ему честь своим приглашением.

Ввиду того, что циновки и ковры употребляются при домашних молитвах, каждый гость, чтобы не занести с улицы нечистоты, при входе в сирийское или палестинское жилище, снимает свои сандалии и

оставляет их у дверей. После этого он идет к столу и занимает свое место. В древние времена, в течение всего Ветхого Завета, у евреев было в обычае, — как ведется доселе вообще на востоке, — есть сидя, скрестивши ноги, перед подносом, поставленным на низенький стол, где помещалось блюдо, доверху наполненное пищей[243]. С этого блюда всякий из гостей брал сколько ему угодно. Но такой обычай, хотя и освященный столетиями, по-видимому, покинут был евреями в период пленения. От персов или нет, но ими занято было возлежание за едой, и, по выражениям употребленным у евангелистов, видно, что во времена Спасителевы евреи, подобно грекам и римлянам, возлежали за пиршеством на ложах, поставленных вокруг столов той же, вероятно, вышины, как и в настоящее время[244]. Умилительный и глубоко затрагивающий сердце случай произошел в доме Симона на этом пиршестве.

Дом на востоке не представляет для хозяина заповедного убежища. Глубокое, всеобщее уважение к закону гостеприимства, — первейшей добродетели восточного человека, — принуждает его жить с открытыми дверями и каждый во всякое время имеет доступ во все комнаты. А при этом случае был вдобавок Тот, который поощрял войти без позволения в это почтенное жилище всякой личности, даже такой, которая была не только тут некстати, но положительно ненавистна. Несчастная, опозоренная, падшая женщина, известная в той местности своей развратной жизнью, услыхав, что Иисус возлежал, за столом в доме Симона, решилась пробраться туда между толпой других посетителей, принесши с собой *алавастровый сосуд с миром.* Найдя предмет своих исканий, она, стоя смиренно около ног Иисуса (так как при круглоте стола ноги возлежавших были обращены к зрителям, стоявшим сзади), слушала слова Его и, размысливши о том, как велик был Он и до какой степени упала она, как недосягаемо высока непорочная, безгрешная чистота молодого Пророка перед ее постыдной, развратной жизнью, начала плакать. Слезы ее падали на Его непокрытые сандалиями ноги, к которым склонялась она ниже и ниже, чтобы скрыть свое смущение и стыд. Фарисей с ужасом откинулся бы назад от одного прикосновения, не только от слез подобной женщины; он захотел бы тотчас же очиститься от воображаемого осквернения и прогнать вон с проклятием дерзкую незваную гостью. Но эта женщина инстинктивно чувствовала, что

Иисус не поступит с ней подобным образом; она поняла Его высочайшую непорочность, Его любвеобильное снисхождение; она видела, что если бы ее оттолкнула строгая важность людей, — ее товарищей по грехам, — то она встретила бы радушный прием от совершенной святости ее Спасителя. Может быть, наслушавшись произнесенных Им в этот же самый день приветномилостивых слов: *приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные и Я успокою вас,* и теперь не слыша себе порицаний, она ободрилась и, сознавая глубоко, что всякий другой, но не Иисус, станет осуждать или порицать ее, приблизилась к Нему и, упав на колена, начала своими длинными распущенными волосами утирать ноги, которые омочила слезами, покрывать их поцелуями и наконец, — открывши сосуд, — помазала ноги его драгоценным и благовонным нардом. Вид этой женщины, с распущенными волосами, стыд ее унижения, раскаяния, поток слез, пожертвование благовониями, составлявшими одно из средств ее непозволительной жизни, могли бы тронуть каменное сердце и возбудить в нем сочувствие; но Симон был фарисей и глядел на это с ледяным отвращением и неприязнью. Его не трогала неотступная мольба этой отчаянной страдалицы с надломленным сердцем о милосердии и снисхождении. Ему недостаточно было того, что Иисус, дозволяя несчастному созданию целовать и помазать ноги, не сказал ни одного слова одобрения. *Если бы Он был пророк,* говорил Симон сам в себе, *то знал бы кто и какая грешница прикасается к Нему,* а если бы узнал, то прогнал бы ее с презрением и негодованием. Простое прикосновение к ней обязывает совершить торжественное очищение.

Но фарисеи не выражали своих мыслей вслух. Только холодное обхождение и презрительное выражение лица, чего он и скрыть не потрудился, указывали на то, что происходило в его сердце. Зная все помышления, но не обличая вдруг это холодное фарисейское немилосердие и жестокость сердца, Иисус обратился к Симону со словами: *Симон! Я имею нечто сказать тебе.*

Скажи Учитель, отвечал фарисей.

У одного заимодавца, продолжал Иисус, *было два должника: один должен был пять сот динариев, а другой пятьдесят. Но как они не имели чем заплатить; он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит Его?*

Симон настолько мало понял, что слова Иисуса относятся к нему, насколько Давид понял притчу, рассказанную ему Нафаном. *Думаю*, — отвечал он, — *тот, которому более простил.*

Правильно ты разсудил, подтвердил Иисус.

Симон не понял значения притчи, а раскаявшаяся грешница внимала ей, вероятно, с быстрым биением сокрушенного сердца. Каково же должно было быть ее чувство, когда Иисус, не обращавший на нее до сего времени внимания, обернулся прямо к ней и, указав присутствующим на ее коленопреклоненный вид, так как она стояла на земле, стараясь скрыть обеими руками и волосами смущенное лицо свое, воскликнул к изумленному фарисею: *Видишь ли ты сию женщину?*

Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами обмыла Мне ноги и волосами головы своей отерла.

Ты целования Мне не дал; а она, с тех пор, как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги.

Ты головы Мне маслом не помазал; а она миром помазала Мне ноги.

А потому сказываю тебе: прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.

Затем, Он прибавил, обращаясь уже не к Симону, но к бедной грешнице со словами спасения:

Прощаются тебе грехи.

Слова Спасителя всегда были новым откровением для слушателей и, сколько можно судить по многим кратким указаниям в Евангелиях, эти слова, в первые дни Его учения, возбуждали удивление и молчание, а в последнее время поднимали, в среде отвергавших Его, неистовые упреки и ропот негодования. В настоящее время благоговейный и торжественный восторг, произведенный Его любовью, непорочностью и присущей Ему божественностью, которая сияла в Его взгляде и звучала в Его голосе, — не был ничем прерван. Только в своих задушевных мыслях гости, скорее, по-видимому, от удивления, чем от гнева, стали спрашивать друг друга тихо и спокойно относительно принадлежности Ему недоступной смертным власти прощать грехи людские. Они только про себя говорили: *кто это, что и грехи прощает?* Иисус знал их внутреннее колебание, но, не желая надламывать их хрупкой, как тростник, веры и тушить мгновенного,

как горящий лен, почтительного удивления, Он с кротостью отпустил жену-грешницу милостивым словом: *вера твоя спасла тебя, иди с миром.* И она действительно пришла к миру, — не к тому, который дает мир, но к миру Божию, превосходящему всякий разум. Для нас это событие служит уроком, что холодное и себялюбивое лицемерие ненавистнее для Бога, чем явный грех; что греховная, нераскаянная жизнь в почете не менее отвратительна и пагубна, как и жизнь явно бесстыдная.

Старинное предание, преобладающее в восточной церкви, перешедшее и в англиканскую, отожествляет эту женщину с Марией (из Магдалы), *из которой изгнал Иисус семь бесов.* Луки 8, 2. Этого выражения нельзя толковать в прямом его смысле, но согласно с еврейскими понятиями, которые, как сказано выше, все относили к действию злых духов, Григорий Великий объясняет, что обладание семи бесов означает множество накопившихся у Магдалины грехов. Странная натура, распущенная донельзя жизнь ее, не могли выразиться в еврейской фразеологии иначе и точнее, как подобной фразой. Талмудисты много толкуют о богатстве Марии, ее необычайной красоте, об ее плетеных волосах, ее бесстыдном распутстве. Но Святое Писание, передавая последующую жизнь Магдалины, говорит нам только о восторженной преданности и благодарности, с которыми привязалась она душою и сердцем к служению своему Спасителю. В следующей за этой главе Евангелия св. Луки[245] она поставлена первой между женщинами, сопутствовавшими Иисусу в Его странствованиях и служивших Ему имением своим. Легко может статься, что имя ее в рассказе о происшествии в доме Симона пропущено по той же самой причине, по которой евангелист умалчивает в других местах о прежних занятиях св. Матфея и пропускает имя св. апостола Петра. Имя Магдалины, между всеми образованными народами, обратилось в синоним принятого раскаяния и прощенного греха. Путешественник, пробираясь между цветующими олеандрами, наполняющими воздух при берегах Геннисаретского озера ароматом, и дойдя до разрушенной крепости и одинокой пальмы, — служащей признаком арабской деревушки Эль-Меджделъ, — невольным образом приведет себе на память это древнее предание о грешной красавице и ее глубоком раскаянии, которые прославили имя Магдалины. Несколько жалких

лачуг глядят запустением и развалинами; жители живут в невежестве и унижении; — но с любовью и трепетным сердцем взглянет всякий на то место, которое служит видимым доказательством, что никто, даже глубоко падший и презираемый всеми человек, не будет отвергнут Тем, Кто в числе первых дел своих считал сыскать и спасти погибшего. В бальзамическом воздухе Геннисарета, в ясности сапфировых небес, в пении птиц, оглашающих окрестность, в массе пурпуровых цветов, которые в известные времена года окружают глиняные мазанки, он прочитает любовь и милость, которая так щедра и так обширна, что украшает свежестью и прелестью даже развалины, где живала столь чистосердечно раскаявшаяся грешница.

ГЛАВА XXII

Жизнь Иисуса в Галилее

К самому раннему периоду Иисусова учения принадлежат эти странствования, посещения городов и деревень галилейских, поучения, проповеди и дела милосердия, о которых повествуют три первые евангелиста, в особенности св. Лука[246]. И ходил Иисус по всей Галилее, высказывает св. Иоанн***. Иоан. 7, 1. Это был самый светлый, полный надежд и деятельности эпизод в жизни Спасителя. Представим же себе, что мы стоим в стороне, видим Его и со всем смирением и почтением посмотрим, каков Он был.

Народ ожидал Его всюду во множестве, и толпы встречали на каждом перекрестке. Вообразим же себя на котором-нибудь из них и станем глядеть на Него, подобно тем толпам, как на человека земного.

Вот мы находимся в небольшой долине Асохис (ныне же Эль Буттауф), которая тянется между хребтами Завулоновым и Невфалимовым, почти что между деревнями Кефр-Кенна и так называемой Канаэль-Джалиль. Нас окружает море пожелтевших пажитей, почти готовых к жатве, бесчисленное множество ярких цветов, рас инувшихся гуще близ дороги, чем около жилья. Путь, на котором мы стоим, идет в одну сторону к Акре и морским берегам, в другую — к вершине Гаттина и к Галилейскому озеру. Земля сияет всей прелестью вешнего палестинского дня, но толпа, в средине которой мы стоим, слишком занята одной всепоглощающей мыслью, не замечает этих красот природы; потому что некоторые слепы, другие сухи, иные хромы. Они не знают, — нынче ли прикоснется к ним милостивый перст, — нынче ли услышат они слово исцеления. — нынче ли одно прикосновение к одежде незнаемого Пророка, когда Он будет проходить мимо, изменит и исполнит радости всю остальную жизнь их. В небольшом расстоянии сзади толпы среди пшеницы стоит несколько робких искалеченных, покрытых гнусным рубищем фигур с закрытыми губами. Они предостерегают каждого приближающегося к ним криком: *Тамэ! Тамэ!!* (нечистый) В них мы с содроганием узнаем прокаженных.

Народ сошелся сюда вследствие различных причин. Между ним были и такие, которые пришли только из любопытства или просто вследствие увлечения всеобщим энтузиазмом, в котором сами не могли дать себе отчета. Дивные рассказы об Иисусе, об Его милосердии, могуществе, милостивых словах и чудесных деяниях переходили из уст в уста, перемешиваясь, без сомнения, с подозрениями и клеветами. Один или два книжника и фарисея тут же передают друг другу шепотом о своем поражении, негодовании и тревогах.

Вдруг над самой дорогой, в недальнем расстоянии видится облако пыли, которое возвещает приход новой толпы. Отрок из Магдалы или Вифсаиды, не обращая внимания на насмешливые возгласы книжников, является в этом направлении и, быстро подвигаясь вперед кричит *Малька Месихаг!* Царь Мессия! Этот возглас даже из уст отрока заставляет забиться сильнее простые сердца галилеян.

Но вот толпа приближается. Ее составляет множество молодых и стариков, принадлежащих по большей части к земледельческому классу, но между ними мелькают и люди высокого звания: здесь похмурый фарисей, там разгульный царедворец Иродов, нашептывающий греческому купцу или римскому воину свои насмешливые замечания на народный энтузиазм. Но таких было немного. Взоры всей разнохарактерной толпы по большей части постоянно устремлены на Того, который стоит в центре отдельной группы.

Впереди этой небольшой группы ходят некоторые из вновь избранных апостолов, а позади их другие, между которыми замечается тот, чей беспокойный взгляд и мрачный вид мало согласуются с открытым и непорочным взглядом, отличающим прочих апостолов. Некоторые, глядя на него, узнают в нем Иуду Искариотского, единственного в то время последователя Христова не из Галилеи. Немного далее сзади виднеется четыре или пять женщин, которые или шли пешком, или ехали на мулах, а среди них, хотя они были под покрывалами, некоторые узнавали некогда богатую и безнравственную, а теперь раскаявшуюся Магдалину, возле нее жену рыбака Зеведея Саломию и за ней известную по своему богатству и положению в свете Иоанну, жену Хузы, управителя Ирода Антипы.

С правой стороны Иисуса строгий Петр из Вифсаиды, а с левой — молодой и любвеобильный Иоанн. Но взоры всех поглощены одним

Иисусом, который находится в центре толпы. Он одет не в виссон и пурпур, как царедворцы Иродовы или роскошные друзья прокуратора Пилата; Он не носит белого *ефуда* левитов или длинного платья книжников; у Него ни на руке, ни на челе нет *тефилина*, который фарисеи старались сделать побольше и повиднее; каждый из краев одежды его обшит белой каймой и голубой лентой, но заметно, что это сделано в исполнение предписаний закона, а не напоказ, чтобы все видели мелочное, наружное фарисейское послушание. Одежда на Нем приличная времени и стране. Он не с открытой головой, как изображают Его живописцы, потому что ходить или стоять под солнцем сирийским с непокрытой головой не представляется никакой возможности, — но белый *кеффих*, какой носят и доселе, покрывает Его волосы, придерживаемые вокруг темени *агалом*, или сеткой, и затем ниспадающие сзади на шею и плечи. Широкий, голубой, чистый *талиф*, или верхнее платье, из простейшей ткани покрывает Его стан и разве случайно на ходу открывает *кетонеф*, (хиттон), нешвенную шерстяную общеупотребительную между жителями востока тунику из обыкновенной полосатой ткани, которая около талии схватывалась поясом и покрывала человека с плеч до самых ног, обутых в сандалии. Но простая одежда не скрывала Царя. Хотя в Его обращении не было ничего, что выказывало бы спесь заносчивых раввинов, но, по своему природному величию и неизысканной прелести, оно было таково, что заставляло мгновенно замолчать всякий грубый язык, приводило в страх всякую нечестивую душу.

Каков был Его вид? Он был среднего роста; тридцати с чем-нибудь лет; на лице Его читалась непорочность с глубокомыслием и достоинством возмужалости. Светло-русые волосы ниспадали с головы вниз по шее. Цвет лица Его бы а нежнее, и подходил к типу греческому гораздо более, чем загорелые на солнце оливковые лица смелых рыбаков, Его апостолов; но сквозь эти черты просвечивалась какая-то печаль. Глаза, которых чистый и неописанный взгляд читал тайны сердечные, нередко омрачались слезой, но ни один человек, душа которого заражена грехом и самолюбием, не мог глядеть без страха и благоговения на божественное выражение этого лица, в котором светились покой и терпение. Да, таков был Тот, о котором говорили Моисей и пророки, — Иисус из Назарета, — Сын Марии и Сын Давидов, — Сын человеческий и Сын Божий. Глаза наши видят

Царя во всем Его величии. *Мы видим славу Его, славу как единородного от Отца, исполненного благодатью и истиною.* А, видевши, мы можем понять, почему во время одной из проповедей Его какая-то женщина из толпы, возвысивши голос, воскликнула: *Блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, тебя питавшие. Блаженнее те,* — отвечал Он словами, исполненными глубокой и дивной тайны, — *которые слушают слово Божие и исполняют его*[247].

Из всего, что мы рассказали прежде, можно вывести следующее заключение о Его жизни.

Во-первых, это была жизнь в бедности. Некоторые из древних пророчеств о Мессии[248], значение которых евреи вообще мало понимали, указывали на Его свободное подчинение смиренному жребию: Он был богат, но ради нас потерпел нищету. Он родился в хлеве постоялого двора; колыбелью Его были ясли. Мать принесла в очистительную жертву голубей, как неимущая. Бегство в Египет без сомнения сопровождалось многими затруднениями и, когда Он возвратился, то жил как простой плотник, сын плотника в презренном провинциальном городке. В настоящее время Он был бедный, странствующий учитель, не имеющий на столько достатка, чтобы пройти через всю страну. Проповедь Его на горе начиналась: *блаженны нищие духом;* главным знамением закона откровения было то, что Евангелие проповедуется нищему, самым ясным признаком Его бедности, что спустя три года Его общественного учения Он оценен был одним из своих собственных апостолов в тридцать сиклей (около 27 рублей), представлявших цену самого ничтожного из рабов.

Во-вторых, с этой наружной бедностью соединялась совершенная простота. Никогда в жизни Он не владел углом, который бы мог назвать своим. Ничтожную местность в Назарете поделили братья и сестры. Дом в Капернауме, так часто Им посещаемый, не был Его собственностью, а предоставлен Ему в пользование одним из учеников. Он на земле, которую пришел спасти, не владел ни одним клочком земли. Не видно из Евангелия, чтобы хотя один нищий, которых на востоке множество, просил у Него милостыни. Да если бы и попросил кто, то Он ответил бы словами Петра: серебра и золота у меня нет, но я дам тебе то, что имею». Пища Его была самая обыкновенная. Когда приглашали Его, Он готов был разделять трапезу, как например у Симона, Левия или Марфы, или участвовать на

празднике свадьбы, как в Кане: но обычная Его пища была так проста как пища последнего из земледельцев, и состояла из грубого хлеба, изловленной в озере и сваренной в кипятке на берегу рыбы, а по временам из куска готового дикого меда, который собирался в Палестине в огромном количестве[249]. Как же тонка была после этого нить правд подобия, на которой висело обвинение Иисуса Его врагами, что это человек, который «ест и пьет вино»! Хотя Иисус был беден, но не то, что мы называем нищим. Он никогда не был в нищенском положении и не сказал ни одного слова, которое могло бы быть извращено в виде одобрения для подобного положения человека. Он никогда не получал милостыни, но и Сам и Его небольшая группа последователей жили на своем собственно иждивении, извлекаемом из небольших маетностей или из промысла. При них всегда находился *ковчежец* (кошелек или денежный ящик), сколько для своего употребления, столько же и для вспомоществования других. Из этой кассы они восполняли простые необходимости и в праздник Пасхи уделяли, что могли, бедным. Но Христос Сам лично, по-видимому, не раздавал денег, потому что снабжал просящих дарами, которые были ценнее и благороднее серебра и золота. Даже небольшие суммы на крайние необходимости не всегда бывали у них в наличности, и когда сборщики ничтожной подати с бедных на службу храма пришли к Петру за одной только дидрахмой (40 к.), то ни у него, ни у его Учителя не оказалось в руках подобной суммы[250]. У Сына человеческого на земле не было другого имущества, кроме носильного платья.

В-третьих, это была жизнь трудовая: с малых лет и далее, в мастерской плотника, чтобы помочь в содержании Себя и семейства честным и независимым трудом; с тридцати лет, — чтобы спасти мир. Мы видели, что Он пришел для добра, и эта цель, — в коротких словах вся Его общественная жизнь, — придавала Его жизни необыкновенную оригинальность. Полученный нами прежде взгляд, который не изменится и впоследствии, на образ провождения Им времени заставляет только удивляться, как доставало короткого дня на эту бесконечную деятельность, на такое множество дел милосердия! Взывал ли к Нему человек, жаждущий Его поучения, или страдалец, веровавший получить от Него исцеление, Он готов был удовлетворить всех и каждого во всякое время. Поучение, проповедь, странствование,

совершение дел милосердия, укрощение брюзгливого нетерпения упорной, невежественной толпы, безропотное снисхождение к постоянно теснящему Его народу, — все эти дела отнимали у Него столько времени, что действительно не однажды заставляли оставаться по целым дням без всякой пищи. Для Себя Он не требовал никакого успокоения, кроме тихих часов ночи и молчания, когда Он удалялся помолиться Своему Небесному Отцу среди любимых Им уединенных гор.

В-четвертых, жизнь Иисуса была безболезненна. Среди стольких забот и искушений Он не знал только одного, — болезни. Мы слышали об исцелении Им множества больных, но не слыхали, чтобы Он сам был болен. Верно пророчествовал о Нем Исаия: *сей грехи наши носит, и о нас болезнует, и мы вменихом Его быти в труде, и язве от Бога, и во озлоблении*[251].

Но еще лучше дополнение этого места пророчества читаем мы у евангелиста Матфея: Он взял на себя наши немощи, и понес болезни[252], то есть Он страдал, видя людские страдания. Он весь проникнут был состраданием к нашим слабостям; Его божественное сочувствие обращало чужие страдания в Его собственные. Действительно история жизни Иисуса Христа и Его смерти представляет исключительную силу физической выносливости. Никто не мог бы устоять против постоянных, ежедневных, обременительных требований такой жизни, какая читается в Евангелии. Но важнее всего то, что Он обладал благословенным, покойным сном, — этим природным антидотом против утомления, лучшим успокоением работавшего сверх сил ума. Даже на зыблемом волнами деке небольшого рыбацкого судна, при качке бурного озера, Он лег спать, не имея иной постели, кроме жесткого, обитого кожей возвышения, служившего подушкой для рулевого[253]. Проводя нередко ночи под звездным небом, среди пустыни и на вершинах гор, Он не имел другого места успокоения, кроме зеленого луга, ни другой покрышки, кроме *талифа.* И мы увидим при последних печальных событиях, что после мучительного внутреннего борения в саду Гефсиманском, после бессонной ночи и утомительного дня Он сохранил все присутствие духа, всю энергичность терпения, с которыми мог выдержать пятнадцать часов допроса, пыток и продолжительных мук ужасной смерти.

В-пятых, это была жизнь печальная. Его даже называют Человеком Печали. Но это мнение мне кажется до некоторой степени ошибочным. Выражения «печаль» и «радость» слишком условны, и мы можем быть уверены, что если Его и сокрушали печали, печаль сочувствия к страждующим, — печаль за отвержение от Него тех, кого Он любит, — печаль такого человека, который понес на себе все несправедливости мира, — печаль той последней продолжительной муки на кресте, когда казалось, что Сам Отец покинул Его, — то в этих печалях заключалась и бесконечная радость. Потому что нет печали мучительней, нет бедствий страшнее тех, которые постигают человека, когда Бог удалится от него, когда, терзаемый стыдом, вследствие полного сознания своей вины и внутреннего унижения, в припадке безумия он клянет день своего рождения; когда предоставленная сама себе душа его предается, как огненной пытке, неисцелимому отчаянию, а ничего подобного не было и быть не могло в Иисусе не только в последних проявлениях, но даже в тончайшей, быстро исчезающей форме. С другой стороны, радость совершенно чистой совести, радость незапятнанной ничем жизни, радость души бесконечно далекой от всякой тени преступления, от всякого пятна греха, радость за существование, вполне преданное служению Богу и любви к людям, — постоянно и во всем обширном значении этих слов присутствовала в сердце Иисусовом. Это не то, что мир называет радостью; это не мимолетная, как рябь на поверхности воды в апрельский день, веселость; это не пустой неразумный смех, — нет! таких радостей, какие чувствовал Он, немного достается в жизни на долю человека, вполне сознающего значение жизни. Из этого глубокого источника, который кроется в сердцах благородных, чистых, неизменно верных, Человек Печали мог пить радости полной чашей. И хотя мы не слыхали, чтобы Он смеялся, а слышали, что Он плакал, стонал и даже возмущался духом; но Тот, кто был вполне и всегда сдержанным на общественных собраниях и празднествах, не мог не чувствовать внутреннею блаженства, которое по временам просвечивало в Его обращении с людьми. Был один случай в жизни Иисуса, про который говорится, что *в тот час возрадовался духом Иисус*[254]. Но неужели это случилось только однажды?

ГЛАВА XXIII

Замечательный день в жизни Иисуса

Последовательность событий, до которых мы теперь дошли в рассказах первых Евангелий, приблизительно одинакова. Но в этой части жизни Иисуса, не оставляя без внимания указаний других евангелистов, мы будем следовать хронологическому порядку св. Луки, потому что св. Матфей и Марко в порядке изложения руководствовались иногда чисто субъективными воззрениями. Они группировали события вместе, вследствие нравственных и религиозных между ними отношений, а св. евангелист Лука, по-видимому, обращал больше внимания на последовательный порядок, хотя тоже при случае позволял себе объединять события, не обращая внимания на время их совершения.

Вслед за днем, употребленным на путешествие, которое мы описали, св. Лука прибавляет, что, когда Иисус увидел себя окруженным великим множеством народа из разных городов, то начал говорить притчами[255]. Из двух других евангелистов мы извлекаем очень важное сведение, что это был еще первый случай подобного учения и что притчи, которые обращены были к народу, находившемуся на краю берега, произносились Иисусом с любимого места, — с лодки, державшейся для Него на озере[256].

По смыслу слов св. Марка можно только догадываться, что учение началось как будто после полудня того дня, как Иисус исцелил расслабленного, хотя этот вывод слишком ненадежен, для того чтобы на него вполне положиться[257]. Но из рассказа видно, что новая форма учения признавалась необходимой вследствие того состояния умов, до которого в некоторой степени доведены были наконец слушатели. Выразительное слово: *Слушайте!* которым началось поучение, приготовляло к выслушанию чего-то необыкновенного и замечательного[258].

Общие черты нового Евангелия, которое проповедовал Иисус, были уже довольно известны для большей части слушателей. От народа требовалось немного самоиспытания, немного более серьезной,

заботливой вдумчивости. «Внимайте, как вы слушаете» был первый великий урок, которым Он хотел возбудить их внимание. Ему хотелось, чтоб они слушали Его, не вследствие праздного любопытства и не принимали учения Его за простую забаву ума. Он хотел внушить им чувство нравственной ответственности за последствия перед тем, что услышат; хотел учить на условии, чтобы количество выгоды от слушания вполне зависело от их собственного верования.

Поэтому для доказательства, что истинным плодом доброго учения должна быть святая жизнь и что этот плод встречает множество помех при сроем возрастании, Он рассказал им первую притчу о сеятеле[259]. Картина взята, по обыкновению, из находящихся перед глазами предметов. В нее входят засеянные поля Геннисарета; растущие на них хлеба; проходившая чрез них крепко убитая дорога, на которой никогда не мог вырастать хлеб; бесчисленное множество птиц, которые летали над полями, в надежде покормиться зерном; слабое, вялое борение за жизнь, замечаемое в растениях, посеянных на каменистой почве; подавляющее всякий урожай произрастание терний: глубокий чернозем почвы вообще, где тесно и прямо стоят, колыхаясь от дыхания благовонного ветра, золотистые колосья, обещая сторичный урожай. Для нас, читавших эту притчу с детства и притом вместе с данным Христом толкованием, значение ее кажется необыкновенно просто и ясно. Мы видим в ней живейшие образы опасностей, встречающихся с людьми холодными и равнодушными, с хватающими все на лету и поверхностными, с принадлежащими миру и гордыми, с предубежденными и роскошными, когда они слушают Слово Божие. Не так легко доставалась разгадка для тех, которые слушали его лично. Сами ученики не вполне поняли значение притчи, хотя и не просили разъяснения до того времени, как остались наедине с Учителем. Трудность понимания ее народом легко объясняется тем, что она возбудила в простых слушателях мысли, с которыми они не успели еще освоиться.

Надо думать, что не все семь притч[260] (о сеятеле, плевелах, горчичном зерне, закваске, скрытом сокровище, жемчужине и неводе), вследствие некоторого сходства содержания и последовательности, в Евангелии св. Матфея помещенных рядом, а если прибавим находящуюся у св. Марка в гл. IV ст. 26–29, то не все восемь притч

произнесены были Спасителем при этом случае. Рассказать столько за один прием, рассказать без объяснений смешанному народу, к которому Он обращался в первый раз в подобной форме учения, значило бы оглушить его и притупить внимание. Выражение св. Марка *сколько они могли слышать* указывает на постепенный, а не непрерывный рассказ, который мог утратить всякое действие, если передать слушателям в такой мере, что они не были бы в состоянии ни понять, ни запомнить сказанного. Из сравнения указаний св. Марка и св. Луки мы можем скорее заключить, что учение в это послеполуденное время ограничилось только простыми и наиболее сходственными между собой притчами о горчичном зерне, плевелах, колосьях и полном зерне в колосе, которые могли ободрить терпение ожидающих слишком быстрою осуществления царствия Божия в их жизни и в мире, а к этому прибавлено и уподобление свече, чтобы они не гасили света, который они получают; помнили о том великом свете, который в скором времени откроет все, и таким образом убедились в необходимости хранить свой свет, чтобы осветить пути своей жизни и распространять лучи его на окружающие души.

Такой редкий, поощрительный и полный интереса метод учения, которому, по недосягаемой прелести и законченности, нет соперничествующего в летописях людской речи, без всякого сомнения, восхитил до невероятия души народа, собравшегося послушать. В течение всего знойного послеполуденного времени Иисус не переставал поучать и отпустил народ только тогда, когда уже наступил вечер[261]. Чувство совершенного изнеможения, казалось, овладело Иисусом. Легко может статься, что такое желание успокоения ускорено было не совсем уместным притязанием матери и братьев вмешаться в Его дела[262]. Они не могли *приблизиться к Нему по причине народа*, но самое намерение их сделать это могло быть одной из причин желания удалиться и быть на некоторое время свободным от постоянного сборища, от этих несвоевременных вмешательств. По крайней мере, из описания у евангелиста Марка видна некоторая торопливость и поспешность в удалении Иисуса, потому что, несмотря на изнеможение и усталость, как результат продолжительного и утомительного общения с толпой, Он не возвратился назад в Капернаум, а внезапно решился изменить план. Отпустивши народ, ученики *взяли Его с собой, как Он был в лодке*[263], без всяких

приготовлений. Он жаждал покоя и уединения и удалился на пустынный восточный берег. Западные берега озера теперь тоже пустынны, и путешественник не встретит там ни одного человеческого существа, кроме нескольких осторожно пробирающихся феллахинов, еврея из Тивериады, или арабских рыбаков, или шейха какой-нибудь арабской трибы бедуинов, на коне и обвешенного оружием. Но на другой стороне и в тогдашнее время не было видно ни дерева, ни деревни, ни человеческого существа, никакого жилья; там не было ничего, кроме ряда низких холмов, прорезанных скалистыми расселинами и склоняющихся к узкой и бесплодной полосе, представляющей край озера. Во времена Спасителя контраст между этой малонаселенной страной и деятельными, полными жителей городами, лежащими чуть не рядом друг с другом на долине Геннисаретской, должен был быть поразителен, и хотя смешанное население Переи было отчасти языческое, но мы видим, что нередко для успокоения возмущенной души своей Иисус переплывал эти девять верст по озеру, чтобы удалиться от толпы, жаждавшей Его поучений.

Но прежде чем судно отчалило, встретилась новая остановка[264]. Трое из слушателей, пораженных, вероятно, глубиной и силой этого нового метода учения, которое привело в восхищение народ, пожелали или вообразили себя желающими присоединиться к постоянным Его ученикам. Первый был книжник, который, без сомнения, мечтая, что его официальное звание предоставляет уже само по себе право на принятие в число апостолов, сказал Ему с уверенностью: *Учитель! я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел.* Но несмотря на высокое положение человека и на важность обещания, Иисус, никогда не уважавший услуг на словах и предпочитавший «скромность обязанности, исполняемой в страхе, болтливому языку смелого красноречия», холодно отклонил его от желания быть последователем. Он призвал презренного мытаря и не дал одобрения пользующемуся мирской славой книжнику. Он не отверг предлагаемую услугу, но и не принял ее. Очень может быть, что в мимолетном восторге человека Он заметил копоть эгоистического самообольщения и объяснил, что служение Ему не в богатстве, почестях и наслаждениях и не в том, что сулит земные выгоды. *Лисицы,* сказал Он, *имеют норы и птицы*

небесные — гнезда, а Сын человеческий не имеет, где преклонить голову.

Второй был уже принят в число учеников, но хотел сделаться полным последователем, с оговоркою, чтобы ему было сперва позволено похоронить отца. *Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов*, отвечал Иисус. Это значило, пусть мир и все мирское само заботится о себе; последователь Христов должен сравнительно возненавидеть отца и мать, должен оставить духовно умерших ожидать их физической смерти. Надо любить родителя, говорит блаженный Августин, но предпочитать ему Спасителя.

Ответ третьему искателю был почти такой же. Он не хотел прямо присоединиться к путешествию с Иисусом, а просил отсрочки и дозволения проститься с друзьями и домом. *Ни кто,* получен был ответ, который сделался всеобщею поговоркою, *возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагодежен для царствия Божия.* «Восток призвал его, он должен отвратить мысли свои от огибшего запада», сказал блаженный Августин. Под наитием этого духа действовали великие мученики и подвижники веры, черпая в нем утешение, когда бывали принуждены отказаться от семейных привязанностей и жертвовать своею земною жизнию Христа ради.

Наконец устранены были и эти последние препятствия. Небольшое судно отчалило от берега и понесло на себе путешественников. Но последователи не покидали Иисуса. Мы читаем у евангелиста Марка, что *с Ним были и другие судна*[265], которые, по всей вероятности, впоследствии были развеяны бурею или возвратились назад, при ее наступлении, по крайней мере, нигде не сказано, чтобы они причалили к другому берегу. Оставшись в собственной лодке, среди верных учеников, Иисус избавился от тревог и задолго прежде, чем судно могло удалиться от берега, сложив свою утомленную голову на кожаную подушку рулевого, уснул глубоким сном труда и утомления, — тихим сном тех, которые находятся в мире с Богом.

Но этому столь необходимому сну не суждено было продолжаться[266]. Одна из жестоких бурь, обыкновенных в этой глубокой впадине на земной поверхности, с яростью разразилась над небольшим озером. Прежде чем апостолы успели спохватиться, в воздухе пронесся вихрь и озеро всколыхалось. Опасность была крайняя. Лодка скрывалась в пене бурунов, которые над нею

восставали, и хотя они (так как Иисус лежал на открытом деке у руля) должны были покрывать Его мелкими брызгами, но не возмутили Его сна. Вследствие страшного утомления, Он не слыхал рева ветра, не видал темноты бури, и никто не осмелился разбудить Его. Но когда волны стали накренивать лодку и наполнять ее водою, тогда ученики начали звать Его отчаянными криками смятения и ужаса: *Наставник! Наставник! погибаем.* Крики эти, смешавшись с воем ветра и шумом прибивающих волн, раздались внезапно над Его ухом. Спокойная после сна встреча такой паники может свидетельствовать не только о постоянном присутствии духа и крепости нервов, но о величии и чистоте всей природы человека. Ураган, который поколебал испытанное мужество и насмеялся над привычкою и искусством смелых рыбаков, не изменил ни на минуту глубокого внутреннего спокойствия Сына Человеческого. Без всякого смятения, без тревожного трепета, Иисус оперся локтем на мокрый руль качавшегося и полузатопленного судна и без всякого волнения успокоил душевную бурю своих учеников словами утешения: *что вы так боязливы? Как у вас нет веры?* Тогда во всем спокойствии природного величия вставши на высокой рулевой части, где ветер развевал Его одежду и длинные волосы, Он углубил свой взор в темноту и среди рева возмущенных стихий воскликнул: *умолкни, перестань! и ветер утих и сделалась великая тишина.* Увидя, что звезды отразились снова в успокоенных водах, не только ученики, но даже корабельщики начали шептаться между собою: *кто же это, что и ветер, и море повинуются Ему.*

Чудо это поразительно. Оно принадлежит к числу таких, которые заставят задуматься неверующего в чудесное, и не могут быть объяснены (как, например, чудеса исцеления) существующими во природе законами. Но убеждение неверующего и спор с сомневающимся не составляют предмета этой книги, а что я имел сказать по этому поводу, то изложил особо в другом моем сочинении[267]. Здесь я хочу высказать несколько слов, почему и прошу извинения за перерыв рассказа.

Есть люди, весьма почтенные и не принадлежащие к числу неверующих, которые, слыша о чудесах, задаются вопросами: происходили ли они в действительности так, как описываются, и не было ли тут чего либо другого? Не вернее ли предполагать, что содержащееся в рассказе событие было в действительности не

чудесным действием могущества над стихиями, которое свыше сил человеческих, а значило только то, что спокойствие Иисуса, вследствие незаметного, непосредственного влияния, сообщилось само по себе Его устрашенным товарищам, а ураган успокоился так же внезапно, как и поднялся, вследствие натуральных причин? На это я возражаю, что если бы это чудо было единственным в жизни Спасителя; если мы принимаем Евангелие за неточные, преувеличенные, необстоятельные и суеверные рассказы, — что надо предполагать при подобном толковании чудес Христовых; если мы не допускаем в духовном мире никаких особых событий, которые далеко выше понятия мыслителей, заставляющих нас в целой вселенной видеть единственно только действие материальных сил; если для свидетельства дела и божества Иисуса Христа не хотим видеть действий и проявлений божественного промысла в течение почти девятнадцати столетий, — тогда конечно мы не встретим затруднения ни в каком предположении. Но если мы веруем, что Бог правит миром; если веруем в воскресение Иисусово; если имеем причины, вследствие глубоких убеждений всего нашего существа, держаться той истины, что Бог никогда не отказывался от своего верховенства и промысла в пользу копеечного, неосмысленного, жалкого, непроизвольного действия материальных сил; если мы на каждой странице Евангелия видим спокойную простоту истинного и достоверного свидетельства; если мы из каждого года последующей истории, из каждого опыта в частной жизни видим подтверждение тех истин, которые сообщены евангелистами: тогда мы не попадемся в когти толкователей-рационалистов и не будем приходить в смятение от того, что веруют же в них другие. Кто уверовал и узнал на опыте действие молитвы, на последствия которой другие глядят как на слепой случай или на обыкновенное обстоятельство, происшедшее вследствие известных комбинаций; кто прочувствовал, как голос Спасителя, слышимый через целые поколения, мог успокоить сильнейшие бури, чем какие поднимались на небольшом озере; кто в лице своего Искупителя видит нечто более поразительное, более величественное, чем все то, что может человек обнять своим воображаемым всемогуществом и чему хочет поклоняться под именем закона, — для того не существует ни затруднения, ни сомнений представить себе, что Христос с борта полузатопленного рыбацкого судна произнес свое повеление буре, — что вихрь и буря Ему

повиновались, что Его слово было могущественнее среди мировых сил, чем напор возмущенной воды или напряженность сгущенного воздуха.

Переходя затем к продолжению рассказа, мы снова видим, что Иисус и на дальнем берегу не нашел себе мира и успокоения[268].

Местность по ту сторону озера, куда Он отплыл, носит у евангелистов различные названия. Св. Марко и св. Лука называют ее страною Гадаринскою, а св. Матфей — Гергесинскою. После изысканий доктора Томсона[269], нет никакого сомнения, что Гергеса было имя небольшого города, почти противоположного Капернауму, развалины которого в настоящее время известны у бедуинов под именем *Керзе*, или *Герса*. О существовании этого городка знали, по-видимому, как Ориген, так равно св. Евсевий и блаженный Иероним: в их время крутой скат близ сказанных развалин считался местом совершения чуда, о котором сейчас поведем речь. Что же касается до названия страны Гадаринскою, то Гадарой назывался, вероятно, главный город, по которому целый дистрикт носил имя Гадаринского. Таким образом, на другой стороне, в стране Гергесинской Иисус встречен был зрелищем человеческой злобы, бешенства и унижения более страшным и опасным, чем гнев возмущенного моря. На самом берегу, где Он сошел, из средины скалистых пещер Вади Семака, появился человек, одержимый в высокой степени злобой, которую вообще приписывали демонскому обладанию. Ни у одного из прославляемых за цивилизацию народов древности не существовало ни больниц, ни богаделен, ни домов для умалишенных. Подвергавшиеся душевным болезням личности, будучи злобны и опасны при сообщении с людьми, изгонялись из среды своих собратий — людей и сдерживались от нанесения вреда мерами несоответственными и жестокими. При подобных обстоятельствах они поневоле должны были искать убежища в пустых пещерах, между скалистыми горами, которыми изобилует Палестина и которые служили у евреев местом погребения и гробами. Ясно, что зловоние и заразительность подобных жилищ, при их запустении и ужасе, только усиливали сумасшествие; следовательно, этот человек, вследствие продолжительности своей болезни, был заражен ею в высшей степени. Пробовали его связывать, но в припадке бешенства в нем являлась сверхъестественная сила, которая нередко замечается при таких видах

умственного возбуждения, и ему всегда удавалось снять с себя цепи, свернувши их или разбивши вдребезги. Вследствие чего он заброшен был в эти пустынные горы и нечистые места, где, опасный для себя и для других, безумец, весь изрезанный камнями, бродил ночь и день, оглашая окрестность своим воем. Доктор Томсон[270] утверждает, что даже в настоящее время в Палестине бешеные безумцы бродят в горах и спят по пещерам.

Здесь совершенно уместно указать на разность в рассказе об этом происшествии у евангелистов Марка и Луки с рассказом ев. Матфея. У первых двух показан один бесноватый, а у последнего — два, но разность эта далеко не объяснимая. Легко можно представить себе, что возмутительная фигура описанного выше, обнаженного и дышащего убийством беснующегося, который бросился к Иисусу, когда Он высадился на берег, была так поразительна, что личность другого, который не был столько ужасен и стоял, может быть, в некотором расстоянии, не только ничем не выдавалась, но почти стушевывалась перед первым, а потому и пропущена у св. Луки. Оба рассказа, будучи вполне достоверны, представляют только различие в характере сделанных на каждого из рассказчиков впечатлений. Есть различие между рассказом несогласным и рассказом противоречивым, сказал Иоанн Златоуст. Из таких евангельских изречений, — различных, но не противоречивых, мы научаемся, что в каждом слове должны видеть только намерение, с которым оно высказано, пишет блаженный Августин. Присутствие Иисусово и Его взгляд, прежде чем раздался Его голос, по-видимому, укротили беснующихся, и это не было исключительным случаем. Вместо того, чтобы напасть на учеников, беснующийся гергесянин (второй не был родом из Гадары) бросился к Иисусу и в некотором расстоянии, преклонившись пред Ним, упал на землю. Смешивая свою личность с тем множеством нечистых духов, которые гнездились в душе его, он умолял Иисуса, *громким голосом*, не мучить его до времени.

Известно, что обращение внимания маниака на его имя, возбуждение памяти, напоминание о прошлых симпатиях производят нередко мимолетное опамятование в безумце, поэтому Иисус спросил: *как тебе имя?* Но на этот вопрос получен был дикий ответ: *Легион имя мне, потому что нас много.* Со словом «легион», означающим строй войска из шести тысяч, евреи успели ознакомиться во время

порабощения их римлянами. Будучи поглощен весь ужасною тираниею такого множества демонов, под влиянием которых его личность исчезала, — бесноватый забыл свое имя. Он только умолял Иисуса, как будто тысячи демонов говорили его устами, чтобы не велел им идти в бездну, *а позволил войти в пасшееся вблизи свиное стадо.* Так как это дело непонятное, то мы закончим его выпискою из Евангелия св. Луки. *Бесы, вышедшие из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро, и потонуло; пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и селениях. И вышли видеть происшедшее, и пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, у ног Иисуса, одетым и в здравом уме; и ужаснулись.*

Не пытаясь объяснять необъяснимых тайн Божиих, мы прибавим, что в верующем в простоте сердечной, что Сын Божий творил на земле дела, которые превышают не только силу, но и всякое понятие человеческое, подобное дело милосердия относительно беснующегося возбудить только удивление, уважение, благоговение, а отнюдь не недоразумение, поэтому переход бесов в свиней не потребует особых толкований.

Люди *ужаснулись.* Ужаснулись не неистовств бесноватого, а святого присутствия Искупителя. Спасен человек, но это для них не так важно, как погибель двух тысяч животных, признаваемых ими за нечистые. В опасности были дорогие для них свиньи; опасность грозила и ненасытимой жадности каждого вероотступника еврея, каждого подлого родом язычника, если примут такого человека, каким был Иисус. С грубым и настоятельным единодушием они стали просить и умолять Его оставить их берег; причем иудеи и язычники узнали великую истину, что иногда Господь, к великой скорби своей, исполняет неразумную молитву. Иисус сам учил своих учеников не давать псам того, что свято, не разбрасывать жемчуга пред свиньями. Он переехал озеро для мира и успокоения, желая, среди меньшей толпы, призвать на этих полуязычников благословение царствия Божия. Но они полюбили свои грехи и своих свиней и, отдавая свободно все преимущество тому, что низко и ничтожно, отвергли благословение и умоляли удалиться. С грустью оставил их Иисус. Гергеса не была Его местом; пустынные вершины холмов на севере

оказались лучше ее; лучшим оказался многолюдный берег по ту сторону озера.

Но он оставил их без гнева. Там сделано было одно дело милосердия; спасен один грешник; из одной души изгнан был дух нечистый. И в то время, когда множество гадаринян просили Его оставить их, бедный, спасенный демониак умолял со своей стороны взять его с собою. Но Иисус, желая оказать еще одну последнюю милость для отвергнувшего Его народа, на просьбы тех, ради которых совершено было чудо, ответил молчанием, а исцеленному поручил торжественное повсюду извещение. *Возвратись*, сказал ему Иисус, *в дом свой и разскажи, что сотворил тебе Господь*. Таким образом беснующийся из Гергесы стал первым великим миссионером в странах Декаполисских, представляя своею личностию подтверждение своих слов, а Иисус, когда судно оставило негостеприимный берег, мог надеяться, что недалек тот день, или по крайней мере, что придет час, когда этот злосчастный город истребится огнем и мечом[271].

ГЛАВА XXIV

Прощальный праздник св. Матфея

После описанных происшествий, совершившихся, по-видимому, рано утром, около полудня судно подошло ближе к долине Геннисаретской. Народ узнал его парус и, прежде нежели Иисус высадился, на берегу уже стояла толпа в нетерпеливом ожидании[272].

Приняв теперь за, хронологический порядок описаний Евангелие св. Матфея[273], для которого этот день был очень памятен, мы должны сказать, что Иисус пришел сначала в Капернаум, на который глядел, как на «свой город». Подошедши к дому, — вероятно к дому св. Петра, которым Он пользовался для которой Он поселился на время между людьми. Желание Его — не навязывать свои милости тем, сердца которых закалены упорством и своеволием, но с кротостью рассыпать эти милости для тех, которые в них нуждаются и сознают эту нужду. Учение Его должно иметь такое действие, как мелкий дождь на молодые всходы, как ливень на траву зрелую. А затем, указывая им на одно из превосходных мест пророка Осии, который в давние времена

понял, что сущность всего приятного Богу состоит в любви и милосердии, Иисус заимствовал фразу их собственного учителя и повелел им, — этим учителям народа, которые имели притязание на свою высоко-ученость, — *идти и научиться*, что значит выражение: *милости хочу, а не жертвы*[274]. Удивленным умам, покрытым корою левитизма и преданий, никогда прежде не представлялось, что любовь есть снисхождение и что близкие сношения с грешниками с целью приобрести их души гораздо приятнее Богу, чем тысячи баранов и десятки тысяч рек масла.

Ответ, данный ученикам Иоанновым, несмотря на их несколько укоризненный вопрос, был не так строг[275]. Иисус конечно понял, что неприязненное настроение их умов происходило от того безвыходного положения, в котором находился их великий учитель. Они привыкли смотреть его глазами, но теперь он страдал и томился в Макорской тюрьме. Иисус мог бы им отвечать, что пост не есть долг, но дело полезное и даже обязательное, если кто чувствует, что чрез него достигнет умерщвления чего-нибудь такого, что дурно в его природе, но хуже чем бесполезное, если внушен духовною гордостью и ведет к презрению других. Он мог бы указать им, что хотя они и установили поститься дважды в неделю (в четверг по предположению, что в этот день Моисей взошел на Синай, и в понедельник, что он сошел оттуда), но, руководствуясь только преданиями, не освященными Моисеевым законом, назначившим один пост в году, — в десятый день первого месяца[276], Иисус мог им сказать, словами их же пророков, которые указывают, что пред очами Божьими истинный пост состоит не в одном воздержании от пищи, когда человек во все времена был существом слабым, но в том, чтобы делать пела любви, творить правду и отпускать связанных на свободу[277]. Однако же вместо всех поучений, которые при настоящем положении дел довели бы почти до отчаяния их предрассудки, Он отвечал им кротко, представив тот чистый образ жениха, в котором представлял Его их любимый и уважаемый учитель. Он только сказал им: *Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених*[278]. А потом, прозирая со спокойствием разверзавшуюся пред Ним глубокую пучину, Он высказал слово, которое, хотя в это время не было ясно понято, однако же служило самым первым торжественным намеком на

ужасный ожидавший Его конец: *но прийдут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни.* Далее он рассказал им[279], хотя и в простых, но полных глубокого значения, как бывало нередко, метафорах, что Его религия походит на новое платье. *Никто не приставляет заплаты к ветхой одежде, отодрав от новой одежды, а иначе и новую раздерет, и к старой не подойдет заплата от новой. И никто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе молодое вино прорвет мехи и само вытечет, и мехи пропадут. Но молодое вино должно вливать в мехи новые, тогда сбережется и то и другое*[280]. Новый дух должен воплотиться в совершенно обновленной форме; новая свобода не должна быть стеснена обветшалыми, давно потерявшими смысл ограничениями; чересчур выработанная, наружная обрядность вела к забвению духовной стороны религии.

Но св. Лука сохранил для нас замечательную при этом прибавку: *никто пивши старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше*[281]. Таким образом Иисус показал своим совопросникам, что Его царство есть нечто более, чем восстановление, — что оно есть возрождение. Но зная, как трудно для фарисеев, увлекшихся преданиями, и для учеников Иоанновых, питавших удивление к высокому аскетизму Предтечи, принять истины, которые были для них новы и странны, Он высказал им, что при всем желании просветить их тьму, Он снисходительно смотрит на их упорство, выжидая их исправления.

ГЛАВА XXV

Продолжение

Едва окончилась трапеза у св. Матфея и Иисус начал поучение, которое вытекало из вопроса Иоанновых учеников, — встретилось новое событие, а за ним последовали три величайших чуда в Его земной жизни[282].

Один из начальников синагога, *рош гаккенезеф*, или главный старейшина конгрегации, который у иудеев был в большом почтении, пришел к Иисусу в крайнем смущении. Легко может статься, что он был членом той депутации, которая ходатайствовала пред Иисусом за

сотника прозелита, построившего самую синагогу и видел на опыте власть Того, к кому прибегают с молением. Бросившись к ногам Иисусовым, он рассказал Ему прерывающимся от скорби голосом, — как это слышится в словах его, переданных евангелистом Марком[283], — что его маленькая, — его единственная дочь умирает, — мертва, но если только Он согласится прийти и возложить на нее руку, то она оживет. С кротостью, которая никогда не могла холодно относиться к крикам страдальца, Иисус вышел тотчас же из-за стола и пошел с ним, последуемый не только учениками, но густою, полною ожиданий толпою, которая была свидетелем события. Народ в своей ревности толпился около Него и стеснял во время перехода. Но среди этой толпы, между которой, без сомнения, были некоторые из фарисеев и учеников Иоанновых, беседовавших с ними у св. Матфея, а также некоторые из мытарей и грешников, сидевших за столом, — был один человек, которого привлекало к Иисусу не любопытство быть свидетелем того, что будет совершено для начальника синагоги а совершенно другое чувство. Это была женщина, страдавшая двенадцать лет болезнею, которая заставляла ее прекратить всякое общение с людьми и была тем мучительнее, что в народном мнении считалась прямым последствием греха. Много различных врачей, стараясь восстановить ее здоровье, только приводили ее в худшее положение и наконец разорили все ее состояние. Теперь, как к последнему средству, она решилась прибегнуть к Великому Врачу, подававшему исцеления безмездно. Может быть, в своем неведении размысля, что не имеет никакой возможности заплатить; может быть, устыдясь по женской скромности необходимости рассказать всенародно о болезни, которою страдала; одним словом, почему бы то ни было, она решилась восхитить у Иисуса незаведомо благословение, которого душевно желала. Таким образом, одушевляемая надеждою, силою протеснилась она к Нему сквозь густую толпу, так что могла прикоснуться к Нему и, вероятно, вследствие крайнего нервного состояния, довольно сильно взялась за белую обшивку Его одежды. По закону Моисееву, еврей должен был носить на каждом углу своего талифа *канефоф*, бахрому или кисть, привязанную символическою голубою лентою (циций) для воспоминания, что он свят Богу[284]. Когда человек завертывался в талиф, две таких бахромы или кисти висели на подоле одежды, а одна лежала на плече. Потихоньку и дрожа

от поспешности, взялась она за эту кисть и, чувствуя, что в одно мгновение достигла цели своих желаний и выздоровела, — отступила назад в толпу никем незамеченною. Незамеченною другими, но не Христом. Чувствуя, что из Него изошла сила исцеления, узнавши прикосновение робкой веры даже среди теснившей Его толпы, Он остановился и спросил: *кто прикоснулся к моей одежде?* В ответе Петра слышалось некоторого рода нетерпение: ему показалось странным в такой толпе спрашивать: *кто прикоснулся Меня?*

Но Иисус, обращая кругом свои взоры, сказал ему, что существует различие между теснотой любопытной толпы и прикосновением веры, и, когда Он обратил взоры на женщину, она, сознавая в душе, что тайно дозволила себе восхитить благословение, которым бы Он сам милостиво наградил ее, выступила вперед; со страхом и трепетом бросилась к Его ногам и рассказала всю истину. Она забыла женский стыд и страх, чтобы только загладить ошибку. Без сомнения, она боялась Его гнева, потому что закон ясно называл нечистым на целый вечер и требовал обрядового очищения от всякого, кто прикоснулся к женщине, страдающей подобною болезнею[285]. Но прикосновение, очистив ее, не могло осквернить Его. Довольный ее верою, Он сказал ей: *Дочь!* и звуком этого милостивого слова запечатлел ее прощение; *вера твоя спасла тебя: иди в мире и будь здорова от болезни твоей*[286].

Событие это заняло немного времени, но для Иаира была дорога каждая минута. Однако, ведь не единственный же он страдалец, нуждавшийся в благодеянии Божием? И, так как не видно, чтобы он произнес хотя одно слово, то ясно, что печаль не поселила в нем себялюбия. Вдруг в эту минуту один из посланных приблизился к нему с коротким извещением: *дочь твоя умерла*, и при этом прибавил: *что еще утруждаешь учителя?*[287].

Не Иисусу передано было известие, но Он слышал его и, из сострадательного желания избавить бедного отца от бесполезных терзаний, прибавил эти знаменательные слова: *не бойся, только веруй*[288]. На основании правила раввинов при покойнике должны были быть по крайней мере два свирельника и одна наемная плакальщица, которая плакала, выла, била себя в грудь и рвала на себе волосы, согласно условия[289]. Придя в дом, они застали эти

продажные крики, нарушавшие молчание истинной скорби и величие смерти[290]. Такое притворное терзание, вероятно, было противно душе Иисусовой; поэтому, ступив на порог дома и запретив некоторым из толпы следовать за Ним, Он вошел туда только с тремя из избранного кружка своих апостолов, — Петром, Иаковом и Иоанном. При входе Он остановил прежде всего напрасные вопли; но когда Его кроткое заявление, что *девица не умерла но спит*, принято было с грубым смехом, то Он с негодованием выгнал всех наемных плакал щиц. После того, водворивши тишину, Он взял с собою отца и мать девицы, равно как трех апостолов, вошел с молчаливым почтением в комнату, освященную спокойствием и благоговением смерти, и, взяв умершую за ручку, произнес эти два поразительных слова *«талифа гуми» девица встань! И девица встала и начала ходить: ибо была лет двенадцати*[291]. Благоговейный ужас объял родителей. Иисус приказал кротко дать дитяти немного пищи, и, хотя прибавил обычное предостережение, чтобы не говорили о случившемся, но не с тем, чтобы событие, происходившее на глазах толпы народа, осталось в неизвестности, а с тем, чтобы принявшие неизмеримое благодеяние от рук Божиих почтили Его глубочайшею благодарностью, скрывши этот дар в тайниках своих сердец, как драгоценное сокровище.

Обремененный и измученный событиями этих длинных ночи и дня, Иисус, как мы с достоверностью можем заключить из Евангелия св. Матфея[292], закончил этот день проявлением еще более удивительного действия силы. Потому что, когда Он вышел оттуда, двое слепцов следовали за Ним с неслыханным до того времени криком: *помилуй нас Иисус сын Давидов!* Но Иисус начал уже ограничивать щедрость чудес. Он засвидетельствовал уже более, чем достаточно, свою власть и свое призвание; надо было, чтобы люди обратили большее внимание на Его вечное божественное учение, чем на временные исцеления. А может быть, Он не хотел преждевременно и непрозорливо признать приписываемый Ему словами *сын Давидов* титул Мессии, — который, будучи принят торжественно, мог помешать Его святым предположениям, подняв мгновенно мятеж в Его пользу против владычества римлян. Не замечая слепцов или их крика, Он шел домой в Капернаум, где имел постоянное местопребывание. Только тоща, когда эти люди настоятельно вошли за Ним в дом, Он удостоверился в их вере вопросом: *веруете-ли, что я могу это*

сделать? На это слепцы отвечали: *ей, Господи!* Коснувшись глаз их, Иисус прибавил: *по вере вашей да будет вам!* И глаза их открылись. Подобно многим исцеленным, они пренебрегли строгим приказанием не рассказывать этого. Некоторые, удивляясь такому неповиновению, приписывают его энтузиазму благодарности и удивления; но не было ли в этих рассказах скорее глупого удивления и мелочности болтливого хвастовства? Не должен ли был священный огонь благоговейной преданности, который святое молчание сохранило бы на алтарях их сердца неугасимым, обратиться в дым от пустой болтовни? Разве Он этого не знал лучше? Разве повиновение не лучше жертвы и послушание не выше тука овнего? Да. Кто не повинуется заповедям Спасителя, может обманывать себя, может совершать только кажущуюся услугу, — опечаливая Его в видах почтения пустым многословием, напрасными коленопреклонениями, грубой нетерпеливостью, непочтительною фамильярностью и фальшивым подобием бесчувственной преданности. Лучше, гораздо лучше служить Ему, совершая то, что Он заповедал, нежели навязчиво прилагать свое кажущееся и нередко ложное усердие к прославлению Его имени. Эти непослушные болтуны, — которые толковали о Нем так много, — нечестно, а с лукавым сердцем отплачивали Ему за Его благодеяния: нарушение ими Его повелений служило только препятствием к достижению полезного, возмущало Его дух и ускоряло Его смерть.

ГЛАВА XXVI

Посещение Иерусалима

Кто старательно и долговременно, постепенно один за другим, изучал рассказы евангельские, с целью составить ясное по возможности понятие о жизни Иисуса Христа на земле, того сильно поражают два или три очень важные события относительно их последовательности. Несмотря на затруднения, поставляемые различным изложением и несоблюдением хронологического порядка у всех четырех евангелистов и умолчанием четвертого о большей части проповеди в Галилее, мы замечаем следующие обстоятельства:

1) Невинный восторг радостного постепенного принятия Иисуса, Его дел и слов в Северной Галилее в скором времени уступил место подозрению, неприятностям и даже враждебным выходкам со стороны огромной и сильнейшей части народа.

2) Наружный характер учения и местности, где оно преподавалось, начали наиболее изменяться со времени умерщвления Иоанна Крестителя.

3) Слухи об этом умерщвлении, заметное развитие враждебных отношений и постоянное присутствование книжников и фарисеев из Иудеи, для наблюдения за Его поведением и для порицания всех Его действий, по-видимому, совпадают с посещением Иерусалима, не рассказанным у евангелистов, но явным образом современным с безыменным праздником, упоминаемым св. Иоанном[293].

4) Этот неназванный праздник, должен был быть почти что около того периода Христова учения, до которого мы дошли в настоящее время.

Но перед этим случилось еще другое событие, — послание на проповедь двенадцати апостолов[294].

В заключение проповеднического путешествия, в течение которого совершились описанные в предыдущей главе события, Иисус, *видя толпы народа, сжалился над ними.* Они напоминали Ему стало, тревожимое неприятелями и рассеянное в трепете и небрежении на полях, потому что не имело пастыря. Они приводили Ему на память

образ готовой жатвы, несжатой за неимением жнецов, и Он повелел своим апостолам просить Господина жатвы выслать *делателей на жатву свою*. Тотчас же после того, не проходя всей Галилеи, Иисус послал их по двое вместе для утверждения Его учения и для совершения дел милосердия во имя Его.

Но посылая их, Он конечно дал наставление, которое руководило бы их поступками[295]. Они должны ограничиться возвращением в дом единственно только погибших овец дома Израилева. Содержанием их проповеди будет приближение царства небесного, и это должно быть подтверждено изобильными чудесами и благодеяниями. Они не должны брать с собой ничего: ни мешка для пищи, ни кошелька для денег, ни перемены белья, ни обуви, употреблявшейся путешественниками, вместо их обыкновенных сандалий из пальмового дерева. Им не дозволялось обзаводиться палкою, если у них прежде ее не было; их миссия, — как все величайшие и наиболее производительные миссии, какие известны свету, — была несложна и сама в себе должна была находить поддержку. Для их содержания достаточно гостеприимства, которое так строго соблюдается на востоке и нередко дает широкое удобство для распространения новых идей. При появлении в селение или город они должны войти в какой-нибудь из домов, который им покажется более того достойным и в котором могут надеяться быть принятыми с радушием и, войдя, приветствовать его незабвенным и драгоценным приветствием: *шалом лакем — мир вам!*

Если там будут дети мира, то благословение будет действительно; если нет, оно обратится к ним назад. Если их где-нибудь не примут, они должны стрясти пыль с ног своих во свидетельство, что говорили и символически слагают с себя вся — кую ответственность за тот суд, который будет гораздо суровее в отношении к непокорным и упорным ненавистникам света из евреев, чем к темным язычникам, которые никогда не видывали света, а если и видели, то в слабой степени.

Таким образом Иисус объяснил им, что истинная вера, кроткое обхождение, самоотвержение и простота составляют сущность проповеднического успеха. Он старался укрепить их против неизбежных неприятностей и преследований, соединенных с миссионерским делом.

Они должны были быть и были мудры, как змеи, и чисты, как голуби, потому что Он посылал их как овец в среду волков.

Без сомнения, речь эта не была высказана одним разом в том виде, как дошла до нас. Иисус, по-видимому, всегда снисходительно выслуга вал смиренные и почтительные вопросы своих слушателей, и относительно этого есть предание[296], что, при разъяснении Иисусом апостольской миссии, св. Петр, — во всех случаях самый ревностный слушатель, отличавшийся быстрым соображением, — прервал Учителя не неестественным вопросом: «но что же, если волки разорвут овец?» Иисус, улыбаясь на такое наивное и буквальное понимание своего главного апостола, ответил: «овцам нечего бояться волков, когда они уже умерщвлены ими, а вы должны бояться не тех, которые могут вас убить, ничего не сделав с вами, а Того, Кто после вашей смерти имеет власть заключить души и тела ваши в геенну огненную». А затем, продолжая нить своего поучения, Он предостерегал их ясным образом, что как в это время, так равно и гораздо после этого, они отданы будут в судилища; будут биты в синагогах; приводимы на суд к правителям и царям, но чтобы они не заботились обдумывать, что сказать им, потому что их научит Дух Святой. Он предрекал им, что учение о мире вызовет грозные крики бешенства и ненависти, что они принуждены будут бежать от врагов из города в город, но уговаривал их терпеть до конца, потому что прежде нежели они обойдут города израильские, придет Сын Человеческий. Наконец Он убеждал и укреплял их напоминанием об Его собственных страданиях, о встреченном Им сопротивлении. Пусть они не боятся ничего! Бог, Который заботится о маленьких птичках, чтобы они не упали на землю, знаег число волос на их голове, управляет не только исходами конечной жизни и временной смерти, но жизни вечной и вечной смерти, а потому страшнейший нежели земные волки, — Бог будет с ними. Он признает тех, кого признал Сын, и отречется от тех, от которых отречется Сын. Они посылаются в мир войны, которая будет тем смертельнее, что мир отвергает мир. Люди самые близкие, самые дорогие для них могут восстать с этим миром против них. Но желающий быть истинным последователем должен покинуть все ради Его, должен взять свой крест и следовать за Ним. Однако же для их утешения Он объявил им, что мир примет их, как принял Его самого, что принявшие их будут приняты Им, что потерявшим ради Его жизнь

будет лучше, чем нашедшим ее, что подавший чашу холодной воды одному из малых и смиренных сих не будет лишен вознаграждения.

Таково содержание этого высокого наставления, переданного нам св. Матфеем, и каждый миссионер, каждый служитель церкви должен начертать его золотыми буквами. Бесплодность миссионерского труда была постоянным предметом сожаленья и упадка духа между нами. Было ли бы это, если б все наши миссии совершались в духе таком мудром и утешительном, таком простом и самоотверженном, в таком полном веры и бесстрашия? Был ли бы всегда безуспешен миссонер, который, ведя по милости Божией святую жизнь, при свете подобных правил, действовал бы так, как св. апостол Павел и другие великие проповедники христианства?

Ясно, что не все это наставление высказано одновременно, сколько потому, что у евангелистов Марка и Луки приведена в сокращенном виде только первая часть поучения, столько и потому, что в этом наставлении существуют ссылки на последующие события и что часть его могла быть применима только к последующим апостольским миссиям, которые совершались ими в отдаленном будущем. Но, несмотря на это, мы должны быть обязаны св. евангелисту Матфею, который, руководясь обычною мыслью объединения предметов, собрал в один фокус рассеянные лучи наставления, высказанного, может быть, при различных случаях, как, например, перед посылкою на проповедь семидесяти апостолов, и даже взятых из выражений воскресшего Иисуса[297].

Евреи были хорошо знакомы с институтом *Шелухим*, — уполномочения кого-нибудь высшею властию. Этим титулом, по-видимому, отметил Христос положение своих апостолов. Посылка их по два, а не по одиночке принадлежит к истинно благодетельным распоряжениям, потому что евреи вообще считали неприятным путешествие без товарища с которым бы можно было потолковать о законе[298], а предоставление возможности передавать мысли в святых беседах служило к взаимному исправлению недостатков. Нить сомнения, что пары составились из друзей и братьев: пылкий Петр отправился с более сосредоточенным Андреем; сыны Грома — один влиятельный и повелительный, другой подвижной и красноречивый, пошли вместе, так же как Филипп и Варфоломей, родственные по вере и искренности. Медленный, но верный Фома отправился с

глубокомысленным и преданным Матфеем, аскет Иаков — со своим братом восторженным Иудой, Симон Зилот — с предателем Иудой, чтобы своим феократическим рвением воспламенять мрачный, дряблый, отчаянный дух последнего.

Во время их отсутствия Иисус продолжал свое дело один, может быть, даже путешествуя медленно в Иерусалим, потому что, если мы можем говорить о достоверности всего среди неизвестности хронологического порядка учения, то, по-видимому, наиболее вероятно то, что к этому времени относится стих Евангелия от Иоанна: *после сего был праздник иудейский и пришел Иисус в Иерусалим*[299]. Чтобы не прерывать рассказа, я пропускаю здесь рассуждение об этом предмете и скажу прямо, что Он пришел, по всей вероятности, к празднику Пуриму.

Но что побудило Иисуса идти на праздник, который был, вроде еврейских сатурналий, учрежден без Божественной воли и имел своим корнем совершенно исключительные, чтобы не сказать мстительные чувства народа? Это был праздник весел я и маскарадов, который носил характер чисто социального празднества и сопровождался безобразными пиршествами. Одним словом, это был праздник, не соединенный ни с каким религиозным служением и совершаемый не в храме и не непременно в синагоге, а большею частик» в частных домах.

Ответ, по-видимому, тот, что хотя Иисус был на этом празднике и пришел около того времени, как он совершался, однако же слова Иоанновы не заключают прямого смысла, чтобы Он пришел нарочно для присутствования именно на этом празднике. Через месяц после него совершалась Пасха, и Иисус мог пожелать прийти, по преимуществу с намерением присутствовать на Пасхе, а между тем воспользовался случаем прибыть в Иудею и Иерусалим за месяц вперед, сколько потому чтобы иметь более времени для проповеди в соседних Иерусалиму городах, столько и потому что не хотел большой публичности и опасного возбуждения, которые бы последовали с присоединением Его к пасхальному каравану галилейских путешественников. Удаление апостолов на проповедь предоставило Ему этот удобный случай. Евангелисты дают ясные указания, что у Иисуса были друзья и доброжелатели в Иерусалиме и по соседству. Надо же было Ему посетить пределы, о которых они не рассказывают.

Может быть, в среде этих друзей Он поджидал возвращения своих непосредственных последователей. Нам известно, как сердечно привязан Он был к членам одного семейства в Вифании, и нет ничего странного в предположении, что Он прожил это время в мирном уединении среди благочестивого семейства, как особенно почетный гость.

Но даже если св. Иоанн имел мысль удостоверить нас, что наступление этого праздника было непосредственною причиною посещения Иисусом Иерусалима, то мы должны принять в соображение, что нет никаких доказательств чтобы праздник этот во времена Спасителя совершался так беспорядочно и фантастично, как в последующее время. Само собою разумеется, что благомыслящие евреи соблюдали его спокойно и без шума. Но так как праздник этот состоял в оказании дел милосердия к бедным, то и привлекал Иисуса сколько поэтому, столько и потому, что предоставлял Ему возможность с одной стороны доказать, что в общем характере Его действий и учения нет ничего противонациоиального, непатриотического, с другой выказать всеобъемлющую благость, с которою Он учил и действовал.

Затем остается один вопрос. Пасха приближалась, и, само собою разумеется, ждали Его присутствия на великом празднике. По какому же случаю Его там не было? Зачем возвратился Он в Галилею, вместо того чтобы оставаться в Иерусалиме? События, которые мы начнем теперь рассказывать, представляют удовлетворительный ответ на этот вопрос.

ГЛАВА XXVII

Вифезда

В Иерусалиме, близ Овечьих ворот, находился водоем, который, по народным верованиям, обладал замечательным свойством исцелений[300]. По этой причине, в придачу к его обыкновенному названию ему дано было название *Вифезда*, или Дом милосердия. Под портиками, украшавшими пятиугольное каменное здание, лежало множество страдавших слепотою, хромотою и атрофией, в ожидании случая возмущения и движения воды, что доказывало в высшей степени ее целебное свойство.

Древнее сказание, которое слышится в тексте евангелиста Иоанна, приписывало целебные качества воды схождению ангела, который возмущал водоем в разные периоды года, и первая личность, успевавшая погрузиться тотчас по возмущении воды исцелялась, каким бы недугом ни была одержима. Такое объяснение явления было достаточно для того, чтобы собрать вокруг нее множество страдальцев[301].

Между ними находился бедняк, который не менее тридцати осьми лет назад был разбит параличом. Он лежал под портиками водоема, но без всякой для себя пользы, потому что при неправильных сроках движения воды он, как беспомощный, не успевал погрузиться первым. Другие, более счастливые и менее слабые, чем он, успевали всегда предвосхищать у него благоприятное мгновение.

Иисус взглянул на страдальца с сердечною жалостию. Очевидно, что вместе с телом парализован был и духовный состав этого разбитого создания; вся жизнь его была продолжительной атрофией бесплодного отчаяния. Иисус задумал явить свой пурим этому бедняку, которому не мог дать ни серебра, ни золота. Он захотел помочь страдальцу, о котором никто не заботился, которому прежде никто не оказал помощи.

Хочешь ли быть здоров? спросил его Иисус.

Слова эти сначала пробудили больного от продолжительной и безнадежной летаргии, хотя, по-видимому, он не придал им большого

значения. Но сообразив, при минутном луче надежды что перед ним какой-нибудь чужеземец, который, умилившись сердцем, мог помочь ему опуститься в воду, когда она опять придет в движение, самым простым образом рассказал в ответ о неудачах своего долгого и напрасного ожидания. Иисус вознамерился подать ему более быструю, более действительную помощь. *Встань,* сказал Он, *возьми постель твою, и ходи.*

Этот тон не допускал неповиновения. Вид говорящего, Его голос, Его приказание пролетели электрической искрой чрез все пораженные члены, через весь разбитый состав, ослабленный долговременным страданием и грехом. После тридцативосьмилетнего лежания расслабленный в одно мгновение встал, взял постель свою и начал ходить. В радостном удивлении, он осмотрелся кругом, чтобы увидеть и поблагодарить неизвестного благодетеля, но толпа была велика и Иисус, опасаясь поднять восстание, которое могли легко приписать Ему в виду чудесных действий, тихо скрылся из виду. За Ним однако же следило много пытливых и ревнивых глаз. По мере того, как утрачивается внутренняя сила и значение религии, появляется нередко бессмысленная и восторженная привязанность к ее внешним формам. Формализм и равнодушие, педантическая мелочность и полное безверие — понятия между собою соотносительные и всегда процветают рядом. То же было с иудаизмом во времена Спасителя. Живой и горячий энтузиазм его исчез; возвышенное и благородное верование забыто; пророки перестали пророчествовать; поэты — воспевать песни; священники уже не облекались в правду; количество святых убыло. Топор был у корня сухого дерева, и стебли его служили пищею для грибных наростов обрядности и преданий. Вследствие этого, соблюдение субботы, — установленной для предоставления слабому человеку покоя, полного любви, мира и добрых дел, — обратилось в народный фетишизм, в пустой обычай, поставленный в рамку еще более пустых и бессмысленных ограничений. Почти все великие мероприятия Моисеева закона в настоящее время добавлены были излишними, неразумными подробностями и в этом виде служили наслаждением для мелких натур и тяжелым гнетом для истинного, природного благочестия. Но когда религия впадает таким образом в суеверие, не потерявши наружной силы, тогда она становится больше, чем всегда, тираническою, — больше, чем всегда, подозрительною,

при гонении своих отщепенцев. Выздоровевший паралитик был тотчас же окружен группою людей, которые начали его допрашивать, глядя на него с удивлением и негодованием.

Сегодня суббота; не должно тебе брать постель.

Это был очевидный случай нарушения их закона! Разве полуегиптянин, сын Саломифы, дочери Даврия, не был побит насмерть камнями за собирание дров в субботний день[302]. Разве не ясно высказал Иеремия: *Так говорит Иегова: берегите души свои, и не носите нош в день субботний и не вносите их вратами Иерусалимскими, и не выносите нош из домов ваших в день субботний, и никакого дела не делайте*[303].

Действительно сказано, но почему? Потому что суббота есть установление благодетельное, имеющее целью защиту подчиненных, угнетенных постоянным трудом; потому что сущность ее состояла в избавлении рабов и земледельцев от несоразмерности работы, которую налагали на них богачи из народа, известного своею жадностию; потому что оставление одного дня из семи для святого успокоения имело бесконечно доброе влияние на духовную жизнь всего общества. Такова была мысль четвертой заповеди. В каком же отношении нарушена была суббота человеком, захотевшим, по получении чудесного исцеления, отнеси домой простую постель, из которой состояло, может быть, все его имущество? Нарушенное этим человеком не было законом Божиим и даже законом Моисеевым, но представляло безумные формалистические толкования холодных преданий, которые с важностью рассуждали, что в субботу можно носить сапоги без гвоздей, а нельзя надеть сапогов, подбитых гвоздями, потому что они представляют ношу; всякий может выходить из дому в двух сапогах, а отнюдь не в одном; один человек может нести каравай хлеба, но двое не могут идти рядом так, чтобы этот каравай был между ними, и тому подобные невообразимые, невежестенные органичения.

Кто меня исцелил, отвечал выздоровевший расслабленный, *Тот мне сказал: возьми постель свою и ходи.*

Эти слова приняты были за оправдание в отношении к расслабленному, потому что голос, одаренный чудесною силою одним словом исцелять паралитика, имел право на некоторое послушание себе. Они удовольствовались высказанною им причиною, и что им за

дело до этого ничтожного жалкого страдальца? Что выигрывают они, если будут терзать его? Они пошли далее.

Кто тот человек, — заметьте лукавство этих еврейских властей! — не тот, который исцелил, потому что нельзя обвинять в ереси за совершение чудесного действия, но — *тот, который сказал тебе: возьми постель свою и ходи?*

Внимание паралитика, когда Иисус говорил с ним, было так слабо, что он не знал, кто был его благодетельным целителем. Но вскоре все объяснилось. Заметим в расслабленном прежде его хорошую сторону, потому что вскорь после события видим его в храме, куда он пришел, вероятно, для того, чтобы воздать благодарность Богу за внезапное и чудесное восстановление его разбитой жизни. Там Иисус увидал его и обратился к нему с простым, но высоким нравоучением: *вот, ты выздоровел, не греши же, чтобы не случилось с тобою чего хуже.*

Такое нравоучение получил он, может быть, потому что Христос провидел мелкую и недостойную природу человека: по крайней мере на первый взгляд чувствуется, что то возмутительное при чтении 15 стиха, где говорится: *человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус.* Возможно, хотя и совершенно неправдоподобно, что человек этот имел в мыслях прославить имя того, кто совершил над ним чудо. Но так как ему известны были неприязненные чувства иудеев; так как мы не слышим от него ни одного слова благодарности, ни одного слова благоговения или прославления Иисуса; так как ему было вполне известно, что Иисус, при совершении чуда, руководствовался только одним состраданием и постарался избегнуть всякой торжественности, то нельзя не признать, что с первого взгляда на подобный поступок невозможно глядеть иначе, как на ненужный и презренный донос, на гнусную самозащиту на счет своего благодетеля и совершенно непонятную смесь бездушного наушничества с низкою неблагодарностию. По-видимому, наставление Иисусово было крайне необходимо, хотя и оказалось бесполезным.

Донос имел непосредственные и неприятные последствия. Они изменили весь ход остальной жизни Иисуса. Не трогаясь видимым глубоким состраданием, не убеждаясь действием чудесной силы, иудейские инквизиторы вооружились на защиту своих излюбленных

статей закона. Они стали *гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такия дела в субботу.*

В ответ на это обвинение, Он высказал боговдохновенную и пространную речь, сохраненную для нас в 5 главе св. евангелиста Иоанна[304]. Неизвестно, сказана ли она в храме или перед синедрионом; но великие раввины и первосвященники, — которые прежде хвалились, что могут сделать выговор и наказать Его за нарушение субботы, — были приведены в трепет и благоговение от слышанных ими слов Его, хотя и были сильно и неумолимо озлоблены. Они позвали Иисуса к суду, чтобы дать наставление и должны были выслушать сами. Они хотели научить и сделать выговор, — и тогда, может быть, снисходительно простить Его. Но увы! Он предстал пред ними с величием глубоко ученого, со строгим упреком, в котором однако слышалось сердечное сострадание. Они сидели вокруг Него во всей пышности их официального положения и смотрели как на низшего. Но что же? они же трепетали пред Ним и точили только зубы, не смея ничего сделать, когда в речи, подобно пламени и огню, проникающей все их существо, — в речи, исполненной мудрости и величия, какая могла слышаться только среди синайских громов, Он утверждал свое великое звание Сына Божия.

Таким образом покушение, — внушить Ему жалкие правила и благочестие буквоедов, представить нечестие в совершении дивных исцелений и, может быть, наказать Его за беспрестанные приказания исцеленным людям носить свои постели в день субботний, — потерпело полное поражение. В первых же своих словах Он представил им их материализм и невежество. Судя по себе, они думали, что в субботу Бог остановился от творения, будто бы вследствие усталости; Он доказал, что святой покой был благодетельной деятельностью. Они, по-видимому, думали, как многие и в настоящее время, что Бог отказался от некоторых сокровенных проявлений своей творческой силы; Он утверждал, что Отец Его творит и доселе, — что и Он, зная Своего Отца и любя Его, творит так же, как Отец, и должен совершить большие дела, чем делал до настоящего времени. Уже Он начал воскрешать духовно умерших, а придет день, когда все находящиеся в могилах должны услышать Его голос. Уже Он начал водворять вечную жизнь во всех уверовавших в

Него, а впоследствии голос Его будет услышан на последнем суде живых и мертвых, который поручен Ему Отцом Его.

Один ли Он сам удостоверяет свое звание? Нет, существуют три великих свидетеля которые подтверждали и подтверждают слова Его: Иоанн, которого они после непродолжительного удивления, отвергли, Моисей, последованием которому они кичатся, не понимая его учения, и наконец Бог, которому поклоняются, но которого не видали и не знали. Сами они, эти судьи, присылали к Иоанну и слышали его свидетельство; но Он не нуждается в человеческом свидетельстве и упоминает о нем только ради их, потому что они некоторое время восхищались светом великого пророка, любимого Богом. У Него есть высшее, нежели Иоанново, свидетельство, — свидетельство чудодейственной силы, совершающей дела не как у пророков во имя Божие, а в Его собственное имя, потому что Отец вручил Ему эту силу. Этого Отца они не знали; свет Его они променяли на тьму, слова Его — на слова лжи и невежества, и отвергают Его Сына, которого Он послал. Но есть третье свидетельство. Хотя они не знали ничего об Отце, однако знали или думали, что знают Св. Писание, а все-таки отвергли Его, о котором свидетельствует Писание. Не ясно ли, что они, — справедливые, благочестивые, исполнительные до мелочности отщепенцы, священники, духовные вожди народа, — не имеют в себе любви Божией, если они отвергают Его пророка, Его слова, Его дела, Его Сына?

Откуда же эта горечь, которая производит такие горькие плоды? Разве это не гордость? Как могут веровать они, когда ищут почета от человека, а не почестей, исходящих только от Бога? Так как они отвергли Того, кто пришел во имя Отца, то они будут игрушкой и несчастной жертвой каждого ложного Мессии, каждого Иуды, каждого Февды или Бар-Кохеба, — в еврейской истории их насчитывается до шестидесяти, которые приходили во имя свое.

Однако же Он не станет обвинять их пред Отцом: есть другой обвинитель, — Моисей, в которого они веруют. Да, Моисей, в светлое слово которого они воображают, что веруют посредством исполнения ничтожнейших правил своего устного закона, нагромоздившего кучу преданий и комментарий, — тот убедит их, что они не веруют и не повинуются. Если бы они верили Моисею, они веровали бы и Ему, который им говорит, потому что Моисей писал о Нем. Но если они

отвергли истинный смысл слова писаного, которое, по собственному их уверению, они любят и обожают, то каким же образом они поверят словам, которые слушают со злобой и ненавистью? Мы знаем, с каким затаенным отчаянием приняты были эти высокие истины. Ни разу до сего времени не высказывался Иисус так ясно и так подробно. Казалось, что в Галилее Он желал, чтобы верование в Него возрастало и возвышалось в душах и понимании слушавших учение и видевших дела Его постепенно, тогда как в Иерусалиме, где учение Его было менее продолжительно, последователей меньше, судьи строже, чудеса реже, Он решился обличить единожды навсегда вождей и правителей народа, заставивши их выслушать, чем они были на деле. Яснее этого высказать было невозможно. Они призвали Его к суду, чтобы обсудить нарушение Им субботы, а Он не старался извинить себя в этом поступке, как это сделал в Галилее, а доказывал, что высший нравственный закон любви превосходит и уничтожает низший закон буквального и обрядового послушания. Таким образом вместо представления доказательств, Он стал действовать в духе, в котором действовали прежде Его величайшие святые и мыслили величайшие пророки. Он поставил себя выше субботы, как ее Господь, нет! как Сын и истолкователь Того, Кто учредил субботы, Кто продолжает управлять во все времена путями природы и провидения.

В этом случае оказались наготове против назаретского пророка одновременно два тяжелых обвинения. Он был нарушителем субботы и хулителем имени Божьего. Первое преступление служило достаточной причиной к преследованию; второе вполне оправдывало настойчивое и деятельное старание предать Его смерти.

Но на этот раз нельзя было сделать ничего; надо было ограничиться бессильным негодованием и смягчиться. Что же было причиной такого бездействия? Их сдерживала власть сильнейшая их самих. Час торжества еще не пришел. Однако же с этих пор в сердце священников, раввинов и фарисеев произнесен уже был приговор о предании Иисуса смертной казни.

При таких обстоятельствах оставаться в Иудее, где каждый день был днем опасности от этих злобных и могучих злоумышленников, было совершенно бесполезно. Он не мог жить долее в Иерусалиме, не смотря на приближавшуюся Пасху, и возвратился в Галилею с полным убеждением, что смерть Его решена, с полным знанием, что светлые

часы, в которые Ему придется совершать дело свое, начали покрываться мраком. Последние события решили, хотя и втайне, что смерть веет над Его обреченною головою.

ГЛАВА XXVIII

Усекновение главы Предтечи

С сердцем, полным скорби, возвратился Спаситель в Галилею, Его отверг Назарет, столь близкий Ему город; Его не приняли и Иерусалимские власти, предводительствовавшие Его народом. Ему пришлось возвратиться в атмосферу, над которой собрались грозные тучи шедшей навстречу коварной вражды и, — при первом Его появлении, — в этой атмосфере, подобно первому удару похоронного колокола, возвещавшему разрушение, — раздалась печальная весть о мученической смерти Иоанна. Любимый им, пылавший небесным огнем, блестящий светильник мира внезапно угас, облитый своей собственной кровью! Великий Предтеча, — величайший из рожденных когда-либо женами, — больше, чем пророк, был умерщвлен самым постыдным образом!

Ирод Антипа, которому, после смерти Ирода Великого, достался тетрархат в Итурии и Перее, был слабым и жалким властелином. Он только позорил трон несчастной страны. Жестокий, коварный и сладострастный, как отец, он не походил на него трусостью в битвах и изменами в мире. В нем, как во многих особо отмеченных на страницах истории характерах, неверие сливалось вместе с суеверием. Но мучительные ужасы греховной совести не спасали от преступного сумасбродства беспокойной воли. Это был человек, в котором соединилось все, что есть худшего в римлянине, восточном человеке и греке. Политика многих царьков, зависевших от римского вмешательства, заставляла их нередко из вежливости посещать императора в Риме. В продолжении одного из таких посещений, — с целью, может быть, выразить свое сочувствие к скорби Тиберия о потере его сына Друза или матери Лавии, — Антипа, будучи в Риме, гостил у своего брата Ирода Филиппа, — не тетрарха, сына Ирода Великого и Клеопатры, а сына Ирода великого от дочери Симона Мариамны, — который, будучи лишен наследства отцом, проживал в Риме частным человеком. Запутавшись в сетях Иродиады, жены Филипповой, дочери своего брата Аристовула, Антипа заплатил за гостеприимство тем, что увез у брата жену. В этом поступке

соединялось все, для того чтобы выказать гнусность, неблагодарность и коварство Иродиан. Они довели браки между своим родством до таких широких пределов, какой был возможен только в самых худших и распущенных восточных и помакедонских династиях. Иродиада была не только невесткой, но племянницей Антипы и имела от Филиппа взрослую дочь Саломию. Сам Антипа давно женат был на дочери Ареты, или Гарефы, эмира арабского, и ни он, ни Иродиада не могли извинить себя увлечением юности. Одно покушение их на такое преступление было с его стороны гнусной чувственностью, с ее — безумным тщеславием. Она предпочла дважды преступный, дважды нечестивый брак жизни с законным мужем своим Филиппом за то, что этот последний не мсг похвалиться даже названием вицероя. Антипа обещал Иродиаде, по возвращении домой, жениться на ней, с тем чтобы сделать формальный развод со своей ни в чем неповинной женой, дочерью арабского владетеля.

Но подобные безрассудные увлечения послужили и орудием для их наказания. С этого времени для Антипы начался целый ряд беспокойств и неудач, которые, спустя несколько лет, обратили его в царя без престола, в изгнанника, невозбуждающего никакой жалости. Иродиада, с самого ее вступления в его дом, стала злобным гением! Народ терпел одни оскорбления. Семейное согласие нарушилось. Арабская принцесса, не дожидаясь развода, бежала с негодованием сначала в пограничную крепость Макор, а потом в скалистые укрепления отца своего Ареты в Петре. Арета, в справедливом гневе, прервал все дружеские сношения с бывшим некогда зятем и вслед за тем объявил ему войну, в которой отмстил за себя, наказав Антипу жестоким поражением и разрушением городов.

Но это еще не все. Грех был наказан грехом и преступный брак был запечатлен кровью пророка. В веселых и раззолоченных залах одного из роскошных дворцов, которые любили строить Ироды, до слуха развратного тирана не раз доходил вероятно, глухой ропот его подданных. Но был один громкий голос, который возмущал его, который терзал его совесть и не хотел умолкнуть. Это был голос великого Предтечи. Нам неизвестно, каким образом Ирод вошел в соотношения с ним, но вероятнее всего вследствие заключения его в тюрьму по политическим причинам, потому что его поучения и привлечение им к себе толпы народа признаны были преступлениями,

угрожавшими общественной безопасности. Между прочими качествами в характере Ирода была большая доля суеверного любопытства, заставлявшего его жадно справляться с истинами религии, которые так явно нарушались им в его обыденной жизни. Он стал призывать к себе Иоанна. Подобно новому Илии перед другим Ахавом, одетый во власяницу и кожаный пояс, — грозный и важный пустынножитель являлся безбоязненно перед нечестивым царем. Слова его — простые слова истины и справедливости, — спокойное рассуждение о праведной жизни, умеренности и будущем суде, — жгучим пламенем пожирали грубую и ледяную совесть. Ирод, возмущенный думой, что бездетность второго брака есть последствие нарушения древнего Моисеева закона, выслушивал пророка со смутной и слабой надеждой на будущее исправление. Он даже делал многое по желанию Иоаннову. Но существовало одно, чего он не хотел, а может быть даже уверил себя, что и не мог сделать, бросить преступную любовь, которая овладела им, или отпустить высокомерную, властолюбивую женщину, которая, нарушив его мир, управляла его жизнью. *Не должно тебе иметь ее*[305], твердит ему нелицемерный пророк. Не раз приводили бледного, истощенного заключением узника по ярко зеленевшим лугам до палат царских и хотя он был твердо уверен, что к нему питают непримиримую вражду и отведут его снова в его уединенное заключение, однако никогда не колебался бросить в лицо надменного и злобного Ирода это великое слово: *не должно*. Не было с его стороны пощады и другим преступлениям и безрассудствам Иродовой жизни[306]. Иные, даже добрые и во многих случаях великие люди, в более мягких словах обличают грехи властителей. Но в горячей душе Иоанна, закаленной жизнью в пустыне, не было никакого снисхождения ни к царственным лицам, ни к увлечению преступлением. А когда смелость, святость и чистота начинали порицать ничтожество рабского и развращенного сердца, можно ли думать, что не выпадало случая, в котором царская совесть открывалась среди блестящих придворных и беззаботных воинов? Иоанн хорошо знал, как мало можно было полагаться на душу, истерзанную преобладающим грехом, и удостоверился, что от темницы в Черной крепости, как раввины называли Макор, можно спастись только могилой и вратами смерти.

До сего времени робость или остаток совестливости Ирода Антипы представляли для Иоанна, относительно его жизни, хотя и сомнительную, а все же защиту против глубокой, ядовитой ненависти любовницы. Но наконец, чего она не могла достигнуть посредством влияния страсти, того добилась ловким обманом. Ей было известно, что даже из заточения голос Иоаннов мог быть сильнее влияний ее увядающей красоты, мог сорвать с преступной головы ее царскую корону. Но она выжидала случая и вскоре достигла своей цели.

Властители Иродова дома, подражая роскоши римских императоров, заводили нередко великолепные пиры и блестящие годовые праздники. Между прочим усвоивши языческий обычай праздновать день своего рождения и собравшись провести его весело, по-видимому, в Макоре или в соседнем дворце, называемом Юлиею, — Антипа приготовил пир для двора, военачальников и галилейской знати. Богатство, изысканная архитектура дворцов, общее стремление Иродов выставить себя напоказ, служили достаточным ручательством, что на этом пиру не было недостатка ни в чем, что только могли предоставить роскошь или царское достоинство. Довольно сказать, что он был похож на те ужасные оргии, которые согласовались с развратными обычаями империи и соединяли в себе римское обжорство с греческой чувственностью. Но коварная Иродиада задумала угостить царя неожиданным и возбуждающим страсти удовольствием, — зрелищем, которое, как ей известно, должно было восхитить таких гостей, как Иродовы. Танцовщики и танцовщицы были в то время в большом ходу[307]. Страсть к таким нередко бесстыдным и унизительным представлениям вкралась в Иудею конечно через саддукеев и полуязыческий дворэдомитских похитителей престоламирод Великий построил в своем дворце театр для Тимелика[308]. Настоящий роскошный праздник не был бы полон, если бы не был заключен какой-нибудь грубой пантомимой, и разумеется Ирод усвоил себе этот отвратительный современный обычай. Но он никак не думал предоставить своим гостям такую редкую роскошь, — видеть унизившую себя до сценических танцев принцессу, — свою племянницу, внучку Ирода Великого и Мариамны, происходившей из рода великого первосвященника Симона, старшей линии князей Маккавеев, — принцессу, которая стала потом женой татрарха и матерью (от Аристовула) царя халкидонского. Как только

кончился пир, гости насытились и напились, сама Саломия, дочь Иродиады, тоща еще цветущая молодостью и блиставшая красотой, исполнила танец *пред собранием*[309]. этих развратных и полупьяных гостей. Она *вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним*[310]. Ирод же, как новый Ксеркс, в чаду пьяного удовольствия поклялся развращенной девушке в присутствии всех гостей, что исполнит все, что она попросит, даже до отдачи половины царства[311].

Саломия побежала к матери и сказала: *чего просить*[312]. Этого только и ожидала Иродиада. Она могла бы попросить платьев, драгоценностей, дворцов или вообще того, что нравится женщинам; но для сердца, подобного Иродиадину, мщение было приятнее, чем богатство или удовлетворение тщеславия. Можно представить себе, с какой неистовою злобою она прошипела нежданный ответ: *головы Иоанна Крестителя.* Саломия пошла с поспешностью к царю (какое способное дитя нашла злобная мать в своей злобной дочери!) *и просила, говоря: хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя*[313]. Такая позорная ненависть, такая гнусная просьба доказывали ясно, что она унаследовала бешенство своей расы. Ужели она думала что в это бесславное время, среди этих бесславных гостей, ее просьба будет принята с взрывом хохота? Ужель она надеялась довести до высокой степени их опьянение, представить себе, что самое чувство злобы в устах молоденькой и красивой девушки будет восхитительно, — когда она будет просить, нет! повелительно приказывать, чтобы теперь же и здесь же на одном из золотых блюд, украшавших стол, была подана ей прямо в руки голова пророка, мощное слово которого укрощало тысячи смелых сердец?

Если так, то она обманулась в ожидании. При ее прошении тетрарх сильно опечалился[314] его не утешал уже более ее танец; грустно, показалось ему, кончается празднование дня его рождения. Страх, политика, упреки совести, суеверие, даже некоторый остаток добрых чувств, еще не совсем утратившихся под густым пеплом сожженного гнусными страстями сердца, — все заставляло его отказаться с отвращением от приведения в исполнение такой внезапной казни. Он понял, до какой степени одурачен ловкой стратегикой своей, ни перед чем не останавливающейся, любовницы. Если бы в нем осталась хоть тень мужественной твердости, он отказал бы в просьбе, как не

совпадавшей ни с буквою, ни с духом его клятвы, потому что жизнь одного невозможно обращать в подарок другому. Или он мог бы смело заявить, что при подобном выборе его клятва будет более почтенна, если нарушится, нежели как приведется в исполнение. Но презренная гордость и страх человеческий преодолели лучшие движения его сердца. Опасаясь пересудов своих гостей более, чем неизбежных страданий совести в будущем, он тотчас же послал оруженосца в темницу, которая, вероятно, находилась вблизи от зала пиршества. Таким образом, по приказанию развратного лукавства и в угождение омерзительной фантазии бесстыдной девушки, топор пал — и голова славнейшего из пророков была усечена.

В темноте и втайне совершилось событие. У простого зрителя отнялось бы слово, а оруженосец дерзко вышел на свет, неся за волосы эту благородную голову и во всем ужасе недавней смерти поместил на блюдо с царского стола. Молодая танцовщица приняла ее и страшная, как Мегера, отнесла ужасную ношу к своей матери. Будем надеяться, что по крайней мере это зрелище не давало обеим покоя до смерти.

Что сделалось с останками пророка, нам неизвестно. Одно из преданий рассказывает, что будто бы Иродиада приказала сбросить обезглавленное тело со стенных зубцов на съедение собакам и коршунам. Но злобную женщину вскоре постигло наказание.

Ученики Иоанновы, между ними, может быть, и Манаил, молочный брат Ирода Антилы, взяли тело Иоанново и погребли его. Ближайшей их заботой было идти и рассказать Иисусу, с сокрушенным и разбитым сердцем, что Его друг и Предтеча, кто первый произнес о Нем свидетельство, о ком Он сам отзывался с такой великой хвалой, окончил тяжелые дни свои.

Около того же времени возвратились и апостолы со своей миссии и рассказали, что делали и чему учили. Они проповедовали покаяние, изгоняли бесов, делали исцеления. Но отчет об их учении был очень краток и не совсем радостен. Несмотря на некоторые успехи, неиспытанная вера их, по-видимому, не вполне еще соответствовала возложенной на них высокой задаче.

Вскоре после этого достигла и другая неприятная новость. Злобный тетрарх начал отыскивать Иисуса, желая видеть Его, и посылал с требованием Его явки, когда возвратился в свой новый дворец, золотой дом, находившийся в новой столице Тивериаде, потому что

проповедническое путешествие двенадцати апостолов более, чем когда-нибудь, распространило молву и высокое понимание в народ о спасителе[315]. Все толковали, что Он имеет полное право на почтение. Многие признавали его за Илию, иные за Иеремию, иные за одного из пророков: но Ирод странным образом разрешил задачу. Когда Феодорик приказал умертвить Симмаха, то его измучило и довело до сумасшествия появление призрака старика с обезображенными чертами лица, смотревшего ему в глаза. То же самое случилось с Антипой. В залу его пиршества принесена была голова того, кто, — как он глубоко сознавал, — был человеком святым и справедливым. Он видел грозные даже во время торжественной агонии смерти черты, на которые прежде глядел нередко с благоговением. Не громче ли, не ужаснее ли, чем при жизни, сходили упреки с этих мертвых уст? Не замерло ли на них его обычное выражение: *Не должно тебе иметь ее?* Не высказывалось ли, по-видимому, оно со сверхъестественною энергией среди безмолвного ужаса смерти? Если мы не ошибаемся, то эта отрубленная голова редко с той поры выходила из расстроенного воображения Ирода до смертного одра его. И теперь, как только он услыхал о славе другого пророка, невообразимо могущественнейшего и творившего чудеса, каких Иоанн никогда не совершал, его преступная совесть зашевелилась от суеверного страха. Он с ужасом говорил приближенным: *Это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому действуют силы от Него*[316]. Восстал ли Иоанн снова к жизни, чтобы совершить явно отмщение? подойдет ли к укрепленным башням Макора во главе толпы, поднявши возмущение, или ужасным призраком проберется через золоченые залы Юлии или Тивериады, среди полночи, и спросит: ожидал ли меня, мой враг?

Повелительный и злобный нрав Иродиады был для мужа постоянной мукой, а безумная гордость — прямой причиной его разорения. Когда Аристовул был осыпан милостями императора Кая Калигулы, — Иродиада, страдая завистью и недовольством, требовала от Антипы, чтобы он ехал с ней в Рим и просил разделить отличия, которые были даны его брату. Она приставала к мужу, чтобы он добивался титула царя, вместо того чтобы довольствоваться ничтожным званием тетрарха. Напрасно трусливый и любящий спокойствие Антипа представлял ей опасность, которая могла последовать за подобной просьбой. Эта женщина до того отравляла его

жизнь постоянными докуками, что он послушал ее, чувствуя, что поступает неразумно. События оправдали его предчувствия. Между бесчисленными дядьями, племянниками и двоюродными братьями путаного семейства Иродова не было никакой взаимной любви. Поэтому из политики или из зависти Агриппа, получивший во время своих бедствий помощь от сестры и дяди, не только расстроил их планы, но тотчас же послал в Рим своего вольноотпущенного Фортуната для обвинения Антипы в изменнических замыслах против императора. Тетрарх, не умевши объясниться против обвинения, в 39 году от Р. Х. изгнан был в Лугдун в Галлии, неподалеку от испанской границы. Иродиада, по собственному ли желанию, или по необходимости, или с отчаяния, сопутствовала ему в ссылке, и оба умерли там в неизвестности и бесчестии. Саломия-танцовщица, — Лукреция Борджиа дома Иродова, — исчезает из истории бесследно. Предание или легенда говорит, что ее постигла ранняя, жестокая и отвратительная смерть.

ГЛАВА XXIX

Насыщение пяти тысяч народа и хождение по озеру

Насыщение пяти тысяч народа представляет, в период учения Христова, одно из тех чудес, которое рассказано у всех четырех евангелистов[317]. Так как оно помещено в Евангелии от Иоанна следом за безымянным праздником и Пасхой, а у прочих евангелистов непосредственно за возвращением двенадцати апостолов и умерщвлением Крестителя, то мы не ошибемся, если введем его в эту часть нашего рассказа.

Новые путешествия апостолов, движения в фарисейской партии вследствие недавних Его собственных столкновений с нею, куча грозных новостей, только что достигших до Него, постоянная теснота от увеличивавшейся толпы, которая поглощала все время, — требовали, наконец, чтобы Иисус и апостолы успокоились духом, хотя ненадолго, в тишине и уединении. *Пойдите вы однщ* сказал Он им, — *в пустынное место и отдохните немного*[318].

На северо-восточном углу озера, невдалеке от того места, где впадает в него Иордан, была вторая Вифсаида (в переводе — рыбачий дом), некогда такая же маленькая деревушка, как и ее западная соименница, а теперь распространенная и украшенная Филиппом, тетрархом Итурии, и названная для отличия Вифсаидой Юлиевой. Придаточное имя дано ей в честь Юлии, красивой лицом, но развратной сердцем дочери императора Августа. Эти полуязыческие Иродианские города, с их подрожательной грекам архитектурой и именами римских развратниц, скорее отталкивали, чем привлекали к себе Спасителя, и хотя многие из Его дел совершены были по соседству с большими городами, но нельзя указать ни на один город, где бы Он проповедовал, исключая Иерусалима. С юга к Вифсаиде Юлиевой примыкала зеленая и неширокая равнина Ель-Батиаг, которая, вместе с окружавшими ее холмами, тогда, точно так же, как и в настоящее время, была необитаема. Туда-то небольшое судно направило свой бег, неся на себе людей утомленных, разбитых сердцем

и жаждавших успокоения. Но как ни скрытно было отплытие, однако же не прошло незамеченным, не осталось неведомым. Расстояние по озеру от Тель-Гума (Капернаума) до удаленного и пустого берега, к которому судно стремилось, составляло около девяти верст. Лодка, вероятно, вследствие непопутного ветра, шла тихо в небольшом расстоянии от берега и, хотя доплыла до желаемого места, но не достигла цели, которую имел в виду Иисус. Некоторые из толпы сели тоже на суда и уже находились около места высадки, а когда нос лодки ударился о кремнистый берег толпы пополнились отправлявшимися на Пасху и проходившими в недальнем расстоянии путешественниками, которые были привлечены возврастающей славой неизвестного пророка[319]. Это были овцы без пастыря, и Иисус тронулся их положением. Из слов св. Иоанна можно заключить, что при высадке на берег Иисус и Его ученики взошли на гору и подождали недолго, пока соберется народ. Там Он сказал несколько поучений, проповедуя царство небесное и исцеляя больных.

День был на исходе; солнце склонилось к западным холмам, а народ медлил, восхищенный дивным голосом и святыми словами. Скоро настанет вечер, и, после коротких восточных сумерек, толпа путешественников, которая в своем увлечении забыла о жизненных потребностях, останется в темноте, голодная и вдалеке от всякого человеческого жилья. Учеников тревожила мысль, что день может окончиться какой-нибудь неприятной катастрофой, которая дает новое оружие в руки озлобленных врагов. Но сострадательность Иисуса предусмотрела их благоразумную заботливость и поставила в затруднение ум Филиппа. Сделано было короткое совещание. Купить достаточно пищи для такого множества стоило бы по крайней мере двести динариев (около 55 р). Предположивши, что такая сумма найдется в их общей кассе, не оставалось времени, не представлялось никакой возможности сделать необходимые закупки. Андрей же при этом сказал, что тут есть мальчик, у которого было пять хлебов и две маленькие рыбы, но сказал это в отчаянии, чтобы показать полную безнадежность на какую бы то ни было помощь. *Велите людям возлечь*, отвечал кротко Иисус.

В удивлении и ожидании, апостолы приказали толпе вовлечь, как для еды, на роскошной зелени, которая в это приятное вешнее время одевала бока холма. Они рассадили народ отделениями по сто и по

пятидесяти человек и, когда все сели в порядке на луг, — красный, голубой и желтый цвет их одежд, какие носят самые беднейшие из восточных жителей, напомнил св. Петру множество цветников в каком-нибудь хорошо обработанном саду. Вставши среди своих гостей с чувством сердечной радости, что предполагает совершить дело милосердия, — Иисус возвел глаза к небу, высказал благодарность[320], благословил хлебы[321], искрошил их в куски и начал раздавать ученикам, а эти последние — народу[322]. Разделены были между ними и две рыбы. Это было скромной, но достаточной и даже очень приятной пищей для голодных путешественников. А когда все насытились, Иисус, — для того чтобы показать своим ученикам не только количество и действительность розданного, но и преподать назидательный урок, что расточительность чудесной силы совершенно чужда Божественной экономии, — повелел собрать остатки, чтобы ничто не пропадало. Симметричное распределение народа показало, что насыщено было пять тысяч человек, кроме жен и детей, и при этом наполнено двенадцать корзин собранными остатками.

Чудо произвело глубокое впечатление. Оно совпадало с современным понятием о Мессии, и народ начал толковать между собой, что это должен быть несомненно *Тот пророк, который должен явиться на свет*, Звезда и Скипетр видения Валаама, — пророк, подобный Моисею, которого они должны слушаться, — может быть, обещанный Илия или Иеремия, которые, согласно их преданию, должны возвратиться на землю, чтобы указать место, где скрывается и кивот, и урим и священный огонь[323]. Иисус заметил нескрываемое удивление и опасность, что подобный энтузиазм разразится насилием и ускорит Его смерть, вследствие открытого восстания против римского управления, при покушении сделать его царем. Он видел, что ученики Его разделяют, по-видимому, общее, опасное возбуждение. Настало время действовать решительно. Пользуясь своим авторитетом, Он *понудил* учеников сесть в лодку и без Него переплыть озеро, по направлению к Капернауму или к западной Вифсаиде. Невозможно, чтобы они сделали это без непродолжительного, краткого сопротивления, потому что им, вероятно, не хотелось оставлять Его на пустынном берегу среди возбужденной толпы. Они признавали за собой право находиться при Нем, если бы с Ним случилось что-нибудь

важное. С другой стороны, Ему удобнее было распустить народ, который увидит отъезд его близких друзей и учеников.

Таким образом, при наступившей темноте, Иисус постепенно и с кротостью успел убедить народ оставить Его и, когда все наиболее восторженные ушли домой или к своим караванам, Он внезапно покинул оставшихся и скрылся от них один на вершину холма для молитвы. Он сознавал, что наступил торжественный и страшный кризис Его земной жизни, и беседой с небесным Отцом хотел подкрепить свой дух на великое будущее дело, на тяжкие столкновения в течение нескольких наступающих недель. Некогда проводил Он тоже в уединенной молитве ночь среди горного молчания, но это было пред избранием излюбленных учеников, перед первыми дивными словами Его самого раннего учения. Совершенно различны были чувства, с которыми великий первосвященник шел теперь по скалистым откосам этого великого горного храма, близ возвышенного алтаря которого Он был ближе к светилам Божиим. Умерщвление любимого пророка внесло живое воспоминание и мысль о близости Его смерти. Его не могли обмануть эти непродолжительные народные восторги, которые Он намеревался потушить на следующий же день. Буря, которая теперь разразилась над этими опустелыми горами, — ветер, который носился с воем по рвам, — озеро, покрывшееся белой пеной, — небольшое судно, которое Он видел, когда свет луны прорезывался сквозь густые тучи, и которое металось из стороны в сторону, и боролось с волнами, — все это было верной эмблемой изменившегося вида Его земной жизни. Но там, на пустынной вершине горы, в эту бурную ночь, Он приобрел беспредельную силу и мир души, невыразимое блаженство потому что был один с Богом. А между тем над Ним, когда Он склонился в уединенной молитве на холме, и над этими тружениками на возмущенном озере тяготела глубокая тьма и шумели бурные ветры.

Проходил час за часом, и наступило время четвертой стражи ночи[324], — время между трех и шести часов, потому что древние иудеи делили ночь на три стражи[325], а современные Христу, по обычаю римлян, на четыре: от шести часов вечера до шести часов утра[326]. Судно прошло только половину предположенного пути; было темно; дул противный ветер; волны бушевали; гребцы измучились, работая веслами. Они чувствовали, что с ними не было никого, кто бы

мог успокоить и спасти их, потому что Иисус остался на суше. Он был там один, а их метало по сторонам губительное озеро. Но он видел их, почувствовал к ним жалость и, при последней опасности, они увидели среди тьмы тень величественной фигуры и ее развевающееся платье. Кто-то приближался к ним, идя по поверхности озера, и, казалось, намеревался подойти к ним. Они вскрикнули от ужаса, вообразив, что это привидение, бродившее по волнам. Но сквозь бурю и темноту для них, — как нередко для нас, когда среди жизненной тьмы океан кажется таким огромным, а наша ладья такой ничтожной, — для них вдруг раздался этот успокоительный голос, который говорил: *Это Я, не бойтесь*[327]. Голос этот успокоил их страх, и они торопились принять Иисуса в свою лодку. Но стремительная любовь Петра не могла дожидаться Его приближения. Он нетерпеливо вскричал: *Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде*[328].

Иди[329], отвечал Иисус.

Петр перепрыгнул через край судна в возмущенные волны, и пока глаза его были обращены на Иисуса, ветер мог развевать его волосы, брызги орошать одежду, он шел по водам спокойно. Но едва только с колеблющейся верой он обратил свой взор на бешеные волны и черную пучину под ногами, как начал тонуть и с отчаянием, не похожим на прежнее доверие, жалобно воскликнул: *Господи! спаси меня!*[330] Но Иисус не дал упасть. Тотчас же с сожалением Он протянул ему руку и приподнял утопающего ученика, сказав с кротким упреком: *маловерный! зачем ты усомнился?*[331]. Таким образом, любовь Петра была удовлетворена, недоверие получило урок, а затем Учитель и пристыженный апостол вошли в лодку. Ветер затих, и при свете месяца они доплыли до пристани к берегу в том месте, где желали причалить. Все собрание апостолов глубже и глубже чувствовало благоговейный ужас, а некоторые из них, обращаясь к Иисусу, применяли к Нему титул, прежде всех данный Ему Нафанаилом, восклицая: *истинно Ты Сын Божий*[332].

Остановимся подольше на этом чудесном рассказе, который представляет наибольшее против других затруднение при нашем маловерии для веры и разумения. Многие пытались различными способами излагать его чудесный характер, стараясь доказать, что слова «поморю» могут означать скорее всего, что Иисус шел вдоль

берега параллельно с судном, а что в темноте апостолам могло показаться, будто Он шел или ходил по озеру. Такие увертки ничтожны и напрасны. Если человек чувствует, что не способен верить чудесам; если он даже считает несправедливым испытать и приобрести веру, которая принимает их, — оставьте его в этом убеждении. Ни мы, ни кто бы то ни было из людей не можем осуждать другого: *кто ты, осуждающий чужаго раба? Пред своим Господином стоит он или падает*[333]. Но нельзя не оспаривать покушения применить это неверие ко всему рассказу евангелистов. Что они имели намерение описать удивительное чудо, — это неоспоримо для всякого. Но кто со вниманием прочитал их слова и, как я сказал прежде, веруя в Бога, верует в божественное Провидение и чудеса; веруя в чудеса, принимает за истину воскресение Спасителя, а веруя в воскресение, верует, что Он есть Сын Божий, — тот чем глубже познает красоту, чудеса и силу законов природы, тем глубже познает силу Того, Кто в руке своей содержит эти законы и все происходящее от них. Тогда все для нас чудесное, если только оно подтверждено свидетельством, будет действовать на нас точно так же, как и совершающееся по законам природы; тогда нам не трудно будет понять, что Тот, Кто ниспослал Сына Своего на землю умереть для нашего спасения, — Тот мог передать всю свою власть в Его руки.

Таким образом, если мы, подобно Петру, устремим наши глаза на Иисуса, то можем идти торжественно над бурными волнами неверия и безбоязненно среди бушующих ветров сомнения. Но если мы отвратим глаза от Того, в Которого веруем, если (что делается очень скоро и что мы не раз покушались делать) мы станем заглядываться на силу и бешенство этих ужасных и разрушительных элементов и сводить глаза с Того, Кто может помочь и спасти, — то мы потонем неизбежно. О! когда мы чувствуем, что выше и выше поднимаются волны, чтобы затопить нас, чернее и чернее разверзаются пучины, чтобы поглотить колеблющуюся из стороны в сторону ладью нашей церкви и веры, — да будет дано нам среди бури, темноты и голосов, пророчествующих войны, услышать эти два прекраснейших выражения Спасителевы:

Не бойся, только веруй.

Это Я. Не бойтесь.

ГЛАВА XXX

Слово в Капернауме

На рассвете этого дня совершилось одно из самых грустных событий в жизни Спасителя. В этот день в капернаумской синагоге Он с умыслом рассеял мрак и туман, который собрало вокруг Его личности и дел чудо с хлебами и уличил не одних только ложных своих последователей, но даже некоторых из ближайших учеников свидетельствами, при которых их любовь к Нему вполне остыла. Это слово в синагоге составляет решительный перелом в Его жизни. Оно сопровождалось выражениями удивления и неприязни, которая была первым рокотом бури ненависти и преследований, разразившейся впоследствии над Его головою.

Вы видели, что некоторые из толпы, вследствие нетерпеливого желания поглядеть чудеса и вследствие ненасытного любопытства, позамешкались в небольшой долине при Юлиевой Вифсаиде, так что могли следовать за движениями Иисуса и разделить благословение и торжество, непосредственного появления которых ожидали. Они видели, что Иисус отпустил учеников; подсмотрели, что удалялся в гору один; заметили, что дул противный ветер и что не другая чья, а именно апостольская лодка отчаливала от берега; поэтому и остались в той уверенности, что найдут Его где-нибудь на горах за долиной. Но когда рассвело, они не нашли следов Его ни на холме, ни в долине. Между тем, несколько небольших лодок, — прибитых, может быть, к этому берегу тою же самою бурею, которая мешала апостолам плыть в противоположную сторону, — нашлись близ Тивериады. В них-то толпа и решилась отплыть в Капернаум, и там на раннем рассвете, после вчерашних утомлений и агитаций, после дня печальных известий и неустанного труда, после ночи, проведенной среди бури, уединения и беспрерывной молитвы, нашли Его спокойно сидящим и проповедующим в городской синагоге.

Если евангелист Матфей в своих рассказах следовал строго хронологическому порядку, то этой проповеди предшествовали некоторые исцеления[334]; но соображаясь со словами евангелиста

Марка[335], надо думать, что эти исцеления относились не к настоящему дню, а к целому периоду учения.

Увидев Иисуса в Капернауме, возвратившаяся с другой стороны озера толпа не могла воздержаться от восклицания: *Равви! когда Ты сюда пришел?*[336]. Но ответом на это было полное молчание. Чудо хождения по водам было чудом, совершенным вследствие привязанности и необходимости. Оно нисколько не относилось к пришлой толпе и не касалось ее. По существу своему и особенности оно не принадлежало к тем чудесам, которыми Христос желал утвердить их в вере или убедить их сердце. Поэтому, прочитав в их душе и удостоверившись, что они отыскивают Его с такими мыслями, которые для Него были в высокой степени неприятны, Он кротко снял покрывало с их полусознательного притворства, скрывавшее их от них же самих, и укорил тем, что ищут Его вовсе *не потому, что видели знамения, но потому, что ели хлеб и насытились*[337]. Никогда не пренебрегая воплем страдальца, никогда не отказываясь отвечать на вопросы верующего, никогда не желая сломить ни одной хрупкой камышины, ни погасить курящегося льна, — Он отверг наружное, притворное почтение и дюжинное любопытство. Поэтому Он преподал им этот вечно памятный урок: *старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свою Отец, Бог.*

В первый раз были они по-видимому, тронуты и пристыжены. Иисус верно прочитал в их сердцах, и они спросили Его: *что нам делать, чтобы творить дела Божии?*

Вот дело Божие. чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. Но какое же Ты дашь знамение, возразили они Ему, *чтобы мы увидели и поверили Тебе? Что Ты делаешь?* Отцы их ели в пустыне манну, которую Давид называет хлебом небесным. Вывод был ясен. Моисей дал манну с небес; Иисус недавно, как они намекали, дал только ячменный земной хлеб. Но если бы Он был истинным Мессией, то не предоставил ли бы им, согласно их народных легенд, богатства и владычества; не накормил ли бы их гранатами из садов эдемских, не напоил ли бы их из виноградника красных вин, не насытил ли бы их мясом бегемота и левиафана и громадной птицы бар-юхны? Но с тем вместе ужели они из этого же самого приводимого ими псалма[338] не могли научиться, насколько дурно и бесполезно было бы для них же

самих, если бы Иисус дал им манну, которую они со своим грубым способом придерживаться буквы Писания предполагают пищей ангелов? Разве в этом же самом псалме Давид не доказал им, что ниспослание такого благословения только увеличило их требовательную жадность, что и прежде и после, во все времена, эта исполненная с гневом милость для удовлетворения похотей их сердец была так далека от водворения в них веры и смирения, что они постоянно только умножали грехи свои, постоянно прогневляли милосердие Божие? Не доказывала ли положительно вся прошедшая история их народа, что вера должна утверждаться на более прочных основаниях, нежели знамения и чудеса, и что грубое сердце неверующего может быть смягчено скорее благороднейшими движениями души, нежели удивлением попеременно то простертой с благодеяниями, то наказующей могучей десницей Божией?

Но Иисус повел их потом в высшие пределы, чем исторические убеждения. Он рассказал им, что манна, только в метафорическом смысле называется небесным хлебом, а что Отец Его, истинный податель всего, подает им хлеб истинный, — хлеб Божий, который нисходит с небеси и дает жизнь миру.

Но ум их не мог отделиться от материальных образов надежды их не могли расстаться с материальными благами. Они настолько же усердно стали просить у Него небесного хлеба, как некогда самарянка просила воды, могущей истребить навеки жажду: *Господи! подавай нам всегда такой хлеб.*

Иисус отвечал им: *Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать и верующий в Меня не будет жаждать никогда,* и затем стал доказывать, что Он пришел исполнить волю Отца, а воля Его состоит в том, чтобы всякий пришедший к Сыну получил жизнь вечную.

Тогда раздался опять злобный ропот, но уже не из среды необразованной черни, а из среды прежних противников, властей иудейских: *как смеет Он говорить, что сошел с небес? Как смеет называть себя хлебом жизни? Разве это не Иисус, сын Иосифа, Назаретского плотника.*

Иисус не слыхал доселе этого ропота относительно Его предполагаемого родства и места рождения, — ропота, выразившегося обнаружением толпам высокой истины Его земного происхождения.

Он не требовал для Себя равного достоинства с Богом. Он не торопился предъявлять свое право на Божественность и не требовал поклонения, которое прилично Божеству. Он желал, чтобы блеск Его Божественной природы посредством слов и деяний Его просвещал человека постепенно, не так, как свет солнца в полдень, а тихо, как рассвет утренний.

Но Он отвечал на ропот, как это делывал прежде, более сильным, более полным и более ясным заявлением истины, которую они отрицали. Так поступил он с Никодимом; так учил женщину самарянку; так отвечал ученым в храме, когда они взводили на Него обвинение в нарушении субботы. Но робкий раввин и заблудшая самарянка имели достаточно веры и честности, чтобы углубиться в Его слова, смиренно собрать свои мысли и таким образом дать возможность руководить себя к истине. Не таковы были теперешние слушатели. Бог призывал их ко Христу, но они отвергли эту милость Божию с тем, чтобы никогда не возвращаться к тому. Когда Иисус сказал им, что манна не была жизнеподательным веществом, потому что отцы их ели ее и все-таки умерли, но что Он сам ест хлеб жизни, от которого вкушающий будет жить вовеки; когда Он прибавил, Что этот хлеб есть Его тело, которое он отдаст для оживления мира, — тогда, вместо того чтобы отыскивать прямое значение такой глубокой истины, они подвергли Его слова разбору и вращались около одного вопроса: *как Он может дать нам есть плоть свою?*

Иисус в более выразительной форме высказал им: *если не будете есть плоти Сына человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни*, а потом в дальнейшее подкрепление и разъяснение этой истины прибавил: *ядущий хлеб сей жить будет во век.*

Нет сомнения, что слова эти были трудны для понимания, а для тех, которые пришли слушать их с черствым и лукавым сердцем, даже оскорбительны. Нить сомнения, что смерть и страдания Спасителя, ровно как таинство св. причащения, в котором мы едим Его тело и пьем Его кровь, сделали нас более способными понимать Его мысль. Но в тех словах, которые Он произносил, достаточно, и даже больше чем достаточно, для каждого внимательного слушателя из евреев слышалась та великая истина, с которой каждый из них знаком был из Моисеева закона: *не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*[339]. Что же касается до дальнейшей

истины, то она состояла в том, что вечная жизнь, жизнь души, находится в глубочайшем и теснейшем, понятном для всех общении с жизнью и учением, которое Он проповедовал. Слушатели в капернаумской синагоге должны были невольным образом припомнить выражения своих пророков. Сбивчивость их мыслей зависела не от непонимания, а от воли. Слово Его было сурово, замечает блаж. Августин, — но только для суровых, и невероятно — только для не желавших верить. Потому что если хлеб считался у евреев типом всякой земной пищи, то «хлеб небесный» означал всякую духовную пищу, — все то, что дает и поддерживает духовную жизнь. Таким образом, наставление, которое хотел Он преподать, состояло в том, что вечная жизнь заключается в Сыне Божием. Следовательно, желавшие получить вечную жизнь должны участвовать в хлебе небесном или должны есть плоть и пить кровь Сына Человеческого; должны питаться от Него в сердцах своих верою.

Таково было учение, которое было преподано и имело целью не только наставить, но и испытать, не только научить, но засвидетельствовать. Уяснение его для себя настоящим образом требовало не только участия разума, но и воли. Таким образом предполагалось положить конец всем себялюбивым надеждам этого сброда беспокойных хилиастов, ханжество которых было отвратительно; следовательно, предполагалось высказать перед иудейскими властями, что непонятливость их происходит от ненависти и материализма. Но сила этого слова проникла далее. Некоторые даже из учеников находили слова Иисуса жестокими и способным оттолкнуть верующего. Они не высказали этого открыто, но Иисус заметил их недовольство и, когда вышел из синагоги, дал им разъяснение в своей третьей и заключительной части проповеди, кротко и менее, чем говорил с другими.

Дух животворит, прибавил Он, — *плоть не пользует ни мало. Слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь.* Почему же они признавали Слова Его слишком суровыми? Он сказал им: потому что между ними есть неверующие, потому что, — как Он высказал прежде иудеям, — дух веры есть дар и благодать Божия, а эти недовольные Им отвергли этот дар и даже начали борьбу против благодати.

С этого времени ушли от Него многие из тех, которые до сего времени искали Его, которые были недалеки от царства небесного.

Даже среди народа жизнь Его стала с этих пор уединеннее, потому что остались немногие знавшие и любившие Его. В глубокой печали Он обратился к двенадцати своим апостолам с трогательным вопросом: *Не хотите ли и вы отойти?* Но Симон Петр, горячее сердце которого не выдержало, высказался за всех остальных. Он настоящим образом понял слово, которое поражало других. *Господи!* воскликнул он, — *к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого.*

Благородно и возвышенно было признание, но в эту горькую минуту сердце Иисусово было так отягощено, что Он только ответил: «Не двенадцать ли вас избрал Я? Но один из вас дьявол».

Выражение сильное, и отсутствие всяких прямых указаний представляет нам затруднение в понимании точного его значения. Хотя же впоследствии стало известно, что упрек относился к Иуде, однако очень сомнительно, чтобы в данное время кто-нибудь знал об этом, кроме разве самого предателя. Жестко выражение «один из вас дьявол»; но если принять в соображение, что название «сагана» дано сыновьям Сару иным в отношении Давида[340], сыновьям Елиадаевым в отношении Соломона[341] и к этому прибавить, что Иисус назвал этим именем Петра[342], — то слово «сатана» скорее будет выражать понятие о враге или противнике, а никак не о злом духе.

Много ложных и неискренних учеников оставило Иисуса. Отчего же эти слова не предоставили удобного случая грубой и нечистой души Искариота оставить Его, прежде чем совершил более ужасное и неисправимое преступление? Стало быть, и предостережение было отвергнуто. В смертном грехе против своей совести Иуда упорствовал собирать на себя гнев *на день гнева и откровения праведного суда Божия.*

ГЛАВА XXXI

Начало враждебных отношений народных вождей

Хотя слово, которое Иисус только что произнес было началом нового периода Его учения; хотя с этого времени черные тучи начали собираться гуще и гуще: однако же не надо предполагать, что это был первый случай, даже в самой Галилее, при котором враждебные отношения к Его личности и учению выразились открытым образом. Как небольшое волнение и тихий шум воды служит иногда предвестниками бури и пугает больше своим предсказанием, нежели силою, так появлялись признаки тайного неудовольствия и последующей вражды фарисеев. Сначала они выражались только в вежливых вопросах и схоластических спорах, но вскоре сделались предтечами озлобленного порицания и дерзкой клеветы, бывших плодами прошедшего лета[343].

1) Ранние следы сомнения и несочувствия новому учению появились при выражении, которое он употреблял в нескольких случаях: *прощаются тебе грехи твои!* Это те слова, с которыми Он обратился к женщине-грешнице и к расслабленному. В обоих случаях выражение это возбудило удивление и неодобрение. Но в доме Симона, где неприязненность была высказана не открыто и где не сделано никакого чуда, Иисус вследствие ропота собеседников, как бы делая уступку, прибавил: *вера твоя спасла тебя; иди с миром*[344]. Не так было при исцелении расслабленного. Тут поднялся открытый ропот между книжниками и фарисеями, и Иисус, не скрывая более истинного своего величия проявлением действия силы, творящей чудеса, доказал свое право прощать грехи[345]. Доказательство было неопровержимо, потому что утверждалось на господствующем веровании о соотношении, существующем до некоторой степени между болезнью и грехом, а притом и на общем правиле, поддерживающемся даже раввинами, что «больной не выздоровеет от болезни, пока не простятся грехи его»[346]. Следовательно, согласно их же понятий, Тот, Кто собственной властью мог исцелить болезнь, мог

собственной властью и простить грехи, хотя правда и то, что они не могли понять ни исцеления, ни забвения грехов, вытекающих из такого необыкновенного источника, без жертвенных очищений, без священнического вмешательства. Но для их забитого обрядовыми правилами ума в этом происшествии неприятнее всего было то, что факт выздоровления совершился и его действительность могла подтвердиться сотнями живых очевидцев. Таким образом, почувствовавши, что почва на этом поле битвы слишком неустойчива, они прошли это обстоятельство молчанием. Старание с их стороны доказать, что в Его выражении было оскорбление имени Божьего, только бы выказало ярче, что Он действительно сотворил чудо.

2) Не торопились они произнести на Него и обвинение, сообщенное нам из уст самого Спасителя, что Он был человеком, *который любит есть и пить вино*[347]. Это обвинение было очевидным образом ложно и придумано ненавистью, старавшейся возбудить предубеждение к Тому, Кто, хотя не усвоил себе строгого аскетизма Иоаннова, однако же вел очень простую жизнь и в принятии приглашений на праздники, где Он постоянно имел новый случай учить и делать добро, поступал точно так же, как и самые строгие фарисеи. Клевета была опровергнута, когда Он доказал, что люди рода сего подобны своевольным и своенравным детям, с которыми невозможно сойтись, ибо обвиняют Иисуса в неумеренности, потому что Он не отказывался от невинных пиров, и обвиняют Иоанна в том, что им владел дьявол, хотя он проводил жизнь вполне пустынническую.

3) Они не торопились обвинять Иисуса и в несоблюдении постов. Чтобы принести эту жалобу, они прибегли к сильной помощи учеников Иоанновых. Но когда эти последние из слов своего пророка убедились, что притязания их пусты и неосновательны, фарисеи увидели, что было бы совершенно бесполезно основывать обвинение в несоблюдении такого дела, которое не только не признано обязательным в законе Моисеевом, но даже не получило одобрения от некоторых из их именитых и мудрых учителей, как например Симеона Справедливого. Нетребование Иисусом поста от своих учеников не могло конечно лишить Его народного сочувствия, не могло послужить обвинением перед синагогой и синедрионом.

4) Самою горькою и тяжкою для противоборствующей Иисусу партии обидой, которая возмущала ее до крайности, было избрание Матфея в апостолы и широчайшая терпимость, можно даже сказать предпочтение, оказываемое Им мытарям и грешникам. Между современными Ему иудеями установились строгие кастовые различия по религиозной жизни. В конце Мишны существует трактат, называемый Гораиоф, где священникам предоставляется преимущество перед служащими левитами, левитам — перед прочими законными израильтянами, законным израильтянам — перед незаконнорожденными (мамзер), незаконнорожденному израильтянину — перед рабами (небиним), рабу — перед чужеземцем (гер), а чужеземцу — перед вольноотпущенным. Но если мамзер, говорит Мишна, будет сын раввина, а первосвященник из ам-га-арецов, т. е. простых поселян, то такой мамзер имеет преимущество перед первосвященником. Гиллел говорил, «что человек незнатный не спасется от греха и никто из ам-га-арецов не может быть благочестивым; ам-га-арецом же почитался тот, кто не повторяет ежедневно утренней молитвы (кришма), или не носит тефиллина или цицмфа, или не прислуживает человеку ученому. Мелочность ученого еврея доходила до того, что он в своих соотечественниках, не знавших закона, видел людей, находящихся под проклятием. Каждый еврей, считая себя членом царственного поколения и избранного народа, глядел на язычника с величайшим презрением исключительности, установившейся тысячелетними обычаями, а еврей-пурист разве не многим чем отличал от язычников своих бедных, обиженных и забитых братьев. Взгляд этот так ими усвоился и обычай до того укоренился, что при объяснении того, как надо глядеть на человека, не слушающегося обличения церкви, применяясь к понятиям века и разумению апостолов, сам Спаситель употребил такое выражение: *да будет он тебе как язычник и мытарь.* Но вот является человек, Который вмешивается свободно и запросто, без всякого оттенка высокомерия и презрения, в оскорбительную среду мытарей и отъявленных грешников. Мало этого. Он дозволяет женщине, из которой изгнал семь бесов, сопровождать Его в путешествиях и блудницам омывать Его ноги слезами! Как Он не сходен с фарисеями, которые считают нечистым простое прикосновение к человеку нечистому по закону, — которые установили особое правило[348], что

никто не может принять гостем в своем доме того, в ком подозревает грешника, — которые запрещают умным детям сидеть за столом в обществе неученого.

При начале своего учения Иисус отражал обвинения ссылкой на любимые им места из Св. Писания, — на превосходное выражение пророка Осии, которым Он повелевал им «идти и научиться» той мысли, что «Я хочу любви, а не жертвы». Затем, упрекая их в немилосердии и самодовольстве, Он привел в основание пословицу: *не здоровые имеют нужду во враче, но больные*[349]. В последние дни, во время путешествия Его в Иерусалим, эти неутомимые враги подняли неистово злобный ропот, говоря, что *Он принимает грешников и ест с ними*[350]. Тогда Иисус, оправдывая Свои действия, открыл с большей ясностью, чем прежде, действие божественной любви в отношении раскаявшихся грешников, рассказав три превосходные и замечательные притчи о потерянной овце, представляющей заблудшегося грешника, — об утраченной монете, изображающей грешника, запечетленного Божеским образом, но потерявшего и забывшего свое собственное достоинство, и наконец о расточительном сыне, как тип добровольно сознавшегося грешника. Будучи заимствованы из простой обыкновенной жизни, эти притчи (в особенности последняя) объясняют глубочайшие тайны Божеского милосердия и великую радость на небесах, даже об одном грешнике, если он раскается[351]. Где в ряду книг духовной и светской литературы можно найти что-нибудь настолько изящное, настолько светлое, настолько полное беспредельной любви, настолько верное в изображении последствий греха и так милостиво обещающее столько радостных надежд за исправление и раскаяние, как эта история? Какой превосходный перечень религиозных утешений и жизненных страданий! В этих немногих коротких словах яркими чертами изображены грех и наказание, раскаяние и прощение. Различие темпераментов и побуждений, разграничивающее разные классы людей, — мнимая независимость беспокойного своеволия, — предпочтение настоящих радостей будущим надеждам, — стремление из чистого и мирного приюта, называемого нами своим домом, с намерением дать волю всем низким страстям, предавшись распутству, которое растлевает и губит всякое благороднейшее дарование, — непродолжительность горячки запрещенных удовольствий, —

томительный голод, — мучительная жажда, безнадежное рабство, — невыразимое унижение, — безраздельная скорбь, которая затем следует, — где и когда были изображены эти миллион раз повторяющиеся опыты в жизни, изображены в немногих чертах рукой более нежной, более верной, как в портрете этого сумасбродного молодого человека, просящего преждевременно раздела отцовского имения, путешествующего в отдаленную страну, расточающего все имение в распутной жизни, страдающего потом от бедности и голода, принужденного принять на себя унизительную должность пастуха свиней, наполнять свой желудок свиным кормом, потому что никто не дает ему иного! Его опамятование, воспоминание о самых последних рабах отца, которые получали все с избытком, возвращение домой, глубочайшее раскаяние, смиренная, сокрушенная, раздирающая сердце мольба, наконец этот ни с чем несравнимый переход к другой жизни, — все это звучит каким-то дивным, как будто бы раздающимся с небес голосом, который вызвал во многих миллионах сердец слезы и раскаяние.

Он встал и помел к отцу своему — говорит Спаситель. *И когда он был еще далеко, увидел его отец его, и сжалился, и побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду, и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги его. И приведите откормленного теленка и заколите: станем есть и веселиться! Ибо сей сын мой был мертв и ожил; пропадал и нашелся.*

После таких поучительных слов утешения, которого не могла бы преподать грешнику сама смерть, по нашему людскому разумению, притча и должна была бы закончиться. Она бы и закончилась этой живой и естественной картиной высокой и всепрощающей любви, — этими дивными, сладостными, как звуки ангельской арфы, словами, — если бы тайная ненависть людская и коварство были не таковы, каковы они на самом деле. Заключение притчи относится гораздо прямее к тем обстоятельствам, которые ее вызвали. Злобный ропот фарисеев и книжников доказал, что они в своей холодной и упорной жестокости и гордости не имели ни малейшего понятия о том, что пред лицом Божиим слеза одного истинно раскаявшегося грешника несравненно дороже бездушного и бесполезного формализма тысячи форисеев. Они

почти не подозревали, что раскаяние может привести блудника и грешника в более тесное общение с Творцом, нежели усиленное выражение пустого, наружного, притворного благородства. Поэтому-то Иисус закончил историю приходом старшего сына, который остался недоволен шумным весельем по случаю возвращения брата, огорчился такой готовностью к прощению, упрекал нежного сердцем отца, выставлял с упреком грехи брата, которого не хотел даже признавать своим близким, одним словом, выказал всю мелкую, непрощающую злобу сердца, наружную прямоту и честность, ошибочно принимаемые за святое чувство любви. Такая самохвальная злоба, такая безжалостная и отталкивающая благопристойность есть зло, которое укореняется глубже, нежели открытое непослушание и явное пристрастие к греху, а потому трудные для исследования, тяжелые для излечения. И в самом деле, когда мы при чтении этой истории размыслим глубже об ее содержании, то от всего сердца возблагодарим Бога за то, что Он, имея силу и власть из всякого зла извлекать добро, — мед из львиной пасти и воду из кремнистой скалы, может, — даже из такой души, как эта, — извлечь материал для божественных выражений откровения, — притчу о расточительном сыне.

Таким образом объяснены были Иисусом отношения Его к мытарям и грешникам, а с тем вместе выражена крайняя противоположность между духом Его учения и надутым религионизмом, который представляет всегда грубую и фальшивую подделку всякой истинной религии. Современный Христу иудаизм принимал за истину пустые формы и мелочную обрядность; смешивал немилосердную исключительность с настоящей чистотой; любил греться на солнце, воображая себя в своей несправедливости любимцем Божиим, и держал в тени и мраке всех прочих детей Божиих. Он был так глубоко проникнут притворством, что не замечал его в себе и вменял себе в заслугу, если мог сокрушить хрупкий тростник или затоптать остаток курящейся кудели, — принимая согласно с выражением блаженного Иеронима, что непростерший руку грешнику ломает хрупкий тростник, а потушающий искру веры в меньшей братии гасит дымящийся лен. Это фарисейство благодарило Бога за то, что другие грешат, и мечтало, что может Ему угодить служением, в котором не было ни смирения, ни веры, ни честности, ни любви. Увы! Жалкие формалисты, которые воображали, что они

богаты и преисполнены дарованием, должны были увериться, что они пусты, бедны, слепы и наги. Эти овцы, вообразившие себя незаблудшимися, должны были узнать, что бедная, потерянная овца с большей еще нежностью отнесена будет домой на плечах доброго пастыря; эти старшие сыновья должны были научиться, что мысль отца их, которую они мало способны были осмыслить в своих ледяных, несочувствующих никому сердцах, заключается всецело в выражениях: *это случилось так, что мы должны радоваться и веселиться, потому что твой брат был мертв и ожил; пропадал и нашелся.*

5) Хотя слишком было явно, что дух Христов и дух фарисейский были совершенно противоположны друг другу, однако же до сего времени враги Иисуса не имели возможности ни уничтожить Его влияния на народ, ни остановить Его дела. Прощение тем же самым голосом, которым исцелялись больные, грехов, — бывших, по их собственному верованию, причиной болезней, — участие в общественных пирах, — общение с мытарями и грешниками не были и не могли быть поставлены на вид, как преступления против закона. Сильнейшее, чаще других повторяемое, больше других возбуждавшее чувство злобы обвинение, — обвинение в явном нарушении положительного закона Моисеева относительно субботы, — оставалось еще впереди. Оно возбуждало удивление, ожесточение, бешенство, жажду кровавой мести: оно преследовало Его даже до креста. Потому что суббота была установлением Моисеевым, нет! установлением первобытным и почиталось учреждением, которое отличало евреев, как особый народ, от всех язычников. Она была знаком их исключительных привилегий, центром их бесплодного формализма. Их предания, их патриотизм, их упорство крепко связано было с мелочным соблюдением субботы. Она, по их мнению, не только соблюдалась на небесах, прежде сотворения человека, но народ израильский был избран единственно только для ее соблюдения. Разве не соблюдают ее чудесным образом субботние реки в святом городе[352]? Обожание субботы только увеличивалось от насмешек, неудобств и потерь, — которые евреи должны были выносить за это от язычников. Но они были так упорны, что из-за соблюдения субботы проигрывали битвы; беспрекословно дозволяли неприятелю умерщвлять их целыми отрядами и глядели спокойно на гибель и плен

Иерусалима. Такое соблюдение субботы сопровождалось самыми мельчайшими, до жалости аккуратнейшими и совершенно ничтожными ограничениями. Пророк назвал ее наслаждением: поэтому всякий обязан был есть по субботам не менее трех раз в день. Суббота считалась праздником: следовательно, нельзя было ни зажигать огня, ни готовить пищи. Согласно упорной и узкой во взглядах школы Шаммая, никто не смел ни помочь больному, ни развеселить печального; даже сохранение жизни считалось нарушением субботы. Ты не должен, — говорят субботние правила, — проходить источник на ходулях, потому что в сущности ты несешь ходули; женщина не должна надевать лент, если они не нашиты на ее платье; нельзя выдергивать страждущий зуб и больной не может полоскать рта уксусом, а должен поднести ко рту и проглотить; никто не смеет написать двух букв кряду. Больной не должен посылать за лекарем; при наружной болезни никто не должен ни натирать, ни припаривать больного места; портной не должен выходить из дома в пятницу на ночь, не оставивши дома иглы, чтобы она не оказалась как-нибудь при нем в субботу; повар не должен надевать на голову повязки, потому что это означает в некотором смысле нести что-нибудь.

Они рассуждали; разве заповедь не делать ничего в субботний день недостаточно определительна и выразительна? Разве Моисей и старцы не приговорили к побиению камнями сына Саломифа за собирание только дров в субботу? Разве великая синагога сама не издала тридцать одно правило (абоф) для отцов и бесчисленное множество правил (тольдоф) для потомков, где содержались запрещения различных трудов, которые нарушали субботу в первой или во второй степени? Но вот явился некто и, называя себя больше чем пророком, — с умыслом. как им казалось, — отвергает святость преданий относительно дня из дней. Всякий при внимательном чтении Евангелия удивится, видя, как сильна была вращавшаяся единственно около этого предмета вражда, возбужденная против Спасителя не только в Иерусалиме, но в Галилее и Перее[353].

Негодование в Галилее выразилось в первый раз, должно быть, вскоре после происшествий, рассказанных в последней главе. Насыщение пяти тысяч и слово в синагоге капернаумской имели место непосредственно перед Пасхой. Ни один из евангелистов не

рассказывает происшествий, совершившихся вслед за ними. Если Иисус посетил Иерусалим в эту Пасху, то самым скрытным образом и в одиночестве, потому что описания этого посещения у евангелистов не существует. Вернее же всего, что опасность и вражда, которым Он подвергся бы в Иерусалиме, были достаточным предлогом для Его там небытия, покуда пройдет злоба. Нет ничего невозможного и в том, что если Он не пошел Сам, то некоторые из его учеников исполнили национальную обязанность; причем легко может статься, что учреждено было наблюдение за их поведением. Сильная ненависть, возбужденная повелением Иисуса исцеленному человеку взять свою постель в субботу и теми основаниями, которые Он привел в свою защиту против этого обвинения, подала мысль иерусалимским книжникам и фарисеям послать несколько человек из своей среды, чтобы следить по Его стопам, подсматривать за Его поступками даже на берегах близкого и любимого озера. Известно, что с этих пор, при каждом перевороте, при каждом периоде Его жизни, на полях, в синагогах, на праздниках, в путешествиях, в Капернауме, Магдале, Перее и Вифании, мы видим, что Его злословят, за Ним наблюдают, Ему мешают, делают упреки, спрашивают, искушают, оскорбляют, составляют заговоры представители правительственных властей Его народа, в которых нам приходилось нередко и прежде видеть не местных уроженцев, а некоторых из пришедших из Иерусалима[354].

Первые нападки в Галилее начались с того, что ученики Его в субботний день[355] проходя через хлебные поля и почувствовав голод, рвали колосья, перетирали в руках, выдували мякину и ели. Нет никакого сомнения, что в глазах законников это было страшное, уголовное преступление. Жать и молотить в субботу было строго воспрещено одним из главных правил (аооф), а раввины решили, что срывание ржи можно признать жатвой, очищение же из колоса молотьбой. Даже ходьба по траве была запрещена, потому что представляла нечто в роде молотьбы. Можно было только снимать плод с дерева; хотя и это было нарушением субботы, но уже второстепенным (тольдоф). В срывании колосьев не было никакой важности, потому что это было освящено обычаем и даже дозволено Моисеевым законом[356]: непозволительно то, что они делали это в субботу. Окружив Иисуса, фарисеи указали на апостолов, говоря со

злобой: *смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать*[357].

С той истинно божественной и мгновенной готовностью, с той глубиной взгляда и всезнанием, с которыми, к величайшему удивлению тогдашних ученых, давал Ои ответы, Иисус тотчас же защитил своих учеников личным одобрением и решительной поддержкой. Так как настоящее обвинение относилось не к Нему, а к апостолам, то его доказательства и защита приняли другой оборот, чем в Иерусалиме. Там предполагаемое нарушение закона Он отрицал личным авторитетом; здесь, объявивши себя Господом субботы, Он привел им сначала из их же Кетубима, а потом из их закона, прецеденты и правила, которые освобождали Его последователей от всякого укора. *Неужели вы никогда не читали*[358], спросил Он их, начиная речь любимым их раввинами предисловием, *как Давид в субботу не только вошел в храм с вооруженными товарищами, но даже съел с ними священные хлебы предложения, которые не было дозволено есть никому, кроме священников?* Если Давид, их слава, их любовь, их святыня, так открыто и явно нарушил букву закона и не признан виновным, вследствие единственного оправдания себя потребностью высшей, нежели простые обрядовые измышления, то почему же хотят осуждать Его учеников за безвредные деяния *для* утоления голода? И потом, если их же раввины признают[359], что «для храма нет субботы», что священники в субботу могут рубить дрова, возжигать огонь, класть на стол вновь выпеченные хлебы предложения, заколоть жертву, обрезывать детей, не нарушая при этом правил Сефорима относительно субботы и не подвергаясь за это осуждению; если поступая таким образом они нарушают субботу по повелению закона, установившего субботу, и извиняются храмом, то нет ли чего большего для извинения, нежели храм? А здесь действительно было нечто больше храма. Притом Он напомнил им, что милосердие лучше жертвы, а так как суббота назначена прямо для благодеяния и поэтому всякое дело любви может быть совершено в этот день невозбранно, то подобные действия будут гораздо приятнее для Бога, нежели бессмысленная, самодовольная мелочность, которая превращает в тягость и западню всякое великое благословение Божие. Суббота учреждена была для человека, а не человек для субботы, говорили их правила[360], а Сын Человеческий есть Господь и субботы.

В одном из древних и ценных манускриптов Евангелия[361], хранящемся в библиотеке Кембриджского университета, после 5 ст. 6 гл. Евангелия от Луки, есть замечательная прибавка: «в тот же самый день, увидя человека, работающего в субботу, Он сказал ему: если ты знаешь, что делаешь, то да будет над тобой благословение; но если не знаешь, — то будь проклят, как нарушитель закона». Случай любопытный, сохраненный для нас в единственном манускрипте и может быть отвергаемый только как апокриф, или, скорее, как одно из письменных сказаний, которое, как и ст. 35 гл. 20 Деяний апостольских, было отнесено к Иисусу только по преданию. Смысл этих слов ясен: если ты делаешь по вере, то поступаешь справедливо; если же не по вере, то грешишь. Дух Христова учения точнее всего определяется у апостола Павла в первом послании к коринфянам[362].

По-видимому, в тот же день, отмеченный неприятностями, Спаситель после полудня вошел снова в синагогу[363]. Там уже находился человек, по преданию каменщик, искалеченный при несчастном с ним случае и просивший Христа исцелить Его, во избежание прошения милостыни. Прибытие Иисусово, даже, по-видимому, намерение прибыть в синагогу, было там всем известно и главные места заняты были книжниками, фарисеями и иродианами, которых ревниво-злобный взгляд был устремлен на Иисуса, чтобы видеть, не сделает ли Он чего такого, за что можно было бы обвинить Его. Но Иисус не держал их долго в сомнении. Сначала Он повелел сухорукому войти и стать на середину, а потом обратился к суду их собственной совести с вопросом, который вероятно вертелся у них на уме. Но он высказан Им в такой форме, что указывал прямо на то, чего Он желал. *Должно ли,* спросил Он, *в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?* Поступать, как делаю Я, или действовать, как вы, замышляя в сердце убийство? На подобный вопрос был только один ответ; но они собрались сюда не для расследования или высказывания истины. У них была одна цель: наблюдать, что будет делать Он и открыть достойное торжественного обвинения перед синедрионом, а если нет, то наконец заклеймить Его открыто позорным клеймом суббото-нарушителя. Поэтому они встретили вопрос глупым и бессильным молчанием. Однако же Он не хотел позволить им уклониться от их собственного приговора и оправдывал себя сколько их же собственными делами, столько и

неуменьем дать Ему ответ. *Кто из вас, продолжал Он, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы?* Доказательство было неопровержимо; сомневаться, как они поступят с овцой, невозможно, на основании их же правил[364]. Но они не прерывали своего упорного молчания. Тогда Он взглянул на них с прискорбием. Святое негодование выразилось в Его оживленных движениях и возвысило Его голос. Он смотрел на эти высокомерные лица взглядом, в котором выражалось порицание их злобы и мелочности, их невежества и спеси. Затем, подавляя в Себе чувства гнева и строгости, Он обратился к своему делу любви и сказал сухорукому: *протяни руку твою*. Но разве не суха была рука его? Как же он протянет ее? Однако слово Христово обладало властью, требовавшей исполнения Его повелений: сухорукий простер руку, и она стала здоровою, как другая.

Таким образом, враждовавшие были уничтожаемы; должны были молчать от стыда и чувствовать себя разбитыми при своих покушениях отыскать какое-нибудь основание для уголовного обвинения. Потому что даже при исцелении сухорукого Иисус не сделал ничего, что самая глубокая ненависть могла бы перетолковать как нарушение субботы. Он не коснулся этого человека, не расспрашивал его, не приказывал ему действовать исцеленною рукою: Он только сказал слово, а ведь никакой фарисей не мог же сказать, что выговорить в субботу слово незаконно, в особенности, когда затем следовало чудесное исцеление. Они должны были чувствовать, что разбиты окончательно, но это только усиливало их злобу. Исполнившись бешенства, они стали совещаться, что сделать с Иисусом. До сего времени фарисеи были врагами иродиан и глядели на них как на вероотступников, которые подчинились господству римлян, подражали языческой жизни, усвоили мнения саддукеев и так далеко зашли в своей лести к царствующему дому, что богохульно пытались представить Ирода Великого обещанным Мессией. Но теперь в безумной злобе на общего врага старая вражда исчезла. Была какая-нибудь причина, — может, страх Антипы; может, политическое подозрение; может, просто естественная ненависть светских людей и вероотступников к святому и возвышенному учению, обличавшему их жизнь; было что-то, почему иродиане присоединились к преследователям Спасителя. А так как Галилея был главным центром Христовой деятельности, то

иерусалимским фарисеям приятно было приобрести содействие со стороны галилейского тетрарха и его свиты. Они держали общий совет, каким образом могут силой уничтожить Пророка, которого не могли ни победить в словесных состязаниях, ни подвести под законную ответственность.

Эта вражда вождей народа не отвлекла однако от Христа сердец народной толпы, что и заставило Его пожелать перейти в другое место[365], потому что Ему не хотелось *ни воспрекословить, ни возопить, ни дать услышать на улицах свой голос*. Еще не пришел час, когда Он может *доставить суду победу*[366]. Но прежде удаления Его совершилось ужасное событие. Ненависть к Нему разразилась более явственным и опасным образом. Каждый день указывал Он на лицемерный формализм фарисеев, которым проникнуто было их учение.

6) Первое явное изобличение с Его стороны правил, составлявших основу фарисейской системы, вызвано было союзным покушением иерусалимских книжников и фарисеев обвинять Его учеников[367]. В Талмуде заключается огромный отдел, называемый Тагароф, или Очищения, разделяющийся на два трактата: один — Микваоф — об умовениях и купаниях, другой — о мытье рук. При каком-то случае книжники заметили, что апостолы садятся есть без предварительного умовения рук, установленного, как сейчас сказано, устным преданием и совершаемого со специальной торжественностью. Позднейшие иудеи рассказывали с восторгом, как равви Акиба, будучи в заточении и получая воду в количестве, достаточном только для удовлетворения жажды, предпочитал умереть от жажды, нежели есть, не умывши рук. Поэтому фарисеи приступили к Иисусу, по обыкновению, толпой и спрашивали Его, волнуясь от негодования: *зачем ученики Твои преступают предание старцев? Ибо они не умывают рук своих, когда едят хлеб*.

Но передавая событие, св. Марко, прежде изложения сказанного выше вопроса и данного на него Спасителем ответа, делает замечание, что предания, соблюдавшиеся у фарисеев и вождей народных, чрезвычайно выработаны и многочисленны. Перед всякой едой, после каждого возвращения с рынка, они «тщательно» умывали руки, и если не было близко воды, то должны были, согласно правил, сходить отыскать ее, хотя бы для этого нужно было пройти девять верст. Кроме

этого были установлены особые правила для омовения чаш, глиняных сосудов, седалищ для пиров и медных сосудов. Трактат Шулкан-Арук — «накрытый стол» — представляет собрание раввинских обычаев, извлеченных Иосифом Каро (1567 г.) из Талмуда, и заключает по крайней мере двадцать шесть молитв, которые должны сопровождать это омовение. Пренебрежение к этим правилам считалось хуже смертоубийства и влекло за собой лишение вечной жизни. А ученики Иисусовы осмеливались есть неумытыми руками!

Иисус считал дело своих апостолов делом собственным и не допускал, чтобы они, в своей простоте и неведении, были разбиты при нападениях этих государственных людей и пустосвятов. Он отвечал на вопрос более важным вопросом: *хорошо ли*, спросил Он, *что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?* По вашему толкованию, вместо того, чтобы помогать отцу и матери, человек может просто внести сумму, предназначенную на их содержание, в священную сокровищницу и сказать: *это Корван*, и избавляется от дальнейшей тягости давать вспомоществование родителям, *и делаете многое сему подобное. Вы — лицемеры, говорил Он им, в первый раз давая такое строгое внушение, вы своими преданиями попрали и уничтожили заповеди Божии. Хорошо пророчествовал об вас Исаия: люди сии чтут Меня устами; сердце же их далеко от Меня; но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим*[368].

Это уже была не просто защита учеников. Тут доказывалось нарушение со стороны фарисеев свода установлений, которые настолько сами нарушали букву священного закона, что нарушение их было лучше чем соблюдение. Тут слышался явный укор Того, Который принял на себя безбоязненно высшую власть, явное обличение системы, которая руководила всеми действиями касты раввинов и уважалась больше, чем Пятикнижие Моисеево. Сущность этой системы состояла в гибельном пожертвовании духом букве, которая, отдельно от духа, не имеет никакого значения и в пожертвовании самой буквой в пользу различных измышлений. Иудеи различали писаный закон (Тора Шебекетеб) от преданий (Тора Шевеалпи, закона с уст), и безумные почитатели последнего уверяли, что он был передан устно Богом Моисею, а от него достался в наследие отцов. На нем основан Талмуд (учение), состоящее из Мишны (повторения закона) и

Гемара (дополнения к нему). Почтение к Талмуду дошло до такого изуверства, что между ним и Моисеевым законом признавали такое же различие, как между вином и водой: чтение Св. Писания считалось делом не важным; чтение Мишны делом настоящим, а Гемары — высокопочтенным. Этой-то грандиозной системы уважаемых толков и благочестивых обрядов не придерживался Иисус и не только защищал пренебрежение к ней, но явно порицал и отвергал самые существенные ее принципы. Таким образом, Он предал забвению и относился равнодушно ко всем особенностям Гагадофа (легенд) и Галахофа (правил), которые, хотя еще не были в Его время записаны, но с благоговением хранились в памяти ученых, представляя собой сокровища раввинской мудрости.

Но это еще не все. Иисус не только набросил тень на главные основания их наружной религии, но преподавал народу такое учение, которое подрывало весь их авторитет, которое клонилось к тому, чтобы доказать крайнее ничтожество их воображаемой мудрости. Несмотря на беспрестанные нападки, фарисеи и законники встречали всегда полное отражение и должны были отходить побежденными, так что и в этом случае Иисус, оставив их, как безнадежных, обратился к народу, от которого они добивались себе почтения, как к богам, и высказал эти кроткие, но сильные слова:

Слушайте Меня все и разумейте! Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека.

Такое выражение глубоко оскорбляло фарисеев. Порицая вообще левитское пристрастие ко всему обрядовому, оно чудилось им погребальным звоном для бесконечного множества произвольных обрядов. Ученики не замедлили передать Ему о негодовании, возбужденном Его словами, потому что такие речи отнимали у господствующей секты большую долю народного уважения. Но ответ Иисуса выражал полное равнодушие к земному осуждению и совершенную преданность единственно суду Божию.

Всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, искоренится. Оставьте их: они сильные вожди слепых; и если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму[369].

Немного позже, когда они были уже в доме и одни, Петр решился спросить объяснения слов, на которые обращено было особенное

внимание народа. Иисус кротко упрекнул недостаток соображения своих апостолов, но разъяснил им глубокое значение этого выражения, что пища только укрепляет материальный состав человека, но не входит в Его сердце, или, другими словами, касается только его реального существования, из человеческого же сердца *исходят злые помыслы, убийства, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления.*

Злые думы подобны небольшому ручью, который обращается в стремительный, всеразрушающий поток.

Сие оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека.

ГЛАВА XXXII

Усиливающаяся вражда

Но прежде чем Иисус успел укрыться от злобы врагов и удалиться на время в языческие страны для покоя, которого Он уже не мог найти ни на богатых полях, ни на зеленых холмах Геннисарета, наступал день более сильной, более опасной, более личной безжалостной вражды, — день явного окончательного разрыва между Ним и шпионами фарисейскими из Иерусалима. Немного дней и в Его многострадальной жизни было проведено так, как тот, который мы будем описывать.

Во время пребывания своего в одном из городов, бывших главною местностью Его учения в Галилее» Иисус, на раннем рассвете, углубился в уединенную молитву[370]. Ученики, увидя, что Он стоял воздевши взоры к небесам (по восточным обычаям молитва совершается стоя, а не коленопреклоненно), остановились в почтительном отдалении, но, когда моление кончилось, подошли с просьбой научить их молиться, как Иоанн научил своих учеников. Взглянув снисходительно на их просьбу, Он научил их тому краткому, бесподобному прошению, которое с той поры стало драгоценнейшим наследием каждой христианской литургии и образцом, по которому составлены все наши лучшие и наиболее принятые молитвы. Он уже произнес ее при Нагорной проповеди, но мы должны быть глубоко признательны за вопрос учеников, вследствие которого здесь передал Он эту молитву отдельно и в более ярком свете. Некоторые ее положения могли, как бы в зародыше, существовать среди многообразных еврейских молитв, потому что сходны с выражениями, находящимися в Талмуде[371], и нет причины предполагать их заимствованными туда от христиан. Но до Него никогда все лучшее и чистейшее в народных молитвах не было собрано таким образом в одно возвышенное, ни с чем несравнимое прошение, которое соединяет в себе все, что сердце человеческое, просвещенное Духом Божиим, может найти необходимым для удовлетворения самых задушевных желаний. В этом соединении любви и почтения, с

которым эта молитва учит нас приближаться к нашему небесному Отцу, — в этом духовном направлении, которое указывает нам искать прежде всего суда Божия и Его справедливости, — в этом духе общего милосердия и всепрощения, который она вперяет, — в этой проведенной от начала до конца форме множественного числа, которая явно показывает, что себялюбие должно быть положительно и навсегда удалено из наших прошений и что ни один человек не может обращаться к Богу как к Отцу, не проникнувшись мыслью, что самые злейшие враги его тоже дети Божии, — в этом важном обстоятельстве, что из всех семи прошений только одно заключает просьбу о земном благословении, в самом простейшем его виде, — в этих приемах, при которых устраняются всякие повторения и странные самоистязания, какими многие думали необходимо умилостивлять Бога, — даже в этой неподражаемой краткости, которая доказывает, как нежелательна Богу молитва, которая бы стала бременем и тягостью, — во всем этом видно, что молитва эта есть сокращенное Евангелие, есть перл молитв.

Не менее божественны были простые, но торжественные слова, которые за ней следовали и которые поучали учеников, что человек должен молиться и не падать духом. Хотя бы неприятности надламывали его душу, вера в правосудие Божие должна быть всемогуща. Иисус начертал урок, что если человеческая привязанность может давать дары полезные и приятные, то любовь Отца Небесного, — который любит нас всех, — гораздо скорее преподаст лучшие и высочайшие дары, — даже дар св. Духа, — всем просящим у Него.

И с какой необычной любовью и одушевлением внушаемы были эти поучения! Если б они были высказаны в сухом, поучительном слове, могли бы они так тронуть сердце, увлечь воображение или начертаться неизгладимо в памяти духа, кто их слышал? Нет! вместо одежды схоластического педантизма они облечены были в короткий рассказ, основанный на самых обыденных случаях обыкновенной жизни, полной простоты и бедности. Человек, во избежание палящего жара, путешествуя ночью, является в дом своего друга. Хозяин, будучи сам беден, не имел чем угостить его, но, не желая даже в поздний час ночи пренебречь обязанностями гостеприимства, пошел в дом другого приятеля, чтобы занять три хлеба. Приятель был уже в постели; с ним лежали его маленькие дети; дом его кругом был заперт. На кроткую и

усердную просьбу он отвечал дерзко и грубо: *не безпокой меня.* Однако же друг его знал, что пришел к нему с добрым намерением и не переставал стучать до тех пор, пока, наконец, не вследствие добрых побуждений, но вследствие упорства стучавшего, приятель встал и дал ему, чего тот просил. Кем-то прекрасно замечено, что точно так же, когда сердце, которое у нас постоянно в путешествии, нечаянно в полночь (то есть во время величайших несчастий) возвращается к себе домой, то есть приходит само в себя и чувствует голод, а у нас нечем насытить его, Бог требует от нас смелой и докучливой веры. Если подобное упорство в просьбе побеждает отказы человека немилостивого, то насколько больше будет оно иметь силы перед Тем, кто любит нас лучше, чем мы любим самих себя, и кто скорее готов нам на помощь, чем мы на молитву!

Надо заметить, что рассказ о жизни Христовой на земле полон света и тени. Выдастся рельефно какой-нибудь короткий период или даже один день, а затем целые периоды остаются в неизвестности. Но мы забываем, — а если содержим всегда в памяти, то нас ничуть не поразят эти явления в евангельских рассказах, — мы забываем, как велика и как необходима была у Него задача научить апостолов, приготовить их к будущему действованию в мире. Если сравним умственное развитие Его избранников в то время, когда Он призвал их, — этих простых благородных, но весьма недалеких, робких и не скоро подвижных к верованию рыбаков, — с тем, которое мы видим, когда Он удалился от них и ниспослал на них дары св. Духа: то должны будем согласиться, что невелики еще бывали перемежки Его благодетельной деятельности даже в то время, когда слова Его обращались к жившим с Ним в истинном свете Его Божественного лица. Конечно, блаженны выше царей и пророков; блаженны превыше всего те, которые имели особое счастье разделить с Н им самые задушевные мысли и наслаждаться зрелищем этих безгрешных лет во всей их ангельской чистоте и невинности: но, если им специально предоставлено такое благословение, то это не ради их, но ради мира, извлечение которого из отчаяния и слабодушия в чистоту, отрезвление и правду составляло их прямую задачу, — ради тех святых сердец, которые с этих пор будут наслаждаться хотя только духовным, но ближайшим Его присутствием, чем апостолы, которые имели возможность подниматься вместе с Ним на пустынные холмы или

ходить возле Него, когда Он наслаждался мирным вечером при прозрачных водах Галилейского озера.

День начавшийся этим поучением и сообщением молитвы, не предназначен был окончиться полным спокойствием. Немного дней Его жизни в течение этих лет проведены Им без неприятного столкновения с грехом и страданиями человеческими, но в этот день представилось Ему зрелище самое дикое, самое ужасное[372]. Пред Ним предстал человек, страдавший слепотой, немотой и безумием, вследствие тех странных и непонятных влияний, которые общее верование приписывали демонскому обладанию. Не желая оставить его беспомощной жертвой во власти злого духа, Иисус взглядом и словом избавил жалкого страдальца от ужасного гнета, успокоил, исцелил и восстановил его, *так что слепой и немой стал и говорить, и видеть*. Из последующих слов Спасителя видно, что у евреев существовала какая-то форма заклинания, которая до некоторой степени была действительна, но только в случаях менее важных и простейших. Избавление от таких сильных чар, как те, которыми связан был этот человек, сила возвратить свет закрытым перепонкою глазам, слово — связанному языку и разум — одичалой душе — представляли нечто такое, чего никогда не видывал народ. Чудо это заставило трепетать от изумления, произвело неудержимый взрыв удивления, потому что тотчас же среди народа начались открытые споры; может ли имеющий такую силу быть кем-нибудь иным, а не обещанным освободителем? *Не это ли Христос, сын Давидов*[373], твердили друг другу свидетели события.

Враги Его не могли отрицать совершения великого чуда и, не зная, чем его опровергнута, только ожесточались и бесновались внутренно. Как рассеять то глубокое впечатление, которое произвело оно на умы пораженных зрителей? Пришедшие из Иерусалима книжники, — люди более ловкие и хитрые, чем их простые галилейские братья, — придумали наконец опровержение. *Он имеет в себе веельзевула*, так бесстыдно разрешили они трудную задачу, — *и изгоняет бесов силою князя бесовского*[374]. Странно только то, что при этом выражении ни на чьих устах не появились слова, которые слышались после в Иерусалиме, когда взведено было на Него подобное же обвинение: *это слова не бесноватого*[375]. Но народ галилейский был невежествен и доверчив, а эти важные и почтенные инквизиторы из Святого города

имели огромное и наследственное влияние на их недалекий разум и, чувствуя себя нередко оскорбленными словами Иисуса, не знали, что делать. Страх Его личного влияния, — присутствие чего-то больше, чем человеческого, которое чувствовалось даже при любвеобильной снисходительности, — сила верно разгадывать чужие мысли, — неустанная и неусыпная энергия благодеяний, — странный ужас, который внушал Он жалким беснующимся, — речь, которая возвышалась по временам до строгого обличения, а иногда, по нежности и прелести ласкала, как ласкает мать детей на груди своей, — изгнание их, неверующих, из нового мира, о котором Он проповедовал как о царстве Божием: одним словом, трепетное чувство, что до некоторой степени Его взор и присутствие становило их в ближайшие, чем прежде, отношения с миром невидимым, все это в неприготовленных для принятия истины личностях возбуждало мысль и желание прибегать к дерзкой богохульной и беспощадной лжи.

Но в нескольких коротких словах Иисус опроверг их софизм. Он доказал грубую бессмысленность предположения, что сатана может сделаться собственным своим врагом, — указавши на заклинания, так часто совершаемые ими самими и их учениками, хотя по большой части безуспешно; доказал, что сила, исходящая от Него, должна быть выше и совершенно противоположна сатанинской, а поэтому должна быть духовной и Божественной; предостерег от страшного греха и опасности, заключающихся в их хуле на св. Духа, — присовокупивши, что этот только единственный грех не прощается ни здесь, ни в будущем веке. После такого таинственного предостережения, изменив свою речь на более ясную, Он просветил светом истины их озлобленные, лукавые сердца, что ложь и клевета произрастают вновь из корней и жилок скрытой злобы, что черные выдумки их ехидной злобы проистекают из злых толь ко сокровищниц, таящихся в глубоком мраке, где погас истинный свет. Наконец, возвысив голос, который не перестанет звучать вечно, Он внушил им, что слова человека обличают истинные свойства его сердца и что за эти слова, ровно как за всякое праздное и легкомысленное слово, он должен будет дать отчет в последний день. Сила и величие этой речи, благоговейная торжественность преподанного им увещания заставили, по-видимому, замолчать фарисеев и задержали возобновление их бессмысленного и дерзкого богохульства. Вдруг среди наступившей тишины[376] какая-то

женщина из числа присутствующих, — хотя и привыкшая питать уважение к длиннополым фарисеям, с их бахромками и филактериями, но в глубине сердечной чувствовавшая, на какой неизмеримой высоте стоял выше настоящий проповедник, — в безотчетном благоговении, возвысив голос из народа, воскликнула:

Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!

Нет, отвечал Он: *блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.*

Женщина с глубоким и сильным увлечением ее пола воскликнула, как благословенна была Мать такого Сына! Действительно благословенна была Мать и благословен плод чрева Ее. За то, что веровала, она была благословенна превыше всех женщин[377], но не исключительно. Есть более важное, более высокое благословение, — благословение за послушание Слову Божию. Очень многие женщины, говорит св. Златоуст, — считают блаженной Пресвятую Деву и желают быть такой же матерью, как Она! Что же им препятствует? Христос устроил нам широкий путь к этому блаженству, и не только женщины, но даже мужчины могут совершить этот путь, — путь послушания, который дает нам возможность уподобиться родившей безболезненно Матери.

Но пораженные на мгновение фарисеи не намеревались оставить Иисуса в покое. Он говорил им, — вождям и духовным учителям Его времени и страны, — языком не только надменного, как им казалось, предостережения, но строгого выговора. С чего же взялась такая смелость в Нем, в простолюдине, в ам-га-аретце, который только что показался на свет от темных и невежественных трудов провинциального ремесленника? Как смеет Он так обращаться к ним? Заставим Его, наконец, показать какое-нибудь знамение небесное, не простое заклинание или исцеление, но какой-нибудь великий, неоспоримый, решительный признак Его власти[378]!

Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Это был давнишний вопрос, который задавали Ему почти что в начале учения. *Каким же знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать*[379]*?*

На такой вопрос, сделанный в виде оскорбления и испытания людьми, которые равнодушно, безо всякого внимания только что видели великое знамение и приписали его действию бесовскому, — на

вопрос, сделанный не от верующего сердца, а единственно из любопытства, ненависти и неверия, — Иисус не дал никакого ответа. Божество не может низойти до того, чтобы выставлять свое могущество на людскую оценку; обращать к Себе людские души посредством изумительных наружных предъявлений несогласно с советом Божиим. Притом, если бы Иисус действительно дал им знамение небесное, то правдоподобно ли, что оно произведет на них надлежащее действие? По своему духу они были истинные сыны своих предшественников, которые, согласно уважаемой ими истории, при виде знамений; нет! при подошве пылающей огнем горы *и сели, чтобы есть и пить, и встали, чтобы играть*[380]. Будет ли знамение иметь прочное значение для наследников нравственности тех, которые осмеяли своих пророков, поставивши палатки Молоху и звезду своему богу Ремфану, хотя руководились огненным столбом и утоляли жажду из рассеченной скалы? Не видали ль они в изобилии знамении и чудес? И теперь они видели пред собой величайшее знамение безгрешной жизни, — но и теперь только возмущались и богохульствовали еще более. Никакого знамения не дастся им, кроме изречений пророческих, которых они не поймут. *Род лукавый и прелюбодейный*, — воскликнул Он, обращаясь к густой толпе, — *ищет знамения, и знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка.* Будучи спасен после трехсуточного пребывания среди мрака и бурных морей, Иона был знамением для ниневитян. То же сбудется и с Сыном Человеческим, который выйдет невредим из сердца земли. Эти раскаявшиеся вследствие проповеди Ионы нииевитяне и царица Савская, которая с отдаленного края земли приходила послушать мудрость Соломонову, восстанут наконец на суд и осудят поколение, которое осмелилось презирать и отвергать Того, Который был больше и Соломона, и Ионы. Потому что оно взыскано многими благодеяниями, но и при вавилонском пленении, и при восстании маккавеев, и при мудром и благородном правлении князей Асмонеев, и даже недавно, когда слушало проповедь Иоаннову, не смирило злобного духа идолопоклонства и возмущений, который был принадлежностью их отцов, но выразило его с большею силой. Старое жилище было очищено и разукрашено измышлениями фарисейскими и мелочностью книжников, но, увы! ни один добрый дух не был приглашен занять пустую палатку, а теперь прежний нечистый

владелец возвратился с семью духами злейшими его, и последнее их состояние гораздо хуже первого.

Эта речь была прервана внезапно. До семейства Его дошли вести, что Он снова окружен толпой и говорит странные и ужасные слова, каких Он не знал до сего времени, а кроме того, что Он отверг с явным презрением и обличил, не скрывая негодования, великих учителей, которые нарочно присланы были из Иерусалима, чтобы наблюдать за Ним. Страх хватил всю семью. Может быть, сообщивший это известие передал семьянам и гнусную клевету, которая вызвала Его на полное возражение. Из того немногого, что нам известно об Его братьях, мы можем понять, что они были евреи из евреев и потому самым строгим образом подчинялись влиянию раввинов и священников, так что ни один из них не веровал в Иисуса и каждый смотрел на Его призвание пристрастным взором. Не настала ли пора вмешаться им в это дело? Не спасти ли им Иисуса, на Которого смотрели как на своего? Не попытаться ли своим влиянием отвлечь Его от крайних опасностей, которые видимым образом навело на Него настоящее Его поучение? Не должны ли они принять на себя обязанность самым кротким образом убедить Его удалиться на время в какую-нибудь тайную и безопасную страну? Но им нельзя было добраться до Него через толпу; можно было только поручить кому-нибудь обратить Его внимание на то, что они здесь и Его дожидаются. И действительно, один из слушателей внезапно известил Его: *вот матерь Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою.* Увы! Они не знали, что если не могут подойти, то им остается не видать Его, — что пришел Его час выделиться из круга простых людских отношений, поставить себя бесконечно выше наблюдения своих братьев по плоти. Не надо ли было положить предел их смелой докучливости? Надо, но кротко и без смущения других. *Кто матерь Моя?* сказал Он извещавшему об их приходе, и *кто братья Мои?* А затем, простерши руку Свою к ученикам, Он прибавил: *вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять волю Отца Моего небесного. Тот Мне брат, сестра и матерь.*

ГЛАВА XXXIII

День столкновения

До настоящей минуты происшествия этого великого дня были неприятны, но за ними последовали более грустные, более раздражающие события.

Время приблизилось к полдню, и один из фарисеев просил Иисуса к себе обедать[381]. Такое гостеприимство или простая учтивость были слишком ничтожны. Если оно не выражало ясной вражды и совершенного неверия, как мы имели уже случаи это видеть, то причиной его было любопытство посмотреть поближе на нового Учителя или хвастовство оказать покровительство такому высокому гостю. Вошедши в дом, Иисус увидел себя не среди мытарей и грешников, которых мог обласкать, научить и благословить, не среди бедняков, которым мог проповедать царство небесное, не среди друзей и учеников, которые слышали слово Его, с глубок м почтением и любовью, но среди холодных, жестоких, угрожающих лиц, среди озлобленных насмешников из числа знатных Его соперников и явных врагов. Апостолы, по-видимому, приглашены не были. Не было ни сочувственного Фомы, чтобы поддержать Его, ни благородного Нафанаила, чтобы ободрить, ни горячего сердцем Петра, чтобы защитить, ни любимца Иоанна, чтобы склонить голову на грудь Его. Книжники, законники и фарисеи, чванно соблюдая свои артистические омовения и наблюдая каждый один за другим, занимали свои места за столом. Без всяких измышленных и тщательно выработанных церемоний Иисус, как только вошел, возлег за трапезу. Это был непродолжительный завседневный обед, а около дома собралась густая толпа, жаждущая и алчущая слов вечной жизни. Он не желал ни замедлять попусту времени обеда, ни оказывать одобрения ненужной обрядности омовения, которое в это время ввел ось уже в слишком частое употребление и которому приписывались безумная псевдорелигиозная важность и необходимость. Тотчас же в обращении хозяина выразилось надменное изумление. Без всякого сомнения, нахмуренные брови и неодобрительные движения выразили несочувствие гостей к такому нарушению обряда настолько, насколько

они смели выразить неодобрение и презрение. Они забыли окончательно, кто был Он и что недавно сделал. Клеветники и наветники, теперь они низвели свое заносчивое и покровительственное гостеприимство до степени изменнического злоумышления. Пришло время высказаться яснее; пришло время выразить им безмерное презрение, — и Иисус не пощадил их. Уже не в притчах, не в словах, которые можно было перетолковывать по-своему, представил Он им их преданность наружной чистоте, которая есть только легкая оболочка для прикрытия их внутренней слабости и растления; обличил их ничтожную мелочность, с которой они отдают десятую часть от приплода овощей и явно пренебрегают существенными добродетелями; представил им живую картину их лицемерия, гордости, страдания сделаться известными в обществе и выказаться перед прочими своим наружным благочестием, а вместе с тем — их убийственного сердечного развращения. Это были скрытые могилы, над которыми ходят люди и падают в них, по незнанию.

В это самое время из числа присутствующих тут законников, вероятно, какой-нибудь ученый преподаватель, напитанный благочестием Мазоры, попытался прервать грозный поток укоров. Он конечно вообразил, что молодой Пророк Назаретский, всегда мягкий и кроткий сердцем, говоривший среди народа словами, в которых дышал дух беспредельной любви, — мягчится, возвратится снова к любви и снисхождению. Он, вероятно, думал, что, прервавши Его слова, он остановит разрушительную бурю пробужденного в Нем гнева. Он еще не дошел до того знания, что ни один строгий и великий характер не лишен задатков праведного гнева. И таким образом, не зная всего того, что происходило в сердце Спасителя, и удивившись, что люди высокопоставленные дозволяют разбить себя вконец, умилостивляющим тоном сказал Ему: *Учитель! говоря сие, Ты и нас обижаешь.*

Да! Он делал им упреки за то, что они складывали на плечи других ношу, которую не хотели нести сами; строили гробницы пророкам, которых убили своими грехами; сидели задом к дверям знания и хранили ключи от него, так что никто не мог войти туда. Он укорял их *за* то, что на них, как на преступном поколении, лежала кровь пророков, начиная с крови Авеля до крови Захарии, погибшего между жертвенником и храмом[382].

Такое же, но еще сильнейшее, еще ужаснейшее слово высказано Иисусом гораздо позднее, в храме иерусалимском, в последнюю великую неделю Его земной жизни. Но при этом случае Он с небес своего нравственного превосходства низвергал еще только первые поражающие их молнии своего тяжело неболевшего сердца. Они, может быть, предполагали, что Иисус будет увлечен их видимой приличностью и притворным гостеприимством, но Он знал, что не от чистого сердца предлагались Ему эти наружные ласкательства. То обстоятельство — что Он был между ними один и что в подобном сборище мог ожидать постоянно измены, — не имело для Него большого значения; пламенный меч предостережений и осуждения крутился над ними с обещанием впоследствии, когда не раскаются, снести им головы. Они не могли привлечь Его к себе ни на одно мгновение. Притворное расположение и поддельное дружество не внушали никакого почтения. Пусть пустопорожние вежливости и утонченные учтивости текут широким потоком и мягче масла из уст людей, хранящих неприязнь в сердце; пусть эти люди, хотя гортань их похожа на открытую могилу, льстят языком своим; но они не скроют ничего от очистительного огня божественного провидения и не оставят за собой ничего, кроме исчезающего дыма. Настало для Иисуса время показать этим лицемерам, как хорошо известна Ему обманчивость их сердец, как глубоко презирает Он их распущенность в жизни.

Они почувствовали, что открытый разрыв неизбежен. Торжество было прервано. Книжники и фарисеи сняли с себя маски. Из ласковых друзей и заинтересованных совопросников они обратились в то, чем действительно были, в заклятых противников. Окружив Иисуса, они упорно и настоятельно требовали от Него мгновенно ответов; закидали кучей вопросов, чтобы испытать Его, дознаться о Его исповедании; принуждали говорить Его и, в то время как Он находился в засаде, как ловкие охотники, бросались на Него, чтобы добиться сознания в ничтожности Его познаний, в ошибочности понимания, а больше всего в какой-нибудь еретической мысли, на которой можно было бы им составить законное, так давно задуманное ими обвинение.

Как успел удалиться Иисус из этого неприличного места; как избавился от этой вспышки вражды, рассказа нет. Вероятно, для Него достаточно было раздвинуть в сторону своих врагов и приказать

оставить себя в покое. Ибо, по моему мнению, в народной толпе явилось уже некоторое подозрение или получено сведение о том, что происходило внутри дома. Народ внезапно столпился[383]; мысль об ненависти и зависти фарисеев к Иисусу переходила от одного человека к другому. Легко может статься, что глухой, гневный ропот извне вовремя предупредил фарисеев об опасности дальнейших неприязненных действий и Иисус вышел к народу, сохранив присутствие духа, хотя сильное, но справедливое негодование к преследователям светилось в Его взоре. Обращаясь сначала к ученикам, а потом к тысячам слушателей, Он высказал торжественное предостережение: *берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие.* Он говорил им, что меж ними присутствует Тот, перед чьими взорами, яснейшими в тысячу раз солнца, не существует никакой тайны. Он повелевал им не страшиться людей, страх перед которыми могли поселить грустные смуты последних дней, но бояться Его, Который имеет власть, по убиении, ввергнуть в геенну[384]огненную. Бог, Который их любит, будет о них заботиться, и Сын Человеческий исповедает перед ангелами Божиими того, кто исповедал Его пред человеками.

Когда Он говорил таким образом, вдруг слово Его прервано было беспокойным возгласом не вражды, не неудачно рассчитанного вмешательства, не непреодолимого восторга, а просто вопросом по гражданскому праву и собственному интересу. Какой-то жадный и малообразованный член этой толпы, видя множество слушателей, слыша слова, полные авторитета и власти, зная о недавнем поражении фарисеев, ожидая, может быть, непосредственного откровения силы, приписываемой преданиями Мессии, решился воспользоваться случаем для своих собственных семейных целей. Он думал, — если позволено будет такое выражение, — что отлично обделает свое дело, а потому обратился к Иисусу с нелепой и непочтительной просьбой.

Учитель! скажи брату моему, чтоб он разделил со мною наследство.

Строго было всегда высказываемо Спасителем порицание такого сильного себялюбия. Спрашивавший принадлежал, по-видимому, к тем слишком обыкновенным характерам, для которых вся вселенная заключалась в их собственном «я», рассуждал, что предметом явления Мессии было оказание ему помощи в дележе с несговорчивым братом.

Иисус, отклонив от себя эти жалкие ожидания, предостерег самого спрашивавшего и всех, кто это слышал, от допущения себя предаваться надеждам на получение земных удобств. Как коротка и как полна значения эта небольшая притча, которую Он рассказал им о глупом богаче, который в своем себялюбии, дошедшем до жадности, надменности и забвения Бога, мечтал, что может располагать всем по-своему усмотрению; вообразил, что не существует смерти, что кроме хлеба нет другого предмета для поддержки духовной жизни; твердил, что того, что можно есть и пить и на что можно веселиться, достанет на много лет, для того чтобы насытить его душу. Как вдруг, словно страшное эхо, раздались с небес эти поразившие его сердце слова окончательного приговора: «безумец! ты лишаешься вдруг всего!»

А затем Иисус развил эту мысль более пространным образом. Он рассказал, что жизнь больше еды и тело — одежды; напомнил, что Бог в большую, чем Соломонову, славу одевает не трудящиеся лилии и питает беззаботных ворон, которые ни сеют, ни жнут. Пища, одежда и много имущества не исчерпывают еще всего содержания жизни. У человека есть лучшие предметы для изыскания, высшие надежды впереди. Не дозволяйте себе носиться по возмущенному морю забот, не основанных на вере; да будет жизнь ваша жизнью безбоязненных надежд и свободной любви, жизнью человека, опоясанного по чреслам и с горящим светильником в руках ждущего с минуты на минуту неизвестного возвращения господина!

Замечания обращены были по большой части к ученикам, хотя слушал их весь народ, которому также объяснялась вся важность значения притч. Но Петрово любопытство не утерпело, чтобы не спросить Иисуса: *Господи! к нам ли притчу сию говоришь или и ко всем?*

Спаситель не дал никакого ответа, но самым лучшим было Его молчание. Пусть каждый человек видит в себе этого верного и мудрого слугу! Он получит благословение. Но настолько же будет ужасна судьба человека прожорливого, жестокого, неверного и пьяницы, которого Господь застанет среди его греховной жизни.

При мысли об этом великом суде облако печали осенило сердце Спасителя. Он подумал об отвергнувшем Его мире, в котором должны возгораться жесточайшие войны; подумал о разделении семей и разлучении друзей. Крещением должен Он был креститься, и душа Его

томилась, пока это совершится. Огонь пришел Он низвесть на землю, и приятнее было бы, если бы он уже вспыхнул. Этим огнем было духовное крещение, — очистительный огонь, который вместе вдохновляет и ослепляет, просвещает и истребляет, делает твердой глину и расплавляет золото. Нам пришло при этом на память одно из замечательных, хотя дошедшее только по преданиям выражение, приписываемое Спасителю, которое находится в некотором соотношении с сейчас высказанными думами Иисуса:

«Кто близко Меня — близко огня; кто далек от Меня далек от царства небеснаго».

Но от этих печальных мыслей Он тотчас же перешел к непосредственным нуждам слушателей. По красноте вечерней зари на небе, из сгущающихся облаков, они могут предсказать, что пойдет дождь или поднимется сильный ветер, почему же они не умеют отличать знамения времени? Разве они не рассмотрели знамений, видимых в отдаленных небесных полях и рассеянных в воздухе, которым они дышат, и по земле, которую попирают ногами, а в особенности, если поищут их усерднее во внутреннем состоянии их собственных душ? Если они хотят видеть звезду, которая бы направляла их путь и влияла на их судьбу, то они должны не сводить с нее глаз и, забывая об изменчивых небесах внешних обстоятельств, углубляться каждый в свое собственное сердце. Наступили последние времена для людей и народов.

На этом окончилась проповедь. Наступало время, когда они уже не услышат слова Его. Окруженный врагами, которые были не только могущественны, но глубоко оскорблены, — нелюбимый ближайшими придворными того царя, во владениях которого жил, — следимый открытой ненавистью и тайными шпионами, к которым народ относился с почтением, — чувствуя, что толпа не понимала Его и что в сердцах вождей и учителей уже начертан был Ему смертный приговор, Он отвернулся на время от родной земли и пошел в города чужие и языческие, чтобы хоть там найти мир и успокоение, в которых Ему отказал дома.

ГЛАВА XXXIV

Среди язычников

Тогда Иисус, о*тправясь оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские*[385].

Такова краткая заметка, которая предшествует немногим сведениям об этом периоде Его жизни и учения, заслуживавшем особого нашего внимания, если бы рассказы были поподробнее. Но только один и единственный случай относительно Его пребывания в языческой стране рассказан у евангелистов. Казалось, что в отдаленной стране Он без сомнения мог ожидать не только безопасности, но и успокоения, однако не то вышло на деле. Мы имели уже случай заметить, что молва об Его чудесах проникла даже в старофииикийские города и, как только Он успел войти в соседние селения, скрыться уже было невозможно. Одна женщина узнала Его и пошла за небольшой толпой путешественников с отчаянным криком: *помилуй меня, Господи, Сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.*

Нам может показаться, что на такую молитву Спаситель ответил тотчас же исполненным любви одобрением, тем более, что удовлетворяя ее мольбу, Он мог бы символически указать, что царство Его обнимает три огромнейшие отрасли языческого мира. Потому что женщина эта по происхождению была хананеянка и сирофиникиянка, по политическому положению — римская подданная, по религии и языку — гречанка, и на ее просьбу о милосердии к Мессии избранного народа можно было бы глядеть как на первый плод пажити, на которой произрастет доброе семя впоследствии в Тире, Сидоне, Карфагене, Греции и Риме. Но не принадлежит ли эта наша дума к одним из тех бесчисленных указаний нашего ошибочного понимания не только пустых и ложных преданий, но даже истинных событий? Иисус *не отвечал ей ни слова.*

В евангелиях не встречалось ни одного случая заметить подобной, кажущейся холодности со стороны Иисуса, а следовательно, и отыскивать причин подобного действования. Их могло быть только две: или Он желал испытать чувства своих учеников, которые, в тесном духе еврейской исключительности, не были еще приготовлены видеть благословение, преподаваемое не только язычнице, но женщине

из проклятого рода хананеян. Правда, что Он исцелил раба сотника, но тот был все-таки римлянин, известный благодетель евреев и по всей вероятности прозелит. Скорее же всего можно предположить, что, зная последствия, Он желал испытать полноту веры женщины, с одной стороны, чтобы увенчать ее более полной и славной наградой, с другой — научить, чтобы в Нем уважала она не простой иудейский титул, который приписала Ему хотя и удачно, но совершенно случайно. Так как каждое чудо исполнено нравственного значения, то, может быть, Он желал навсегда ободрить наши молитвы и надежды и научить нас молиться и надеяться настоятельно, если бы даже лицо Его, вследствие неисполнения наших прошений, показалось для нас мрачным и уши его — отвращенными от слушания.

Утомительны были эти беспокойные крики, и ученики стали просить, чтобы Он отпустил хананеянку. Но, как будто бы их заступничество не имело никакой силы, Он сказал ей: *Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.*

Тогда женщина приблизилась, припала к ногам Его и, поклоняясь Ему, говорила: *Господи, помоги мне.* Можно ли было не тронуться такой скорбью? Следовало ли отвергнуть подобную просьбу? Захочет ли Он дозволить ей возвратиться домой, чтобы, мучась целую жизнь, глядеть на припадки беснующегося дитяти? Коротко и холодно с этих уст, никогда не отвечавших ничем, кроме совершения дела любви, на такую усердную просьбу слетело жесткое слово: *не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам.*

Подобный ответ мог охладить душу хананеянки и, если бы Он не провидел в ней той редкой веры, которая в кажущемся отказе может видеть расположение и готовность, Он не отвечал бы ей таким образом. Но никакие снега ее родного Ливана не могли погасить огня любви, который горел на алтаре ее сердца, и быстр как Его, был ее бессмертный ответ:

Так, Господи! но и псы едят крохи, которыя падают со стола господ их.

Хананеянка победила. Она торжествовала. Ни на одну минуту не желал Иисус продолжать муку ее недоумения. *О женщина!* воскликнул Он, *велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему.* Трогательны в своей простоте слова, которыми св. Марко заключает

эту историю: *и, пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели.*

Как долго пробыл Спаситель в этих странах и где останавливался, неизвестно. Поспешное удаление Его оттуда обусловливалось общеизвестностью, которая следовала за всеми Его движениями и которая в стране, где Он намеревался спокойно поучать своих ближайших и наиболее любимых последователей, а не проповедовать и не совершать дела милосердия, только мешала Его предначертаниям. Поэтому Он оставил эту землю. С смешанным чувством скорби и интереса глядел Он на Тир с его великолепной торговлею, его древними преданиями, его пышным и отвратительным идолопоклонством, его близкими отношениями к истории и пророчествам иудейским, — на Сарепту, с ее воспоминаниями о бегстве и чудесах Илии, — на Сидон, с его ловлей пурпуровых раковин, гробницами некогда славных, но давно забытых царей, с минаретами, возвышающимися среди пальмовых и лимонных рощ, возле голубого исторического озера, — на белые паруса бесчисленных судов, направляющих плавание к языческим островам, а так же к славным южным пределам греческим, италийским и испанским. Но назначением Иисусовым был не покой в этих местах; почему, оставляя позади себя финикийские храмы Мелькарфа и Ашера, Ваала и Астарофа, Он обратился на восток, вероятно, через глубокую горловину стремительного Леонта, с его берегами, окаймленными цветущими олеандрами, и, таким образом, достигши истоков Иордана, путешествовал к дальнему южному берегу в пределы Декаполиса.

Декаполис[386] было название дистрикта, к востоку граничащего с Иорданом, к северу лежащего на одном градусе с Дамаском, а к югу — на одном с Явоком и представляющего северную границу Переи. Десять городов в одном и том же дистрикте, который заселяли язычники и который евреи, по возвращении из плена, не имели возможности возвратить в свое владение, составляли отдельную Римскую провинцию. Объявивши себя вольными, они составили конфедерацию. Прием, сделанный Иисусу у этих язычников, был чрезвычайно благосклонен. Поэтому, пришедши туда, Он не мог воздержаться от применения чудотворной силы своей к некоторым страдальцам, искавшим Его помощи. В одном из этих городов (Гераза, Гадара, Гиппос, Пелла, Гергеса, Скифополис) Иисус исцелил глухого,

который едва мог говорить[387]. Он мог бы исцелить Его одним словом, но были, надо думать, при этом обстоятельства, на основании которых желательно было произвести исцеление постепенно и употребить видимые знаки. Он взял глухонемого в сторону, вложил свой палец ему в ухо и, плюнув, коснулся языка его, а затем произнес: *Еффафа! отверзись!* Здесь снова нам не открыто, какое непосредственное влияние опечалило дух Его. Он мог взглянуть с грустью на глухонемого; мог взглянуть с грустью на целое поколение; мог взглянуть с прискорбием вообще на грехи, которые унижают, и страдания, которые мучают человека. Но конечно, Он взглянул с истинною любовью и состраданием и конечно этот взгляд донесся в виде ходатайства до очей Господа, Бога богов.

Народ этой чужеземной страны, не привыкший к Его чудесам, находился в безмерном изумлении. Напоминание Его о содержании чуда в тайне, по обычаю, было нарушено; пропадала всякая надежда на разобщение с людьми. Исцеление сделано было, по-видимому, в самом близком соседстве с восточным берегом Галилейского озера, и великое множество народа последовало за Иисусом к вершине холма, возвышавшегося над озером (вероятно, близ Вади Семака), куда приносили хромых, слепых, немых, глухих и слагали у ног милосердого врача, который исцелял их. Исполненные сильного и радостного удивления, декаполисские жители не могли насытиться удовольствием видеть Его и, будучи полуязычниками, прославляли Бога Израилева[388].

Пробывши там три дня, народ, пришедший издалека, истребил все свои съестные припасы. Иисус сжалился над ним и, видя веру его и не желая, чтобы эти люди истомились путем, еще раз предложил пищу в пустыне. Некоторые удивляются, что в ответе на Его выражение сожаления ученики не предупредили или не подсказали, что надо сделать. Мы находим в этом видимый оттенок смирения и правды. Им известно было, что Иисус не допускал ни расточительности в чудесах, ни щедрого и бесполезного действия чудесной силы. Очень часто они бывали и прежде окружаемы народом, но при одном только случае Он напитал его. Кроме того, им памятно было, что после первого подобного чуда Он очень строго выговаривал тем, которые воротились к Нему в ожидании повторения этого дара и употребил в речи такие настойчивые и строгие выражения, что от Него отпали многие из Его

приближенных. Следовательно, теперь просить у Него повторения того же чуда для апостолов было бы предосудительно и несогласно с их постоянно возраставшим почтением к Иисусу. Подобная просьба была противна даже их нравственному чувству тем более, что Он упорно отказывал в сотворении знамений по чужой просьбе. Все свое внимание к их прошениям Он соблюдал к тому времени, когда они вполне уверуют и приготовятся к великому делу служения. Когда народ сел по местам, апостолы стали раздавать увеличивавшиеся чудесным образом семь хлебов и несколько небольших рыб, а потом, уже не дожидаясь приказания, собрали остатки и наполнили ими семь больших веревочных корзин, после насыщения досыта четырех тысяч народу, не включая женщин и детей. Потом тихо и мирно, без выражения со стороны народа шумного возбуждения, какое замечено было при первом чуде, Спаситель и апостолы отпустили по домам радостную толпу, исполненную живейшей благодарности.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА XXXV

Великое исповедание

Иной прием ожидал Иисуса на другом берегу Геннисаретского озера. Бедные декапелисские язычники приветствовали Его, как мы видели, с почтительными восторгами, а высокопоставленные иерусалимские фарисеи встретили с насмешками и ненавистью. Но душа Его, вероятно, более всего сокрушалась об единственном месте отдохновения, которое Он привык называть своим домом. Вошедши в небольшую лодку, Он переплыл озеро к пределам магдалинским, как сказано у св. Матфея[389], ибо относительно местоположения и имени Далмануфы, куда Он отплыл, согласно указаний св. Марка[390], ничего неизвестно и отождествление этого названия с именем Магдалы было причиною многих споров. Вероятно, Он предполагал переправиться к Вифсаиде или к Капернауму, которые были немного севернее Магдалы, но теперь стали главным лагерем враждебных фарисеев. Зорко, должно быть, эти личности наблюдали за Его возвращением. С магдальской башни завидя судно, они тотчас же, как только Иисус ступил на берег, вышли к Нему навстречу, и теперь уже не одни, но в сопровождении (грустное предзнаменование!) их врагов и соперников саддукеев, — секты скептиков, недоверков и полуполитиков, — секты, к которой принадлежали два великих первосвященника, а также и члены царствующего дома[391]. Сепп насчитывает восемь еврейских сект: фарисеи — пиэтисты; ессеняне — мистики; саддукеи — рационалисты; иродиане — политико-клубисты; зилоты — радикалы и самаряне — схизматики. Но все секции правительственных лиц, — фарисеи, страшные по своему религиозному влиянию на народ, саддукеи, меньшие шелом, но могучие богатством и положением в свете, — ирод?ане, влиятельные чрез римлян и именем тетрархов, — книжники и законники, авторитетные хранители правоверия и учители закона, — все вдруг соединились против Иисуса в крепкую фалангу и решили прежде всего воспрепятствовать Его проповеди и поколебать, насколько возможно, привязанность к Нему народа, в среде которого Он жил и совершал наибольшую часть великих чудес.

Они уже удостоверились на опыте, что самым действительным орудием для возбуждения недоверия к Его призванию и для уничтожения Его влияния, был вопрос о знамении, — в особенности о знамении небесном. Если бы Он был Мессией, то почему бы Ему и не низвести, как Моисей, хлеб с небес? Где громы Самуиловы, где пламя Илиино? Отчего бы Ему не произвести солнечного затмения, не обратить луну в кровь, не расшатать звезды небесные? Отчего огненный столб нейдет перед Ним вождем к победам, буря не подтвердит слов Его?

Они знали наверное, что подобных чудес для них не будет; знали высказанные Им и трижды повторенные основательнее причины отказа удовлетворить их высокомерную просьбу[392]. Если бы им было известно и они поняли событие искушения в пустыне, то узнали бы, что самые первые Его ответы искусителю высказаны были в том же самом духе крайнего отрицания. Но если бы и исполнил Он их желание, то какие были бы дальнейшие последствия? Не влияние внешних сил, но прирожденное свойство души заставляет возрастать в ней доброе семя; не знамения и чудеса могут обратить закоренелое в злобе сердце или поколебать неверие глупца, но внутреннее смирение и благодать Божия, нисходящая внезапно, молча и невидимо, как роса небесная. Что было постоянным последствием всех знамений? Очевидцами оно приписано было действию бесовскому; слышавшими об нем перетолковано; следующими поколениями будет отвергнуто, как выдумка, или обратится в миф. Но несмотря ни на что, фарисеи и саддукеи чувствовали, что теперешний отказ Иисуса удовлетворить их просьбу будет превосходным против Него орудием и действительным средством для ослабления народного удивления. Однако же Он непоколебимо отверг их искушение; не хотел, по их просьбе, как и по просьбе искусителя, совершить чудо с явным намерением выставить Себя напоказ. Ответ Его был таков же как и прежде, что *знамения не дастся им, кроме знамения Ионы пророка*[393]. Причем, указывая на зардевшийся от вечерних лучей солнца запад, Он высказал: *вечером вы говорите: будет ведро, потому что небо красно, и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лице неба не умеете, а знамений времен не можете.*

Говоря это, Иисус *глубоко вздохнул*, замечает св. Марко. Он удалился на время из своего дома; отыскан был истинною верою в

пределах тирских и сидонских; приветствован с полным радушием декаполисскими язычниками. Здесь же, дома, под личиной притворного усердия, встретила Его наглая, торжествующая вражда… Он пошел берегом в мирную долину, где Им совершено столько великих дел милосердия; сказано столько раз и так много превосходящих человеческое понятие бессмертных проповедей. Он возвратился назад, с тем чтобы совершить еще какое-нибудь дело любви в этом небольшом дистрикте, где некогда следовали за Ним в глубоком молчании радостные тысячи народа, горевшего нетерпением послушать дивных слов Его. Теперь Он приближался к Магдале, небольшой деревушке, предназначенной в вечные времена передать свое имя слову, равнозначащему с Его божественным состраданием; намеревался войти в небольшой городок и поселение, которые бы предложили Ему, лишенному крова, хотя тень дома. Но едва только ступил на сыпучий песок; едва успел миновать кайму цветущих кустарников, обступивших толпою водяную поверхность; едва заслышал пение бесчисленных птиц, которые, как прежде, обычными криками приветствовали Его возвращение, как застал целую шеренгу самодовольных, притворных чтителей павшей религии, которые заградили ему дальнейшее шествие. Иисус не торопился совершением дел любви и милосердия для тех, которые Его отвергли. Как в последние дни народ предпочел своего разбойника и убийцу Господу жизни, так в настоящее время галилеяне удержали своих фарисеев и потеряли Христа. Иисус покинул их, как покинул гадаринян, — отверженный и недопущенный остановиться даже в своем доме. С тяжким сердцем, торжественно и печально, оставил Он родную землю, — оставил навсегда, с тем чтобы посещать снова близлежащие селения, но никогда не возвращаться в отечество, никогда не сотворить там ни одного чуда, не произнести ни одного поучения, ни проповеди.

Была осень, время позднее, и в один-то из этих осенних вечеров пришлось Иисусу снова сесть в небольшое судно, чтобы отправиться в Вифсаиду Юлиеву, к северным оконечностям озера[394]. Снова надо было Ему плыть мимо светлых песков западной Вифсаиды, где Петр и сыновья Зеведеевы играли еще детьми, и видеть синагогу из белого мрамора, отражавшуюся в воде и покрытую различными оттенками цветов заходящего солнца. Не в это ли время, оставляя Галилею с полным знанием, что там Его дело окончено и что Он отплывает

навсегда, под опалой пристрастных судей и под страхом смертного приговора, — не в эту ли торжественную минуту скорби высказано было Им это восторженное горе[395], в котором он упрекал нераскаянные города, где совершено было Им столько великих деяний.

Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленныя в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись.

Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет s *день суда, нежели вам.*

И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься: ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленныя в тебе; то он оставался бы до сего дня.

Но, говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.

Это горе, как у евангелиста Матфея, так и у евангелиста Луки, совершенно одинаково по характеру, но первый пишет, что оно высказано между прочим за обедом у Симона-фарисея, а второй помещает в речи Иисуса, при посылке на проповедь семидесяти апостолов. Может быть, эти торжественно прекрасные и полные предостережения слова были произнесены не однажды; но, принимая во внимание, что упоминание в них Хоразнна, равно как воспоминание о приеме в Тире и Сидоне для того времени, к которому они отнесены евангелистами, представляют некоторое отступление от хронологии, нам кажется не неуместным вспомнить их, при прощании Иисуса с Его городом, после недавнего посещения Тира и Сидона. Не будем говорить удостоверительно, что эти трогательные слова высказаны именно при этом случае, но душа Его была в это время исполнена скорби о неверии и жестокосердии, о помрачении умов и развращении тех, которые не дали Ему возможности стать ногою на родную землю. Какой-то из судебных ораторов сказал, что «нет обмана отвратительнее и гнуснее, как тот, который скрывает злобу и ложь под личиной откровенности и становится под защиту религии».

Отвращение к таким ужасным порокам было еще сильнее в огорченном сердце Иисусовом, когда, во время путешествия на лодке вдоль восхитительных берегов озера к северным его пределам, Он сказал ученикам своим: *смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской*[396] или «Иродовой», как говорит св. Марко, потому что

иродиане принадлежали по большой части к секте саддукеев. Он не прибавил к этому ни слова, и Его замечание, вследствие странной простоты учеников, было совершенно перетолковано. Они притчи Его понимали буквально, а простую обыкновенную речь считали притчею. Когда Он назвал себя *хлебом небесным*[397], они думали: *какие странные слова! Кто может это слушать?* Когда Он сказал*: у Меня есть пища, которой вы не знаете*[398], они только сделали замечание: *разве кто принес Ему есть?* Когда Он объявил им: *Лазарь, брат наш, уснул*[399], они отвечали: *Господи! если уснул, то выздоровеет*. Так и теперь, несмотря на то, что закваска была самым обыкновенным типом греха и в особенности указывала на зависть и подкопы, они, после долгих споров, могли только прийти к такому заключению, что в этих словах заключается предостережение от покупки квасного хлеба у фарисеев и саддукеев или не прямой упрек за то, что в скорби и смятении от неожиданности плавания они взяли с собой один только каравай хлеба! Иисус был огорчен их крайним непониманием и поразительною привычкою придерживаться буквального смысла. Разве могли они предполагать, что тот, по слову которого хлеб и рыба чудесным образом возрастали в количестве до того, что они сами, напитавши пять тысяч, собрали двенадцать, а напитавши четыре тысячи, семь полных больших корзин, находится теперь в опасности терпеть сам или заставить их выносить страдания голода? Тягостное недовольство слышится в этих быстрых во росах, которые определяли их заблуждение. *Что разсуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете, не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите? имея уши, не слышите и не понимаете?* Наконец напомнив им о чудесах, Иисус прибавил: *как же разумеете?* Ученики не решались ни отвечать, ни просить у Него какого-либо объяснения; в Нем было нечто внушающее благоговение, в лице Его нечто восторженное, так что сильнейшая их любовь к Нему сдерживалась глубочайшим почтением. Он сам вызвался объяснить значение своих слов и рассказал, что просил их хранить себя не от хлебной закваски, а от учения фарисеев и саддукеев.

В Вифсаиде Юлиевой[400], вероятно на следующее утро, приведен был к Нему слепец для исцеления, которое и было совершено так же, как над глухонемым в Декаполисе. Из евангелий мы видим, что богатство и сила чудес соразмерялись с верою тех, над кем и при ком

они совершались. В тех местностях, где вера была мала, очень натурально, что и чудеса повторялись нечасто и не в большом количестве. Так и тут не заметно уже было той всегдашней готовности, того сильного желания, какие замечались при совершении первых чудес. Самый образ совершения до некоторой степени был уже не тот, который виделся в прочих, переданных евангелистами чудесах, потому что в нем замечалась какая-то медлительность. Иисус взял слепца за руку, вывел его за город, смочил слюною его глаза и тогда, наложив на них свои руки, спросил: *видит ли он?* Слепец посмотрел на личности, находившиеся от него в довольно большом расстоянии и, не вполне излеченный, отвечал: *вижу проходящих людей, как деревья*, и до тех пор не прозрел окончательно, пока Иисус не возложил снова рук на глаза его. Тогда Он приказал ему идти домой в Вифсаиду, со строго повторенным запрещением не входить в город и не рассказывать об этом никому из горожан. Мы не можем объяснить причин такого усвоенного Христом выражения запрещения не говорить. Мне думается, что эта невозможность понять то, что управляло Его действиями, происходит иногда от краткости рассказов, в которых писатели пропускали многое, что им было вполне известно. Это нередко бывает в тех случаях, когда, рассуждая о своем предмете, они уверятся сами в ясности своих мыслей для тех, которые будут читать их. Точно также, но смутно можем мы догадываться о нерасположении Иисуса к языческим иродовым городам с занятой у греков архитектурой, с их беспечными обычаями, с их именами, напоминающими, как в этом случае, Вифсаида Юлиева, нечто самое презренное из людского рода. Догадка эта основывается единственно только на заметном старании Иисуса обходить их во время путешествия.

Оставив Юлиеву Вифсаиду, Христос направил путь свой к Кесарии Филипповой[401]. Здесь точно также у евангелиста Матфея вразумительно сказано, что Он не входил в самый город, а только посетил его *страны*, то есть обошел соседние селения. Кесария была городом, видевшим на своем веку множество превращений. Под именем Лаиса он принадлежал беспечным сидонянам; под именем Дана был главным убежищем воинственного из колен израильских, северною границею израильского царства и местом поклонения золотому тельцу. Канонизованный греками, он получил название

Панеи, по имени пещеры под возвышающимся над ним холмом, которая посвящена была Пану, искусно отделена гротом и украшена нишами со статуями лесных нимф. Сделавшись столицею и резиденцией Ирода Филиппа, он был снова переименован в честь самого Филиппа и его покровителя Тиверия. Пред взором Спасителя расстилались высокие гряды Ливана и Антиливана, а также блестящие снежные массы Ермона, которые серебрились при дневном свете и принимали вечером радужные цвета от преломляющихся лучей солнца. Ему довелось обойти кругом озера Фиал и видеть, где Иордан, покидая подземное течение, вырывается весело на свет. Но с прискорбием пришлось Ему взглянуть на самую страну, с ее темными преданиями об отступничестве от веры израильтян, с ее жалкими подражаниями римскому империализму, с ее разбитыми статуями осквернённой греками пещеры.

Во время этого путешествия к северным странам случилось событие, на которое можно смотреть как на вершину Его земного учения. Он был один и стоял на молитве. Близ Него находились только апостолы, а толпа, которая беспокойно теснилась вокруг Него в других чаще посещаемых дистриктах, здесь только следовала за Ним в отдалении. По окончании молитвы, Иисус собрал апостолов и, во время пути, предложил два великих вопроса, от ответов на которые зависел, может быть, весь исход Его земного дела.

Во-первых, Он спросил: *за кого люди почитают Меня, Сына человеческого?*

Ответ был печален. Апостолы не смели и не хотели сказать что-нибудь, кроме правды и истины. Поэтому им пришлось сделать неприятное извещение, что Мессия не признан миром, для спасения которого Он явился. Пришлось повторять только досужие догадки народа. Из ответов апостольских видно, что иные, соглашаясь с приговором преступной совести Антипы, говорили, что Он был одно лицо с Иоанном Крестителем; иные, имевшие случай слышать строгие обличения Его сильного негодования, принимали Его жгучее слово за громы Илиины; другие, на основании слышанных ими выражений благости и слов всеобъемлющей любви, видели в Нем жалостливую душу Иеремии и думали, что Он пришел, может быть, для отыскания потерянного Урима и исчезнувшего Ковчега Завета. Многие считали Его за пророка и Предтечу Мессии. Восторженные крики, признавшие

в Нем истинного Мессию и раздавшиеся в толпах, пораженных каким-нибудь необычным проявлением Его чудодейственной силы, были возгласами случайными: никто не догадывался, кто был Иисус. *Но свет в тьме светит и тьма не объяла его*[402]. *А вы за кого почитаете Меня?*

Если бы на этот вопрос получен был не тот ответ, который дан; если бы надо было отвечать иным образом, тогда, может статься, что изменилась бы судьба мира. Ибо если бы получен был иной ответ, то, говоря по-человечески, миссия Спасителя погибала бы в самом зародыше и не существовало бы христианства. Потому что дело Христа на земле возлагалось по большей части на Его учеников. Он сеял, они собирали жатву; Он видоизменил их, а они — мир. Он никогда открыто не говорил о своем звании, как Мессии. Иоанн родился для свидетельства об Иисусе, и тем, которые приняли его свидетельство, Иисус подтверждал не уверениями на словах, но проповедью и делами. Воля Его была такова, чтобы свет откровения просвещал умы Его детей постепенно; чтобы они вразумлялись больше истинами, которые Он передавал, и жизнью, которою Он жил, нежели чудесами, которые Он творил; чтобы все это устраивалось не посредством внезапных раскатов грома сверхъестественного величия, не посредством явлений невыразимой славы, но через тихое посредство безгрешной жизни и самопожертвования. В Сыне человеческом они должны были познать Сына Божия.

Но получился ответ, который должен был получиться согласно с тем, как до века начертано было в книге су деб Божиих. Петр, пылкий сердцем, предводитель хора апостолов, дал за всех их незабвенный ответ.

Ты Христос, Сына Бога живого[403]. Такой ответ из уст главного из апостолов, полнотою взгляда и твердостию убеждения сгладил недостатки оценки, сделанной Ему народом. Открыта великая тайна, скрывавшаяся от веков и поколений. В Иисусе из Назарета признали наконец апостолы обещенного их народу Мессию и, вследствие особого наития Божия, им открыто, что этот Мессия был не только тем, чем Его ожидали евреи, — князем, правителем, сыном Давидовым, — но гораздо выше того: Он был сыном Бога Живого!

Величественно и торжественно подтвердил Спаситель это великое исповедание веры, сказав в ответ: *блажен ты, Симон, сын Ионин,*

потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты Петр (камень) и на сем камне Я создам церковь Мою, и врата адовы не одолеют ее. И дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

Ни разу еще до сего времени с уст Иисуса не сходило таких знаменательных слов. В них слышалось свидетельство Его о Самом Себе; в них обещалось блаженство тому, кто Его признает; в них высказывалась та истина, что познать Его могут только руководимые Духом Божиим. Человечество удостоверено на всегда, что неземным критическим разбором, а только благодатью небесною приобретается познание этой истины. Это была закладка краеугольного камня церкви Христовой, — торжественное обещание, что эта церковь, основанная на скале боговдохновенного исповедения, должна остаться непобедимою силами ада. Это было вручение церкви, в лице ее типичного представителя, власти открывать и запирать, решить и вязать, с обещанием, что эта власть, действуя на основаниях веры на земле, будет признана и небесами.

Это великое обещание замечательным образом исполнилось на св. Петре. Он в первый день пятидесятницы обратил в христианскую веру огромное количество иудеев; первый дозволил язычникам иметь полное общение с христианами[404]. Это исповедание Христа сделало его скалою, на которой была основана вера многих и которую силы адовы могут колебать, но никогда не преодолеют. Один из глубоко ученых и очень почтенных отцов церкви высказывает: «если кто исповедует таким образом, что не плоть и кровь внушают ему откровение, а Отец наш небесный, тот должен получить обещанное благословение. Как буква священного Евангелия говорит о великом апостоле, так дух Евангелия научает, что каждый человек может сделаться тем, чем был великий апостол». Мы уже сказали, что с этого времени Спаситель мог видеть, что одна огромная часть Его дела на земле была окончена. Апостолы убедились в тайне Его существа; положено было основание, на котором, как на главном краеугольном камне, с этой поры должно воздвигаться все обширное здание.

Но Он запретил им до времени открывать эту истину людям. Не пришел еще час для такой проповеди. Сами апостолы были еще мало знакомы со способами подобного заявления; не были утверждены в

вере даже для того, чтобы остаться верными в час крайней нужды. Теперь Он был признан за Христа только теми, духовное зрение которых могло видеть Его непосредственно в жизни и деяниях. Теперь Он не хотел *спорить и кричать, не желал, чтобы голос Его был слышан на улицах*[405]. Когда, вследствие великого дела Его воскресения, собственная вера их утвердится на незыблемом основании, когда сердца их будут исполнены Духом Святым, а чела их, в виде окончательного посвящения, украсятся небесным пламенем, — тогда, а не теперь придет для них время идти и учить народы, что Иисус был Христосом, Сын Бога Живого.

Но, познавши Его, они не имели понятия относительно того пути, которым Он желал проводить свои намерения. Настало время приготовлять их к дальнейшим действиям; настало время научать, что хотя Он и Царь, но царство Его не от мира сего; настало время уничтожать в них все пустые земные надежды на блестящие успехи царства Мессии, утвердить их в мысли, что царство небесное заключается не в питье и не в еде, а в праведной жизни, в мире и в радости веры.

Поэтому Он начал спокойно и прямо открывать им в Своем намерении идти в Иерусалим, о непризнании Его старейшинами народа, об ожидавших Его там оскорблениях и обидах, об ужасной Его смерти и воскресении в третий день. Он воспользовался удобным случаем дать им различные и отдаленные указания на эти приближающиеся страдания, но теперь в первый раз высказывал им определительно, а не иносказаниями. Однако же и теперь не открыл им, какою именно и какою ужасною смертью окончится Его земное поприще. Он только дал им знать, что будет отринут старейшинами, первосвященниками и книжниками, — всеми авторитетами, всеми знатнейшими светскими сановниками и духовными властями народа, — и будет выдан язычникам. Он предупреждал их, что будет убит, но до самого своего последнего путешествия в Иерусалим[406] сохранил в тайне, что будет распят. Таким образом Он открыл им будущее настолько, насколько они способны были вместить, и для утешения в скорби, и для поддержания веры высказал ясно, что на третий день воскреснет.

Но ум человеческий обладает странною способностью отрицать все, что не может понять, — не знать и забывать все, что не совпадает

с рядом предвзятых уже мыслей. Апостолы, придерживаясь всегда истины и простоты в своих свидетельствах, не скрыли от нас ни недальновидности своих духовных взглядов, ни господства над их умами чисто иудейских воззрений. Они сами сознаются, что слышали извещение, но не могли себе живо представить его. *Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить Его о сем слове боялись*[407], предсказание об Его последнем конце было так чуждо их мысли, что они отложили его в сторону, как неприложимое, непонятное, — как тайну, проникнуть которую они не могут. Что же касается до воскресения, то оно возбудило между ними только один вопрос: *чтобы такое значило это возстание из мертвых*[408].

Но Петр, при своей стремительности, представил себе, что понял и должен предупредить несчастие, которое тяготело над Его Учителем. Поэтому он решился прервать торжественную речь своим малосведущим и недомыслящим рвением. Мысль, что ему удалось понять и высказать новую великую истину, вместе с блистательною похвалою и обещанием, которые он только что успел выслушать, польстила его способностям, увлекла его сердце. Отозвав Иисусу в сторону[409], он начал спорить и учить своего Учителя. *Будь милостив к Себе, Господи*, — сказал он Ему, — *да не будет этого с Тобою*, проблеск внезапного неудовольствия явился на лице Иисуса, укорившего Петра за его преданность миру и высокомудрствование. Он отвернулся от него и, обратив глаза на других учеников, сказал во всеуслышание: *отойди от Меня сатана, ты Мне соблазн; потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.* Этот твой чисто плотской и человеческий взгляд, — это покушение на разубеждение меня относительно Моего крещения смертью есть восстание против предначертаний Божиих. Пришлось получить св. Петру урок, — да следовало бы в известные времена поучиться и церкви, претендующей на унаследование от него исключительных и нечеловеческих прав, что он далеко не непогрешим, что он способен упасть всегда с высоты божественного взгляда до глубины земного безумия.

Отойди от Меня сатана! Те же самые слова были сказаны Иисусом в пустыне искусителю. Выговор строг и для наших ушей может показаться, конечно, гораздо жестче, чем для тех, которые его слышали. Слово «сатана» значат «противник» и, как это видно из

многих мест Ветхого Завета[410], очень далеко от представления великого противника рода человеческого. Оно прилагается ко всем противящимся ангелам, а между иудеями и на Востоке вообще, даже до сего дня, представляет нечто дерзкое, сильное, опасное, втайне противодействующее: одним словом, напоминает заклятого врага. Но специальная приложимость такого выражения Спасителя к данному случаю вытекает из того, что Петр избрал такое же направление доказательств, какое и искуситель в пустыне. Называя Петра «соблазном», Иисус как бы применял данное ему имя Петр (камень) к тем лежавшим на пути камням, на которые спотыкаются прохожие. Сравнение это до того глубоко врезалось в памяти апостола, что он в своем послании предостерегает читателя против тех, для которых по их неверию камень, ставший главою угла, *сделался камнем преткновения и камнем соблазна*[411].

Но, сделав предостережение и выговор привязанности, неосмыслившей всей сущности дела и приближающейся к слабости, Господь, в милосердии Своем, избрал это событие поводом для глубочайшего учения, которого Он не передавал еще всем апостолам вместе. Совершенно случайно у св. Марка мы находим, что даже и в этих отдаленных странах Иисус был окружен ожидающими толпами, которые, по обычаю, шли в недальнем расстоянии от Него и Его учеников, но от времени до времени были призываемы для того, чтобы выслушать милостивое слово, которое исходило из уст Его. Эти толпы, равно как и ученики Иисуса, разделяли конечно неправильное мнение Петра. Поэтому Иисус обратился к народу со словом, в котором поучал, что вся сущность высочайшей обязанности, — смысл праведной жизни, — самое угодное Боту служение и величайший пример для человека, — заключаются в самопожертвовании.

При этом случае Он высказал те несколько слов, которые всегда имели беспредельное действие на людскую совесть: *какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?* Затем после предварения, что Он сам должен быть предан суду, Он утешил их в этом неприятном открытии удостоверением, что здесь стоят многие, которые не вкусят смерти, пока не увидят Сына Человеческого, приходящего в царстве своем. Так как все Св. Писание доказывает, что «царство Сына Человеческого» должно быть принимаемо в совершенно духовном смысле, то нет никакого

затруднения понять это пророчество в том значении, что, хотя все присутствующие умрут, но основания этого царства будут заложены еще при жизни некоторых из них, которые поэтому и увидят разрушение старого и восстановление нового закона. Трое из апостолов, — говорил Он, — увидят Его преобразившимся, но только один, — любимый Им ученик, — переживет плен Иерусалима и разрушение храма, два великих события, после которых немыслимо буквальное исполнение Моисеева Закона. Но это пророчество имело более глубокое, более действительное, чем высказанное сейчас значение. Если мы желаем не бояться смерти, — говорил св. Амвросий, — станем на месте Христа; Христос наша жизнь; Он есть жизнь истинная — жизнь, которая не умрет вовеки!

ГЛАВА XXXVI

Преображение

Ни один из евангелистов не рассказывает нам, в чем прошла неделя перед этим замечательным событием. Все они говорят, что *после шести дней* Он взял с собой трех наиболее преданных и наиболее просвещенных светом Евангелия учеников[412] и пришел с ними (выражение, придающее особую торжественность ожидания) на высокую гору или, как говорил св. Лука, просто *на гору.*

Предположение, что этой горою был Фавор, утвердилось в христианской церкви вековыми преданиями. Три церкви и монастырь воздвигнутые там в конце шестого века, удостоверяют непоколебимое принятие этого верования. Но многие думают, что Фавор не был местом великого Преображения.

Круглая вершина этой живописной и покрытой лесом горы, представляющей дивный ландшафт, как только путешественник приближается к северной границе долины Есдрелонской, с незапамятных времен была укрепленным и обитаемым местом[413]. Меньше чем через тридцать после этого события лет на Фафоре Иосиф возобновил существовавшую уже там крепость Ифавурион. Не в это место Иисус мог взять трех апостолов, *особо их одних.* Нет ни малейшего указания на то, чтобы шесть пропущенных дней проведены

были в путешествии на юг от Кесарии Филипповой, где совершались последние события; напротив того, в евангелии св. Марка (9, 30) существуют явственные признаки, что Иисус проходил через Галилею, где находится Фавор, уже после Преображения. Точно так же незначительный холм Паней близ Кесарии Филипповой не вполне соответствует описанию в евангелиях. Гораздо натуральнее предположение, что Господь Иисус Христос, озабочиваясь пройти Святую Землю, где родился, к северной границе, путешествовал, не торопясь, пока достиг нижних скатов покрытой снегом горы Ермон, — блестящая масса которой, видимая с юга даже от пределов Мертвого озера, замыкает северные границы Палестины. Имя ее Ермон означает «гора» (как названо место происшествия у св. евангелиста Луки), а событие предоставило эпитет «снятая» только ей одной, присвоенный во всем Новом Завете[414]. Ее покрытые росой, прохладные и свежие от дыхания снеговой вершины луговины могли предоставить то высокое уединение, которого желал Иисус, как душевного успокоения перед наступающей сильной борьбою: здесь мог Он найти место, где бы преклонить колена со своими учениками, погрузясь в молчаливую молитву.

Прохлада и уединение были приятны для отягощенного трудом Человека Печали, после палящего жара восточного дня и беспрестанного присутствия толпы, следовавшей за Ним даже в самых отдаленных странах. Из сравнения текстов св. Луки (9, 32, 37 и 6, 12) можно догадываться, что наступил вечер, когда Он стал подниматься на гору и с торжественною радостию в душе восходил по скату в сопутствии трех избранных свидетелей, — Петра, Иакова и Иоанна. Нет сомнения, что душа Его исполнена была не только небесного спокойствия, которое навевало на нее это уединенное общение с Небесным Отцом, но глубокого сознания, что в наступающие великие дни поддержкой Ему будет служить неземная сила и что Его просветит свет, не нуждающийся ни в солнце, ни в луне, ни в звездах. Он приходил туда для того, чтобы приготовиться к смерти, и взял с собой трех апостолов, чтоб они, будучи осчастливлены зрением Его славы, — славы как Единородного от Отца и исполненного благодатью и истиной, — окрепли сердцем, утвердились в вере и, не колеблясь, глядели на постыдные оскорбления и невыразимое унижение крестной казни.

Здесь Иисус пал на колени и начал молиться, а когда молился, вознесен был превыше печалей и бедствий мира, который отверг Его. Он преобразовался пред учениками, так что лицо Его блистало как солнце, а одежды стали белыми, как возвышающийся над Ним снег. Вокруг Его сиял блистательный ореол; вся личность дышала божественным блеском. Такое небесное сияние апостолы могли сравнить только со светом, снегом и молниею. И вот! около Него явились два человека. Когда в пустыне Он приготовлял себя к великому делу жизни, приходили и служили Ему ангелы жизни; теперь же, когда Он приготовлял себя к смерти, явились к Нему служители из могил, побежденные единственно только могилою: один из могилы запечатленной некогда рукою Господней на Него, другой из давнего покоя, которого достиг, не видя смерти. С Ним стояли Моисей и Илия и говорили об Его кончине. Когда же молитва была окончена, труд принят тогда слава с небес осияла Его и произнесено было свидетельство: *Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение; Его слушайте.*

Из полного рассказа у евангелиста Луки ясно, что апостолы не были свидетелями начала этого чудесного Преображения. Всякий восточный житель, по окончании молитвы, завертывается в свою аббу (верхнюю одежду) и, легши на траве под открытым небом, в одну минуту погружается в глубокий сон. Как после в Гефсимании, так и здесь теперь апостолы уснули, будучи объяты тяжелым сном; но, внезапно пробудившись и придя в сознание, увидели и услышали сказанное.

Среди темноты ночи, изливая сильный свет на горную зелень, сияло прославленное лице Спасителя. Возле Него, в тех же самых световых волнах славы, стояли два почтенных старца, в которых они узнали или о которых услыхали, что это были Моисей и Илия. Троица эта говорила друг с другом в тишине о предстоящей кончине в Иерусалиме, о которой апостолы только что предварены были Христом.

Когда же блестящее видение стало меркнуть и величественные посетители готовы были удалиться, когда сам Господь вошел с ними в осенившее их сияние, — изумленный, пораженный и восхищенный Петр, опасаясь скорого их удаления, не зная что сказать, не зная, что Голгофа представит бесконечно высшее зрелище, не зная, что теперь

исполнены «закон и пророчества», не вполне понимая, что Спаситель невыразимо выше Синайского пророка и Кармильского мстителя, воскликнул: *Наставник! хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну Тебе, одну Моисею и одну Илии.* Но не Петрово дело было устраивать вселенную для своего удовольствия. Ему надо было научиться, что мысль голгофская выше мысли Фаворской. Не в облаке славы, не в огненной колеснице, не между Моисеем и Илиею должен уйти от них Иисус, но с руками, простертыми в муках на позорном кресте, между двумя разбойниками, которые будут распяты с Ним по ту и по другую сторону. На эти неосновательные речи Петра не последовало никакого ответа, но, когда он говорил, облако, — не темное как на Синае, но светлое, — осенило их и голос из него высказал: *Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте.* Все три апостола упали на землю и скрыли в траве лица свои. Когда же, опамятовавшись от поразившего их величественного звука голоса и объявшего их света, они подняли глаза свои, осмотрелись кругом, то все уже исчезло. Не стало ни светлого облака, ни ясного как свет молнии лица, ни белой как снег одежды. Они остались опять одни с Иисусом, и только звезды своим спокойным светом освещали высокие горные скаты.

Им страшно было встать и даже пошевелиться, но Иисус, — Учитель их, — подошел, прикоснулся к ним и сказал: *встаньте и не бойтесь.*

Вместе с рассветом они стали сходить с холма, но Иисус запретил им кому-либо рассказывать о событии, пока Он не воскреснет из мертвых. Видение было только для них и затаено ими в глубине их сердец в полном молчании. Рассказать об нем другим апостолам значило бы возбудить в тех зависть и удовлетворить своему себялюбию. До воскресения это событие не имело никакого значения для утверждения в вере и могло бы только затемнить понятие о том, в чем состоит дело Спасителя на земле. Они сдержали Христово повеление, но никак не могли составить себе ясного понятия относительно Его намека о воскресении, а только спрашивали один у другого: *что значит воскреснуть из мертвых*? Другой серьезный вопрос теснился в их умы. Они видели Илию и познали яснее, что Учитель их есть Христос. Но ведь и книжники говорят, что сначала должен прийти Илия и обновить все: не имеют ли они действительно

поддержки в пророчестве Малахии?[415] тогда Спаситель кратко доказал им, что Илия пришел, не был узнан и подвергнут народом той же самой судьбе, которая вскоре свершится над Тем, о ком он возвещал. Тогда-то апостолы поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.

ГЛАВА XXXVII

Беснующийся отрок

Контраст между миром, славою, небесным общением на горе и смятением, бешенством и неверием, которые встретили Иисуса и апостолов, когда они спустились на уровень человеческой жизни, поражает воображение каждого читателя Евангелия[416]. Эту картину небесного спокойствия и земных смут изобразила и обессмертила кисть Рафаэля.

Во время их отсутствия совершилось событие, которое привело прочих учеников в испуг и смущение. Толпа народа с книжниками во главе, приставая со спорами и шумными возгласами, теснила небольшую группу избранных друзей Христовых.

Но в этот самый момент народ завидел Иисуса. Его вид, Его необыкновенное величие, Его лучезарный взор исполнял благоговейного к нему чувства окружающих, и народ бросился Его приветствовать. *О чем спорите с ними*? спросил Он спокойно у книжников. Но, с одной стороны, книжникам стыдно было признаться в своих действиях, с другой — ученики Иисусовы глубоко сознавали свое маловерие и неудачу, чтобы осмелиться отвечать. Тоща выделился из толпы человек, который, преклонив колени пред Иисусом, вскричал громким голосом, что он отец единственного сына, в котором демонское влияние проявляется падучей болезнью, сопровождаемою в самых сильных ее припадках немотою, атрофией и манией самоубийства. Он принес несчастного страдальца к ученикам для изгнания злого духа, и их неудача вызвала несмешки книжников.

Это событие крайне опечалило Иисуса. О, *род неверный и развращенный! воскликнул Он, доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.* Мальчик был приведен, и

как только увидел Иисуса, то в то же мгновение в нем возобновился припадок болезни. Упав на землю в страшных конвульсиях, он катался с пеною у рта. Еще ни разу не приходилось Иисусу исцелять страдавших подобного рода упорной и *сильной падучей болезнью.*

Чтобы оставить сильнейшее впечатление ужаса этого зрелища в толпившемся народе, чтобы они уразумели, что неудача происходила не от Него, — Иисус медлил. Он хотел этим временем вызвать, заставить выразиться и утвердить колеблющуюся веру приведенного в трепет просителя.

Как давно это сделалось с ним? спросил Он.

С *детства,* отвечал отец, *и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжалься над нами и помоги нам.*

Если сколько-нибудь можешь веровать, отвечал Иисус, как бы возвращая ему обратно его слова, *все возможно верующему.*

Тогда безнадежный отец испустил крик, повторяемый досель миллионами, и близко применимый к веку, подобно нашему неимеющему веры и потрясенному скептицизмом: *верую, Господи! помоги моему неверию!*

Между тем, во время этого короткого разговора, народ собирался в большем и большем количестве. Иисус, обращаясь к страдальцу, сказал: *дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него.* За этим словом последовал новый дикий крик и сильнейшие конвульсии, после которых мальчик остался на земле, перестал метаться и извергать пену: лежал недвижимо. *Он умер,* говорили некоторые, но Иисус взял его за руку и, среди восклицаний изумления, возвратил отцу спокойного и исцеленного.

Власть изгнания бесов Он дал предварительно ученикам своим, но Его именем для этого предмета пользовались всегда успешно и такие, которые не были в числе призванных[417]. Поэтому очень натурально, что при первом же удобном случае апостолы спросили Его о причине их неудачи. Он откровенно сказал им, что это произошло вследствие их маловерия. Легко может статься, что вера их ослабела во время Его отсутствия или что они не были достаточно способны сладить с затруднениями, не имея при себе ни Петра, ни сынов Зеведеевых, или что грустное предсказание об отвержении и смерти произвело неприятное впечатление на умы слабейших из них. По крайней *мере,*

Он признал удобным дать им теперь два великих урока: первый, что такие застарелые и закоснелые виды духовного, физического и нравственного зла могут быть уничтожены только молитвою, соединенною с поверкой собственной совести, и самоотвержением, которых наиболее действительным и могучим символом есть пост; другой, — что для полной веры все возможно. Вера, не больше зерна горчичного, может сказать горе сей: *перейди отсюда туда и скройся в великое море, и она будет повиноваться.*

До сего времени Иисус путешествовал около северных пределов Святой Земли, а теперь начал направлять стопы свои ближе к дому[418]. У св. Марка мы читаем, что это возвращение было тайное и совершалось, может быть, не по большим дорогам, а скорее через холмы и долины верхней Галилеи, по направлению к западной части Иордана. Предметом занятий Иисуса уже не было учение народа, который был настроен так, чтобы отвергнуть Его, и среди которого Он чувствовал себя не в безопасности, но Он продолжал другую существенную часть Своего дела, которая состояла в приготовлении апостолов. Таким образом, постоянными предметами Его учения стали предательство, смерть и воскресение. Но Он говорил непонятливым умам. При глубоко укоренившемся предрассудке они не хотели видеть ясных предостережений; — при своем маловерии и робости не хотели добиваться дальнейшего просвещения. Мы ниоткуда не можем видеть такой наглядно ощутительной перемены, которую произвело в них потом воскресение Спасителя, как из наблюдения, с какою простотою и истиною они сообщают о близорукости и закоренелости их собственного понимания, в течение этих драгоценных дней, когда Господь находился среди их.

Одно, только, по-видимому, они усвоили себе ясно, что настало время какого-то чрезвычайного и замечательного исхода Христовой жизни и что затем последует великое открытие царства Мессии. Но и это открытие производило не то действие, какое требовалось: вместо возбуждения в них самоотвержения, оно пробуждало в них гордость; вместо утверждения в любви и смирении поднимало зависть и высокомерие. На пути, вспомнив, вероятно, предпочтение, оказанное Петру и сынам Зеведеевым, — они рассуждали между собою: *кто из них больше?*

В это время Иисус не сделал никакого замечания: Он предоставил спор разрешению их собственной совести. Но когда они достигли Капернаума и пришли в дом, тогда Он спросил их: *о чем дорогою вы рассуждали между собою?* Стыд заставил их молчать, и это молчание было красноречивым обличением их греховной совести. Тоща Он сел и начал поучать их, как делывал он нередко, что кто хочет быть первым, должен быть последним, и что путь к почестям есть смирение. Чтобы усилить впечатление этого наставления символом особенной нежности и прелести, Он подозвал к себе ребенка, поставил посредине и, обняв его, высказал, что пока они не сделаются настолько же смиренными, как это дитя, — не войдут в царство небесное. Они должны быть детьми в мире, и кто примет одного из таких детей во имя Христово, тот примет Его, а принимая Его, примет и Отца, пославшего Его.

Выражение: *во имя мое,* по-видимому, навело Иоанна на мысль сделать внезапный вопрос, который прервал нить поучения: *Наставник,* сказал Иоанн, *мы видели человека, именем Твоим прогоняющего бесов, и запретили ему; потому что он не ходит с нами.* Справедлив ли был этот поступок?

Нет! отвечал Иисус: не запрещайте; ибо кто не против вас, тот за вас.

Затем, держа ребенка в объятиях, как подлинник для своих замечаний, Иисус изложил пред ними всю виновность и опасность обиды, искушения, развращения с пути невинности и правды, научения нечестию или возбуждения нечестивых мыслей у одного *из малых сих, которых Ангелы на небесах видят лице Отца небесного.* Такой нечестивец и соблазнитель, совершая дело сатанинское, должен ожидать худшей судьбы, чем если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море.

Он поучал их, что нет жертвы больше, как та, которая дает возможность избежать всякого покушения положить подобный камень преткновения на собственном пути или на пути других. Лучше отсечь правую руку и «войти в жизнь» увечным; лучше отрубить правую ногу и «войти в жизнь» хромым; лучше вырвать правый глаз и «войти в жизнь» слепым, нежели дозволить руке, ноге или глазу соблазнять на грех, а потом и быть во всей целости ввергенным туда, *где червь не умирает, и огонь не угасает.* Лучше влачиться с жерновым камнем на

шее в этом мире, нежели носить нравственный и духовный жернов соблазна, который вметает греховную душу в огненное озеро отчуждения и отчаяния. Как солью посыпается всякая жертва для ее очищения, так каждая душа должна быть очищена огнем, если нужно будет, самого строгого и самого ужасного самопожертвования. Пусть же этот чистительный огонь строгого суждения к самим себе пребывает с ними! Не допускайте эту соль потерять ее строгого свойства и — огонь его очистительной силы! *имейте в себе соль; и мир имейте между собою.*

Таким образом, чтобы укрепить их во взаимном мире, который был ими нарушен, и доказать, с одной стороны, что они не должны питать ненависти даже к жесточайшим их оскорбителям, с другой — как велик гнев Божий на тех, которые вводят в заблуждение других, Иисус учил, что с оскорбившим их братом должно поступать кротко не только при личных ему успехах, но и в случае необходимости публичной жалобы. Придерживаясь духа иудейского формализма, Петр желал известным числом ограничить такое прощение, но Иисус отвечал, что прощение должно быть безгранично и пояснил это учение превосходной притчей о слуге, который, когда Царь простил ему долг в десять тысяч талантов, тотчас же после этого схватил своего товарища за горло и не хотел простить ему ничтожного долга во сто динариев, — суммы в 1.250.000 раз меньшей, чем прощенная ему. Ребенок, которого держал Иисус в своих объятиях, символически напоминает нам, что получив познание о высокой любви Христовой с самого раннего детства, мы должны вникнуть в смысл Его наставлений глубже и исполнять точнее, чем это обязательно было в то время для Петра и Иоанна.

ГЛАВА XXXVIII

Непродолжительное пребывание в Капернауме

Единственный случай, описанный только у евангелиста Матфея[419], указывает на пребывание Иисуса в Капернауме в течение очень короткого промежутка.

С незапамятных времен, при составлении нового ценза, существовало правило собирать с каждого достигшего двадцатилетнего возраста еврея «дань Богу», кроме «святой дидрахмы», еще «полдидрахмы» во искупление за душу его[420]. Деньги эти предназначались и употреблялись на покупку жертв, козлов отпущения, теплиц, хлебов предложения и другие издержки при храмовых службах. По возвращении из пленения этот би-аг (полсикля) обратился в добровольную ежегодную дань, равную трети сикля[421], но в последующие периоды подать эта возвысилась до первоначальной цены. Такая дань платилась каждым иудеем, бедным или богатым, где бы он ни был. Она наглядно показывала, что души всех равны перед Богом; ибо, как сказано в Писании, *богатый да не приложит и нищий да не умалит от полудидрахмы, егда дают дань Господу (от сынов Израилевых), еже умалят и о душах ваших.* Из нее составлялась очень значительная сумма, которая и посылалась в Иерусалим с известною особою[422].

Дань эта требовалась в 1-й день месяца Адара спокойно и вежливо, если же бывала неоплачена до 25 числа, то сборщики *(тобин — шекалим)* могли требовать от плательщика обеспечения или поруки.

Согласно с этим, тотчас по возвращении Иисуса в Капернаум, эти *тобин — шекалим* пришли к св. Петру и спросили у него вежливо, как приказано было от раввинов: *Учитель ваш не даст ли драхмы?*

Вопрос представлял два затруднения: почему не спрашивали у Иисуса этой контрибуции в предыдущие годы? и почему требовали ее осенью, при приближении праздника Кущей, а не в течение Адара, около шести месяцев раньше срока? Ответ на это, по-видимому, тот, что священники и сановитые раввины считались избавленными от платежа этой подати[423], — что частое отсутствие Спасителя из Капернаума было причиною неправильности взноса и что недоимки позволено было требовать во всякое время.

Но обращение сборщиков вместо Иисуса к Петру представляет одно из множества доказательств почтения, которое Он поселял в сердцах самых заклятых врагов своих. Всего вероятнее, что требование сделано было вследствие возрастающего желания чем-нибудь обеспокоить Его и показать презрение к Его званию. Но Петр, со своею обычною нетерпеливою прямотою, не посоветовавшись с Учителем, как должен был поступить в этом случае, отвечал: *да.*

Если бы он подумал с минуту дольше; если бы он знал немного больше; если бы вспомнил собственное свое еще недавнее исповедание, — он, может быть, и не дал бы так проворно ответа. Деньги эти, согласно установления, были деньгами искупления за душу, а мог ли Искупитель, искупавший души людей ценою своей жизни, платить деньги искупления за свою собственную душу? Они предназначались для службы в храме, а обязан ли был платить их Тот, чье тело было новым духовным храмом Бога живого? Он вошел в Святая святых ценою собственной крови. Он платил то, чего не был должен, чтобы спасти нас от долгов, которых мы заплатить не в состоянии[424].

Таким образом, когда Петр вошел дом, с полным, может быть, сознанием, что ответ был необдуман и в их скудном запасе не оказалось средств для удовлетворения даже такого небольшого требования, Иисус, не ожидая разъяснения его беспокойства, сказал ему: *как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих или с посторонних?*

На это был один ответ: с *посторонних.*

Итак, сказал Иисус, *сыны свободны. Я,* Сын Великого Царя, и ты тоже сын Его, хотя и с некоторым различием, — следовательно, мы не обязаны платить податей. Если заплатим, то плата эта будет сделана не вследствие прямой обязанности, как решили фарисеи, а вследствие нашей добровольной щедрости.

В этом кротком способе объяснения со скорым в своих действиях апостолом и в указании, с какой стороны поспешный ответ его нравился Спасителю, чувствуется нечто истинно божественное. Отсюда мы видим, как тонко, дружественно и задушевно было обращение Иисуса с Его учениками. По-видимому, с этого времени установился вечный принцип, что религиозное служение должно быть поддерживаемо добровольными пожертвованиями и прирожденным чувством долга скорби, чем внешними побуждениями. Тем более, что, с одной стороны, законное не всегда удобоисполнимо, — с другой — было бы не вполне по-христиански придерживаться буквы нашего права. Христианин захочет всегда лучше отказаться от некоторых из своих привилегий и взять менее, чем должно. Так и Он, по стопам которого все должны следовать, прибавил кротко: но *чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая*

попадется, возьми и, открыв у *нее рот, найдешь статир* (четыре драхмы), *возьми его и отдай им за Меня и за себя*. В покорности Его выразилось Его величие. Он пожелал заплатить подать, чтобы не оскорбить чувства одних и сдержать обещание, данное от Его имени Его апостолом. Но, чтобы не нарушить принципа, Он не желал заплатить ее обыкновенным способом. Повинуясь закону любви к ближнему и добровольной уступке, Он не желал умалить собственное достоинство и нарушить закон правды.

Чтобы составить себе ясное понятие об этом чуде, надо углубиться в тонкость назидательного поучения, заключающегося в рассказе, и, как в этом случае, так и в других обстоятельствах, присмотреться к различию чудес, совершенных Спасителем, от чудес апокрифических. *Я* согласен с ученым мыслителем Ольсгаузеном, что на это событие надо смотреть как на самое трудное для понимания, потому что оно слишком своеобразно и не подходит под одну и ту же категорию с прочими чудесами. Однако же нет никакого затруднения допустить мысль, что рыба могла проглотить блестящую монету, попавшую случайно в воду; поэтому я не чувствую ни малейшего препятствия поверить тому, что это чудо могло совершиться и совершилось, а доказательством этому служит все Евангелие с первой до последней страницы. Что же касается до того, что особенность его и обстоятельств, с ним связанных, оставляет в уме сомнение, то это происходит от того, что некоторые из существенных подробностей пропущены или оставлены без объяснения.

ГЛАВА XXXIX

Иисус на празднике Кущей

Невозможно, чтобы Иисус жил в Капернауме так, что никто из жителей не знал об Его пребывании. Но ясно, что оно было очень коротко и имело вполне частный характер. Рассказ, помещенный в последней главе, исчерпывает все, что нам сообщено относительно этого предмета. Но тогда была осень, и вся Галилея озабочивалась приготовлениями, предшествовавшими снаряжению каравана путешественников на один из трех великих годовых праздников — праздник Кущей. Это торжество, — начинавшееся после окончательной уборки полей, — учреждено было в воспоминание странствования израильтян в пустыне и праздновалось с такою общею радостью, что Иосиф и Филон называют его «святейшим и величайшим торжеством»; между иудеями вообще оно считалось преимущественным праздником[425]. Оно продолжалось сряду семь дней, с 15 по 21 месяца Тисри, а на восьмой заканчивалось святым собранием. В течение семи дней евреи, в воспоминание странствования, жили в *суккофах*, или палатках, устроенных из покрытых густою зеленью ветвей оливы, пальмы, сосны и мирты. Всякий держал в руках *люлаб*, состоявший или из ветвей пальмы, или понадречной ивы, или из плодов: персика или лимона. В течение всей недели празднования священники были озабочены хлопотами. В первый день — тринадцать, во второй — двенадцать, в третий — одиннадцать, и так далее, всего во весь праздник семьдесят тельцов приносимо было единственно только в жертву за семьдесят народов, населяющих землю; ежедневно читан был Закон, и двадцать один раз каждый день храмовые трубы трубили вдохновенные и торжественные гимны. Общая радость увеличивалась тем, что за четыре дня справлялись благоговейные церемонии великого дня смирения[426], в который торжественно очищались покаянием грехи народа.

Накануне отправления на праздник[427], семейство и близкие Иисусовы, — которых евангелисты называют вообще «братьями», — и некоторые из потомков, известных по древнему преданию под именем

Деспозинов, пришли к Нему с благонамеренным, но грустным и высокомерным предложением. Они, подобно фарисеям, народу и даже Петру, — вообразили, что знают больше, чем сам Иисус, о способе, который бы направил к лучшему принятое Им на себя дело, и торопили Его заявить поскорее свои требования всенародно. Они пришли к Нему, чтобы высказать осуждение Его действиями, недовольство, упреки и жалобы: зачем такая неразумная и непонятная таинственность? Она противоречит твоим требованиям; она лишает твердости твоих последователей. У Тебя есть ученики в Иудее, — иди туда и покажи твои дела, которые Ты совершаешь. А когда это сделаешь, объяви Себя всему миру. Если они с такими словами обратились к учителю и Господу; если они вызывали Его на доказательства, — то это единственно потому, что их понятия о Нем были слишком узки и оправдывали грустное изречение любимого ученика: *ибо братья Его не веровали в Него*[428]. *Он чужд был братии Его и странен сынам матери Его*[429].

Такое с их стороны подсказывание, — горький плод нетерпеливого хвастовства и материальности, — доказывало достойное порицания высокомерие. Но Спаситель отвечал им спокойно, с кротостью и достоинством: *Мое время* объявить Себя миру, — который, будучи вашим, не может ненавидеть вас, как ненавидит Меня, — *еще непришло. Вы пойдете на праздник сей, а Я еще не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. Сие сказав им, остался в Галилее.*

Из этих слов надо заключить, что Иисус не желал поверять братьям, когда настанет Его время. И на это была причина. Необходимость такого умолчания обусловливалась, с одной стороны, безопасностью Его жизни, которая должна была продолжаться еще шесть месяцев, с другой — исполнением Его божественных предначертаний, которые тесно связаны были с происшествиями нескольких ближайших дней. Поэтому Он предоставил им ехать на праздник в полной неизвестности, думает Он или не думает быть там, чтобы на расспросы отправлявшегося с ними народа они отвечали с полною уверенностью, что Он не отправляется, и не могли рассказать, — придет ли в Иерусалим прежде окончания праздника или нет. А что это должно было случиться, что таков мог быть их ответ, то ясно из расспросов, переходивших из уст в уста по веселым и

деятельным улицам города. *Где* Он?[430] Здесь ли Он? Пришел ли сюда? Не видя же Его, народ неопределенно толковал об Его характере и призвании, — робко произнося слова одобрения: *Он добр;* громче и грубее слова порицания: *нет, но обольщает народ*. Однако же никто не осмелился открыто высказать вполне, как разумеет Его; каждый, по-видимому, не доверял соседу; каждый опасался зайти в этом случае далеко, потому что мнения иудеев, начальников, священников и фарисеев не было высказано ясно и окончательно.

Вдруг среди этого ропота и споров, без сопровождения последователей, без возвещения от друзей, Иисус явился внезапно в храм и начал поучение[431]. Какою дорогою прошел Он в святой город? Каким образом прошел незамеченным через улицы, покрытые толпами народа? Присоединялся ли к невинному веселью празднества? Жил ли в течение остальных дней недели в небольшом шалаше из пальмовых листьев и ходил ли среди разряженной толпы в течение торжественного дня с *люлабом* или лимоном в руке? Присоединял ли свой голос к громким возгласам: «аллилуия» и «осанна». — Ничего этого неизвестно. Рассказано только, что, вследствие надежды на протекцию своих галилейских и иерусалимских учеников, Он неожиданно встречен был в одном из обширных помещений, которые открывались на двор храма, где и поучал народ.

До времени все слушали в благоговейно внимательном молчании; но вскоре всплыла наверх вся старинная мелочность. Он, — непривилегированный равви, не принадлежащий к признанным школам, не уважаемый ни последователями Гиллела, ни учениками Шаммая, — Он назарянин, воспитывавшийся в мастерской галилейского плотника: как же Ему знать Писание, никогда не учившись? Как будто бы те немногие, которые научены Богом, — чье учение исходит от чистого сердца, светлого взгляда и безукоризненной жизни, не превосходят неизмеримо в мудрости, не обладают наилучшим и вернейшим знанием, нежели заимствовавшие свои сведения от других! Это, конечно, не слова ученого, но слова святого вдохновения, высказывающиеся просто, без украшений, во услышание множества народа.

Иисус понял их взгляды, истолковал их ропот. Он сказал им, что Его учение исходит прямо от Его Отца, который живет на небесах, и что если бы они творили волю Божию, то могли бы изучить и понять

эти высокие поучения. Во все времена существовало стремление смешивать ученость с учением, научное знание с мудростью; во все времена тяжело понималось, что истинное учение, имеющее самый глубокий и возвышенный характер, могло обходиться без учености, — что мудрость приобретается независимо от научных знаний. Иисус высказал своим слушателям, что хотя они и знают закон, который дан им Моисеем, но положительно не разумеют его. Вы не понимаете его правил, потому что не поступаете по его предписаниям, говорил Он и затем спросил прямо: *За что ищете убить Меня?*

Это намерение начальствующих было известно Ему и некоторым из слышавших от Него, а вообще составляло глубокую тайну, которая скрывалась от большинства народа. Виновные хранили молчание, а не знающие восклицали: *не бес ли в Тебе? Кто ищет убить Тебя?* Почему же говорили они с такою излишнею зверскою тупостью? Не отвратительно ли высказалось ими обвинение, которого несправедливость, неосновательность и нелепость им вполне известна? Не вспала ли на душу этих полуотвергшихся от Него людей невольная мысль: какое расстояние отделяет их от Проповедника? Как велико Его превосходство в сравнении с ними? Не огорчало ли их это превосходство? Ужели эти люди не сознавали в своих слишком материальных, желчных и ничтожных душах, что этот Пророк пришел не уступать таким стремлениям, какие руководствуют ими, но увлечь их в страну, воздухом которой они не дышали? Ужели в сердцах их не было бессознательной ненависти порока к добродетели, отвращения тьмы к свету? Сказали ли бы они: «не бес ли в Тебе», когда бы услыхали от Него лично, что есть между ними замышляющие на Его жизнь, если бы они не чувствовали себя способными в одну минуту привести в исполнение такой низкий заговор, даже собственными своими руками?

Иисус, не обратив внимания на их грубое нахальство, а указав на исцеление, совершенное Им в субботу[432], удивлялся, отчего бы могло им показаться странным, что Тот, кто имеет власть совершать такие дела, должен быть несравненно выше их ничтожных, обрядовых, доходящих до фанатизма пониманий о святости субботы. Пользуясь всегда случаем дать поучение, что делами милосердия, а не буквальным пониманием исполняется Закон, Иисус на основании их же чисто обрядовых левитских правил доказал им, что Его

целительное слово ни в каком отношении не нарушало субботы. Моисей установил, или скорее восстановил, обрезание на восьмой день после рождения и, если этот день приходился в субботу, то они без всякого затруднения исполняли законное повеление. Если закон об обрезании выше закона о субботе, то не выше ли его закон любви? Если допускается целый ряд действий для нанесения ран, как это делается при обрезании, то почему же несправедливо допустить одно слово для полного исцеления? Если то, что представляет только знак освобождения, не отлагается даже на один день по случаю субботы, то почему же преступно не отсрочивать ради субботы действительное и полное освобождение? А затем, обобщая свои рассуждения, Иисус прибавил: *не судите по наружности, но судите судом праведным:* вместо того, чтобы довольствоваться постоянно поверхностным взглядом, углубитесь лучше в сущность справедливости.

Слушатели Его были изумлены и поражены. *Тот ли это, котораго ищут убить?* твердили они. *Не удостоверились ли начальники, что Он подлинно Христос? Но мы знаем Его, откуда Он; Христос же, когда прийдет, никто не будет знать, откуда Он.*

Ответ Иисуса был тот, что они знают, откуда и кто Он, но на самом деле Он пришел не сам от Себя, а от Того, которого они не знают. Эти слова привели снова в бешенство народ. Они от души желали, но не смели схватить Его, потому что, вероятно, нашлось бы между ними много личностей, убедившихся Его словами и принявших такое множество Им чудес за неопровержимое доказательство Его права. Синедрион, участивший свои заседания в соседней с храмом каменной зале собраний, был извещаем через своих служителей о том, что Иисус делает и говорит, и, не показывая этого, наблюдал за Ним постоянно со злобою и завистью. Эти произносимые в пользу Иисуса возгласы, это глубокое благоговение и верование в Него, которое, назло им, увеличивалось на их глазах, они считали для себя унизительными и опасными. Надо было решиться на более смелый образ действий. И вот, они выслали своих служителей, чтобы схватить Иисуса внезапно и тайным образом, при первом удобном случае. Но Он не чувствовал страха; Ему недолго оставалось еще побыть с ними, и затем Он возвратится к пославшему Его. Тогда они станут искать Его, не с неприязненными намерениями, а вследствие мучительных упреков совести и стыда; но все поиски их будут напрасны. Намек этот не

понять Его врагам. В дни смятения и ужаса, которые наступают, они поймут его окончательно, теперь же они с насмешкой предположили, что Он, вероятно, намеревается удалиться и учить язычников.

Так прошел этот замечательный день, а в последний день праздника Иисус снова явился в храм. В этот седьмой или восьмой день происходила обыкновенно торжественная и радостная церемония. С раннего утра народ толпился в храме и, когда утренняя жертва была возложена на алтарь, один из священников с золотою чашею шел на ключ Силоамский у подошвы Сиона. Зачерпнув в нем три лога воды, он возвращался триумфальной процессией в храм через Водяные ворота. При входе во двор священные трубы трубили радостно до тех пор, пока священник не опускал чаши на подножие алтаря. Там переливал он воду в серебряный сосуд, стоявший на западной стороне, и наливал вина в другой такой же сосуд с восточной стороны. Затем пели великое «аллилуя», и вслед за стихом[433]: *исповедайтеся Господеви, яко благо, я ко в век милость его*[434], все предстоявшие вокруг алтаря с торжеством помавали своими *люлабами*. Вечером все предавались удовольствиям, так что раввины говорили, что нечувствовавший радости «при черпанье воды» не имеет понятия о радости.

Намекая ясно на этот радостный обряд, Иисус обратил внимание толпы в храме, как внимание самарянки при колодце, на новую истину, а также на духовный[435] и исторический[436] смысл обрядов, которых они только что были свидетелями. *Кто жаждет*, возгласил Он, *иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой.* Лучшие их них в глубине души своей сознавали необходимость в наитии Св. Духа, которого мог ниспослать один только Тот, кто говорил с ними: но открытое исповедание Его за пророка и Христа привело бы в отчание других, которые, не умея отрешиться от своего узкого догматического представления, составили понятие об Иисусе, обличавшее только их невежество: *разве из Галилеи Христос приидет?* Разве Он прийдет не из Вифлеема и родится не от племени Давидова?

Во время этого разногласия в мнениях явились служители, посланные фарисеями схватить Иисуса, но не решились исполнить своего намерения. Пока они бродили среди дворов храма, стояли за колоннами, полускрытые, но замеченные, может быть, Тем, кого

выжидали, они должны были слышать некоторые из божественных слов, слетавших с уст Его, а услышав их, не смели исполнить поручения. Ими овладело святое увлечение, которому они не могли противиться; сила бесконечно большая, нежели их собственная, уничтожала их силу и парализовала их волю. Слышать Его означало не только быть обезоруженным на всякое покушение против Него, но почти обращенным из злейшего врага в благоговейного ученика. *Ни один человек не говорил так, как Он,* — вот все, что могли сказать они. Такое смелое неповиновение положительным приказаниям могло бы навести на них страх ожидания дурных последствий, но послушание требовало еще большей смелости; оно заставляло считать за ничто эту разъедающую рану, которою поражает преступную грудь пробужденная совесть. Фарисеи встретили их озлобленными криками. *Разве и вы намерены прельститься этим пророком невежд, этим любимцем проклятой и жалкой черни?* вопили они. Тогда Никодим решился высказать свое робкое слово в защиту Иисусову. *Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?* На такое справедливое возражение фарисеи не имели ответа и только кричали: *и ты не из Галилеи ли?* — а затем, обращаясь снова к старому невежественному догматизму, прибавили: *разсмотри и увидишь, что из Галилеи не приходил пророк.*

Где же, спрашиваем мы, Гефофир, откуда пришел Иона? Где Фесва, откуда пришел Илия? Где Елкош, откуда пришел Наум? Где северные горы, откуда пришел Осия? Новейшие евреи заявляют, что Мессия должен прийти из Галилеи. Они веруют, что избранная им для жительства местность[437] будет Тивериада, что он должен выйти из вод озера, что город его будет называться Сафед, «город на горе», потому что так вначале он утвердит свой престол. Но нет невежества глубже того, которое ничего не хочет знать; нет слепоты неисцелимее той, которая не хочет ничего видеть; нет догматизма невежественнее и наименее зрячего, чем догматизм узких и упорных предрассудков, который верует в себя, как в учение богословское. Презрев кротость суждения Никодимова и чудесное впечатление, сделанное Иисусом на их собственных враждебных Ему служителей, и высказав злобное осуждение Иисусу, большая часть членов синедриона разошлась по домам.

ГЛАВА XL

Женщина, взятая за прелюбодеяние

Затруднения, окружающие событие[438], которое мы намереваемся теперь описывать, не представляют возможности дать ему надлежащего места в рассказе. Но, мне кажется, я не ошибусь, если отнесу его к этому времени; потому что рассказа об этом событии в некоторых самых лучших и самых древних манускриптах евангелий, как, например, в трех манускриптах IV столетия, хранящихся в С.-Петербургской Публичной Библиотеке, в Британском музее и Ватикане, совсем нет, а где он находится, там помещен или в конце Евангелия от Иоанна, или между 37 и 38 стихами 21 главы Евангелия от Луки, или в конце этой главы, но везде с большими вариантами. Вследствие чего действительность самого события подвергалась некогда сильным и продолжительным, но не окончившимся ничем спорам.

Вечером описанного в предыдущей главе дня *Иисус пошел на гору Елеонскую.* Заходил ли Он в сад Гефсиманский и в дом неизвестного, но дружественного его владельца, или, не имея где преклонить голову, спал просто на зеленой траве под древними оливовыми деревьями, — мы рассказать не можем; но интересно заметить и здесь Его сильное отвращение к людным городам, Его любовь к чистому, свежему, свободному воздуху, постоянное избрание для покоя высоких холмов, как мы имели случай замечать повсюду во время земной Его жизни. Но все это делалось не из надменности, чувствительности или болезненного себялюбия, которые заставляют людей удаляться от своих собратий; напротив того, Он ежедневно жертвовал людям всем, что было самого дорого и самого возвышенного в Его душе и, несмотря на жар, тесноту и утомления, спокойно совершал дела милосердия, среди низких распрь озлобленной толпы. Только по ночам, не требовавшим Его присутствия в стенах Иерусалима, искал Он покоя в уединении. Впрочем, кому известна отвратительная нечистота древних городов, тот может лучше других представить себе облегчение, которое чувствовал Иисус, когда мог удалиться из тесных улиц и многолюдных рынков, пересечь ров, подняться вновь по

зеленому скату и беседовать наедине с Небесным Отцом под звездным небом.

Но ранний рассвет заставал Его уже за делами милосердия, среди городских стен и чаще всего, как мы слышим от евангелистов, во дворах дома Его Отца Небесного. С каждым рассветом враги Его изобретали против Него новые злоумышления, которых последствия с каждым разом становились скорее жалкими, чем опасными.

Понятно, что веселость и распущенность в праздник Кущей, обратившее его чуть не в праздник уборки винограда, проявлялись нередко в свободных и безнравственных выходках; потому что, при крутом перерыве обычной жизни, вследствие переселения всего народа в шалаши, к этому представлялось бесчисленное множество удобных случаев. Одно из таких нарушений порядка общественной и семейной жизни открыто было предшествующей ночью, и виновница приведена к книжникам и фарисеям.

Если бы нравственность народная в это время была так же чиста, как в те дни, когда Моисей установлял Страшный Суд Божий посредством «воды обличения»[439]; если бы начальники и учителя народные были настолько же выше своих современников в действительности, насколько старались это высказать: то и тогда открытие преступления и тяжкое наказание для этой жалкой преступницы могло бы возбудить к ней в чистом и благородном сердце чувство сострадания, несмотря на презрение к ее греху. Они могли, согласно своих предположений, наложить на нее со всей непоколебимою строгостью установленное наказание, но строгость грозного и чистосердечного судьи, не будучи чужда сожаления, сообразуется со справедливым милосердием и не терпит ни примеси маловажных и ничтожных поводов, ни духа злобного легкомыслия, ни отвратительного издевательства.

Действовавший в этих книжниках и фарисеях дух не был ни в каком случае духом истинной оскорбленной чистоты. При распущенности народной жизни, при ежедневном общении с пороками языческими, при постоянной замене истинной религии левитскою мелочностью, нравственность народа падала ниже и ниже. Испытание посредством «воды обличения» было давным-давно забыто, и побиение камнями за прелюбодеяние давным-давно вышло из обычая. Ни книжники, ни фарисеи, по своему наружному благочестию, не

чувствовали отвращения к нечистоте, которой нередко омрачалась их собственная жизнь, как это видно из Талмуда[440], где рассказывается, что раввин Бен Закхей уничтожил даже самое испытание посредством «воды обличения». В этом событии, которое передало в их власть виновницу, они видели единственно только случай досадить, изловить, а может, и поставить в опасное положение галилейского пророка, на которого смотрели, как на смертельного врага.

Между евреями существовал обычай, в случае сомнений и затруднений, советоваться с известными раввинами; но в этом случае конечно не было ни сомнения, ни затруднения. Существование закона Моисеева о смертной казни прелюбодеям было неоспоримо; применение его к данному событию было бы, по всей вероятности, остановлено римлянами, которые, по своим законам, не могли допустить, чтобы подобное решение было приведено в исполнение. Даже еврейские гражданские и религиозные законы о разводе предоставляли полное удовлетворение оскорбленному супругу. Следовательно, случай с этой женщиной не отличался от всякого другого, который они сами оставляли без преследования. Наконец, если бы они честно и добросовестно желали слышать мнение Иисусово относительно этого предмета, то неужели не нашлось у них другого способа, при котором не надо было бы привлекать женщину в Его присутствии и таким образом подвергать ее нравственным мучениям, которые еще невыносимее для женщины восточной, обреченной жить в постоянном затворе.

Таким образом, предать, хотя и преступницу, напрасным пыткам и отвратительной публичности, — привлечь не успевшую еще остыть от тяжелого чувства стыда вследствие открытия преступления, в священные пределы храма, тогда как согласно Талмуда[441] прелюбодейцы должны быть судимы в воротах Никанора между двором языческим и двором женским, — выставить пораженную страхом, растерзанную, без покрывала, напоказ холодному и чувственному любопытству озлобленной толпы, — сделать эту женщину, без всякого уважения к ее мукам, страдательным орудием ненависти к Иисусу, и все это допустить не вследствие требования нравственного негодования, но с целью удовлетворить рассчитанную наперед злобу — доказывало с их стороны холодный дерзкий цинизм, немилосердие, безжалостность, варварское ежесточение сердца и

совести, которые, будучи ненавистны и возмутительны для каждого, еще более были тягостны Тому, кто был один бесконечно милостив, потому что был бесконечно чист.

Таким образом, они привлекли и поставили посредине явное преступление перед Непорочной Невинностью, опозоренное ничтожество перед безграничным Совершенством и Милосердием. Но так как в сердце своем они не были в действительности оскорблены ее поступком, то стали уклончиво, с тоном насмешки, передавать ему событие. *Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких женщин камнями: Ты что скажешь?*

Они вообразили, что могут поймать Его на словах при разрешении такого щекотливого вопроса. Им известно было божественное милосердие и любовь к тем, которых другие ненавидели: известно было, что Он ставил высоко тех, которых другие осуждали; ободрял тех, которых другие гнали. Им известно было, что это милосердие возбуждало много удивления и немало истинной к Нему преданности в среде народной. Им известно было, что мытари были у Него в числе избранников; грешники сидели с Ним за столом; женщины свободного поведения беспрекословно омывали Его ноги и слушали Его поучения. Оправдает ли Он эту женщину и таким образом подвергнет Себя обвинению в ереси, ставши в явное притиворечие со священным и неумолимым Законом, или подавивши свое сострадание, будет безжалостен и осудит ее? А когда Он поступит таким образом, то не поколеблется ли мнение народа, который был всегда глубоко тронут Его снисходительностью? Не оскорбятся ли гражданские власти тем, что Он подает повод к возмущению? Посмотрим, как выйдет Он из подобного затруднения! Ересь или измена, обвинение перед синедрионом или донос прокуратору, сопротивление закону или возбуждение умов других, — любой выбор был пригоден для их невзыскательных целей, — а который-нибудь из них все же должен последовать. Какой счастливый случай представила им эта слабая грешница! Но не совсем так. Их низость, жестокость, злоба и праздная, гнусная забава чувствами, которые должны умеряться снисхождением и подавляться деликатностью, поразили сердце Иисуса. Он устыдился за свой народ, за свою расу; Он устыдился не унижения, до которого дошла жалкая обвиняемая, но глубокого

растления бесстыдных обвинителей. Он краснел, вследствие непреодолимого отвращения от того, что противники Его, в своей ничем неоправдываемой мелочности, позволили себе разыграть перед Ним такую бесстыдную сцену, в которой задумали выставить Его главным действующим лицом: негодовал на то, что так бесстыдно нарушена святость Его личной скромности и что такие события, о которых другие обязаны благородно умалчивать, сообщались Ему с таким бесстыдством. Поэтому, не поднявшись с места, Он склонил лицо вниз и, как будто бы не слыша или не желая слушать обличителей, молчал и писал пальцем по полу.

Для других довольно было бы и этого. Увидав в подобном действии символ прощения, ясно намекающий, что память о написанных таким образом на пыли делах, — подобно тому как сказано у пророка Иеремии[442]: *все отступающие от Тебя на земле да напишутся*, может быть затерта и забыта, — все другие не усомнились бы истолковать такое действие за явное указание, что Он не хотел вмешиваться в подобное дело. Но обвинители ничего не видали, ничего не понимали и стояли без стыда, настаивая на своем дерзком вопросе, держа в руках женщину, указывая на нее пальцами и насмехаясь над нею, без угрызения совести в дерзких взглядах, не смягчая своих стальных сердец.

Надо было прекратить наконец подобное зрелище. Тот, кто читал в их сердцах, прерывая свое молчание, кротко произнес свой мудрый суд, заключавшийся в следующих достопамятных словах:

Кто из вас без греха, первый брось в нее камень.

Это не было отменой Моисеева закона, напротив того, подтверждало его справедливость и, без сомнения, как смертный приговор, подействовало на сердце преступницы. Но последствия слов были совершенно неожиданны. Ужасный закон остался написанным в книге; не пришло время, не являлось повода уничтожать его. Но с другой стороны, они сами, не решаясь применить его, а передавая вопрос, как бы нуждающийся в новом разрешении, на обсуждение Иисуса, ясным образом сознавали, что закон этот утратил его значение и что они не имеют намерения приводить его в исполнение, хотя бы получили разрешение. А так как весь процесс с их стороны был незаконен и неправилен, то Он и перенес из его суда законного на суд совести. Положение судьи, вынужденного иногда осудить преступное

действие, в котором мог сам быть виновным, различно от положения личностей, взявших на себя самовольно права обвинителей и так ревностно требовавших ненужного осуждения. В этом случае осудить женщину значило бы осудить пред лицом Божиим самым ужаснейшим образом самих себя; оросить в нее первому камень значило бы убить самого себя.

Иисус поглядел на них с минуту, но этот взгляд проник их затаенные думы. Он спокойно высказал несколько простых слов, которые, как голос Илии на Хориве, были ужаснее ветра и землетрясения. Подобно огненной искре, слова эти запали в их дремавшие души и сожигали их, возмущая приведенную в стыд совесть. В страхе и молчании стояли книжники и фарисеи, отпустивши из рук женщину и опустивши в землю, как преступники, прежде дерзкие, полные злобы и бешенства глаза свои. Несправедливо оскорбившие теперь чувствовали преодолевающую их скорбь невыносимого стыда, пока в их преступной совести, словно громовые раскаты, пробегали подобные этим мысли: «Неттебеизвинения, человек, — потому что ты взялся произнести суд над подобным тебе; потому что в чем ты хотел обвинить другого, должен, делая то же самое, обвинить самого себя. Суд Божий постигнет тех, которые грешат подобным образом: неужели же ты, человек, думал, что, осуждая других, избегнешь суда Божия? Или ты презираешь богатство Его милости, снисхождения и долготерпения, не понимая, что Его милосердие допускает раскаяние? Ты, по твоему жестокосердию и нераскаянности, только собираешь на себя кару в день гнева и откровения праведного суда Божия, когда каждому воздастся по делам его». Будучи такими же, какова была женщина, обличители не смели оставаться долее пред лицом Иисусовым.

С разгоревшимися щеками и стесненным сердцем, все от старого до молодого, один по одному, начали они удаляться в молчании. Он не хотел своим взглядом увеличивать их стыда и смятения, не хотел открывать дальнейших тайн их нечистого сердца; не хотел заставить их устыдиться Его и привести в свидетели их собственную память. Он снова стал писать на земле.

Когда Иисус во второй раз поднял голову, все обвинители уже удалились; пред Ним стояла одна только устрашенная женщина. Она могла уйти; никто ей не препятствовал и даже никому не показалось

бы неестественным, если бы она бежала, куда бы то ни было, чтобы избегнуть опасности и скрыть свой стыд и свое преступление. Но угрызения совести, а может быть, благоговейный трепет благодарности, при борьбе надежды с отчаянием, приковали ее на месте перед ее Судьею. Взгляд Его, страшнейший всякой встречи, потому что был взглядом единственного человека с душою крепкою, с недосягаемым величием непорочной невинности был в эту минуту милостиво кроток и обещал всепрощение. Неудаление женщины было знаком ее раскаяния, которое, будем надеяться, стало залогом будущего забвения ее грехов. «Там оставалось двое, говорит блаженный Августин: Горе и Милосердие».

Женщина, — спросил Он, — *где твои обвинители? Никто не осудил тебя?*

Никто, Господи! был ответ, который едва-едва могла она выговорить.

И Я неосуждаю тебя. Иди и впредь не греши.

Если бы критические доказательства против подлинности этого места в Евангелии были еще сильнее тех, которые существуют, то оно само в себе содержит неоспоримые доказательства собственной, самобытной достоверности. Нельзя не согласиться, что это грустное и любвеобильное зрелище, — этот контраст между низким, жестоким коварством и восторженною возвышенностью понятий и чувств, превосходит все силы человеческого воображения, а картина божественного Провидения, читающего глубокие тайны сердца, и божественная Любовь, которая видит эти тайны гораздо дальше, чем мы сами, — в соединении с нашим пониманием о власти и личности Иисуса Христа так высоки и так оригинальны в рассказе, что сами ручаются за его достоверность. Никому еще не удавалось измыслить и очень немногим — оценить высочайшую чистоту, спокойствие и силу, с которою произнесено было Иисусом осуждение и прощение, характеризующие эту историю. Повторение в ней того, что Иисус без малейшего затруднения сокрушал хитрые замыслы своих врагов и из уничтожения их извлекал постоянно какой-нибудь нравственный урок служат самым лучшим и убедительным доказательством Его выше, чем человеческой мудрости, яркий свет которой, освещая всю человеческую злобу и ненависть обличителей, блестит в рассказе еще ярче, еще прекраснее, нежели во многих других евангельских

событиях. Правда, блаженный Августин[443] говорит, что многие ради слабоверующих исключали этот рассказ из своих манускриптов, на том основании, что слова «впредь не гпеши» давали как будто бы дозволение грешить; св. Амвросий[444] толкует, что это место Евангелия может возбудить немалое сомнение в неопытных; патриарх Никон (в X столетии) указывает, что рассказ об этом событии исключен из армянского перевода, потому что считается опасным для большинства. Однако же несмотря ни на малую долю сочувствия к рассказу в древней церкви, ни на признание его опасным по направлению знаменитыми отцами церкви, — которые или не упоминали об нем, или отзывались не совсем благосклонно, — мы видим, что истинное нравственное значение и смысл рассказа слишком высоки, чтобы принять его за вымышленный или внесенный в текст без достаточного основания. Было бы удивительно, если бы кто-нибудь не заметил, что при свете благости, который проливается вдруг на злополучного грешника, самый грех принимает вдесятеро ненавистнейший, вдесятеро отвратительный вид для человеческой совести, которая считает жизненным законом, что должна стремиться подражать своему Господу в чистоте и святости.

Тягостно было зрелище для святого и любящего сердца Иисусова, но это горе облегчено было довольством освобождения, — не только временного, но и вечного, — предоставленного Им одной из грешных душ. Но следующие события оказались полны постоянно увеличивающихся недоразумений, сомнений и горьких насмешек. Великий и радостный праздник окончился внезапным взрывом бешенства и покушением иудейских начальников покончить с Иисусом не посредством публичного обвинения, а посредством злобного насилия.

На тот же самый осьмой день или на первый день после праздника, если в таком порядке следовали события, Иисус продолжал прерванное слово, в котором намеревался в последнее время высказать яснее свое божественное призвание.

Он сидел в сокровищнице, представлявшей или отдельное строение, или ту часть женского двора, которая содержала в себе тринадцать ящиков с отверстиями в виде труб и называлась сосроф[445]. Там народ, и в особенности фарисеи, складывали свои приношения. В этом дворе стояло два колоссальных (пятидесяти

локтей вышины) позолоченных подсвечника[446], рисунки которых сохранились доселе. На вершине этих гигантов, в течение всего праздника Кущей, горели ночью лампады со светильнями из негодных к употреблению одежд священников и разливали тихий свет на весь город. Вокруг лампад народ и даже государственные чины, — как священники и фарисеи, — в радостном восторге совершали праздничные танцы, пока под звук флейты и других музыкальных инструментов левиты, построившись в ряды, на пятнадцать шагов по направлению к двору, пели прекрасные псалмы, издавна получившие название «песни степеней»[447].

Намекая на свет этих огромных лампад, на которых обстоятельства дня сосредоточивали внимание слушателей, Иисус воскликнул: *Я свет миру*[448]. Таков был постоянный метод Его поучений. Всегда предметом для уроков избирал Он ближайшую внешнюю обстановку, которая более всего обращала на себя внимание слушателей, и по этому напечатлевала самое поучение в их памяти неизгладимыми чертами. Фарисеи, услыша эти слова, обвинили Его в самохвальстве, но он доказал, что о Нем свидетельствует Его Отец, а если бы даже и не это свидетельство, то свет может быть видим и узнаваем, потому что он существует, потому что без него ничего не было бы видно. *Где твой Отец?* сказали они Ему. Он отвечал, что, не зная Его, они не могут знать и Его Отца, прибавив с грустью, что близко время, когда Он должен от них удалиться, и тогда они уже не будут иметь возможности прийти к Нему. Возражение их заключалось в насмешливом вопросе: *не самоубийством ли думает Он низвести Себя в мрачные сени могилы?* Но Иисус дал им понять, что они, а не Он предназначены испытать такой мрачный исход, если будут упорствовать в неверии в Его вечное бытие. *Кто же Ты?* спрашивали они снова в озлоблении. *Прежде всего Я то, что и говорю вам*, — отвечал Он спокойно. Они настаивали, чтобы Иисус объявил себя Мессиею и стал их временным освободителем, а Он хотел передать им более глубокие довечные истины, что Он есть Свет, жизнь, живая вода и что Он пришел от Отца, — как они должны были узнать потом, когда вознесли Его на крест. Они глядели на Мессию, каков Он должен быть по еврейским устным преданиям, а Он хотел, чтобы они видели в Нем Искупителя мира, Спасителя их душ.

Услышавши эти слова, многие из надменных врагов Его уверовали в Него, но верою колеблящеюся, недостаточною, ложною, смешанною с тысячами земных и ошибочных мечтаний, а не тою, которая имеет силу спасительную и на которую Он мог полагаться. Он засвидетельствовал им прямо и открыто их лицемерие, так что прежние чувства их вдруг заменились бешеною злобою. Он рассказал им, что преданность вере и послушание составляют признаки принадлежности к Его ученикам и потребности истинной свободы. Слово «свобода» служит пробным камнем и доказательством фальшивости их начинающейся веры. Они знают только свободу политическую, которую ложно провозглашают, а потому и принимают обещание будущей духовной свободы за предоставление в настоящем свободы политической. Таким образом, Иисус доказал им, что они рабы греха, и только по имени, а не в действительности дети Авраамовы или дети Божии. Их обуяла гордость, если они мечтают о чистоте своего происхождения от известных предков и о привилегиях по исключительной преданности монотеизму. Он объяснил им, что, по своему сходству в жестокости и притворстве, они воистину дети того, кто был искони лжецом и убийцею, — дети дьявола. Такое меткое замечание усилило их злобу. Они назвали Иисуса самарянином и беснующимся. Иисус с кротостью отклонил такую укоризну и милостиво обещал им, если сохранят слово Его, то не только не умрут в грехах, но не будут видеть смерти вовеки. Однако же бестолковые, слепые умы их никогда не могли вникнуть в духовное значение Его слов. Они обвиняли Его с демонской надменностью и дерзостью в поставлении Им себя выше Авраама и пророков[449]. Но Иисус объяснил им, что в пророческом видении, может быть, посредством духовного созерцания в другом мире, Авраам, который не умер, но живет там, видел Его день и радовался ему. Такое рассуждение им показалось бессмысленным и богохульным. *Тебе нет еще пятидесяти лет,* — воскликнули иудеи, глядя на Его лицо, которое состарили постоянные труды и заботы, — *и Ты видел Авраама,* который умер назад тому семнадцать столетий: как же мы должны понимать эти слова твои? Тогда с кротостью, но с большою торжественностью, прибавляя формулу утверждения, которую употреблял единственно при возвещении величайших истин, — Спаситель открыл им, что Он предвечен, что Он Божеством своим существовал прежде, чем вошел в

бренную храмину смертного тела: *истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есм.*

Тогда в порыве негодования, — в одном из тех припадков внезапного, необъяснимого, неистового бешенства, к которым этот народ склонен был во все века, при столкновениях с его религиозными убеждениями, иудеи взялись уже за камни, приготовленные для построек еще недоконченного храма, чтобы убить Иисуса. Но, ослепленные бешенством, они не заметили, как Спаситель скрылся. Час Его еще не пришел. С совершенным спокойствием удалился Он невредимо из храма.

ГЛАВА XLI

Слепой от рождения

На пути ли из храма, после покушения на Его жизнь, или в следующую субботу Иисус, проходя мимо ворот храма, увидел человека, слепого от рождения, который, вероятно, сидел там, прося милостыню и объясняя проходящим свое жалкое положение.

Все иудеи глядели на каждую болезнь как на необходимое и непосредственное последствие какого-нибудь греха. Может быть, ученики предполагали, что слова Спасителя к расслабленным, которых Он исцелил при овчем источнике и в Капернауме, утверждали такое мнение: поэтому теперь они и спросили Иисуса, почему этот человек родился слепым? было ли это последствием греха Его родителей? Если нет, то не надо ли предполагать, что он поражен слепотою за собственные свои грехи? В первом случае это было бы слишком жестоко, а второе предположение невозможно. По-видимому, их поразило это обстоятельство. Иисус, не желая вводить их в непроизводительные области бесплодных размышлений, по обычаю, отклонил их от суждения о грехах других. Ни человек не согрешил, сказал Он им, ни его родители; но все это сделалось для того, чтобы объявились дела Божии. Как свет мира, Он в скором времени должен рассеять эту тьму. А затем, плюнув на землю. Он растворил слюною глину, помазал этим составом глаза слепцу и приказал: *поди, умойся в купальне Силоамской.* Слепой пошел, умылся и исцелился.

Слюна того, который только что кончил свой пост, у древних считалась действующею целительно в случае слабости глаз. Жирная глина употреблялась нередко для прекращения воспаления век. Но само собою разумеется, что это нисколько не уменьшает блеска совершенного Иисусом чуда. Мы только не можем понять, почему Спаситель, исцеляя нередко одним словом, как в этом, так и во многих других подобных случаях прибегал к более продолжительным и сложным средствам для приведения в действие своей чудодейственной силы. Причины подобного действия, которые без сомнения обусловливались Его глубоким знанием всех обстоятельств, Его

взглядом на сердца тех, над кем совершалось чудо, не были, по-видимому, открыты даже приближенным ученикам Его.

Рассказанный случай имел серьезные последствия. Потому что человек известен был всему Иерусалиму как слепец, — нищенствовавший в течение всей своей жизни, и появление его зрячим произвело сильное смятение. Даже те, которые хорошо знали его прежде, едва верили собственному его свидетельству, что он тот самый слепой нищий, им так хорошо известный. Растерявшись от изумления, каждый заставлял его снова и снова пересказывать историю исцеления.

Но к общему всех удивлению, это событие стало новым поводом для фарисейского негодования; потому только, что исцеление совершено было в субботу. Раввины запрещали в субботу помазать слюною больной глаз, исключая случаи смертной опасности, а Иисус не только помазал глаз, но размешал слюну с глиной! Как дело любви, исцеление было бы в полном и совершенном согласии с основаниями, на которых учреждена суббота. Но дух уважения к букве, рабская мелочность, надежда спастись, когда количество грехов не будет превосходить суммы добрых дел, — давно уже удалил от чествования субботы истинную первоначальную идею этого установления и обратил ее великое значение в гибельное суеверие. Раввинская суббота с ее жалким рабством не была субботою, установленною живым и любвеобильным законом Божиим. Она переродилась в то, что апостол Павел называет *немощными и бедными вещественными началами*[450].

Но иудеи до того были пропитаны крайнею мелочностью, что самое великое чудо возбуждало в них не удивление и благодарность, а ужас к пренебрежению их суеверия. Таким образом, ревностное охранение буквы закона привело слепорожденного на совесть к фарисеям. Тогда последовало зрелище, превосходно переданное св. евангелистом Иоанном в 9-й главе. Начались спросы и переспросы, — как это было сделано, — сопровождавшиеся повторительными рассуждениями одних, что Иисус пришел не от Бога, потому что не соблюдает субботы, возражениями других, что гонение за нарушение субботы может послужить поддержкою несомненности совершения сего чуда, а такая несомненность поведет к подтверждению мысли, что совершивший его не сделал преступления, которое ему приписывают. Не зная, как выйти из этого положения, они спрашивали мнения

слепца об его избавителе, а тот, — ничего не зная об их рассуждениях, — неустрашимо и быстро ответил: *это пророк*.

Увидя в нем одну из тех натур, с которыми управляться трудно, и заботясь отыскать какую-нибудь отговорку, посредством которой можно было бы отвергнуть совершение самого чуда, они поспали за родителями слепца. *Это ли сын ваш*, — спрашивали их фарисеи, — *о котором вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?* Они, вероятно, надеялись, что родители откажутся с презрением от сына; рассыплются в отрицаниях существующей между ними родственной связи; дадут ложные показания: но родители слепца, с свойственными евреям послужничеством и хитростью, не давая прямого свидетельства, которое могло бы повести за собою неприятные последствия, хотя и не поддержали вполне их предположений, но отвечали уклончиво: *мы знаем, что это наш сын и что он родимся слепым; а как теперь видит, не знаем. Самого спросите; пусть сам о себе скажет*.

Тогда судьи обратились снова к слепому. Ему, как и его родителям, было известно, что иудейские власти решились произнести *херем*, или приговор, об исключении из синагоги всякого, кто осмелится признать Иисуса за Мессию, — и фарисеи, вероятно, надеялись, что он последует их советам воздать славу Богу, то есть отринет или забудет чудо и примет таким образом их мнение, что Иисус грешник.

Но слепорожденный был гораздо смелее, чем его родители. Его не ослепила власть, не сбили их рассуждения. В душной атмосфере их высшей святыни он дышал свободно. *Мы знаем*, — сказали фарисеи, — *что человек тот грешник. Грешник ли Он*, — отвечал им бывший слепец, — *не знаю; одно знаю, что я был слепец, а теперь вижу*. Тогда начались новые усиленные и бесплодные переспросы. *Что Он сделал с тобою? Как отверз очи твои?* Но слепец знал, что высказал все, что нужно. *Я уже сказал вам*, — отвечал он, — *ивы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?* Смело было это слово. Не всякий решился бы спросить у этих государственных мужей, одетых в широкие одежды, — у этих мелочных исполнителей закона, членов синедриона: действительно ли они так заботливо и чистосердечно расспрашивают об Иисусе, чтобы признать права назаретского пророка? Ясно, что перед ними стоял человек, твердая честность которого не поддастся гнету и не низойдет

до лжи. Сладить с ним было невозможно и, когда ни сила, ни угрозы, ни ласки на него не подействовали, то судьи разразились упреками. *Ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда Он, — Это и удивительно.* — возразил слепец, — *что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что Бог грешников не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорождённому. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.* Какой позор для Гиллела и Шаммпая! слепой нищий, неуч и невежда, еретик, рожденный в грехах, осмеливается давать им наставления! Не имея силы удерживать долее своего негодования, они выгнали его вон из залы заседания.

В числе наказаний за грехи у тогдашних иудеев существовало отлучение от синагоги[451], первая степень которого, *незифаг,* состояла в запрещении являться в течение тридцати дней только в одну известную синагогу, вторая, *ниддуц,* продолжалась на девяносто дней с запрещением являться во все другие синагоги; но ни при том, ни при другом отлучении вход в храм, где был особый двор для отлученных, не воспрещался. Последняя, высшая степень, *херем,* или *шаматта,* состояла в полном исключении из общества и храма на всю жизнь, по всей вероятности, в это время или немного прежде Иисус подвергался не раз меньшему отлучению или исключению из одной синагоги; потому что мы почти всякий раз читаем о вхождении вновь в каждую из тех синагог, которые во время первых лет Его служения были любимыми местами Его учения и посещения.

Но Иисус не забыл первого своего исповедника. Он отыскал его и спросил: *ты веруешь ли в Сына Божия? — А кто Он, Господи,* — отвечал слепорожденный, — *чтобы мне веровать в Него?*

— *И видел ты Его и Он говорил с тобою.*

— *Верую, Господи,* воскликнул слепой, — *и поклонился Ему.*

Надо думать, что вскоре после этого[452] Спаситель определил различное влияние на людей Его учения, вследствие которого незрячие видят, а зрячие слепнут. Беспокойные и недовольные фарисеи, наблюдая за Ним и опасаясь в своем болезненном самолюбии, не к ним ли относятся Его речи, спросили Иисуса: *не они ли слепцы?* Он отвечал им, что нет вины в природной слепоте; но сами себя осуждают

те, которые, упорствуя в слепоте добровольных заблуждений, имеют притязание на ясность своих взглядов.

Если же слепы начальники, учители и вожди, то в каком же положении находится народ?

После этого мысль Его сама собою перешла к свойствам доброго и дурного наставника[453]. Он объяснил ее, пролил на нее свет в превосходной притче о добром пастыре и наемнике. В ней говорит Он, что Он есть добрый пастырь, который жизнь свою полагает за овец, тогда как наемник, избегая опасности, бросает свое стадо. Он есть дверь, через которую только и входили Его верные предшественники, между тем как все фальшивые пастыри, — начиная с первого вора, закравшегося в стада Божии, — ходили другими путями. Ои намерен отдать жизнь свою добровольно за этих овец и за других, которые *не с сего двора*, *с* тем чтобы опять собственною властию принять ее. Однако же все эти божественные мистерии были выше их понятия; поэтому некоторые назвали их бессмыслицею, произносимою бесноватым и сумасшедшим, а другие толковали, что эти речи не похожи на слова бесноватого и что дьявол не может отверзать очи слепому.

Вследствие всего этого чувства ненависти и злобы усилились, но посещение Иисусом Иерусалима на празднике Кущей оказалось плодотворно. Чтобы сохранить свою жизнь, которой угрожала опасность, Иисус удалился в Галилею для непродолжительного там пребывания, прежде чем скажет последнее «прости» своему старому пепелищу.

ГЛАВА XLII

Последнее пребывание в Галилее

Вслед за рассказанными событиями, св. Иоанн передает другой случай, бывший спустя два месяца, в праздник Обновления храма, то есть 20 декабря, тогда как праздник Кущей относился к концу сентября или началу октября месяца. Св. евангелист Иоанн, — согласно с высказанными им не один раз намерениями рассказывать о делах Христовых только в Иудее и в особенности в Иерусалиме, о которых другие евангелисты проходят молчанием, — не говорит ни слова о посредствующем последнем посещении Иисусом Галилеи, равно как о последних путешествиях в Иерусалим, значительную часть которых дополняют нам с большими подробностями другие евангелии.

Но что действительно Иисус должен был возвратиться в Галилею, очевидно не только из трех первых евангелий, но из самих событий и из некоторых обстоятельств, случайно упоминаемых самим Иоанном[454].

Известно, что большое отделение в Евангелии от Луки, начиная с 9 гл. 51 ст. до 18 гл. 15 ст.;представляет эпизод, из которого многие происшествия рассказаны единственно только у этого евангелиста. Некоторые указания в них на место и время наводят на мысль, что упоминаемые там события принадлежат к медленному, торжественному шествию Иисуса из Галилеи в Иерусалим (9, 51, 13, 22; 17, 11, 10, 38). Затем после праздника Обновления храма, Господь удалился в Перею, откуда вышел по случаю смерти Лазаря (Иоан. 10, 40–42, 11, 1-46), по воскрешении которого укрывался в Ефраиме (Иоан. 11, 54), пока не отправился в Вифанию за шесть дней до последней Пасхи (Иоан. 12, 1).

Таким образом, это путешествие из Галилеи в Иерусалим, столь богатое событиями, вызвавшими замечательные поучения, должно было быть путешествием или на праздник Кущей, или на праздник Обновления храма. Но так как настоящее путешествие совершалось продолжительно и гласно, то следует заключить, что оно относится к последнему празднику; ибо из предыдущего мы видели, что на

праздник Кущей Иисус явился внезапно, тайно и совершенно с другими целями.

Не входя в подробные и далеко не легкие хронологические исследования там, где положительная верность невозможна, я хочу рассказать этот период жизни Спасителя в том порядке, какой, посте продолжительного изучения евангелий, мне кажется наиболее вероятным. Подробное рассмотрение частностей убедило меня еще более относительно справедливости моих мыслей, согласных с выводами и других вполне независимых исследователей. Здесь я хочу высказать только первоначальные основы моих убеждений, что действительно события должны были следовать в том хронологическом порядке, какой мною принят.

1) Эпизод в Евангелии св. Луки с 9, 51 до 18, 30 относится по большей части к отдельному путешествию, хотя объяснение обстоятельств, по сходству их внутреннего содержания, и другие причины могли увлечь писателя в рассказе о некоторых событиях и поучениях, принадлежащих к более раннему или к позднейшему периодам[455].

2) Порядок событий у евангелиста Луки не совсем подчиняется хронологии и не может считаться вполне с нею согласным, так чтобы место события в рассказе указывало в точности порядок времени его совершения (Ев. от Луки 10, 38–42; 13, 31–35; 17, 11–19).

3) Путешествие это совершенно тождественно с тем, которое по частям рассказано у евангелиста Матфея, 18, 1-20; и у евангелиста Марка, 10,1-31.

4) События, рассказанные у евангелиста Матфея, 20,17–28; Марка, 10, 32–45, Луки, 18, 31–34, как это очевидно из их содержания и из сличения мест у евангелиста Марка, 10, 17; Матфея, 19, 16, не принадлежат к этому путешествию, но к последнему, которое было предпринято из Ефраима в Вифанию и Иерусалим.

Если эти соображения достоверны, а я уверен, что они достаточно основательны, как единственно возможные последние выводы для всякого, кто действительно изучал время совершения событий, то нельзя не согласиться, что события, описанные у евангелиста Луки с 51 ст. 9 гл. до 30 ст. 18 гл., нельзя отнести иначе, как к последнему пребыванию Иисуса в Галилее после праздника Кущей. Это пребывание было, по-видимому, непродолжительно и имело целью

приготовление к отправлению на проповедь семидесяти апостолов и посвящение их на благовествование царства Христова в той части святой земли, которая уже освоилась с Его учением и делами. Наставления, данные Им семидесяти апостолам, заключали в себе последнее прощание с Галилееи и совпадали со временем действительного Его отправления. Но в 18 гл. евангелиста Луки есть два других обстоятельства, которые принадлежат, вероятно, к тому же времени, а именно: известия о бывшем избиении галилеян и весть о намерениях Ирода лишить самого Иисуса жизни[456].

Местом жилища Иисуса, в течение этих последних дней, был конечно Капернаум, Его город, и когда Спаситель приготовлялся к отправлению оттуда, с тем чтобы никогда не возвращаться, явились личности, которые заявили об одной из многочисленных тревог, очень нередких во время прокураторства Понтия Пилата. Несколько мятежных зилотов было перерезано римским гарнизоном в Иерусалиме, но дальнейших подробностей не передано; потому что подобное событие считалось в такие смутные времена неважным и принято было, как всякая мимолетная молва. Сотни подобных выходок Ирода пройдены Иосифом в молчании. Быстро воспламеняющийся фанатизм евреев той эпохи и беспокойные их надежды, с одной стороны, постоянное поддерживание в них злобы на римского правителя — с другой, заставлявшие легко предаваться каждому ложному Мессие, вынудили римское правительство устроить Антониеву башню, которая бросала грозную тень на самый храм. Башня эта соединялась с храмом лестницей, так что римские легионы имели возможность, спустившись по ней, прекратить беспорядки, которые, при всяком стечении народа на религиозные праздники, угрожали безопасности Иерусалима. Через три года после этого, во время одного из пасхальных возмущений, убито было до трех тысяч евреев[457]. Не однажды Пилат переодевал своих воинов в обыкновенную одежду еврейской черни[458] и таким образом оружие их действовало свободно среди беспокойной толпы. Но из всех евреев галилеяне были самыми податливыми на всякое возмущение, за что и оттерпливались более других. По извещении о таких стычках рассказчиков возмущало не самое побоище, а то, что кровь умертвляемых возмутителей смешивалась с кровавыми потоками от приносимой ими жертвы. Самые известные передавались Иисусу не

столько из желания выразить жалобы на кровавые распоряжения римского правителя, сколько из любопытства относительно Его взглядов на преступления, которые навлекали такую ужасную кару на умерщвляемых жертвоприносителей.

В еврейской литературе книга Иова была вечным свидетельством таких легкомысленных выходок дружеской безжалостности: дух Елифаза, Софара и Волдада[459] не вымер, как Спаситель ни старался воздержать его, как ни упрекал в нем народ при каждом подобном случае. *Думаете ли вы,* говорил Он им, *что сии галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все также погибнете.* А затем, вспоминая, вероятно, про недавний несчастный случай внезапной смерти, Он прибавил: *или думаете ли, что те осьмнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам; но если не покаетесь, все также погибнете.* Само собою разумеется, что Христос во многих поучениях хотел указать, что каждое обстоятельство в жизни человека и каждое над ним насилие не есть результат пустого случая или прямого наказания, но входят в великие предначертания Провидения, из которых дозволяется человеку вывести общий закон, что так называемые случаи в жизни могут встретиться со всяким и всякий в свое время получит воздаяние по делам его. Слова Его исполнились буквально.

Многие из Его слушателей, без сомнения, дожили до того, что пришлось припомнить и вразуметь все их значение, когда оружие императора Тита беспощадно сокрушило евреев и последние защитники Иерусалима, обагрив его улицы своею кровью, раздавлены были среди пылающих развалин храма, который не мог сохранить им даже их жизни.

Мрачны были данные Иисусом предвестия, но Он не ограничился предостережениями, а подал и приятную надежду. Владелец неплодной смоковины распорядился срубить ее, но она нашла себе заступника. Пусть топор будет занесен, но если дерево вследствие заботливого ухода принесет плод, то самый топор остановится и грозный удар замрет в воздухе.

Как ни кратковременно было Его пребывание у себя в старом доме, но враги с радостью желали бы сделать еще короче. Им было страшно и тягостно Его присутствие, хотя и не осмеливались открыто заявлять

свои чувствования. Фарисеи приходили однако к Иисусу и, как бы заботясь о Его безопасности, сказали: *удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя*.

Если бы Иисус поддался страху и поспешил удалиться, вследствие опасности, которая, может быть, существовала единственно только в воображении врагов, хотя точно так же могла быть и действительною, то фарисеи были бы очень рады и этой победе. Но ответ Иисуса был совершенно покоен: *подите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов, и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу.* Затем, с уверенностью в полной своей безопасности, но не без примеси грусти, Он прибавил: *а впрочем Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима.*

Вероятно, этот печальный перелом подавленных Им чувствований вызвал торжественное обращение к падшему городу, обращение, подобное тому, которое Он высказал, когда плакал на вершине масличной горы. *Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен грядый во имя Господне.*

Нехитрая выдумка фарисеев неудалась окончательно. Действительно ли Ирод имел намерение видеть Иисуса и предать Его смерти, как умертвил родственника Его Иоанна, или все эти разговоры были чистою выдумкою, но Иисус глядел на них с полным пренебрежением. Каковы бы ни были замыслы Ирода, Иисус сам имел намерение ограничить свое пребывание в Галилее известным временем и удалиться оттуда, однако же не прежде, как совершит задуманное. У Него оставалось два или три дня, в которые Ему хотелось совершить дела милосердия для всех ищущих Его, а после этого небольшого промежутка настанет время, когда приблизятся дни взятия Его от мира, когда Он должен будет отвернуться от дома своей юности и обратить лице свое, чтобы идти в Иерусалим[460]. На требование коварного покровителя, на которого они были сами похожи, пришлось ответствовать ему, что Иисус находился под непреодолимым покровительством, против которого не могут устоять

ни их хитрость, ни их жестокость. Павел Тарейский[461] пишет об Архелае, что это был ничтожнейший из людей, каких только видел свет, придворный первой империи. Он был развращен влиянием римского двора и покровительствовал гнуснейшим порокам гнуснейших людей в самый гнуснейший период всемирной истории. Ирод Антипа был не лучше его и достоин тех слов неумолимого презрения, с которыми отнесся о нем Спаситель. Из Евангелия мы не видим, чтобы Он когда-либо произносил слова такого глубокого презрения. Но как же и не высказать их? Ни одна возвышенная душа не может быть совершенно свободна от этого чувства. Справедливый гнев нравственного негодования, справедливое презрение не могут быть лишены окончательно места в сердце человеческом, как необходимые функции в экономии внутренних движений человека, причем сила этих чувств зависит от предметов, которые их возбуждают. Но если существовал на свете какой- либо человек вполне достойный презрения, то больше всех их Антипа, этот жалкий, клятвопреступный властелин, обманщик в отношении религиозном, обманщик народа, обманщик друзей, обманщик братьев, обманщик жены, человек, которому Иисус дал прозвание «лисицы». Нечеловеческие пороки, которым предавались римские кесари, разврат, жестокость, необузданная дерзость, разорительная расточительность, все это, хотя и в бледном отражении, виделось в этих маленьких провинциальных неронах и Калигулах, этих местных тиранах, полуидумеянах, полусамарянах, которые рабски подражали гнуснейшим порокам империализма. Иудея стонала под отвратительно мелким деспотизмом этих шакалов — Иродов, которые пресмыкались у ног кесарских львов.

Неизвестно, слышала ли эта «лисица» об отзывах Иисуса, которыми Он характеризовал ее и ее царствование: ни разу в жизни не пришлось им встретиться лицом к лицу, пока, утром в день распятия, Антипа не заявил на Иисуса ложных оскорблений[462]. Но в настоящее время Иисус спокойно окончил свое дело в Галилее: созвал своих последователей и выбрал из них семьдесят человек, чтобы приготовить себе путь. Число их было символическое и посылка по два вместе такого огромного числа апостолов для приготовления к Его прибытию в каждом месте, которое Он хотел посетить, придавали путешествию огромную гласность. Наставления, данные этим

посланникам, совершенно сходны с теми, которые Он преподал при отправлении на проповедь двенадцати апостолов, и отличались только большею краткостью (потому что относились к скоропреходящей обязанности), пропуском ненужных теперь ограничений относительно посещения язычников и самарян и предоставлением менее полной силы творения чудес[463]. Эти наставления дышали грустью, навеянной печальным опытом постоянного отвержения.

Но для Него пришло время удалиться и Он был прискорбен. Ему надо было расстаться с некоторыми из верующих сердец, но, ах! их было немного! Его отвергли Галилея и Иудея. На одной стороне озера, которое он любил, все народонаселение единодушно выслало депутацию, чтобы поторопить Его отъезд с их берегов; на другой — народ напрасно пытался сделать Ему зло в последние дни, сообщая жалкие выдумки, чтобы страхом принудить к бегству. В Назарете, — красивом горном селении, его первоначальном жилище, полном воспоминаниями о детстве и материнском доме, — жители обошлись с Ним так насильственно и обидно, что Он уже не желал посещать свое прежнее пепелище. В Хоразине, Капернауме и Вифсаиде, — на всех дивных берегах серебристого озера, в красивых зеленых равнинах, каждая полоса которых пройдена Им в обществе апостолов, для совершения дел милосердия и произнесения слов любви, — даже и там люди полюбили повапленные гробы фарисейской святости и смутные предания левитской обрядности больше, чем свет и жизнь, которые предлагал им Сын Божий. Они питались прахом и отвратили от своего Спасителя развращенные сердца свои. На многие известные древние города, Ниневию и Вавилон, Тир и Сидон, Содом и Гоморру пал гнев Божий; но Ниневия и Вавилон смирили бы свое надменное идолопоклонство; Тир и Сидон бросили бы свое суетное тщеславие, даже Содом и Гоморра раскаялись бы в своем бесстыдном разврате, если бы видели чудные дела, которые были совершены в этих городах и селениях, близ Галилейского озера. Поэтому, горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! А тебе, Капернаум, Его собственный город, наибольшее горе!

С такими думами в сердце, с такими словами на устах, удалялся Он от места своего отвергнутого учения. Действительно «горе» пало на всю эту землю, на все ее пределы. Великолепна она теперь по своей привлекательности, но пустынна и опасна по своему безлюдию.

Миллиарды птиц оглашают до сих пор воздух своими веселыми песнями; водяные птицы играют на кристальной поверхности озера; ручьи текут в него с соседних холмов, «наполняя его лоно перлами и усыпая путь изумрудами»; сгибающиеся под пятой путника душистые травы и высокие олеандры по-прежнему наполняют воздух своим благоуханием; но исчезли виноградники и плодовитые сады; военные и рыбацкие суда не мчатся туда и сюда по озеру; замолк людской говор; остановился поток счастливой торговли. Имена и места городов и селений забыты, и где прежде возвышались они, отбрасывая тень на освещенные солнцем воды, там видны только почерневшие от времени насыпи. Какая-нибудь одинокая, опаленная пальма на единственной грязной улице, окруженной лачугами, обозначает место и напоминает имя небольшого городка, где жила раскаявшаяся грешница, омывшая некогда слезами ноги Иисуса и отершая их волосами головы своей.

Поколение, которое отвергло Его, обречено воспоминать с горькой и бесполезной душевной мукой эти мирные счастливые дни Сына Божия. Протекло после того тридцать лет, и буря римского вторжения разразилась над этою улыбающеюся страною. Кто хочет, может прочитать в описываемых Иосифом войнах евреев отвратительные подробности убийств, истребивших города галилейские и вызвавших признание, что «наверное Бог нанес римлян, чтобы наказать галилеян» «и предоставил население, город за городом, истреблению кровожадных врагов»[464]. Тотчас же за превосходным описанием озера и долины Геннисаретской, «как гордости природы», Иосиф исчисляет ужасные битвы на светлых водах, в которых число убитых, с включением умерщвленных в городе, составляло шесть тысяч пятьсот человек. Сотни погибли от римских копий и кольев; пытавшиеся спасти жизнь, укрываясь в воду, как только поднимали голову, были убиваемы стрелами, а когда подплывали к римским судам, лишались головы или руки; за иными учреждены были на сухом пути погони, истребившие их дотла. Тогда, — продолжает тот же историк, — все озеро наполнилось трупами, окрасилось кровью и никто не избег смерти. Ужасный смрад носился над этой страной в последующие дни, и печальный вид представляла она; потому что озеро, начиная с берегов, было полно обломками от судов и распухшими трупами, которые, разлагаясь от палящего солнца, заражали воздух до того, что бедствие было не только предметом сожаления иудеев, но даже тех,

которые ненавидели их и были виновниками самого бедствия. Из тех, которые умерли среди побоища, — из тех, которых Веспасиан тотчас же предал жестокой и изменнической смерти между Тарихеей и Тивериадой, — из тех двенадцати тысяч «старых и неспособных», которые были умерщвлены на стадиуме, — из шести тысяч, посланных на помощь Нерону, прокопать Афонский перешеек, — из тридцати тысяч четырехсот человек, проданных в неволю, — неужели не нашлось таких, которые, при последнем своем конце или в ссылке, или в час смерти и в день суда не призвали Того, кого отвергли, и не вспомнили, что заключением всех тех милостивых слов, которые сходили с уст Его, было «горе!», вызванное их собственным ожесточением!

Но невозможно, чтобы при таком прощании с таким местом были одни только скорби. Божественный дух Иисуса не мог быть долго под гнетом тяжелых неприязненных чувств, отвлекаясь от мрачных впечатлений. Он постоянно переходил от сопротивления, неверия и грехов к чистоте и миру небесному, от видимого и временного к невидимому и вечному, от мрака человеческого развращения к свету мира в Боге. *В тот час возрадовался духом Иисус*[465], и какою радостью, каким безграничным, всепоглощающим восторгом, когда перешел от дум об осуждении к мыслям о сострадании; когда обратился с обещанием не слабых утешений, но «великих надежд»; когда вспомнил, что скрытое от премудрых и разумных открыто младенцам; когда остановился на мысли, что послан не к богатому и ученому меньшинству, а к невежественному и угнетенному большинству; когда объявил ученикам своим, что в Его любящие руки передал Отец всю власть Свою, и что в Нем, увидев и познав дух Отца, они могут увидеть и познать откровенно того, чего домогались видеть и знать цари и пророки! И затем, чтобы в час измены и предательства никто из них не сомневался в любви Его и в любви Отца, Он высказал ныне же, в минуты своего восторженного увлечения, те любвеобильные слова, которые на людском языке слышатся, как благовестие и обращение к детям всего страждущего семейства человеческого. *Приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня; ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим*[466].

Таким образом, временная печаль уступила место безграничной и вечной радости. Многие думают об Иисусе исключительно как о Человеке Печали, и предполагают, что жизнь Его была нескончаемым страданием, непрерывною скорбью. Но в Библии мы находим совершенную совместимость, или, лучше сказать, теснейшее общение радостей и печалей: мириады христиан, — которые, будучи со всех сторон тревожимы, оставались твердыми, — будучи смущаемы, не приходили в отчаяние, — будучи гонимы, никогда не отступали, — будучи низлагаемы, никогда не были побеждены, — могут понять, каким образом Человек Печали, даже во временной земной Своей жизни, мог жить жизнью счастливейшею, в истинном значении этого слова, — счастливейшею, потому что она была чище, безгрешнее, более исполнена веры и поглощена радостью послушания Небесному Отцу, нежели какою пользовался от Бога кто-либо из сынов человеческих. Глубок и чист был источник этой радости на всем его протяжении, хотя леса набрасывали на него тень свою и не пропускали солнечного света на его волны! И если истинная, высочайшая радость строга, чиста, безраздельна, то какою постоянною, какою невыразимою радостью о Боге должна была быть радость Богочеловека, снисшедшего, чтобы преподать всем любящим Его радость, которую ни один человек не может отнять у них, радость, которую не даст и не отнимет у них мир отныне и до века.

ГЛАВА XLIII

Путешествие

В евангелиях нет прямого указания на путь, избранный Иисусом по оставлении Геннисарста, но, вероятно, миновав Назарет, с его настолько же счастливыми, насколько и грустными воспоминаниями, Он перешел мост на южной оконечности озера и таким образом обошел кругом в Есдрелонскую долину или при Вефсеане (нынеш. Вали Муджейдаг), или через Фавор и кругом малого Ермона (нынешн. Вади Бирег), проходя по пути Ендор, Наин и Сунем.

Пересекши долину и пройдя Фанаах и Мегиддо, Он направился бы по хребту гор, представляющему северные границы Самарии, но при подошве его лежал город Ен-ганим, или «фонтан садов». Это было

первое самарянское поселение, в которое Он пожелал зайти[467]. Хотя случай этот рассказан у св. Луки перед отправлением семидесяти апостолов, но это, вероятно, зависело только от его личного выбора изложения порядка событий, и мы предполагаем, что в Ен-ганиме были двое из Его апостолов, ***чтобы приготовить Ему путь***как в духовном, так и в простом обыкновенном смысле этого изречения. Кроме того, мы допускаем предположение, что этими предвозвестниками были Иаков и Иоанн, которые живее других могли чувствовать оскробления за то, что отвергли их Учителя. Жители этого городка, — которые в те времена не отличались особым расположением к странникам и, как говорит доктор Томсон[468], были «фанатичны, грубы и склонны к возмущениям», — решительно отказались принять или допустить Его в город. В первое время, при путешествии на север через Самарию, Он встречал не только радушный прием, но заботу удержать Его и послушать поучения Его, сколько возможно дольше. А теперь обстоятельства изменились: с одной стороны, потому что Он путешествовал с намерением пробраться в город, который самаряне ненавидели, и в храм, который они презирали; с другой, потому что в настоящее время с Ним было не небольшое число апостолов, а толпа последователей, признавших Его пророком и Мессиею. Если бы Гаризин, а не Иерусалим был целью Его путешествия, все пошло бы по-другому: но теперь Его намерения и Его приближенные заставляли просыпаться исконную народную злобу при одном предположении, что придется кормить путешественников из ненавистных для них иудеев. Таким образом, если чувства небольшой пограничной самарянской деревушки Енганима были настолько враждебны, то ясно, что покуситься на путешествие через всю ширину страны или зайти под сень их соперничествующего святилища было бы не безопасно, если не положительно невозможно. Тогда Иисус изменил направление пути и пошел к долине Иорданской. Будучи отвергнут в Галилее, получивши отказ в Самарии, Он направил стопы в Перею.

Тяжесть отказа возбудила в сердцах Иакова и Иоанна чувство сильного негодования. Нет ничего труднее, нет ничего раздражительнее, как слышать отказ в пище, крове и радушии после трудного путешествия, в особенности же пускаться вновь в путь из большого поселения, в котором странник ожидал найти себе покой и

отдохновение. Исполненные мыслью о царстве Мессии, которое, предполагали, не нынче завтра будет объявлено, два брата задумали возместить приход Его синайским мщением, чтобы этим поразить и укрепить ослабший дух последователей, которые конечно пришли в уныние от такой прямой и решительной неудачи. ***Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел**с **неба и истребил их, как Илия сделал?***«Что удивительного, — говорит св. Амвросий, — что Сыны Громовы желали, чтобы блистали молнии?» Этот порыв их гордости находит себе оправдание не только в образе действия Илии, но даже в том, что событие с Илиею происходило в той же самой Самарии. Но Иисус, обратившись к ним, сделал замечание. Не таковы цели и начертания Бога небес. *Не знаете, какого вы духа*, — сказал Он раздраженным ученикам, не вникнувшим в различие, которое отделяло Синай и Кармил от Голгофы и Ермона. Он приходил спасать, а не убивать. Он не судил тех, которые, слышавши слово Его, не веровали в Него[469]. Таким образом, не произнеся ни одного гневного слова, Он пошел в другое селение и, без сомнения, Иоанн, который в это время не знал, какого он духа, вспомнил эти слова Христовы, когда пришел с Петром в Самарию для утверждения вновь обратившихся в христианство и для преподания им даров Св. Духа[470]. Может быть, при этом же обстоятельстве[471] и, скорее всего, вслед за таким грубым отказом, Иисус, обратившись к сопутствующему Ему народу, сказал ту замечательную проповедь, в которой предупреждал, что все желающие быть Его учениками должны приходить к Нему, не ожидая земной любви и людского радушия, но приготовясь к отказам, сопротивлениям и издержкам. Если понадобится, они должны расторгнуть все земные связи, отрешиться от всяких мирских выгод. Им надо будет взять на себя крест и последовать за Ним: странная речь, полное значение которой поняли апостолы только впоследствии! Неприятно и неразумно человеку начать строить дом и не кончить его; царю поднять войну, в которой предполагаются одни только несчастья и неудачи; стало быть, лучше совсем не следовать за Ним, если последователь не приготовлен к забвению всего, что у него есть на земле, не приготовлен к пожертвованию временными выгодами и к жизни единственно только для вечности. Неверующий может потерпеть потери и убытки, но его жребий все-таки менее жалок, нежели жребий ученика, который, обращаясь назад и бросая

продолжительный взгляд на все, что им покинуто, предпримет бессильное и бедственное покушение служить Богу и маммоне.

Так как для Иисуса закрыт был вход в Галилею и Самарию, то Он направил путь в Перею[472], по долине Вефсеанской, между границами обеих провинций. На дороге встретился трогательный случай. На краю одного из селений, слух Иисуса поражен был мрачным, диким, жалостным криком и видом десяти прокаженных, составивших общество безвыходных бедняков. Они стояли вдалеке, не смея приблизиться, потому что их приближение было бы осквернением. Им надо было предупреждать всякого подходящего к ним надрывающим сердце криком: *Тамэ! Тамэ!* нечистый, нечистый! В этой смерти заживо было нечто отвратительное, потому что представляла страшный вид страдания и унижения, — нечто испорченное, потому что истощало все ключи крови человека, — нечто уродовавшее всю его фигуру, делавшее заразительным его прикосновение, медленно покрывавшее его струпьями и смердящими ранами, — нечто страшнейшее самой смерти. Эта болезнь мгновенно возбуждала в Иисусе сердечное сострадание. Но никогда не возбудила она Его настолько, насколько в эту минуту. Едва услыхал Он жалкий крик их: *Иисус, наставник! помилуй нас!* — как тотчас же, не успев еще приблизиться к ним, сказал громко: *пойдите, покажитесь священникам.* Они знали значение этого повеления; знали, что Он торопит их требовать от священника признания их исцеленными, — удостоверения о восстановлении для них всех людских прав и привилегий. При звуке этого могучего голоса они мгновенно почувствовали возвращение к жизни, возобновление энергии, очищение крови, которая начала сильнее биться в их жилах, а когда пришли к священнику, были вполне очищены.

Кто не был очевидцем отвратительного, тягостного зрелища, которое представляет вид прокаженных, с криком открывающих свои язвы и по большей части просящих милостыню на больших улицах некоторых восточных городов, тому трудно представить себе, как неизмеримо велик был дар, преподанный Иисусом этим людям, глубоко сознавая это в душе, всякий подумает, что исцеленные поспешили воротиться назад, чтобы высказать сердечную благодарность, — пробиться, если надо, сквозь огонь и воду, чтобы со слезами и признательностью броситься к ногам их Спасителя и

благодарить за дар, который для них гораздо дороже самой жизни. Однако же, или всепоглощающее себялюбие, или закоренелость иудаизма, или вмешательство священников, или новая худшая проказа бесстыдной неблагодарности и суеверного невежества остановила этих людей: из десятерых, получивших исцеление, возвратился только один, и то самарянин. Не следует удивляться, что между прокаженными иудеями замешался самарянин: общие несчастья заставляют забывать всякую племенную вражду. В Биут-эль-Мазакине (приют несчастных) или в квартале прокаженных в Иерусалиме живут вместе магометане и евреи. Там, как на краю воды песок, собираются на границе двух стран бедствия тот и другой. Но девять иудеев оказались неблагодарными до низости и только самарянин *возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его.* Сердце Иисусово, несмотря на привычку к неблагодарности всякого рода, возмутилось таким единодушным, неестественным, вопиющим поступком.

Не десять ли очистились? спросил Он с грустным удивлением: *где же девять? Как они не возвратились воздать слову Богу, кроме сего иноплеменника? В* се благодеяния Его, говорит Ланге, как будто бы падали глубоко, в молчаливую могилу. Голос бедствия пробуждал мгновенно эхо в Его милосердии, но дивные слова этого милосердия, хотя проникали молнией через все естество слушателей, не вызывали ответного эха благодарности в их земных сердцах.

Не напрасно возвратился этот иноплеменник; не осталась редкая его добродетель без вознаграждения. Не только его тело, но и душа, которая несравненно дрогоценнее и которой зараза гораздо глубже, — была исцелена словами Спасителя: *Встань, иди! вера твоя спасла тебя.*

ГЛАВА XLIV

Учение во время путешествия

Насмешки, пререкания, презрительные замечания, одним словом, фарисейство фарисеев и подобных им преследовали Спасителя даже во время путешествия. Причины, которые возбуждали ненависть к Нему, были те же самые, которые действовали в течение всего времени Его учения. Враждебная партия не могла переносить равнодушно того, что пример Его был недосягаемо высок, а Его учение слишком благотворно; не могла терпеть нарушения суббот даже делами благотворения; не могла забыть Его близких отношений к мытарям и грешникам.

Мы имели повод заметить еще прежде, что Иисус, вследствие ли малого отлучения *(херем)*, или по другим причинам, во время этого последнего периода своего учения, по-видимому, редко входил в синагоги. Но так как исключение из одной или нескольких синагог не заключало в себе запрещения посещать другую, то мы видим Иисуса снова сидящим в синагоге[473]; начальник которой, как видно из последующего, питал к Нему почтение, хотя и смешанное с завистью и подозрением. Там в этот день находилась бедная женщина, которая осьмнадцать лет страдала *духом немощи* и не имела сил разогнуться.

Сострадательное сердце Иисусово не могло вынести этой немой жалобы. Он подозвал больную к себе и, сказавши: *женщина, ты освобождаешься от недуга своего*, — возложил на нее руку. Почувствовав в одно мгновение чудесную силу, которая сообщила ей возможность разогнуть столько времени сгорбленный и изуродованный стан, несчастная воздала славу Богу. Но поток ее благодарности прерван был невежественным негодованием близорукого начальника синагоги (*рош-гак-кенезефа)*. Здесь, на его глазах, без разрешения ближайшей власти, быть представителем которой предоставляла ему каждая суббота, — женщина, член его собрания, имела смелость получить исцеление! Вооружась любимыми текстами и надевая маску заботливого официального лицемерия, он поднялся с места и выразил негодование неповинному в этом случае народу, что *есть шесть дней, в которые должны делать, в те и*

приходите исцеляться, а не в день субботний., *А* так как женщина не высказала со своей стороны Иисусу никакой просьбы и даже не старалась обратить Его внимание на ее положение, то слова рош-гак-кенезефа имели такой смысл: «ты, больной народ, не ходи в синагогу в день субботний, из страха нарушить его избавлением тебя чудесным образом от болезни, которое можешь там получить, или уклонись, если кто станет исцелять тебя в субботу». У этого начальника недостало ни смелости обратиться с подобными замечаниями к самому Иисусу, ни чистосердечия высказать прямо бедной исцеленной женщине. Он стал проповедовать, обращаясь с выговором к народу, до которого этот случай нисколько не касался и который был, как и сам начальник, только страдательным очевидцем события.

Во всем Евангелии нет другого примера такого нелогичного рассуждения, такого безнадежного тупоумия. Не прямой путь, который избрало оскорбленное невежество для произнесения своих замечаний, вызвал на уста Спасителя выражение негодования, против которого рош-гак-кенезеф должен был умолкнуть. *Лицемер!* — сказал ему Иисус, одним словом определяя эту официальную личность, которая по своей глупости позволила себе порицать Его за то, что Он в субботу сказал несколько слов женщине и возложил на нес целительную руку, а женщину за то, что, будучи согнута надвое болезнью, выпрямилась и прославила Бога!

Трудно представить себе такое отсутствие нравственного чувства, если бы нам не приходилось почти ежедневно видеть одуряющее действие, производимое на ум «густым туманом решительного мнения», в особенности когда самое мнение основано только на пустейшем предании.

При объяснении фарисейских взглядов на субботу, которую из Божеского благодеяния они обратили в возмутительную тягость, Иисус постоянно менял доводы и доказательства. Перед иерусалимскими раввинами Он указывал на свою миссию и власть, поддерживаемые тройным свидетельством Иоанна Крестителя, Св. Писания Самого Отца, — который свидетельствует о Нем переданною в руки Его властью[474]. Для фарисеев галилейских он приводил тексты из Св. Писания или представлял удостоверения, основанные на общем их взгляде на вечные принципы[475]. Но тупой и неразвитый разум переян не мог понять ни любви и свободы, которые лежали в основании

учреждения субботы, ни власти Иисуса над субботою, как Господа субботы. Для них нужны были доказательства освязательные, которые бы не выходили из пределов их обыденной жизни[476]. Не считает ли себя каждый вправе, — говорил Иисус, — отвязать и отвести на водопой своего вола или осла в субботу, хотя это представляет больше труда, нежели возложение руки на больную женщину или быть исцеленною чудодейственным словом? Если их субботние правила снисходят к нуждам вола и осла, не должны ли они быть еще снисходительнее к жестокой необходимости этой дочери Авраамовой? Если можно предпринять труд в субботу для того, чтобы сократить часы жажды осла, то не следовало ли Ему без труда положить скорее конец жестокому сатанинскому истязанию, угнетавшему женщину в течение осьмнадцати лет? При таком безответном возражении нечего удивляться, что враги устыдились самих себя, а этот простой, невысокомудрствующий народ *радовался о всех славных делах Его* совершаемых для спасения человечества.

Таким образом, Спасителю беспрестанно приходилось освобождать великое первоначальное учреждение Божественной любви от близорукого формализма, от опасных ограничений праздного ума и бестолкового предания. Без всякого сомнения, Он настолько же придавал важности высокой, любвеобильной свободе для покоя, насколько они — неосмысленному бездействию, к которому свели естественный характер этого учреждения. Они были привязаны к религиозной системе, которую предпочитали положительному закону, потому что легче раболепствовать перед буквой, чем проникнуть дух закона, — легче повиноваться множеству внешних правил, нежели разумно и с самопожертвованием уразуметь волю Божию, — легче запутать душу в сети жалких обязанностей, нежели всецело просвещенным сердцем предаться послушанию, — легче быть высокомерным, нежели смиренным духом, — легче быть аскетом и формалистом, нежели сохранить чистоту, любовь, мудрость и свободу среди жизни в мире, — легче быть фарисеем, чем апостолом, — легче признавать самодовольное пустосвятство и систему раввинских обрядов, чем любить Бога всем сердцем, всею силою, всею душою и всею крепостью. Налагая секиру на корень гордого и невежественного почтения к субботам, Иисус подсекал одним разом всю эту «жалкую микрологию», которую они привыкли считать за религию. Свободен

ли и в наше время дух сект от этого фарисейского оттенка и не нуждается ли в подобном уроке? Не сочтут ли за оскорбление для себя некоторые из моих читателей эти написанные мною слова, — хотя они представляют не что иное, как объяснения слов Самого Спасителя, как повторение того учения, которое преподавалось Им очень нередко?

В Евангелии рассказан еще один случай подобного восстания против Спасителя за нарушение субботы и, — если считать, что первым было исцеление при Вифезде, вторым — собирание апостолами колосьев, третьим — исцеление сухорукого, четвертым — исцеление слепого при Силоаме, пятым — исцеление разбитой параличом женщины[477], — то это будет по счету шестой[478]. Дошедшее до мономании почитание субботы чаще всего бывало предметом фарисейской полемики, хотя она постоянно оканчивалась жесточайшим их поражением. Таким образом, в одну из суббот, которая была главным днем иудейских угощений, Иисус приглашен был в дом названного в Евангелии фарисейским начальником, — вероятно высокопоставленного лица и, может быть, члена синедриона. Приглашение это походило на те, которые Он получал и прежде не из почтения, а в видах или пустого любопытства, или злостного коварства. Враги наблюдали за Ним зорко в течение всего обеда. Они исполняли обязанности религиозного шпионства с примерным прилежанием. Среди незваных гостей, которые, по восточному обычаю, стояли всегда вокруг комнаты и смотрели на обедающих, в этот день находился человек, страдавший водяной болезнью. Видное место, на которое больной был поставлен, и зоркое наблюдение фарисеев намекало на то, что он был помещен тут с намерением или для того, чтобы Христос выразил свое почтение к субботним предрассудкам, или для того, чтобы умалить славу Его чудодейственной силы при неудаче исцеления слишком застарелой болезни, меньше всех прочих поддающейся лечебным средствам. Это был уже второй достойный презрения случай, при котором бесчувственные народные учителя были готовы из неисходного бедствия страдальцев сделать орудие для испытания или низложения Спасителя. Но Иисус предупредил их и постарался обойти тонкий подкоп ученого и высокопоставленного общества, предложив простой вопрос:

Позволительно ли врачевать в субботу?

Они не хотели сказать «да!» но не смели произнести и «нет!». Если б это было незаконно, то их прямой обязанностью было утверждать это всегда и на всяком месте, не подвергая, насколько от них зависело, бедного страдальца возможности лишиться испытать на себе действие благодатной силы. Если же они не осмеливались отрицать законность, — из страха ли народа, из опасения ли мгновенного опровержения, вследствие ли невольного благоговения к Христу, или непреодолимой гордости, или, допустив с нашей стороны лучшие мотивы, потому что в глубине сердца, если в нем оставалось хоть одно место, не покрытое корой пустых и противорелигиозных предрассудков, они осознавали, что это вполне законно и совершенно справедливо, — то, вследствие их собственных убеждений, они предоставили Иисусу свободу исцелять даже безо всякого спроса. Таким образом, их молчание, на основании их собственных принципов и доказательств, было полным для Него оправданием. Простой вопрос Его и их неспособность отвечать служили окончательным разрешением спора в Его пользу. Он подозвал к себе человека, исцелил и отпустил домой.

Затем, точно так же, как и прежде, Он обратился к их собственным обыденным действиям. *Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, — не тотчас ли вытащит его в субботу?* Они знали, что как только допустят возможность совершить подобное дело, то доказательство будет неопровержимо; потому что человек лучше скота, и вытаскивание этого последнего из колодца представляет более тяжкий труд, нежели исцеление человека. Таким образом, их низкий, мелочный замысел окончился полным опровержением, признаться в котором у них недостало великодушия.

Каждый из простых сердцем слушателей считал этот вопрос окончательно решенным, а потому Иисус не удостоил его дальнейших рассуждений и обратил мысли собеседников на другие предметы. Водянка их надутого самодовольства была затруднительнее для излечения, нежели болезнь страдальца, которой они хотели Его уловить. Как только угощение было готово, среди высокопоставленных лиц возник один из тех неприличных споров за первенство, который указывал на слабую и наиболее презренную сторону стремлений человеческой природы. Ничто так явственно не обличало лицемерие фарисейских мнений, как их необузданная гордость и кичливость.

Удовольствуемся одним анекдотом. По какому-то случаю царь Янней пригласил разных персидских сатрапов и вместе с ними раввина Симеона Бен Сетага, который, вошедши, сел за столом между царем и царицей. На вопрос о причине такого странного поступка он отвечал, что в книге Иисуса сына Сирахова написано: *превозноси мудрость и она превознесет тебя и поставит тебя между властелинами*[479].

Евреи в этом периоде заняли у греков и римлян, в отношении обедов, систему *триклиний*[480], причем главным местом считалась середина центрального места для возлежания. Замечая, что между гостями выходили споры о местничестве[481], Спаситель предложил более мудрое и лучшее правило общественной вежливости, которое заключалось в глубочайшем духовном смирении. Потому что, как в земном обществе надутый, требовательный и высокомерный человек должен приготовиться к множеству грубых столкновений и нередко бывает вынужден уступать место скромной заслуге, — так и в царстве Божием *всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится*. Гордость, исключительность, самохвальство не имеют места в небесном царстве. Смирение предоставляет единственное средство, которым оно добывается.

Затем Иисус преподал поучение[482], относящееся прямо к слабой стороне характера хозяина. Не роскошь, чванство и угощение с надеждой, что оно будет оплачено тем же, составляют истинные принципы гостеприимства: лучшая награда ожидает милосердие, оказанное бедному, нежели льстивое угощение друзьям и богачам. При приеме друзей я близких нельзя забывать беспомощных и обиженных[483]. Благодеяние из выгоды есть не что иное, как себялюбие, закрытое маской приличия. Может быть, ты получил бы высшее благословение, если бы пригласил остаться человека, одержимого водяной болезнью или если бы все это множество бедных зрителей было в числе твоих гостей.

Вдруг в середине речи Спасителя[484] один из гостей, — вероятно считая Его слова жесткими и неуместными, — вставил свое замечание, которое, при таких обстоятельствах, походило на выдохнувшееся пустословие, с целью рассеять тяжелые впечатления[485]. Вместо того чтобы воспользоваться божественным уроком, он, по-видимому, остался бы вполне довольным, если б этот предмет отложен был на

будущее время, как будто ему в совершенстве известно было блаженство *вкушения хлеба в царствии Пожнем*, тогда как имел о нем самое жалкое и чувственное понятие. Но и это пустое замечание Спаситель умел обратить в новый удобный случай для превосходного поучения, — для доказательства, что «вкушение хлеба в царстве небесном» зависит не только от веры в несомненность его существования, но и от силы желания принять приглашение. Один царь, — сказал Он, — послал множество приглашении на большое пиршество. Но, когда наступило время торжества, все гости отказались. Одному понадобилось заняться хозяйством по имению и осмотреть новое приобретение. Другой затянулся в продажи и покупки, так что не находил свободного времени для явки на пир. Третий начал тяжбу за собственность и о приходе его не могло быть слова. Тогда, разгневавшись на непочтительных и изменивших ему гостей, — царь приказал своим рабам идти по улицам и переулкам, сзывать бедных, немых, хромых и слепых. Когда это было исполнено и все ещё оставались места, тогда послал он рабов по дорогам и проселкам, чтобы убеждали зайти к нему бездомных путников. Применение притчи к настоящим обстоятельствам было незатруднительно. Преданные миру сердца, — поглощенные или заботами о хозяйстве, или собиранием богатств, или спором за жизненные удобства, — равнодушны к истинному пиршеству в царстве небесном Язычники и парии, свободные женщины и мытари, странники на больших дорогах и нищие в городах скорее соберутся туда в большом количестве, нежели книжники с их надутой ученостью или фарисеи с их широкими филактериями. *Ибо скалываю вам, что никто из тех званных не вкусит Моего ужина.* Таково было Его учение, на которое Он часто ссылался. Иное дело быть приглашенным, иное дело принять приглашение. *Ибо много званных, но мало избранных.*

Подобные этим проповеди сходили с уст Спасителя в течение всего периода Его учения. Только что рассказанная нами притча, в ее отдаленном и более обширном значении, была укором фарисеям не только за их упорную исключительность, но и за привязанность их ко всему мирскому и за их жадность.

При другом случае[486], Христос, поучая учеников, для доказательства, как велики должны быть заботливость, вера,

сообразительность и мудрость, чтобы, — распоряжаясь земными делами, выгодами и имуществом, — не потерять при этом прав на наследство в богатствах небесных, рассказал им притчу о неправедном управителе. После глупого и недостойного толкования Юлиана, что будто бы тут поощряется и повелевается обман, притча эта ставила в тупик многих комментаторов. Но что может быть яснее простых из нее выводов? Управляющий, будучи дурным слугой своему господину, высказывает прилежание, твердую решимость и очевидное благоразумие в своих нечестивых планах, для того чтобы избавиться от последствия прошлого: следовательно, будьте верными управителями и приложите то же самое прилежание, решимость и благоразумие к подчинению себе настоящего и временного для отыскивания вечного и будущего. Как управляющий сделал себе друзей из арендаторов, которые, когда ему господин отказал от места, приняли его к себе в дом, точно так же и вы употребляйте ваше богатство (т. е. время, случай, знание) на добрые дела вашим братьям — людям. При расставанье вашем с землей в скудости и наготе от добрых дел эти братья могут наделить вас сокровищами нетленными. Таков, по-видимому, смысл девятого стиха, который составляет все затруднение. Невозможно быть вместе духовным и чувственным; нельзя быть рабом двух господ, служить Богу и маммоне: таково последнее слово Его речи. Примером предусмотрительности в столь близком к ним преступном проворстве Он побуждает их быть предусмотрительными в духовной мудрости.

Хотя проповедь Иисуса была обращена прямо к апостолам, но при этом были и слышали се некоторые из фарисеев. Чрезвычайно характеристично то, что это учение возбудило в них непритворный смех[487]. Они стали открыто и дерзко выражать Ему свое презрение. А почему? Потому что они были фарисеи и закваской их были деньги. Разве они в собственных своих личностях не разрешили удачно задачу: угодить тому и другому миру? Разве кто-нибудь может сомневаться в их будущем спасении, в достоверности того, что им предоставлены будут «главные седалища», лучшие и видные места в будущем мире? Разве они не живые свидетели несостоятельности того учения, что любовь к Богу не совместима с любовью к деньгам?

Ответ Иисуса высказан у евангелиста Луки очень сжато, но заключает тот смысл, что иное дело пользоваться славой доброго

человека, иное дело быть чистым сердцем. В новое царство, путь для которого приготовлен Иоанном, усиливаются войти меньшие мира сего и будут приняты прежде фарисеев, которые отвергли Евангелие, хотя оно не было нарушением закона, а высочайшим его исполнением. Смысл последующего стиха, который как будто не имеет соотношения с предыдущими рассуждениями, таков, что они не остались верными закону, из которого не должна пропасть ни одна черта, потому что позволили себе нарушение самых ясных его положений. В этом отдельном замечании Он как будто бы намекал на их отношение к Ироду Антипе, которого они уважали, которому льстили и которому ни один из них не решился высказать смело упрека, как Иоанн Креститель, хотя, согласно определительных постановлений уважаемого ими, по их словам, закона, развод Антипы с дочерью Ареты был преступлением, а брак с Йродиадой — двойным прелюбодеянием и тяжким грехом. Но для того чтобы выяснить только что высказанную истину, Он предложил им притчу о богаче и бедняке. Случайность ли это или намерение, но во всяком случае любопытно, что богач выставлен в притче без имени, а бедняк назван Лазарем (имя, производное от *Ло*, по халдейски *Ла*, — *езер*, в переводе: «нет помощи», или от *Ели — езерь*, «Бог моя помощь») — как бы в удостоверение, что имена, громкие на земле, забываются, а имена, забытые на земле, написаны на небесах. Подобно всем прочим, эта притча Спасителя полна значения и применима ко многим случаям. Она поставляет на вид, что мнения другого высшего мира очень нередко не сходятся с оценками, которые дают людям на земле; что Бог нелицеприятен; что сердце должно избрать или то, что называется добром в настоящей жизни, или то, чему не сочувствуют внешние ее проявления. Эпилог притчи содержал в себе торжественное поучение, что средства благодати, которые милосердие Божие предоставляет всякой живой душе, полны света и свободы; что, в случае пренебрежения к этим средствам, не будет совершено никакого чуда для ее спасения, если она погрязнет в мирские интересы; что если Моисея и пророков не послушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят. Мы должны почерпать спасение в вере, а не в явлении призраков.

Постоянное указание на жизнь, как на время искушения, а на Страшный Суд, как на время, когда одним словом *придите* или

отойдите, высказанным Судьей, решатся единожды навсегда все пререкания и вопросы, само собой разумеется направляло мысли многих слушателей к этим важным предметам. Но в нашем сердце существует сильное и постоянное стремление относить подобные вопросы к обстоятельствам жизни других, а не к своим собственным, обращать их в вопросы скорее рассчитанного любопытства, нежели практической необходимости. Подобные стремления, которые лишают нравственное учение всей его полезности и обращают предостережение в извинение, очень нередко были останавливаемы и разбиваемы Иисусом. Случай, совершившийся в течение трех дней, в которые Он проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму, подал повод высказаться об этом предмете гораздо яснее[488]. Он говорил, конечно не в первый раз, о малых зачатках и огромном разрастании царства небесного, как в единственной душе, так и е целом мире. Вдруг один из слушателей из неразумного, хотя не неестественного любопытства, спросил Его: *Господи! неужели мало спасающихся?* Подсказан ли был этот вопрос уверенным самодовольством или отчаянием скорби, нам неизвестно; но во всяком случае ответ Спасителя заключал в себе неодобрение такого испытания и установление других взглядов на подобные вопросы. «Несколько» или «много» — понятие относительные. Не тратьте драгоценных случаев в жизни на пустые возгласы, а домогайтесь. Тесны ворота и никто не войдет без упорных усилий. Старайтесь быть такими, какие входят туда, потому что своеобычные, неправильные усилия многих будут напрасны, потому что придет день, когда будут стучать в дверь, но уже будет поздно, чтобы войти в нее; потому что там не будет допущено никакой пристрастной просьбы, не будет поставлено ни во что старое знакомство; потому что некоторые из представляющих себе в своей духовной гордости, что они глубоко познали Бога, услышат роковой отказ: *не знаю вас, откуда вы!* Войдут туда многие из разных стран света, а ты, сын Авраамов, можешь быть исключен из числа допущенных. *И вот,* странно для тебя, но правдиво это слово, *есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.*

Таким образом, немысленный перерыв Его речи и злостный вывод из нее, бестолковый вопрос, грустный и вместе счастливый случай, предоставили Иисусу, вовремя Его путешествия, возможность

высказать слушателям, а через них и лгему миру, поучение о предметах, способных водворить мир душевный. Таким же образом поступил Он, когда один законник встал и, искушая Его, высказал, не для научения, а для спора и опровержения, очень важный вопрос: *Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?*[489] Видя насквозь злые побуждения этого вопроса, Иисус отвечал тоже вопросом: какой ответ на этот вопрос даст закон, изучение и изъяснение которого составляет предмет человеческой жизни? Когда законник перечислил, как следует, все то, что было лучшего в учении современного народа, Иисус, подтверждая его ответ, сказал: *так поступай и будешь жить.* Но желая нечто прибавить и стараясь поддержать справедливость своего вопроса, который был предложен даже с его точки зрения совершенно некстати и, как он сам хорошо знал, с неблагодарным намерением, законник придумал прикрыть свое отступление новым вопросом: *а кто мой ближний?* Зная недалекость и фальшивость понимания законника относительно этого предмета, Иисус, вместо того, чтобы добиваться от него ответа, отвечал сам превосходной притчей. Один человек, сказал Он, проходя скалистым ущельем, ведущим из Иерусалима в Иерихонь, попал в руки разбойников, беспрестанные нападения которых дали этому проходу зловещее имя «кровавого пути». Они, согласно всегдашнего их обычая, обобрали, раздели и оставили путешественника на дороге полумертвым и истекающим кровью. Возвращавшийся в свой город священник, проходя мимо, поглядел на раненого и перешел на другую сторону дороги. За ним левит, взглянув на страдальца с холодным равнодушием, поступил точно так же, как первый. Но проходивший той же дорогой самарянин, на которого потерпевший прохожий посмотрел бы с трепетным чувством национального презрения и с мыслью, что сам вид его есть уже осквернение, — добрый самарянин, образец этого божественного Проводника, отвергаемого и презираемого людьми, но снисшедшего для излечения кровавых язв человечества, не поддававшихся действию ни обрядового, ни нравственного закона, — подошел к прохожему, сжалился над ним, помог ему сесть на своего осла, пошел возле него пешком в жестокой жаре, по опасной дороге. Он не хотел оставить его, пока не предоставил полной безопасности и не предупредил великодушно его нужды. Кто же из этих трех, спросил Иисус законника, был ближний

человеку, попавшемуся в руки грабителей? Законнику не хотелось показаться тупоумным, отнекиваясь незнанием, но и недостало чистосердечия выговорить «самарянин», из опасения быть, наравне с самарянами и язычниками, исключенным из ближних за произнесение этого слова. Поэтому он употребил жалкий перифраз: *оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай также. Я* друг мытарям и грешникам, бери пример с самарянина.

Однако же нельзя предполагать, чтобы все два месяца путешествия были проведены Иисусом Христом в этих тягостных поучениях, которые, будучи возвышенными по содержанию, вытекали из заблуждений и противоречий, встреченных им на пути, и заимствовали от них свою наружную форму. В течение этого времени были и события, исполнившие душу Его чистейшей радости.

Главнейшие из них было возвращение с проповеди семидесяти апостолов[490]. Мы не можем предположить, чтобы они сошлись все вдруг в полном составе, но, вероятно, приходили дать отчет о своих успехах за другими, попарно, по мере того как Иисус приближался к разным городам и селениям. Успех был таков, что наполнил их простые сердца удивлением и восторгом. *Господи,* восклицали они, *и бесы повинуются нам о имени Твоем.* Хотя Он не давал им специально поручения исцелять беснующихся; хотя из одного ясного примера видно, что даже верховные апостолы терпели в этом неудачу; но им предоставляло эту власть одно только имя их Учителя.

Входя в их радость, Иисус сдерживал однако же их излишний восторг, стараясь дать их мыслям более высокое и святое направление. Он дал им почувствовать, что добро всегда могущественнее зла и что победа над сатаной, окончившаяся его низвержением с небес в виде молнии, одержана и должна продолжаться вовеки. Он дал им власть и победу над всеми злыми влияниями, и Его обещание представляет достаточное ручательство за то, что они будут защищены от всякого вреда. Они могут идти на львов и змей и будут попирать их ногами[491]. Так как Он возлюбил их, то Он же и избавит, и превознесет их, потому что они признали имя Его. Но теперь у них есть предмет для радости более сильной, действительной и истинной, хотя менее опасной и личной, а потому менее бросающейся в глаза: это то, что их имена написаны и не будут вычеркнуты в книге жизни на небесах.

При виде этой простой веры и безграничной надежды учеников, Иисус возрадовался духом о том, что хотя был презрен и отвергнут у книжников и фарисеев, но остался в любви и уважении у мытарей и грешников. Бедняк, для которого Он проповедовал Евангелие, — слепой, которому Он открыл глаза, — сухой, которого Он исцелил, — потерянный, которого найти и спасти было Его назначением, — все они будут обязаны сердечною, горячею благодарностью доброму пастырю и великому врачу[492]. Он уже дважды упрекал фарисеев за их презрение к этим личностям: в первый раз в доме Симона фарисея[493], во второй за столом у св. Матфея[494], и теперь повторял в третий раз. Фарисеи могли, по обычаю, роптать за это, — но что до того за дело счастливым слушателям? Трудящемуся и тяжко обремененному Он преподавал во всех возможных видах надежду, благословение и одобрение. Притчею о докучливой вдове[495], Он поучал вере и указал, чего может ожидать неотступная, настойчивая молитва. Притчею о надменном, почтенном с виду, постящемся, раздающем милостыню, самодовольном фарисее[496], который приходил в храм, чтобы похвалиться перед Богом, и ушел менее оправданным, чем бедный мытарь, который, стоя там с опущенными вниз взорами, бил себя в грудь и мог только повторять вопль о помиловании, Он объяснил им, что для Бога истинное раскаяние приятнее, чем наружное поклонение, что смиренное сердце и сокрушенный дух будет для Него всегда лучшими жертвами, которые Он не презрит. Но это не все. Иисус дал им заметить, что они дороги Богу, что они хотя и блудные дети, но все-таки дети. Поэтому к притчам о потерянной овце и потерянной драхме Он прибавил притчу о расточительном сыне.

Нигде, никогда, ни на каком языке человеческом не найдется таких выражений целого мира любви и благости, какие слышаться в этих немногих бессмертных словах! Я уже коснулся этой притчи несколько прежде, но, надеюсь, мир простит желание высказать еще несколько слов относительно этого предмета. Жалкий высокомерный молодой человек, требующий выдела на целую жизнь, оставление им родного пепелища, путешествие в отдаленную сторону, непродолжительная, судорожная радость, затем страшный голод в стране, раковременное истощение всего, что могло облагородить жизнь и сделать ее сносною, последовавшая потом бездна унижения и невыразимой бедности,

опамятование и воспоминание о том, что оставлено назади, раскаяние и глубокое смирение разбитого сердца, встреча с отцом, увидавшим его издали, мгновенное проявление в отце чувств сострадания и жалости к несчастному возвратившемуся расточителю, шумная радость всего дома ради того, кто был любим и потерян, а теперь возвратился, завистливая и мелкая жалоба старшего брата, а потом сладостное заключение притчи обращением отца к старшему сыну: *Сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо было радоваться, что брат твой сей был мертв и ожил; пропадал и нашелся*, все это вместе представляет в сокращенном виде дивную картину заблуждений человеческих и любви Божией, картину, какой не найдется ни в одном письменном памятнике литературы, ни в одном устном рассказе. Сложите в одно место все, что писано и говорено Конфуцием, Сакия Муони, Зороастром и Сократом, — а они писали и говорили много прекрасного, — и сопоставьте им только притчу о расточительном сыне со всеми ее оттенками и значениями: неужели же чистый духом может усомниться, который из сопоставленных предметов будет иметь наибольшую вескость в применении к нуждам человечества?

Таким образом, это великое путешествие приближалось постепенно к концу. Благоговейная торжественность, призрак будущего суда, полу высказан нос «слишком скоро», которое смутно слышалось во всех Его проповедях, все это вместе читается в выражении, сохраненном для нас евангелистом Лукою: *крещением должен Я креститься, и как Я томлюсь, пока сие совершится*[497]. В этих словах слышится тихий стон сильной скорби, которую выражал Иисус и прежде; чувствуется печаль о нарушенном мире и о грустном восстаний людей друг против друга, которые внесет на землю Его учение. Это было глубокое сознание того, что Он скоро должен будет вынести добровольные мучения. Эти слова поразили, по-видимому, всех слушателей, в них родилось предчувствие чего-то великого, — страшного или печального, смотря потому, что говорила каждому его совесть. Чувствовалось приближение какого-то нового переворота в глубине человеческих сердец, нового откровения затаенных дум его. Но фарисеи тоном нетерпения и материализма, а может быть, даже с оттенком насмешки и издевательства, осмелились спросить Его: *когда же придет царство Божие?*[498], как будто говорили: когда же

кончатся все проповеди и приготовления и придет обещанное время? Ответ Его, по обыкновению, указывал, что они смотрят с совершенно ошибочной точки зрения. Приход царства небесного не будет, как они воображают, видим для взоров недалеких и любопытных. Лжехристы и обманщики раввины будут кричать: *вот здесь!* или *вот там!* Но это царство и теперь уже среди их, а, если у них достанет воли и разума узнать и понять, то царство это внутри их самих. Такого ответа достаточно было для фарисеев, но для учеников Иисус дал более полное пояснение. Они тоже не вполне понимали, что царство Божие уже наступило. Взоры их и теперь смотрели вдаль с напряженным и грустным вниманием в ожидании какого-то славного будущего, а в будущем, как бы оно славно ни было, они будут глядеть назад с более глубокою скорбью, даже с некоторою примесью расскаяния, на это прошедшее, — на эти дни Сына человеческого, в которые глаза их видели и руки осязали слово жизни. В те дни да не вовлекут их в ошибку восклицания: *вот здесь! или вот там!* В те дни, при общей лихорадочной и бесполезной деятельности, да не предадутся они спокойствию и золотым удобствам жизни. Потому что Сын человеческий придет быстро, внезапно, страшно, неотразимо, как громовая стрела; придет для всех вообще и для каждого порознь. Но прежде чем это сбудется, Он должен пострадать и умереть. Кроме того, как вода потопила чувственность в дни Ноевы, так пламя Его второго пришествия вспыхнет над чувственностью неожидающего Его мира: огонь и смола спадут с небес на город, подернутый гнилью. Горе тому, кто с прискорбием обратит свои взоры на мир, предназначенный погибнуть навсегда в пламени! Потому что тогда одна ночь насильственно и окончательно уничтожит все жизненные отношения, основанные на законах товарищества и правах семейных.

Такие грустные слова своею торжественностью привели учеников в смятение и ужас. *Где Господи?* спрашивали они в испуге. Но на этот вопрос о месте мог быть точно такой же ответ, как и о времени. Приход царства Божия не подчиняется ни географическим, ни хронологическим условиям. *Где труп*, отвечал Он, *там соберутся и орлы.* Мистический Армагеддон не такое место, чтобы обозначить его длину и ширину. Где существует личная слабость, где есть общественная порча, где есть глубокое народное развращение: туда издалека направят свой полет и орлы, совершители Божеского

отмщения; туда с концов земли стекутся лютые народы, для разбоя и истребления. Ближе всего сказанное выражение Иисуса объясняемся книгою Иова: птенцы его пьют кровь, *и где труп там и он*[499], а также сопоставлением этих выражений с упомянутым во Второзаконии: *пошлет на тебя Господь народ издалека от края земли, как орел налитит народ*[500]. Но яснее всего значение этих слов видно из Апокалипсиса[501]: Иерусалим, нет! весь народ еврейский падет быстро от внутреннего разложения и уже шум от мстительных крыльев слышится в воздухе. Когда целый мир поражен будет окончательно, тогда умолкнет и шум от этих состаившихся орлов.

Не служит ли всемирная история обширным толкованием на это великое предсказание? При разрешении судеб народов и поколений, не возвращался ли Иисус постоянно для освобождения или осуждения?

ГЛАВА XLV

Праздник обновления храма

Нигде, по всей вероятности, не проводил Иисус время покойнее и счастливее, как в тихом вифанском семействе, которое, по словам св. евангелиста Иоанна, *Он любил.* Семейство это, насколько нам известно, состояло только из двух сестер: Марфы и Марии и брата их Лазаря. Что Марфа была вдова, что мужем ее был Симон прокаженный, что Лазарь есть одно и то же лицо с кротким и святым раввином этого имени, упоминаемым в Талмуде, — все это догадки, которые могут быть и не быть справедливы: но из Евангелия очевидно, что семейство это было зажиточное, довольно почтенное, пользовалось общим вниманием граждан не только в маленьком поселении Вифании, но даже и в Иерусалиме. Небольшой, расположенный среди мирной нагорной страны близ Иерусалима, скрытый вершиною Елеонской горы, уединенный дом с его хозяевами, не то чтобы вполне преданными миру, но и не вполне от него отрешившимися, имел для души Иисусовй особую прелесть, тем более что хозяева-друзья всегда с любовью и почтением предоставляли свое святое и счастливое жилище в полное Его распоряжение. Здесь мы находим Его накануне праздника обновления храма[502], которым заключилось Его торжественное путешествие, предназначенное для полного и окончательного провозглашения пришествия Его царства.

Очень натурально, что с приходом такого гостя в маленьком домике стало заметно особое оживление. Марфа, деятельная, усердная, страстная хозяйка, суетилась и хлопотала с необыкновенною поспешностью, чтобы приготовить все для угощения. Сестра ее Мария тоже заботилась о приличном приеме. Но понятия двух сестер о должном к Иисусу почтении были совершенно различны. Зная, что сестра ее была рада сделать все, что нужно для материального удобства высокого гостя, Мария, в глубоком смирении *села у ног Иисуса и слушала слова Его.*

Нельзя порицать Марию, потому что сестра ее видимо радовалась избранной ею самой доле выполнить по возможности лучше требования гостеприимства и могла, без всякой сторонней помощи,

сделать все необходимое. Ошибка ее состояла в том, что она не уравновесила внешней деятельности с внутренним покоем. Трудясь и замышляя послужить Иисусу, ока нарушила свой душевный покой, позволив себе глядеть с некоторого рода завистью на сестру, которая сидела спокойно, «без всякого дела», как думалось ей, у ног их великого Посетителя и возложила на нес все заботы. Если б она дала себе срок обдумать, то конечно поняла бы, что в удалении Мариином от хозяйственных распоряжений было больше уважения, чем себялюбия: но быть справедливым и благородно мыслящим в отношении других если не невозможно, то всегда трудно, в особенности когда примешается какая-нибудь мелочь, вроде жалкой зависти. Таким образом, вместо того, чтобы кротко попросить свою сестру помочь ей, если помощь оказывалась действительно нужною, на что Мария отозвалась бы немедленно, Марфа, в первом припадке оскорбления, стала с нетерпением и не совсем почтительно торопить ее, спрашивая Иисуса: действительно ли Он позволил сестре ее сидеть, сложа руки, оставляя ее одну делать все нужное? Неужели Он не велел Марии идти и помочь ей?

Для несовершенства человеческого, которое домогается различить доброе, великое и истинное, но, при всем желании достичь этого, нередко ошибается, свойственно быть строгим в своих суждениях относительно недостатков в других. Но божественная, высочайшая душа, которая вполне постигает меру совершенства человека, принимает эти недостатки с большим спокойствием и кротостью, вследствие более широкого, любвеобильного взгляда на эти небольшие слабости и уклонения, которые приходится видеть ежедневно. Таким образом, ответ Иисуса, хотя и был упреком, но до бесконечности тонким и кротким, который мог заставить опамятоваться, но не огорчить бедное верующее сердце хлопотливой и любящей женщины. *Марфа, Марфа,* сказал Он с милостивою и снисходительною, думаем мы, улыбкою, осветившею Его лицо, *ты заботишься и суетишься о м югом, а одно только нужно. Мария же избрала благую честь, которая не отнимется у ней.* Этим выражением Иисус никогда не думал порицать дел, предпринятых ради служения Ему, но только дух заботы и суеты, лишение покоя и отдохновения, выражение излишнего гостеприимства, а наиболее всего стремление в христианах, настолько

же озабоченных, как Марфа, но не имеющих святого упования и душевной тишины Марии.

Очень вероятно, что Иисус во время посещения Иерусалима, имел кров в Вифании, откуда короткий и приятный путь через Елеонскую гору приводил Его к храму. Была зима, и в Иерусалиме справлялся праздник обновления храма (Ханнуккаг). Это было 25 число Кислева, совпадавшее в том году, по исчислению Визлера, с 20 декабря. Поводом учреждения его было очищение храма при Иуде Маккавейском в 164 г. до Р.Х., через шесть с половиною лет после страшного осквернения его Антиохом Епифаном[503]. Подобно Пасхе и празднику Кущей, этот праздник продолжался восемь дней и проводился в большой радости[504]. Входные двери храма украшались золотыми венками и щитами. Кроме греческого имени Энкений, праздник этот носил название «Светы» и одною из принадлежностей празднества была общая иллюминация в честь легендарного чуда, заключавшегося в постоянном прибавлении в течение осьми дней священного масла, которое найдено было Иудой Маккавейским в кувшине, запечатанном печатью первосвященника. Присутствие Спасителя на таком празднике освящает право каждой церкви установлять свои обряды и церемонии и доказывает, что Он с одобрением смотрел на радостный энтузиазм народного патриотизма.

Восточный портик храма тогда еще удерживал название портика Соломонова[505], потому что был воздвигнут из материалов, которые составляли часть древнего храма. Здесь под высокой колонадой, покрытой для праздника блестящими трофеями, Иисус ходил один спокойно и, по-видимому, без спутников, обращая, может быть, взор свой по временам через долину Кедронскую на белеющие гробницы пророков, которых избили иудеи, и восхищаясь таким зимним солнечным светом, — когда, хотя и не сверх ожидания, фарисейская партия и её предводители внезапно окружили Его и начали свои допросы[506]. Может быть, место, где Он ходил, вызывавшее память о древней славе; может быть, воспоминание о радостном празднике, который праздновался в годовщину блестящего освобождения, совершенного горстью храбрых людей, ниспровергших громадную тиранию, внушали им горькие жалобы; но они начали с того, что сказали Ему: *долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо.* Скажи нам здесь, в портике Соломоновом;

скажи нам теперь, когда вид этих щитов и золотых венков, мелодия цитр и кимвалов напоминает славу Иуды Асмонея: хочешь ли ты быть больше Маккавея и славнее Соломона? будут ли когда-нибудь точно так же в честь Твою носиться лимоны и пальмы и красивые ветви? Это было странное, нетерпеливое, буйное, но полное значения требование. Оно служило для них ясным осуждением, очевидно доказывая, что Иисус говорил слова и делал дела, которые давали Ему право на подобное от Него требование, если бы сам Он только пожелал определительно высказаться. А так как Он нередко утверждал свое право, как Сына Божия, то подтверди Он теперь в том смысле и таким образом, как им хотелось, они конечно тотчас же приветствовали бы Его шумными восклицаниями. Место, где они говорили, возбуждало самые роскошные мечты об их древней монархии; случай изобиловал героическими воспоминаниями об одних из их храбрейших и действовавших с громадным успехом воинах; окружавшие их политические условия были совершенно одинаковы с теми, от которых их избавил благородный Асмоней. Малейшая искра могла бы в их быстро воспламеняющихся душах обратиться в такое пламя несокрушимого фанатизма, которое разгромило бы на время владычество римлян и иродиан. Но так как час их падения был уже близок и чаша несправедливостей наполнилась, то это упредило бы только на несколько лет окончательное их разрушение, которое на них пало во-первых тогда, как они гибли мириадами при разрушении Иерусалима Титом, а потом, когда ложный Мессия, Барь-Кохеба, и его последователи были страшным образом истреблены при взятии Вефира.

Но время политического освобождения прошло; настал день более высокого, глубокого, обширного, вечного освобождения. О первом они сокрушались, последнее отвергали. Страстно желая слышать от Иисуса притязания на звание исключительного временного Мессии, они с ненавистью глядели на Него, как на Сына Божия и Спасителя мира. Что Он был их Мессией в более высоком и более духовном смысле, чем они когда-либо мечтали, то повторялось в Его речах беспрестанно, но Он не был и не хотел быть Мессией в том смысле, в каком они того желали. Он не вводил их в заблуждение, называя себя их Мессией, но указывал на свое часто повторяемое учение, из которого видимы были ясно его права, и на самые дела, которые

служили доказательством и поддержкою этих прав[507]. Если бы они были овцами Его стада, Он возобновил бы в их памяти великое слово, высказанное месяца два тому назад в праздник Кущей, то они услышали бы Его голос, получили бы вечную жизнь под Его охраною; потому что никто не мог бы исторгнуть их из рук Отца Его, причем прибавил торжественно: *Я и Отец одно.*

В мыслях Его ошибиться было трудно. Этими словами Он заявлял себя не только Мессией, но Божеством. Если же единство с Отцом, о котором Он свидетельствовал, было не что иное, как субъективное единение по вере и послушанию, которое существует между всеми святыми душами и их Творцом, то слова Его были столько же оскорбительны, сколько и изречения их царей и пророков. Но иудеи глубоко поняли то, чего не допоняли ариане, и увидели, что эти слова имели гораздо большее значение. Они, для приведения в исполнение своих безумных и постыдных намерений, нагнулись было, чтобы набрать каменьев, остававшихся от неоконченных построек храма и, если бы пришел час Его, то Ему не избегнуть бы ужасной смерти, постигшей Его первомученников. Но Он обезоружил их словом, произнесенным с невозмутимым величием: *много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите побить Меня камнями? Не за доброе дело,* возражали они, *но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом.* Ответ Иисуса представляет один из тех широких светлых взглядов, которые Он проводил при изъяснении Св. Писания: *не написано ли в законе вашем,* спросил Он, *Я сказал: вы боги*[508]. Если оно называет богами (Елогим) тех, к которым низошло слово Божие, а этот случай не отрицается в их собственном Св. Писании, смеете ли вы сказать тому, которого Отец освятил и послал в мире: «Ты богохульствуешь, потому что сказал: Я Сын Божий»? Он сослался на свою жизнь и дела, как неоспоримые доказательства Его единства с Отцом. Если же Его безгрешная жизнь и чудеса не составляют доказательств, что Тот, которого они хотят побить камнями, не может быть высокомерным богохульником, то какие же нужны для них удостоверения? Они кричат о своем монотеизме; они привыкли думать, что Бог бесконечно далек от человека, а между тем из закона и пророков они могли видеть ясно, что Бог близок, что он на устах и в сердцах тех, которые любят Его и сохраняют в себе внутренний отблеск Его истинной славы. Разве это

не знамение для них, что Тот, кто пришел исполнить прежний и принести высочайший закон, о ком свидетельствовали все пророки, кому Иоанн приготовлял путь, кто говорил, как никто не говаривал, кто совершал дела, каких не совершал никто от сотворения мира, кто подтвердил свои слова и объяснил свои дела божественною благостию и совершенно безгрешною жизнью, Тот говорил им истину, сказавши, что Он одно с Отцом и что Он Сын Божий?

Ссылка была неопровержима. Они не решились побить Его камнями; но так как Он был между ними один и без защиты, то попытались схватить Его. Однако же не могли сделать и этого. Его присутствие внушало в них благоговение. Им пришлось дать Ему свободный ход и глядеть со злобой, как Он проходил между ними. Теперь яснее, чем прежде, обнаружилось, что продолжать учение было положительно невозможно. Он не мог снизойти до их понятия о Мессии, а они — возвыситься до Его учения о Нем. Оставаться между ними значило бы ежедневно подвергать напрасно жизнь Свою опасности. Иудея закрылась для Него, так же как и Галилея. По-видимому, оставался один только участок, где Он на родной земле мог еще быть в безопасности: это Перея, лежащая за Иорданом. Надо было отправиться в другую Вифанию заиорданскую, место, где крестил некогда Иоанн, и там на время водворился Иисус.

Какие события совершились во время этого пребывания и как оно было продолжительно, мы не знаем; однако же видим, что оно не было совершенно безгласно. Св. Иоанн рассказывает, что многие пришли к Нему туда, уверовали в Него и засвидетельствовали, что Иоанн, которого они считали за пророка, несмотря на то, что он не творил чудес, в этом самом месте восторженно свидетельствовал об Иисусе и истинно было свидетельство Его[509].

ГЛАВА XLVI

Последние дни в Перее

Хотя учение Иисусово в Перее было не очень гласно, но тем не менее мы встречаемся и там с фарисеями, которые наблюдают за Ним, поджидают, искушают, пытаются уловить Его на каком-нибудь ошибочном суждении или несправедливом заключении[510]. Злоба их яснее всего выразилась в вопросе, обставленном большими затруднениями: *по всякой ли причине*, спрашивали они, желая искусить Его, *позволительно человеку разводиться с женою своею?*

Затруднения представлялись со всех сторон и по многим причинам. Во-первых, установление Моисеево относительно этого предмета не вполне ясно, вследствие чего оно произвело даже противоположные мнения в двух чрезвычайно сильных и знаменитых в то время раввинских школах, разность в мнениях которых была результатом разности народных обычаев. К этим богословским, схоластическим, этическим и народным затруднениям примешаны были и политические, потому что властители, в чьих владениях задавался этот вопрос, сильно заинтересованы были его разрешением и уже передали на смерть величайших пророков за смелые выражения, которые были враждебны их образу действия. В этих видах раболепные галилейские раввины были уверены, что Иоанн Креститель, заплативши своей жизнью за откровенность, не оставил и тени сомнения, до чего могут довести подобные толкования.

Моисей установил правила[511], что если жена не понравится своему мужу, потому что он найдет в ней какую-нибудь нечистоту (*ервафдабгар* слово в слово: «наготу причины»[512], то пусть напишет разводную, даст ей в руки и отпустит из дома. У шедши от мужа, она может сделаться женою другого. Таким образом, изъяснение этого правила зависело от истолкования выражения *ерваф дабгар* или скорее от значения слова *ерваф*. Вопрос, поставленный у евангелиста Матфея, есть перевод выражения: *аль коль дабгар* — по всякой ли причине. У Сираха читаем: *если она не ходит под рукою твоею, то отсеки ее от плоти твоей*[513]. Толкования раввинов представляли

крайности. По их правилам, женщину можно заставить ходить с непокрытой головой, если она осмелится публично прясть или пересолить кушанье[514]. Позднейшие комментации привели к отвратительным последствиям. Раввин Нахман, остановившись на короткое время в одном городе, во все время пребывания своего там посылал публичного глашатая возвещать о проступках одной женщины[515]. Вообще слово *ерваф* означало пятно или профанацию, поэтому Гилл ел со своей школой толковал это место так, что муж мог развестись со своей женой, если чувствовал к ней отвращение, даже, как решался говорить раввин Акиба, если видел другую женщину, которая нравилась ему больше. Школа Шаммая, изъясняя смысл этого закона, утверждала, что развод допускается единственно в случае прелюбодеяния. Поэтому у евреев была как в отношении этого предмета, так и многих других поговорка: «Гиллел разрешал то, что связывал Шаммай».

Шаммай был прав нравственно, но несправедлив экзегетически; Гиллел был прав экзегетически, но несправедлив нравственно. Шаммай был прав настолько, насколько он видел, что дух Моисеева закона не оправдывает развода по совести, кроме случаев возмутительной безнравственности; Гиллел прав настолько, насколько видел, что Моисей неясным выражением причины допускал возможность развода по закону в менее важных случаях, чем браконарушение. Но при таких обстоятельствах решить дело в пользу одной школы — надо было не только нанести кровную обиду другой, но или довести до крайности разврат большинства, или возбудить неудовольствие высокопоставленного меньшинства. Потому что таковы уже были в это распущенное время общие современные понятия об этом предмете даже между язычниками и огромное большинство евреев руководствовалось толкованием Гиллела. Если у римлян во времена республики проходили целые века без всякого случая публичного развода, то во времена империи, напротив того, так мало уважали брак, что разводы представляли правило, а постоянство в браке исключение. Прошли времена Виргиний, Лукреций и Корнелий; настал век Юлий, Помпей, Мессалин и Агриппин, времена, в которые, как говорил Сенека, женщины считали себе лета не по консульствам, а по количеству сделанных ими разводов с мужьями. Евреи тоже пользовались этим постыдным прецедентом и хотя

многоженство уничтожилось само собой, но они приближались к нему вследствие удобства, с которым могли бросить жену и взять другую. Такие разводы до того часты даже между нынешними евреями, что при небольшом еврейском населении Иерусалима в 1856 году было шестьдесят случаев[516], и каждый еврей может во всякое время и по всякой причине развестись с женой, будучи сам единственным в этом деле судьею. Если что еще предупреждает это зло, совершающееся иногда в припадке досады, то единственно только постановление, что акт развода должен быть подписан тремя раввинами, написан на установленном пергаменте и заключаться ни больше ни меньше, как в двенадцати строках, а выдан при десяти свидетелях. Писатель Иосиф Флавий, который цитируется нередко в этой книге, фарисей из фарисеев, при каждом удобном случае высказывающий свои притязания на глубокую набожность и религиозность, рассказывает, с некоторым оттенком апологии, что был покинут первой своей женой, развелся со второй, от которой имел троих детей, и тогда женился на третьей. Если бы Иисус объявил Себя за Шаммая, так как все Его предыдущее учение заставляло фарисеев быть уверенными, что в этом отдельном вопросе Он должен непременно высказаться таким образом, то Ему пришлось бы произнести публично, что Ирод Антипа — дважды запятнанный прелюбодей, прелюбодейно женатый на прелюбодейке.

Но ни в одном из своих ответов Иисус не руководствовался светскими условиями: был совершенно равнодушен к озлоблению народному и неприятному выражению лиц тиранов. Целью Его было подобным совопросникам, как эти, дать такие ответы, которые могли бы направить их ум к более возвышенным сферам. Их вопрос: *законно ли?* если бы он был предложен чистосердечно, заключал бы в себе и ответ, потому что ничто не законно для человека, в законности чего он сомневается. Поэтому Иисус, вместо ответа, направил их к источнику, из которого извлекается настоящий ответ. Сопоставляя первоначальное повеление Божие с установлением Моисеевым и встречая вопрос любимым ими выражением: *развевы не читали?* Он напомнил им, что вначале Бог, сотворив людей, «двоих их», как сказано в переводе 70 толковников, но не в еврейском подлиннике, мужа и жену, выразил этим свою волю, что брак должен быть крепок, нерасторжим ни по какому случаю; должен быть выше всех прочих людских отношений и

исключать, если нужно, все остальные. «Как же, спрашивали они, желая поставить Его в столкновение с законом, — Моисей заповедал давать жене разводное письмо и разводиться с нею?» Вопрос их, по его форме, принадлежал к тем риторическим изворотам, которые свойственны почитателям буквы, старающимся на извращении слов построить свои извращенные выводы. Направляя их к прямому пути, Иисус отвечал им: *Моисей по жестокосердию вашему позволил* (а не заповедал) *вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так.* Вслед за тем Он бесстрашно произнес формальное осуждение Ироду Антипе, не называя Его по имени, но высказав ясно, что *кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует.* Женитьба же Иродова представляла ужаснейший пример обеих форм прелюбодеяния, что при неразведенной и не подавшей к тому никаких поводов жене он женился на преступной и тоже неразведенной жене Ирода Филиппа, своего брата и хозяина, не имея в оправдание свое ничего, кроме преступной страсти; потому что время первых увлечений прошло как для него самого, так и для его любовницы.

Если бы фарисеи захотели этим воспользоваться, то могли бы поставить Иисуса в столкновение с Антипой и накликать на Него судьбу Предтечи. Они могли, если бы захотели, восстановить против Него обе школы, Гиллела и Шаммая, мнения которых признаны ошибочными: Гиллела за отсутствие нравственных начал, Шаммая — за недостаточно ясное толкование. Но Он озарил ярким светом непреодолимое для них затруднение в законодательстве Моисеевом, указав, что оно было предварительное, а не окончательное, — преходящее, а не вечное. Таким образом, то, на что иудеи, следуя их знаменитому Гиллелу, смотрели как на Божественную заповедь, которой можно гордиться, оказалось, напротив того, только снисхождением, — терпимым злом, кажущимся дозволением, а в сущности для просвещенной совести и чистого сердца постоянным свидетелем неудовлетворительного и грубого нравственного состояния[517].

Смущенные, сбитые в своих суждениях, пристыженные, по обыкновению, фарисеи увидели, что они стали лицом к лицу с высочайшей мудростью, с истинно божественным взглядом и удалились прочь, чтобы обдумать новый, настолько же злобный и

настолько же бесплодный замысел. Но ничто не доказывало в такой степени силы Христова учения, как то, что даже ученики были приведены этим в испуг и смущение. В ужасное время всеобщего разврата, когда даже в Риме брачное состояние вошло до того в отвычку и презрение, что понадобился закон об обложении податью холостяков, апостолы думали, что чистейшая строгость Христовых правил была так сурова, что предпочитала, по-видимому, безбрачие, и это мнение выразили они Ему по возвращении домой. Но в ответе своем Иисус не дал полного предпочтения холостой жизни, которая могла бы, — подобно пагубному влиянию, в эти времена произведенному на миллионы буддистов, восторженными похвалами безбрачию в Сакии Моуни, — возмутить совесть многих миллионов, которых брак был благословен небесами. Он объявил, что безбрачие возможно и желательно не для всех, но для редких и исключительных личностей. Есть люди неспособные к святому супружеству или по природе, или по нраву, или по нахождению их в невольничьем состоянии, которое жило тогда при отвратительных вообще условиях, среди ужасов жестокого рабства. Существуют и такие, которые отстраняют всякую мысль о браке, вследствие особых соображений или высшей необходимости. Ни те, ни другие ни лучше, ни хуже, а совершенно одинаковы». Одни могут жениться и угождать Богу в женатом состоянии, другие могут не жениться и служить Богу, ведя холостую жизнь. Правила эти находят превосходное изъяснение в 7 и 9 главах первого послания к коринфянам. Настоящий смысл их тот, что, кроме редких случаев природной неспособности к брачной жизни, есть небольшое число таких личностей, которые могут веровать, что вследствие известных обстоятельств или вследствие высшего призвания, справедливо и благоразумно избегать брака, потому что они удостоились от Бога дара и благодати воздержания и силы сохранить чистоту жизни; потому что сердце их очищено и возвышено до возможности принять на себя исключительные, необязательные подвиги. К ним-то и относятся слова апостольские. Раввины тоже различали три рода скопцов: *серисхаммаг* (скопцы за грехи или от природы), *серис адам* (скопцы через людей) и *серис биди шамайим* (скопцы для Бога).

В виде трогательного и прекрасного толкования на свои высокие слова и для сильнейшего удостоверения, что брак есть честен и ложе

нескверно, мы читаем вслед за этим описание сцены с детьми, восхищавшей поэтов и живописцев всех веков. Для уничтожения ложных и ненатуральных понятий об исключительном прославлении религиозного действа, Он, еще в начале своего учения удостоив своего благословления брачный пир, в последнее время благословил брак лаской, оказанной детям. В Перее, по-видимому, известно было о близком Его удалении. Поэтому матери и отцы, принимая к сердцу слова, которые Он только что высказал, принесли к нему плоды святого супружества, маленьких детей и даже младенцев, чтобы Он прикоснулся к Ним и помолился над ними, прежде чем оставить их навсегда[518]. Они хотели проститься с Ним торжественно; хотели получить отдельное благословение для будущего потомства. Ученики, считая такой поступок преждевременным и официальным, не хотели, чтобы толпа без нужды беспокоила и стесняла их Учителя; не хотели, чтобы она развлекала Его среди высокой проповеди. Им казалось недостойным, чтобы простые женщины и дети мешали более важным личностям и интересам. В древние времена женщины не были в таком почете, дети в такой любви, как у нас; их не окружали песни и нежности; очень нередко бывали они подвергаемы постыдным жестокостям и грубому пренебрежению. Но тот, кто пришел, чтобы быть другом всех грешников, спасителем страдальцев и больных, пришел и для возвращения женщине должного ей почета, пришел для того, чтобы быть защитником и другом беспомощного младенчества и невинного детства. В церковь Его, посредством таинства крещения, допущены даже ничего непонимающие младенцы, чтобы быть ее членами и наследниками Его царствия. Выговоры, делаемые учениками толпе, Он обратил на них самих и настолько же был недоволен ими, насколько они недовольны родителями и детьми. *Пустите детей*, — сказал Он, в выражениях, которые со всей их бессмертной благостью сохранены для нас каждым из евангелистов, — *и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть царство небесное*. Собрав их вокруг себя, возложив на них руки и благословив их, Он произнес необходимое для всех и с тех пор постоянно всеми повторяемое бессмертное выражение: *кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него*[519].

Евангелист Матфей рассказывает, что когда кончилось это полное благости и глубокого поучения зрелище и Он собрался уже в дорогу,

вероятно, для путешествия в другую Вифанию, о который мы говорили в предыдущей главе, то встретили случай, который до того глубоко врезался в памяти слушателей, что рассказ о Нем мы слышим от трех евангелистов[520].

Молодой человек с большим состоянием и высоким положением в городе, получив, по-видимому, внезапно убеждение, что среди них находится Тот, кто один только мог объяснить Ему истинный смысл и тайну жизни, и что этот человек готовился уже в путь, не захотел пренебрегать таким драгоценным случаем. Решившись не откладывать своего намерения далее, он пришел поспешно, задыхаясь, так что удивил всех присутствовавших, и, простершись у ног Иисусовых, воскликнул: *Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?*

Если в быстром порыве и смирении этого молодого и знатного, чистосердечного и ревностного юноши есть нечто привлекательное, то в вопросе его проглядывается много неприятного. Мнение, что он должен получить вечную жизнь посредством «совершения добрых дел» имеет радикально ложное основание. Если сравнить смысл ответа Спасителя у евангелиста Матфея с ответом Его, переданным другими евангелистами, то увидим, что Господь, по-видимому, хотел сказать юноше: «зачем спрашиваешь меня относительно добра и зачем называешь меня добрым? Истинное добро есть одно — Бог». Иисус настолько же мало желал принимать на себя титул «доброго», насколько и титул Мессии, если тот или другой дается в ложном смысле. Еще менее желал Он быть приятным, как простой «добрый раввин», за которого в это время больше, чем когда-либо прежде, хотели принимать Его люди. Таким образом, Он хотел показать юноше, что если тот пришел к Нему, как к такому, который был больше, чем человек, то все его обращение, точно так же как весь вопрос, были ошибочны: для получения вечной жизни нет других оснований, кроме тех, которые существуют. Если же этот молодой начальник впал в заблуждение, удивясь Иисусу, как простому раввину высокой святости, то никто из раввинов, как бы свят ни был, не привык слышать титул доброго, потому что такой эпитет для раввина был неизвестен евреям и не встречается ни разу в Талмуде. При этом надо заметить, что никто из них не давал особых секретов для сохранения добродетельной жизни. Вследствие этого Иисус

продолжал разговор в том же самом духе: *если же хочешь войти в жизнь вечную: соблюди заповеди.*

Юноша не ожидал такого ясного и простого ответа. Он не мог поверить, чтобы Ему указали прямо на десять заповедей, а потому и спросил с удивлением: *какия?* Так как юноше, по-видимому, хотелось непременно сделать что-нибудь особое, то Иисус рассказал ему важнейшие обязанности из второй скрижали: Он посылал гордых к закону и приглашал смиренных к Евангелию. *Все это,* отвечал юноша с удивлением, *сохранил я от юности моей.* Нет никакого сомнения, что действительно все это было исполнено им, как и миллионом других людей, придерживаясь только к букве закона, но он очевидно знал мало из объяснений, данных Иисусом относительно смысла и значения заповедей. Взглянув на юношу, Иисус полюбил его за его чистосердечие и дал ему краткий совет о кресте. Так как юноша был недоволен общими обязанностями и желал или предполагал совершить что-нибудь необыкновенное, то Иисус предложил ему подвиг. *Одного тебе недостает,* сказал Он, *пойди, все, что имеешь, продай, и раздай нищим, и приходи, последуй за Мною.*

Это было слишком много. Молодой начальник удалился с мрачным видом, с печальным сердцем, *потому что у него было большое имение.* Он предпочел земные удобства сокровищам небесным; не хотел приобрести вечное посредством потери временного; сделал, как говорит Данте, «великое отречение». После этого он исчез из евангельской истории бесследно, дальнейшей судьбы его не рассказывают евангелисты.

Мы можем, или лучше сказать, мы могли бы надеяться и веровать в лучший конец для того, кто полюбил Иисуса, только взглянув на него. И действительно, уныние юноши, вследствие первого затруднительного предложения, крайне опечалило Иисуса. Поглядев на своих учеников, Он сказал, что *трудно богатому войти в царствие небесное.* Слова эти поразили всех своей строгостью. Неужели ни один человек не может быть богатым и ни один богач — быть добрым? Но Иисус, смягчая грусть и строгость слов, задушевным названием их детьми ответил: *дети! как трудно надеющимся на богатство войти в царствие Божие!* Или лучше, как читается в признанных за достовернейшие манускриптах: «дети! как трудно войти в царствие Божие», то есть войти не только богатым, но всякому человеку; причем

добавил: *удобнее верблюду пройти сквозь игольныя уши, нежели богатому войти в царствие Божие!* Замена в этом выражении слова «верблюд» канатом не имеет никакого основания, потому что в Талмуде существует подобный рассказ о слоне и игольных ушах. Толкование, что небольшие ворота в городе, через которые с величайшим трудом проходил вьючный верблюд, назывались «игольными ушами», более вероятно, но нуждается в подтверждении. Однако же слова Иисуса поразили слушателей чрезмерным удивлением. Неужели ни Никодим, ни Иосиф Аримафейский не могут надеяться на получение царства небесного? Разумеется, могут. Невозможное по природе возможно по благодати; невозможное для человека возможно для Бога.

Тогда Петр, желая ли выразить свое удовольствие или отчаяние, высказал: *вот мы оставили все и последовали за Тобою: что же будет нам?* Ответ Иисусов был одновременно одобрением и торжественным предостережением: одобрением, потому что нет ни одного случая самопожертвования, который бы и в этом мире, даже среди преследований, не получил во сто раз больший урожай при жатве духовных благословений и в будущем мире не был вознагражден бесконечно великим даром вечной жизни[521]; предостережением потому, что при этом многие первые будут последними и последние первыми[522]. Для более полного и глубокого напечатления в их сердце той мысли, что царство небесное получается не вследствие торговых рассчетов или точного учета эквивалентов, — что нельзя торговаться о нем с Его небесным Владыкой, — что на всевидящем и глубоко проницающем суде Божием язычники могут быть предпочтены иудеям, мытари — фарисеям, молодые неофиты — маститым апостолам, — Он рассказал им достопамятную притчу о работниках в винограднике[523]. Из этой притчи, среди прочих уроков, почерпается уверенность что так все служащие Богу не обманутся в справедливой, полной и богатой награде, то на небесах не будет ни ропота, ни зависти, ни ревнивых сравнений относительной заслуги, ни унизительных состязаний за первенство, ни жалких споров о том, кто совершил «наибольшую заслугу», кто получил «наименьшую милость».

ГЛАВА XLVII

Воскрешение Лазаря

Эти прощальные свидания и поучения принадлежат, может статься, к тем двум дням, перед которыми Иисус, будучи еще в Вифании Перейской, получил из другой Вифании, где так часто находил себе пристанище, извещение, что *тот, кого Он любит болен*[524]. Лазарь был один из тех задушевных личных друзей, которые были у Иисуса вне среды апостольской, и быстрое извещение выражало конечно просьбу, чтобы пришел Тот, в чьем присутствии, как нам известно, смерть была бездейственна.

Но Иисус не пошел. Занимаясь постоянно великим делом учения, Он удовольствовался посылкой ответа, что *сия болезнь не к смерти, но к славе Божией,* и, промедлив еще два дня, сказал ученикам: *пойдем опять в Иудею.* Вспомнивши, что еще так недавно иудеи искали побить Его камнями, ученики спросили Его, зачем желает Он идти туда снова. Ответ Его состоял в том, что в течение двенадцати часов Его трудового дня Он будет находиться в безопасности, потому что свет Его обязанностей, заключающихся в исполнении воли Отца, будет хранить Его. А затем Он прибавил, что Лазарь уснул и что Онидет разбудить Его. Трое из учеников должны были бы припомнить, что при другом достопамятном случае Иисус называл смерть сном: но или они молчали, а говорили другие, или память их отяжелела для того, чтобы припомнить это. Таким образом, когда им вообразилось, что Он говорит о натуральном сне, то Иисус счел нужным объявить им прямо, что Лазарь умер и что Он рад за себя, потому что пойдет возвратить ему жизнь.

Пойдем и мы, — сказал всегда увлекавшийся, но и всегда отчаивавшийся Фома, — *умрем с ним,* — как будто хотел выразить: «дело бесполезное и опасное, а все-таки пойдем туда».

Вставши рано утром, Иисус мог свободно совершить эти почти тридцать верст до заката солнца; но, по прибытии, остановился вне небольшого поселения. Соседство Вифании с Иерусалимом, отстоявшей от него не далее трех верст, и очевидная зажиточность и высокое положение самого семейства привлекли множество именитых

иудеев для утешения сестер и разделения с ними скорби. Поэтому, при появлении в среду отъявленных врагов, желательно было действовать с осторожностью. Но пока Мария, верная расположению к уединению и созерцательности, сидела в доме, не зная о приближении Учителя, более деятельная Марфа получила уже сведение, что Он близко, и тотчас вышла, чтобы встретить Его. Лазарь умер в тот же день, как получено известие о его болезни: после двух дней промедления в Перее, четвертый провел Иисус в путешествии. Марфа не могла понять такой грустной медлительности. *Господи,* — сказала она тоном кроткого упрека, — *если бы ты был здесь, не умер бы брат мой.* Однако же слова *но и теперь* означали, что она питала смутную надежду, что Иисус выскажет относительно ее потери какое-нибудь слово утешения. Заявление Иисуса *воскреснет брат твой* успокоило не только Марфу, но миллионы людей и будет успокаивать их до конца мира.

Марфа очевидно и не мечтала, что Лазарь проснется от смертного сна, а потому отвечала: *знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день.*

Я есмь воскресение и жизнь, — сказал Иисус, — *верующий в Меня, не умрет во веке. Веришь ли сему?*

Не Марфе с ее духом, преданным хозяйственным распоряжениям, понять смысл и значение физической и духовной смертей, соединенной в одном и том же глубоком выражении: но, не стараясь и вникнуть, ее исполненная веры любовь приготовила надлежащий ответ: *так, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мире.*

Высказав это великое исповедание, она пошла позвать свою сестру, о которой уже спросил Иисус и которой сердце и разум, как вероятно Марфа инстинктивно чувствовала, были более способны постичь высокие истины. Она застала Марию в доме. Таинственность, с которой Марфа исполнила поручение, и молчание, с которым встала Мария, чтобы встретить Господа, доказывали, что предосторожность была необходима и что посещение Иисуса было для Него небезопасно. Собравшиеся для утешения сестер иудеи, которых она внезапно оставила, поднялись тоже с мест, чтобы отправиться к гробнице, куда, думали они, Мария пошла плакать. Но в скором времени они увидели личность, к которой она поспешила. Вне селения они застали Иисуса,

окруженного друзьями, и Марию, торопившуюся к Нему и бросившуюся к Его ногам с тем же самым отчаянным упреком, какой высказала сестра: *Господи! если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой.* Душевное волнение, выразившееся в немногих словах, и потеря духа от скорби не дали ей возможности прибавить что-нибудь более. Может статься, что ее скорбь была слишком глубока для того, чтобы в ней родилась такая же уверенность, как и в сестре; может быть, почтительное смирение заставило ее возложить всю надежду на Господа. Вид подобной любви и горя, грустное зрелище людских лишений, крайняя ничтожность в такой момент человеческих утешений, пронзительный крик наемных, притворных плакальщиц, смешанный с истинною скорбью, недосказанный упрек «о! зачем Ты не пришел прежде, чтобы вырвать жертву у ее врага, спасти Твоего друга от жала смерти, а меня от горчайшего жала подобной разлуки?» — все это сочетание бедствий глубоко тронуло благостное сердце Иисуса. Много усилий надо было употребить Ему, чтобы подавить свои чувства: трепет пробегал по всему Его телу, пока Он нашелся что сказать и только спросил: *где вы положили Его? Говорят Ему: Господи, пойди и посмотри!* Немые слезы текли из очей Его, когда Он следовал на место погребения, и слезы эти не остались незамеченными. Некоторые из иудеев с почтительным сочувствием смотрели на это доказательство привязанности Его к покойному; другие с сомнением и коварством спрашивали: неужели Тот, кто открыл зрение слепому, не мог спасти друга от смерти? Они не слыхали, каким образом Он, в отдаленном галилейском селении, воскресил мертвого, но знали, что в Иерусалиме открыл глаза слепорожденному, и это показалось им чудом не менее изумительным. Но Иисус знал и слышал их толки, которые вместе с прочим зрелищем, где истинная скорбь соединялась с покупными воплями и с неутомимой завистью, так сильно поразили дух Его. Хотя Ему было известно, что идет пробудить уснувшего, но тем не менее Он был в сильном волнении. Селение Вифания нынче называется Ель-Азарийег, от испорченного имени Лазаря и постоянной памяти о чуде. В средине ее показывают глубокую пещеру за Лазареву могилу. Но, посетив сам эту местность, я не верю этому: действительно Ель-Азарийег — древняя Вифания, но гробница Лазаря не могла быть в центре. Гробница, к которой шел Иисус, подобно большей части мест

погребений, принадлежавших зажиточным иудеям, представляла впадину, горизонтально выдолбленную в скале, с плитой или массой камней для закладки хода. Иисус велел отодвинуть *голаль,* как называлась эта плита. Тогда Марфа, отчасти вследствие существовавшего между евреями убеждения, что душа уже окончательно удалилась от разложившегося тела, частью устрашенная, по своей нежной природе, возмутительным зрелищем, которое может открыть удаление камня, стала было отговаривать, потому что в этом жарком климате, при необычной быстроте разложения трупов, похороны совершаются тотчас после смерти. Один из еврейских раввинов умер в Иерусалиме в 2 часа, а погребен в 4 ч. 30 м. Между тем был уже вечер четвертого дня, как умер Лазарь, почему надо было опасаться, что в течение такого времени он мог разложиться окончательно. Иисус торжественно напомнил ей свое обещание, и камень был отодвинут от места, где лежал покойник. Иисус стал при входе; прочие теснились сзади, устремив пристально взоры на мрачную молчаливую впадину. Все онемели, когда Он, возведя взоры к Небу, возблагодарил Бога за наступающее исполнение Его молитвы, а затем, возвысив голос, тогда как обыкновенно говаривал тихо, воскликнул: *Лазарь! иди вон!* Слова эти раздались по всей стране непроходимого мрака, который отделяет нас от грядущего мира, и едва только Он произнес их, как из каменной могилы, подобно привидению, выступила фигура, завернутая в белый, ужасающий саван, с белым платком на голове, поддерживавшим четыре дня тому назад отвалившуюся челюсть. Фигура связана была по рукам и по ногам, но не со страшным мертвенным лицом, а с таким, в котором дышала юность. В ее жилах билась горячая кровь; жизнь, свет и любовь возвратились к Лазарю еще на тридцать долгих лет, как говорит предание[525].

Остановимся ненадолго, чтобы отвечать на вполне естественный вопрос относительно молчания трех прочих евангелистов об этом великом чуде. Чтобы вполне разъяснить его, надо было бы написать длинное исследование о том, как составлялись евангелия. Но и после всего этого мы все еще не придем к окончательному изъяснению очевидных затруднений. Евангелия сознательно и не без цели отрывочны и приходится принять за достоверное, что первые три ведут начало из общего устного предания или основаны на одном или

двух оригинальных и тоже отрывочных документах[526]. Три первых евангелиста сосредотачивают внимание на учении в Галилее и только св. Иоанн повествует об учении в Иудее, хотя первые три евангелиста ясным образом намекают о проповедании Иисусовом в Иерусалиме. Первые три евангелиста названы синоптистами, потому что их евангелия могут быть расположены отдел за отделом в форме таблицы. Хотя это название и ново, но контраст между первыми тремя и четвертым евангелистом замечен с давних времен[527]. Ни в одном из четырех евангелистов нельзя найти полного числа притч, проповедей и чудес Иисуса; ни один не имел в предмете написать полный рассказ о трех с половиной годах Его общественной жизни, каждый передает события, которые были ему лучше известны, как очевидцу, или из отдельных документов, или из устного предания, но каждый рассказывает вполне достаточно, чтобы доказать, что Иисус был Христос, Сын Бога живого, Спасителя мира. Воскрешение Лазаря не могло казаться им большим чудом, чем другие[528], о которых они рассказывали, тем более что для измерения величины чудес, как никто удачно выразился, инструментов не выдумано. Самое событие происходило в Иудее. Таким образом, причина пропуска у трех первых евангелистов этого происшествия была та же самая, по которой пропущены ими чудеса при овчей купели и при исцелении глаз слепорожденного. Но, исследуя вопрос глубже, мы легко можем заметить следы видимого желания синоптистов не упоминать ни одного слова относительно вифанского семейства. Дом, в котором пользовались они особым уважением, назван у них «домом Симона прокаженного»[529]; св. Лука даже Вифанию не называет ее именем, а говорит «одно селение»[530], хотя очень хорошо знал это имя. Отсюда легко можно вывести заключение, что когда появилось Евангелие от Матфея в первоначальном его виде и когда собраны были материалы, которые находились у двух остальных синоптистов, существовали, должно быть, особые причины для того, чтобы не разглашать этого чуда, которое должно было поставить в опасное положение человека, бывшего тогда еще в живых и небезопасного от ненависти иудеев, искавших его убить, как живое свидетельство чудодейственной силы Христа Спасителя[531]. Даже если бы и не грозила опасность, то все-таки им было бы, очевидно, неприятно сделать спокойную вифанскую

семью предметом напряженного и дерзкого любопытства и подвергнуть расспросам о совершившихся в ней событиях. Было что-то, что запечатывало уста евангелистов; было препятствие, которое давно отстранилось, когда в первый раз появилось на свете Евангелие св. Иоанна.

«Если Моисея и пророков не слушают, был ответ Авраама богачу в притче, то если бы кто из мертвых воскрес (Лазарь), не поверят». Так именно это и было. Многие из очевидцев чуда, увидев его, поверили, а другие только сделали злобный и возмутительный донос синедриону в Иерусалиме.

Синедрион принял извещение с ненавистью и смущением[532]. Он не мот отвергать действительности чуда и не хотел веровать в совершившего его. Старейшинам, по складу ума человеческого, нельзя было не страшиться возрастающего влияния Иисуса, нельзя было не предполагать, что Он воспользуется им, чтобы сделаться царем и, сокрушив римское вмешательство, уничтожить их политическое существование. Во время таких беснований в бессильном совете Иосиф Каиафа обратился к ним со словом. Он был гражданским первосвященником и находился в этом звании одиннадцать лет с 25 г. от Р. Х., когда Валерий поместил его на эту должность, до 36 от Р.Х., когда Вителлий сместил его. Звание первосвященника передавалось римлянами в последнее время беспрестанно из рук в руки, так что наконец явилось их одновременно пятеро: Анна, Измаил-Бен Фаби, Елеазар Бен Ганан, Симон Бен Камгиф и Каиафа[533]. Большая часть почестей, которые принадлежали званию Каиафы, переданы были Анану, Анне, — или называя правильно по-еврейски, Ганану, который лишен был первосвященства римскими властями. Однако же он (как мы увидим после) носил звание *Наси* или *Сагана;* по крайней мере строгие иудеи глядели на него, как на действительного первосвященника, Каиафа же был первосвященником по имени и для виду. Но, по званию первосвященника, в нем предполагался царь пророчества, который, как тогда думали[534], слишком слабо уже проявлялся в потомках Аарона, после того как не стало ни видений, ни Урима, ни предзнаменований, ни пророкос, ни Баф-Коля, или «познания воли Божией», которое получали первосвященники преемственно. Каиафа встал с места, чтобы высокомерно и бесстыдно высказать свое политическое, до низости себялюбивое и

несправедливое убеждение, что все предложения членов невежественны и что нельзя не принести в жертву одного, — он не хотел знать и определять невинного или виновного, — для спасения целого народа или, как выразился Иоанн, не за народ только, но за всех детей Божиих, рассеянных по свету. Члены синедриона тотчас же, не колеблясь, приняли этот голос бессознательного пророчества. Но принимая его, они наполнили до краев чашу своих несправедливостей, совершили преступление, которое ускорило их рассеяние, разразилось громом над их преступными головами. Это было жертвоприношение Молоху, — отвратительнейшее, чем принесение в жертву людей, которое во времена Манассии осудило их на второе ужасное и жестокое истребление. Некоторые из этих злоумышленников должны были дожить до последствий, чтобы научиться тому, что нравственная несправедливость не может быть прилична политике. Смерть Невинного, не спасши народа, ускорила гибель, которая тяжелее всего отозвалась на участниках замысла. Когда идумеяне вошли в Иерусалим, — все члены касты священников, какие нашлись там, были избиты. Ганан (сын евангельского Анны) и Иисус из Гамалы подверглись ужаснейшим оскорблениям; трупы их были лишены погребения, — обида неслыханная для евреев! Таким образом погиб сын главного виновника смерти Иисуса. Это положило конец партии саддукеев, — партии нередко надменной, эгоистичной и жестокой. Вместе с Гананом погибло древнее первосвященство евреев, составлявшее наследственную *при*надлежность знатных саддукейских фамилий… Глубоко было чувство ужаса, когда увидели, как выбрасывали вон из города, предавали псам и шакалам этих высокопочитаемых аристократов… Исчез, можно сказать, целый мир. Не умея сам из себя образовать государство, этот народ должен был дойти до точки, на которой видим мы его осьмнадцать столетий, то есть «жить вроде паразита в чуждых владениях». Некоторые из членов синедриона не были на этой горе злобного совета, как по преданию назывался дом Каиафы; но если бы они там находились, то наверное не согласились на подобный произвол. С этой поры произнесен был тайный приговор, которым Иисус осуждался на смерть. С этой поры Он жил, но глава Его была уже оценена.

Оригинально то, что тайный приговор стал тотчас известен всем. Иисус также знал о нем и на последней неделе своей земной жизни,

при приближении Пасхи, во время которой Он думал принести в жертву свою жизнь, Он удалился в пустынное местечко, называемое в Евангелии Ефраим, у св. Евсевия и блаженного Иеронима — «большим селением», а у Иосифа — «городком». Местоположение его в настоящее время определить с точностью невозможно. Но там, вдали от всяких смут и козней заклятых врагов, Он провел спокойно и счастливо последние недели своей жизни, окруженный единственно учениками. Приспособляя в этом мирном уединении их дух к великому делу, Он изощрял их серпы для поспевающей жатвы мира. Никто (или немногие, кроме этих верных товарищей) не знал, где Он скрывается, потому что фарисеи, когда увидели невозможность держать в тайне своих намерений, распубликовали повеление, что кому известно местопребывание Иисуса, тот должен открыть им, чтобы они могли схватить Его, если нужно, силой и исполнить приговор, который ими постановлен. Но о подкупе не говорилось ни слова.

Продолжительно ли было это глубокое и очень опасное удаление от мест учения, нам не рассказано и мы не можем снять покрова молчания, который пал на евангельские летописи. Если на решение, к которому пришел *Беф-Дин* (то есть неполное собрание синедриона) в доме Каиафы, глядели как на формальный смертный приговор, то нет ничего невозможного, что эти мелочные законники исстрадались, выжидая сорок дней: не принесет ли кто свидетельства в пользу обвиняемого. Но слишком сомнительно, чтобы они стали таким образом тянуть дело, потому что эта гибель Иисуса имела вид скорее жестокого насилия, нежели законного суда.

ГЛАВА XLVIII

Иерихон и Вифания

С конической вершины Ефраима Иисус мог видеть толпы путешественников, когда они с приближением Пасхи начали спускаться в Иорданскую долину к Иерусалиму, чтобы различными обрядами успеть до начала праздника очистить себя от осквернения[535]. Настало время покидать это сокровенное место, и Он сошел на большую дорогу с намерением присоединиться к большому каравану галилейских богомольцев[536].

Оглянувшись на маленький город и пустившись в путешествие, целью которого был Иерусалим, Он весь проникся пророческой торжественностью и восторгом души, борющейся с естественной телесной скорбью, вследствие окончательного решения принести себя в жертву. Во всех Его движениях, в каждом взгляде просвечивалось какое-то небывалое еще доселе, особое величие. Это было преображение самопожертвования и, подобно преображению славы, исполнило души тех, которые видели Его, неизъяснимым изумлением и ужасом[537]. Немного в евангелиях столь поразительных картин, как это шествие Иисуса на смерть! Он проходил один со склоненной вниз головой, во всем величии скорби, по дороге в глубокой долине, а за Ним в отдалении с благоговейным почтением, страхом и надеждой, с устремленными на Него взорами, тянулась вереница апостолов, не смевших прервать Его размышлений. Но вот Он приостановился, подозвал их к Себе и в третий раз, полнее, яснее, с более поразительными и ужасающими подробностями, нежели прежде, высказал им, что Он будет предан священникам и книжникам, осужден ими, передан в руки язычников, которые истяжут Его, поругаются над Ним, и наконец теперь в первый раз открыл величайший из всех ужасов, что будет распят, но в третий день воскреснет. Однако ж сердца их были полны надежд, связанных с еврейским понятием о Мессии; они вполне преданы были мысли, что вот настанет царство Божие во всем Его блеске, что пророчества пройдут мимо них, как

легкий ветер; одним словом, они не могли и не хотели понять слов Иисусовых.

Ничто так поразительно не выказывает неспособности апостолов усвоить себе мысль, которую передавал им Иисус, как принесение во время этого же путешествия, почти что вслед за словами Иисуса, высказанной совершенно некстати просьбы со стороны Саломии и двух ее сыновей. Одна из постоянных спутниц Иисуса, Саломия, со скрытным и таинственным видом подводя двух своих сыновей, Иакова и Иоанна, которые считались между верховными апостолами, подошла к Иисусу, поклонилась Ему и просила обещать им милость. Чего же желают они? — спросил Иисус. Тогда мать, говоря за пылких и горделивых сердцем детей, умоляла, чтобы они в царстве небесном сидели один по правую, другой по левую Его руку. Иисус с кротостию принял это себялюбивое заблуждение. В слепоте своей они просили себе такого места, на котором, спустя несколько дней, почувствовали бы стыд и скорбь, — очутившись между двух распятых разбойников. Воображение их преследовали двенадцать престолов; Его дума была о трех крестах. Они мечтали о земных венцах; Он говорил им о чаше горечи и о крещении в крови. Могут ли они вместе с Ним выпить эту чашу и креститься тем крещением? Теперь только, может быть, понявши несколько Его мысль, они ответили смело: *можем.* Тогда Он объявил им, что с ними это сбудется, но право сидеть по правую и по левую Его руку сохраняется для тех, которых удостоит Отец Небесный. «Престол, — говорит Василий Великий, — есть награда за труды, а не милость, предоставляемая гордости, — награда за праведную жизнь, а не уступка на просьбу».

Десятеро остальных апостолов, услыхавши об этом, конечно вознегодовали на тайное покушение двух братьев превосхитить особые небесные почести. Им не приходило на ум, что подобной награду должно предшествовать страдание и мученическая смерть[538]. Все это будет им открыто в свое время, а теперь Иисус, созвавши всех вместе, поучал[539], как это делывал часто, что высочайшая почесть приобретается глубочайшим смирением. Призрачное земное господство выражается подобием власти над людьми, призраком непродолжительного влияния на своих ближних, — вследствие чего оно, стараясь доказать свое владычество, налагает гнет на подвластных ему. В царстве небесном господствующий над всеми

должен быть слугой других, так как сам Царь Небесный проводил свою жизнь в унизительном служении и приготовлялся отдать ее в искупление за многих.

Приступая к рассказу о последующих событиях, я считаю долгом предварительно заметить, что люди мало сведущие в Св. Писании легко могут смутиться здесь очевидным разногласием между евангелистами[540]. Евангелист Матфей говорит об исцелении двух слепых, тогда как прочие два евангелиста упоминают только об одном; в рассказе св. Матфея прибавлено, что чудо совершено, *когда выходили они из Иерихона*, а св. Лука ясно высказывает, что событие происходило, *когда подходил Он к Иерихону.* Но всякий рассудительный читатель отнесет эту разницу единственно к неточности, которая, нисколько не уменьшая достоверности события, может встретиться у евангелистов, как и у всякого другого вполне достоверного свидетеля. Существует около сорока или пятидесяти способов примирения этого разногласия, но все они хуже, чем этот самый предполагаемый недостаток. Я согласен еще допустить предположение Макнайма, что чудо совершено между двумя Йерихонами, — старой стороной Ханаанской и новой полу-Иродианской, причем один слепец исцелен при входе, другой при выходе из города: но полагаю, что если бы св. Матфей говорил о Вартиеме и его вожаке, как о двух слепых, или, если бы в течение времени какая-нибудь ничтожная неточность вкралась в первоначальный текст Евангелия св. Луки, то я не вижу причины стесняться, не вдаваясь в бесплодные выдумки, допустить такое предположение, в котором нет ничего оскорбительного, что вследствие краткости и отрывочности евангельских рассказов оказалась неточность, а если бы известны были все мелкие подробности, то уничтожилось бы и разногласие.

Приближаясь к Иерихону чрез выжженный солнцем, безлесный Гор, путешественники встретили толпы сопутствующих богомольцев, которые становились гуще и гуще. Вечером в четверг 7-го или утром в пятницу 8 — го Нисана они добрались до окрестностей Иерихона, этого знаменитого города, — города благоуханий, роз и пальм, одним словом, «Божьего рая»[541]. В настоящее время это жалкая и ничтожная арабская деревушка, но тогда был красивый и населенный город, стоящий на зеленом, цветущем оазисе, богатом медом, миррой, водой в

источнике Елисеевом и других великолепных ключах. Вблизи города сидел слепец Вартимей, сын Тимея, просивший милостыни вместе с товарищем его несчастия. Услышав шум от проходившего множества народа и осведомившись, что это был Иисус из Назарета, они стали кричать: *Иисус, Сын Давидов, помилуй нас!* Толпа считала эти крики недостойными величества Того, Кто должен войти в Иерусалим, как Мессия своего народа, но Иисус, услышав их, был глубоко тронут, остановился и велел позвать слепцов. Тогда услужливый народ переменил тон и сказал Вартимею, который выдается в рассказе настолько более, что два других евангелиста не поминают о его товарищах: *не бойся, вставай, зовет тебя.* В порыве радости, сбросив с себя аббу, слепец вскочил с места и был приведен к Иисусу. *Чего ты хочешь от Меня?* спросил Иисус. *Раввуни!* — отвечал слепец, давая Ему самый почтительный, какой только знал, титул, — *Раввуни, чтобы мне прозреть.* Учителя, смотря по почету, назывались у евреев: *Рае, Равви, Раввин* и самая высокая степень *Раввуни. Иди!* отвечал Иисус, — *вера твоя спасла тебя.* Он коснулся до глаз Вартимея и его товарища, и слепцы, с возвращенным зрением, последовали за Спасителем среди радостной толпы, славя Бога.

Остановка в Иерихоне, прежде входа в опасную, скалистую, населенную разбойниками горловину, которая вела оттуда в Иерусалим, была необходима. Горловина эта представляла необделанный без перерывов шестичасовой всход на гору, подошва которой была на 600 ф. ниже, а вершина почти на три тысячи фут. выше уровня Средиземного моря. Самое значительное население Иерихона составляли священники: поэтому естественно можно было ожидать, что Царь, сын Давидов, наследник Моисеев, будет принят в дом потомков Ааароновых. Но место, избранное Иисусом для отдохновения, определилось другими обстоятельствами[542]. Для собирания доходов с огромной торговли разного рода благовонными товарами[543], которая там процветала более, чем во всяком другом месте, и для правильного вывоза и ввоза из римских провинций во владения Ирода Антипы и обратно, в Иерихон, учреждена была огромная колония мытарей. Из числа главных между ними был один, по имени Закхей (сокращен, от Захария — «чистый») — дважды ненавистный народу: за то, что иудей, и за то, что исполнял свои обязанности близ святого города. Официальное его звание начальника

мытарей только увеличивало общую ненависть, потому что иудеи глядели на это звание, как на заслуженное исключительной деятельностью на службе их угнетателей римлян, а на богатства мытарей, как на верное указание бесчисленных насилий. В этом человеке зародилось сильнейшее желание собственными глазами увидеть Иисуса вблизи; но, будучи мал ростом, он не имел возможности из густой толпы даже взглянуть на Него. Поэтому, когда Иисус проходил через город, Закхей забежал вперед, влез на низкие сучья смоковницы, которая росла близ дороги. Под этим деревом надо было проходить Иисусу, и мытарю представлялась полная возможность видеть единственного из всей его нации человека, который не только не выказывал сосредоточенной и фанатичной ненависти к тому классу, к которому он принадлежал, но, напротив, избрал среди его самых ревностных слушателей и возвысил их до звания апостолов. При виде Иисуса сердце Закхея забилось от радости и благодарности, когда Великий Пророк, признанный Мессией своего народа, остановился под деревом, взглянул вверх и, назвав его по имени, повелел поторопиться сойти вниз, потому что вознамерился быть гостем в его доме. Таким образом, Закхей не только мог видеть Иисуса, но принять Его, разделить с ним вечернюю трапезу, предложить Ему свое жилище: одним словом, ему, проклятому мытарю, предстояла честь иметь гостем славного Мессию. С непритворной радостью Закхей поспешил сойти вниз с ветвей сикомора и направил путь к дому. В настоящее время развалины, носящие на себе характер сарацинской архитектуры XII столетия, в жалкой деревушке Рина (древний Иерихон) называются домом Закхея. Ропот толпы, при изъявлении Иисусом желания посетить мытаря, был продолжителен, громок и единодушен. Они считали неполитичным, неприличным, достойным порицания, что царь, среди своих восторженных последователей, войдет в дом человека, которого занятие было символом народного унижения и который при этом занятии пользовался, как они открыто говорили, дурной славой. Но улыбка одобрения, милостивое слово Иисуса были для Закхея важнее, нежели ропот и оскорбления толпы. Его не презирал Иисус: что же ему за дело до презрения народного? Иисус почтил Его и с тех пор он будет почитать и уважать себя. Как все, что было в нем низкого, вызывалось прежде наружу презрением и ненавистью, так теперь все,

что было в нем благородного, всплыло наверх вследствие изъявления ему расположения и уважения. Он решился стремиться быть более и более достойным своего знаменитого Гостя; решился употребить все свои силы, чтобы не заслужить вперед Его немилости. Ставши таким образом гораздо выше толпы, он высказал не ей, которая его презирала и о которой он не заботился, но своему Господу обет, свидетельствовавший его великодушие и раскаяние и запечатлевший его прощение: *Господи! половину имения моего я отдам нищим и, если кого чем обидел, воздам в четверо.* Это великое пожертвование тем, что до сего времени он считал драгоценнейшим в жизни, это, сколько возможно, полное возвращение прибыли, нажитой некогда бесчестно, эта публичная исповедь и публичное заявление возвратить недобром нажитое, служило его Спасителю порукой, что благость Его излилась не на бесплодную почву. Любовь одним прикосновением открыла затаенные источники раскаяния, которые презрение запечатлело было навсегда. Ни один случай этой триумфальной процессии не представил Иисусу более глубокой, более святой радости. Отыскать и спасти погибшего не было ли Его истинным призванием? Глядя на мытаря, облагороженного только что сделанным отречением от плодов греха, что и служило неложным свидетельством истинного раскаяния, Иисус воскликнул: *ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама.* Легенда[544], что впоследствии времени Закхей был епископом Кесарии, принадлежит к позднейшим и не может иметь большого значения.

Чтобы доказать иерихонцам, как ошибочны были их ожидания и какое глубокое заблуждение заключается в тех принципах, на которых основывали они свое обвинение Его в том, что Он воспользовался гостеприимством Закхея, Иисус (за столом в доме мытаря или, скорее, уже вышедши снова к народу) рассказал притчу о человеке высокого рода, отправлявшемся в дальнюю сторону для получения царства. Многим покажется совершенно непонятным, какой «человек высокого рода» может ехать в дальнюю сторону с целью получить царства. Но известно, что все это случилось с Архелаем и Антипой[545]. По делу Архелая, который отправлялся к Августу для испрошения себе царских прав, иудеи действительно послали депутацию из пятидесяти человек для донесения о жестокостях тетрарха, который сначала и потерпел неудачу, но впоследствии желания его осуществились и

права его были увеличены. Филипп[546] защищал собственность брата во времени его отсутствия от захвата её проконсулом Сабином[547]. Великолепный дворец, построенный Архелаем в Иерихоне, конечно привел Иисусу на память эти обстоятельства, и притча Его, представляя поразительный пример высочайшего учения, извлекаемого из самых обыкновенных, окружавших Его обстоятельств, служит с тем вместе новым, неподозреваемым указанием достоверности и истины Евангелия. Взрыв удивления народа, который прервал Его рассказ вопросом: *Господин! у него есть десять мин?* представляет доказательство, с каким напряженным вниманием слушал народ эту притчу.

Избрав таким образом знакомый народу случай из семейства Иродов, Иисус говорил, что одно высокопоставленное лицо, отправившись путешествовать в отдаленную страну за получением царства, раздало своим слугам по мине (фунт серебра), чтобы впредь до его возвращения каждый из них пускал в оборот эти деньги. Ненавидевшие его граждане послали вслед за ним посольство, чтобы хлопотать об отказе в его претензиях. Но на досаду их, царство было за ним утверждено. Он возвратился, чтобы наказать своих врагов и вознаградить слуг, по относительной их верности. Один неверный раб, вместо того чтобы пустить в оборот вверенную ему сумму, завязал ее в платок и возвратил господину с несправедливой и дерзкой жалобой на его жестокость. За это слуга лишился своей мины, которая была отдана наиболее заслужившему рабу. Причем все добрые и верные рабы были роскошно вознаграждены, а возмутители истреблены и убиты. Притча эта имеет многостороннее применение. Она указывает на близкое удаление Иисуса из мира, на ненависть, с которой отвергнут Его, на обязанности верующего употреблять на пользу все, что ему вверяется, на неизвестность второго пришествия Спасителя, на достоверность, что при возвращении Он потребует отчета, на осуждение ленивого, на блистательную награду тем, которые хорошо послужат Ему, на окончательную гибель тех, которые покусятся отвергнуть Его. Во время рассказа караван, вероятно, остановился и путешественники окружили Его толпой. Оставляя их обдумать значение притчи, Он пошел вперед один во главе длинной процессии[548]. Народ почтительно отступил назад и много глаз следило за Ним с

благоговением, когда Он тихо проходил длинной, раскаленной, бесплодной горловиной, ведущей в Иерусалим из Иерихона.

Он не думал избрать своим постоянным местопребыванием город Иерусалим, но предпочел, по обыкновению, остановиться в любимом доме в Вифании. За шесть дней до Пасхи, в пятницу, вечером 8 Нисана 780 г. от построения Рима (31 марта 33 г. от Р.Х.) прибыл Он туда до солнечного заката, которым начиналась суббота перед Пасхой, называемая *Саббат Гаггадол,* или Великая суббота. Здесь Ему пришлось расстаться с толпой богомольцев, из которых одни отправились воспользоваться гостеприимством друзей, другие, по обычаю, строить себе палатки и шалаши в долине Кедронскои и около западных склонов горы Елеонской.

Суббота прошла спокойно, и вечером приготовлен был, по обычаю, ужин[549]. Св. Матфей и Марко говорят несколько таинственно, что этот праздник был проведен в доме Симона прокаженного. Св. Иоанн не говорит, кто был Симон прокаженный, имя которого не встречается нигде в другом месте; из самого же рассказа ясно, что вифанское семейство во всех отношениях заведовало приготовлениями. Марфа, по-видимому, занималась хозяйством, а воскресший Лазарь был предметом такого же любопытства, как и сам Иисус. Вифанское семейство занимало очень видное положение в обществе, и члены его вели со многими приязнь и знакомство; поэтому народ толпами приходил взглянуть на воскресшего Лазаря.

Замечательное и неоспоримое чудо, которое над ним совершилось, было причиной того, что многие уверовали в Иисуса, но вместе с тем приводило партию начальствующих в Иерусалиме в такое отчаяние, что она тотчас же составила совет, как извести это живое свидетельство сверхъестественной силы Мессни, которого они отвергли. Но так как воскрешение Лазаря стояло в таком близком соприкосновении с целым рядом описанных у первых трех евангелистов событий, то мы снова приходим к заключению, что должна была существовать для нас только смутно предполагаемая, а для того времени вполне достаточная причина, почему они видимым образом умалчивают о доме и именах его владельцев, где проведена была Спасителем эта суббота. Мы со своей стороны не находим других, кроме вышесказанных прежде, следов к объяснению того, что Марию они называют *какая-то женщина,* пропускают всякий намек

на Марфу и Лазаря и рассказывают, что замечательный ужин был изготовлен *в доме Симона прокаженного*. Кто же, наконец, был этот Симон прокаженный?

Понятно, что в это время он не мог быть прокаженным, потому что не мог бы жить в своем доме и находиться в обществе. Не был ли он исцелен Иисусом и не было ли это одной из причин глубокого верования в Него и сердечной привязанности, по которым Иисус считался в этом семействе всегда дорогим гостем? Мы не можем ни отвечать на эти вопросы, ни получить достаточно данных для определения: был ли этот Симон отцом Марфы, Марии и Лазаря, или, как предполагали некоторые, мужем Марфы, а потому не можем утверждать положительно, что Марфа была после него вдовой и наследницей дома.

Но как бы то ни было, праздник был замечателен не по количеству иудеев, собравшихся удостовериться в чуде, взглянуть на назаретского пророка и на человека, которого Он воскресил из мервых, но единственно по достопамятному событию, случившемуся во время самого ужина и бывшему прямым первоначальным приготовлением Иисуса к печальному и тягостному Концу.

В присутствии любимого и возвращенного к жизни брата, в присутствии еще более обожаемого поэтому Господа, — Мария не могла удержать порывов чувств глубочайшего благоговения. Она не принимала участия, как сестра ее, в деятельном распоряжении праздником, но сидела, думала и глядела. Пылкое сердце ее не могло выдержать, чтобы не выказать внешнего знака любви, благодарности и обожания. Она встала, взяла алавастровый сосуд с индийским нардом, подошла тихо к Иисусу, разбила руками сосуд и взлила неподдельный драгоценный нард сначала на Его голову и ноги. Затем, — не обращая внимания ни на кого из присутствующих и не видя никого, кроме Его одного, — она вытерла эти ноги своими длинными волосами. Весь дом наполнился дивным ароматом. Со стороны Марии это было действием глубокого уважения и совершенной преданности, но сопутствовавшие Иисусу, бедные галилеяне, мало привычные к какой-нибудь роскоши, должны были изумиться необыкновенному для них истреблению в одну минуту таких драгоценных благоуханий. Никто, кроме людей, обладающих духовными дарами, не мог почувствовать, что превосходный запах, наполнявший дом, мог быть принят Богом в *воню*

благоухания духовного, что даже этот дар был бесконечно мал сравнительно с любовью той, которая приносила его, и с достоинством Того, кому он приносился.

Там был человек, которому этот поступок был окончательно ненавистен и отвратителен. Нет порока, который бы так поглощал всего человека, делал его неразумным и низким, как скупость, а она-то и была грехом, господствующим над мрачной душой предателя Иуды. Неуспех в битве с собственными искушениями, — обман в ожиданиях, привлекших его сперва к Иисусу, невыносимый упрек, проникавший все его существо при ежедневном общении с безгрешной чистотой, — мрачный призрак преступления, стоявший поперек его пути, но не замечаемый им при ясном солнечном свете, в котором он находился в течение многих месяцев, — сознание, что взоры его Учителя, а может быть, даже взоры некоторых из товарищей апостолов, прочитали или начали прочитывать скрытые тайны его сердца, все это постепенно обращало начинавшееся отчуждение в ненасытное отвращение и ненависть. Вид пожертвования со стороны Марии, сожаление, что невозможно положить в кошелек, который всегда был при нем, такой значительной суммы, обладание которой удовлетворяло его жадности к золоту, — наполняли его сердце негодованием и бешенством. В нем поселился дьявол. Ему казалось, что будто бы эти деньги принадлежали ему по праву, будто бы он был обобран. *К чему такая трата?* сказал он с негодованием. Увы! Как часто и теперь повторяются эти его слова, потому что где только существует порыв истинного самопожертвования, там всегда присутствует Иуда, с его коварством и ропотом! *Для чего бы не продать это миро за триста динариев* (около 90 р.) *и не раздать нищим?* Не сумасшествие ли тратить такую сумму, когда за одну ее треть этот сын погибели готов продать своего Господа? — Мария считала такую безделицу недостаточной для того, чтобы умастить священные ноги Иисусовы; Иуда думал, что и третьей части ее довольно для продажи Его жизни.

Это короткое выражение, «чтобы роздано было нищим», чрезвычайно поучительно. Оно конечно служило Иуде предлогом, чтобы сколько-нибудь скрыть даже от самого себя низость его побуждений. Он был в малом виде вор: хотел воспользоваться этими деньгами, хотел присоединить их к собственному своему запасу. Люди редко грешат с ясным сознанием греха. По обыкновению, они

ослепляют себя ложными и придуманными побуждениями. Хотя же Иуда и не мог скрыть своей низости от ясного взора Иоанна, но конечно скрыл от самого себя под тем предлогом, что он вооружился против напрасной расточительности и высказал свои притязания на безынтересную любовь к ближнему.

Но Иисус не дал распространиться заразе этого негодования, которая коснулась уже некоторых из учеников, и не позволил, чтобы Мария, сделавшаяся средоточением неприязненных взглядов, которые огорчали и возмущали ее, пострадала сколько-нибудь от последствий ее благородного поступка. *Что смущаете эту женщину?* сказал Он. — *Оставьте ее, она доброе дело сделала для Меня; ибо нищих всегда имеете с собою а Меня не всегда имеете. Взлив миро сие на тело Мое, она приготовила Меня к погребению.* А к этому прибавил Он пророчество, — которое исполняется до сего дня, — что поступок ее будет известен и возвеличен, где только будет проповедано святое Его Евангелие.

«Для моего погребения!» Ясно, что осуждение и смерть уже были близки, и это было новым смертным ударом всем ложным, блестящим надеждам относительно царства Мессии. Не земное богатство, не царское возвышение обещалось последователям Того, кто должен был вскоре умереть[550]. Это было другой побудительной причиной недовольства для вора-предателя. Мало того что поступили вопреки его мнения, — его заставили молчать: ему публично сделали замечание. Потеря денег, которые мог бы он получить в свое распоряжение, разжигала в нем тайное пламя черной злобы. Он не желал потерять ничего. С ненавистью, бешенством и отчаянием, украдкой скрылся он ночью из Вифании, отправился в Иерусалим, просил допустить его в залу совета главных священников в дом Каиафы и имел первое роковое свидание, в котором торговался о предании своего Господа: *что вы дадите мне; я вам предам Его?* Как происходила эта кровожадная торговля, нам неизвестно; не рассказано и того, были ли между этими злобными ненавистниками споры, прежде чем решились на скудную цену крови. Если это так, то пронырливые иудейские священники сумели сбить бедняка и невежду апостола из иудеев. Потому что они предложили только тридцать сребреников (около 27 рублей), — выкупную плату за ничтожнейшего из рабов[551]. Но и за эту цену Иуда решился предать Учителя, а

продавши Его, продать собственную жизнь и, взамен того, получить проклятие целого мира, — проклятие всех будущих поколений! Таким образом, в течение последней недели своей жизни и жизни Учителя Иуда ходил с Ним вместе, затаив в своем черном и отчаянном сердце мысль о Его погибели. Но еще не было назначено дня, ни установлено плана: было оплачено только предательство и, по-видимому, существовало общее убеждение, что не следует делать покушения в течение настоящего праздника, чтобы не произвести смятения в народе, который уважал Иисуса, а в особенности среди густой толпы богомольцев из родной Ему Галилеи. Они были уверены, что встретится много удобных случаев в Иерусалиме или где в другом месте, когда окончится великий праздник Пасхи и в святом городе водворится обычное спокойствие.

События последующих дней явным образом подтвердили мирскую мудрость такого нечестивого решения.

ГЛАВА XLIX

Вход Господень в Иерусалим

Несмотря на описанные и предыдущей главе обстоятельства за несколько времени вперед, существовали смутные предрасположения, что Иисус не преминет прийти на праздник Пасхи. О достоверности этого происходили между народом споры и на ожидаемое прибытие галилейского Пророка глядели с напряженным любопытством и интересом[552]. Поэтому, как только в воскресенье рано утром узнали, что в течение дня Он должен прийти в Иерусалим, все пришло в движение. Известие это принесено было некоторыми из иудеев, посетивших Вифанию накануне и возвратившихся после заката солнца, чтобы путешествием не нарушить субботних уставов. Таким образом, множество народа было приготовлено, чтобы принять и приветствовать Избавителя. Который воскресил мертвого.

Он шел пешком. Три дороги вели из Вифании через гору Елеонскую в Иерусалим. Одна из них проходила между северной и центральной вершинами, из которых первая, по преданиям, называлась «Горой оскорбления», где, как предполагалось, стояли идольские храмы Соломона, а теперь, согласно рассказа в Деяниях Апостольских[553], известна под названием «Мужи Галилейские». Другая достигает самой высокой части горы и проходит вниз через нынешнее поселение Эт-Тур. Третья, которая, как к настоящее время, так и тогда, должно быть, была большой дорогой, изгибается вокруг левого склона центральной массы, между ним и «Горой Злобного Совета», где стоят развалины так называемого «Дома Каиафы». Другие проходы можно было назвать скорее горными стежками, а так как Иисусу сопутствовало множество Его учеников, то ясно, что Он избрал третью, более удобную дорогу.

Теперь нет там пальм, которые росли в то время: во всей Палестине стали они в настоящее время редки. Прошедши под пальмами вифанскими, от которых эта местность получила свое название, они приблизились к Вифании, или «Дому Пальм», небольшой подгорной слободе или хижине, которая вероятно находилась к югу от Вифании,

но потом исчезла бесследно. К этому селению или вообще жилью Иисус отправил двух апостолов. Подробное описание местности у евангелиста Марка заставляет предполагать, что между ними Петр, а если это так, то надо думать, что ему сопутствовал Иоанн. Иисус сказал им, что, достигнув селения, они найдут ослицу привязанную и осленка с ней; пусть отвяжут ее и приведут к Нему. Если встретят препятствие со стороны хозяина, то последний замолчит, когда они объяснят, что эти животные надобны Господу. Все случилось так, как Он говорил. Они нашли привязанную на улице у ворот ослицу с жеребенком, какой им был нужен[554], потому что они искали такого, на которого никто из людей не садился. Хозяева животных, услыхавши для кого эти последние берутся, не сделали никакого препятствия. Приведши их к Иисусу, апостолы, желая воздать Ему царскую почесть, покрыли их своими одеждами, посадили Его на жеребенка и пошли дальше торжественной процессией. Это не было шествие для возбуждения политического энтузиазма и не имело характера тщеславия для напоминания победных триумфов. Нет, это был просто взрыв радости провинциалов, восторженное настроение бедных галилеян и живших в презрении народных учеников. Надменные язычники, если бы они были свидетелями смиренной процессии, только насмеялись бы над ней, как это сделали Юлиан и Сапор, когда известились о ней[555]. По поводу осла римляне придумали множество насмешек над иудеями, а христиан называли «поклонниками ослов». Сапор предлагал евреям коня, чтобы он послужил ожидаемому Мессии, но один из евреев с гордостью ответил, что все его кони далеко хуже осла, который должен носить на себе Мессию, потому что этот осел происходит от того, который был у Авраама, когда он хотел принести в жертву Исаака, а также и у Моисея. Осел на востоке не считается презренным животным, и апостолы впоследствии вспомнили, что все это событие совершилось во исполнение пророчества Захарии: *ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной*[556]. Да, это была процессия, совершаемая не с пышностью, но в какое глубокое ничтожество должны были погрязнуть при ней величайшие триумфы губительных войн и несправедливых побед!

Таким образом, Иисус воссел на жеребенка, которого некоторые из учеников вели под уздцы, но двинулся только тогда, когда толпа, сняв верхние одежды, стала расстилать их на пути и, нарвавши ветвей с олив, фиг и орешника, рассыпала перед Ним, восклицая в восторженном порыве: *Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!* Заимствуя эти выражения из псалмов, которые пелись в праздник Кущей[557], толпа изливала свой восторг в восклицаниях «осанна» (спасение) и каждый рассказывал, как Иисус воскресил Лазаря из мертвых.

Дорога тянулась, постоянно поднимаясь на Елсонскую гору, зеленым лугом под тенью деревьев, а потом внезапно повертывала круто к северу. С этого поворота виделся, как на ладони, Иерусалим. В ясной атмосфере, возникая из глубины тенистой долины, которая его окружала, восставал перед Ним город, с которым связаны были тысячи воспоминаний, и утреннее солнце, падая на мраморные башни и позолоченные крыши храма, отражалось огненным блеском, заставлявшим зрителя отвести глаза поневоле[558]. Такой блеск подобного города во все времена производит приятное впечатление. Многие путешественники из евреев и язычников задерживали своих лошадей и глядели на это зрелище с невыразимым волнением. Я сам, в среду на святой неделе, 14 апреля 1870 г., не при солнечном восходе, а при полном свете месяца, проезжал из Вифании этим местом и никогда не забуду впечатления, возбужденного во мне внезапным видом города, с его куполами, минаретами и мелькающими огоньками, когда он видится при лунном освещении. Но на тогдашний Иерусалим в «его царственной мантии гордых башен»[559] надо было смотреть, как на одно из чудес света. Он представлял зрелище великолепнейшее, чем нынешний разоренный, рассыпанный в прах город. И кто может изъяснить, кто может почувствовать могучий порыв божественного сострадания, который вспыхнул при этом зрелище в душе Спасителя? Возвеличилось ли, возрадовалось ли сердце истинного Царя этого города при взгляде на «массу золота и серебра»? Нет! далеко не так. На гробнице Лазаря Он проливал слезы молча, а здесь плакал навзрыд[560]. Стыд от посмеяния, боль от страданий, спустя после того пять дней, оказались бессильными, чтобы вырвать у Него хоть один стон из груди или вызвать слезу на глаза Его; но здесь чувство глубочайшего сострадания объяло Его сердце, и Он не только плакал,

но разразился в рыданиях, которые прерывали Его слова. Странный триумф для Мессии! Странный переход от торжественных кликов! Освободитель плачет над городом, который уже поздно спасти; Царь пророчествует крайнее разорение народа, которым приходил править! ***Если бы и ты хотя в сей твой день узнал,***воскликнул Он, между тем как народ глядел на Него в удивлении, не зная, что подумать или что сказать, ***если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!***Слезы прервали слова Его и, когда возвратился голос, Он мог только прибавить: ***но сие сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отвсюду. И раззорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня ни камне, зато что ты не узнал времени посещения твоего.***Раввины, изъясняя пророчество Иезекиилево[561], говорили, что облако славы отошло из храма, на восток к горе Елеонской, и там три года напрасно призывало народ голосом человеческим к раскаянию, а затем удалилось навеки. Этот голос Иисусов был последним воззванием Славы Господней к народу с горы Елеонской.

Верно, буквально, ужасно, через пятьдесят лет исполнилось пророчество Иисусово. За четыре года перед войной, когда город наслаждался полнейшим миром и счастьем, мрачный маньяк бродил по улицам города, повторяя беспрестанно: «Голос с востока, голос с запада, голос от четырех ветров, голос против Иерусалима и святого дома, голос против женихов и невест, голос против всего народа!» Никакое бичевание, никакие муки не могли исторгнуть от него других слов, кроме: «Горе! горе Иерусалиму! горе городу! горе народу! горе святому дому!» — до тех пор, пока семь лет спустя, во время осады, он не был убит камнем из катапульты. Голос его был отголоском голоса пророческого.

Тит не хотел срывать города до основания, но вследствие отчаянного упорства иудеев вынужден был окружить его сначала земляными окопами, а потом каменным ватом. Он не хотел разрушать храма и употреблял все усилия, чтобы сохранить его, но вынужден был обратить его в прах. Он не намеревался быть жестоким в отношении населения, но заклятый фанатизм и сопротивление жителей до того уничтожили всякое желание пощадить их, что он задался мыслью чуть-чуть не истребить всю расу, распиная их

сотнями, травя в амфитеатре тысячами, продавая в рабство мириадами. Иосиф[562] рассказывает, что даже тотчас же после осады никто в этой огромной пустыне не мог бы узнать красавицы Иудеи, что если бы какой из иудеев пришел туда внезапно, то был бы принужден спросить, что же эта за местность, хотя бы знал город в совершенстве? Кто в нынешнем Иерусалиме захотел бы видеть остатки города времен Христовых, тот должен отыскивать его на двести футов ниже почвы. Водном только месте остается еще несколько массивных фундаментов, как будто бы свидетельства, как громадны были здания, которых они остались единственными представителями. Каждую пятницу собираются здесь убитые бедностью евреи, чтобы постоять в саване (который каждый из них сшивает себе на день погребения) и поплакать над затмившейся славой падшей и поруганной родины.

Само собой разумеется, что когда Иисус проливал горькие слезы и высказывал пророческий плач, процессия остановилась. Но народ в долине Кедронской и около стен Иерусалима, ровно как богомольцы, которых шалаши и палатки теснились внизу по зеленым скатам, увидали приближавшуюся толпу, услыхали отголоски радостных криков и узнали значение такого волнения. Наломав зеленых и красивых пальмовых ветвей, народ устремился на дорогу, чтобы встретить приближавшегося пророка. Когда же два народных потока, один из сопутствовавших Ему, другой из присоединившихся на пути встретились друг с другом, то оставили Иисусу место в середине, примкнув кто к задним, кто к передним рядам процессии, а иные, обогнав ее, пошли вперед к воротам Иерусалимским, помавая ветвями и восклицая «Осанна!».

К толпе этой примешалось несколько фарисеев, для которых радость народная была желчью и полынью[563]. Что означают эти клики с упоминанием о Мессии? Что значат эти царские титулы? Были ли они опасны и неприличны? Почему Он дозволил их? *Учитель запрети ученикам своим*, говорили они. Но Иисус не хотел этого. *Если они умолкнут*, сказал Он, *то камни возопиют*. Слова эти напоминали угрозы, которые встречаются между обличениями алчности и жестокости у пророка Аввакума, предвещавшие окончательное разорение, которым отмстит Господь Иерусалиму[564]; камни из стен возопиют и перекладины из дерева будут отвечать им. Фарисеи чувствовали, что были бессильны остановить волну народную.

Когда процессия вступила в городские стены, весь город пришел в движение. *Кто это?* спрашивали иерусалимляне, выглядывая из-за решеток или стоя на крышах, на торговых местах, улицах и уступая место для прохода. Толпа же отвечала отчасти с гордостью за своего соотечественника, отчасти с оттенком недоверия к званию Иисуса, как Мессии, когда встретила презрение и неприязнь со стороны столичных жителей: *это Иисус, пророк из Назарета Галилейского.*

Относя последовавшее за тем очищение храма ко входу Господню в Иерусалим и считая это событие следовавшим непосредственно за входом, я придерживаюсь порядка в Евангелии апостола Матфея преимущественно перед св. Марком по следующим причинам: 1) невозможно, чтобы Иисус пришел поздней порой, вопреки Его всегдашнего обычая и вследствие страшных дневных жаров даже в это время года; 2) если Он пришел рано утром и не оставлял храма до позднего вечера[565], то, принимая во внимание, что события эти происходили в так называемое Вербное воскресенье, как это видно из евангелий св. Матфея, Луки и Иоанна, — мы не найдем указаний, в чем проведен был день (потому что путешествие из Вифании в Иерусалим не могло продолжаться больше 2 часов). 3) Очищение храма должно было быть более естественным последствием торжественного входа, нежели спокойного прихода на следующий день. Причин для отнесения такого очищения храма к следующему дню никаких не видно. После такой оговорки я перехожу к рассказу.

Настоящая процессия не могла идти далее подошвы горы Мориаг (Гар га бейт)[566], за черту которой нельзя переходить в дорожной одежде или с пыльными ногами[567]. Им пришлось разойтись в разные стороны, прежде чем вошли в ворота Сусаннины; вошел один Иисус. Таким образом, Господь, которого они искали, пришел внезапно в храм, — вестником завета; но они не узнали Его, не обрадовались Ему, хотя первым Его действием было очистить храм, чтобы они могли приносить *жертву в правде*[568]. При взгляде на окружавшую обстановку сердце Его возмутилось сильным негодованием. Три года тому назад, в свою первую Пасху, Он очистил храм, но увы! напрасно. Снова жадность одержала победу над почтением; снова мозаичные полы и портики двора язычников заняты были погонщиками быков и овец, прасолами и ростовщиками; снова все осквернено пригнанным скотом; снова слышался голос торгующихся и звон золота. Сами

еврейские писатели соглашаются, что беспорядки в храме дошли до крайней степени. Святилище, пишет Иосиф[569], стало теперь прибежищем, сборищем тирании. Действительно, — говорит в своей речи Анан[570], — для меня лучше было бы умереть, нежели видеть такую мерзость в доме Божием, — смотреть — как это священное, никому недоступное место попирается без надобности нечистыми ногами, как эти полы покрываются кровью негодяев. Всякий раненый Зилот, — продолжает Иосиф, — приходил в храм и обливал священный пол своею кровью. Иисус не хотел учить в таком осквернённом месте. С сокрушением и скорбью выгнал Он вновь из храма всех торговцев, и ни один из них не осмелился воспротивиться Его ревности. Он не потерпел, чтобы даже мирная ограда была возмущаема народом, проходившим внутри ее с различными сосудами, и обращена в проходной двор. Густая толпа евреев, — в числе, как говорят, почти трех миллионов, собиравшаяся на неделю праздников в святой город, — не усомнилась обратить двор язычников на эти дни, как и во всякие прочие, в отвратительнейшую по деятельности сцену, тем более, что, согласно закона, пасхальных агнцев, — которых должны были приобрести посетители, — надо было выбрать и отделить от прочих заранее[571]. Но никакие их соображения, ни общие законы приличия не допускали, чтобы они обращали дом Отца Его, который был домом молитвы всех народов, в разбойничий вертеп, подобный находившемуся в Вади Гаммаме, где разбойники делили свою несправедливую добычу[572].

Он не начал своего обычного учения, пока не водворил в храме молчания и порядка, при которых оно было удобнее. По окончании отвратительной суматохи, когда храм принял свой настоящий вид, к Нему пришли страдальцы, и Он исцелял их. Тысячи слушателей, собравшись вокруг Него толпой, изумлялись Его глубокой учености и не могли достаточно наслушаться поучений Его. Истинные сыны храма, в своей невинной радости, продолжали торжественные клики «Осанна», которыми приветствовали при входе. Первосвященники, книжники, фарисеи и начальники народа глядели, презирали, удивлялись и терялись. Они в своем бессилии могли только злобствовать втайне, не смея ничего Ему сделать, в виду окружавшего Его народа. Но переговариваясь об этом друг с другом, они питали себя надеждой, что наступит их время; возьмет свое их мрачная сила.

Если они пытались сказать Ему слово, то отходили униженные, уничтоженные Его спокойным возражением. Со злобой обращали они Его внимание на крики детей во дворах храма, говоря: ***слышишь ли, что дни говорят?***Но Иисус, кротко защищая детей от явной ненависти, ответствовал: ***да разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу?***[573]

Таким образом, среди напрасных покушений врагов уничтожить Его или повредить Ему, в высокой проповеди прошли часы этого замечательного дня, который отмечен сверх того достопамятным событием[574]. Пораженные всем, что видели и слышали, греки — не эллинисты, т. е. говорящие по гречески иудеи, а греки — иудейские прозелиты, привлеченные праздником в Иерусалим, — пришли к Филиппу и просили предоставить им случай отдельно видеться с Иисусом. Халдеи с востока искали Его колыбели; греки с запада пришли к Его кресту. Кто они были и почему искали Его, неизвестно. Интересное предание, на достоверность которого нельзя впрочем положиться, говорит, что греки были эммиссарами Авгаря V, царя Едесского, который, узнав о чудесах Иисусовых и об опасностях, которым Он теперь подвергался, прислал сановников, чтобы предложить Ему убежище в своих владениях. Апокрифическое письмо Авгаря к Христу приведено св. Евсевием[575], который сообщает, что оно взято из сирийских документов, сохранившихся в Едессе. Письмо и ответ вероятно принадлежат к III веку по Р.Х.[576] Авгарь говорит, что услыхав о чудесах Иисуса и заключив из того об Его божественной природе, «Я написал это, чтобы просить Тебя принять на себя труд придти ко мне и исцелить мою болезнь. Ибо я также слышал, что евреи на Тебя ропщут и желают оскорбить Тебя. У меня есть небольшой красивый город, которого достанет для нас обоих». Ответ Иисуса почти весь составлен из выражений Св. Писания и начинается намеком на 20 гл. 29 ст. Евангелия от Иоанна; в конце же письма прибавлено: «когда Я вознесусь, то пришлю одного из моих учеников, чтобы исцелить тебя от болезни: он принесет спасение тебе и твоим».

Святой Иоанн не говорит об Авгаре ни одного слова и не рассказывает даже, почему греки обратились прямо к Филиппу. Но так как Вифсаида была отечественным городом этого апостола и многие из евреев в этом периоде, по примеру семейства Иродов, приняли имена языческие, то греческому имени его нельзя придавать слишком много

значения. Но при этом мы видим интересное указание на личное благоговение, которое апостолы чувствовали к своему Учителю, в том, что Филипп не вдруг решился передать просьбу греков. Он пошел сначала посоветоваться со своим согражданином Андреем и уже оба вместе передали Иисусу желание просителей. Приведены ли были они в Его присутствие, нам неизвестно; но из этого случая мы видим по крайней мере новый знак, что пришел час прославления Его имени. Ответ содержал ту мысль, что как пшеничное зерно должно умереть, прежде чем принесет плод свой, так слава приобретается смирением, и кто хочет последовать Ему, тот на всякий час должен был быть готов к смерти. Хотя же, при виде её, страх человеческий начал в Нем борьбу с послушанием, однако сознавая, что ставши с ней лицом к лицу. Он победит ее, Иисус воскликнул: *Отче, прославь Имя Твое!* Тогда в третий раз в Его жизни сошел с небес голос, который говорил: *и прославил, и еще прославлю.* Св. Иоанн говорит прямо, что голос этот звучал не одинаково для всех. Народ принял его за раскаты грома; некоторые сказали, что *Ангел говорил Ему.* Голос в членораздельных звуках слышали немногие. Но Иисус сказал, что голос тот был для них, а не для Него, потому что приблизился суд миру, его обличение в грехе против Св. Духа. Князь мира будет изгнан, а Ему следует быть вознесенным, как медному змею в пустыне, и оттуда привлечь к себе всех людей. Народ не уразумел таких отдаленных намеков испрашивал, что значат слова *Сын человеческий должен быть вознесен.* Если это значит, что Его предадут силой позорной смерти, то каким же образом это случится? Разве Сын человеческий не одно и то же, что Мессия, и разве не говорили пророки, что царство Мессии будет вечно? Истинный ответ на их вопрос мог быть воспринят только духовными сердцами; они же, будучи к тому не приготовлены, были бы оскорблены и поражены им, а потому Иисус не дал никакого ответа. Он только заповедал им ходить в свете в течение непродолжительного времени, пока Он должен оставаться с ними, и таким образом сделаться детьми света. Он пришел в мир, как свет; слова, которые Он говорил, будут судить тех, которые отвергли Его; потому, что каждое слово, каждый краткий ответ, каждая продолжительная проповедь — были от **Отца,** были яркими отблесками Отца светов, животворными лучами вечной жизни.

Но все великие и спасительные истины были невидимы для ослепленных глаз, мертвы для ожесточенных сердец. Даже те немногие из высокопоставленных и высокообразованных лиц, которые отчасти разумели и отчасти веровали им, не смели исповедать Его, чтобы не подвергнуться неизбежному в этом случае *херему* из синедриона, а им хвала человеческая была гораздо дороже хвалы Божией.

Таким образом, грусть и чувство отвержения возмутили вечер дня торжественного входа. Но оставаться в городе было небезопасно и не согласовалось с желаниями Иисуса. Он удалился из храма, скрылся от бдительных врагов вне городских стен, под защитой энтузиазма галилейских последователей и *вышел в Вифанию с двенадцатью*[577]. Он, вероятно, не прямо вошел в селение; потому что целью Его было, по-видимому, найти скрытое место, чего не могло предоставить возвращение в известный дом, где многие видели Его за вечерей накануне. Гораздо правдоподобнее, что Он нашел приют с учениками на откосе горы Елеонской, усеянном оливовыми деревьями, невдалеке от места, где встречаются между собой дороги, ведущие в селение. Он привык проводить ночи на открытом воздухе, поэтому и Он, и апостолы, завернувшись в верхние одежды, могли заснуть крепким и мирным сном на зеленой траве, под тенью деревьев. Но ни от Него, ни от Его спутников не отставала тень предателя. Спал ли и Иуда так же спокойно, как остальные? Может быть. Потому что «угрызения совести могут смущать сон человека при первых его попытках на несправедливость, и потом, когда от преступления не останется ничего кроме бедствия, которое было последствием преступления. Между этими двумя пунктами преступник может быть свободен от всяких терзаний»[578].

ГЛАВА L

Понедельник страстной недели, день притч

Поднявшись рано утром со своего ночлега близ Вифании, Иисус вознамерился возвратиться снова в город и храм, но на дороге почувствовал голод[579]. Понедельник и четверг у тогдашних мелочных религионистов считались днями поста для желающих. Фарисей, в притче, намекая на этот обычай, говорит: *пощусь два раза в неделю*. Но пост этот был делом сверхобязательным, а не заповеданным, не получившим освящение в законе или у пророков, не необходимым для Того, Кто пришел с полной преданностью своей Божественной безгрешностью возвысить обыкновенную людскую жизнь. Может быть, что из жалости к народу и ревности научить его, Он пренебрегал простыми житейскими нуждами; может быть, что среди полей, где Он проводил ночи, не было иногда средств достать пищи; может быть и то, что еще не прошел час молитвы и утренней жертвы, прежде которых иудеи не принимали никакой пищи: но какая бы ни была причина, однако же Иисус взалкал так, что, желая поддержать свои силы и освежить себя для дневного труда, обратил внимание на стоявшие близ дороги плодовитые деревья. Несколько фиников или фиг, кусок хлеба, глоток воды были бы достаточны для неприхотливого Его требования.

Лесов там было много; но не столько пальм, фиг и орешника, как вблизи Иерусалима, до вырубки их Титом для удобства осадных работ. Местность, прилегающая к Иерусалиму, казалась тенистым парком, но фиговые деревья сажались в особенности пр краям больших дорог, потому что пыль, по предположению[580], увеличивала их рост, а освежительный плод их считался общею принадлежностью[581]. Иисус заметил невдалеке одинокую смоковницу (фиговое дерево) и, хотя обычное время поспевания фиг еще не наступило, но так как она была одета зеленью, а плоды фиг выходят прежде роспуска листьев, то вид дерева обещал многое. Роскошные, огромные листья служили, по-видимому, достаточным ручательством, что на нем есть плоды, а

необыкновенно ранняя зелень — что их очень много. Одним словом, смоковница подавала большие надежды найти на ней или запоздалые фиолетового цвета *кермоусес* (осенние плоды, которые часто остаются висеть на дереве целую зиму, даже когда уже появляются весной свежие листья)[582], или превосходные *баккооров,* фиги-скороспелки, которые в особенности нравятся восточным жителям. Таким образом затруднение найти смоквы, как будто вытекающее из выражения св. Марка, *ибо еще не время было собирания смокв,* не имеет особого значения. Если верить Иосифу, то Иисус на долинах Геннисаретских привык видеть спелые фиги, висящие на дереве в течение десяти месяцев в году (кроме января и февраля)[583]. Даже и нынче в Палестине есть ообый сорт белых, или ранних, фиг, которые поспевают весной, гораздо прежде обыкновенных или черных. Следовательно, по многим основаниям, Иисус мог ожидать найти на этом многообещающем, покрытом листвой дереве несколько фиг для утоления мучившего Его голода, хотя обычное время собирания смокв еще не начиналось.

Но, подошедши к смоковнице, Он был обманут в ожидании. Сок в ней обращался; листья давали прекрасную тень, а плодов не было: верная эмблема ханжи, наружный вид которого обольщает святостью; верная эмблема народа, в котором наружное исповедание религии не приносило плодов добродетельной жизни, — дерево было бесплодно. А сверх того оно было и безнадежно, потому что если бы на нем были плоды в прошлом году, то осталось бы несколько *кермоусес,* скрытых под широкой листвой, а если должны были быть в настоящем, то давно бы уже, прежде листьев, показались завязи *баккооров.* Но с этого дерева не было сборов в прошедшем, нельзя было ожидать ничего в будущем.

А так как смоковница была обманчива, бесполезна и составляла бесплодную ношу для земли, то Иисус, желая обратить ее в вечное предостережение для лицемеров, в услышание своих учеников, высказал ей торжественный приговор: *отныне да не вкушает никто от тебя плода во век!* От одного Его слова бесполезная жизнь, которой жила смоковница, остановилась и начала истощаться быстро.

Суждения об этом чуде были особенно дики, особенно непочтительны, потому что основывались большею частию на невежестве и предрассудках. У тех, которые отвергали божественность

Иисуса, оно называлось чудом уголовным, чудом мести, чудом недостойного озлобления, детским выражением нетерпения при обманутом ожидании, негодованием необразованности против невинной природы. Но я думаю, что никто из тех, — кто верует, что эта история представляет истинное и чудесное событие, — не дерзнет осуждать побуждения Того, кто был совершителем чуда. Многие берутся доказывать, что эта история неверна и ошибочна, потому что рассказывает то, на что они смотрят как на недостойное выражение злобы при малейшем обмане в ожидании, — как на чудо несправедливости, нарушавшее права собственности владельца дерева или общества: я считаю достаточным высказать, что каждая страница Нового Завета доказывает невозможность вообразить себе, чтобы апостолы и евангелисты имели такое жалкое и ложное понятие об Иисусе и приписали это действие Его мщению за мимолетное неудовольствие на безответный предмет. Можно ли Того, кто на предложение искусителя отказался удовлетворить свой голод обращением камней пустыни в хлебы, представить себе разгорячившимся до гнева на бессознательное дерево? Такая непочтительная нелепость могла еще найтись в апокрифических евангелиях, но если бы евангелисты были способны увековечить такое событие, тогда неоспоримо, они не имели бы ни способности, ни желания написать то божественное и вечное изображение Господа Иисуса, которое их знание истины и наитие св. Духа дало им возможность передать миру, как бесценное наследие. Что же касается до того, что дерево, по слову Иисуса, иссохло, то неужели надо подвергнуть жестокому осуждению хозяина за то, что он сказал относительно своего бесплодного дерева: «Срубите его: к чему оно тяготит землю?» Разве кто-нибудь обвинил Иоанна Крестителя в насилии и желании все сокрушать, потому что он восклицал: *уже и секира при корне дерева лежит; всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь?* Был ли древний пророк[584] обвинен в неумении изображать свойства Божии, когда говорил: *и узнают все деревья полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево изсушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал и сделаю?* Кто кроме крайне невежественных и грубых людей решится произнести хулу на Бога, когда град побьет виноградные побеги, когда молния опустошит оливы

и расколет не надтреснувший, здоровый дуб? Разве можно назвать преступлением уничтожение, при известных обстоятельствах, бесполезного дерева? Если нет, то неужели большее преступление сделать это посредством чуда? Почему же Спаситель мира, — при величии которого Ливан мал для принесения жертвы всесожжения, — может быть осуждаем требовательными критиками за то, что поспешно иссушил бесплодную смоковницу и уничтожением этой бесполезной вещи преподал три вечных урока, — сделав ее символом гибели для нераскаянного грешника, предостережением против лицемерия и изъяснением могущества веры? Многосторонний символизм иссушения смоковницы живо напоминает древних пророков[585]. Даже в этом случае, говорит профессор Вескотт[586], когда в минуту неприятно обманутого ожидания Он обратился к ученикам, то вслед за словом осуждения высказал слово обещания: *имейте перу Вожию, и все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам.* Я остановился подольше на этом чуде, потому что люди способные и благомыслящие представляли себе некоторые затруднения к его объяснению. Те, которые не сочтут возможным допустить указанные мной выводы, могут глядеть на это событие, как на буквальное толкование притчи о силе веры, которая таинственно разъяснена чудом[587]. Гораздо лучше принимать ее таким образом, нежели осмеливаться сомневаться в правильности действий Того, которого послал Отец, но если мои суждения справедливы, то я не вижу в этом событии никаких непреодолимых затруднений.

Следуя от смоковницы своей дорогой, они подошли к храму и едва только успели войти, как получили новое указание на сильнейший и неутомимый дух преследования, который действовал в начальниках иерусалимских[588]. Согласно текста св. Матфея и принятого им порядка изложения (которые я на этот раз избираю предпочтительно потому, что в Евангелии от Матфея вслед за событием с фиговым деревом изложены прямо обстоятельства дня), при входе в храм Иисус встречен был огромной депутацией, знаменательной по количеству и выбору состава, в который входили главные священники, старейшины двадцати четырех порядков, ученые книжники, начальствующие раввины, представители званий, составляющих синедрион, — для того, чтобы в презираемом ими бедном, невежественном пророке из презренного Назарета возбудить страх сборищем всего того, что так

глубоко уважалось в этом веке и считалось величайшей мудростью, или предать Его во власть великого народного совета. Народ, который Он пригласил к поучению, с почтением дал им дорогу, боясь своим прикосновением осквернить их волнующиеся одежды и широкие бахрамы. Окружив Иисуса, они строго и отрывисто спросили Его: *какою сластию Ты это делаешь и кто Тебе дал такую власть?* Они требовали таким образом от Него письменного удостоверения на право публичного исполнения обязанностей равви или пророка, на право торжественного входа в Иерусалим среди кликов «Осанна», раздавшихся в народе, на очищение храма от продавцов, получивших от них дозволение производить там торговлю.

Ответ удивил и поразил депутацию. С беспредельным присутствием духа, которому не представляет ничего подобного даже всемирная история и который остается спокойным при самых сильных внезапных столкновениях, Иисус сказал им, что ответ на их вопрос зависит от ответа, который они дадут на Его вопрос: *крещение Иоанново откуда было: с небес или от человеков?* Последовало внезапное молчание. *Ответьте мне*, повторил Иисус. Не может быть, чтобы те, которые посылали депутацию публично допросить Иоанна об его правах, небыли в состоянии отвечать на этот вопрос. Но ответа не было. Они понимали всю его важность. Им нельзя было ни под каким видом отозваться незнанием. Иоанн открыто и прямо свидетельствовал об Иисусе, признал Его перед их депутатами за большего, нежели он сам пророка и даже за Мессию: следует или нет признать такое свидетельство? Ясно и то, что Иисус имел право предложить им этот вопрос, прежде чем отвечать на то, что они желали знать от Него. Но они не могли и не хотели отвечать. Не хотели сказать «с небес», потому что это противно их убеждениям; не смели сказать «от людей», потому что верование в Иоанна, как мы видим из свидетельства Иосифа[589], было так сильно и единодушно, что открытое отвержение его было бы небезопасно для их жизни. Таким образом, они, учители израильские, принуждены были унизиться до того, что сказали: *незнаем.*

Есть превосходная еврейская пословица: «учи свой язык говорить: «я не знаю». Но в этом случае сказать «не знаю» было чуждо их нравам, неблагоприятно для их видов, убийственно для их претензий. Эти присяжные толковники закона и народные учители, эти известные

монополисты в учении Св. Писания и устным преданиям были доведены, вопреки своих убеждений, до необходимости сказать при таком стечении народа, что не могут определить: был ли действительно Боговдохновенным вестником или обманщиком и самозванцем человек, с громадным и священным влиянием, знавший Писание, которое объяснял и вводил в жизнь? Разве пограничная линия между вдохновенным пророком (Наби) и злостным обольстителем (месиф) так сомнительна и неясна? Это было унижение, и притом такое, которое они не могли ни забыть, ни простить. Наказание, которое они предназначали другому, по справедливости обрушилось на них. Вопрос, который должен был послужить средством для сокрушения Иисуса, отброшен назад возвратным ударом к их же стыду и посмешищу.

Но Иисус не настаивал на окончательном поражении, хотя, как видно из формы ответа, хорошо знал, что их «не знаем» означало «не выберем, что сказать». Зато неудачный ответ избавлял Его самого от необходимости рассказывать о власти, относительно которой они, по собственному сознанию, оказались вполне несведущими. Окончив все одним разом, Он прибавил: *и Я вам не скажу, какою властию это делаю.*

Таким образом, они отошли прочь, а Он стал продолжать прерванное ими наставление, говоря притчами, значение которых было ясно как для народа, так и для оставшихся там членов синедриона. Чтобы обратить особенное внимание на последующие слова свои, Он спросил, потому что теперь настал Его черед спрашивать: *а как вам кажется?* и затем рассказал о двух сыновьях, из которых один, дерзко отказавши в просьбе отцу, потом раскаялся и сделал приказанное, а другой ласково обещал послушание, но не исполнил. На вопрос Его: *который из двух исполнил волю отца?* был конечно один ответ: «первый». После того Он высказал им полный и торжественный смысл своего собственного ответа. Он заключался в том, что мытари и блудницы, несмотря на явное, по-видимому, бесстыдство непослушания, укажут им, этим мелочникам, гордецам, слывущим за законников святого народа, путь в Царствие Божие. Да, эти грешники, которых они презирают и ненавидят, устремятся прежде их в двери, которые теперь не заперты. Потому что Иоанн пришел к иудеям *путем праведности,* т. е. сохраняя их принципы и обычаи, но они не приняли

его, мытари же и блудницы подчинились его голосу. Следовательно, несмотря на их широкие бахрамы и слишком заметные филактерии, они, эти священники, сепаратисты, равви своего народа, пред очами Господа хуже грешников, прикосновение пальца которых для них отвратительно.

После того Он повелел им выслушать другую притчу о возмутившихся в винограднике работниках, которые не хотели выдать хозяину плодов[590]. Виноградник есть дом Израилев; мужи Иудины лучшие его растения, а вожди и учителя — те виноградари, от которых хозяин требовал возврата плодов. Но несмотря на то, что Он сделал все для своего виноградника, — там не было гроздов или, если были, то только дикие. *Он хотел суда, а встретил притеснение, хотел справедливости, а услыхал крик.* Но так как они не отдали плодов и не осмелились обнаружить бесплодия, — лежавшего на их ответственности, — то оскорбили, избили, изранили и убили одного за другим посланных, которые приходили к ним от господина. Наконец Он послал Своего Сына: они избили, прогнали, убили Сына, которого знали и не могли не узнать. Когда придет Хозяин винограда, что сделает Он с виноградарями? Народ ли, в восторге честного убеждения, или слушавшие фарисеи, чтобы доказать свое презрение к тому, на что указывала притча, отвечали, *что хозяин злодеев сих предаст злой смерти, виноградник же отдаст другим, более верным виноградарям.* И вот во второй раз они вынуждены были сделать невольное сознание; должны были произнести над собой суд, высказав лично, что согласны с правосудием Божиим, которое лишит их исключительных прав и передаст те права язычникам.

Что бы доказать им, что Св. Писание пророчествовало об их поведении, Он спросил их, разве они не читали в псалмах о камне, которым пренебрегли строители и который все-таки, вследствие дивных предначертаний Господних, сделался главным угольным камнем (соединившим две стены)[591]? Как же они будут оставаться долее строителями, когда все их соображения по реместу легко отвергнуты *и* отменены? Не исполняется ли видимым образом их древнее пророчество о Мессии, что Бог призовет других строителей созидать Ему храм? Горе тем, которые, как они, споткнулись об этот отброшенный камень; но есть еще время избежать более сокрушительного уничтожения тем, на кого упадет он. Отвергнуть

Иисуса в Его человечестве и унижении было печальной потерей, но встретить возвращающегося в славе будет окончательной гибелью. Стать на седалище в суде и осудить Его значило призвать бедствия на себя и народ, но быть осужденным Им значило обратиться в прах[592].

Теперь они яснее, нежели когда-нибудь, сообразили содержание и цель этой притчи; теперь более, чем когда-нибудь, пожелали ускорить час мщения! Но их сдерживал страх, потому что для большинства Христос был пророком.

В этот же день высказал Иисус притчу о царском браке[593]. В основаниях и построении она чрезвычайно сходна с притчей о большом пире, — сказанной вовремя последнего путешествия, в доме фарисея, — но различна во многих подробностях и в последних выводах. Здесь неблагодарные подданные, получив приглашение, не только предаются спокойно своим мирским занятиям, но некоторые из них оскорбляют и убивают приглашавших их вестников. Поэтому проповедь переходит в пророчество, что все эти непослушные подданные будут рассеяны и город их истреблен огнем. Конец истории касается дальнейших обстоятельств, полных еще более глубокого значения. Вместо ослушников приглашены были на брачный пир другие; собраны были и злые, и добрые. Входит царь и замечает, что один явился на пир в своем рубище, не запасшись брачной одеждой, какой требовал самый обыкновенный обычай[594].

Грубый, дурно одетый гость был изгнан ангелами в тьму кромешную, где будет плач и скрежет зубов, а затем следует предостережение, по широкому значению своему легко применяемое к различным случаям: *много званных*, прибавил Он, *а мало избранных.*

Но поучения, важность которых была очевидна, поднимали сильнейшую и сильнейшую бурю негодования в сердцах начальствующих священников и книжников. Он начал день отказом отвечать на их диктаторский вопрос и полнейшим доказательством такого отказа. Встречный вопрос не только доказал Его спокойствие духа и превосходную силу ума, — важные по их влиянию на народ, с которым они обращались надменно, — но заставил постыдно замолчать их лицемерие, которое было вынуждено прикрыть себя неведением. Затем последовали притчи. В первой из них Он укорял их в лицемерном исповедании, которое не сопровождается делами; во второй Он описал доверие к их званию и ответственность за него,

назначив страшное наказание за такой жестокий и преступный захват; в третьей определил наказание, которое последует за пренебрежением к Его воззваниям, по невозможности обмануть всеведение Его Небесного Отца принятием этих воззваний только для вида. Уважение на словах, возмутительное неверие, сильная гордость, — вот грехи, которые Он пытался напомнить их совести. Этот поверхностный очерк глубокого исследования их сердец, в соединении с Его словами, был для них духовным оружием, проникающим кости до мозга. Но для дурного человека нет ничего досаднее, как обличение его ошибок. Бешенство иудейской иерархии было так мало скрыто, что они рады были схватить Его в ту же минуту. Но их останавливал страх, и Иисус имел возможность удалиться беспрепятственно в более покойное место. Однако же или в эту самую ночь, или рано на следущее утро враги Его держали новый совет: не могут ли они сделать соединенное, систематическое надежное усилие, *уловить его в словах*, обвинить в незнании закона или отступлении от него, подорвать доверие к Нему в народе, поставить Его в опасное положение в отношении гражданских властей? В следующей главе мы узнаем результат их отвратительных замыслов.

ГЛАВА LI

День искушений, последний великий день общественного учения Иисуса

На следующее утро Иисус со своими учениками в последний раз направил путь свой в дворы храма[595]. По дороге им пришлось проходить снова мимо уединенной смоковницы, не красовавшейся уже своими бесполезными украшениями, но безлистой и погнувшейся, начиная с корня, в разных направлениях. Быстрый взор Петра первый заметил это изменение, и он воскликнул: *Равви, посмотри! смоковница, которую Ты проклял, засохла.* Ученики остановились, чтобы взглянуть, и выразили удивление к скорости, с которой исполнилось Его Слово. Больше всего их поразила сила Иисусова. Они, по-видимому, не могли в то время понять всей глубины этого символического действия, но, разъясняя им постепенно эти мысли и применяясь к настоящему сердечному их настроению, Иисус дал уразуметь, что если они будут иметь веру в Бога, которая сделает их способными возносить молитвы к Нему с полным и непоколебимым доверием, — то не только будут в состоянии совершить подобное чудо, но *если кто скажет горе сей* (вероятно, в это время они подходили к горе Елеонской или Мориаг), *поднимись и ввергнись в море; будет ему, что он ни скажет.* Но так как в событии со смоковницей сила Его приняла направление разрушительное, то Он обратил особенное их внимание на то, что подобное эмблематическое действие не открывает им простора к совершению, посредством веры и молитвы, чудес в видах удовлетворения гнева или мщения. Нет! Сердце, не умеющее прощать, не будет обладать никакой благодетельной силой и никогда не должно ожидать прощения. Война, голод и мор не принадлежат к средствам, которыми они могут действовать, и никогда не должны даже думать о том, чтобы низвести на своих врагов огонь небесный или ледяной ветер погибельный. Тайна успешной молитвы есть вера; к вере в бога человек доходит путем прощения; прощение получится только теми, которые готовы прощать другим.

Едва только Иисус воссел в храме, как результат интриг Его врагов, задуманных накануне вечером, обнаружился. Они измыслили новый род нападения, заключавшийся в одном из самых тайных и самых опасных казуистических приемов, которым хотели они уловить Его на словах и приготовить таким образом конечную гибель. Характер их, как отъявленных злоумышленников, выразился в том, что для достижения своей цели фарисеи соединились предвещавшей мало добра дружбой сиродианами, — так что две сильно враждующие друг с другом партии, задумавши единодушно уничтожить общего врага, по-видимому, примирились окончательно[596]. Это не первый и не последний в истории пример, говорит Неандр[597], что духовенство употребляло в дело враждебную ему политическую партию для сокрушения народного деятеля, ревность которого могла быть опасна той и другому[598]. Доселе мы встречали Иродиан только при изложении 3 глав. 6 ст. Евангелия от Марка. Со времен Симона великого, постановленного Иродом великим в первосвященники, — Воифусимы (так назывались потомки Воифы, отца Симона и тестя Иродова) тридцать пять лет были первосвященниками и разделяли свою власть с семейством Анны. Одним словом, партия современного Иисусу духовенства состояла, по-видимому, более или менее из саддукеев и иродиан, которые потеряли всякую силу в народе и дошли до такого бесстыдства, что вводили между евреями греческие нравы и языческие обычаи. Ханжи и льстецы, — иерархальная мелочность и политическое равнодушие, — школа феократической ревности и школа придворного лицемерия, соединились заодно для устранения и поражения Иисуса. Иродиане редко встречаются в евангелиях. Их имя — латинизированное прилагательное, примененное к говорящим по-гречески придворным идумейского тетрарха, который, вследствие вмешательства римлян, стал иудейским царем, — доказывало их незаконное происхождение. Они существовали политически, касаясь религиозной жизни настолько, насколько их эллинские воззрения и мирские интересы требовали показать наглядно их пренебрежение к закону Моисееву. В действительности же это были провинциальные придворные, — люди, заимствовавшие свой блеск от ничтожного тирана, которого должны были сами поддерживать для собственных целей. Они стремились, сколько в них было сил, сохранять за семейством Иродовым добрые отношения к римскому империализму

посредством угнетения всякого еврея, который бы задумал дышать посвободнее. Вследствие чего они перевернули на греческий лад свои семитические имена; ввели языческие обычаи; посещали амфитеатры, с охотой принимали символы языческой верховной власти и зашли так далеко, что эти искусственные средства уничтожили в них отличительные и заветные символы еврейской национальности. Решимость фарисеев сойтись с подобными людьми, само существование которых было страшным оскорблением для их наиболее излюбленных предрассудков, дает верную оценку той ядовитой ненависти, которую питали они к Иисусу. И этой-то ненависти предназначено было еще более усилиться. Она и без того уже достаточно накипела в их сердце, а слова и поступки Иисусовы в течение этого дня довели ее до бешенства и неистовства. Обе партии заботились об уловлении Иисуса на словах; но иродиане могли прийти смело, не возбуждая подозрения в неприязненном их настроении, а фарисеи, которых евангелист Лука называет *залегшими в засаде*, не явились лично. Они послали несколько молодых учеников, которые (усвоив уже лицемерие наставников) должны были подойти к Иисусу и спросить с невинной простотой, как будто бы между ними и иродианами вышел спор, которому они желали бы положить конец, передав вопрос на окончательное решение высшего авторитета, — великого пророка. Таким образом, они приступили к Нему с осторожностью, уважением и вежливостью. *Учитель*, сказали они с льстивым почтением, *мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому либо: ибо не смотришь ни на какое лице*. Они как будто умоляли Его, со страхом и любовью, высказать откровенно Его личное мнение, — как будто действительно нуждались в Его решении для собственного руководства в нравственном вопросе практической важности и были вполне уверены, что только Он один может разрешить их тяжелое сомнение. Но напрасны были и льстивое, поклонливое приближение, и ядовитость змеи. Острый язык и ядовитое жало не могли скрыться. Мы уважаем Твою мудрость, истину, смелость, — скажи же нам: как тебе кажется: позволительно ли давать подать кесарю или нет? Должны мы или не должны платить эту поголовную подать, которую все мы так сильно ненавидим, но законность которой поддерживают

иродиане? Кто из нас прав? Мы, которые ее ненавидим и печалимся о ней, или иродиане, которые ей радуются?

Они думали, что Иисус должен будет ответить: «да» или «нет». Уклониться от такого ясного вопроса, предложенного с осторожностью, откровенностью и почтением, невозможно. Он может ответить: «да, это законно». Тогда опасность для Него со стороны иродиан отстранится, потому что Он сам не будет опасен для них или для их целей. Зато, если Тот, которого народ принимает за Мессию, признает открыто языческую тиранию и объявит законною подать, поднимающую всю желчь в народе, то подобное решение потушить опасный для них народный энтузиазм, заставит исчезнуть всякое почтение, которое народ питал к Иисусу. С другой стороны, если, как они думали наверное, Иисус признает правильным взгляд на это дело соотечественника Иуды Гавлонита и ответит: «нет, незаконно», то и в этом случае они одинаково избавятся от Него, потому что тогда Он становится явным возмутителем власти римлян и их новые друзья иродиане могут представить Его на суд прокуратора, а Понтий Пилат, действующий круто по своим претензиям, если будет нужно, тотчас же, без малейшего замедления, смешает Его кровь с кровью жертв, как Он это сделал уже с галилеянами.

С затаенным дыханием ждали они ответа. Если им удалось скрыть нетерпение, светившееся в их взорах, то Иисус видел жало и сердце шипевшей змеи. Они высказывали ласки, называя Его учителем истинным, неумытным и бесстрастным судьею, а Он запятнал их презренным именем: *лицемеры.* Слово это не льстило их надеждам, сокрушало в прах их коварство. *Что искушаете Меня, лицемеры?* сказал Он, *принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его.* Они, вероятно, не хотели носить с собой римской монеты с языческими символами, хотя во всякое время могли вынуть из-за пояса еврейский сикл. Но им стоило только войти во двор язычников, чтобы взять у ростовщиков ходячую римскую монету. Удивленный народ стоял в молчании, пока они принесли и вручили Ему динарий, на одной стороне которого отштамповано было гордое, красивое, но злобное и презрительное лицо императора Тиверия, с надписью вокруг Pontifex Maximus (великий жрец). Это была случайность, потому что римляне, относясь с презрением к народным предрассудкам, но всегда уступая им, — такова была общая характеристика их правления, — дозволили

иудеям[599] чеканить для внутреннего обращения монету без императорских изображений, а с их знаками: пальмами, лилиями, виноградными гроздьями и тому подобное. *Чье это изображение и надпись?* спросил Он. *Они сказали Ему: кесаревы.* Тогда коварный вопрос их разрешался самым простейшим образом: *отдавайте кесарево кесарю.* Этого было вполне достаточно, потому что принятие народом такой монеты было ответом на вопрос и указывало ее значение. Но в ответе своем Он употребил слово, яснее и ближе выражающее то, о чем они спрашивали. Они допытывались: «позволительно ли давать?» Он исправил их ошибку, употребив в ответе: «отдавать» или «возвращать». Подать эта была не добровольным даром, но законной обязанностью, — не приятной жертвой, но политической необходимостью. Евреи понимали это в совершенстве и вследствие времени их величайшие раввины[600] ясно высказали в своих произведениях, что принятие на монете изображения какого-либо государя есть признание его верховной власти. Таким образом, принимая динарий за ходячую монету, они явно признавали кесаря своим государем, и лучшие из них разрешили вопрос положительным образом, уплачивая подать беспрекословно. На обязанности их лежало повиноваться власти, которую они признали общим решением, а подать при этих обстоятельствах представляла только эквивалент выгод, которые они получили[601]. Но Иисус не хотел остановиться на этом. Он прибавил более глубокое и более значительное изречение: *а Божее Богу*[602]. Кесарю должны вы отдавать монету, которую допустили, как символ его власти, и которая носит его изображение и надпись, а Богу должны предавать самих себя. Ничто не могло так широко раскрыть глубины лицемерия фарисейских совопросников, как то обстоятельство, что несмотря на Божественный ответ, несмотря на тайное убеждение в его справедливости, они впоследствии поставили Ему в вину, будто бы Он *запрещал платить дань кесарю*[603].

Изумленные и униженные внезапным и полным уничтожением плана поражения, который казался для них непреодолимым, они к собственной их досаде принуждены были только удивляться непогрешимой мудрости, которая в одно мгновение разорвала сеть их софистического коварства, и удалились с прискорбием. В словах Его

не было ничего такого, к чему можно было бы привязаться. Но неустрашенные неудачей саддукеи думали, что могут действовать успешнее[604]. В вопросе их слышалось что-то надменное, непокорное. Они явились с меньшей ненавистью, но с большими насмешками и презрением. До сих пор эти холодные эпикурейцы по большей части презирали и не хотели знать назаретского пророка. Имея поддержку в присоединившихся к их секте некоторых очень важных священников, а также некоторых богатейших граждан, состоя в лучших отношениях с иродианской и римской властями, чем фарисеи, — саддукеи, до этого времени, были менее настойчивы и задали себе теперь слишком неважную задачу побеспокоить только Иисуса, приведя Его в замешательство и затруднение. Они выступили со старым, обветшалым, казуистическим вопросом, зародившимся в таком же самодовольном невежественном уме, как и многие из возражений, поднятые новейшими саддукеями против воскресения тела. Это была путаница доказательств, способная только подтвердить их неверие, а вместе с тем и поставить в затруднение противников. Обращаясь к Иисусу с насмешливым почтением, они представили Ему на вид установление Моисеево о браках по праву ужичества, приводя за действительный довольно грубый, существовавший только в их воображении, случай, что, будто бы по смерти старшего брата без потомства, вдова переходила последовательно в супружество к шести младшим братьям, которые умирали таким же образом один за другим бездетными. *По воскресении*, спросили они насмешливо, *чьею из семерых будет она женою?* Фарисеи, как мы можем судить по Талмуду, поставили уже вопрос на более прямой путь, определивши, что по воскресении она должна оставаться женой первого мужа, если бы Иисус с своей стороны дал хотя тот же самый ответ, то ввиду признания законности такого мнения людьми, считавшимися по уму гораздо выше саддукеев, трудно было бы этим последним отрицать подобное выражение или что-нибудь выиграть предложением такого пустого и материалистического вопроса. Но если речь Иисуса, по ее строгости была сходна с речью предшествующих и современных учителей Его народа, то между духом и правилами их и Его учеников существовало такое же расстояние, как между землей и небом. Если бы Он был учитель-человек, то отвечал бы на этот вопрос также насмешливо, как он был предложен. Но дух насмешки чужд

голубиного духа. Надменным и сварливым совопросникам Он без всякого презрения дал ответ, исполненный глубокого значения и достопамятный навек, хотя вопрос предложен был слишком неожиданно. Ответ этот так широко открыл двери рая, что люди могли видеть внутрь его гораздо дальше, чем прежде. В нем высказывалось против одной из самых обыкновенных форм неверия такое доказательство, которого не придумал ни один равви, ни один пророк, но высказалось не с такой сосредоточенной суровостью, какая замечается в предыдущем ответе фарисеям и иродианам вместе, потому что мнение саддукеев обличало скорее нелепое легкомыслие, нежели глубоко укоренившуюся злобу. Иисус отвечал им, что они заблуждаются вследствие незнания отчасти Писания, отчасти силы Божией. Если б они сколько-нибудь побольше знали хоть эту последнюю, то не воображали бы, что жизнь сыновей воскресения будет только отражением и повторением жизни сынов мира. За могилой, в небесах, хотя любовь и остается, но все земные, человеческие отношения прекратятся и переменятся в новые. Сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не будут ни жениться, ни выходить замуж и не умрут вовеки, ибо *они равны ангелам, и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения.* Затем, обращаясь к их незнанию Св. Писания. Он спросил их: разве они никогда не читали в книге «Исход», как Господь описывал самого Себя их законодателю, что *Он Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова*, а при этом разве они не подумали, как неважен был бы этот титул, если бы Авраам, Исаак и Иаков представляли только горсть праха, рассеянного по земле ветром, или мертвые кости, которые должны истлеть в Хеттейской пещере? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы сильно заблуждаетесь. Ужели возможно, чтобы Он дозволил Себе назвать Себя Богом праха и пепла? Как нова, как светла, как глубока эта мысль, служащая к изъяснению Св. Писания. Саддукеи, вероятно, предполагали, что слова эти означают просто: Я Бог, которому верили Авраам, Исаак и Иаков; но как ничтожно было бы такое выражение, как мало способно вдохнуть веру и особую смелость для какого-нибудь геройского предприятия! Я — Бог, на которого надеялись Авраам, Исаак и Иаков, а к чему, если не к воскресению, могла привести их такая надежда? К смерти, к обращению в ничто, к вечному молчанию, к стране мрачной после жизни, полной испытаний,

которую последний из этих патриархов назвал путешествием нескольких бедственных лет. Но не так думает **Господь.** Он думает и Сын Его изъясняет, что Тот, кто есть помощь и упование всех концов земли, будет помощью и опорой навеки и что будущий мир не сделается для нас страною забвения.

ГЛАВА LII

Обличение

Все, слышавшие эти высокие ответы, — даже гордые саддукеи, пришли от них в восхищение[605]. Народ изумлялся и увлекался ими, а некоторые из книжников (которых св. Матфей называет законниками, а св. Лука — грамматиками, а Иосиф Флавий — толковниками закона), довольные духовным поражением не поддававшегося их рассуждениям скептицизма, не могли не выразить громко благодарного сознания, что Иисус действительно хорошо отвечал саддукеям. Нечеловеческая мудрость и глубокое знание, видимые из Его ответов, нередко приобретали Ему, хотя и мгновенное, расположение Его врагов. Но ненасытный дух казуистики и разногласия пробудился снова. Один из книжников, изучавший Тора (закон), задумал испытать глубину Христова учения и Его мудрости. Он задал вопрос, с первого взгляда обличавший его ложное и видимо недуховное воззрение: *Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?*

Раввинские школы, при их путаной, материалистической, поверхностной системе преподавания, которая основывалась на словоизвержениях и поклонениях букве, придумали множество ничтожных тонкостей для изъяснения Моисеева закона. Между прочим они приложили всю мелочность своей души на фантастическое определение счета, классификации, веса и меры всех взятых вместе и порознь заповедей обрядового и нравственного закона. Таким образом, они пришли к мудреному заключению, что там существует 248 утвердительных правил, т. е. сколько членов в человеческом теле, и 365 отрицательных, по числу артерий и вен у человека или дней в году; общая сумма их будет 613 или количество букв в десятословии. Так как, по закону Моисееву[606], каждый еврей обязан был на углах таллифа носить кисти (цициф), пришитые голубой ниткой, то, — сосчитывая, что каждая кисточка должна была состоять из восьми ниток и пяти узлов, а буквы в слов*е цициф* составляют сумму 600, общее число будет снова 613, т. е. равно с общим количеством букв заповедей. Впрочем, некоторые раввины

насчитывали 620 правил, по сумме слова *Кафер* (венец), мудрецы Великой Синагоги сократили до одиннадцати, согласно псалма 15, причем замечали, что у Исаии числится только шесть, у Михея три, у Аввакума одно правило.[607] Само собою разумеется, что из такого огромного количества правил и запрещений не все могли иметь равное достоинство: поэтому некоторые назывались *каль* (свет), а другие *кобгед* (тяжесть). Которая же из них наибольшая заповедь? Согласно учения некоторых раввинов, самою важною была та, которая говорила о *тефиллине* и *цицифе*, и кто старательно собладает ее, того следует считать сохранившим весь закон. Гиллел, указывая одному прозелиту-язычнику на 18 ст. 10 гл. кн. Левит, сказал, что в ней вся сущность закона, а остальное только толкование на него. Раввин Иосиф Бен Рабба[608], когда его спросили, что наиболее всего приказывал ему сохранять его отец, отвечал: «Закон о кистях. Он сам, сходя раз с лестницы, зацепился за что-то кистью и оторвал ее, а потом не хотел двинуться с места, пока не была она пришита снова».

Некоторые думали, что нарушение правил об омовениях было так же преступно, как и человекоубийство; другие считали, что правила *мишны* все — «тяжесть», а из правил закона одни— «святые», другие — «тяжесть». Были и такие, которые считали самою величайшею третью заповедь. Но ни один из них не додумался до той истины, что произвольное нарушение одной из заповедей есть нарушение всего закона, потому что цель всего закона есть повиновение Богу[609]. По вопросу, предложенному книжником Иисусу, между шаммаитами и гиллелитами была рознь и обе школы, по обыкновению, ошибались, — шаммаиты, толкуя, что важнее всего исполнение простых наружных обрядов, независимо от духа, в котором они совершались, и принципа, которые они поясняли действием; гиллелиты, думая, что внутреннее содержание всякой положительной заповеди не заключает в себе никакой важности, и не видя того, что великие принципы существенно необходимы для должного исполнения самомалейшей обязанности. Только наилучшие и более просвещенные раввины глядели прямо, считая, что важнейшею из заповедей, заключавшею в себе источник всех других, была та, которая обязывала любить единого истинного Бога. Иисус имел уже раз случай выразить свое одобрение такому суждению[610] и теперь вновь повторил его.

Тефиллином, или *филактерией*, назывались два кусочка пергамента, завернутые в кожаные мешочки, которые прикреплялись к вискам. На пергаменте были написаны изречения из книг: Исхода (13, 1-10; 11–16) и Второзакония (6, 4–9; 11, 13–21). Секта новых фарисеев под названием *Перушимов*, во время Спасителя, по словам евангелиста Матфея, расширяла хранилища свои, то есть увеличивала до крайности филактерии и воскрилия (*цициф*) одежд своих (*таллиф*). Указывая на книжниковы тефиллины, из которых на одном написана была Шема[611], прочитываемая дважды в день каждым благочестивым евреем, — Иисус сказал ему, что наибольшая заповедь: *слыши, Израиль, Господь наш Господь един есть, и вторая подобная этой: возлюби ближнего твоего, как самого себя*. Любовь к Богу, имеющая последствием любовь к человеку, — любовь к человеку, нашему брату, как результат любви к нашему общему Отцу; *на сих двух заповедях утверждаются* (или в буквальном переводе *висят) весь закон и пророки*[612].

Вопрос в том смысле, в каком высказан книжником, был предметом споров, которые происходили в школах совершенно непроизводительно и бесполезно. Но книжник должен был видеть, что Иисус, отвечая на вопрос, не выразил готовности на пустой спор в духе сварливой логомахии, к которой привыкли книжники и фарисеи, — и своим словом не освятил общих заблуждений и ересей относительно превосходства обрядности перед нравственностью, предания пред законом, решений соферима пред словами пророческими. Заповеди, на которые Он указал как на величайшие, были не специальные, а общие, — не избранные из многих, но заключающие в себе все остальные. И действительно, книжник имел на столько смысла, что заметил это, — на столько совести, что признал ответ Иисуса мудрым и высоким. *Хорошо, Учитель*, — воскликнул он, — *истину сказал Ты;* причем доказал, что читал Св. Писание, потому что мог сделать перечень из пророчеств, доказывающих, что любовь к Боту и любовь к человеку лучше, чем всесожжение и жертвы[613]. «Я давно хотел бы послушать таких слов, — говорит св. Ириней[614], но не нашел до сих пор никого, кто бы сумел сказать их». Иисус похвалил чистосердечие книжника, сказав ему в выражениях, в которых слышалось милостивое одобрение и важное предостережение: *не далеко ты от Царствия Божия*. Это означало,

что ему удобно было войти, но есть опасность уклониться в сторону, а когда бы он вошел, то увидел бы, что вопрос его был заблуждением и ложью, и что *кто сохранит весь закон, но нарушит хотя одну йоту, повинен всему закону*[615].

С этой поры не было уже никаких покушений, чтобы уловить или уничтожить Иисуса на словах. Синедрион из неудач своих замысловатых стратагем и унижений своей кичливой мудрости узнал на опыте, что одного луча света с высоты солнечной, где парит дух Иисуса, было достаточно для того, чтобы рассеять и разметать врознь туман мирских состязаний, пустопорожних споров, среди которых они жили, двигались и существовали. Они убедились, как Он во всякое время, когда только желал, располагал всесокрушающими орудиями истины, которые они старались направить против Него, но с такими бесплодными *р* печальными результатами. Тогда предложил Он им вопрос[616], извлеченный из мессианского псалма и основанный ка их же принципах толкования. Там встречается выражение: *сказам Господь (Егова) Господу (Адонаи) Моему: «седи одесную Меня»*[617]. Каким же образом Мессия мог быть сыном Давидовым? Могли Авраам называть своим Господом Исаака, Иаков — Иосифа или кого-либо из своих дальних и близких потомков? Если нет, то почему же Давид поступает таким образом? На это был один ответ: потому что Мессия должен быть Сын Божий, а не человеческий, — сын Давидов по человеческому рождению, Господь Давидов по Божественному существу. Но они не могли высказать ни такого простого, ни какого бы то ни было другого объяснения, потому что Йисус был Мессия, а они отвергли Его. Они лучше хотели не знать, что по плоти Он есть сын Давидов, а когда как Мессия Он назвал себя Сыном Божиим, то они в благочестивом ужасе подняли руки и схватили камни, чтобы убить Его. То же было и теперь. Так как они отвергли нить веры, которая привела бы их к истинному объяснению, то вся мудрость их оказалась крайним заблуждением. Хотя они так сильно кичились званием вождей народных, — по своей сущности настолько же основательным и важным, как их мессианские надежды, — однако в течение одного и того же дня уже в другой раз изобличены были в том, что они *слепые вожди слепцов.*

Но слепота их им нравилась: они не хотели расстаться со своим невежеством; не раскаялись в своих ошибках; глубокая тьма их

развращения не рассеялась Его мудростию. Своего предположения убить Его они держались крепко и упорно; возвратиться назад не хотели и, если бы не удался этот замысел, то измыслили бы со злобным упорством новый. И так как любовь обращалась к ним напрасно; справедливость была ими попрана; так как свет мира падал на них, нисколько не освещая, то солнце благодати должно было наконец осветить им хотя предстоящую опасность. Они никогда не могли ни примириться, ни даже надеяться на примирение с Иисусом; нераскаянная злоба их на Него обратилась в стереотипную. Поэтому, обращаясь к ученикам, но во всенародное услышание, Он стал рассыпать над их преступными головами раскат за раскатом гневные громы последнего осуждения[618]. Заповедав слушателям уважать их, как представителей законной власти, Он предостерегал, чтобы не заражались их коварством, их желанием наложить на все гнет, их жизнью напоказ, их жадностью, с которой они сроднились, их самохвальством и гордостью. Он повелевал остерегаться больших филактерий, толстых кистей, длиннополых таллифов, под которыми кроются сердца убийц, — остерегаться продолжительных молитв, которые отвлекают от исполнения законных обязанностей. Поражая их пламенем, которое все сильнее и сильнее вырывалось из Его нагоревшего сердца, торжественно и страшно произнес Он тогда осьмеричное «горе»! за невежественное учение, которое запирает врата небесные, и за несправедливую зависть, которая не дает другим входить в них; потому что учение их в это время дошло до крайностей[619], представляя небо чем-то вроде раввинской школы, где Бог был главным раввином, распознаваемым от ангелов по вопросу: чист или нечист прокаженный? Они дошли до такого изуверства, что будто бы раввин Бен Нахман, по собственному желанию убитый Азраилом, перенесен в небесную академию, где он спорит с Богом и этим доставляет Ему удовольствие. Горе им за притворство, при котором они гнетут других, за лицемерие, прикрывающее их жадность! Горе им за ревность к обращению язычников к верованию в одного Бога[620], потому что плодом его было более пагубное развращение! Горе их слепому, приводящему в ужас безумию, осквернившему святость клятвы, которой уже не верили язычники[621], заметив, что для нарушения ее евреи, согласно с опасным учением раввинов, очень часто прибегали к игре слов в договорах! Лицемерие,

по собственному их признанию, разделено было на десять частей, из которых девять десятых пришлись на долю Иерусалима и только остальная досталась на весь мир. Горе их мелочному и жалкому бесстыдству, которое, оплатив подати с трав, нисколько не думает *о суде, милости и правде*, которое, *оцеживает комара, а верблюда поглощает!* Горе им за наружную чистоту сосудов и блюд, противоречащую прожорливости и пьянству, для которых эти предметы служат! Горе гробам, которые подражают святости храмов, белея извне гипсом лицемерия, а изнутри испуская зловонные испарения! Горе их притворному раскаянию, с которым они осуждают своих отцов за убиение пророков, между тем как сами не только проникнулись тем же духом убийства, но переполнились им и превысили меру преступления отцов принесением более ужасной, более прискорбной жертвы! Пусть же падет на них вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого они убили между храмом и жертвенником!

Нельзя пройти молчанием, что один Захария, сын Варуха, или Варахии, очень знатный и благочестивый человек своего времени, был убит вследствие ложного обвинения, спустя после этого тридцать четыре года зилотами среди храма, и труп его сброшен в долину[622]. Ясно однако, что он не мог быть Захарием, упомянутым в Евангелии. Нельзя положиться и на уверения Оригена, что Захария, отец Иоанна Крестителя был замучен или что он был сыном Варахии. Пророк Захария[623]был действительно тоже сыном Варахииным, но нет никакой причины думать, что он был предан насильственной смерти. Скорее всего Спаситель говорил о Захарии, сыне Иодая[624] (о котором упоминается в Евангелии, находящемся у назарян), побитом камнями, по приказанию Иоаса, «во дворе дома Господня». Что речь идет о нем, ясно из того 1) что это убийство, по порядку еврейских книг, стояло последним в Ветхом Завете;

2) что при смерти Захария воскликнул: «Господь видит и взыщет за это»; 3) что у самих евреев есть много замечательных легенд об этом убийстве, которое произвело глубокое впечатление на народ и навлекло на него, по его мнению, гнев Божий. Поэтому я думаю, что слова «сын Варахиин», которых нет ни в одном манускрипте, кроме кембриджского, представляют раннее и ошибочное, вкравшееся в

текст чтение[625]. Мое объяснение, по всей вероятности, будет ближе, чем прочие, тем более, что в самом древнейшем манускрипте С.-Петербургской публичной библиотеки слова эти пропущены. Другие предположения, что Иодай было второе имя Варахии или что Захария был внук Иодая и сын не упоминаемого нигде Варахии, не выдерживают критики. Но если кто спросит, почему Иисус упоминает об убийстве, совершившемся назад тому несколько столетий, то ответ таков: Ему хотелось передать ту мысль, что отцы ваши от начала до конца записанной в книгах истории (или общее выражение: евреи от Исхода до Откровения) отвергали и убивали пророков: вы, разделяя и усугубляя их преступления, должны вынести на себе всю силу долго собиравшегося гнева Божия. Кровавое облако возмездия уже наполнилось гневными началами и молнией разразится оно над их головами.

Но вслед за этим голос Его, звучавший справедливым и благородным негодованием, перешел в тон любвеобильного сострадания: *Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих подкрылья, и вы не захотели. Се оставляется дом ваш пуст: ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: Благословен грядый во имя Господне*[626].

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры.Некоторые называли эти слова несправедливыми и оскорбительными, приписывая их взрыву гнева за обманутое ожидание. Но разве может быть грех оставлен без порицания? Разве не должно никогда изобличать притворство? Разве нравственное негодование не составляет необходимой принадлежности высокой души? Разве еврейская литература сама не поддерживает вполне обвинений, высказанных Иисусом против фарисеев[627]? «Небойся истинных, но нарумяненных Иисусом против фарисев», сказал на смертном одре Александр Янней своей жене. «Верховный трибунал, — говорит раввин Нахаман, — будет достодолжно наказывать лицемеров, которые закутываются в свои таллифы, чтобы казаться истинными фарисеями, хотя они и не принадлежат к ним». Самый Талмуд с необыкновенною резкостью описал нам семь разрядов фарисеев, из которых шесть характеризовал гордецами и лицемерами. Были фарисеи ***сехемиты,***которые

повиновались закону из собственного интереса; фарисеи ***подпрыгивающие*** **(*никфи*),** которые были до того смиренны, что постоянно спотыкались, потому что не могли поднять ноги от земли; ***кровоточивые*** **(*кинаи*),** которые ударялись об стены, вследствие преувеличенной скромности, не допускавшей им ходить с открытыми глазами, чтобы не увидеть женщины; фарисеи ***медоркие,***которые как будто залепляли глаза известью для сказанной выше причины; фарисеи ***скажи-мне-другую-заповедь-и-я-исполню-ее,***из которых многие встречаются в Евангелии; фарисеи ***робкие,***которые действовали единственно из страха. Седьмой разряд составляли фарисеи ***полюбви,***которые повиновались Богу, потому что любили Его от всего сердца.

Се! оставляется дом ваш пуст.И разве не исполнилось страшным образом такое провозвестие? Рассказывая об убийстве молодого Ганана и других знаменитых иерархов, Иосиф[628] говорит: «те, которые незадолго пред этим носили священные одежды, председательствовали при общественном богослужении и остались почтенными по всей земле, где только жили люди, были выброшены нагие на съеденье псам и диким зверям». Нет в истории рассказа настолько полного ужасами, неистовствами, невыразимым унижением, непреодолимыми бедствиями, как рассказ об осаде Иерусалима. Ни одно пророчество не исполнилось с такой ужасающей точностью, с такою непреодолимою силою, как пророчество Христово. Мужчины переодевались в женские нарядные платья и ходили со скрытым под ними оружием. Между соперничавшим друг перед другом Иоанном и Симоном происходили оскорбления и перебранки. Священники, пораженные стрелами с верхнего двора храма, падали без дыхания возле жертвы; кровь от всякого рода мертвых тел, — священников и иностранцев, — оскверняя святыню, стояла озером на святых дворах; на столпах и ограде алтаря валялись трупы; огонь пожирал беспощадно кедровое дерево, обитое золотом; друг и враг, в беспорядочной резне, попирали друг друга ногами на мозаичном полу; священники, распухши от голода, в безумии устремлялись в пламя, пока наконец огонь не повершил своего дела. И там, где был храм Иерусалимский, — великолепный Святой дом Божий, — осталась груда развалин, между которыми горячие головни тлелись под лужами крови.

А разве мало пролито крови, когда судьба Авеля постигла этот народ? Разве многие из современников Христовых не дожили до нее для того, чтобы быть свидетелями и прочувствовать невыразимые ужасы, которые рассказывает Иосиф[629], чтобы видеть своих собратьев, распятых на посмеяние «одного таким, иного другим образом», так что «не оставалось места для крестов, не хватало крестов для распятия»? Разве не дожили они до этих дней, для того чтобы испытать «глубокое молчание», нечто вроде смертной ночи, охватывавшей весь город в промежутках невыразимых неистовств; чтобы видеть 600000 мертвых тел, выносимых из ворот, — друзей, дерущихся безумно за траву и крапиву, за отказ в капле воды, — окровавленных зилотов, разинувших рот от жажды, спотыкающихся и падающих, как бешеные собаки? Разве не пришлось им пережить эти дни, чтобы слышать ужасный рассказ о несчастной матери, которая, вследствие мучений голода, съела собственного ребенка, — чтобы быть проданным в рабство в таком множестве, что наконец никто не хотел покупать, — чтобы видеть улицы, затопленные кровью, и пламя горящих домов, тушимое кровью их защитников, — чтобы видеть своих сынов, продаваемых сотнями или преданных в амфитеатрах оружию гладиаторов и бешенству львов, пока, наконец, (так как народ был избит, святой дом предан огню, город в пламени), уже нечего было более делать неприятелю? Предполагают, что в этой страшной осаде истреблено до 1.100.000 человек, кроме 97.000 взятых в плен, из которых большая часть погибла на аренах или в рудниках. Страшно было слышать мнение некоторых личностей, переживших это событие, его очевидцев и притом не христиан, — что город этот заслужил свой разгром, произведя поколение, которое было причиною его бедствий, и что «никакой другой город не вынес таких бедствий, но и ни один век от начала мира не производил более злостного поколения, как жившее в это время».

ГЛАВА LIII

Прощание с храмом

Для всякого ясно, что великое пророчество, переданное в последней главе, заключало в себе окончательный и безнадежный разрыв между Иисусом и иудеями. Примирение после подобных слов было невозможно. Поздно; дверь заперлась. Когда Иисус оставил храм, ученики Его должны были знать, что Он покидает его навсегда.

Но, по-видимому, при выходе оттуда, — а может быть, когда Он сидел со скорбным сердцем *и* поникнутым взором во дворе женском для успокоения души, возмущенной необычайным умственным напряжением и нравственным негодованием, вследствие беспрестанных нападений, — встретился новый, менее грустный случай, который дал Ему возможность оставить пределы дома Отца Своего не со словами гнева, но с благостью в сердце. В женском дворе находилось тридцать хранилищ. Они устроены были в виде расширяющихся книзу труб, украшены различными надписями и служили складом добровольных приношений, которые употреблялись для украшения храма. Туда приходил каждый со своим даром, но между другими легко было отличить вкладчиков богатых, потому что они сыпали серебро и золото так, чтобы видели люди. Подняв свои взоры, Иисус в одно мгновение понял все значение этого зрелища. В Талмуде написано: «кто дает милостыню втайне, тот выше самого Моисея» и «лучше не давать, чем давать напоказ и открыто». Но в эту минуту бедная вдова робко опустила свою контрибуцию[630]. С пренебрежением, может быть, скривились губы богачей при виде дара, меньше которого невозможно было уже внести по Закону. Она положила два прутага, самомалейшую из ходячих монет; потому что незаконно было даже для беднейших людей не внести ничего. Лепта, или прутаг, была восьмая часть аса и почти что равнялась нашей полушке. Стыд бедности заставил несчастную согнуться при пожертвовании такой безделицы, когда вокруг ее богатые люди щедро отсыпали золото. Но Иисус был доволен верою и жертвою вкладчицы. Это было для Него «чашей холодной воды», поданной с любовью, которая в царстве Его не может остаться без вознаграждения. Он

высказал при этом вековечный великий урок, что сущность милостыни есть самоотвержение, и самоотвержение вдовы при ее бедности гораздо важнее, нежели в богатейших фарисеях, которые внесли золото». ***Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, — все пропитание свое.*** «Одна монета от скудости, — говорит св. Амвросий, — лучше, чем сокровище от избытка: обращается внимание не на то, сколько дано, но сколько осталось». ***Если есть усердие,***— пишет св. Павел, — ***то оно принимается, смотря потому, кто что имеет, а не потому, что не имеет***[631]**.**

После этого Иисус окончательно оставил храм[632]: но священное и достопамятное место пробудило в апостолах чувство национальной гордости. Они остановились, чтобы бросить последний томительный взгляд и один из них решился обратить внимание Учителя на эти красивые здания, — на десять ворот, из которых девять были обложены золотом и серебром, а одно — толстым слоем ценившейся выше всех драгоценностей коринфской латуни, — на эти красивые и высокие портики, — на эти тесаные глыбы мрамора сорока локтей длины и десяти локтей высоты, свидетельствующие о труде и щедрости столь многих поколений, — на эти двойные переходы и дивные колонны, — на эту роскошь скульптурных украшений и арабесков, — на эти сменяющие друг друга глыбы то красного, то белого мрамора, напоминающие гребень и глубокую бездну морских волн, — на эти громадные кисти золотых гроздьев, величиною в рост человека, увеличивавшие роскошь золотых дверей. Апостолам хотелось, чтобы Иисус взглянул на возвышающиеся террасы двора язычников, с его колоннами из одного камня и богатой мозаикой, откуда лестница в четырнадцать ступеней вела во двор женский, затем лестница в 15 ступеней шла во двор священников, наконец лестница в 12 ступеней доводила до последней платформы к «святая» и «святая святых», которую раввины[633] любили сравнивать по ее форме с лежащим львом и которая с ее мраморною белизною и позолоченными кровлями выглядывала снеговой горой, с позолоченной солнцем вершиной. Апостолы как будто думали, что красота и блеск этого зрелища будут ходатайствовать пред Ним за самое здание, тронуть Его сердце немою просьбою. Но сердце Иисуса было прискорбно. Он видел красоту храма единственно лишь в чистосердечии его

посетителей. Не золото или мрамор, неблестящий пурпур или искусно выточенный кедр, не красивая скульптура или внесенные по обетам драгоценные камни могли изменить для Него вертеп разбойников в доме молитвы! Строители деятельно производили работу в течение пятидесяти лет, но их дело, не получившее Божьего благословения, было предназначено. — как поглощенная землетрясением площадь Помпеи, — рушиться прежде, чем будет окончено. Коротко и непреклонно отвечал Иисус, когда отвратил свои взоры от великолепного зрелища. *Видишь ли великие здания? Все это будет разрушено, так что не останется здесь камня ни камне. Уйдем отсюда,* — было последним словом удаляющегося Божества. Тацит и Иосиф[634] рассказывают нам, что при осаде Иерусалима слышалось то же самое выражение, высказанное будто бы удаляющимися богами; но теперь оно сказано в действительности, хотя не было сопутствуемо землетрясением, ни даже другим каким-нибудь чудом, чтобы указать, что это было заключением одной из эпох всемирной истории. Это выражение высказано было спокойно. Тридцать пять лет спустя храм погиб в прахе разрушений[635]; ни Адриан, ни Иулиан и никто другой не могли возобновить здание, так что истинное место храма осталось в полной неизвестности.

Печально и молчаливо, с такими думами в сердце, небольшой собор апостольский удалялся от священного здания, которое стояло, как сокращенная еврейская история со времен Соломона. Пересекши долину Кедронскую, они пошли по крутому всходу, ведущему через Елсонскую гору к Вифании. На вершине холма они остановились и Иисус сел отдохнуть, — может быть, под зелеными ветвями тех двух красивых кедров, которые украшают вершину и доселе. Окрестность представляла зрелище, возбуждавшее действительно высокие мысли. На одной стороне, глубоко под Ним, расстилался святой город, с давних времен погрязший в заблуждениях, в настоящее же время, — в последний день общественного учения его Господа, — окончательно доказавший, что не знает срока посещения.

Под ногами были откосы горы Елеонской и Гефсиманский сад. На противоположном откосе поднимались городские стены и роскошная платформа, венчавшая храм золочеными крышами над мраморной колоннадой. По направлению к востоку, взор Его, пересекши бесплодные, пустынные холмы пустыни иудейской, останавливался на

пурпуровой линии гор Моавитских, которые блистали на солнце, как цепь из драгоценных камней. В глубоких, выраженных солнцем впадинах гор, видимых на фоне темного кобальта, таинственно покоились воды Лотова озера. С обеих сторон предстояли памятники Божьего гнева и человеческого преступления: с одной — стоячее озеро, выставлявшее напоказ свои мертвенные, смолянистые воды, служило постоянным свидетельством Божьего мщения за чувственный грех, а с другой — знаменитый своими преступлениями город, который пролил кровь пророков и был осужден за свое горшее против того озлобление на конечное разрушение. Заходящее солнце Его земной жизни освещало какими-то густыми, сумрачными красками картину Его земного странствования.

Легко можно думать, что задумчивость Его придавала особую торжественность положению и чертам лица Его, когда Он сидел, молча, среди грустного небольшого круга Его верных последователей. Не без некоторой боязни Его приближеннейшие и любимые апостолы, — Петр, Иаков, Иоанн и Андрей, — подошли к Нему и, видя, что взоры Его обращены на храм, спросили наедине: *скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины мира*[636]? Одно из деланий говорит, что Иисус на вопрос: «когда» ответствовал[637]: «когда два будут равны одному; когда внешнее будет внутренним; когда мужеский пол и женский перестанут быть полом мужеским и женским»; но по Евангелию вопрос этот остался до временя без ответа. Таков был постоянный метод Иисуса отвечать на некоторые вопросы, почему-нибудь неудобные, но делаемые единственно по неведению. Он не оговаривал прямо, но, обойдя вопрос, вместо прямого ответа, преподавал какое-нибудь великое нравственное поучение, которое, соприкасаясь с вопросом, и само по себе имело значение[638]. Согласно с этим, вопрос апостолов вызвал от Него эсхатологическую (выходящую из пределов человеческого мышления) проповедь о последних мировых событиях, — четырьмя нравственными ключами которой служили слова: *берегись! наблюдай! терпи! и молись!*

В этой проповеди многие находили сильные затруднения, для устранения которых написано множество трактатов. Аллегория, в которую она облечена, и намеренно не вполне ясный смысл ее, избранный Иисусом для выражения Божественной воли относительно

подробностей будущего, — которые послужили бы только или к удовлетворению пустого любопытства, или к парализующей скорби, — представляют видимые затруднения для уразумения слов Спасителя. Но если мы сопоставим рассказы всех трех евангелистов вместе и посмотрим, насколько они взаимно объясняют друг друга; если мы вспомним, что во всех трех рассказах речь Спасителя по необходимости передана благовестниками своими словами, в сжатом виде, с удержанием только ее сущности, следовательно допускает разногласие с устным рассказом; если мы приведем себе на память, что сказанное на арамайском языке переведено на греческий; если мы остановим взгляд на том принципе, что целью пророчества во все времена было больше всего нравственное предостережение, нежели хронологическое указание, — так как для пророческого голоса, как для всевидящего ока Божия, существует одно настоящее, один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день[639]; если «последний день скрыть, как говорит блаженный Августин, для того чтобы внимательно наблюдались прочие»; если наконец мы с глубоким почтением и без всякой суетной богословской фразеологии и риторических фигур принимаем слова самого Спасителя, что *о дне том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец, который времена и лета содержит в своей власти*; если, я говорю, мы читаем эти главы, непоколебимо сохраняя в сердце такие убеждения: то, мне кажется, для всякого усердного и серьезного читателя большая часть затруднений устраняется сама собою.

Из сравнения рассказа евангелиста Луки с прочими двумя синоптистами вытекает, что Иисус направлял мысли своих учеников к двум горизонтам: одному — ближайшему, другому — отдаленному, с означением предела или конца каждого. Первый из них простирается единственно только на обстоятельства одного века, современной и ближайшей к Нему эпохи; второй объемлет отдаленные события последующих веков, причем Он указал на прямое их друг с другом соотношение. Дозволяя ученикам остановить непродолжительный взгляд на картине будущего, Он, как на ближайшее обстоятельство, указал на скорый суд и конец Иерусалима, за которыми последует учреждение на землевидимой церкви, причем этот суд и конец св. города будут прообразованием суда над миром, его кончины и учреждения царства Христова во второе пришествие. «Род сей»,

говорил Он в смысле существовавшего тогда поколения, не истребится до суда над Иерусалимом, а в смысле вообще рода человеческого не вымрет до кончины мира. Если неопределенная пророческая речь, личные убеждения евангелистов Матфея и Марка, при сжатом изложении устного рассказа, дают некоторое понятие, что эти два события служат непосредственным друг другу продолжением или, по крайней мере, между собою сопредельны, то, с другой стороны, у евангелиста Луки мы видим предупреждение Спасителя, что хотя многие из предсказанных Им знамений совершатся тотчас в заключение великой эпохи мировой истории, однако всеобщая смерть и пакибытие последуют не скоро, а потому смуты и народные движения не должны возбуждать страха и лихорадочного ожидания близости последнего суда. Таким образом, если мы единожды навсегда усвоим себе мысль, что Иисус говорил отчасти и прежде всего о падении политического существования евреев и их рассеяния по лицу земли, отчасти и уже во вторых о кончине мира, и, при живом разговоре, мысли и слова о том и другом перемешивались друг с другом, — что совершенно естественно в Богочеловеке, существование которого постоянно вращалось в сфере вечной, а не временной; то, само собою разумеется, евангелистам почти невозможно было следить, какие изречения Он относил к ближайшему и какие — к отдаленному событию. Поэтому, чтобы избежать неправильного увлечения поверхностными и ошибочными впечатлениями, мы должны постоянно держать в памяти, что прежде кончины мира Иисус предсказал совершение двух великих событий[640]: первое из них опустошение Иерусалима, пока *не окончатся времена язычников*, т. е. не исчезнет их сила под влиянием христианства, второе *распространение Евангелия царства Божия между всеми народами* в мире. Мы не можем отрицать все достоверности даже того предположения, что хотя вдохновенные благовестники Евангелия передавали с мудростью и верностью все, что существенно относилось к жизни и спасению человечества, но желание передать все высказанное Иисусом в сокращенном виде могло до некоторой степени внести в рассказ личные их воззрения и вполне естественное предположение, что последний суд ближе, нежели на самом деле, ко времени падения Иерусалима.

В проповеди этой Иисус предостерегал их, во-первых, от ложных мессий и ложных пророков; предупреждал, что дикие битвы народов и те физические нестроения и бедствия, которые так часто совпадали с кризисами историческими, не должны их тревожить; ибо они будут только болезненными предвестниками пакибытия, — первыми родовыми болями наступившего срока. Рассказанная Иосифом «Иудейская война»[641] доказывает, как верны были предсказания Спасителя. Тацит, описывая ту же самую эпоху, называет ее «богатою происшествиями, жестокою вследствие войн, нестройною вследствие возмущений, злобною даже в мирное время», а затем продолжает речь о землетрясениях (поглотивших и разрушивших города), о разврате, изменах, насилиях и осквернениях. Спаситель пророчествовал о страшных преследованиях, об усилении несправедливостей, о падении веры, о распространении Евангелия, как о знамениях грядущего конца, и мы видим из многих других мест Священного Писания, что эти знамения, будучи в свое время предвестниками разорения Иерусалима, появятся снова через более продолжительный срок, пред наступлением конца мира[642].

Первый большой отдел проповеди останавливается большею частью на ближайшем будущем. В нем предрекается ясно падение святого города, даются указания, которые должны предупредить учеников об его приближении и помогут им оградить себя от напасти. Когда увидят Иерусалим, окруженный войсками, когда мерзость запустения, которая составляет причину разорения, станет на святом месте; тогда с полей и из-под крыш побегут иудеи, чтобы скрыться в заиорданских горах, вследствие наступающих невыразимых ужасов. Но даже и в то время они не будут свободны от обманов, которым легко могут поддаться, вследствие усиленных надежд на приход царства земного Мессии. Многие будут кричать: *вот здесь Христос* или *вот там;* но пусть не обращают на это внимания. Потому что когда действительно придет Христос, то явление Его, как лучезарный свет от востока до запада, будет безошибочно видимо всем миром, и, как стая орлов, собирающихся к трупам, зашумят крылья Его служителей, предназначенных для отмщения. Предостережения эти дали возможность христианам избавиться от бедствий. Прежде чем Иоанн Гискальский разрушил иерусалимские ворота и Симон из Геразы начал умерщвлять беглецов[643], так, что тот, «кто избежал

тирана внутри стен, был убит другим, который находился у ворот»; прежде, чем римский орел успел расправить крылья над осужденным городом или позор разврата и убийства привел в ужас каждого старозаконника[644] при виде осквернённых дворов храма», — христиане, получив своевременно предостережение (в ном выражении оракула, как говорит Евсевий[645], или в извещении ангела, как объясняет Епифаний[646], и удалясь в маленький перейский город Пеллу, были спасены от разбоев, смерти, голода, жестокостей и истребления, которые сделали осаду Иерусалима зрелищем большей скорби, чем какая была когда-нибудь от начала мира[647].

Затем Спаситель перешел к указанию на затмение солнца и луны, на падение звезд и колебание небесных тел, — знамения, которые могут быть приняты в аллегорическом и буквальном смысле. Они должны предварить явление Сына человеческого и собрание всех избранных от четырех ветров трубами ангелов. Этому дню Господню будут предшествовать неменьшие, чем прежде описанные знамения, и Иисус повелел своим ученикам во все времена следить за ними и толковать их справедливо, — точно так же, как они объясняют приход лета распусканьем листьев на смоковнице. Но день тот придет для мира внезапно, неожиданно, непреложно, и как должен наступить день награды всем верным слугам, так должен настать день мщения и истребления для обжор и пьяниц, для лицемеров и угнетателей. Чтобы неизгладимо напечатлеть в сердцах слушателей поучение о бдительности и пребывании в вере, — чтобы выразительнее предостеречь относительно опасности сонливой жизни и погашения светильника. Он рассказал две превосходные, простые, но богатые поучением притчи о «десяти девах» и о «талантах», а затем изобразил картину великого дня судного, когда Царь отделит одних людей от других, как пастух отделяет овец от козлов. Оказавшие малейшую милость меньшим из братьев будут считаться оказавшими милость Ему лично. Но чтобы эти великие слова не ввели их снова в какую-нибудь прежнюю ошибку относительно понятий о Мессии, то Он закончил речь грустным и знакомым им заявлением, что всему этому будут предшествовать Его страдание и смерть. Случай, лица и день открылись теперь для них окончательно и просто: *вы знаете, что чрез*

два дня будет Пасха, и Сыч человеческий предан будет на распятие[648].

Так заключилась великая проповедь на горе Елеонской. Солнце село; Иисус восстал с места, направил стопы свои с апостолами далее, чтобы совершить последний короткий путь, оставшийся им до Вифании. Это было последнее время Его земного странствования. И после трудов, тягостей, утомительных поучений, сильных ежедневных волнений, как приятен должен был быть для Него час дивных сумерек и спокойного вечера; как живительны мир и привязанность, которые окружили Его в тихом селении, в святом доме! Иисус, как мы уже прежде имели случай заметить, не любил городов и едва ли когда успокаивался сном в их пределах. Он избегал сосредоточенного в них нечестия, блестящей публичности, лихорадочного движения, бесконечного однообразия, тем более что вообще восточные города и теперь грязны. Все негодное в домах выбрасывается там на улицы, на которых нет мостовых; собаки, не имеющие хозяев, еще несколько поддерживают чистоту, пожирая все выброшенное съестное; животные и люди ходят вместе на площадях, представляя смешанную толпу. Хотя необходимость заставляла Его посещать Иерусалим и проповедовать собиравшемуся туда ежегодно из всех климатов и всех стран на праздник народу, но, по-видимому, при всяком удобном случае Иисус спешил удалиться за городские ворота, с одной стороны, в видах безопасности или по бедности, с другой — потому, что любил этот прекрасный дом в Вифании, а наконец и потому, что среди горной зелени под тенью олив, вдали от развлекающих внимание видов и звуков, глядя на блеск заходящего солнца или на нисходящую на землю ночь, Он чувствовал мирную радость и тихое наслаждение в теснейшем общении с Небесным Отцом своим.

Вероятно, глубокая тишина царствовала в душе Его во время этого последнего путешествия вечером в Вифанию во вторник на страстной неделе; вероятно, Его занимала теперь дума о горькой чаше, которую Он должен был испить скорее, но она представлялась Ему в виде возвышенной жертвы и высочайшего дела любви. Не страдания, которые Он должен был вынести, но страдания тех, которых хотел спасти, — не силы тьмы, которые, по-видимому, должны были одержать непродолжительную победу, но победа искупления, — полное, совершенное, окончательное умиротворение были

предметами, которые, — как осмеливаемся мы предполагать с должным почтением, — занимали Его душу и преобладали над всеми Его мыслями. Необычайная прелесть сирийского вечера, нежные оттенки весенней зелени и цветов, бледневшие в торжественном сумраке, окружные леса, погруженные в розовый свет заходящего солнца, отдаленные холмы, прохлада и аромат легкого ветра после палящего ветра, — что все это значило для взоров Того, для кого природа была открытою книгою, на каждой странице которой Он читал имя своего Отца! Но это была Его родная земля. Вифания была для Него вторым Назаретом; там окружали Его любящие сердца; Он шел к тем, которые Его любили. Отчего же не представить нам картину, когда Он идет, углубившись в невыразимую словами высокую думу; ученики окружают Его или следуют вблизи; полный месяц только что встает и обливает серебром яркую зелень олив; свет луны и сумерек сливаются нечувствительно с ярким дневным блеском. Так точно меркнул полдень Его счастливейшего учения в багряном цвете грядущих страданий.

ГЛАВА LIV

Начало конца

Слово негодования, высказанное Иисусом в последний великий день Его учения, само собою разумеется, сильно раздражило священническую партию. Она не только чувствовала себя разбитою и униженною в открытом сражении, в присутсвии ее приверженцев и на месте, на котором действовала всегда с полным сознанием собственного достоинства, не только должна была при своих поклонниках сознаться в своем невежестве в Св. Писании, которое было настоящим кругом ее деятельности, и своей неспособности высказать мнение по предмету, разрешение которого было ее прямою обязанностью: но, после всех этих унижений, Тот, кого она презирала, как молодого и невежественного равви, — кто пренебрегал ее обычаями и порицал ее предания, — чьим столь гибельным для нее словам народ внимал с восхищением, — Тот гласно пред собранием совета произнес на них, — которые в обонянии своей святости привыкли всю жизнь вдыхать фимиам безграничной лести, — такое правдивое, такое убийственное, такое достопамятное «горе», что кто его слышал, не забудет вовеки. Пора положить конец[649]. Фарисеи, саддукеи, иродиане, священники, книжники, старейшины, коварный и кровожадный Анна, низкий и раболепный Иосиф[650], по прозванию Каиафа, или Кифа, «камень», все пришли в уныние и из опасения, как бы не поколебались все основания их религиозной системы, сошлись в этот вечер во дворце Каиафы, забыв разногласия, ради общей ненависти к давно обещанному Мессии, в котором видели своего общего врага. Это был союз фанатизма, неверия и мирской суетности для низложения праведника; это было бешенство пустосвятов, презрение безбожников и злоба утилитаристов. Было ясно, что никакая земная сила не спасет от преследований таких готовых на все злоумышленников.

О подробностях собрания мы ничего не знаем, но евангелисты сообщают два заключения, к которым пришли высокопоставленные личности. Одно состояло в более решительном и определительном

возобновлении приговора, что Иисус, во всяком случае, должен быть предан смерти; другое, что этот замысел должен быть приведен из страха народа в исполнение без насилия, посредством какой-нибудь хитрости, и по этой причине, а не по случаю святости праздника, отложен до конца Пасхи, когда разойдется по домам большая часть богомольцев.

Надо думать, что этот совет держали они во вторник вечером, когда страсти, возбужденные событиями дня, поднялись в них с бешенством огнедышащей горы. А в ту самую минуту, как они решали погибель Иисуса, Он, сидя на откосе Елеонской горы, предсказывал своим ученикам, со спокойною уверенностию, что будет принесен в жертву вечером того же дня, в который принесется в жертву агнец и начнется пасхальный праздник.

Но, прежде чем окончился совет, встретилось обстоятельство, которое изменило постановление собрания и дало возможность взять Иисуса под стражу немедленно, без всякого народного возмущения, которого они боялись. Оказалось, что осьмидневная отсрочка, данная Ему из страха, а не из милосердия, могла быть сокращена и тайный удар нанесен в ближайший срок. Сознавая в глубине своих сердец, как важно задуманное ими преступление, они пришли в смятение, встретив подобную готовность в других. Должно быть, сам дух злобы, совершая свой путь вокруг земли, остановился вдруг перед их глазами: их известили, что человек, знавший Иисуса, бывший Его учеником и, даже больше, одним из двенадцати апостолов, готов положить немедленно конец их затруднениям и возобновить начатые уже прежде переговоры.

Дом Каиафы был вероятно или в ограде храма, или где-нибудь вблизи его. Ворота города и храма обыкновенно запирались вместе с захождением солнца, но, по случаю громадного стечения народа, это правило, для общего удобства, соблюдалось не слишком строго. У шедши в роковой вечер тайно от своих братьев, Иуда был уверен, что найдет без затруднения доступ в городскую ограду и в присутствие собравшихся старейшин. Ему стоило только обратиться «к начальникам священников дома Господня»[651], которые имели попечение о строениях, и те, донеся о вестнике, привели его лично к священникам и начальникам народным.

Некоторые из них видели уже Иуду на первом собрании. Если он походит на портрет, переданный преданием, то «по плутовскому выражению лица, по мрачным взглядам, по ниспадающим клочками рыжим волосам» членам синедриона не трудно было заметить человека из Кериофа, в особенности презираемого и ненавидимого ими, как последователя Иисусова и единственного иудея между апостолами — галилеянами. Но теперь они замышляли с ним союз на злое дело. Мысль, что человек, живший с Иисусом, слышавший слова и видевший дела Его, готов был изменить Ему, утвердила их в их намерении. Мысль, что иерархи и высокопоставленные лица готовы удостоить не только похвалы, но награды его возмутительный замысел, поддержала мрачную решительность Иуды. Как в воде видится отражение лица, так сердца Иуды и иудеев, вследствие общего сочувствия, отразились одно в другом. Как от железа острится железо, так грубое оружие его зверской злобы придало новую остроту их полированной ненависти.

Сам ли Иуда назначил цену крови или они ему предложили ее; выдана она ему тотчас или после арестования; была ли эта скудная ничтожная сумма, тридцать сиклей, цена последнего из рабов[652], единственным вознаграждением или только задатком будущей большей суммы, — вопросы, которые могли бы пролить ясный свет на характер и побуждения Иуды, но ни один из евангелистов не дает возможности дать на них определенного ответа. Подробности переговоров были мало известны. Ни Иуда, ни его почтенные сообщники не имели никакой причины желать широкого разглашения. Евангелисты и вообще первые христиане, говоря об Иуде, чувствовали трепетный страх, лишавший их слова. Воображению их представлялось во всем ужасе черное дело, что Иуда сделался предателем и что, будучи одним из двенадцати, он продал своего Господа. Всего вероятнее, что деньги получены были все сразу. Устремив жадные взоры на серебро, он мог разглядеть на них отштампованные (странная насмешка истории!) с одной стороны ветвь оливы, символ мира, с другой — кадильницу, тип молитвы, и кругом надпись «Иерусалим святой». Если старейшины, по обычаю своего племени, торговались, как, по-видимому, намекает рассказ, то вероятно представляли ему, что его содействие несущественно необходимо, что он может, пожалуй, войти в это дело и предоставленное им удобство

вменится ему в некоторую заслугу, но во всяком случае они сумеют кончить все, если захотят, и без его пособия. Одно только известно, что он вышел от них подкупленным изменником и с той поры искал только случая предать своего Учителя, когда бы не было вокруг Него никого из приближенных.

Но какие же были у Иуды поводы? Кто измерит глубину невыразимой бездны сердца человеческого, испытает пути его, среди смутного хаоса, поднимаемого неудержимыми, господствующими над ним страстями? Евангелисты могли только сказать, что диавол вселился в него. Преступление Иуды казалось им неестественным, невозможным для объяснения побуждениями человеческими. Первые три евангелиста указывают на жадность, как на первую причину его погибели. Они поставляют его первое предложение синедриону в близкое и заметное соприкосновение с выражением досады, вследствие невозможности воспользоваться тремястами динариев, на которые он глядел, как на отнятые у него лично. Св. Иоанн[653], который не может вспомнить об Иуде без трепета и отвращения, говорит, что Иуда был *привычный вор*. Апостолы вообще не испытали на себе силы рокового порабощения греху; не знали, как обширно ее влияние; имели очень слабое понятие о духовной слепоте и ужасах страсти, когда она обуяет преступника и потеряет всякую меру. Впрочем, самое простейшее ежедневное наблюдение за происшествиями нравственного мира удовлетворяет нас самих, что преступление бывает результатом как жалких, мелких, ничтожных с виду побуждений, так равно сильных и неестественных искушений. Разве мы не читаем в Ветхом Завете: *бесславите Меня пред народом Моим за горсти ячменя и за куски хлеба*[654]? Разве не говорили тогда: *продают правого за серебро и бедного за пару сандалий*[655]? Искушение может быть внезапным, но исход его приготовляется всем содержанием предыдущей жизни: мгновенное возгорание пламени страстей исходит всегда из давно нагоревшего, но все еще тлеющего сердца.

Конечно к преобладающей мысли Иуды примешивались и поддерживали ее другие, хоть бы только для самообольщения, для ослепления совести, подставляя одно побуждение вместо другого. Не заставит ли Его, может быть, думал он, эта мера объявить поскорее наступление Мессианского царства? А, при дурном исходе, разве Он

не может спасти себя без всякого затруднения чудом? Если не так, то не твердил ли Он постоянно, что должен умереть: почему же мне не извлечь небольшую выгоду из того, что во всяком случае неизбежно? Притом разве может считаться преступлением то, что одобряют все главные священники? Тысяча подобных дьявольских наущений могли составиться в предательском сердце и примешаться к отвращению, которое он питал к жизни апостольской, нашедши, что самоотвержение в последователях Иисуса, после всего случившегося, было, по-видимому, бесцельно, что он не получит чрез него ни звания, ни богатства, а только бедность и преследования. Может быть, тут замешаны были и злопамятство за выговор и горькая ревность, как любимого Христом менее, чем прочие апостолы, и бешенство на обманутое ожидание, в виду близкого падения, и отчаянная ненависть, вследствие сознания, что его подозревают. Увы! грехи растут и множатся с роковою плодовитостью и нечувствительным образом вмешиваются в толпу своих злых свойственников. Вся нравственная природа покрывается густою мглою; разум тускнеет; дух омрачается. По крайней мере, в это время бурный хаос грехов водворился в душе Иуды: коварство, мирская гордость, воровство, ненависть ко всему доброму и чистому, низкая неблагодарность, безумная злоба, — все это, скопившись в его душе, довело до гнусного, страшного предательства, заставило броситься в бездну, закрывши глаза. Дикое бешенство обуяло его мрачную душу.

Сатана вошел в него. Как понимать это выражение? Лучше ли в буквальном или в аллегорическом смысле описывает оно ужасное душевное состояние Иуды? Это было безумное разочарование себялюбивых надежд. Уверивши себя, что новое царство есть пустой обман, он не желал сделаться жертвою заблуждения и дошел до того нелепого убеждения, что променял существенное на призрак. Но не всегда же он был таков; не всегда был он злым человеком. Было время, что и он, невинный, ревностный юноша, был отличен не без высоких надежд между другими учениками, как один из двенадцати апостолов, провозвестников нового царства. Бедность и путешествия первоначального периода Христова учения защищали его от падения. Прямое искушение, в особенности опасное, потому что удовлетворяло преобладающей в нем жадности, встретилось в том периоде, когда жизнь Иисуса приняла до некоторой степени определенный и более

организованный характер[656]. Не умея владеть собою, он получал, вероятно, торжественные предостережения[657], потому что некоторое время была еще надежда на его исправление, так что, после откровенного объяснения, он мог попытаться удалиться от пути нечестия. Но уже не он был господином своего греха: над ним господствовал грех и довел его, как своего раба, до наказания и смерти. Возвратился ли он снова в Вифанию с этими кровавыми деньгами в своем *ковчежце*, спал ли он вместе с апостолами, неизвестно; знаем, только одно, что с этой поры он был всегда печален, суетлив и подозрителен.

На следующий день, в среду страстной недели, Иуда был в смятении. Каждый день утром Иисус оставлял Вифанию и отправлялся в Иерусалим, почему же не пошел Он в этот день? Уж не догадался ли Он об измене? Весь день во дворах храма народ простоял в напрасном ожидании услышать Его голос и, без сомнения, ждал нетерпеливо. Наверно и священники с фарисеями высматривали Его со зловещей надеждой. Но Он не пришел. Весь день проведён был Им, насколько нам известно, в совершенном уединении, покое и молчании. В мире и молитве Он приготовлялся к наступающей борьбе. Может быть, Он путешествовал один по ближайшим горам, окружавшим спокойное селение, и там при весеннем солнечном свете держал высочайший совет с Небесным Отцом своим. Но в чем собственно проведен день, мы не знаем. Это скрыто от нас покровом святого умолчания. Правда, что, находясь в среде немногих любивших и веровавших в Него, Он мог делать им поучения, но Его дело на земле, как учителя, было Им совершено окончательно. В эту ночь Он в последний раз спал на земле; с четверга утра Он уже не предавался сну ни разу.

ГЛАВА LV

Тайная вечеря

Празднование Пасхи, при ее учреждении, у иудеев соблюдалось строго; но изменившиеся народные обстоятельства ввели в древнюю обрядность некоторые весьма естественные и совершенно справедливые изменения. Для личного исполнения законного обычая Иисусу и ученикам Его надлежало выбрать и отделить пасхального агнца еще в предшествующее воскресенье вечером. Но во вторник вечером Иисус говорил о Пасхе, как о времени Его смерти, и притом для множества богомольцев не было никакой возможности успеть запастись агнцем заранее.

В четверг утром, зеленый четверг, как называли этот день в средние века, между Иисусом и учениками произошел разговор относительно празднования Пасхи[658]. Они спросили Его: *где желаешь Ты, чтобы приготовили Тебе eel* Так как в настоящее время Он удалился от всякого общественного учения и намеревался проводить время в одиночестве, то апостолы ожидали, что Он будет есть пасху в Вифании, — тем более, что это не противоречило нисколько раввинским постановлениям, то есть местность считалась в пределах Иерусалима. Но у Него были другие предначертания. Истинный Агнец Пасхальный, Он должен быть заклан единожды навсегда среди святого города, где, вероятно, в эту самую Пасху, в один и тот же день, назначено было убить до 260.000 таких агнцев, которых Он был первообразом.

Поэтому Он послал Петра и Иоанна в Иерусалим и, снабжая их тайным и таинственным поручением, сказал, что при входе в ворота они встретят раба, несущего с одного из источников сосуд с водою для вечернего употребления. Следуя за ним, они дойдут до дома, собственнику которого доверят намерение Учителя есть у него пасху с учениками. Хозяин дома, в котором некоторые предполагают Иосифа Аримафейского, а иные — Иоанна Марка, передаст в их распоряжение *верхнюю горницу,* снабженную всеми необходимыми

принадлежностями: столом и местом для возлежаний. Нашедши все, как сказал Иисус, они приготовили пасху[659].

Признаю за несомненное, как подтвержденное всеми евангелистами, что Господь наш был распят в пятницу, воскрес в ночь после субботы, а часы еврейской Пасхи находился в гробнице Иосифа Аримафейского. Поэтому несомненно, что Он совершил Тайную Вечерю и установил таинство евхаристии в четверг вечером. Но была ли Тайная Вечеря еврейской Пасхой или только предвкушением ее? Совпадала ли еврейская Пасха с 13 или 14 числом Нисана, то есть в год распятия начиналась ли она с вечера четверга или с вечера пятницы?

Вопрос разрешен был бы окончательно, если бы достоверно известно было число, когда Иисус Христос был распят, и если бы с достаточным убежден нем можно было положиться на верность указания еврейских календарей относительно дня недели, в который в этом году приходилась их Пасха. Но так как ни то, ни другое неизвестно, то остается обратиться за разрешением вопроса прямо к евангелистам.

У евангелиста Матфея читается: *вы знаете, что через два дня пасха будет; в первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху? У тебя совершу пасху; приготовили пасху*[660]. Соответствующие этим указания можно найти в евангелиях от Марка и Луки[661].

Св. Лука говорит определительнее: *настал же день опресноков, в который надлежало заклать пасхального агнца; очень желал Я есть с вами пасху сию, прежде Моего страдания*[662].

Оставляя в стороне спорное выражение в Евангелии св. Иоанна *пред праздником пасхи*[663], мы читаем[664], что некоторые из учеников думали, что Иисус послал Иуду *купить что им нужно к празднику*; священники и фарисеи не вошли в претензию, чтобы не осквернится, но чтобы можно было есть пасху[665]; наконец, иудеи не хотели оставить тело Иисусово на кресте в субботу, *ибо та суббота были день великий*[666], следовательно, потому что это была суббота и первый день пасхального праздника.

Из всего этого можно вывести следующие положения:

1. Ученики думают, что Иуда оставил горницу, чтобы купить нужное к празднику.

2. Что Иуда, а затем и Сам Спаситель с апостолами, оставляют горницу, — а это при совершении Пасхи совершенно противно постановлениям закона[667].

3. Иуда набирает отряд, часть которого составляют левиты, и приходит ночью задержать Иисуса, — событие, которое, по духу еврейского народа и закона, не могло совершиться в праздник[668].

4. Синедрион постановляет ясное заключение, что опасно и незаконно умертвить Иисуса в праздник[669]. Но если Тайная Вечеря совпадала с Пасхой, то он именно это и сделал; если же Тайная Вечеря не совпадала с Пасхой, а предшествовала ей, то мы понимаем причины торопливости задержания Иисуса и совершения над ним казни.

5. Ирод Агриппа, арестовавши св. Петра в *дни опресноков*, намеревался после Пасхи вывести к народу[670].

6. Три первых евангелиста, говоря о Тайной Вечере, обращают наибольшее внимание на хлеб и вино и не дают большого значения агнцу.

7. Общий характер Вечери, как она передана евангелистами, — умовение при этом ног, отсутствие всякой поспешности, не согласуются с мыслью и характером празднования еврейской Пасхи. Мы не видим на ней даже тех блюд, которые составляли необходимую принадлежность праздника: ни агнца, ни *мацоф*, или опресноков, ни *мерорим* — горьких трав, ни *харосеф* — блюд из фиников, винограду и уксуса, ни *гагада*, или возвещения, ни четырех или пяти чаш вина. — «Чаша благословения — *кос-га бераках*, упоминаемая у апостола Павла, есть выражение метафорическое[671].

Откуда мы заключаем, что Тайная Вечеря не была еврейской Пасхой. Это была Вечеря, которая учреждена Спасителем для Себя и апостолов, в четверг вечером 13 числа Нисана, с пасхальным характером, но превосходившая еврейский праздник своим более глубоким и божественным значением.

Надо думать, около вечера, при опустившемся на землю сумраке, который дал возможность избежать ненужных наблюдений, вышел Иисус с учениками из Вифании, старой, слишком известной дорогой через гору Елеонскую, на которой мы увидим Его только уже после

Его смерти и по воскресении. Мы не можем рассказать, привлекли ли они чье-либо внимание или каким образом Иисус, — известный многим и четыре дня тому назад сопровождаемый как царь торжественными возгласами в великой народной процессии, а ныне опасавшийся оскорбительных криков, — мог войти со своими последователями незамеченным в Иерусалим. Мы не встретим этого небольшого собора апостольского с предходящим Учителем, пока не заглянем в большую «верхнюю горницу», — может быть ту, из которой три дня спустя пораженные грустью апостолы вышли в первый раз увидать воскресшего Спасителя, или ту, где среди шума сильного порывистого вихря в пятидесятницу кроткие чела их были осенены небесным пламенем.

Когда они прибыли, вечеря была готова[672]; стол накрыт; триклиния с местами для возлежаний посетителей поставлена на место. Воображение старалось воспроизвести всевозможные подробности этого глубоко трогательного и вечно священного зрелища. Сравнивая заметки о древних еврейских обычаях с нынешними обыкновениями, существующими на востоке с незапамятных времен без изменения, трудно даже усомниться, что они не были между собою сходны в общем характере их обстановки, но совершенно различествуют с теми, с которыми мы знакомимся в гениальных произведениях Леонардо да Винчи и других великих художников. Комната была выбелена и снабжена необходимою только мебелью, необходимою посудою. Циновки или подушки, из которых каждая была такой длины, что предоставляла достаточно места для трех человек, размещались вокруг трех сторон одного или более низких столов из ярко расписанного дерева. Каждый из столов был немного повыше мест для возлежаний, из которых почетное было посредине срединного стола и занято Спасителем. Обычай есть пасху стоя давно уже был покинут[673]. Каждый из присутствующих располагался во весь рост и приподнимался на левом локте, так чтобы правая рука оставалась свободною.

Может быть, такое именно размещение за трапезами и возбуждало между апостолами частые споры о первенстве[674], за которые Спаситель укорял их всегда так милостиво и благосклонно. Нет ничего неправдоподобного в предположении, что теперь спор этот поднят был Иудою, который, будучи хранителем общих сумм, принадлежащих

собору апостольскому, мог иметь претензии на особое уважение[675]. В такой великий и торжественный час подобный вопрос, конечно, был неуместен и не должен бы, по-видимому, тревожить добрых и готовых на всякое самопожертвование людей; но любовь «к главным местам» на празднествах и при других случаях, которую Иисус обличал в фарисеях, не только прирожденна человеку, но до того сильна, что временами производила возмутительные происшествия. Что же касается до Иисуса, то в эту минуту, — когда душа Его была полна высочайших мыслей, когда Он дышал чистым воздухом вечности и вечность была для Него, несмотря на смертную оболочку, не только близка, но видима, — подобные споры были тягостнее, чем когда-либо. Не служило ли это доказательством, как мало даже избранные Его последователи входили в мысль Его жизни? Не доказывало ли, что злой дух гордости и себялюбия еще не был изгнан из немирных душ апостолов, — что даже и теперь им не удалось понять многих и важных Его предостережений, касающихся свойств Его царства и извещений о Его судьбе? Если они поняли ясно, что приблизилось время страданий и смерти их Учителя, то глядели на это, по-видимому, как на временное затмение, после которого Он немедленно воссядет на земном троне, как Мессия во всем Его блеске.

В скорбном молчании слушал Иисус их полугромкие пререкания, когда они занимали места за столом. Но не словом укора, а трогательным и знаменательным примером решился Он преподать наставление им и всем любящим Его.

В каждой комнате на востоке, хотя бы она принадлежала самому беднейшему из людей, лежит среди пола циновка. Всякий входящий снимает свои сандалии у дверей, отчасти с целью вообще не запятнать чистой белой циновки пылью и грязью с улиц и дорог, отчасти потому (как это водится между магометанами), что циновка предназначается для коленопреклонений при молитве. Прежде размещения за столом, ученики, без сомнения, сообразовались с этим разумным обычаем относительно опрятности, но теперь пренебрегли общим обычаем, который, как нам известно, уважал Иисус. Ноги их были в пыли от путешествия по раскаленной и проезжей дороге от Вифании до Иерусалима: поэтому им следовало бы освежиться перед Вечерей омовением ног, по снятии сандалий. Но так как это омовение совершалось обыкновенно через рабов, а никто не хотел унизиться до

этого, — то Иисус Сам[676], по своей кротости и самоотвержению, встал со своего места, чтобы совершить рабскую обязанность, которой даже в отношении Его ни один из учеников не хотел исполнить. Рассказ Иоанна, останавливающийся на малейших подробностях, доказывает, как велико было удивление даже любимого ученика при этом необычайном торжественном зрелище. Иисус, *зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду, и, взяв полотенце, препоясался.* Вероятно, для выражения самоотвержения, как самый последний из рабов, снявши *симкаг* и *кетонеф,* Он обнажил руки, шею и ноги и опоясался полотенцем. Затем, наполнив водою большой медный сосуд, составляющий необходимую принадлежность каждого дома на востоке, и продолжая речь, Он начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, служившим вместо пояса. Благословение и стыд сомкнули их уста. Когда очередь дошла до Петра, то этот последний в непреодолимом смущении и удивлении спросил Иисуса с недоумением: Господи! *Тебе ли умывать ноги мои*? Ты, Сын Божий, Царь израильский, владеющий словами вечной жизни, — Ты, ноги которого цари востока должны были бы умастить драгоценным нардом и в раскаянии омывать бесценными слезами, — можешь ли умывать ноги Петра? Это было старое упрямство и самоунижение, — больше чем три года тому назад вызвавшие внезапное восклицание галилейского рыбака: *выйди от меня, Господи!* Это было старое самовольство, выразившееся в самонадеянном отсоветовании надменного и твердого, как камень, человека: *будь милостив к себе, Господи! да не будет этого с Тобою!* Сознавая в своей благости, что было прекрасного в этом стремительном порыве ученика, Иисус кротко сказал ему, что он еще не созрел до того, чтобы понять значение Его действий, хотя придет день и смысл их будет для него ясен. Но Петр упорствовал, безрассудствовал и, как будто бы сознавая больше, чем Сам Спаситель, величие служащего и ничтожности тех, котором Он служил, настоятельно отказывался, говоря: *не умоешь ног моих во век!* Но Иисус открыл ему опасность настойчивости, скрывавшейся под ложным смирением: *если не умою тебя, не имеешь части со Мною.* Если хочешь быть Моим, то откинь самообольщение и самовольство. Мой последователь должен принимать Мою волю, если даже не понимает ее, — если даже нарушается этим его воззрение на

его собственное «я». Краткое слово изменило направление чувств и мыслей горячего сердцем, но глубоко приверженного ученика. Не разделять части с Ним? О! Не дай, Боже, этого! — мелькнуло в уме Петра и он воскликнул: *Господи! не только ноги мои, но и руки, и голову.* Нет! Он должен исполнить единственно только то, чего желает Христос, — руководиться не собственным измышлением, а Христовой волей. Общее омовение не было необходимо. Крещение посвящения в тайны царствия уже кончилось; он был очищен этим омовением возрождения. Было нужно одно очищение от меньших и новых пятен. К ногам пристает пыль дневных грехов, их надо обмывать для ежедневного обновления, но сердце и все существо Петрово были уже омыты, очищены и освящены. Иисус говорит ему: *омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь. И вы чисты, но не все,* — принужден был прибавить Он, окинув апостолов многозначительным взглядом. Последние слова были намеком на Его знание о присутствии тут предателя; ибо Ему известно было, — чего они не ведали, — что предательские ноги были только что омыты руками Господа жизни. Какая странная неизмеримая глубина человеческих страстей и неблагодарности! Предатель все видел, все знал и мог в своем черном, коварном, проклятом сердце переносить спокойно прикосновение к нему этих милостивых, благостных рук и освежение водою очищения, — видеть, как священная глава склонялась к его ногам, грязным от поспешных, тайных побегов, предпринятых им в Иерусалим в собрание ханжей-убийц, через откос горы Елеонской! Но эта вода очищения не была для него чистительной; не вышел из него диавол при этом кротком голосе; не исцелилось зараженное проказою сердце при чудодейственном прикосновении.

Прочие апостолы не обратили в эту минуту большого внимания на печальное исключение: *но не все.* Может быть, совесть даже самых преданнейших из них вызвала какое-нибудь грустное воспоминание о прошлом. Но Иисус, омыв их ноги, снова облачился и возлег для Вечери, а Йоанн, возлежа с правой стороны, склонил на грудь Его свою голову. Рядом с Иоанном, на ближайшей циновке или подушке, поместился вероятно брат его Иаков, а по левую сторону Иисуса, как мы заключаем из некоторых подробностей Вечери, Иуда Искариотский, который мог завладеть этим одним из главных мест или своевольно, или по званию хранителя общей суммы. Место Петра

было рядом с Иудою. Когда началась Вечеря, Иисус объяснил им, что означает это действие. Справедливо и достодолжно называют они Его своим Учителем и Господом; справедливо и то, что Господь выше раба, пославший выше посланника (апостола): однако Он, Господь и Учитель, омыл им ноги. С Его стороны это было делом благости и милосердия; благость и милосердие должны быть с этих пор присущи во всех их взаимных отношениях. Он сделал это, чтобы научить их смирению, самоотвержению и любви: блаженны они, если вполне поймут это наставление; блаженны, если научатся, что споры за первенство, притязания на высокие мирские права и достоинства, пристрастие к властвованию суть знаки тирании и незрелости язычеств, — что величайший из христиан смиреннее всех прочих! Да будет же главным между ними тот, кто с радостью принимает на себя, ради других, самые тяжелые обязанности, — кто ищет для себя самой унизительной службы! Снова и снова предостерегал Он их, чтобы они не глядели на земные награды и земное счастье: не на земле их троны, престолы и царства!

Тогда опять возмутился дух Его, когда стал говорить о тех, которых Он избрал, но должен был сказать не о всех. Среди благословенного общества сидел собиравший уже над своею головою проклятие! Сбылось с Давидом, что искренний друг его сделался заклятым недругом; тому же предназначено сбыться и с Сыном Давидовым. Вскоре узнают они, что Его ожидало; вскоре будут иметь они возможность судить, что человек, принимающий последнего из рабов во имя Христово, принимает Его самого: почему отвержение от Него есть отвержение от Его Отца, а отвержение от Живого Бога есть преступление, которое в эту минуту совершается, — и совершается в их среде.

Здесь, возле Него, не тронувшись этими словами, с досадою, ненавистью и крайнею дерзостью в сердце, предпочитая свое демонское приобретение милосердию, двери которого постоянно Спаситель открывал перед ним даже в настоящее время, — сидел Иуда с лицемерной и коварной улыбкой на предательских устах. Близость живой несправедливости, невозможность даже величайшим смирением отклонить человека от его отвратительных замыслов или тронуть его душу, — возмутили до крайней глубины благостное сердце Иисусово и вызвали на явное предсказание: *истинно, истинно*

говорю вам, один из вас предаст Меня. В эту ночь все, даже самые любимые, покинут Его. Но это не все. В эту ночь сильные сердцем с клятвою отрекутся от Него. И это не все. Нет, один из них предаст Его. Страшны были для апостолов слова Иисуса. Какая-то глубокая, неописанная печаль пала на всех собеседников священной Вечери. Подобно мрачной грозной туче, застилающей свет заходящего солнца, мрачное предвещание покрыло их души неопределенным предчувствием зла, невыразимым чувством скорби. Если их надежды должны рассеяться, как дым; если в эту самую Пасху Тот, за которого отдали бы они все и который был для них всем во всем, должен быть предан одним из них на беспощадную и бесславную смерть; если это все возможно: что же тогда невозможно? Сердца их были в смятении; в памяти их прошли толпою воспоминания о недостатке в них самопожертвования и любви, о глубине их себялюбия, о слабости их веры. Им припомнилась всякая злая дума, которая когда-либо западала в их ум, всякое злое слово, которое когда-либо высказали, и воспоминания встревожили их совесть. Всякий что-нибудь за собою чувствовал, и неверие к самим себе выразилось в глазах каждого из соучеников-братьев. В эту минуту торжественной скорби и крайнего отчаяния, бледные от воспоминаний, едва имея силу говорить от смущения, они предложили каждый со своей стороны смиренный вопрос: *не я ли, Господи*? Лучше этот вопрос, чем «неон ли, Господи?». Лучше самоосуждение со смиренным раскаянием, нежели осуждение другого с фарисейскою гордостию. Ужас, который дышал в их вопросе, полное доверие, которое мгновенно вызвало его, заключали в себе полное их оправдание. Однако же Иисус пребывал в молчании, имея в виду, как всегда, если возможно, дать время Иуде раскаяться. Но Петр не в состоянии был удержать порыва горести и нетерпения, торопясь узнать и предупредить измену. Не будучи видим Иисусом, который возлежал к Нему спиною, он подал знак Иоанну спросить: «кто это?» Голова Иоаннова была близка к Иисусу, и он, склонив ее с увлечением и доверием на грудь Учителя, спросил шепотом: *Господи, кто это?* Ответ, данный таким же тихим тоном, был слышан одному Иоанну и подтвердил подозрения, которые без сомнения успела уже ему внушить отталкивающая натура Иуды. Во время обедов на востоке гости берут еду пальцами из общей чаши; причем существует обычай по временам погружать в нее тонкий ломоть хлеба и, положив на него

мяса или риса, передать другому. Такой обыкновенный случай за ежедневным столом не привлекает ничьего внимания. Иисус передал апостолу-предателю подобный ломоть, и это, как высказано Иоанну, было знаком для него, кто в этом небольшом собрании задумал преступление. Иисус прибавил громко в выражениях, которые не оставляли никакого сомнения, выражениях страшных и сокрушительных, какие никогда еще не слышались из Его уст: *Сын человеческий идет, как писано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын человеческий предается, лучше было бы этому человеку не родиться*. Слова безвозвратной гибели, слова безмерного горя были еще ужаснее в устах Того, кто умел произносить только слова безграничной любви. Слова эти способны были открыть погибшей душе предателя, если б она сама была на что-нибудь способна, всю тьму бездны, которая разверзается под его ногами. Он, надо думать, знал нечто из происшедшего, мог слышать отрывками разговоры и наконец иметь смутное сознание, что слова относились к нему. Ему, должно быть, было известно, когда рука его встретила над чашей руку Иисуса, что это действие имеет особое значение. Когда другие спрашивали друг друга: «кто был предатель?» — он молчал с отчаянной дерзостью презрения или с злобным упорством преступления: но теперь, когда все смолкли, он прошипел свой бесстыдный вопрос: *не я ли, Равви?* в котором не удостоил назвать Иисуса, как прочие ученики, «Господом». Никто, кроме, может быть, Петра и Иоанна, не мог расслышать тихого и безукоризненного ответа Иисусова: *ты сказал.*

Приняв поданный Спасителем ломоть, Иуда съел его, и сатана вошел в него. Как в бурную ночь все ветры рвутся и воют в расселины какого-нибудь проклятого места, так зависть, скупость, ненависть и неблагодарность с воем рванулись в развратную душу Иудину. Все человеческое в этой дикой хаотической душе, запятнанной смертельным грехом, уступило место сатанинскому: земля и ад перемешались друг с другом в мрачном сердце; потерянная душа его зачала грех и родила смерть. *Что делаешь, делай скорее*, продолжал Иисус громко. Хорошо были известны Иуде смысл и значение слов Спасителя. «Твой злобный замысел созрел; приводи его в исполнение, без этого напрасного лицемерия и без ничтожных отсрочек». Иисус встал из-за стола. Невинные сердцем апостолы думали, что Иисус

приказал ему идти и сделать закупки к завтрашнему празднику Пасхи или раздать сколько-нибудь из общественной суммы, чтобы дать возможность бедным купить пасхального агнца. Немедленно вышел Иуда из светлой горницы, со святого пиршества, из благостовенного сообщества, от лица своего Господа, *а была ночь*, как прибавляет любимый ученик, со страхом и трепетом, опуская навсегда мрачную завесу на эту страшную личность.

Мы не можем сказать с достоверностию, было ли это прежде или после учреждения Тайной Вечери; принимал или нет Иуда участие в этой священной трапезе. Не можем рассказать и того, во всем ли и вполне ли согласовал Спаситель мелкие подробности последней Вечери с полувеселыми, полумрачными обычаями пасхального праздника, как не можем рассказать, насколько эти праздничные обычаи нынешнего времени сходны с дошедшими до нас описаниями раввинов тех времен. Ничего не могло быть проще древнего способа воспоминания об освобождении из Египта и об ангеле истребителе. Главный обычай праздника состоял в спешном едении пасхального агнца, с пресным хлебом и горькими травами, стоя, с поясом на чреслах, с обувью на ногах, как ели пасху евреи в ночь освобождения. Так справляют Пасху ежегодно и доселе самаряне на горе Гаризине, где и мне удалось присутствовать 15 апреля 1870 года. Там до сего дня предлагается страннику кусок пресного хлеба, в котором запечен лепесток дикого цикория или какой-нибудь другой горькой травы, похожей, может быть, на ломоть, который получил Иуда из рук Спасителя, только без погружения в чашу. Но иудеи в самых названиях ставили коренное различие между Пасхою в Египте и Пасхою, постоянно празднуемою впоследствии. При начале ужина каждый гость наполнял чашу вином, а глава семейства произносил благословение. После этого умывали руки, вносили стол, на котором были размещены горькие травы, опресноки, *харосеф* (блюдо из фиников, винограду и уксусу), пасхальный агнец и мясо *хагигах* (агнца в жертву за грехи). Отец семейства, погрузив ветку трав в харосеф, съедал ее с благословением и раздавал такие же ветви другим. Затем наполнялась вином вторая чаша. Младший из присутствующих спрашивал о значении пасхальной ночи; отец объяснял, как надо соблюдать ее; затем пелась первая часть великого аллилуия (Пс. 112–114); повторялось благословение, выпивалась третья чаша;

произносилось благодарение Богу, наливалась четвертая чаша; пелись остальные псалмы (до 118) и церемония оканчивалась пением благодарения. Без сомнения, некоторые из обстоятельств, рассказанных относительно Тайной Вечери, походят несколько на отдельные части описанной церемонии. Вечеря, например, начиналась благословением и передачею чаши с вином, которую Иисус повелел разделить апостолам между собою, говоря, что Он не будет *пить от плода виноградного, пока не придет Царствие Божие.* Вторая чаша, обошедшая кругом собеседников, была тождественна до некоторой степени с третьей чашей (кос-га берахаг) или чашею благословения еврейского церемониала[677]; гимн, спетый прежде чем они отправились в Гефсиманию, с большею вероятностью предполагается второю частию аллилуия великого.

Однако же соотношения между обстоятельствами Вечери и способом празднования Пасхи, как мы указали, — представляют большое сомнение. Несомненно и в высшей степени важно для каждого христианина установление в эту последнюю Вечерю Спасителем таинства евхаристии. На это существует у нас не менее четырех свидетельств: три первых евангелиста и в буквальной точности согласное с ними краткое описание св. Павла об этом событии[678]. Во всех четырех рассказах мы читаем, что Господь наш Иисус Христос взял хлеб и, воздав благодарение, разломил его, сказавши: *приимите, ядите; сие есть тело мое, за вас ломимое; сие творите в мое воспоминание!* Потом точно так же после Вечери Он взял чашу, сказавши: *сия чаша есть Новый Завет в Моей крови; сие творите, когда только будете пить в Мое воспоминание.* С этого достопамятного вечера церковь никогда не переставала соблюдать заповедь ее Господа; с тех самых пор из века в век это благословенное и святое таинство служит воспоминанием о смерти Спасителя, укрепляет и обновляет человека телом и кровью, как тело может укрепляться и обновляться хлебом и вином.

ГЛАВА LVI

Последнее слово

Едва только Иуда вышел из «горницы», как будто что отлегло от сердца у всех собеседников: дух их оживился[679]. Присутствие погибшей души лежало ужасною тягостию на сердце Учителя; с удалением ее, по-видимому, прошло общее грустное настроение. Торжественный восторг, распространившийся в душе Спасителя, и радость, подобная беспредельному солнечному свету, сияющему сквозь земную мглу, — сообщились душам последователей. Темные облака расцветились красками заходящего солнца. Около двух, может быть, часов протекло потом за Вечерею в святом общении. Решившись безотлагательно привести в исполнение свое верховное решение и предчувствуя близость разлуки, Иисус открыл свое сердце небольшому обществу любящих Его и сказал среди них прощальное слово, сохраненное для нас одним св. Иоанном. Оно представляет дивную смесь печали и радости и, как изумрудами, украшено мистериями. *Ныне*, — сказал Он, как бы чувствуя какое-то облегчение, — *прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем.* Час прославления, достигнутого путем смирения и душевных страданий, приблизился. Срок, который оставался Ему побыть с ними, был короток. Куда Он пойдет, не могут идти они, — сказал Он апостолам точно так же, как иудеям, но произнося эти слова, в первый и в последний раз называл их детьми. Между ними были Петр и Иоанн, — мужи, которых слова и дела должны были влиять до конца на весь мир, — которые сделались святыми покровителями народов, — в честь которых выстроены потом соборы, — от которых города получат свои названия. Но их величие было только темным смутным отражением Его славы, — лучом, исходящим от того Духа, которого Он пошлет им. Без Него они пребывали бы в ничтожестве, — невежественными галилейскими рыбаками, — которых бы не знал и о которых бы не слыхал никто дольше пределов родного селения, — которые не имели бы ни понятия, ни знания, если бы Он не взглянул на них, как на своих «детей». И хотя они не могли идти туда, куда Он

идет, однако же Он не сказал им, как иудеям[680], что они будут искать Его и не найдут нигде. Нет! Он дал им новую заповедь, при исполнении которой, следуя по Его стопам, они от всех людей пребудут признаны за Его учеников и вскоре отыщут Его. Эта новая заповедь заключается в том, чтобы они любили друг друга. Она существовала и прежде, потому что не только установлена в виде правила законом Моисеевым: *люби другого, как себя*[681], но считалась главной и обязательной у мудрых еврейский учителей, — *как закон царский по писанию, — как благовествование от начала*[682], Иоанн[683] в своем послании утверждает, что заповедь эта существовала издревле, но стала теперь в известном ее значении, вследствие того широкого объема, который она получила, — вследствие нового примера, которым она подтвердилась, — вследствие нового влияния, которое с этих пор предназначено было оказывать ей на людские отношения. Это была любовь, как свидетельство и условие принадлежность к ученикам Христовым, — любовь большая веры и надежды, — любовь, как исполнение закона. На этом месте Петр прервал Спасителя вопросом. Он хотел изъяснения на то, что ему показалось непонятным. Почему слова Учителя имеют прощальный смысл? *Господи! куда Ты идешь?*

Куда Я иду, ты не можешь теперь за Мною идти, а после пойдешь за Мною.

Теперь только понял Петр, что дело идет о смерти, но почему же он не может и умереть? Разве он не готов сказать, как Фома: *пойдем и мы, умрем с Ним!*[684] *Господи!* — сказал он: *почему я не могу идти за Тобою теперь? Я душу свою положу за Тебя!*

Потому что сердце обманчивее всего на свете; оно не знает само, сколько в нем робости и самолюбия. Иисус не высказал этого апостолу, любившему искренно, но при всем его благородстве имевшему слабости, из которых первою было увлечение, а кратко повторив его слова: *душу свою за Меня положишь?* прибавил: *истинно, истинно говорю тебе: не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды.* Была уже ночь и, как только свет этого рокового утра забрезжит на восточном небе, прежде чем пенье петуха, среди глубокой тьмы, провозвестить приближение дня, Иисус будет приготовляться дать жизнь свою за Петра и за всех грешников, а Петр,

несмотря на предостережение, трижды отречется от своего Господа и Спасителя, — трижды отвергнет, как клевету и оскорбление, обвинение в том, что он тоже знал Его. Однако же Иисус сделал все, что мог, для спасения его от этого нравственного унижения; сделано увещание; принесена за него молитва Небесному Отцу, чтобы вера Петра не до конца ослабела. Сатана получил дозволение просеять их всех, как пшеницу, и Петр, несмотря на его самоуверенность, на засвидетельствованную преданность, на воображаемую искренность, должен оказаться в числе плевелов. Замечательно что в Евангелии существует единственный только случай, что Спаситель называет Симона именем Петра[685], которое дано Им самим: как будто для напоминания, что крепость его не в нем самом, а в великом исповедании, которое он произнес. Однако же Христос не оставил его без утешения, объявив ему, что он раскается, возвратится к Господу, от которого отрекся, и, когда придет время, укреплением в вере других докажет свое раскаяние. Если это падение Петра имело особо важное значение, вследствие предостережений Спасителя, то его раскаяние будет вполне соответствовать утешительным о нем пророчествам. Слово, высказанное Петру Христом Спасителем, повторяется в его послании в соприкосновении с такими обстоятельствами, которые доказывают, как глубоко запало оно в его душу[686].

Но Иисус желал внушить, апостолам, что пришло время, далеко не сходное со счастливыми днями их миссии в Галилее. Тогда посылал Он их без кошелька, мешка и сандалий. Теперь они имеют их, но все это оказывается не нужным. Явилась необходимость в одном только: в оружии, а поэтому *у кого нет, продай одежду свою и купи мечь*. Тон выражения показывал, что оно не должно быть принимаемо в тесном буквальном смысле. У него было в обычае придавать нравственному своему учению форму живой метафоры. Целью его в настоящее время было предостеречь их относительно перемены их положения, при которой они должны ожидать ненависти, пренебрежения, гонения, и в которых самозащита может сделаться главнейшею обязанностию. Но как бы для ясного предупреждения, что Он не думает о необходимости в настоящее время подобных усилий, — как бы для предупреждения того удара, который мог быть нанесен для защиты жизни, приносившейся в жертву добровольно, — Он прибавил, что конец близок и что, согласно с древним пророчеством, Он должен быть

причтен к злодеям. Но, по обычаю, апостолы со всею беззаботностию несведущих людей приняли Его слова, не в виде притчи, а в буквальном их значении. *Господи! вот здесь два меча,* отвечали они, по-детски толкуя слова Его. Два меча! как будто этого было довольно для того, чтобы защитить от физического насилия священную жизнь Его? Как будто это могло входить в намерения Того, по слову которого могло явиться более двенадцати легионов ангелов? Как будто такая слабая сила, управляемая такими слабыми руками, могла спасти Его от ненависти врагов, составлявших чуть не целую нацию? *Довольно,* — сказал Он печально. Нет надобности продолжать об этом предмете; последующая проповедь в Гефсимании должна будет отучить их от этой слабости недопонимания Его слов: Он прервал разговор и, отложив в сторону предложенное оружие, начал слово утешения.

Повелевая не смущаться, а веровать, Он говорил им, что вера доставит им довольство. Он оставлял их для того, чтобы приготовить им дом во многих *обителях Отца Его.* Они знают, куда Он идет, и путь, который туда ведет.

Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? был вопрос смущенного Фомы.

Я есмь путь, и истина, и жизнь, — никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его, и видели Его.

Но опять встретился один из наивных перерывов, — так верно и живо переданных евангелистами, указывающий нам непонимание и духовное неведение после такого продолжительного пользования высоким учением! И мы должны быть благодарны за такое их откровенное смиренное сообщение относительно их простоты и неведения; потому что ничто не может в такой степени доказать крайней перемены, которая совершилась в их душах. Прежде люди робкие, плотяные, проникнутые насквозь племенными предрассудками и непросвещенные, должны были преобразиться в апостолов, которых достоинство нам известно и которые, — будучи вдохновлены виденными ими делами и наитием Святого Духа, давшего им мудрость и слово, — стали могущественнейшими мировыми учителями, прежде чем непродолжительная жизнь их окончилась мученическою смертью.

Господи, покажи нам Отца, сказал Филипп из Вифсаиды, *и довольно для нас.*

Покажи нам Отца! Чего же ожидал Филипп? Какого-нибудь Богоявления, сопровождаемого землетрясением? Какого-нибудь ослепительного блеска с небес? Разве Он еще не познал, что Невидимый не может быть видим смертным оком, — что конечное не может достигнуть до того, чтобы видеть бесконечного, что те, которые хотят видеть Бога, не должны *творить для себя никакого подобия*, что Его торжественное молчание может быть прервано для нас единственно только через посредника наших к Нему обращений, — Его существование понято только чрез размышление о сотворенном Им? Ужели он в течение трех лет, бывши постоянно при Иисусе, не знал, что ходил с Богом, что ни он, ни другой смертный в мире не может познать Бога более, чем будет открыто *о Нем Единородным Сыном, находящимся в лоне Отчем?*

Но в ответе на этот вопрос не было никакого оттенка неудовольствия, а едва заметное выражение грустного удивления. *Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца; как же ты говоришь: покажи нам Отца?*

Затем, указывая на слова свои и на дела, — возможные только при вселении в Нем Его Отца, — Он стал сообщать им о сошествии Святого Духа и о том, каким образом этот Утешитель, поселясь в них, соединит их с Отцом и с Ним.

Но Иуда Леввий встретил новое затруднение. Он не понял, что глаза могут видеть только то, что подлежит зрению; не понял, что не должен был касаться того, что Господь открывает для взоров только тех людей, понимание которых настолько обширно, что объемлет свободно духовные предметы. *Господи!* спросил он, *что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?*

Причиною этого была полная неспособность мира различать явление физическое от духовного, — недостаток, которым страдал сам Филипп. Но не отвергая вполне явления своего миру, Иисус преподал ученикам только ключ к пониманию Его слов, что Бог живет с тем, кто любит Его и что доказательство любви есть послушание. Потому что все остальное поучение относилось к Утешителю, которого Он пошлет и который напомнит им все. Затем Он ниспослал на них благословение мира, предполагая добавить еще немного, потому что начинается Его столкновение с князем мира.

При этих словах апостолы пришли в движение. *Встаньте,* сказал Он им, *пойдем отсюда.*

Поднявшись из-за стола, они воспели гимн, который, может быть, составлял последний отдел «аллилуия» и заключал 114,115 и 116 псалмы. Какую неувядаемую прелесть должны были получить эти псалмы от пения в таком обществе и каким глубоким значением обладали многие из стихов для некоторых из собеседников! С каким чувством пели они: *Объяли меня болезни смертные, муки адския постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я Имя Господне: Господи избавь душу мою; или Что воздам Господу за все благодеяния — Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову, или Славлю Тебя, что ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители, соделался главою угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших.*

Прежде отправления в сад Гефсиманский, Иисус сказал апостолам еще слово, в котором предложил, — если хотят, чтобы вера их была плодовита и желают спастись от рассеяния, — быть в теснейшем общении друг с другом, изложив это поучение в притче «о лозе виноградной и ветвях». Поводом к этому было или вкушение за Вечерей «плодов от лозы виноградной», или посеребренные лунным светом живые виноградные лозы, обвивавшиеся вкруг решетчатых окон, или колоссальные золотые гроздья, украшавшие ворота храма. Он объяснил им, как глубок будет тогда для них источник радости в ожидающих их от ненависти мира преследованиях, а затем, в более пространном и ясном слове, передал им, что хотя разлука с Ним теперь слишком для них тягостна и прискорбна, но в действительности Его удаление будет для них лучше, потому что Он может тогда еще ближе, чем прежде, присутствовать с ними духом. Все это устроится при сошествии Утешителя Духа, который теперь с ними, а тогда будет в них. Это сошествие обличит мир *о грехе, о правде и о суде, а их наставит на всякую истину и сообщит им будущее. Он прославит Меня, потому что от Моего возмет и возвестит вам,* а теперь, прибавил Иисус: *Я иду к Отцу; еще мало и вы не увидите Меня, а потом еще мало, и снова свидитесь со Мною.*

Не понимая этих слов, ученики начали шепотом спрашивать друг друга: что бы это значило? Они с радостью спросили бы Его самого, но глубокое благоговение, которым они были к Нему проникнуты,

мешало высказаться. Они чувствовали, что и так уже часто прерывали поток Его высоких дум, с одной стороны, не дельными вопросами, за которые хотя Он и не упрекал их, но которые видимо печалили Его, с другой — неправильным пониманием того, что Он старался втолковать им. Но пока они перешептывались, Учитель с кротостью явился к ним на помощь. Сначала наступит для них, — сказал Он, — непродолжительный час печали, но за ним последует радость, которой никто не отнимет у них и которой не будет конца. Потому что какая бы ни была у них нужда, стоит только им попросить у Отца, и она будет удовлетворена. К этому Отцу, который любит их, потому что они уверовали в Него, — к этому Отцу, от которого пришел, Он возвращается.

Такие ясные и утешительные слова глубоко тронули апостолов. Но Иисус с грустью остановил их восторг. Слова Его водворяли мир в настоящем, бодрость и надежду в будущем; но Он знал и передал им, что приблизился час, когда все они разбегутся от себялюбивого страха и оставят Его одного, а если не одного, то потому только, что Отец будет с Ним. После этого Он возвел к небу очи свои и произнес великую молитву, в которой просил, чтобы Отец облек Его добровольное человечество снова в вечную славу, которую Он сам сокрыл, приняв вид раба, — чтобы именем своим охранил тех, которые любили Его и странствовали с Ним в мире, чтобы освятил и сделал совершенными не их одних, но всех живущих на земле и все дальнейшие поколения, которые уверуют в их слова.

Когда смолкли последние звуки этой Божественной молитвы, они оставили горницу и вступили при лунном свете в молчание восточной ночи.

ГЛАВА LVII

Гефсимания. Последняя борьба и взятие под стражу

Путь их проходил через одни из городских ворот, вероятно, через те, которые соответствуют нынешним воротам св. Стефана, вниз по ступеням рва, через Вади Кедрон, который лежит на сто футов ниже, а затем по красивому зеленому откосу[687]. Кто посещал эту местность, именно в это самое время года и в этот самый час ночи, кто насладился этою торжественною тишиною ее молчания, несмотря на близость городской стены, кто видел эту густую тень от объемистых стволов древних олив и падающий на дерн лунный свет, который едва прокрадывается между серебристою зеленью, тот скорее всего может представить себе чувство благоговения, объявшее души галилеян, когда, не прерывая молчания, с тяжелою скорбью в сердце, следовали они за тем, кто со склоненной головою и со скорбным сердцем шел впереди их на добровольный суд.

Нам известен один только случай, совершившийся в этот последний достопамятный переход в полночь к Гефсиманскому саду. Это было последнее предостережение ученикам вообще и св. Петру в особенности. Может быть, что сумрак, молчание, перемена положения, глухое эхо собственных шагов, таинственный вид, который носили на себе их движения, мучительное чувство, что предательство делает теперь свое дело, начали уже возбуждать холодный трепет робости в апостолах.

С грустью обратился к ним Иисус и сказал, что нынешнею же ночью все соблазнятся о Нем; все признают, что общение с Ним есть камень преткновения на их пути. Исполнится древнее пророчество; *поражу пастыря и разсеются овцы*[688]. Апостолы только отрицали возможность с их стороны покинуть Господа, а Петр, затронутый видимым недоверием к его стойкости, преследуемый печальной думой, что Иисус почувствовал в отношении его некоторое сомнение, громче и выразительнее прочих опровергал всякую мысль об отречении. Если все соблазнятся, он не соблазнится никогда. Не

тайное ли предчувствие заставляло его давать такие сильные, строгие клятвенные обещания? Не оно ли вынуждало его уверять, что он не допустит лжи и будет упорно стоять за правду, так что, если бы стали угрожать ему смертью, то самая близость смерти не заставит его решиться на подобное отречение? В мрачном молчании выслушал Иисус обеты, которые в скором времени должны были разлететься прахом.

Беседуя таким образом, пришли они в Гефсиманию, отстоявшую почти на три четверти версты от городских стен. Это был простой или фруктовый сад, обнесенный, вероятно, невысокой оградой. По частому пребыванию там Иисуса и Его последователей можно думать, что он принадлежал какому-нибудь расположенному к Нему владельцу. Гефсимания означает по-еврейски «жом для масла» и получила, вероятно, название от прессовки олив, растущих там во множестве и передавших свое имя холму. Кто побывал весною в полдень в садах энганнимских и назаретских и помнит приятную тень под сплетшимися ветвями олив, гранат, фиг и мирт, тот может вообразить, как был хорош Гефсиманский сад. Место, указываемое преданием, почтенно и прекрасно, по древности и великорослости седых ветвистых олив, из которых одна известна под именем «дерева борьбы», но мне кажется слишком людно для того, чтобы признать действительным местом древней Гефсимании. Оно находится на самом пересечении двух путей, ведущих через вершину и откос Елеонской горы. Надо думать, что Гефсиманию времен Спасителя следует отыскивать неподалеку от указываемого ныне места в одной из уединенных впадин, напоминающих это зрелище, полное благоговейного ужаса и трогательной таинственности. Впрочем, если трудно определить с точностью местность тогдашней Гефсимании, то в общем виде положение ее ясно. И в то время, как нынче, едва пробивающийся свет луны, сероватые листья, темно-бурые стволы, нежная зелень трав, впадина, над которой возвышаются с восточной стороны гора Елеонская, с запада — Иерусалим, составляли прелесть места, представляющего, пока будет существовать время, бессмертный интерес, как места, куда Спаситель мира входил один в долину тени.

Иисус знал, что великий час глубочайшего унижения приближался и что с этой минуты не осталось для Него на земле ничего, кроме болезненно-мучительной пытки, нравственной скорби и томлений. Все

страдания, которые может вынести человеческая природа, должны были вдруг поразить Его земной состав; все душевные пытки, какие может нанести ожесточенное и властительное поругание, должны были истерзать Его душу: и эти мучения тела, эти предсмертные борения души должны были, хотя на короткое время, но ужасным образом отозваться даже на Его высочайшем, полном света и спокойствия божественном духе. Жгучая боль, беспредельный позор, вся тяжесть людских грехов, тайна их существования, вероотступничество и падение, — все вдруг предстало пред Ним лицом к лицу необъяснимой громадой. Ему надо было поддержать свое тело, укрепить душу, успокоить дух молитвой и уединением для встречи того часа, в который вся эта злоба духа злобы разразится над Ним, неведающим греха и исполненным благодати и истины. Один должен будет Он встретить этот час; никакой человеческий взор, разве сквозь сумрак и тень, не увидит глубины Его страданий! Ему радостно было видеть теперь сочувствие близких людей; приятно было быть уверенным, что любящие Его здесь, вблизи Его, возле Него. *Посидите тут, пока Я пойду помолюсь там,* сказал Он, оставя их уснуть на свежей траве, и, взяв с собою Петра, Иакова и Иоанна, пошел далее, около каменного пролома. Полезно было для Петра узнать, в чем состоит верность Христу; полезно для Иакова и Иоанна видеть чашу, которую они желали испить преимущественно пред другими. Но вскоре даже присутствие избранных и верных людей показалось Ему невыносимым. Скорбь выше всякого слова, борьба выше всякого терпения овладели Его душою. Это была буря чувств, которой никто не должен был видеть. *Душа моя,* сказал Он, *скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте.* Неохотно удалился Он в тень от лунного света и от тех людей, в любви и преданности которых видел себе поддержку. Они глубоко сознавали, как горяча была Его молитва, как мучительно страдание, которое Он выносил, но их начал одолевать сон и по временам только видели они Его то коленопреклоненным, то простертым на сырой траве. До слуха их долетали отрывками тихие звуки, в которых Его человечество выражало смятение пред божественною волею Отца Его. Слова молитвы у евангелистов не одинаковы, но смысл один и тот же. *Авва Отче*, говорил Он, *все возможно Тебе; пронеси чашу си/о мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего Ты.*

И эта молитва, принесенная с беспредельным почтением и благоговением, была услышана; эти вопли и слезы не были отвергнуты. Нам невозможно взглянуть близко на это зрелище, очерченное кругом, обставленное тайною, за предел которых ничья нога проникнуть не может. Но когда мы мысленно глядим на это, то уподобляемся ученикам: наши чувства в смятении, наши ощушения неясны. Мы можем только сочувствовать изумлению и жестокой скорби апостолов. Едва преодолевая угнетавшую их с непреодолимою силою тревожную дремоту, они чувствовали, что были только смутными свидетелями невыразимой душевной борьбы, настолько же неизмеримой, насколько превосходящей все, что мы можем представить себе в непродолжительные моменты наших чистейших дум. Место это оказалось полем битвы, на котором добро и зло состязались друг с другом в немой борьбе за вечную победу. Апостолы видели Иисуса простертым на земле, а над Ним — с воем летавшие демонские силы. Они слышали, как в ропоте раздирающей сердце последней борьбы слабел голос, который повелевал ветрам и морю и не знал неповиновения. Горькие слезы, которые текли из очей Его, были тяжелыми каплями крови. Под темною сенью дерев, среди перемежающегося по временам лунного света им виделся ангел, который поддерживал Его упадавшие силы и подавал возможность победительно восстать посте первых молитв с кровавыми следами сильного борения на челе.

Откуда же происходила такая предсмертная мучительная борьба, такое полное страха оцепенение, такой мрачный ужас, такое страдание, — которые измучили прежде пыток, — которые вызвали необыкновенное появление на Нем кровавого пота, — которые как будто окончательным ударом поразили дух. душу и тело? Был ли это страх смерти, усилие и решимость встретиться с тем, что Ему было известно заранее, со всеми ужасными подробностями, но от чего Он никогда не желал отступиться? Находились же люди, которые, — мне стыдно и прискорбно повторять их слова, — которые осмеливались говорить о Гефсимании неуважительно, — глядеть на это торжественное зрелище с вершины надменного невежества, — говорить, что будто бы причиною скорби Иисусовой была робость! Если на них влияет не одна только привычка изощрять над всем святым свой богохульный язык; если они глядят на Него только как на

Пророка, готовящегося к смерти; если никакое чувство приличия, ни сила сочувствия не могут их удержать от издевательства над мучительной борьбой в минуты самых сильнейших страданий, то обычная справедливость и простой исторический разбор обстоятельств не доказывают ли им, как холодна и фальшива, если еще не хуже того, должна быть жалкая бесчувственность, которая не дает им разглядеть, что не страх мучений, не трепет перед смертью возмущали до глубины души чистое и непорочное сердце Сына Человеческого? Ребенок заметит, как несостоятельны такие предположения, — при этом величественном молчании перед первосвященником, прокуратором и царем, — при этом терпении, при котором самые ужасные пытки не могли извлечь ни одного стона, — при этом спокойном и беспредельном влиянии, которое вселило невольное почтение в дерзких язычниках римлянах, — при этой небесной благости души, которая открыла врата Рая раскаявшемуся злодею и дышала состраданием и забвением к безбожным священникам. Мог ли Сын Человеческий склоняться перед страхом смерти, когда только во имя Его смело, без страха и трепета, встретили ее многолетний старец Поликарп, слабая девица Бландина и робкий отрок Агтал? Не странно ли, что нечестивые языки осмеливаются оскорблять таким образом Того, который проповедовал жизнь и бессмертие и последствием этой проповеди явились люди с непреодолимою силою воли, готовые броситься на мечи, способные сами умереть без страха и пощадить робкого, даря ему жизнь[689]. Согласно общих мест, читаемых нами у ораторов, «нет страсти в душе человека настолько слабой, чтобы она не сокрушила страх смерти и не овладела им. Мщение забывает, а любовь уменьшает этот страх; честь вызывает насмерть; скорбь стремится к ней; сильный испуг не замечает ее. Не будучи ни смелым, ни робким, человек готов умереть от скуки однообразия». Замечательнее же всего то, что приближение смерти очень мало действует на душу людей добрых, и они до последней минуты остаются теми же самыми, каковы были прежде. Умереть настолько же натурально, как и родиться. Что же касается до истинного христианина, то его не надо убеждать, что не страх вызвал кровавый пот на тело Спасителя. Нет! это было нечто бесконечно высшее, чем подобный страх, — высшее, чем все, что могут представить нам самые напряженные усилия нашего воображения. Это

было нечто смертельнее смерти: это было бремя и тайна грехов мира, которые легли тяжестью на Его сердце; это было вкушение божественным непорочным человеком горькой чаши, зараженной ядом греха; это было преклонение Богом главы, чтобы перенести удар, до которого Его довело безбожие человеческое; это было чувство настолько же горькое, насколько ядовита и ужасна была сила зла во вселенной, сделавшая необходимою такую беспредельную жертву; это было снисхождение со стороны непорочного к самой отвратительной злобе, которую может измыслить людская ненависть; это было чувство, которое испытывало сердце, полное совершенной невинности и совершенной любви, вследствие всего, что только есть отвратительного в человеческой неблагодарности, — всего, что есть ядовитого в людском лицемерии, — всего, что есть жестокого в человеческом озлоблении. Это значило одержать последнюю победу над сатанинским коварством и злобою, собравшими над Его головою все пламенные стрелы еврейского коварства и языческого развращения, сосредоточенный гнев богатых и почетных людей, безумную злобу слепой и зверской черни. Это значило прочувствовать, что свои, к которым Он приходил, любят больше тьму, нежели свет, — что поколение избранного народа безумно отреклось от беспредельной благости, чистоты и любви.

Все эти мысли и чувства могли промелькнуть в душе Его в те минуты, когда с отвращением безгрешного, непостижимого для нас ужаса предвкушал Он горечь, которая была горше горечи смерти. Но спустя несколько времени, — победительный, хотя и усталый в молитвенной борьбе, как предок Его Иаков, — Он возвратился к ученикам отыскивать хотя малейшей человеческой поддержки и человеческого сочувствия от избранных из избранных, — от трех своих любимых апостолов. Увы! Он застал их спящими. Наступал час страха и гибели, но ни достоверность опасности, ни любовь к Иисусу, ни чувство Его невыразимой печали, — ничто не могло заставить их пободрствовать сколько-нибудь времени. Их скорбь, тягость и крайнее смятение искали успокоения в крепком сне. Даже Петр, после всех своих пылких обещаний, не удержался, потому что глаза его отяжелели. ***Симон, ты спишь?***— сказал Иисус. Но когда грустный упрек прозвучал в их ушах и пробудил от сна, Он дополнил: ***не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не***

впасть в искушение! А затем, чтобы оправдать их в собственных их глазах, или, скорее, чтобы указать на опасность подобного состояния, Он прибавил: ***дух бодр, плоть же немощна.***

Отошедши оттуда, Иисус снова начал пламенно молиться и, когда успокоились чувства, возвратился; но опять застал учеников спящими. Проснувшись, они не могли найтись, что сказать Ему, от тягости и смущения. Верно слово Давидово: ***поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог; жрал сострадания, но нет его, — утешителей, но не нахожу***[690]**.**

В третий и последний раз, но уже с полным спокойствием и душевным миром победы, — которыми дышала Его молитва, — искал Он утешения в общении с Богом и получил все, в чем нуждался. Прежде чем прошел этот час, Он успел приготовиться ко всему худшему, что может изобрести сатанинское и человеческое измышление. Он знал, что случится с Ним, — может быть, даже следил уже взором за перемежающимся светом фонарей, когда преследователи выходили из-за ограды храма. В покойной речи Его не было и следа душевного возмущения, когда Он пришел в третий раз и нашел учеников спящими. *Вы все еще спите,* — сказал Он, — *и почиваете. Кончено, — пришел час; вот, предается Сын Человеческий в руки грешников.* Вместо того, чтобы подать Мне помощь, вместо подкрепления Меня своим сочувствием, вы спали. Но теперь все переменилось. Теперь уже не Я нарушаю ваш крепкий сон. С грубостью и насилием прервут его другие. *Встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.*

Теперь действительно наступило время вставать. Потому что, пока святые спали, грешники сговаривались и делали преувеличенные приготовления. Пока те спали в своей тяжелой скорби, предатель бодрствовал в своей деятельной злобе. Прошло более двух часов[691], с тех пор как из светлой «горницы» их счастливого общения Иуда ушел ночью и был в постоянных занятиях. То ходил Он к первосвященникам, торопя и понуждая их собственною своею торопливостью, которая происходила частью, может быть, от действительного страха пред Тем, с кем таким образом поступал, — частью от желания придать себе более важности и возвысить цену своего поступка. То он просил иудейских начальников дать ему сборную стражу из рабов, охранителей храма, сих

начальствующими[692], и из римского войска, расположенного в башне Антония, с их трибуном[693]. Воины запасались оружием, а примешавшаяся толпа — кольями. Такую силу собрали они против Одного, Который был оставлен всеми и беззащитен. Несмотря на лунный свет, они не забывали захватить с собою фонарей и факелов, чтобы Иисус не скрылся в каком-нибудь из каменных гротов или в густой тени олив, — и что же? все эти предосторожности предприятия были против человека, который никогда не делал ни малейшего покушения на сопротивление, побег или укрывательство. Очевидно, что все свои движения производили они без шуму и насколько возможно скрыто. Но глубокая тишина царствует по ночам в восточном городе, и такая огромная толпа не могла двигаться неслышимо. Когда Иисус пробуждал спавших учеников, Он уже мог распознать в отдалении звук оружия, шум торопливых шагов, плохо подавленное смятение приближающейся толпы. Он знал все, что ожидало Его; Он знал, что любимый Им укромный сад, где Он так часто с радостью беседовал со своими учениками, был хорошо знаком предателю. Этих необычных и враждебных звуков, этого красного огня фонарей и факелов, появлявшегося там и сям в промежутках между деревьями, было вполне достаточно для того, чтобы доказать выдачу Иудою тайны Его уединения, а также и скрытного приближения изменника.

Вслед за словами Иисуса появился сам предатель. Стараясь преувеличить свое участие, совершая с поспешностью и рвением настолько отвратительное дело, что даже у него недоставало духу приостановиться и подумать, он первый вошел за ограду и оказался впереди других. ***Друг***, сказал Иисус, когда Иуда выступил вперед, — ***для чего ты здесь?***[694]Мысль, при сильном возмущении Его духа, высказана была коротко, и Иуда не отвечал на вопрос, торопясь дать соучастникам постыдный условленный знак. ***Кого я поцелую,***сказал он им прежде, ***Тот и есть: возьмите Его и ведите осторожно***[695]**.** Затем, приблизившись к Иисусу с обычным холодным приветствием, он воскликнул: ***Равви, радуйся!***[696]и осквернил священную щеку своего Учителя поцелуем предательского привета. ***Иуда,***сказал ему Иисус со строгим и грустным упреком, ***целованием ли предаешь Сына человеческого?***[697]Этих слов было довольно. Представляя со

всей простотою всю гнусность поступка, они объяснили человеку: каков он в душе; как мало избранный им для предательства способ соответствовал его поступку; как мало был он необходим, как без нужды злобен. Всякое прибавление было бы излишне. Для доказательства, что может устыдиться даже дьявольская сила, презренный предатель скрылся за ворота ограды, к которым уже начала теснится густая толпа народа. ***Господи, не ударить ли нам мечем?***[698]был вопрос Петра и другого ученика, при которых было оружие, потому что, будучи в саду, апостолы знали о числе пришедшей стражи. Иисус не ответил на вопрос: потому что, обличив гнусное коварство Иуды, Сам вышел за ограду, чтобы стать лицом к лицу со своими преследователями. Не удаляясь, не покушаясь скрыться, Он стоял пред ними при свете месяца в своем дивном величии, без всякого вооружения, посрамляя своим присутствием их излишние факелы и ненужное оружие.

Кого ищете? — спросил Он. Из рассказа св. Иоанна[699] видно, что определенное означение, кого именно хотят задержать, необходимо было для избавления от всякого преследования апостолов. Мы даже думаем, что неясное обозначение подлежавшей аресту личности действительно спасло всех присутствовавших тут и предупредило тайное убийство или какой-нибудь другой гнусный поступок со стороны зверских преследователей.

Иисуса Назорея, — отвечали они.

При тягостном настроении и изумлении, этот непрямой ответ мог нравиться апостолам более, чем прямое указание на личность Спасителя, хотя, в случае малейшего сомнения. Иуда был тут, для того чтобы предупредить всякую ошибку, в которую мог ввести данный преждевременно, а потому бесполезно, сигнал. Глаза евангелиста отыскали предателя, напрасно скрывавшегося между густою толпою.

Это я, — отвечал Иисус.

Спокойно сказанные слова привели внезапно в смущение и оцепенение самих преследователей. Господь слышался в этом голосе, а потому кроткий ответ обладал большею силою, чем восточный ветер или звук грома, и поразил их так, что они пали на землю. В истории нет недостатка в примерах, что невозмутимое чело, смелый взгляд, покойное положение беззащитного человека обезоруживали и парализовали врагов. Дикие и зверские галлы не могли извлечь оружия

для поражения величественных римских сенаторов. «Я не могу убить Мария», воскликнул невольник-варвар, опуская оружие и убегая стремглав из плена, в который был послан для того, чтобы умертвить маститого героя[700]. Вполне естественно смущение воинов, которые при словах «Это Я» пали на землю, хотя злобный скептицизм и в этом простом, но поразительном рассказе находит сомнение. Надо припомнить, что между ними был Иуда, что душа его была в сильнейшем волнении, что восточные жители вообще склонны к внезапной панике, что страх есть душевное движение, легко передающееся другим, что большая часть из них слышала о чудесах Иисусовых и что всем было известно, что Он считался пророком, что Его обращение, при встрече множества народа, предупрежденного Иудой, чтобы взять Иисуса и вести осторожно, напомнило некоторым образом о сверхъестественной Его силе, что они были участниками в одном из таких действий преступного насилия и полночной тьмы, которое могло парализовать самые дерзкие умы. Когда мы будем содержать это в уме и припомним, что во многих случаях одного присутствия и слова Иисусова достаточно было для успокоения народного волнения и сохранения Его невредимым среди густой толпы[701], то не будет никакой надобности прибегать к чудесам для объяснения того, что эти официальные мародеры и их низкий вожак подались назад от простых слов: «Это Я», как будто свет внезапно ударил им прямо в лицо.

Когда стража остановилась в робости и смущении, Он спросил снова: *кого ищете?* Ответ был тот же: *Иисуса Назарея. — Я сказал вам,* отвечал Иисус, *что это Я. И так, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут.* Потому что Он Сам в молитве своей сказал: *тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели.*

Слова эти были для апостолов знаком, что их услуга уже более не нужна и что они могут сами, как хотят, заботиться о своей безопасности. Но когда они увидали, что Он не предполагает сопротивляться, что хочет Сам сдаться своим врагам, взрыв благородства или стыда вспыхнул в беспокойной душе Петра, и хотя всякое сопротивление стало теперь безнадежно и бесполезно, однако же он извлек оружие и слабым, дурно направленным ударом отрезал ухо рабу первосвященника, по имени Малху. Иисус мгновенно остановил несвоевременную и опасную борьбу. *Возврати меч твой в*

его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут. А затем с упреком спросил Он опрометчивого ученика: неужели Он сомневался в его власти уклониться, если б только пожелал этого? Разве не могла спасти Его молитва? Разве Он не добровольно вознамерился, во исполнение Писания, испить чашу, которую Отец подает Ему? Разве не явились бы на помощь Ему, если бы Он захотел, не двенадцать робких апостолов, а больше чем двенадцать легионов ангелов? Потом, обратясь к воинам, которые держали Его, Он сказал: *оставьте, довольно, и прикоснувшись к уху раба, исцелил его.* Слова «оставьте, довольно», может быть, означали: «отпустите Меня на одну минуту, пока Я исцелю раненого» или «будьте снисходительны к этому единственному знаку сопротивления».

При ночном смятении это событие замечено было единственно только некоторыми близко стоявшими личностями, по крайней мере не произвело приятного впечатления на ожесточенную толпу. Напротив того, весь страх ее вдруг исчез и заменился дерзостью. Великий первосвященник предал Иисуса: следовательно, Он стал их неотъемлемым пленником. Гром не гремел; ангелы не слетали для Его освобождения; чудесный огонь не пожирал их. Они не видали перед собою ничего, кроме утомленного, безоружного человека, которому изменил один из Его самых близких последователей и на задержание которого смотрело в безнадежной тоске несколько пораженных страхом галилеян. Крепко держали они Его, а потому некоторые из главных священников, старейшин и начальствующих над храмовой стражей решились выйти из темной засады, из которой в безопасности наблюдали за взятием Его под стражу, и вмешались в окружающую Его толпу из насмешливого любопытства. Обращаясь в особенности к ним, Иисус высказал: *как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять Меня. Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не поднимали на Меня рук: но теперь ваше время и власть тьмы*[702]. Эти последние слова погасили последний луч надежды в сердцах Его последователей. *Тогда* ученики, даже гордый Петр и любящий Иоанн, *оставив Его, все бежали*[703]. В эту великую минуту один только неизвестный юноша, может быть, владелец Гефсимании или св. евангелист Марко, или Лазарь, брат Марфы и Марии, решился было, в сильном возбуждении чувств, примкнуть к последним рядам враждебной толпы. Он, по-видимому, только что встал с постели,

потому что на нем не было ничего, кроме синдона, или льняной сорочки, в которой он спал. Но иудейская стража, вследствие ли странного вида полураздетого человека или вследствие его усилия пробиться в толпу, схватила его за сорочку, в которую он завернулся. Устрашенный этим неожиданным действием, юноша убежал нагой, оставя в их руках льняную одежду.

Таким образом, Иисус остался совершенно один в руках своих врагов. По приказанию трибуна, римские воины, сопутствуемые и окруженные иудейскими рабами, связали Ему руки на спине и, составив около Него замкнутый строй, повели по Кедрону и по входам на городской откос к дворцу великого первосвященника[704].

ГЛАВА LVIII

Иисус пред священниками и синедрионом

Хотя скептики крепко стоят на том, что рассказы о допросе, осуждении, смерти и воскресении Иисуса Христа у всех четырех евангелистов[705] противоречат один другому, но это не противоречие, а скорее разноречие таково, что не возбудит ни малейшего сомнения в душе истинного христианина и не пробудит даже мгновенного недоверия в том, кто без всяких предвзятых теорий принимает Евангелие за рассказы добросовестные, достойные полного доверия и составленные писателями, вполне знавшими то, о чем писали, но выражавшимися чрезвычайно кратко и очевидно не полно, если читать каждого по одиночке. После долговременного изучения я без всякого страха объявляю, что хотя в этих рассказах есть небольшие отступления в одном против другого; хотя тончайшие подробности не разъяснены строго и точно; хотя каждый из рассказов, взятый порознь, не производит одинакового впечатления: однако же они слишком далеки от того, чтобы найти в них непримиримое противоречие. Читая их с вниманием, легко заметить, что один евангелист дополняет подробности, недосказанные другими, а, соединяя в одно целое отдельные указания, легко понять настоящий порядок и последовательность событий. Пусть говорят, что такое объединение неосновательно и произвольно, но оно произвольно настолько, насколько мы, не изменяя событий, даем им известный порядок, — и настолько далеко от неосновательности, что всякий, тщательно прочитавши Евангелие, выносит твердое убеждение в полной его справедливости. Если принимать Евангелие, как должен быть принят всякий самостоятельный документ, передающий из множества совершившихся в эти беспокойные сутки событий или все известное составителю, или все порученное ему для передачи другим: то при старательном изучении, при объединении их, совпадают одни с другими и доказывают, что допрос повторен шесть раз, посмеяние четыре раза, оправдание произнесено трижды и осуждение два раза.

Читая четырех евангелистов рядом[706], мы тотчас **заметим,** что из трех последовательных допросов, которым Спаситель подвергся у иудеев, только первый (у Анны) рассказан св. Иоанном[707], намекающим однако на существование второго; второй (у Каиафы) — **евангелистом** Матфеем **и** Марком; тре**тий** (в синедрионе) — одним **евангелистом** Лукою. **Странного** в этом нет ничего. Потому что первый допрос был только дознанием, второй — предварительным следствием, третий — положительным и формальным определением о предании суду для постановления приговора о смертной казни, рассказом о котором, как об единственном законном и влиятельном допросе, удовольствовался св. **евангелист** Лука. Но каждый допрос, с различных точек зрения, имеет **свои** особые отличительные черты и **свою** долю значения.

Как только трибун, начальствовавший отрядом, приказал связать Иисуса, римские воины схватили Его без всякого с Его стороны покушения на сопротивление. Время было около полуночи, когда они повели Его из тенистого сада Гефсиманского через молчаливые улицы спящего города ко дворцу великого первосвященника, в котором жили два первые двигателя этой черной несправедливости, Анна и его зять, Иосиф Каиафа. Прежде всего привели они Его к Анне, или Ганану, сыну Сифа, называемому у Иосифа Флавия Ананом, а у евангелистов Анной. Семь лет (7-14 гг. по Р.Х.) был он настоящим великим первосвященником и больше двадцати уже лет лишен своего сана прокуратором Валерием Гратом. Место его занял сначала Исмаил Бен-фаби, потом оно перешло к сыну Анны Елеазару и наконец к зятю Каиафе. Со времен Ирода великого, первосвященство из пожизненного религиозного звания обращено было во временное светское отличие, а если бы оно и не было так унижено, то для грубых римских воинов, вероятно, было все равно, куда бы ни доставить жертву. Если трибун их снисходительно спросил об этом, то единственно из уважения, вероятно, к начальнику храмовой стражи, которым был тогда один из сыновей Анны, тогдашнего Сагана, или Нази, президента синедриона, личности, правоспособной производить первоначальное исследование.

1. Таким образом, Иисус приведен был сперва, как узник, на суд к Анне. Достоверно то, что этот чужеземец, с семейством своим, вывезен был Иродом великим из Александрии, как человек изворотливый, для поддержки отвратительной тирании. Иудейский

историк называет Ганана счастливейшим человеком своего времени, потому что он дожил до преклонных лет, и так как сам, пять его сыновей и зять Каиафа последовательно один за другим были великими первосвященниками, то в действительности пользовался присвоенною этому званию властью около полувека. Но почтение, о котором сообщает такой ренегат, как Иосиф, слишком сомнительно. Несмотря на свои удачи, Анна оставил по себе только дурную славу и мы из других несомненных источников достаточно знаем его характер. чтобы не видеть в нем хитрого, тираничного саддукея, далеко не почтенного старика, несмотря на его семьдесят лет, но человека, исполненного змеиной злобы и мелочности, которые крайне противоречили со значением его имени (Ганан — в переводе — милостивый) и увлекли в настоящую минуту в темный и безобразный замысел, заставлявший краснеть самого худшего из людей. У этого-то иерарха, чужеземца и интригана, началась в полночь первая часть продолжительного и возмутительного допроса, который пропущен у трех первых евангелистов и сохранен единственно евангелистом Иоанном. Надо пройти нескольким годам со времени совершения события, чтобы народ с точностью определил главного виновника. Во время совершения ближайший видимый деятель считается обыкновенно ответственным за все, хотя бы в действительности он представлял только ничтожное звено в этой официальной махинации. Если кто больше, чем всякий другой, был виновен в смерти Спасителя, так это Ганан. Его преклонные лета, важность сана, политическое положение и влияние, как человека, состоявшего в самых лучших отношениях с Иродами и прокураторами, давали значительный вес его предварительному решению. Выраженное им желание, чтобы другие вгляделись и запомнили лицо Иисуса, доказывало, что он придавал Его учению политическое значение, страшился, чтобы народ не отшатнулся от партии священников в большей степени, чем от учения Шаммая и Абталиона. Замечательно, но, сколько мне известно, оставалось до сего времени без внимания, что фарисеи с самого начала были постоянно главными действующими лицами при возбуждении ненависти к Иисусу и настолько желали Его смерти, что охотно содействовали аристократам и священнической партии саддукеев, расходившимся с ними и в политических, и в социальных, и в религиозных мнениях. Но как только созрел замысел относительно Его

задержания и осуждения, фарисеи тотчас же отстранили себя от всякого участия, так что самое имя их прямо не упомянуто ни в одном событии, касающемся допроса, осмеяния и распятия. Вместо их явились деятелями главные священники и старшины. Сомнительно даже и то, что наиболее знаменитые фарисеи были членами синедриона, этого уродливого подражания верховной власти, которую в это несчастное время он себе присваивал. Если верить многим указаниям Талмуда, то синедрион был немного лучше замкнутой, безбожной, непатриотичной конфедерации, состоявшей из захвативших власть временщиков, — священников, воифузимов, камгитов, фабиев и семейства Ганана, — людей по большей части не палестинского происхождения, любимых правительством, но ненавидимых народом. Душою и жизнью их был этот низкий злоумышленник Анна.

Другую причину удаления фарисейской партии от непосредственного участия в дальнейших обстоятельствах, сопровождавших осуждение и смерть Иисуса, следует искать, конечно, не в большем мягкосердечии, которое им приписывалось, и не в их относительном ничтожестве в государственном управлении, но в полном отсутствии всякого сочувствия с теми, в чьи роковые руки предан был Сын Божий. До сего времени оставалось как бы в тени и то обстоятельство, которое, раздражая в высшей степени бешенство саддукеев, было приятно их соперникам. Что же пробудило этих презрительных, беспечных и могучих аристократов? Нравственно ничтожные покровители и последователи мнений, которых так мало держался народ, что Иисус никогда не направлял против них и десятой доли тех упреков, которые Он делывал фарисеям, — сначала они принимали наименьшее участие во враждебном восстании, поднимавшемся вокруг Мессии. Мало этого. Они, можно сказать, вполне соглашались с Ним относительно несостоятельности и необходимости уничтожения мелочных и казуистических вздоров устного закона; они радовались, что нашли в Нем святого и несокрушимого союзника, при восстании против всех Гагадофов и Галахофов, которые в умах фарисеев и в духовной литературе росли, как грибы, на установлениях Моисеевых[708]. Вследствие чего же произошел такой внезапный взрыв отчаянной и беспощадной вражды? Из изучения Талмуда я вполне убедился, что неистовый гнев

священников возбужден был словами и деяниями Спасителя, относящимися к храму, на который они смотрели, как на свою собственность, а всего более Его вторым торжественным очищением дома Божия от осквернения куплей-продажей. В своих обвинениях они не могли настаивать сильно на этих предметах, потому что, с одной стороны, подобное деяние Спасителя втайне одобряли от всего сердца фарисеи, с другой — подобное обвинение не возбудило бы никакого сочувствия в Пилате. Первое очищение храма могло пройти как отдельное действие увлечения, которое не имело никакой важности, потому что Христово учение ограничивалось презренной и отдаленной Галилеей, но второе было слишком публично, слишком строго и, по-видимому, подняло общее негодование против грубых злоупотреблений. Согласно этого, у всех трех евангелистов[709] находим, что негодовавшие на такое действие Иисуса были не фарисеи, но *первосвященники и книжники*, которые нашли в этом новое побуждение искать Его смерти.

Но спрашивается: кроме смелого вторжения в пределы их власти, решительной отмены установленных ими порядков, не было ли в этом действии Иисуса чего-нибудь, возбуждающего более всего ненависть священников? Мы ответим: Да! Из Талмуда очевидно, что оно затрагивало сильно их жадность, лишало их огромнейших выгод. Жадность, — господствующий порок Иуды, господствующий порок всего народа еврейского, — была по-видимому, господствующим грехом семейства Ганана. Она была основателем, под кедрами-близнецами, на горе Елеонской, Хануиофа, или четырех великолепных помещений для торговли, где продавались единственно только предметы, признанные чистыми по закону, и где гананиты руководствовали торговлею так искусно и с таким коммерческим толком, что подняли стоимость голубя до золотой монеты за штуку. Такое вмешательство гананитов прекращено и налог уничтожен сильным противодействием внука Гиллела. Следовательно, есть много причин думать, что торговые помещения, которые находились даже под портиками храма, не только были признаны ими законными, но даже доставляли им выгоду. Вмешательство в это дело Иисуса было отнятием у них очень значительного источника их богатства и удобств, которым они приписывали особую важность; поэтому-то Ганан, главный представитель «эхидной породы», как называют это

семейство составители Талмуда, — должен был приложить всю свою силу и все значение, чтобы сокрушить пророка, действия которого разоряли то, что ими созидалось для их благоденствия.

Таковы были чувства, с которыми отставной первосвященник начал допрашивать Иисуса. Он не мог в них признаться публично и должен был скрывать их от всех и каждого, но это только прибавляло к злобе досаду. Даже принятый им способ допроса и задержания в такой час и в таком месте стоял в явном противоречии с законом. Стараясь во что бы то ни стаго придумать какое-нибудь обвинение в тайном возмущении или противозаконном учении, он спросил Иисуса относительно Его учеников и Его учения. Ответ, при всем его спокойствии, заключал в себе сильный упрек: *Я говорил явно миру; Я всегда учил в Синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь Меня? спроси слышавших, что Я говорил им, вот они знают, что Я говорил,* — прибавил Он, вероятно, указывая на присутствующих. Такое частое повторение «Я» и знаменательное указание в конце речи на свидетелей как бы говорили: «этот не полномочный суд, это злоумышление, эта тайна, эта неприличная насмешка над правосудием — дело ваше, а не Мое. Не было ничего тайного в Моем учении, ничего скрытного в Моих действиях, никаких подкопов или возмущений против властей в Моих последователях. А ты? А твои действия? Даже приверженцы Анны при таком спокойном упреке заметили положение их властелина, они почувствовали, как вдруг выяснилось лицемерие старого, коварного саддукея, при свете чистоты и невинности молодого равви из Назарета. *Так отвечаешь Ты первосвященнику?* сказал один из них с дерзостью и, не остановленный нарушителем правосудия, нанес первый постыдный удар в священное лицо Спасителя. В первый раз лицо, на которое с удивлением взирали ангелы, как дети на ясное солнце, было оскорблено презренным рабом! Но обида была перенесена с высочайшею кротостью. Св. Павел[710], оскорбленный таким же образом, разгорячился на грубое и противозаконное насилие и высказал жесткое слово рабу и его повелителю: *Бог будет бить тебя, стена подбеленная;* а Он, Сын Божий, — бесконечно высший апостолов и ангелов, — без малейшего гнева, без вполне естественного повышения голоса, спокойно высказал бесстыдному оскорбителю: *если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо,*

что ты бьешь Меня? Стало ясно, что вынудить из Него что-либо силою было невозможно, — что перед подобным судом Он не захочет отвечать ни на какие вопросы, поэтому связанного, в знак того, что Он был обвинен, хотя без надлежащего допроса и без постановления приговора, Анна послал Иисуса через двор к Иосифу Каиафе, своему зятю, который не по милости Божией, а по милости римского императора, был награжден званием первосвященника.

2. Каиафа был такой же, как и его тесть, пронырливый и бессовестный саддукей, но с большею силой характера и воли. В его доме происходил второй частный допрос, настолько же неправильный, как и первый, потому что произведен был, вопреки уставов[711], ночью. Бедные апостолы не могли воздержаться от сна для часовой только молитвы, а преступные злоумышленники, — священники и саддукеи, в своей смертной злобе, бодрствовали целую ночь, собравшись у Каиафы. Законным числом[712] членов синедриона, для составления заседания, признавалось двадцать три человека, — что составляло третью часть всего синедриона. Мы позволим себе предположение, что почти весь этот состав набран был из священников. Ибо в действительности существовало три синедриона, или, лучше сказать, три комитета синедриона, которые собирались обыкновенно в разных местах: в *Лискат Гаггациф*, или мощеной зале; в *Беф Мидраш*, в отделе храма, и у ворот на горе, на которой стоял храм. Можно почти с уверенностью предположить, и что в состав одного из них входили большею частью священники. При этом условии, надо думать, им было очень приятно в настоящую минуту принять самые решительные насильственные меры против человека, учение которого представляло, как им казалось, опасность для правительственной власти священников.

Но каков бы ни был состав суда, в котором председательствовал Каиафа, ясно, что священники должны были изменить свой образ действия при судоговорении. Вместо допроса они стали устрашать и уловлять Иисуса на словах, задавая коварные вопросы, взводя обвинение в отступлении от веры и возлагая на Него ответственность за публичное развращение нравов. Но их собственные внутренние разделения и раздоры затрудняли задачу. Если они остановятся на предполагаемом сопротивлении гражданским властям, то расположат в пользу Его фарисеев; если будут настаивать на предполагаемом

нарушении и пренебрежении правил о соблюдении субботы, то это будет вполне согласно с видами саддукеев. Саддукеи не смели жаловаться на очищение храма; фарисеи или их представители находили бесполезным обращать внимание на Его обличения преданий. Но Иисус не хотел дать пищу этой скрытой злобе или получить освобождение посредством признания мертвых предрассудков. Он не хотел нарушить их временной мировой сделки, на которую соединяла их общая к Нему ненависть. Не зная на чем остановиться, первосвященники и весь синедрион *искали*, как сказано у евангелиста Матфея, *лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти*. Талмуд хочет, по-видимому, провести ту мысль, что будто бы Иисус сужден был, по общему во всех делах обычаю, и что два свидетеля помещены были в скрытом месте в то время, как предатель ученик, — очевидно Иуда Искариот, — вызвал Его на признание. Трактат синедриона[713] уверяет, что будто бы Иисус подвергнут Иисусом Бен Парахиадом *херему* за внесение на родину магических познаний из Египта и развращение народа, — что сорок дней герольд возвещал о Его преступлении и что свидетелей в защиту Его не явилось. Но как показание Талмуда, так и трактат синедриона ложны, нехронологичны и нелепы. Отложивши в сторону эти вздорные выдумки, мы видим из Евангелия, что хотя агенты священников ревностно лгали, однако же их свидетельство было так смутно, так видимо ложно и противоречиво, что из всех их показаний не выходило ровно ничего: даже несправедливые и бессовестные озлобленные судьи не решились принять в уважение подобных показаний. Наконец выступили вперед два человека, свидетельство которых казалось сноснее, чем другие. Они слышали, что Иисус говорил о разорении храма и о восстановлении его в три дня, а потому приписывали Ему такие слова: *могу разрушить* или *Я разрушу*, — между тем как в действительности он сказал: *разрушьте этот храм*[714]. То есть пусть они будут разорителями храма; Он со своей стороны обещается воздвигнуть его вновь. Действительно это была одна из самых предательских выдумок, которая, хотя и не вполне, но походила на правду. Придавши истинным словам Иисуса особый оттенок, они, при своей изобретательности на клеветы, извратили Его мысль и надеялись построить на этом обвинение в богохульстве. Но и эта клевета не удавалась. Иисус слушал в молчании, когда свидетели

безнадежно давали свои показания. Виновный приносит оправдания, а невинный всегда нем. Он предоставил лживым свидетелям и коварным слушателям путаться в гнусных изворотах их собственной лжи. Молчание непорочного Иисуса искупило оправдания виновного Адама.

Но это величественное молчание смущало, тревожило, приводило в стыд, возбуждало бешенство в судьях. Они изнемогали под гнетом собственного невыносимого осуждения, сознавая себя подсудимыми, а Его судьею. Ядовитая стрела их предумышленных коварных выдумок, как бы притупленная об адамантовый щит Его невиновности, падала, не нанося вреда, к ногам Его, и они уже начали опасаться, что после всего этого их жажда крови останется неутоленною и замысел их погибнет. Ужели им надо будет признать себя побежденными, сознаться в собственной слабости, когда Он не произнес ни одного слова, не сделал ни малейшего движения? Можно ли им дозволить себе покориться этому пророку из Назарета, за недостатком более состоятельной лжи? Разве жизнь Его заговорена даже против клеветы, подтвержденной клятвами? Это было невыносимо.

Каиафа выходил из себя от страха и бешенства. Вставши с судейского места и вышедши на средину, он крикнул: *что Ты ничего не отвечаешь?* Иисус отвечал бы, если бы не был уверен, что Его судьи готовы питаться грязью и отыскивать ложь; но Он не прерывал своего молчания.

Доведенный до крайнего ожесточения первосвященник, не помня себя от бешенства, грозно остановился перед своим узником и с отвратительным бесстыдством безумия воскликнул: *«заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам* — что? злодей Ты или человек, задумавший возмущение, или явный богохульник? Нет! — *скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?*

Странный вопрос в отношении связанного, беззащитного, осужденного преступника! Странный вопрос со стороны также исследователя — первосвященника! Странный вопрос со стороны судьи, принимавшего против подсудимого всякое ложное свидетельство! Но при таком заклятии, при таком вопросе Иисус не мог сохранить молчания, не мог предоставить им возможности толковать относительно этого предмета, как им вздумается. В счастливые времена своею первоначального учения, когда они хотели

заставить Его провозгласить себя Царем, — в то время, когда они готовы были отказаться от излюбленных предрассудков в надежде назвать Его Мессией в их смысле и поставить Его на «самом высоком крыле» их обожания, — Он отказался от звания Мессии. Но теперь, в решительные минуты, когда была близка смерть, — когда, говоря языком человеческим, ничего не могло быть выиграно, а все пропадало от признания, — теперь раздался на все века, раздался на целую вечность, — современный прошедшему, настоящему и будущему торжественный ответ: *Я. И вы узрите Сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных*[715]. В этом ответе прогремел раскат грома сильнейший, чем на Синае, и слышанный не только циничным саддукеем, но слышимый доселе нами. Закон Моисеев[716] запрещал первосвященнику сохранять на себе верхние одежды только в случае сетования. Еврейская Иалаха считала это законным в случае богохульства (*гиддуф*)[717]. В притворном ужасе, который служил недобрым предзнаменованием, коварный судья и изолгавшийся первосвященник сам придумал показание, которого напрасно добивался от других, и, на основании этой выдумки, разорвав на себе льняные одежды, потребовал немедленного осуждения Иисуса.

Он богохульствует, — воскликнул Каиафа, *на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его: как же вам кажется?* Они же сказали в ответ: *и с таваф*, или *повинен смерти*[718].

Сборище разошлось, и окончился вторичный допрос Иисуса.

ГЛАВА LIX

Между допросами

Так приняли иудейские власти обетованного Мессию! И с этой минуты все евреи, являвшиеся ко двору, глядели на Него как на еретика, повинного быть побитым камнями. До рассвета Он предан был под стражу[719], потому что только днем в Лискат-Гаггацциф, или зале суда, только полным собранием синедриона Он мог быть законным образом осужден на смерть. Но так как с этого времени на Него глядели уже как на личность, — которую можно было оскорблять безнаказанно, то Его повлекли через двор до караульни, осыпая проклятиями и ударами, в нанесении которых участвовали, может быть, не одни дворские служители, но и озлобленные саддукеи. Время было недалеко за полночь; в воздухе веяло весенним холодом. Посреди двора слуги священников стояли и грелись вокруг огней. Когда проводили мимо этого места Иисуса, до Его слуха донеслось отречение от Него с клятвою отважнейшего из всех апостолов и наполнило чашу Его страданий горечью, какой не мог подлить ни один из самых зверских Его преследователей.

В течение этих двух тяжких часов, проведенных во дворце Анны и Каиафы, совершилось другое событие, которое было Им предречено и происходило на внешнем дворе.

Здесь встречаемся мы с видимою разницею у всех четырех евангелистов. Но читая подлинные тексты, нельзя не убедиться, что, если судить здраво и без задней мысли, то непримиримых противоречий не существует. Насколько мы из разных рассказов можем составить себе понятие о дворце, занимаемом вместе Анной, действительным первосвященником, и Каиафой, первосвященником по названию, в Иерусалиме, то он, по-видимому, выстроен был четырехугольником с внутренним двором, куда входили аркой или лестницей. В отдаленной стороне дворца находилась зала, где собирался синедрион и в которую вела лестница в несколько ступеней[720]. Робко и в отдалении два только апостола, опамятовавшись от первого страха, следовали издали в последних

рядах грустной процессии[721]. Один из них, любимый ученик, известный в семействе первосвященника как молодой рыбак с озера Галилейского, был допущен и не покушался скрыть ни своего сочувствия, ни своей личности. Не так поступал другой. Будучи неизвестным галилеянином, он был остановлен молодою привратницею у самого входа. Было бы лучше, гораздо лучше, если бы его совсем не пустили! Это была ночь смятений, ужасов и подозрений, а Петр был слаб: сильная любовь его была подавлена страхом; положение его среди самых злейших врагов было опасно. Но Иоанн, огорчась тем, что Петру запрещен вход, и, судя по себе о стойкости друга, употребил все свое влияние, чтобы выхлопотать для Петра свободный вход. Стараясь скрыть лучшие побуждения, которые привели его сюда, Петр, предупрежденный на Вечере[722], вошел во двор и стал между прислужниками, господа которых в эту самую минуту приговаривали к смертной казни Его Господа и Учителя. После пропуска всех участвовавших в задержании Иисуса, придверница, по-видимому, сменена была в виду позднего часа другою. Приблизившись к группе товарищей-служителей, она устремила любопытный и проницательный взор на подозрительного чужеземца, сидевшего при красном освещении огня, и, как бы узнавши его, воскликнула: *и ты был с Иисусом Галилеянином*[723]. Петр не воздержался. При таких особых, выходящих из ряду обыкновенных обстоятельствах, впечатлительная натура подчиняется увлечениям минуты и переходит в крайности: простой вопрос, сделанный из любопытства молодой женщиной, своей внезапностью довел Петра до отречения от Бога. Нет сомнения, что в эту минуту ответ его показался ему благоразумным средством для избежания воображаемой опасности. Но остановился ли он на этом? Увы! Раз отрекшись, трижды отречешься; минутное отступление от правды всегда и быстро развивается в окончательное и обдуманное отречение от нее. Ложь уподобляется катящемуся с крутой горы, но остановившемуся на полпути камню, за который невозможно поручиться ни на минуту, что он не будет продолжать дальнейшего движения.

В данную минуту это отречение нашло себе доверие в слушателях[724], потому что было публично и ясно. Но оно напомнило Петру об опасности. Захваченный врасплох, он стал пробираться тихонько от пылающей жаровни к входной арке, как вдруг слух его

поражен был довольно внятным пением петуха. Здесь мы снова встречаемся с некоторым разногласием рассказов евангельских. В Евангелии от Матфея[725]сказано, что после отречения Петр *выходил за ворота*, у евангелиста Марка[726] читается, что *вышел вон на передний двор;* а из евангелий Луки и Иоанна[727] не видно, чтобы они выходили куда-либо. Но разница эта так ничтожна и так мало влияет на суть дела, что не требует объяснений. Что же касается до того, что псевдокритики дозволяют себе называть все событие исторически неверным, потому что не допускают возможности существования в Иерусалиме петуха, как птицы, считавшейся у евреев нечистою: то, с одной стороны, петух мог принадлежать кому-либо из римлян, живших в Антониевой башне, с другой, помещенная в Талмуде[728] история о петухе, заклевавшем ребенка и побитом за то камнями, удостоверяет, что птица эта держалась и у иудеев. Но так как все эти предположения псевдокритицизма извлекаются из Талмуда, этого устарелого памятника литературы, лишенного всякой исторической достоверности и наполненного всевозможными противоречиями, то возражение на подобные опровержения можно делать единственно только из снисхождения.

Спокойствие Петра было непродолжительно. Привратница, по обязанности обращать внимание на подозрительных чужеземцев, вероятно, указала его сменившей ее прислуге. Поэтому вторая привратница, стоя в толпе праздных людей, признала Петра за одного из бывших с Иисусом. Теперь ложь казалась еще более необходимою, чем когда-либо. Чтобы избавиться от дальнейшего преследования, Петр вновь отрекся с клятвою. Он бежал бы оттуда, но бегство было невозможно: оно подтвердило бы подозрения. В отчаянном, мрачном расположении духа присоединился он вновь к стоявшей вкруг жаровни группе, которая стала глядеть на него с неприязнью и подозрением.

Прошел целый час, час, для него страшный и наверно незабвенный до смерти. Будучи слишком подвижен и раздражителен, Петр не мог забыть о новой со своей стороны неблагодарности и лжи. Если он проводил время между священническими служителями в молчании, то его выдавало беспокойное сознание страшной тайны, которое напрасно старался прикрывать равнодушием; если он пускался в беззаботный разговор, то его обличало галилейское наречие. Нет

сомнения, что, несмотря ни на какие отречения и клятвы, слуги архиерейские не верили ему и обходились с ним презрительно. Наконец один из служителей первосвященника, родственник Малха, которому Петр отрезал ухо, стал утверждать положительно и уверенно, что видел его с Иисусом в саду, а в доказательство ссылался на гортанные звуки галилейского наречия[729]. Прочие присоединились к обвинителю. Несмотря ни на какие запирательства, все, по-видимому, было утрачено и возврат невозможен. Может быть, одно усилие, и он был бы свободен от этих беспокойных обвинений; может быть, это усилие дало бы возможность дождаться и видеть, чем все кончится: но вследствие усиленных приставаний насмешливой и угрожавшей толпы праздных людей, погружаясь глубже и глубже в тину неверия и страха, Петр *начал клясться и божиться: не знаю человека сего, о котором говорите*[730]. Вдруг в эту роковую минуту, когда несчастная божба раздалась в воздухе, прежде чем успел пропеть петух, среди мрака холодной ночи, когда сам Петр мог сделаться таким же отщепенцем, как и его собрат апостол, в эту самую минуту Иисус через открытый ли портал залы суда, или в то время как, терпя муки унижения от грубых толчков, бранных насмешек, ударов и заплеваний, но сохраняя величественное молчание, веден был через открытый двор мимо группы греющихся у огня, уловил последние слова неправедной клятвы, обратившись, взглянул на Петра[731]. Блаженны те, на которых Иисус взглянет в печали: Господь оглянется на них также с любовию! Для Петра было довольно и этого. Как стрела впился в сердце его немой, но красноречивый взор упрека. Как луч солнца уничтожает последние поддержки снега на скале, прежде чем он упадет с вершины громадною льдиной, пропала ложная самозащита падшего апостола. Довольно было взгляда, чтобы он перестал видеть врагов, забыл об опасности, прогнал от себя страх смерти. Завернувшись с головой в верхнюю одежду, он скрылся во мраке ночи[732]. Если отлетел от него Ангел невинности, то младший брат его, Ангел раскаяния, простер к нему с кротостью руку. Строго, но с любовью, дух благодати передал этого разбитого сердцем кающегося на суд его собственной совести, где вся прежняя жизнь его, весь прежний стыд, вся слабость получили осуждение и где совершилось новое благодатное возрождение.

Всего ужаснее то, что, вслед за осуждением на смерть и за началом посмеяния, первое, что услышал Иисус, было отречение от Него с

клятвою того человека, который первый провозгласил Его Христом, который приходил к Нему по бурным водам, который защищал Его оружием в саду Гефсиманском, который с такою уверенностью утверждал, что скорее умрет, чем отречется от Него. В караульне же, где оставили Иисуса до рассвета, Его ожидало все, что могли придумать невежественная религиозная ненависть, мелкая грубость, зверская злоба, холодная природная жестокость раба, возбужденная в нем всеобщим к нему презрением. Кротость Иисуса, Его молчание, Его величие, безукоризненная чистота сердца, все эти божественные качества, ставившие Его неизмеримо выше Его преследователей, представляли в Нем добровольную жертву этих низких и дьявольских страстей. Ему плевали в лицо; Его секли розгами; Его били; Ему наносили заушения[733]. Не зная пределов бешеной ненависти, они затевали злобные игры, завязывали Ему глаза и, учащая удары, с возмутительною дерзостью повторяли: *прореки нам Христос кто ударил Тебя*. Им не спалось в эту темную холодную ночь, до утра они вымещали свой позор и прежний страх на бесстрастной невинности. Бодрствовал и Сын Божий, среди этих диких, своевольных рабов, связанный по рукам и ногам и с завязанными глазами, в продолжительной безмолвной внутренней муке, один, без всякой защиты. Это было первое посмеяние, посмеяние над Христом, над ожидаемым Судиею, над святейшим Подсудимым, над Освободителем в оковах.

Прошли томительные часы ночи; засиял рассвет и настало утро этого вечно достопамятного дня. Нарушители милости и правды, страшась нарушить требование устного закона[734] не судить ночью, позаботились о соблюдении в точности этого ничтожного правила, потому что только на рассвете Иисус приведен был в Лискат-Гаггацциф, или мощеную залу с южной стороны храма, или, может быть, в Хануиоф, или торговое отделение, где собрался синедрион для третьего по счету, но первого формального и законного допроса[735], хотя собственно говоря и это сборище разве только из снисхождения можно назвать синедрионом. Иосиф[736] говорит, что во время владычества римлян не было и следа настоящего законного синедриона, а только неполноправные специальные собрания. Все обстоятельства относительно существования в это время настоящего синедриона слишком темны. В субботы и праздничные дни, говорят,

собирались священники и старейшины в *Беф-Мидраш* или синагогу при храме, которая построена была вдоль *хель*, или стены, между дворами внешним и женским. Равви Измаил[737], автор *Седер-Олам*, сообщает, что «за сорок лет до разрушения храма синедрион сам себя изгнал из залы с мощеным полом и поместился в торговом отделении», выстроенном Анною и разоренном впоследствии народом, который за три года до осады Иерусалима расхитил все имущество этих ненавистных первосвященников.

Теперь это сборище сошлось, надо думать, в шесть часов утра в полном составе. Почти все члены его, за исключением очень немногих с более возвышенной душей людей, каковы, например: Никодим Иосиф Аримафейский и, по нашему мнению, Гамалиил, внук Гиллела, от всего сердца желали казни Иисуса. Потому что туда собрались священники, слышавшие от Него порицания их жадности и себялюбия, старейшины, которых Он громил за лицемерие, книжники, которых обличал в невежественности; но хуже всех их были преданные единственно мирским заботам скептики, воображавшие себя философами, тогда жесточайшие и опаснейшие противники Иисусовы, саддукеи, суетную мудрость которых Он так тяжко поражал словами. Все они исполнены были отвращения к этой беспредельной благости; все горели ненавистью к этой высочайшей природе, какой не только никогда не видали наяву, но и в лучших их сновидениях. Нелегка однако же была для них задача уничтожить Иисуса. Еврейские сказки о Его смерти, рассказанные в Талмуде и от начала до конца представляющие бесстыдную ложь, говорят, что в течение сорока дней Его выводили с провозглашением герольда и не нашлось ни одного человека, который бы, согласно обычая, поддержал Его невинность. Поэтому Он был сначала побит камнями, как возмутитель народа (месиф), а потом повешен и распят на кресте. Дело в том, что называвшееся синедрионом сборище не имело власти подвергать кого бы то ни было смертной казни: это ясно высказано у евангелиста Иоанна[738]. Хотя современные заметки и указывают, что римляне на подобные своевольные умерщвления за нарушение религиозных правил глядели сквозь пальцы, но эти своеволия не всегда сходили с рук удачно, что доказывается выговорами молодому Ганану и даже лишением его сана первосвященника за участие в присуждении к смертной казни Иакова, брата Господня[739]. Если бы во время суда над

Спасителем фарисеи сделали открытое восстание, как в деле первомученика Стефана, то наименее фанатичные и более космополитичные саддукеи ни за что не согласились бы постановить смертного приговора[740]. Теперь, не довольствуясь *херемом*, или великим отлучением, они задумали предать Иисуса казни, которая зависела от светской власти. Но у них покуда было только одно, и то вымышленное, обвинение в богохульстве, основанное на выражениях, вынужденных от Него первосвященником, когда подчиненные сему последнему свидетели изолгались до конца, не представя ничего такого, что могло бы служить к Его обвинению. Еще не затронуты были прежние обвинения, к которым за неимением других приходилось обратиться. Но так называемое ими нарушение субботы соединялось с чудотворениями, а потому было основанием слишком опасным. Отрицание устного закона представляло вопрос, поселявший смертельный раздор между саддукеями и фарисеями. На смелое очищение храма равви и народ глядели с удовольствием. Обвинение в тайном злостном учении падало само собою, вследствие постоянно и вполне общественной жизни Иисуса. Обвинение в открытой ереси никуда не годилось за совершенным отсутствием свидетельств. Задача их состояла в том, чтобы вымышленное богохульство обратить в вымышленное государственное преступление. Но каким же образом это сделать? В поспешном ночном, а потому незаконном[741] собрании в доме Каиафы не было и половины членов синедриона, а чтобы постановить формальный приговор, надо было что-нибудь слышать лично и на основании этого приговаривать. В ответ на заклятие Каиафы, Иисус торжественно допустил, что Он Мессия и Сын Божий. Последнее имя в глазах римского трибунала не будет иметь значения, если бы Он захотел подтвердить, что Он Мессия, что из этого можно было бы еще развить нечто политическое. Но Иисус вероятно не захочет, несмотря ни на какие их настояния; потому что это даст им возможность к произвольным толкованиям, а притом они глубоко сознавали, что сами действовали явно в нарушение всех существующих постановлений и преданий, которые требовали, чтобы на каждого подсудимого, еще необвиненного, смотрели и с ним обходились, как с невинным, до тех пор пока не будет доказано, что он действительно преступник.

Когда они сидели таким образом пред своим Царем, который стоял пред ними, как узник, в молчании, среди их громкого говора, некоторым из старейших членов судилища могло прийти на память зрелище суда над Иродом за его убийство. Страх и трусость сковывали тогда их говорливые теперь языки, потому что Ирод, как указывает Шаммай, стоял перед ними «не с покорностию, не с разбросанными в беспорядке волосами и не в черной печальной одежде», но «одетый в пурпур, отчетливо причесанный и окруженный вооруженными людьми»[742]. Только один Шаммай и осмелился возвысить голос для пророчества, что наступит день мщения, когда Ирод, перед которым трепещут они и князь Гиркан, будет некогда совершителем Божьего гнева над ними и над Гирканами. Но какая противоположность между настоящим зрелищем и тем предыдущим, которое было полвека тому назад! Теперь они шумели, а Царь молчал; они были могущественны, а Царь их беззащитен; они преступны, а Царь божественно невинен; они были служителями земного гнева, а Он посредник Божественных дарований.

На вопрос их: ***Ты ли Христос? скажи нал?***[743]**,**Иисус, чтобы покончить это жалкое и отвратительное позорище, ответствовал: если скажу вам, вы не поверите; ***если же и спрошу вас, не будете отвечать Мне, и не отпустите Меня.***А затем, чтобы они не имели себе оправдания и положительно знали, Кто — Он, прибавил торжественно: ***отныне Сын человеческий возсядет одесную силы Божией. — И так Ты Сын божий?*** воскликнули все судьи. ***Вы говорите, что Я,***отвечал Он настолько знакомой для них формулой утверждения ***(антт'амарта*****),** которая находится в Талмуде и которую они вполне понимали. Тогда в один голос закричали они, как прежде Каиафа: ***какое еще нужно нам свидетельство? Ибо мы сами слышали из уст Его.*** **Таким** образом, третьим осуждением еврейских властей, осуждением, которое, думали они, будет утверждено Пилатом и удовлетворит их страшную жажду крови, окончилась третья часть суда над Спасителем, а за решением последовало второе посмеяние, похожее на первое, но еще более оскорбительное, еще менее выносимое, потому что насмешка священников, старейшин и саддукеев отвратительнее и возмутительнее, чем насмешка рабов и бездельников.

Скоро злая судьба постигла ближайшего деятеля из низкой среды исполнителей неправедного суда[744]. Нет сомнения, что Иуда во все время свободно наблюдал за ходом событий и, когда на рассвете узнал решение священников и синедриона, увидел, что Иисус будет предан на распятие римскому правителю, тогда ясно понял всю важность и гнусность своего поступка. Совесть его прозрела; мрак жадности к приобретению рассеялся; все его действия и побуждения представились ему в их настоящем виде. Для него, как для тысячи других современных ему и ныне живущих людей, вдруг уяснилась вся бездна грехов, с которыми сопряжено было его главное преступление. Г розные упреки совести перешли в отчаяние, отчаяние в безумие, а от безумия прямой переход к самоубийству. Если бы он тогда же пришел к своему Спасителю и Господу и, простершись у ног Его, молил о прощении, все было бы забыто. Но, увы! Вместо этого он пошел к своим покровителям, товарищам и искусителям, у которых не нашел, конечно, ни жалости, ни совета. В их глазах он был теперь не что иное, как презренное изломанное и брошенное орудие. Безумные упреки его совести встретили в них холодное равнодушие и бесчувственное презрение. ***Согрешил я, продав кровь неповинную,***воскликнул Он, обращаясь к своим соучастникам и как будто ожидая от них успокоения душевных мук и готовности разделить с ним стыд преступления, а от их высокого звания — прощения греха и утешения? ***Что нам до того? смотри сам,***был единственный бессердечный ответ, которым они удостоили жалкого предателя, тогда как прежде его ободряли, приветствовали, возбуждали на злое дело. Он чувствовал, что в нем уже не нуждаются, что для соучастников преступления взаимное уважение невозможно, что между ними не существует другого чувства, кроме взаимного презрения. Тридцать гнусных сребреннков — вот все, что они желали ему дать. За них он предал свою душу; поэтому они не будут утешать его, как Ахана — спрятанное им золото, как Ахава — сад, который он насадил на земле Навуфея. Бросив с отчаянием на пол деньги в святом месте, где заседали священники и куда он входил в последний раз, Иуда удалился в мрачное уединение, откуда уже не выйти живому. Необъяснимое языком человеческим «нечистое веяние крыльев» носилось над преступною головою. Подробности не могли выйти наружу со всею их ужасающею точностью. Согласно указаний евангелистов Матфея и

Иоанна, он удавился, и предание указывает в Иерусалиме на безлистное, уродливое дерево, которое называется «деревом Иуды». Согласно другого предания[745], не противоречащего с первым, — если предположить, что сук или ветвь сломилась от тяжести, — он упал вниз головой, пропорол сучком живот, и ***выпали все внутренности его.***Третье предание, извлекаемое у Папия и распространенное между первыми христианами, говорит, что тело Иуды разбухло до огромных размеров вследствие ужасной арабской проказы (elephantiasis) и он был раздавлен проезжавшим мимо экипажем. Главные злоумышленники не хотели, чтобы цена крови возвратилась в *корван*, или священную сокровищницу, но, составивши совет, купили на эти деньги поле горшечника для погребения странников, место нечистое, уединенное и ужасное, которое впоследствии долго было известно под именем *Алъцедама*, или «поле крови»[746].

ГЛАВА LX

Иисус пред Пилатом

Страдавшего при Понтийском Пилате, — так в каждом христианском исповедании поминается несчастное имя Римского прокуратора[747]. Цель, с которою оно вошло в символ, имеет не столько нравственное значение, сколько указание эпохи. И действительно, из всех светских и церковных правителей, на суд которых представляем был Иисус, Пилат высказал менее других злобы и ненависти, более других заботился если не избавить Его от мучений, то по крайней мере спасти Ему жизнь.

Каков же был человек, в руки которого небесною властию предана была окончательная судьба земной жизни Спасителя? О происхождении Пилата и его предшественниках до 26 г. по Р.Хр., когда он сделался шестым прокуратором Иудеи, мало известно[748]. Принадлежа к сословию всадников, он получил место прокуратора через влияние Сеяна. Имя его, Понтий, указывает на самнитское происхождение, прозвище Пилат (pilatus, вооруженный дротиком) — на воинственность предков. Данное при рождении имя, поставлявшееся обыкновенно у римлян впереди всех последующих, не сохранилось. В Иудее он известен своею надменностью и бесстыдной жестокостью, — типом римских правителей. По утверждении в должности прокуратора, он дозволил своим воинам принести ночью из Кесарии в Иерусалим серебряных орлов и довел до бешенства иудеев, которые видели в этом языческое осквернение их святыни. Пять дней и пять ночей, лежа на голой земле, — они с буйством и угрозами окружали, или, лучше сказать, осаждали его резиденцию в Кесарии, — и не отступили бы и на шестой, если бы не предстояла неминучая гибель от воинов, окруживших их, по приказанию Пилата. Он начал свое правление враждебным действием, и эти первые впечатления отравили все время его управления народом, с которым пришлось иметь дело.

Второе восстание[749] против него может быть менее справедливо со стороны иудеев, но отстранить его было очень легко, если бы Пилат

немного лучше изучил характер народа и оказывал побольше почтения к их господствующим предрассудкам. Иерусалим, по-видимому, страдал всегда, а в особенности в это время недостатком воды. Чтобы избавиться от такого неудобства, Пилат предпринял устройство водопровода, посредством которого вода должна была доставляться из «источников Соломоновых». Считая это дело общественным благодеянием, он употребил на него часть денег из *Корвана,* или священной сокровищницы, и десятки тысяч народа восстали на отмщение захвата светскою властью их священного фонда. Преследуемый оскорблениями и упреками, Пилат переодел часть своих воинов в одежду еврейских поселян и послал их для наказания зачинщиков в толпу с дубинами и мечами, скрытыми под одеждой. На отказ иудеев спокойно разойтись, воины, по данному сигналу, привели в исполнение полученные ими приказания с таким усердием, что ранили и убивали насмерть правого и виноватого, произведя такое смятение, что многие растоптаны были под ногами устрашенной и взволновавшейся черни.

Третье восстание должно было увеличить отвращение римского прокуратора к подвластному ему народу, доказавши невозможность ужиться с ним даже при мирном направлении духа, — не затрагивая какого-нибудь из их слишком чувствительных к обидам предрассудков. В Иерусалиме, во дворце Ирода, который прокураторы занимали во время пиршеств, Пилат повесил несколько золотых щитов, посвященных Тиверию. В речи Агриппы перед императором Каием, как рассказывает Филон, этот поступок был приписан своеволию и ненависти Пилата; но так как щиты были старательно размещены и изукрашены посвятительною надписью, с разрешения самого Агриппы, то иудеи, по-видимому, обиделись на то, что Пилат делал не в виде политической демонстрации, а просто для украшения стен, а затем не вправе был снять, без опасения оскорбить сурового и подозрительного императора, в честь которого они были посвящены. Старейшины народные написали на это жалобу к самому Тиверию. Политика тогдашнего римского двора состояла в том, чтобы не раздражать, а, напротив, держать в довольстве приобретенные провинции, и отвергала упорство, вследствие которого, ради удовлетворения прихоти, могло подняться восстание. Поэтому

Тиверий, сделав выговор Пилату, приказал перенести щиты из Иерусалима в храм Августа в Кесарии.

Прследнее обстоятельство находим мы только у одного Филона[750]. Но кроме этих трех возмущений, в евангелиях читается о каком-то сильном смятении, при котором Ирод смешал кровь галилеян с кровью принесенных ими жертв. Отзыв его от прокуратуры был последствием обвинения, принесенного на него самарянами Луцию Вителлию[751], легату Сирии, что Пилат своевольно напал, избил и казнил множество самарян, собравшихся на горе Гаризин, по приглашению обманщика, — может быть, Симона волхва, — обещавшего показать Ковчег Завета и священные сосуды храма, которые, как он говорил, скрыты там Моисеем. Действительно Пилат в этом случае действовал слишком опрометчиво и, по-видимому, без всякой нужды жестоко, а, прибывши в Рим, застал Тиверия умершим. Кай не хотел уже возвратить ему утраченного места, предполагая дурным признаком то, что Пилат возбудил неудовольствие в каждом дистрикте небольшой провинции. Собственно говоря, в Пилате отразились чувства его покровителя Сеяна, который высказывал к иудеям крайнее нерасположение. Таков был Понтий Пилат, которого предполагаемые по случаю годового праздника торжества и опасности вызвали из **обычной** его резиденции, Кесарии Филипповой, в столицу народа, которого он ненавидел, и в главное убежище фанатизма, который он презирал. В Иерусалиме он занимал один из двух роскошных дворцов, которые были воздвигнуты вследствие дорого стоившей народу безумной любви Ирода к постройкам. Дворец этот расположен был в верхнем городе к юго-западу от горы, где стоял храм, и подобно такому же зданию в Кесарии, перейдя в пользование от провинциального царька к римскому правителю, был назван **Иродовой Преторией**[752]. Он **представлял роскош**нейшее здание, «превосходящее всякое описание»[753], был выражением своего века и приводил в восторг и удивление Иосифа. Между двумя колоссальными флигелями из белого **мрамора,** называемыми в обычном духе **иродианской** лести императорскому дому Кесаревым и Агрипповым, — была открытая площадка, украшенная скульптурными портиками и колоннами из разноцветного мрамора, замощенная превосходной мозаикой, богатая фонтанами и красивыми водоемами. С этой площадки открывался дивный вид на Иерусалим; растущая

вблизи зелень предоставляла приятное убежище стаям голубей. По наружности, это была масса высоких стен башен, блестящих крыш, перемешанных с большим вкусом; внутри его были превосходные, роскошно убранные, отделанные золотом и серебром, украшенные вазами, настолько обширные залы, что могли вместить каждая сто человек гостей[754]. Жилище, великолепное для римского всадника! Но бешеный фанатизм иерусалимского населения из превосходного дома сделал такое неприятное местопребывание для римских правителей, что и Пилат, и его предшественники пользовались этой роскошью лишь несколько недель в году и то потому, что им нельзя было не находиться в иудейской столице на празднествах, на которые стекались огромные толпы народа, во всякое время способного к взрыву беспокойного патриотизма. Вскоре все узнали, что даже роскошные дворцы могут считаться отвратительною резиденциею, если будут построены на вулкане, выбрасывающем лаву.

В этом-то царственном дворце, — куда не входил Иисус ни разу в дни свободы, — началась в трех отделах четвертая часть возмутительного суда, предшествовавшего смерти Спасителя. В ней не было слышно ни пустословия Анны, — ни заклятий Каиафы, для того чтобы исторгнуть признание, ни беззаконного решения синедриона; потому что здесь судья расположен был в пользу подсудимого и старался об Его освобождении — прилагая все силы и всю смелость, какие могли зародиться в слабой и гордой, преступной и робкой душе его, — выражая все сожаление, на которое способна была его запятнанная кровью натура. Этот последний суд был полон сострадания и сильных душевных волнений. Три раза менял он свой вид. Три раза иудеи обвиняли Иисуса и три раза оправдывали римляне. Три раза иудеи отвергали это оправдание, и три раза Пилат, несмотря на неприятные предостережения иудеев, с возрастающею энергиею, с усиливающимся душевным волнением прилагал все свои усилия, все свои способности, чтобы уговорить обвинителей и отпустить жертву на свободу.

1. Предполагая поразить Пилата численностью и высоким званием, торжественная толпа членов синедриона и священников, с самим Каиафой во главе, около семи часов утра, привлекла Иисуса из залы собрания через высокий мост, который находился в долине Тиропэон, в сопровождении всего городского населения, на позорище ангелам и

людям[755]. Его вели, как будто окончательно приговоренного уже преступника, со связанными руками и с веревкой на шее, — обстоятельство, с которым, по мнению Василия Великого, связано употребление при богослужении ***ораря,***или ***епитрахили.***

Увидя в очень раннее время такое сборище и приготовясь к встрече какого-нибудь более важного, чем всегда, пасхального возмущения, Пилат вошел в залу суда, куда введен был Иисус, вместе (надо думать) с некоторыми из обвинителей и из наиболее заинтересованных этим делом личностей. Но знатные иерархи иудейские, устраняя себя не от участия в преступлении, а от обрядового осквернения, страшась вопреки положений устного закона войти в дом язычника, а не запятнать себя невинной кровью, не вступили в преторию, чтобы не сделать себя недостойными есть пасху этой же самой ночью. В дурном расположении духа, но с надменностью и почти вынужденным снисхождением к тому, на что смотрел, как на отвратительное суеверие людей низшей породы, Пилат вышел к ним и, ставши под палящими ранними лучами весеннего солнца, окинул взором пышное собрание знаменитого духовенства и буйную чернь необыкновенного народа, который он презирал, как римлянин и как правитель. Заметив возбужденные страсти обвинителей и невыразимо кроткое величие жертвы, он предложил короткий вопрос: ***в чем вы обвиняете человека сего?***[756] Велико было удивление иерархов, когда они увидели, что должны приготовиться к возражениям на открытое сопротивление всем их намерениям. Они ожидали просто позволения убить, предать жертву казни, не установленной еврейским законом, но такой, которую считали наиболее ужасною и проклятою[757], а Пилат намеревался, по-видимому, производить судебный допрос. Желание священников, чтобы Иисус умер крестною смертью, имело особые поводы, внушенные ненавистью и местью. Им хотелось наложить на Его имя и память самое ужасное клеймо бесчестия, сделать римлян соучастниками в ответственности за убийство, уменьшить насколько возможно поводы к народному восстанию. ***Если бы Он не был злодей,***отвечали они неопределенно и дерзко, ***мы не предали бы Его тебе***[758]**.** Но знание Пилатом, как римлянином, законов, его римский инстинкт пра восудия, его римское презрение к фанатическим убийствам, заставили его отвергнуть неопределенное обвинение и не утверждать такого темного, беспорядочно решения еврейского

трибунала. Он не захотел быть палачом, когда не был в деле судьею. ***Возьмите его вы,***отвечал он с гордым презрением, ***и по закону вашему судите Его***[759]. Но они принуждены были сделать унизительное признание, что будучи лишены прав присуждать к казни, они не могут наложить такого наказания, которое могло бы удовлетворить их. Согласно предвечного совета, Христу надлежало умереть не от камней и удушения, наказаний, установленных законом еврейским, а римскою казнью — распятием на кресте, которое внушало евреям невыразимый ужас[760]. С креста должен Он владычествовать, окончив многострадальную жизнь свою особою, мучительнейшею, чем смерть на костре, смертью, которая была бы самым худшим типом всех возможных смертей и самым худшим последствием проклятия, которое снято Им навсегда со всего человечества[761]. Поэтому, отложив покуда в сторону обвинение в богохульстве, которое не сообразовалось с их предположениями, они подняли бурю клевет, в которых можно было различить тройственное обвинение, что Он развращал народ, запрещал платить подати и называл себя царем. Все три обвинения были явным образом ложны; ни в одном из них не было и тени правды. Но так как обвинители не представляли никаких ни доказательств, ни свидетельств, то Пилат, в обращении и речах которого ясно выражалось отвращение и страх, внушаемые ему иудеями, обратил внимание только на последнее и начал допытываться от узника собственного признания, принимавшегося по римским законам за лучшее доказательство. Оставя нетерпеливый синедрион и бешеную толпу, Пилат удалился в залу суда. Один св. Иоанн сохранил для нас этот достопамятный допрос. Одетый не в пышные одежды, рожденный не в царском дворце, Иисус проведен был по великолепной лестнице, по полам из агата и лазури, под золочеными сводами, с резьбою из кедра, расписанного пурпуром, — которыми изукрашен был единственный дворец, оставшийся после великого царя Иудейского. Среди этой роскоши и блеска, Пилат, — заинтересованный, по своей римской натуре, благородством стоявшего перед ним узника, — спросил Его с сожалением и удивлением: *Ты царь Иудейский?*[762] Ты, жалкий, измученный, гонимый горькой нуждою, бледный, одинокий, покинутый друзьями, истомленный человек, в своем рубище, с связанными руками, с явным следом вражеских оскорблений на лице и

на одежде, — Ты, ничем непохожий на гордого и роскошного Ирода, которого жаждущий твоей крови народ признает своим повелителем, Ты ли Царь Иудейский? Перед ним стоял Царь, — царство которого ни Пилат, ни подобные ему люди постигнуть не могут: перед ним была царственность святости, высочайшее самопожертвование… Сказать «нет» значило отступить от истины, сказать «да» — ввести допросчика в ошибку. *От себя ли ты говоришь это,* произнес Иисус с достоинством, *или другие сказали тебе обо мне?*[763] *Разве Я Иудей?* ответил Пилат с презрением, *твой народ и первосвященники предали Тебя мне: что Ты сделал?* Что сделал Он? — Совершал изумительные чудеса; делал дела милосердия; от Него исходили целительные силы; Он был примером чистоты и невинности. Но, приготовив Пилата до некоторой степени к уразумению ответа, Иисус обратился к первому его вопросу: «да, Он Царь, но не от мира сего; ни один из его служителей не будет подвизаться за Него». *И так Ты Царь?*[764] повторил Пилат с изумлением. Да! но Царь не в этой стране лжи и тени, а родившийся для свидетельства об истине, и всякий, кто от истины, слушает гласа Его. Истина! *Что есть истина*?[765] спросил Пилат с нетерпением. Как же ему, — римскому правителю, с его материалистическими взглядами, — поступить с этими туманными отвлечениями? Какое отношение имеют грезы к вопросу о жизни и смерти? Разве это не галлюцинация? Разве это не волшебная страна туманных фантазий? Отложив в сторону спор об истине, Пилат был глубоко тронут узником. Юридическая сноровка, судейский инстинкт, знакомство с человеческой природой, которые предоставляли ему возможность постигать до некоторой степени характеры людей, доказывали, что Иисус был не только совершенно невинен, но бесконечно благороднее и лучше его бешеных пустосвятов-обвинителей. Забывая, как ни на чем, по его мнению, не основанную идею о неземном царстве, он видел в узнике только невинного, одаренного высокою душою мечтателя. Поэтому, не выводя Иисуса, он вышел один к иудеям и произнес первое выразительное и полное оправдание: *я никакой вины не нахожу в Нем.*

2. Это торжественно высказанное слово только увеличило злобу врагов, только сильнее раздуло ее пламя[766]. После всех этих мероприятий и присуждений, после бессонной ночи, клятвопреступлений и оскорблений, они никак не думали проиграть

дело через вмешательство язычников, от которых ожидали более строгого обвинения. Неужели эта жертва, которую держали теперь крепко в своих когтях, ускользнет от первосвященников и старейшин, вследствие презрения к ним или жалости к узнику дерзкого язычника? Это было бы невыносимо. Громко кричали они, настаивая, что *Иисус возмущает народ, уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места.*

Среди смешанных, буйных восклицаний, практичное ухо Пилата уловило слово «Галилея». Он понял, что эта местность была главным местом учения Иисусова. Торопясь поскорее развязаться с неприятным делом, он предположил ловким ударом хитрой политики отделаться от тягостного для него суда, избавить себя от неприятного решения и оказать неожиданную вежливость ненавистному галилейскому тетрарху, который, по обычаю, прибыл в Иерусалим, — будто бы для совершения Пасхи, а в действительности, чтобы угодить своим подданным и самому насладиться впечатлениями и веселостями, которые предоставляло в это время сгущенное население столицы. Радуясь втайне, что может омыть руки от этой тяжелой ответственности, Пилат послал Иисуса к Ироду Антипе, который, вероятно, занимал древний дворец князей Асмонеев, — царскую резиденцию в Иерусалиме, — пока заменил другим, более роскошным, построенным его расточительным отцом. Таким образом, еще раз повлекли утомленного страдальца по тесным от народа улицам, среди насмешливой и беснующейся черни.

Мы имели еще прежде случай видеть Ирода Антипу. Во всей истории, из всей ее портретной галереи, нельзя указать ни на один портрет противнее этого злобного, распущенного иудейского саддукея, ничтожного царька, погрязшего в крови и развращении. Единственно только об нем об одном во всю свою жизнь Спаситель выразился прямо с презрением. Суеверие и неверие идут рука об руку; заклятые атеисты веровали в предсказания чародеев и неверующие в Бога веруют в богов. Антипу больше всего утешило то, что он видит Иисуса. Давно хотелось ему этого по слухам, которые об Нем ходили, и убийца пророков надеялся, что Иисус, из уважения к его царскому званию, разгонит каким-нибудь чудом его зевоту, удовлетворит его любопытство. Он Его приветствовал, расспрашивал, но получил односложный ответ. Иисус выслушал все его вопросы с

величественным молчанием. Позорно отвечать такому человеку, который насмешку считал добродетелью. И действительно, тотчас же через тонкую наклейку поверхностного образования выступила наружу вся природная дикость и грубость Антипы. Ирод с своими коварными любимцами *уничижил Его и наругался над Ним.* Издеваясь над Его невинностью и бедностью, пустой и злобный властелин, одевши Иисуса в блестящие праздничные одежды, не удовлетворился жестокими оскорблениями, не отпустил Его, а в этих самых одеждах отослал обратно к прокуратору, с которым теперь примирился после долгой и упорной вражды, и таким образом возложил на других всю дальнейшую ответственность за исход допросов. Как первосвященники и книжники, стоя около Иродова трона, не умоляли его совершить новое, отвратительнейшее прежнего убийство, вследствие их усиленных обвинений, но Антипа ясным образом показал им, что считает их обвинения неосновательными и обращает в шутку. Таково было вторичное издевательство над Иисусом, как над первосвященником и пророком, таков был пятый допрос и второе Его оправдание.

3. Представ снова перед неприятно пораженным и колеблющимся правителем, Иисус подвергнут был шестому, последнему допросу, который был возмутительнее всех прочих. Настало время Пилату действовать с полным и справедливым убеждением и спасти себя от пролития неповинной крови. Он вышел, сел на великолепно украшенное *бима*[767], может быть, золотой престол Архелая, помещенный на возвышенном месте, сложенном из разноцветного мрамора, и, собрав около себя священников, членов синедриона и народ, сказал, что хотя они привели к нему Иисуса как председателя мятежа и восстания; но что он, их римский правитель, после полного и тщательного исследования, нашел узника положительно невинным в возводимых на Него преступлениях; что их природный государь Антипа, к которому узник был послан, пришел к такому же убеждению, что Иисус не совершил ничего достойного казни. Для Пилата являлся сам собою счастливый случай доказать величие императорского правосудия, объявить Иисуса невинным и отпустить Его на свободу. Но в этом-то именно он колебался и медлил. Мысль о другом восстании стояла перед ним, как ночной призрак. Он действовал полумерами и страшился поднять мятеж между опасными

сектантами. Чтобы не выставлять напоказ всей несправедливости их обвинений, он решился наказать Иисуса публичным осмеянием и, возбудивши к нему презрение, этим самым уничтожить все Его влияние на народ; одним словом, представивши Его пред ними в смешном виде, отпустить на свободу. Возможность к этому подавал особый, существовавший в то время в Иудее обычай[768]. Как он, так и народ одновременно без подстрекательств вздумали, что, по случаю праздника, в виде пасхального дара, всегда освобождался один из осужденных преступников. Пилат предложил сделать оправдание Иисусово не вследствие неуместной справедливости, а вследствие искусственного снисхождения.

Поступая таким образом, согласно внутреннего чувства справедливости и против воли уступая лучшим прерогативам своей власти, Пилат действовал вопреки сделанному ему уже из Рима предостережению[769]. Чувство, сильнейшее рассудка, которое овладело им, при виде молчаливого узника со склоненною вниз головою, заставило прокуратора забыть о последствиях нарушения предостережения. Для подкрепления же его решимости и предупреждения очевидного нарушения правосудия получено было им новое торжественное предостережение, которое для римлянина, помнившего убийство Цезаря и сон Кальпурнии, могло показаться предостережением, полученным от самих богов. Жена Пилата Клавдия Прокула (имя, которое читается в Евангелии Никодима, называющего ее прозелиткой), во время заседания мужа в суде прислала публично вестника с извещением, что в утренние часы, когда сны, пр убеждениям римлян, считались обыкновенно правдивыми[770], она видела тревожный и грустный сон относительно этого праведника. Будучи смелее, чем муж, она гласно просила избавить Иисуса от притеснения.

С радостью, с истинной радостью Пилат готов был оказать милость и правосудие, повинуясь и собственным предчувствиям, и запрещениям таинственного сонного видения. С радостью, уступая даже худшим и более низким инстинктам, он пошел бы наперекор эти завистливым и ненавистным фанатикам, которые, как ему было известно, жаждали упиться невинной кровью. Для многих из них возмущения были насущным хлебом, и он положительно знал, что их обвинения Иисуса в этом преступлении были чистой выдумкой, а

лицемерие их только увеличивало его нисколько не скрываемое презрение. Если бы он смел высказать громко собственные убеждения, он выгнал бы их вон из суда со всею надменною беззаботливостью Галлия; но Пилат чувствовал за собой преступление, а преступление робко, робость же есть слабость. Собственные его жестокости, собиравшие наказание над его головою, вынуждали его умерить свою жалость и прибавить к прежним преступлениям еще гнуснейшее. Ему известно было, что над головой его тяготели справедливые и важные жалобы. Разве не просила об отмщении кровь оскорбленных и угнетенных им самарян, — кровь множества иудеев, убитых руками переодетых воинов, — кровь галилеян, которую он смешал с кровью их жертв? И теперь могла угрожать ему посылка в Рим послов с жалобами, и теперь грозила опасность, если при таком подозрительном деле, как обвинение в притязаниях на царство он поднимет возмущение в народе, тогда как его прямою обязанностью было, в интересах римского народа, предупреждать мятеж всякими средствами. Чтобы допустить к поднятию новой, по-видимому, очень важной смуты, надо было иметь гораздо больше смелости, чем просто сделать уступку страстям, которая может быть всегда оправдана необходимостью политической.

Политические интриги лишали его рассудка и не давали возможности привести в исполнение его желаний. Страх наказания за прошлые деяния заставлял его уклониться от пути справедливости. Подстрекаемый священниками и членами синедриона, народ шумно требовал пасхального дара, о котором Пилат напомнил, но, действуя таким образом, иудеи не скрывали злобной ненависти к Спасителю. Потому что, приходя в бешенство от вымышленной мятежности Того, кто был вполне послушен и кроток, они кричали об освобождении человека, которого мятежнические действия были ознаменованы разбоем и убийством. Ненавидя невинного, они полюбили преступника и требовали от прокуратора милости не Иисусу из Назарета, но человеку, которого, как читаем у Оригена, по странному стечению обстоятельств, звали тоже Иисусом, — Иисусом Вар-Авва, который не только называл себя ложно Мессиею, но был предводителем восстания, разбойником и убийцей. Видно уже суждено было, чтобы те, которые избрали отвратительного саддукея своим первосвященником, прелюбодейного идумеянина — своим

господином и царем, предпочли своему Мессии кровожадного разбойника!

Немудрено, что Варавва был тоже приведен туда, так что Иисус, закоснелый убийца, и Иисус, чистейший Искупитель мира, стояли рядом перед этим верховным судилищем[771]. Народ, поддерживаемый своими священниками, кричал об освобождении мятежника и разбойника: на него указывали все руки, за него был общий голос, а за человека святого, безгрешного, непорочного, в честь которого пять дней тому назад слышались тысячеголосные «Осанна», не произнесено ни одного слова сожаления. *Он был презрен и умален пред людьми*[772].

С умыслом предложивши вопрос, Пилате гневом и негодованием услыхал об их добровольном выборе, а затем, обращаясь к ним с презрительною насмешкою, которая не послужила к пользе, но еще более раздражила мятежников, он прибавил: *что же хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы называете Царем Иудейским*[773]? Они прервали его бешеным криком: *распни, распни Его!* Пилат настаивал упорно, но с каждым разом слабее, потому что даже римский правитель, даже человек, знавший за собой менее преступлений, чем Пилат, не мог бы слышать без робости неистовых беснований восточной черни. *Какое же зло сделал вам Он?*[774]*?* твердил Пилат, *Я ничего достой ного смерти не нашел в Нем. И так наказав Его отпущу?* Но колебание было бесполезно. Оно выдавало только внутреннее пристрашное состояние духа прокуратора и предоставляло иудеям наибольшую возможность к требованию. Воздух постоянно оглашался усилившимися криками: *смерть Ему, а отпусти нам Варавву. Распни! Распни!*

Уступив буре, Пилат отпустил Варавву, а Иисуса предал на бичевание, — слово, которое показывает, что употреблялись не розги (тем более что Пилат не имел ликторов), но орудие вроде кнута[775]. Казнь эта стерлась с лица земли христианской верой, поселившей в людях сострадание к человечеству, но тогда она была предварительным наказанием пред распятием и другими видами смертной казни, наказанием до того ужасным, что при одном воспоминании возмущается сердце. Несчастного страдальца раздевали донага, привязывали за руки в наклонном положении к столбу и по

туго натянутым спинным нервам сыпались удары кожаным хвостом кнута, снабженного зазубренными наконечниками из кости или из кожи. Удары эти иногда падали как попало, иногда наносились умышленно, с варварской жестокостью, по лицу и по глазам[776]. При таком возмутительном наказании раздираемая на части жертва обыкновенно лишалась чувств, а иногда и умирала. Невыносимые терзания и нервное раздражение были исходом подобной казни, по большей части кончавшейся смертью. Но не будем останавливаться долее на этой возмутительной жестокости, от которой сжимается и надрывается сердце; прибавим, только, что непосредственно за нею последовало третье горчайшее посмеяние над Христом, как над Царем.

Между образованными народами принимаются все меры для того, чтобы избавить осужденного на смерть от всяких ненужных страданий, но у римлян всем случаям смертной казни предшествовали оскорбления и насмешки[777]. Эти «насмешки проходящих», о которых читаем у Тацита были, по-видимому, в общем употреблении. Само собою разумеется, что подобный обычай представлял образчик самой отвратительной и унизительной людской злобы, которая тешилась прибавлением к пыткам пыток, чувствовала нечеловеческое удовольствие в насмешках над терзаниями других, хотя бы людей совершенно невинных. Вид мучений приятен только душам низким. Отвратительные солдаты из претории, — не римляне, которые могли бы более сочувствовать молчаливому страдальцу, но по большой части наемные оборыши и подонки из провинций, — повели Иисуса в караульню и там издевались над Царем, которого пытали[778]. Радость иметь в своей власти иудея по рождению, непорочного по жизни и благородного по происхождению, только усиливала жестокости. Удобный случай прервать каким-нибудь развлечением грубое однообразие праздной жизни собрал всю когорту, которая была освобождена для того, чтобы быть свидетельницей возмутительной забавы. В виду бесчувственных солдат, стражники совершили всю церемонию насмешливого коронования, облачения и принесения поздравлений Царю. На главу Иисуса они, наподобие императорских лавров, возложили венок из колючих тернов; в связанные и ослабевшие руки, вместо скипетра, вложили камышовую трость; с Его истерзанных, окровавленных плеч сорвали одежду, надетую на Него в насмешку Иродом и теперь пропитанную кровью, и одели в

багряницу, — нечто вроде старого полевого солдатского плаща, с пурпуровой каймой, из преторского гардероба. С притворной торжественностью пристегнули они этот плащ к левому плечу блестящей застежкой, и затем каждый, ради насмешки, кланялся Ему, стоя на коленях; каждый плевал на Него нечистым ртом; каждый наносил Ему удар по голове тростниковым скипетром, находившимся в Его связанных руках; каждый проходил перед Ним с насмешливым приветствием: ***радуйся, царь Иудейский!***

Но Пилат все суде не отчаивался, желал, надеялся и старался спасти Иисуса[779]. Он обратил ужасное бичевание не в предварительные истязания пред распятием, но в допрос посредством пыток, которые не могли исторгнуть никакого признания. Однако же и тогда, когда Иисус, возвратившись назад, стоял возле правителя, с мученическим видом, с кровавыми пятнами на зеленом венке, с знаками ударов и заплеваний на всем теле, с истомой предсмертных мучений на закрывающихся глазах, в плаще из поношенной багряницы, терявшей свой цвет при виде окровавленной спины, даже и тогда, во время самого крайнего унижения, богоподобное величие святого спокойствия и благость сияли в Его святом лике и взорах и вырвали у Пилата невольное восклицание, которое приводит в восторг миллионы сердец:

Се, человек!

Но в иудеях оно выдало только сильнейший взрыв оскорбления. ***Распни! распни***[780]! раздавалось отовсюду. Один вид этого Страдальца, покрытого невыразимым стыдом и позором, по-видимому, только разжигал их злобу. Напрасно языческие воины обращались к состраданию еврейских священников; ни одно сердце не забилось ответной жалостью, ни один голос не прервал однообразных криков ***раепни Его,***— этого завывающего припева дикой «литургии смерти». Проливая кровь, как воду, на поле сражения, в открытом и тайном убийстве, римляне могли притупить свои сердечные чувства, но холоднее и тверже их было сердце этих мелочных лицемеров и преданных миру священников. ***Возьмите Его вы, и распните,***— сказал Пилат с отвращением, — *ибо я не нахожу в Нем айны.* Какое потворство со стороны судьи-римлянина! «Насколько я вижу, он вполне невинен; но если вы хотите распять Его, то возьмите и распните. Я не могу утвердить такого решения, но готов

потворствовать нарушению закона». Однако ж и этот преступный изворот не был ему дозволен. Сатана требовал от своих слуг безусловного согласия на совершение преступления, собственноручной подписи их добровольного согласия. Евреи желали и добивались не немого потворство, но решительного определения. Они чувствовали свою силу, очень хорошо понимая, что запятнанный кровью правитель не смеет действовать вопреки их воле. Им известно было, что римская политика снисходительна на уступки к местным предрассудкам. В разгаре страстей, смело разрешая политические вопросы и заявляя свои лицемерные претензии, они только кричали *мы имеем закон, и по закону нашему Он должен умереть, потому что сделал Себя Сыном Божиим*[781].

«Сын Божий»? Эта мысль не была так странна для язычника, как для иудея. Пилат не слыхал еще, что Иисус есть Сын Божий. Это роковое слово поразило его и, как новое несчастное предзнаменование, заставило трепетать за преступление, которое приходилось ему совершить, вследствие страха от сознания прежней преступности[782]. Оставляя снова шумевший народ, он взял Иисуса в залу суда и спросил с удивлением: *откуда Ты?* Увы! поздний вопрос! Жестоко и несправедливо поступал Пилат. Для него было довольно сказанного прежде, а с дикими зверями, которые только бесновались от этого, говорить было нечего. Иисус не дал никакого ответа. *Мне ли не отвечаешь?* воскликнул злобно Пилат. *Не знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть имею отпустить Тебя?* Ужели власть? А разве ничего не значит справедливость? Ничего не значит истина? Ничего не значит невинность? Ничего не значит совесть? В действительности, Пилат не имел такой власти. Даже в смысле произвола тирана, это было хвастовство, потому что, собственно говоря, «несмел ничего сделать». Но Иисус сжалился над безнадежным заблуждением человека, преступные действия которого из правителя сделали раба. Без насмешек и возражений, а, напротив, скорее смягчая, чем усиливая преступность своего судьи, Иисус отвечал кротко: *ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше; почему более греха на том, кто предал Меня тебе.* «Ты совершаешь ужасное преступление, но Иуда, Анна, Каиафа, эти священники и иудеи должны подвергнуться большему, чем ты, осуждению». Таким образом, с беспредельным достоинством и с

беспредельной благостью Иисус осудил своего судью. Молча, признавая превосходство над собою связанной и истерзанной жертвы, в глубине души своей Пилат понимал истину этих слов. Все, что осталось в душе его еще неиспорченного гордостью и жестокостью, отозвалось на эти спокойные слова Сына Божия. Иисус осудил его за грех, однако Пплат не только не оскорбился, но почувствовал большее благоговение к таинственному Существу, которого крайняя слабость казалась выше и величественнее, чем величайшая сила. С этого времени Пилат еще более заботился о том, чтобы спасти Иисуса[783]. Сознавая вполне, что произведет смятение, он в третий и последний раз вошел на судейское место и сделал еще одно отчаянное усилие. Он вывел Иисуса и, указывая на Него, когда Он в немом страдании спокойно стоял на блестящем Гаивафа, или Лифостротоне (мозаичном полу), превыше всех зверских народных движений, с убеждением: *се*, ***Царь*** *ваш!* Но для иудеев название их царя, приписываемое истерзанному, поруганному Страдальцу, звучало обидной насмешкой. Зловещий ропот начал пробегать в толпе между неистовым и бешеными криками: ***Распни! Распни!***[784]. Было уже девять часов[785], и почти три часа злобно ревела толпа в ожидании решения (разность во времени у евангелистов Иоанна и Марка объясняется тем, что греческое число (три), вероятно, при переписке заменено (6). Среди гневных криков народа стало уже по временам слышаться имя Кесаря. ***Царя ли*** *вашего распну*[786], — возразил Пилат раздражительно. *Нет у нас царя, кроме Кесаря*[787], отвечали саддукеи и священники, забывая национальность и мессианские надежды. Если отпустишь Его, — ты недруг Кесарю: всякий, делающий себя царем, противник Кесарю. Пилат затрепетал при этом страшном имени. Оно было для него словом заклинания, чтилось им выше всего. В голове его мелькнула мысль об обвинении в оскорблении императора, — обвинении, при котором блекли все прочие; потому что оно влекло за собой обыкновенно конфискацию имения и пытку, было причиной ужасных кровопролитий на улицах Рима. Ему пришел на мысль старый, похмурый император Тинерий, который в настоящее время в Капрес таил в своем сердце мстительные виды и ядовитые подозрения, который бесновался нечеловечески кровожадной злобой за измену одного из своих друзей и министров Сеяна, предоставившего Пилату его настоящее место и звание. А среди этой черни мог найтись какой-

нибудь тайный доносчик! Пораженный ужасом, несправедливый судья, повинуясь собственному страху, сознательно передал невинную жертву на смертные муки.

Прежние частые нарушения закона не давали ему возможности, несмотря на все желание, довершить этого единственного справедливого в его жизни дела: убив в себе прежде чувство жалости, нынче он не смел насладиться сладким чувством сострадания; злоупотребляя прежде властью, он оказывался теперь неспособным приложить ее хоть однажды к стороне правой. Самый грех стал для него наказанием и наслаждение пороками обратилось в орудие пытки. Освобождая Варавву и осуждая Иисуса, ужели он забыл, ужели он с упреком совести не вспомнил про закон «двенадцати таблиц»[788]: не должно слушать пустого народного голоса, который желает оправдать виновного или осудить невинного»! Может быть, все это и было так: по крайней мере, совесть его не была спокойна. И вот он в этот самый момент или немного поранее придумал торжественный фарс, чтобы очистить свою совесть от преступления[789]. Приказавши принести воды, он умыл руки перед народом, сказавши: ***не виновен я в крови праведника сего: смотрите вы.*** Ужели он думал, что смоет преступление? Он умыл руки, но не надо ли было омыть сердце? Ответом на это был самый изумительный, самый отвратительный и самый замечательный крик из всех тех, которые передает нам история! ***Кровь Его на нас и на детях наших,***завопили иудеи с их старейшинами и книжниками. Надо было уступить требованию. Неохотно высказана была Пилатом формула осуждения: «иди к кресту!»; неохотно отпустил он с ними Иисуса, ***предав Его на распятие***[790]**.**

Но заметьте историческое отмщение! Не пала ли кровь Его на них и на детей их? не пала ли она еще тяжелее на соприкасавшихся к этому страшному событию. Прежде чем невинный Страдалец испустил дух, Иуда умер среди ужасов гнусного самоубийства. Каиафа на следующий год потерял первосвященство. Ирод умер в унижении и ссылке. Вскоре после события лишенный прокураторства Пилат, усталый от неудач, кончил дни свои в изгнании самоубийством, оставив после себя недоброе имя. Дом Анны в следующем же колене был разорен бешеной толпой, которая влачила сына его по улицам, бичевала и била до тех пор, пока умер. Некоторые из участвовавших и

бывших свидетелями зрелища этого дня и тысячи их детей, участвовали и были свидетелями продолжительных жестокостей осады Иерусалима, подобной которой по невыразимым ужасам не существует в истории. «Мы не имеем царя, кроме Кесаря». Оставляя на время только фантастическую тень местной, ничтожной царской власти, кесари один за другим оскорбляли, тиранизировали, грабили и угнетали Иудею до тех пор, пока не восстал дикий мятеж против того самого кесаря, которого сами признавали единственным своим государем, и пока один из этих желанных кесарей не смешал пепел от сожженного и осквернённого храма с кровью лучших его защитников. Они принудили римлян распять Христа, хотя эту казнь считали самою позорною; римляне распинали их самих и детей их мириадами вне иерусалимских стен, пока не достало места и дерева для крестов, пока солдаты не истощили всей своей плодовитой изобретательности на измышление новых жестокостей для нанесения наиболее оскорбительной смерти. Они дали тридцать сребреников за кровь их Спасителя и сами были продаваемы тысячами за меньшую цену. Они предпочли Варавву Мессии, и для них не стало Мессии: меч убийцы уничтожил последних представителей их национальности. Они приняли на себя вину крови: кровью облиты последние страницы их истории, и с той поры из века в век кровь эта проливалась с неописанной жестокостью. Пусть кто хочет видит в подобных этим событиях неважные исторические перевороты: но в истории нет ничего неважного для того, кто смотрит на нее, как на голос Божий, возвещающий людскую судьбу. Пусть человек придает или не придает значения подобным событиям, но разве слепой не увидит, что вместе с Христовой смертью положена была секира на корень бесплодного дерева еврейской национальности, ’’Иерусалим с бесчетными каменными пещерами и простирающимися в бесконечную даль надгробными памятниками и гробницами» стал немного больше, чем Альцедама, поле крови, поле горшечника для погребения странников. Кровавый грех, как знак Каинов, на челе этой расы взывал об отмщении и будет взывать всегда, пока не омоется этою самою кровью. Потому что, на основании законов милосердия Божия, кровь Иисусова пролита даже и за тех, которые ее проливали; замирающий, предсмертный голос дышал состраданием к убийцам. Да будет же

кровь эта чистительною и для них! Да будет услышана эта молитва Искупителя!

ГЛАВА LXI

Распятие

«Иди, воин, приготовь крест!»[791] Подобной формулой, полной ужасного значения, должен был Пилат дать свой окончательный приказ римской страже. Было около девяти часов, и казнь последовала тотчас за произнесением приговора. Нескольких минут достаточно было для необходимых приготовлений. Воины, обязанные привести приговор в исполнение, сорвали с Иисуса покрытую кровавыми пятнами багряницу, одели Его снова в Его одежды, изготовили крест, возложили Ему на плечи и повели к месту казни[792]. Близость великого праздника и мириады собравшегося в Иерусалим народа заставили желать воспользоваться удобным случаем навести ужас на всех злоумышленников.

Два разбойника и возмутителя, не из важных преступников, избраны были на казнь одновременно с Иисусом. Каждый из них нес свой крест. Отряд воинов в полном вооружении шел под командой сотника, и среди тысяч зрителей, глядевших с холодным любопытством и неистовой враждой, процессия двинулась в путь.

Объем и размеры креста не могли быть так велики, как мы видим на множестве живописных произведений. Распятие было у римлян самым обыкновенным наказанием и ясно, что они не слишком затрудняли себя устройством орудия позора и казни. Он, без сомнения, сделан был из простого дерева, какое попало под руку (может быть, из оливы или сикомора), и сбит самым грубым образом. Само собой разумеется, что несение такой массы, которая могла бы поместить на себе и удержать на весу тело человека, для всякого ослабевшего от предварительного бичевания, было мучительным страданием, а для Иисуса — невыносимой пыткой, потому что Он предварительно истомлен был не одними истязаниями, но неприятностями предшествующих дней, сильными волнениями, нравственным борением в саду, тремя допросами, тремя присуждениями к казни, продолжительным и утомительным разговором в претории, испытанием у Ирода и зверскими и оскорбительными посмеяниями,

которым Он подвергался сначала в синедрионе и у его служителей, потом у телохранителей Ирода и, наконец, у римских воинов. Все эти пытки, с прибавлением к ним болезненных ран от бичевания, окончательно надломили физические силы Иисуса. Изнеможение, а может быть, и падение под страшным бременем, очевидно показывали, что у Него недостало сил донести крест от претории до Голгофы. Если бы иудеи не сжалились над Его слабостью, то римские воины не допустили бы медленности и задержки, как неминуемых от того последствий. Но сами иудеи нашли способ избавиться от затруднения. Дошедши до городских ворот, они встретили шедшего из села человека, известного первым христианам под именем Симона Киринейского, отца Александра и Руфа, из которых два последние упоминаются в Деяниях Апостольских, а равно в посланиях к Тимофею и Римлянам[793]. Очень может быть, что, вследствие намеков некоторых из сопутствующих относительно сочувствия Симона к Страдальцу, начальствующие и старейшины, без зазрения совести, заставили Симона принять на себя тягостную обязанность нести орудие казни[794].

Таким образом, печальная процессия продолжала идти своей дорогой, и хотя апокрифические предания римской церкви рассказывают множество случаев на этом скорбном пути, но Евангелие передает только одно событие. Св. Лука говорит, что среди народа следовало за Иисусом множество женщин. Вероятно, в этой движущейся толпе шли такие личности, которые видели чудеса и слышали слово Его, или такие, которые если не окончательно, то до известной степени убеждены были в Его мессианстве, когда не могли отвести своих глаз от Его уст, произносивших великие проповеди в храме. Участвовали, вероятно, и некоторые из тех, которые пять дней тому назад сопровождали Его из Вифании с пением «Осанна» и помаванием пальмовыми ветвями. Но от мужчин Он не слыхал, по-видимому, ни одного слова жалости или сострадания. Иным сомкнула уста робость неверия, другим — глубокое изумление, а немногим, может быть, безграничная печаль. Но женщины, более склонные к сожалению и менее подчиняющиеся контролю чужого влияния, не могли и не хотели скрывать своей скорби и ужаса, которыми исполнились их сердца при этом зрелище. Они били себя в груди, оглашали воздух рыданиями, так что Иисус решился остановить их

вопли словами торжественного предостережения. *Дщери Иерусалимский* — сказал Он, обращаясь к ним, — *не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и детях ваших. Ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Ибо если с зеленеющим деревом это делают; то с сухим что будет?* Ничто не обязывало подавлять в себе этого внезапного порыва нежности женской души, при виде великого пророка в час позора и истощения, с герольдом, провозглашающим Его преступления, — при виде римских воинов, несущих надпись, содержащую Его царский титул, для посмеяния народного, — при виде Симона, склонявшегося под тяжестью креста, к которому Иисус должен быть пригвожден. Но Он предостерегал их, что если видимым ими зрелищем завершалось все в настоящем, то более тяжкие по воды горя ожидают их самих, детей их и все поколение в будущем. Многие из них и большая часть их детей доживут и увидят реки крови, которые разольются в городе и храме, — ужасы пыток, каких не знавал свет и против которых не устоит никакая твердость человека, — время, когда люди готовы будут скрыться под подошвой холма, на котором стоит их город. Смоковница их народной жизни еще зелена; но, если такие темные дела возможны теперь, то что же сделается, ^огда это дерево завянет, иссохнет и будет готово к сожжению[795]? Если в дни надежды и благодати они поступили таким образом со своим непорочным Освободителем, то чего можно надеяться в дни проклятий, безумства и отчаяния? Если, при полном дневном свете, священники и книжники распяли Невинного, что будет во время полночных оргий и облитых кровью вакханалий зилотов и убийц? Это был день преступления: то будет день, когда само преступление будет им за себя мстителем. Такое торжественное предостережение, такая последняя речь Иисуса на земле имели смысл не только для тех, которые их слышали, но, как каждое Его слово, были полны иного, более глубокого и обширнейшего значения для всего человечества. Они напоминают каждому сыну человеческому, что за временами беззаботных наслаждений и богохульного неверия наступит минута суда, — что хотя долготерпение Божие безмерно, молчание Его непрерывно: но для каждого человеческого существа, которое на земле живет в удовольствии, ест, пьет и упивается, настанет минута, когда

оно услышит громовые раскаты небесного гнева, увидит Его воспламененные молнии.

Так прошли они до рокового места, называемого Голгофа, или Лобного. Почему таким образом называлось оно, неизвестно. Может быть потому, что было определенным местом для совершения уголовных наказаний; может быть потому, что имело вид голого, кругловатого, похожего на скальпированный **череп** возвышения, — хотя в евангелиях читается **просто** «место», а о холме или горе ничего не упоминается. **Много** было писано об этом предмете, но в точности ровно ничего не исследовано. Нет ни малейших данных, приближающихся насколько-нибудь к достоверности и, по всей вероятности, настоящее место погребено и исчезло под горами обратившихся в щебень развалин десять раз осажденного и десять раз разоренного города. Все, что мы знаем о Голгофе, что нам сколько-нибудь известно и что Богу угодно было нам открыть, заключается только в том, что место это было за **городскими воротами.** Религия Христова есть учениие духовное; оно не нуждается в вещественных памятниках, не зависит от святых мест; оно не говорит своим детям: *вот здесь,* или *вот там!*[796], но твердит постоянно, что *царствие Божие внутри вас.*

Дикое и возмутительное наказание распятием на кресте пятнадцать веков тому назад уничтожено Константином Великим[797], вследствие общечеловеческих чувств сострадания к людям, подвергавшимся этой казни, и отвращения к самому роду наказания. У римлян оно считалось рабской, бесславной, ужаснейшей, величайшей, последней — смертной казнью. «Самое название креста, — говорит Цицерон, — противно римскому уму, взорам и слуху»[798]. В римлянах и иудеях при мысли об этих страданиях рождалось своеобразное чувство человечности, — чувство, выразившееся в установлении некоторых обычаев, облегчающих мучения. У римлян обыкновенно наносили страдальцу удары под сердце, которые, не причиняя смерти, ускоряли ее приближение[799], а иногда даже лишали жизни[800]; у иудеев, вследствие большей мягкости их природы и удачныхраввинских толкований на одно из изречений Соломоновых[801], подавали обыкновенно осужденному, тотчас после пригвождения, состав из вина, смешанного с каким-то очень сильным усыпительным

средством, которое св. Марко называет миррой, св. Матфей — вином с уксусом и желчью, так что собственно из чего делали этот состав[802] неизвестно. Римляне называли его просто «*усыпительным*». Богатые иерусалимские женщины доставляли это одуряющее питье, на собственный счет, без всякого отношения к личности казнимого. Оно подано было двум злодеям, но когда предложили Иисусу, то Он не принял его. Это был величайший подвиг высокой души! Состав производил нервное поражение, омрачение ума, — которые делали распятого менее чувствительным к мучительным страданиям ужасной смерти. Но Иисус, которого новейшие скептики имеют достаточно низости обвинять в женской слабости и робком отчаянии, предпочел лучше глядеть прямо в лицо смерти, — встретить ее во всем ее ужасе, не стараясь ни заглушить силы мучений, ни успокоить трепета раздираемых нервов.

Все три креста положены были на земле, так что Иисусов, который, без сомнения, был выше других, помещен для злейшей насмешки в середине[803]. Надпись, которую во время пути нес один из воинов или сам Иисус обернутою около Его шеи, прибита была теперь на вершине креста. С Него сняли все одежды и настала ужаснейшая минута. Возложив Его на орудие казни, воины распростерли Его руки по перекладине; установили сначала на правой, потом на левой ладони два огромных железных гвоздя и ударами деревянного молота загнали в дерево, — обрывая с нестерпимою болью все тонкие ручные нервы и мускулы, через которые проходили гвозди. Затем, выпрямив голени, в каждую ногу отдельно вбили по такому же гвоздю или обе ноги пригвоздили вместе. Последнее предание идет со времен св. Григория Назианзина[804], называющего крест «деревом трехгвоздным», и Нонна, дающего название ногам Иисусовым, «соединенные». Но св. Киприан[805], которому довелось видеть казнь посредством распятия, говорит о четырех гвоздях. Потом распятого обыкновенно привязывали к кресту веревками или устраивали посредине перекладину, на которую несчастный мог присесть (откуда выражения «сидеть на кресте», «сидячая смерть», которые читаем во многих описаниях крестной казни). Все это делалось в видах предупреждения, чтобы гвозди не прорвали ран на руках и на ногах, на которых всею тяжестью висело отяжелевшее от страданий тело. Какой из этих способов употреблен был при распятии Спасителя и даже был ли

употреблен который-нибудь из них, — неизвестно. Что же касается до подножки, обыкновенно изображаемой у креста, то такой никогда не прикреплялось.

В эту, вероятно, минуту невыразимого страдания Сын человеческий, возвысив голос не от естественной боли, но со спокойной молитвой за зверских и безжалостных убийц и за всех тех, которые впоследствии будут распинать Его вновь в греховном неведении, громко воскликнул: *Отче, прости им, ибо не знают, что делают*[806].

Тогда это дерево, — с живой человеческой ношей, висевшей на нем в безнадежных мучениях и испытывавшей при каждом малейшем движении с разрывом ран на руках и ногах новые мучения, — было тихо приподнято сильными руками воинов и установлено нижним концом в нарочно вырытую для этого яму, так чтобы ноги распятого едва только не касались земли, — чтобы каждая рука, которая хотела ударить, могла достать до Него свободно, — чтобы ни один жест оскорбления и ненависти не мог скрыться от Его взора. Пока Он висел на кресте, Его мог тревожить, оскорблять, бить и мучить всякий из этой беспрестанно движущейся и меняющейся толпы, — из пристрастия ко всему ужасному теснившейся посмотреть поближе на то, что должно бы заставлять ее плакать кровавыми слезами.

Долго несчастные жертвы могли, не лишаясь жизни, томиться в постоянно возрастающих мучениях, становившихся с каждым мгновением более и более невыносимыми, и нередко обращались с просьбою и мольбою к зрителям или исполнителям казни, — из жалости положить конец мукам, слишком тяжелым для человека, в полной уверенности, что слезами унижения успеют исходатайствовать у своих врагов бесценный для них дар, скорую смерть.

Смерть на кресте заключала в себе все, что только есть ужасного и возмутительного в пытках и смерти: головокружение, судороги, упадок сил, бессонницу, лихорадочное состояние вследствие ран, столбняк, публичность позора, продолжительность страданий, антонов огонь в открытых ранах, — все это вместе и в самой высшей степени, но без лишения чувств, которое бы одно и могло быть для страдальца некоторым облегчением. Неестественное положение делало мучительным всякое движение; воспаленные и беспрестанно подновляемые раны близ гвоздей разъедала гангрена; артерии, — в

особенности в голове и животе, — распухали и напрягались от прилива крови. Ко всем этим разнообразным и постоянно возраставшим мучениям присоединялись невыносимый жар и мучительная жажда. Совмещение одновременно всех этих мук производило такую нестерпимую тоску, которая самый вид смерти, этого страшного неведомого врага, при приближении которого всякий человек трепещет, — делала приятным, мечту о ней — усладительной.

Такова казнь, к которой присужден был Спаситель мира, и хотя для Него, вследствие предшествовавших томлений, все окончилось скоро, но Он пробыл на кресте с раннего послеполуденного времени почти до захождения солнца, прежде чем *испустил дух*.

Когда крест был поставлен на место, вожди иудейские с первого же разу заметили смертную обиду, нанесенную им Пилатом[807]. Ослепленные бешенством, они распятием желали нанести оскорбление Иисусу, но, очнувшись от первого злорадства, разглядели, что Он пригвожден был на кресте между двумя разбойниками, но что самый крест был выше, чем два другие, белая доска, намазанная гипсом, которая так ясно виделась над главою, содержала изображенную черными буквами надпись о преступлении Иисуса на трех образованных языках древнего мира, — на официальном латинском, общеупотребительном греческом и местном арамайском, из которых последний был известен каждому из присутствовавших, — а в действительности извещала, что этот человек, претерпевший постыдную, рабскую смерть, — распятый между двумя презренными разбойниками в виду народа, был *Царь Иудейский!*

Для того, кто был распят, в ней не было ничего постыдного. Он царствовал даже на кресте. Он там казался божественно превознесенным над священниками, которые так усердно хлопотали об Его смерти, и над грубой, пустой чернью, которая толпилась тут для насыщения своих взоров, жадных до чужих страданий. Злоба была бессильна против Того, чье духовное и нравственное благородство, несмотря на глубокую бездну уничижения, поражало умирающих убийц и исполнителей казни, язычников. В этой надписи виделось уже не просто неудовольствие римского правителя, а дело гораздо большей важности. Желая выместить свою неудачу на своих ненавистных подданных публичным им оскорблением, Пилат задумал поместить, что Иисус был действительно Царь Иудейский, то есть по его

языческому мнению, лучший, благороднейший, правдивейший из людей своего племени, которое за это и подвергло Его распятию на кресте. Не царь был недостоин царства, а царство недостойно такого царя. В этих ясных взорах, — которые не переставали с печалью глядеть на город праведников, обращенный теперь в город убийц, — было нечто высшее, чем царское достоинство. Пилат поступил с иудеями так, что отравил все их торжество, и они послали к нему депутацию из главных священников с просьбой изменить оскорбительную надпись. *Не пиши*, сказали они, *царь Иудейский, но что Он говорил: Я царь Иудейский.* Однако же смелость Пилата, которая быстро исчезала при имени кесаря, опять возвратилась. Он был во всяком случае рад сделать наперекор и высказать все свое презрение людям, мятежные крики которых лишили его возможности утром исполнить его задушевное желание. Зато и немногие так, как римляне, могли выказать явно и решительно свое глубокое презрение. Не удостаивая их оправданием в своем поступке, Пилат этим торжественным послам и иерархам отвечал коротко и презрительно: *что я написал, то написал.*

Бывали случаи, что распятых снимали с креста и возвращали к жизни. Для охранения крестов на Голгофе, с целью предупредить возможность похищения тел, оставлен был на месте кватернион (четыре человека), с их сотником. Одежды жертв всегда доставались людям, совершавшим тяжелую и неприятную обязанность[808]. Нисколько не подозревая, что в точности исполняет таинственные провозвестия древних пророков иудейских[809], воины приступили к разделению между собою одежд Иисуса. *Таллиф* разорван был на четыре части, вероятно, по швам, *цетонеф*, хиттон, или нижнюю одежду, которая состояла из одного куска материи и разорвать ее — значило бы окончательно испортить, они решились оставить в собственность одного, кому выпадет жребий. Окончив дележ, они сели на землю и наблюдали за Иисусом до конца, проводя тяжелые, мучительные часы в еде и питье, в насмешливых и веселых разговорах.

Возмутительное зрелище[810]! Большая часть народа стояла и смотрела, а иные (может быть, многие из ложных свидетелей и других злоумышленников предшествующей ночи), проходя мимо, оскорбляли Иисуса неприязненными криками и бешеным издевательством, прося

сойти с креста и спасти Себя, так как Он должен разрушить храм в три дня и построить его. Главные священники, книжники и старейшины, — еще менее сострадательные, чем народная масса, — не устыдились посрамить свои седые головы и высокое звание дозволением себе вместе с жалким меньшинством высказывать те же бессовестные упреки Страдальцу. Не имея достаточно великодушия, чтобы сдержать себя при виде величайшего терпения, — не довольствуясь исполнением их злобного мщения, — не тронувшись видом безнадежной скорби и взоров, которые начали уже меркнуть от приближения смерти, они под самым крестом приветствовали один другого с насмешливой дерзостью: *других спасал, а Себя, самого не может спасти. Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в Него.* Неудивительно после этого, что невежественные воины принимали участие в насмешках этих бесстыдных и недостойных уважения иерархов; неудивительно, что за полдником они забавлялись над умирающим Человеком, с дерзостью поднося к Его воспламененным устам чаши с кислым вином и повторяя иудейские насмешки относительно ничтожества царя, которого трон на кресте, а корона — венец терновый. Даже распятые злодеи, — товарищи Вараввы, для которого прощение было, может быть, только временной отсрочкой казни, — наследники возмутительного бешенства Иуды Гавдонита, готовые признать только вооруженного Мессию, — желая надругаться над Иисусом, упреками и просили Его, если Он воистину Мессия, спасти Себя и их[811]. Вокруг Него раздавались только звуки проклятия и злобы и в течение всего продолжительного тяжелого предсмертного томления не дошло до Его слуха ни одного выражения благодарности, сожаления или любви. Низость и лукавство, дикость и глупость, — вот характеристические черты толпы, которая окружала Спасителя в последние минуты Его сознания: грязный и жалкий поток катился под крестом пред меркнувшим взором Иисуса!

Но муки распятия не лишают разума и не отнимают способности говорить. Мы читали[812], что многие из подвергшихся этой казни с того времени как были пригвождены к кресту, не переставали высказывать свою скорбь, гнев или отчаяние в выражениях наиболее соответствующих их характерам. Иные безумно проклинали своих врагов и плевали на них; иные до конца протестовали на

несправедливость приговора; иные в унизительных выражениях просили о сострадании, а некоторые с креста, как с судейской трибуны, убеждали своих сограждан и укоряли их в их слабостях и пороках. Но Иисус, несмотря на громкие насмешки, хотя и мог говорить, не дал никакого ответа, не произнес ни одного слова, кроме слов благословления и одобрения, для водворения счастия и надежды в других. Как ни старались вывести Его из терпения мимоходящие священники, члены синедриона, солдаты и презренные разбойники, Иисус не прервал своего царственного молчания на кресте точно так же, как на допросах.

Но это молчание, соединенное с величайшим терпением, божественной святостью и невинностью, которые осеняли лицо Его светлим ореолом, были гораздо красноречивее слов. Немного прежде я упомянул об одном из разбойников, который сначала принимал участие в упреках, произносимых его товарищем по ремеслу. Но когда эти упреки обратились в богохульство, тогда он высказал свою собственную задушевную мысль[813]. Вероятно, ему приходилось где-нибудь прежде встречать Иисуса, слышать Его и, может быть, видеть некоторые из многочисленных чудес Его. Не придавая полной веры легенде[814], которая называет его Дисмасом и приписывает ему спасение жизни Девы Матери с Младенцем, когда они бежали в Египет, мы не без вероятности можем предположить, что на долинах Геннисарета, — может быть, кроясь в Голубиной долине, в каком-нибудь разбойничьем вертепе, — он мог видеть чудодейственную силу Иисуса, наконец мог быть одним из тех мытарей и грешников, которые теснились около Него, чтобы услышать слово Его, попавшее в его сердце не на каменистую почву. Вера разбойника восторжествовала даже в этот час позора и смерти, когда он страдал справедливо за свои прошедшие злодеяния. Как в груде золы вспыхивает порой яркое пламя, так под серым пеплом греховной жизни, который густым слоем покрывает развращенное сердце, не вполне угасает и, при первом счастливом прикосновении, мгновенно вспыхивает пламя любви к Богу и Спасителю. Среди адских возгласов, которые слышались повсюду у креста Иисусова, замечалось предчувствие чего-то необыкновенного. Половина народа, окружавшего место казни, томилась неопределенным сомнением и страхом. Даже в приветствиях друг другу священников слышалось скрытое опасение. А ну как вдруг

совершится какое-нибудь величественное чудо? Или этот мученик, хотя Он и близок к смерти, сойдет с креста, восстанет, как царь, в Мессианском величии, при внезапном громком голосе множества легионов Его ангелов и с проходящих по небу облаков низвергнет всепожирающий мстительный пламень на своих врагов? Воздух был преисполнен знамений[815]. От сгущавшейся на небе тьмы все принимало мрачный, суровый вид; под ногами слышались раскаты и удары землетрясения; в воздухе чуялось веяние каких-то призраков, которые носились над грустным зрелищем; холодом охватывало сердца зрителей. Умирающий разбойник, при виде унижения и слабости, с полу насмешкой, полуотчаянием, высказывал сначала свои жалобы на обманутые надежды; но теперь убедился, что унижение Иисусово выше победы, Его слабость несокрушимее всякой силы. При взгляде на Спасителя вера светлее ясного дня заблистала в Его сердце. Он давно кончил упреки и уже унимал товарища от богохульства. Не должен ли был висящий между ними молчаливый, невинный Страдалец чувствовать стыд даже от того, что находится между явными, справедливо наказанными преступниками? Поэтому, обратившись к Иисусу, он воскликнул с убеждением: *помяни меня. Господи, когда прийдешь в царствие Твое.* На эту смиренную мольбу, ненарушивший молчания среди взводимой на Него клеветы Иисус проговорил благостный ответ: *истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.*

Хотя никто не сказал Иисусу ни одного слова утешения, хотя языки всех онемели от глубокой скорби, смущения и ужаса, но среди толпы были сердца, которые сочувственно бились к несчастному Страдальцу. В некотором отдалении стояло несколько женщин, взиравших на Него и, может быть, ожидавших, как и другие, внезапного избавления! Многие из них служили Ему в Галилее и пришли оттуда в числе галилейских странников[816]. Между ними были Мария, Мать Иисуса, Мария Магдалина, Мария, жена Клеопова, мать Иакова и Осии, и Саломия, вдова Зеведеева. Когда приблизился вечер, некоторые из них пробрались ближе к кресту. Потухающий взор Спасителя издали завидел Мать, когда она с оружием в сердце стояла с учеником, которого Он любил. Во время Его учения Матери Его не пришлось быть с Ним часто. Обязанности и заботы о скромном доме не предоставляли ей, может быть, достаточно на то свободного времени.

По крайней мере, в тех случаях, когда мы слышим об ней, она являлась постоянно с Его братьями и присоединялась к их мнениям, требовавшим от Иисуса скорейшего заявления Его мессианства, — что, как видно из Евангелия, далеко не соответствовало желаниям и предначертаниям Иисуса. Хотя еще прежде, при начале учения, Он объяснил ей с кротостью, что с этой поры Его земные и сыновние к ней отношения должны были уступить место высочайшим и божественным требованиям; хотя теперь она видела конец всем ее надеждам, конец, который надрывал сердце невыразимой печалью и служил испытанием ее веры: но она оставалась душевно преданной Ему до самого последнего часа Его крайнего унижения и готова была сделать все, что только можно ожидать от материнской любви и сочувствия. Он сам со своей стороны ни на минуту не забывал той, которая склонялась некогда над Его колыбелью, с которой Он разделял труды и радости в течение первых тридцати лет в назаретском доме. С нежностью и грустью думал Он о будущем, ожидавшем ее в остальные годы земной жизни, которую придется проводить ей среди смут, преследований и борьбы за новую веру. После воскресения она жила под защитой апостолов и ученика, которого Он любил больше всех. Будучи к Нему ближе других сердцем и жизнью, этот ученик был более других способен принять на себя все заботы о Матери. Поэтому Иоанну, которого Иисус любил больше братьев, голова которого покоилась на Его груди во время последней вечери, вверил Он свою Мать, возложив попечение о ней на священную его обязанность. *Жено,* сказал Он ей в коротких словах, которые дышали нежностью, *се, Сын Твой;* а св. Иоанну: *се, Матерь Твоя!* Не имея возможности сделать никакого движения пригвожденными руками, Он указал им друг на друга склонением головы. Выслушав это с невыразимым душевным волнением, св. Иоан с того самого часа, даже с этой, может быть, самой минуты, желая отвести Мать от ужасного зрелища, мучившего душу ее бесконечными пытками, взял ее в дом свой.

Был полдень. Но вид небес был мрачен, полуденное солнце не жгло, по обычаю, а померкло в этот великий и страшный день Господень. Это было не естественное затмение (потому что было полнолуние), а одно из тех небесных знамений, о которых так часто просили фарисеи во время учения Иисусова. Для доказательства этого события древние отцы христианской церкви прибегали к языческим

авторитетам, к историку Фаллу и летописцу Флегонту: мы, не имея средств для подтверждения точности этих евангельских указаний, можем допустить, что тьма эта была местною мглою, сгустившеюся над преступным городом и его ближайшими окрестностями. Но отчего бы она ни происходила и какова бы она ни была, ясно, что она не могла не налечь тяжестью на умы зрителей, не возбудить в сердцах их мрачных предчувствий. Насмешки и шутки иудейских священников и языческих солдат происходили, вероятно, при начале, а конец и в преступных и в невинных сердцах поселил скорбь и ужас. Относительно событий в три последние часа нам ничего не рассказано; вероятно, что необыкновенное затмение полуденного солнца лишило всех языка и движения, поэтому и рассказывать было нечего. Что чувствовал тогда Иисус, как человек, мы не можем знать, потому что в течение трех последних часов Он находился на кресте в молчании и мраке, а если и говорил, то не было тех, которые бы передали Его слова. Но к концу трех часов мучения Его дошли до высшей их степени[817]. Испивая до дна чашу унижения и горечи, вынося мучения не только от принятия на себя вида раба, но претерпевая самые гнусные пытки, какие только может придумать человеческая ненависть для беспомощного раба, Он произнес таинственное воззвание, полного значения которого никогда не проникнуть человеку: *Или, Или, лима савахвапи: Боже мой, Боже мой, для чего Ты Меня оставил?*

Для выражения своей тяжкой скорби Он употребил изречения псалма[818], в котором древние отцы церкви совершенно справедливо видели отдаленное пророчество, относительно Христовых страданий[819]. Он был один; мучения Его с каждым мгновением усиливались; приближался час смерти, который — потому уже, что Он был Бог, а теперь стал человеком, — был ужаснее для Него, чем для кого бы то ни было из сынов человеческих. Человечество Его, по-видимому, изнемогало и не могло уже выдерживать долее.

Хотя, вследствие сильных душевных потрясений и отчаянной тоски, Страдалец напрягал все свои силы, чтобы говорить громче, но голос Его от истощения и упадка сил становился все более и более слабым. Поэтому среди мрака, смешанных криков, глухого топота шагов движущейся толпы, нашлись такие, которые не расслышали слов Его и, уловив только первые звуки, говорили, что Он произнес

имя Илии. Быстрое появление подобного предположения служит свидетельством сильного возбуждения и ужаса, — невольной думы о чем-то великом, непредвиденном и ужасном. Потому что представление иудеев о великом ветхозаветном пророке Илии было связано неразрывно с ожиданиями Мессии, с ожиданиями грядущего гнева.

Пришествие Илии считалось наступлением дня пламени, в котором солнце померкнет, луна обратится в кровь и небеса поколеблются. В настоящее же время полуденное солнце действительно померкло в неестественном затмении. Не раскроются ли при этом небеса и не сойдет ли нечто ужасное, чтобы прикоснуться горам и они запылают? Но неопределенные предчувствия преступников, сознавших в душе свое преступление, не исполнились. Не таковы были предначертания Божии. Сообщение Его с человеком уже с давних веков происходило не в громах и землетрясениях, не в бурном ветре и всепожирающем пламени, — но «в тихом голосе», говорящем среди молчания времени шепотом, понятным человеческому сердцу. Нет ни разговора, ни речи, а только слышится голос.

Но теперь конец Иисуса приближался быстро. Шесть мучительных часов прошло с тех пор, как пригвоздили Его к кресту[820]. Его начала томить жажда, которая вообще труднее всех пыток переносится человеком, а в этом роде казни становится еще неутолимее, вследствие множества отдельных источников томления. Нет сомнения, что ее усиливал даже вид римских воинов, пивших так близко от креста. Поэтому во все время ужаснейших мучений, какие только может переносить человек, Он высказал одно только слово о своем физическом страдании, воскликнув громко: *жажду.* Несколько часов тому назад крик этот вызвал бы только раскат безумного хохота, но теперь благоговейный ужас внушал зрителям более человечности. Возле креста лежал на земле большой глиняный сосуд, содержавший напиток из уксуса, воды и яиц, — который пивали обыкновенно римские воины. Горло было заткнуто куском губки, служившей пробкой. Тотчас же кто-то, — неизвестно, друг, или враг, или просто какой-нибудь любопытный, — вынул губку, наполнил напитком и предложил Иисусу. Но как ни низко было возвышение, на котором стоял крест, однако же достать рукою до главы Спасителя, склонившейся на перекладину, оказалось невозможным; надо было

надеть губку на конец ствола иссопа, — который бывает длиною около фута, — и прислонить к воспаленным, умирающим устам. Но и это последнее выражение сострадания, которым воспользовался Иисус, не понравилось некоторым из близстоящих. *Постой*, — говорили они человеку, подавшему напиток, *посмотрим, придет ли Илия спасти Его.* Однако же замечание не остановило подававшего; не пришел ни Илия, ни человек-утешитель, ни ангел-освободитель. Такова была воля Божия; такова воля сына Божия, — *чтоб сделаться совершенным через страдания, чтобы пострадать до конца*[821], для вечного примера детей Его.

И вот настал конец[822]. *Отче!* — воскликнул Он, повторяя дивные слова псалмопевца израильского[823], но прибавляя к ним это полное любви и надежд имя, которое через Него удостоилось повторять все человечество, — *Отче! в руки Твои предают дух Мой.* Затем, сделав последнее усилие, Он воскликнул как победитель: *совершилось*[824]! Может быть, что при сильном крике разорвались некоторые из сосудов Его сердца; потому что Он тотчас же опустил на грудь голову и окончил жизнь, — *искупление за многих*, — добровольную жертву Его небесному Отцу. Окончена святая жизнь, с жизнью — борение, с борением — дело, с делом — искупление, с искуплением — основание нового мира[825]. В эту минуту[826] завеса храма разодралась с верхнего края до нижнего. Подземные удары поколебали землю; скалы расселись; огромные камни, которые заслоняли или покрывали гробницы, скатились со своих мест; *многие тела усопших святых воскресли и, вышедши из гробов, по воскресении Его, вошли во Святой град и явились многим.* Все эти необычайные обстоятельства, вместе с тем, что происходило с Распятым, смутили даже жестокое равнодушие и веселое настроение римских воинов, В особенности, это зрелище подействовало сильно на их сотника[827]. Стоя перед крестом и видя умирающего Спасителя, он прославил Бога и воскликнул: *истинно человек сей был Сын Божий.* Даже народ, очнувшись наконец от бешенства и безумного гнева и сознавая свою вину, стал толковать, что зрелище, которому он был свидетелем, представляет нечто высшее его понимания, и, возвращаясь в Иерусалим, плакал и бил себя в грудь[828]. Это была последняя капля в чашу полную нечестия; это было началом конца их города, имени и племени.

Не было в истории зрелища, которое бы подобно описанному нами, возбуждало в людях одновременно благоговение и ужас. Ни один светский бытописатель, хотя бы он был отчаянным скептиком, не может не видеть в этом событии центральной точки мировой истории. Верует ли он в Христа или нет, он не может умолчать, что новая религия возросла из самомалейших зерен в могучее дерево, на ветвях которого птицы небесные отыскали себе убежище, что это был небольшой иссеченный руками камень, разгромивший в щебень колоссальные изображения языческого величия, а затем выросший в гору и наполнивший собою всю землю. Для верующих и неверующих вознесение на крест есть граница между древним и новым временем. Нравственно и физически, не менее как духовно, Христова вера была возрождением мира. К народам, бессильным от опьянения преступлением, она явилась, как свет новой весны. Борьба эта продолжительна и жестока, но с того часа, как Христос умер на кресте, начался похоронный звон царству дьявола и всей языческой мерзости. С этого часа святость стала общим идеалом всех, кто чтит имя Христа, как имя своего Господа, а достижение этого идеала — общим наследием душ, в которых почиет Дух Святой. Последствия Христова учения даже для неверующих суть события неоспоримо исторические. Оно смягчило жестокость; укротило страсти; заклеймило позором самоубийство; под строгим наказанием запретило отвратительное детоубийство; низвергло языческую нечистоту во мрак, который ей сроден. Не найдется ничего отрицающего подобное действие Христова учения. Оно изгнало гладиатора; освободило узника; защитило пленника; восстановило слабого; взяло на себя попечение о сироте; возвысило женщину; светлым ореолом осенило священную невинность нежных лет детства. Каждая сторона жизни почувствовала совершенствующую силу его влияния. Оно обратило сожаление из порока в добродетель[829]; возвело бедность из проклятия в блаженство; облагородило труд, обративши его из черной работы в достоинство и обязанность; освятило брак, считавшийся прежде до некоторой степени тягостным условием и сделавшийся ныне священным таинством. Оно в первый раз открыло ангельскую красоту чистоты, в которой люди отчаялись, и добросердечия, над которым они издевались. Оно дало верное понятие о милосердии, распространивши границы с тесного круга соседства на весь род человеческий. Оно

идею о человечестве обратило в идею об общем братстве всего мира, и применило даже к странам, которые не слыхали об этом учении, а где оно распространилось, там освятило жизнь, возвысило душу каждой отдельной личности. Где бы оно ни появилось, везде смягчало характер своих поклонников, очищало их сердца, умиротворяло жизнь, обращало домашний кров в самое приятное убежище, как будто ангелы, возвестившие его приход, нашептывали каждому угнетенному и отчаянному страдальцу: расположившись в удилах (своих), вы стали, как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом[830].

Пусть, кто хочет и смеет, видит во всем этом не дело Божественного Провидения; пусть считает себя просвещенным философом, считая христианство и христиан за мечты благородного самообольщения и восторженную галлюцинацию демониаков. Не будем никого преследовать, не будем никого обличать, не будем ни о ком судить; но скажем им, что ни одна религия на свете не внесла в жизнь совершенного равновесия между философией и народностью, между религией и нравственностью, между полным подчинением и гордостью свободы, между идеальным и реальным, между внутренним и внешним, между скромным спокойствием и геройской энергией, между мягким консерватизмом и самыми смелыми планами мировой реформации. Свидетельство Христовой истории есть свидетельство несокрушимой силы убеждения, — свидетельство, которому подобного не существует.

Но если такого влияния жизни и смерти Иисуса на мировые события и жизнь не может не заметить неверующий, то для каждого верующего в них заключается, по истине, глубокий смысл: для него они значат *воскресение из мертвых*. В кресте Христа Спасителя он видит не одно историческое, но гораздо большее значение. Он видит в этом изъяснение тайны рождения, победу над тайной могилы. В жизни Иисуса он находит превосходный пример; в Его смерти — беспредельное искупление. Взирая на воплощение и распятие, он уже не чувствует, что Бог далеко от него и что земля есть только незаметное пятно на беспредельной лазури, а сам он — незначительный атом, случайно попавший между тысячью миллионов живых душ несчетного поколения, но он воскликнет с верой, надеждой и любовью: *и будет у них жилище Его, и Он будет их*

Богом, а они будут его народом[831]. *Вы храм Бога Живого, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них*[832].

К вечеру тьма рассеялась. Не считавшие осквернением предварить праздник умертвлением своего Мессии, сильно беспокоились, чтобы святость наступающего дня, который начинался с солнечного заката, не была нарушена оставлением тел на кресте в субботу[833]. Распятые, — страшно и выговорить, — часто жили по нескольку часов и даже по два дня в нестерпимых мучениях. Поэтому иудеи просили Пилата, чтобы раздробить им колени и снять тела. Действие это состояло в раздроблении коленей страдальцев тяжелым молотом, что однако же не прекращало их жизни. Иудеи вовсе не заботились, чтобы положить скорее конец, нанести смертельный удар. Пока существовала в страдальцах жизнь, стража не смела оставить места казни. Поэтому желание иудеев было тотчас же дозволено привести в исполнение. Воины раздробили колени у двух злодеев, но подошедши к Иисусу, нашли, что сильный крик Его был Его последним криком и что Он уже умер.

Поэтому они не раздробили Ему коленей и таким образом не заведомо соблюли символизм пасхального агнца, который был Его прообразованием и относительно которого существовало повеление, чтобы кость Его не сокрушалась[834]. Но так как были случаи, в которых люди, по-видимому, умершие, будучи сняты с креста, оживали, а воины отвечали жизнью за всякое неправильное действие, то один из них, чтобы быть уверенным в Его смерти, тупым концом копья пронзил Иисусу грудь между ребрами. Удар попал, вероятно, в сердце и «тотчас», говорит св. Иоанн, утверждая[835], что свидетельство его истинно, как свидетельство очевидца и таким образом не допуская некоторых из современных заучившихся критиков до толкования, что весь этот рассказ выдумка, — *тотчас истекла кровь и вода*. Вследствие ли некоторых ненормальных, патологических условий, зависевших от множества страшных страданий, истекла эта вода, или это означало, что разорвана была сердечная оболочка и те, которые смотрели на тело, заметили, как капли водянистых частей (serum) соединились с кровью, во всяком случае, это удостоверение копьем вполне достаточно, чтобы опровергнуть еретические рассуждения, что Иисус только казался умершим, и как удостоверились воины, так

должен удостовериться всякий сомневающийся, что Тот, который в третий день воскрес, был в действительности распят, умер, погребен и что дух Его переселился в невидимый мир.

ГЛАВА LXII

Воскресение

Мала, слаба, безнадежна, презрением, уничижением и отчаянием убита была Христова церковь в день Его смерти. Она состояла из очень небольшого количества робких последователей, из которых отважнейший с клятвою отрекся от Господа, и наиболее любимый покинул и убежал в час печали. Уделом их была нищета, и всякого рода лишения без надежд впереди. Для них закрыта была синагога, у них отнято всякое оружие. На своем ли языке заговорят они, их выдаст тотчас смешанное наречие; заговорят ли на вообще принятом греческом, — он был в презрении у иудеев, как жалкий провинциальный говор.

Они были так слабы и так незначительны, что предсказание для них будущности даже самсой ничтожной галилейской секты показалось бы за пристрастие[836]. Каким же образом эти темные люди восторжествовали над страшным ослеплением чувственной мифологии, овладели царями и их войсками и учение их прошло из края в край всю вселенную?

Какая власть могла такое крайнее бессилие обратить в величайшую силу? На это существует один ответ: *воскресение из мертвых*, которое было причиной всех этих великих переворотов. Если мы сравним унизительную, по-видимому, катастрофу, которой окончилось земное дело Иисуса с Божественными прерогативами, которых Он требовал для Себя, *не несмотря* на страдание и стыд, *но* именно глядя на эти муки и унижение; то никогда не дойдем до возможности примирения причин с выводами, если не допустим настолько же верного, как и страсти Христовы, посредствующего обстоятельства, которое бы своею славою дало новый вид Его страданиям.

Солнце было на краю горизонта, и приближалась суббота, — *великий день*[837], особенно блестящий и торжественный праздник: одним словом, суббота и Пасха. Иудеи предпринимали все меры, чтобы предупреждать обрядовое осквернение такого священного дня и заботились, чтобы тотчас после смерти жертвы были убраны, — тела

их были сняты с крестов. Но они не принимали на себя труда хоронить их, оставляя на волю друзей и родных убирать преступников в их безымянные гробницы. Тело Иисусово не осталось на кресте последним, потому что человек, которого нельзя было не уважить, добился позволения Пилата действовать в этом случае, как ему заблагорассудится.

Иосиф из Аримафеи (как назван у евангелистов или город Рама в колене Вениаминовом, или Рамафаим в колене Ефремовом, но известно, что не Рамлех в колене Дановом), человек богатый, твердого характера, безукоризненной жизни, один из почетных членов синедриона, который до настоящей минуты, по робости нрава и слабости веры, не решался открыто объявить себя сторонником Иисуса, однако же не принял участия в приговоре синедриона, — теперь в скорби и негодовании осмелился обратиться с просьбою к Пилату, хотя подобные просьбы, как видно из жизни св. мученика Порфирия, стоили нередко жизни самих просителей[838]. Поздно было заявлять верования в Иисуса, как в пророка, но Иосиф хотел по крайней мере выразить свою преданность к Нему, как к мученику и жертве ненависти и злоумышления. Отбросив в сторону тайну и осторожность, он явился к Пилату вечером в день распятия, когда на голгофском кресте тяготело уже только безжизненное тело; и просил выдать ему тело У мершего. Хотя римляне[839] оставляли распятых ими невольников на съедение псам и хищным птицам, однако же Пилат не нашел никакого затруднения уважить более человечный и почтенный обычай иудеев, который требовал погребения умерших даже и в выходящих из ряду обыкновенных случаях[840]; тем более что нарушение этого обычая, по удостоверению еврейских летописцев, вызывало всегда неприятности и возмущения. При этом последнем условии предположение о подкупе Пилата падает само собою[841]. Пилат был чрезвычайно удивлен скорой смертью Иисусовой и, пославши за сотником, спросил, прошло ли достаточно времени, чтобы отличить смерть от беспамятства или обморока: таково, по-видимому, значение 44 ст. 15 гл. Евангелия от Марка. Удостоверившись вполне, он отдал тело на попечение «почтенного советника». Не теряя ни минуты, Иосиф приобрел кусок тонкого полотна (у св. Марка — плащаницу, у св. Иоанна — пелены[842]) и снял

тело с креста. Сила примера пробудила одинаковое чувство в душе честного, но робкого Никодима. Если он, — что вполне вероятно, — с Никодимом Бен Горион, упоминаемым в Талмуде, представляет одно и то же лицо, то должен быть человеком с громаднейшим состоянием и, хотя он в течение жизни Иисуса старался держать себя далеко в стороне, но в вечер Его смерти сердце его наполнилось состраданием и упреками совести и он поспешил к кресту и погребению с жертвами, которые показывали истинно царскую щедрость. Вера, которая некогда требовала защиты тьмы, осветилась лучами заходящего солнца и обратилась наконец в яркий полдень доверия. Благодаря горячей, живой скорби и состраданию этих двух благородных и богатых учеников — тот, кто умер как злодей, был погребен как Царь. *Ему назначили гроб с злодеями, но Он погребен у богатого*[843]. Тонкое полотно, принесенное Иосифом, было обильно умащено ста литрами мирры и алоэ, которые доставлены Никодимом. Таким образом, истерзанное тело, — божественночеловеческий дух которого отлетел в тишину субботнего покоя, в рай Божий, — перенесено было в любимую им мирную могилу.

Рядом с Голгофой или, — как видно из слов евангелиста Иоанна[844], — *на том месте, где Иисус распят, был сад,* принадлежавший Иосифу Аримафейскому, который в ограде изготовил себе новую гробницу в каменной скале с целью быть похороненным близ пределов святого города. В гробницу ту еще никто никогда не был положен, но, несмотря на благоговение иудеев к их высеченным из скал гробам и мелочность, при которой они боялись всякого соприкосновения с трупом, Иосиф ни на минуту не задумался отдать для тела Иисусова последний дом, приготовленный им собственно для себя. Но надо было спешить с приготовлениями, потому что солнце сади лось и начиналась суббота. Исполнено было все, что должно. Голова Иисуса повязана белым платом: тело омыто, покрыто благоуханными кореньями, обернуто в тонкое полотно, которое в несколько рядов закрыло Его раны, и наконец положено с благоговейным почтением в нишу скалы. С пособием нескольких человек, придвинули они голаль, или большой камень, к горизонтальному отверстию гробницы: но едва только исполнили все это, как солнце село и начался рассвет новой субботы как имеют

обыкновение выражаться иудеи, несмотря на то, что, собственно говоря, в это время наступает ночь.

Мария Магдалина и Мария, матерь Иакова и Иоссии, сидели в саду, чтобы хорошенько заметить местоположение гробницы; другие галилейские женщины сделали то же и все поспешили домой, чтобы, приготовя свежих благоуханных кореньев, прежде чем начнется суббота, возвратиться рано утром в воскресенье и докончить начатое Иосифом и Никодимом умащение тела Иисусова. В покое проводили враги эту ужасную субботу, которая для разбитых сердец всех любивших Иисуса была субботой скорби и отчаяния.

Но нельзя сказать и того, чтобы враги оставались без всякого дела. Тяжелые предчувствия виновной совести даже по смерти Иисуса на кресте не давали им покоя. В злобных умах своих они припомнили распространявшиеся в народе предсказания о Его воскресении, — о знамении пророка Ионы, которое, как Он говорил, одно только и дастся им, — великое выражение о разорении храма, который Он хотел в три дня воздвигнуть. Все эти страхи, как бы написанные огненными буквами на стене среди мглы отжившей и колеблющейся веры, читались мечтательными взорами беспокойного преступления. Высказавши свои опасения относительно того, что ученики могут украсть тело и *будет последний обман хуже первого,* они просили Пилата до окончания третьего дня приставить к гробнице стражу. Коротко и надменно было дозволение Пилата делать, что хотят, и вечером же, как только была спразднована великая пасхальная суббота, — прислана была стража для запечатания голаля и охраны гробницы.

Прошла ночь. Прежде чем самый ранний рассвет посеребрил на востоке темноту этого первого великого дня, нетерпеливая любовь женщин, томившихся при кресте, привела их на гробницу[845]. Принося с собою драгоценные благоухания, но не зная ничего о страже и печати и с робостью совершая печальный путь свой среди потемок, они спрашивали одна другую: *кто отвалит нам камень от двери гроба?* Эти наиболее преданные женщины были две Марии, а затем пришли Саломия и Иоанна. Затруднявшее их обстоятельство окончилось само собою. В то же самое время или немного после стало известно, что сделалось великое землетрясение, ибо *ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба.* Когда

же они подошли к гробнице, то увидали ангела в белой одежде, который повелел им возвратиться к апостолам и сказать, — в особенности Петру, — что Христос, согласно своего обещания, воскрес из мертвых и пойдет пред ними, как пастырь, в любимую ими родную Галилею. Они поспешили возвратиться и, в смятении от восторга и ужаса, не рассказали о том никому, кроме учеников, да и для этих последних слова их прозвучали несбыточной сказкой. Однако же Мария Магдалина, получившая, по-видимому, отдельное, чрезвычайное внушение, поспешила к Петру и Иоанну, — которые как только услыхали поразительную новость, тотчас же бросились удостовериться в случившемся своими глазами. Иоанн предупредил своего благородного товарища, но, пришедши к гробу прежде, остановился и с немым удивлением смотрел на открытую гробницу. Гробница была пуста, и льняные пелены лежали сложенные в порядке каждая на своем месте. Подошел и Петр и с обычной стремительностью, не обращая внимания на обрядовое осквернение, в припадке любви и изумления, бросился внутрь гробницы. Иоанн последовал за ним, увидел и уверовал. Таким образом, двое апостолов принесли несомненную новость своим удивленным братьям. Несмотря на страх, скорбь и темное понимание, — которое, по их собственным словам, не могло уяснить для них преподанных им истин, — в них родилась трепетная надежда, обратившаяся вскоре в твердое убеждение, что Христос воскрес из мертвых. Что в это время гробница Христова была пуста, — что тело Иисусово не было унесено Его врагами, — что отсутствие Его привело учеников в глубокое изумление, смешанное с грустью и смущением, — что они из последующих доказательств видели подтверждение Его воскресения, — что за истину этого верования они во всякое время готовы были умереть, — что это верование произвело глубокую и полную перемену в их характере, сделавши робких отважными и слабых несокрушимыми, — что они не были способны к сознательной лжи, которая, кроме того не могла бы никогда победить неверия и возродить нравственность мира, — что на этом веровании основано празднование первого дня каждой недели и все великое здание христианской церкви, — это такие обстоятельства, которые хотя и неохотно и с большим трудом, но не может не признать самый отчаянный, но честный скептик.

Но до сего времени Его не видал еще ничей взор. Этого великого почета первая удостоена была Мария Магдалина, — которая возлюбила Его больше всех за то, что ей больше было прощено, и из которой, — теперь с огненной как пламень и яркой как кристалл душою, — некогда Он изгнал семь бесов[846].

Здесь место заметить, что конец Евангелия св. Марка[847] признан каноническим, но пропущен в списках Синайском и Ватиканском, а так же в армянском переводе. В парижском манускрипте он во многом изменен, а в некоторых других отмечен звездочками. Св. Евсевий и блаженный Иероним свидетельствуют, что этих стихов не было ни в одном из греческих манускриптов. Но так как в этих стихах нет ничего такого, чтобы не было сказано у других евангелистов в более пространном виде, то при объяснении явлений Христовых после Его воскресения мы будем следовать указаниям трех остальных евангелистов.

1. Видение ангелов не успокоило волнения Марии и ее тревог, которые она испытывала, когда, возвратившись к гробнице, убедилась, что не может оказать последних услуг распятому Господу. Ни белые одежды, ни сладостные голоса ангелов не могли изгнать из этой любящей души тяжкой скорби, которая угнетала ее от одного представления, что *унесли Господа ее и не знает, где положили Его.* Погрузившись в эти печальные мысли, она обратилась назад, и вот! Иисус Сам стоит перед ней, — но не в том виде, как она Его знала. Нечто духовное, нечто неземное виделось в этом воскресшем и прославленном теле. Одежда или другие какие-нибудь признаки представили было ее воображению, что это садовник и — в приятной надежде, что он объяснит тайну опустения и посещения ангелами гробницы, — она воскликнула с отчаянием, — отворачиваясь вероятно от него, чтобы скрыть свои слезы: *Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его.*

Но Иисус говорит ей: Мария!

Одно слово, произнесенное благостным голосом, проникло глубоко в ее сердце. Обратившись к Иисусу и стараясь, по-видимому, уловить Его ноги или края одежды Его, она воскликнула на природном ей арамейском наречии: *Раввуни!* И на этом слове речь ее прервалась от восторга и восхищения. Иисус кротко остановил ее увлечение. *Не прикасайся ко Мне,* — сказал Он ей, — *ибо Я еще не взошел к Отцу*

Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. Пораженная благоговейным ужасом, она поспешила повиноваться. Эту торжественную весть повторила она апостолам и, в течение множества веков торжественно звучат, производя неизгладимое впечатление в сердцах тех, которые слышат их, эти слова Марии: *я видела Господа моего!*

2. Свидетельство ее не осталось без подтверждения[848]. Иисус встретил других женщин и сказал им: *радуйтесь!* С страхом и волнением обняли они Его ноги. Не бойтесь, ободрил их Иисус: *подите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.*

Бесполезно было стражам стоять у опустелой гробницы. Вследствие ли страха за последствия и ужасов, которые им пришлось видеть, или от других причин, но они побежали к членам синедриона, которые дали им тайные наставления. Для этих ожесточенных сердец не было никакого дела до удостоверения и исследования. Ложь служила для них единственным прибежищем. Они тотчас же попытались потушить все дело, внушивши солдатам, что они должно быть спали, а в это время ученики украли тело Иисусово[849]. Но подобная сказка *была* слишком гнусна для того, чтобы заслужить доверие, слишком смешна для того, чтобы получить общеизвестность. Если бы эта молва распространилась, ничто бы не спасло стражников, предполагая их даже римлянами, от неприятностей и наказания. Саддукеи подкупили этих людей, ради общего интереса, сохранить все в тайне и молчании. Клевету свою они распространили гораздо позднее. Через шесть недель по воскресении великое событие стало непоколебимым верованием каждого христианина; через несколько лет после воскресения очевидные исторические доказательства и многочисленные свидетельства, подкрепленные особым видением[850], убедили глубокий и благородный ум фарисейского Зилота и преследователя христиан, по имени Савла. Саддукейская же выдумка осталась посмертным и подпольным шепотом, который рассеивал гнусную ложь, направленную для противодействия очевидной истине. Св. Матфей говорит, что когда он писал Евангелие, эта ложная мысль была достаточно распространена между иудеями. Она принималась ими за достоверную в течение столетий и принадлежит к тем

богохульным нелепостям, которые повторял двенадцать веков спустя *Тольдоф Иесу.*

3. В третий раз[851] Иисус явился Петру. Подробности этого явления неизвестны и не открыты, потому что вероятно относились прямо и непосредственно к личности апостола; но обстоятельство явления подтверждается ясным свидетельством св. Луки и св. Павла.

4. На тот же самый день четвертое явление Господа[852] сопровождалось достопримечательными обстоятельствами. Двое из Его учеников были на пути в селение, называемое Елмаус (в переводе — теплые источники). Местность эта в настоящее время неизвестна: это не может быть Амвас, нынешний Никополис, который отстоит на 160 стадий, или около 303 верст от Иерусалима; Кулониефг, о котором упоминает Иосиф[853], подходил бы гораздо ближе, но ничто, кроме ничтожного намека, не подтверждает этой догадки. Эммаус, о котором говорится в Евангелии, находился верстах в десяти от Иерусалима, и апостолы шли с печальным сердцем, разговаривая между собой об удивительных событиях последних двух дней. Присоединившийся к ним Странник спросил их о причине грусти и скорбных слов. Они остановились, окинули незнакомца подозрительным и неприязненным взглядом, а один из двух, по имени Клеопа, сказал ему с некоторым оттенком удивления: *Неужели Ты один из пришедших* в *Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в сии дни? О чем?* спросил их Странник. Тогда они рассказали Ему, каким образом все их самые лучшие надежды, что Иисус был великий пророк, который должен спасти свой народ, погребены в землю, и как все Его дивные перед Богом и народом дела окончились, два дня тому назад, постыдным распятием. Они описали чувства удивления, с которыми они на третий день слышали извещение женщин о видении ими ангелов и достоверное свидетельство некоторых из братьев, что гробница пуста. Но, прибавил говоривший с некоторым недоверием и грустью, *Его не видели.*

Упрекнув тупость их понимания и недостаток любви, Странник доказал им, что в течение всего Ветхого Завета, начиная с Моисея, существовали пророчества о страданиях, а с тем вместе и о славе Христовой. В таких высоких разговорах они приблизились к Эммаусу. Странник предполагал было идти далее, но убежденный апостолами остаться, как только сели за стол, преломил и благословил хлеб. Внезапно глаза их открылись и, несмотря на измененный вид, они

узнали, что с ними был Господь Иисус Христос. Но как только узнали, то Его мгновенно не стало. *Не горели ли в нас сердца,* сказали они один другому, *когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писания? Вставши в тот же час, они возвратились в Иерусалим* с необыкновенной и радостной вестью. Там застали они не недоверчивых слушателей, а таких, которые приняли святое извещение с восторгом, говоря, что Господь *истинно воскрес и явился Симону.*

5. В пятый раз[854] после вечно памятного дня Пасхи, Иисус сам свидетельствовал о Себе ученикам своим. Десятеро из них сидели вместе с запертыми дверями, вследствие страха от иудеев. Когда они толковали между собой и рассуждали о счастливом событии, Иисус стал пред ними и произнес: *Мир вам!* Необыкновенный вид сияющего небесной славой тела, великая мысль о воскресении из мертвых, привели их в смущение и ужас. Господь присутствовал с ними телесно, но в измененном виде, а потому они вообразили, что пред ними стоит дух. *Что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши?* сказал Иисус. *Посмотрите на руки Мои и ноги Мои; это Я сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите* у *Меня. И сказав сие, показал им руки и ноги.* А когда радость, изумление, недоверие все еще боролись в их сердцах, Он спросил, нет ли у них чего есть, и для полнейшего их удостоверения съел в их присутствии кусок печеной рыбы. Затем Он прибавил: *Мир вам! Как послал Меня Отец, так Я посылаю вас. Сказав сие дунул и говорит им: приимите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся.*

6. Один из апостолов, Фома-близнец, был во время предыдущего явления в отсутствии[855]. Характерными его качествами, как мы уже видели, были беспредельная преданность и меланхоличность. Известие о воскресении Спасителя казалось ему слишком приятным, для того чтобы быть истинным. Напрасно другие ученики уверяли его: *мы видели Господа.* К счастью для нас, хотя нельзя сказать, чтобы к большому счастью для него, св. Фома объявил решительно, что не убедится ничем, *если не увидит на руках Его ран от гвоздей и не вложит руки своей в ребра Его.* Прошла неделя, а высказанные с верой сомнения огорченного апостола оставались неудовлетворенными. *После осьми дней* одиннадцать апостолов собрались вместе и заперли

изнутри двери. К ним явился Иисус, милостиво и торжественно благословил их, призвал св. Фому, повелел ему подать пальцы, вложить в раны от гвоздей, а затем собственноручно удостовериться в ране от копья между ребрами и быть *не неверующим, но верующим. Господь мой и Бог мой*, воскликнул Фома, в полном убеждении. Иисус же ответствовал: *ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны невидевшие и уверовавшие.*

7. Последующее явление Христово[856] было в присутствии семи апостолов, — Симона, Фомы, Нафанаила, сыновей Зеведеевых и двух других (вероятно, Филиппа и Андрея), имена которых не обозначены, — на озере Галилейском. Так как явления Иисусовы на время прекратились, то прежде чем апостолы возвратились снова в Иерусалим на праздник пятидесятницы, для получения обещанного наития Св. Духа, Симон сказал, что решился в эти дни заняться своим прежним ремеслом рыболова. Общей кассы уже не было, — средства для существования истощились, и это занятие представлялось единственным путем для честного заработка содержания. Другие предположили присоединиться к нему. Закинув сети ночью, — самое лучшее время для рыбной ловли, — они увидали, что труд их был напрасен. На раннем рассвете, при утреннем сумраке, увидели они человека, которого узнать не могли. Голос спрашивал их, поймали ли они что-нибудь. *Нет*, — отвечали они. *Закиньте сеть по правую сторону лодки, и поймаете,* — сказал им тот же голос. Они исполнили сказанное и едва могли вытащить сеть от множества попавшей в нее рыбы. Это обстоятельство с непреодолимой силой пробудило в них воспоминание о прежних днях. *Это Господь*, — проговорил тихо Иоанн Петру. В одно мгновение пылкий энтузиаст завернулся в рыбачью одежду, бросился в море, чтобы переплыть около 45 сажень, отделявших его от Иисуса, и припасть к ногам Его. Гораздо позднее прибыли другие на судне, влача едва только неразрывавшуюся сеть с 153 рыбами. На берегу разложен был костер, невдалеке от которого лежало немного хлеба; на горячей золе испечено было несколько рыб, — вид, который можно очень часто встретить и теперь на берегах Галилейского озера. Неизвестный, стоявший в стороне, повелел им принести несколько из пойманных рыб. В одну минуту Симон бросился к берегу и сильной рукой вытащил сеть. Хотя и лицо, и голос Иисуса совершенно изменились, однако же апостолы узнали своего

Господа, но из благоговейного почтения не смели предложить Ему вопроса. *Прийдите обедайте,* — сказал им Иисус и разделил между ними хлеб и рыбу.

В молчании окончилась счастливая трапеза, после которой Иисус спросил одаренного настолько же слабостями, насколько высокими качествами апостола: *Симон* (еще не пришло время восстановить для него имя Петра), — *Симон Ионии, любишь ли ты Меня больше, чем они?*

Так, Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя, — отвечал Петр.

Паси агнцев моих, — продолжал Иисус.

Чувствителен был для Петра этот кроткий упрек: *больше, чем они.* Он привел ему на память его заносчивость, когда он высказал некогда с такой уверенностью среди братьев: *если и все соблазнятся о Тебе; я никогда не соблазнюсь.* Падение научило его смирению, поэтому он не изъявил уже притязаний на более высокую степень своей привязанности. Последующий вопрос Иисуса напомнил ему вновь его самоуверенность, но уже без высказанного прежде упрека, потому что Иисус сказал:

Симон Ионин! любишь ли ты Меня?

На смиренный как прежде и повторенный в тех же самых выражениях ответ апостола: *Господи! Ты знаешь, что я люблю Тебя,* Иисус высказал: *паси овец Моих!*

Но трижды отрекся Симон, поэтому трижды должен был подтвердить свое исповедание веры и, спустя немного времени, Спаситель снова обратился к нему с вопросом: *Симон Ионин, любишь ли Меня?*

С грустью и глубоким смирением Симон воскликнул: *Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя. Паси овец моих,* или: паси любимых овец Моих, (как сказано в Александрийском, Ватиканском и Парижском манускриптах), произнес Иисус, а затем торжественно прибавил: *истинно, истинно говорю тебе: когда ты был молод, то препоясывался сам, и ходил, куда хотел; а когда состареешься, то прострешь руки твои и другой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.*

Апостол понял глубокое значение этих слов. Он знал, что они намекают на будущие годы его служения, на его будущее мученичество, но был уже не «Симон», а «Петр». Сердце его стало

твердо, как скала; он готов был на смерть, чтобы только повиноваться голосу, который сказал ему: *следуй за Мною.* Во время разговора он приблизился к Иисусу и стоял на несколько шагов впереди своих собратов. Оглянувшись назад, он увидел Иоанна, — всегдашнего своего товарища и любимого Иисусом ученика, — который тихо подходил к нему. Указывая на него, он спросил: *Господи! а он что? Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, отвечал Иисус, — что тебе до того? ты иди за Мною.* Ответ этот, хотя и остановил дух безрассудной пытливости Петра, который не осмелился расспрашивать более, но ввел первоначальную церковь в недоразумение, что Иоанн не должен умереть до второго Христова пришествия. Апостолы исправили ошибку, приведя подлинником слова воскресшего Спасителя. Мы незнаем, как умер св. Иоанн, но известно, что он пережил всех своих братьев-апостолов и окончательное истребление своего народа, которое, сделавши невозможным точное послушание установлением ветхозаветным и открыв для мира беспрепятственный путь к учреждению Нового Завета и не земного царства, было больше чем всякое другое событие мировой истории сходно со вторым пришествием Христа Спасителя.

8. При этом же, может быть, случае Иисус сказал своим ученикам, что желает видеть на горе в Галилее в последний раз всех, кто знает и любит Его[857]. Неизвестно, избран ли был для этого Фавор, или Гора Блаженств, но более пятисот последователей собралось к известному времени с одиннадцатью апостолами и получило от Иисуса последнюю заповедь учить и крестить всех народов и последнее обещание, что Он пребудет с ними до конца мира. Двадцать лет спустя упоминая об этом событии, св. апостол Павел сообщает замечательное обстоятельство, что *большая часть очевидцев доныне в живых, а некоторые и почили*[858].

9. Девятое явление Иисуса[859] не рассказано в Евангелии и известно только из намека на него апостола Петра. *Я первоначально преподал вам,* — пишет он в послании к коринфеям, — *что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по* ***Писанию,*** *и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братий в одно время… потом явился Иакову.* Подробности последнего явления не известны.

10. После распятия прошло сорок дней. В течение этого времени Иисус девять раз являлся видимым образом для человеческого взора, мог быть осязаем человеческими руками, — хотя тело Его не было уже телом обыкновенным и не подчинялось природным законам, жизнь Его не была жизнью человеческою. Наступило время окончиться видимому Его на земле присутствию, пока возвратится со славою судить мир[860]. Встретив апостолов в Иерусалиме и поведши их по направлению к Вифании, Он повелел им пребывать в Святом городе, пока получат Св. Духа. Отложив в сторону пытливые расспросы их о временах и летах, Он повелел им свидетельствовать о Нем всему миру. Это последнее прощание происходило, должно быть, на какой-нибудь из окружающих селение горе. Восшедши на нее, Он поднял руки, благословил учеников и стал отделяться от них и возноситься на небо. Облако скрыло Его у них из виду.

Это облако стало между ними и Его видимым присутствием, между нами и облеченным в славу Искупителем, который седит теперь одесную Отца. Но взор веры может проникнуть сквозь него; фимиам истинной молитвы может стать превыше его; с него нисходит роса благословения. Хотя Иисус удалился от нас, но в наитии Св. Духа оставил нам ближайшее свое присутствие, теснейшие и более благостные объятия, нежели те, которыми мы пользовались бы, если бы жили с Ним в Его прежнем ломе в Назарете, или плавали с Ним в небольшом челноке по кристальным водам Геннисарета. Во всякое время, а тем более когда стоим коленопреклоненными на молитве, — мы можем быть ближе к Нему, чем любимый ученик, голова которого покоилась на Его груди. Слово Божие к нам близко: оно и в устах и в сердцах наших. Пусть громкие крики войны колеблют мир; пусть настойчивые клики жадности и удовольствия заглушают кроткий призыв Его: *следуй за Мною;* пусть, после двух тысяч лет существования христианства, недоверчивый ропот нетерпеливого скептицизма старается поставить веру в такое положение, что ей затруднительно будет повторить без оскорбления исповедания, следствием которого было возрождение мира: но уши, внявшие хотя единожды этому голосу слова Божия, не находят звуков, которые были бы для них приятнее. Печальнее всего то, что даже в христианской Англии слышится дерзость некоторых богохульных языков, которые осмеливаются насмехаться над деяниями Иисуса. Но тайна Господня

открыта тем, которые боятся Его: Сам Он докажет завет свой. Он говорит всякому, кто хочет слушать; обещает быть с нами всегда до конца мира и не пройдет мимо ни одно слово Его. Тридцать только лет продолжалась безвестная жизнь Его на земле; три только смутных года с большими перерывами проповедовал Он Евангелие Царствия Божия: но пройдут века, пройдет земля с небесами, которые ныне существуют, а каждый из Его истинных и верных сынов найдет мир, надежду и прощение в Его имени Эммануил, что означает:

С НАМИ БОГ

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.com
Оставить отзыв о книге
Все книги автора

Примечания

1

Мих.5, 2.

2

Лук. 2. 8,9.

3

Псал. 87.70, 71.

4

Лук. 2, 14.

5

Лук. 2, 15.

6

Иис. Нав. 19,15–16.

7

Суд. 17, 10; 18, 30.

8

Матф. 1,1-16; Лук. 3,23–38.

9

Tertul.adver. Marc. V, 19. Tacit.Ann. 1,11; II, 30; III, 22–48.

10

Ios. Ant!. XVII, 2 § 2.

11

Иер. 41, 17; 2. Цар. 37. 38.

12

Матф. 2,11- 2) Лук. 2,51.

13

Лук. 2, 21; Быт. 17, 9, 10; Лев. 12,3; Лев. 12, 4.

14

Матф. 2,1.

15

Матф. 5,17.

16

Матф. 3,15.

17

Матф. 1, 20,22.

18

Левит. 12, 6–8.

19

Лев. 18, 15–16.

20

Лук. 2, 25–26.

21

Лук. 2,29–32.

22

Арав. Ев. гл. IV.

23

Исайи 7, 14.

24

Ios. Antt. XIV, 9, § 4; XV, 1.

25

Второз. 18,15.

26

Ios. Antt. XVI, 7, § 1.

27

Матф.2, 4,8.

28

Деян. 13, 6.

29

Diod. Laert. II, 45.

30

Senec. Ep. 58.

31

Исайи 60, 3.

32

Tacit. Hist. V, 13; Suet. Vesp. 4.

33

Матф. 2,9-11.

34

Матф.2, 12, 14.

35

Псал. 148,7. Исаии 11, 1–9. 19,1.

36

Осии 2,1.

37

Mat 7, 27.

38

Иерем. 31,15.

39

Suet. Vit. August, p.94.

40

los. Anti. XVI, 5, § 4.

41

Ios. Antt. XVII, i 1, § 2.

42

Ios. Antt. XIII, 6. § 5.

43

Macrob. Saturn. 11,4.

44

los. Ал». XVIII, 5, § 4.

45

Матф. 2. 22.

46

3 Царств 9, 13.

47

Матф. 4,15.

48

Лук. 2, 51. Деян. 22, 8. Иоан. 19, 19.

49

Лук. 2. 40. 52.

50

Исаии 9, 1–2.

51

Исаии 53, 2. Филип. 2, 7.

52

Иоан. 1,46.

53

Иоан. 7, 41. 52.

54

Лук. 2, 52.

55

Псал. 136.

56

Лук. 2, 43.

57

Лук. 2, 46–47.

58

Лук. 2, 48–49.

59

Лук. 4, 4.

60

Иоан. 4, 34.

61

Лук. 2. 50.

62

Иоан. 1, 10–11.

63

Лук 2, 51

64

Марк. 6,3.

65

Второзак. 11, 18–19.

66

Марк. 4, 2. Иоан. 7, 15.

67

Сирах. 38,24.

68

Марк. 6. 17.

69

Матф. 5,5.

70

Второзак. 6,4.

71

Псал. 109–119.

72

Матф. 5, 18.

73

Иоан. 8,6.

74

Матф. 8,6–9. 27 11; Иоан. 12,21.

75

Матф. 4, 7. 13, 14–15.

76

Матф. 22,19.

77

Матф. 11, 16.

78

Псал. 44, 4.

79

Лук. 2,7.

80

Иоан. 11,2.

81

Матф. 12, 46.

82

Православная церковь, основываясь на древних, исконных преданиях, считает Иакова, брата Божия, сыном Иосифа от первой жены, а апостола Иуду с Иаковом и Симеоном — за сыновей Клеопы и Марин, сестры Прее той Девы. *Прим. переводч.*

83

Лук. 3, 1–2.

84

Матф. 3.2.

85

Матф. 3,3.

86

Матф. 3,4

87

Лук. 3, 14. Матф. 3,7.

88

Матф. 3, 9.

89

Матф. 3, 6.

90

Иоан. 1, 27.

91

Матф. 3, 11.

92

Матф. 3, 12.

93

Иоан. 1,31–33.

94

Матф. 3. 14.

95

Матф. 3.15.

96

Матф. 3, 16–17.

97

Марк. 1, 12–13.

98

Марк. 1,13.

99

Псал.90, 13.

100

Лук. 4, 2.

101

Евр. 5, 8.

102

Евр. 4, 15.

103

Евр.2, 10.18.

104

Лук. 4, 13.

105

Иоан. 2, 2.

106

Лук. 7, 34.

107

Лук. 4, 3.

108

Лук. 44, 4. Второзак. 8, 3.

109

Матф. 27, 40.

110

Филип. 2, 6.

111

Матф. 4, 6.

112

Псал. 90, 11–12.

113

Второзак. 6, 16.

114

Быт. 3, 5.

115

Псал. 90, 11.

116

Матф. 4, 9.

117

Матф. 16, 26.

118

Plin. H. N 28, 5.

119

Tacit. Ann. 6, 6.

120

Второзак 6,13.

121

Матф. 4,12.

122

Матф. 4, 12. Марк. 1, 14. Лук. 4, 14.

123

Иоан. 1, 35. 43.

124

Исаии 53, 7. Иерем. 11, 19.

125

Иоан. 11, 34. Песн. 3,11. Апок 6,1. 3.5. 7. Псал. 65.

126

Исаии 52, 14. 53, 4.

127

Псал. 21, 7. 15–16.

128

Clim. Slrom. 2. 440; Paid. 3. 1,5.

129

Just. Mart. c. Tryph. 14–56.

130

Orig. c. Cels. 6. 75.

131

Tertul. de Cor. Christ. 9.

132

Иоан. 1,43.

133

Иоан. 21,2.

134

Иоан. 1, 45–49.

135

Псал. 38,9.

136

Иоан. 1,51.

137

Иоан. 2, 1-10.

138

Суд. 14, 12. Тов. II, 19.

139

Лук. 2,49, 11. 27, 28. Матф. 12, 48. 50.

140

Лук. 11,29.

141

Лук. 10, 21.

142

Иоан. 4, 48.

143

Лук. 23, 5. Деян. 10, 37.

144

Ios. B. Ind. 3, 10, §§ 7, 8.

145

Второзак. 33, 23.

146

Исаии 9, 1–2.

147

Лук. 2, 32.

148

Ios. B. Iud. 3, § 2.

149

Лук. 4, 23.

150

Матф. 9, 1.

151

Матф. 8, 14.

152

Матф. 11, 23. 24; Лук. 10, 15.

153

Иоанн. 2, 12.

154

Исход. 30,11–16.

155

Aelian. Hist. Anim. X, 50; Lucian De Dea Syr. 41 (изд. Cenna).

156

Ier. lom. Tobh. 61,3.

157

Ios. Ann. 15, 11, § 5.

158

Иоан. 2. 15.

159

Иоан. 2. 16.

160

Псал. 68, 10.

161

Иоан. 2, 18–25.

162

Иоан. 2, 19.

163

Исаии 12, 11–14 и т. д.

164

Матф. 23, 61.

165

Марк. 14, 58.

166

Деян. Апост. 6, 14.

167

Даниил. 9, 24.

168

Матф. 27, 63.

169

Иоан. 2. 23. 25.

170

Иоан. 3.1-21.

171

Иоан. 3, 22–36.

172

Иоан. 4, 2, 42.

173

Матф. 4, 12. Марк. 1, 14.

174

Исаии 24, 1.

175

Иис. Нав. 24, 32.

176

Деян. 7,5.

177

Иоан. 4, 43 54.

178

Лук. 4, 14 30.

179

Матф. 13, 53–58; Марк. 6 1–6; Лук. 4. 14–30.

180

Лук. 4, 16–30.

181

Марк. 12, 39.

182

Англиканскую. *Прим. переводчика*

183

Иоан. 4, 46–54.

184

Лук. 8, 3. Деян. Апост. 13, 1.

185

Иоан. 7, 3–4.

186

Иоан. 4, 54.

187

Иоан. 5, 1.

188

Лук. 1, 1–3.

189

Лук. 4, 31- Марк. 1, 21. Матф. 4, 13.

190

Матф. 9, 1.

191

Матф. 8, 14.

192

Лук. 4. 31–44. Матф. 4, 13–16; Марк. 1, 21–34.

193

Лук. 4, 31–44. Матф. 4, 13–16; Марк. 1, 21–34.

194

Матф. 8. 17–24. Исаии 58, 4.

195

Матф. 4, 21.

196

Лук. 4, 44.

197

Матф. 4, 18–22. Марк. 1, 16–20. Лук. 5, 1-11.

198

Матф. 9, 9.

199

Марк. 11,14.

200

Лук. 5, 27.

201

Второзак. 17, 15; Ioseph Anl. XVIII, 2. § 1.

202

Матф. 8, 19.

203

Матф. 9, 9. Марк. 2, 14. Лук 5, 27–28.

204

Лук. 6, 12.

205

Иоан. 16, 22.

206

Иоан. 12, 20–22.

207

Иоан. 11, 16. Иоан. 23, 25–28.

208

Матф. 10, 4. Лук. 6, 16.

209

Иоан. 13, 34.

210

Euseb. H. E. 15, 14; Epiph. Haer. 30, 24.

211

Иоан. 12, 26.

212

Лук. 6, 17–19.

213

Лук. 6. 17.

214

Лук. 6. 20.

215

Матф. 5, 3-11.

216

Матф. 5, 7-27.

217

Матф. 8, 1–4. Марк. 1, 40–45. Лук. 5,12–16.

218

Матф. 8, 2. Марк. 1, 40–41.

219

2 Царств.12, 13.

220

Левит 13, 26–46; Числ 5, 2.

221

Марк. 1,44.

222

Марк. 5, 19; Лук. 8, 39.

223

Марк. 1, 43.

224

Марк. 1, 45.

225

Марк. 1, 45.

226

Матф. 8, 5-13. Лук. 7, 1-10.

227

Марк. 4, 20.

228

Марк. 3, 21.

229

Деян. ап. 26, 24.

230

Лук. 7, 11–50.

231

Иерем. 6, 26. Захар. 12, 10. Амос. 8, 10.

232

Матф. II, 2-19. Лук. 7, 18-35

233

Исайи 61.

234

Малах. 3, 1.

235

Лук. 5, 1. 13, 24.

236

Лук. 7, 29.

237

Лук. 7, 30.

238

Лук. 7, 32.

239

Евр. 1, 1.

240

Лук. 7, 34–35.

241

Премуд. Солом. 5, 4–5. Псал. 50, 4. Рим. 3, 4.

242

Лук. 7. 36–50.

243

Быт. 27, 19. Псал. 127, 3. Песн. Песн. 1,12. Есфир. 1, 6. 7, 8.

244

Лук. 7, 37. 11, 37. Иоан. 21, 20.

245

Лук. 8, 2–3.

246

Матф. 4, 23. 9, 35. Марк. 1, 39. Лук. 4,15–44.

247

Лук. 11,27–28.

248

Псал. 42, Исаии 1, 6. 53–32.

249

Иоан. 6, 9.

250

Матф. 17, 24–27.

251

Исаии 53, 4.

252

Матф. 8, 17.

253

Марк. 4, 38.

254

Лук. 10, 21.

255

Лук. 8, 4.

256

Матф. 13, 2.

257

Марк. 2, 13. 4, 1.

258

Марк. 4, 3.

259

Лук. 8, 5–8.

260

Матф.13, 1-30. Марк. 4,1-34. Лук. 7, 4-18.13, 18–21.

261

Марк. 4, 35.

262

Лук. 8, 19–21.

263

Марк. 4, 36.

264

Матф.8, 19–22. Лук. 9, 57–62.

265

Марк. 4, 36.

266

Матф. 8, 24–26. Марк. 4, 37–39. Лук. 8, 23–25.

267

The Witness of Histoiy to Crist. Lect. 1.

268

Матф. 8, 28–34. Марк. 5, 1-19. Лук. 8, 26–39.

269

The Land and Book 2, 25.

270

The Land Book 1 ch. 21.

271

Ios. B. 1. 3, 7, § 1.

272

Лук. 8, 40.

273

Матф. 9, 1.

274

Осии 6, 6.

275

Матф. 14–17. Марк. 2, 18–22. Лук. 5, 33–39.

276

Лев. 16, 29. Числ. 29. 7.

277

Мих. 6, 6–8. Осии 6, 6. 12, 6. Амос. 5, 21–24.

278

Исаии 1, 10–20.

279

Лук. 5, 34–35.

280

Лук. 5, 36–38.

281

Лук. 5, 39.

282

Матф. 9, 18–26. Марк. 5, 22–43. Лук. 8, 41–56.

283

Марк. 5, 23.

284

Числ. 15, 37–40; Второз. 22, 12.

285

Левит. 15, 19.

286

Марк. 5, 34.

287

Марк. 5, 35.

288

Марк. 5, 36.

289

Наум. 2, 7. Tomson. Land Book. I, ch. 8.

290

Лук.8, 52.

291

Марк. 5, 41–42.

292

Матф. 9, 27–31.

293

Иоан. 5, 1.

294

Матф. 9, 35–38.

295

Матф 10, 1-42. Марк. 6, 7-13. Лук. 9, 1–6.

296

Clemens Romanus, 10, 5.

297

Марк. 16, 15–18. Лук. 10, 2-12. 24, 47.

298

Матф.11, 1.

299

Иоан. 5, 1

300

Иоан. 5, 2-15.

301

Иоан. 5, 16–47.

302

Левит. 24, 10–12. Числ. 15, 32–36.

303

Иерем. 17, 21–22.

304

Иоан. 5, 17–47.

305

Матф. 14, 1-12. Марк. 6, 16–29. Лук. 3, 19–20.

306

Лук. 3, 19.

307

Mnestor. Paris etc. Ios. Antt. XV, 8. § 1; XIX, 7 — § 5.

308

Ios. Antt. 15, 8. § 1.19, 7, § 5.

309

Матф. 14, 6.

310

Марк. 6, 22.

311

Есфир. 5, 3.

312

Марк. 6, 24.

313

Марк. 6, 25.

314

Марк. 6, 26.

315

Марк. 6, 14.

316

Матф. 14, 2.

317

Матф. 14, 13–33. Марк. 6, 30–52. Лук. 9, 10–17. Иоан. 6, 1-21.

318

Марк. 6, 31.

319

Марк. 6, 33. Иоан. 6, 24.

320

Иоан.6, 11.

321

Лук. 9, 16.

322

Марк. 6, 41.

323

Быт. 49, 10. Число 24, 17. Второзак. 18, 15–18. Малах. 4, 5.

324

Марк. 6, 48.

325

Судей 7, 19.

326

Ios B 13. 10 § 7.

327

Матф. 14, 27.

328

Матф 14, 28.

329

Матф. 14, 29.

330

Матф. 14, 30.

331

Матф. 14, 31.

332

Матф. 14, 33.

333

Римл. 14, 4.

334

Матф. 14, 34–36.

335

Марк. 6, 53–56.

336

Иоан. 6, 25–71.

337

Иоан. 6, 26–27.

338

Псал. 77, 24–34.

339

Второзак. 8, 3.

340

2 Царств. 19, 22.

341

1 Царств. 11, 23.

342

Матф. 16, 23.

343

Jerom. Taylor, Life of Christ, II, XII.

344

Лук. 7, 48–50.

345

Матф. 9, 6. Марк. 2, 10. Лук. 5, 24.

346

Nedarim f. 41, 1 in Schot.

347

Матф. 9, 19.

348

Bad. Berachoth. 43, 6.

349

Матф. 9, 12.

350

Лук. 15, 2.

351

Лук. 15, 4-32.

352

В еврейских сказаниях есть легенда о реках в Иерусалиме, которые текли только по субботам, вследствие перемежающегося течения источников.

353

Матф. 12, 1 и далее. Марк. 2, 23–28. 3, 1–6. Лук. 6, 1-11. 13, 14–17. 14, 1–6. Иоан. 5, 10 и дал. 7, 23. 9, 14 и дал.

354

Матф. 15, 1. Марк. 3,22. 7, 1.

355

Матф. 12, 1–8. Марк. 2, 23–28; Лук. 6, 1–5.

356

Второзак. 23, 25.

357

Марк. 2, 24.

358

Марк. 2, 25.

359

Roland, Anti. Hebr. 486.

360

Derenbougr. Hist, de Palest. 144.

361

Codex. Bezae.

362

Коринф. 9, 1.

363

Матф. 12, 9-14; Марк. 3, 1–6; Лук. 6, 11.

364

Reland. Antt. 521.

365

Матф. 12, 14–21.

366

Исаии 42, 1–3.

367

Матф. 15, 1-20. Марк. 7, 1-23.

368

Исайи. 29, 13.

369

Матф. 15, 13–20.

370

Лук. 11, 1-13.

371

Gfrorer Iarhund. desHeils, II, 169.

372

Матф. 12, 22–50. Лук. 11, 14–36.

373

Матф. 12, 23.

374

Марк. 3, 22.

375

Иоан. 10, 21.

376

Лук. 11, 27–28.

377

Лук. 1, 42–45.

378

Матф. 12, 38–50. Лук. 11, 29–54.

379

Иоан. 2, 18.

380

Исход. 32, 6.

381

Лук. 11, 37–54.

382

Числ. 24, 21–22.

383

Лук. 11, 1-59.

384

«Геенна» — слово испорченное из «Ги-Гинном». Так называлась роща вне Иерусалима, известная сначала гнусным поклонением Молоху, потом осквернённая выбрасыванием туда трупов, а наконец очищенная от осквернения и заразы посредством сильнейшего пожара. С этих пор она стала типом всего ужасного и отвратительного.

385

Матф. 15, 21–28. Марк. 7, 24-30

386

Plin. Natur. Hist. 5, 18.

387

Марк. 7, 32–37.

388

Матф. 15, 29–39, Марк. 8, 1–9.

389

Матф. 15, 39.

390

Марк. 8, 10.

391

Деян. 6, 1–5. Ios. Antt. XV, 8 § 1.

392

Ioan. 2, 18. 6, 30. Матф. 12, 38.

393

Матф. 16, 1–4. Марк. 8, 10–13.

394

Матф. 16, 5. Марк. 8, 13.

395

Матф. 11, 21–24 Лук. 16, 12–15.

396

Матф. 16, 6-12. Марк. 8, 17–21.

397

Иоан. 6, 53–60.

398

Иоан. 6, 32–33.

399

Иоан. 11, 11–12.

400

Марк. 8, 22–26.

401

Матф. 16, 13–28 Марк. 8, 27. 9, 1. Лук 9, 18–27.

402

Иоан. 1, 5.

403

Chris. Hom. LIV.

404

Деян. 15, 7.

405

Матф. 12, 9. Исаии 42.

406

Матф. 16, 21.24, 19.

407

Лук. 9, 45.

408

Марк. 9, 32. Лук. 2, 50. 18, 34.

409

Матф. 16, 22–28.

410

Числ. 22, 22–32. 1 Царст. 11, 14. Исход.32, 19.

411

Петр. 2, 7.

412

Матф. 17, 1-13, Марк. 9. 2-13, Лук. 9, 28–36.

413

Иис. Нав. 19, 12, Судей 4, 6.

414

Петр. 1, 18.

415

Малах. 4, 5.

416

Матф. 17, 14–21. Марк. 9, 14–29. Лук. 9, 37–45.

417

Марк. 9, 38.

418

Матф. 18, 1-35. Марк. 30–50. Лук. 9, 46–50.

419

Матф. 17, 24–27.

420

Исход. 30, 11–16.

421

Неем. 10, 32.

422

Ios. B.I. VII, 6. § 6.

423

Perke.Abhoth, W, 5.

424

Псал. 69, 5.

425

Ios.Antt. VII, 4, § 1; XI, 5, § 5; Числ. 29, 12–38. Неем. 8 15. 2Маккав. 10,6–7. Нех. 23,16. Левит. 23, 34 ит.д.; Второзак. 16, 13–15.

426

Левит. 23, 27–34.

427

Иоан 7, 2–9.

428

Иоан. 7, 5.

429

Псал. 68, 9.

430

Иоан. 7, 11–13.

431

Иоан.7, 14–53.

432

Иоан. 5, 5.

433

Псал. 112–117.

434

Псал. 117.1.

435

Исаии 12, 37.

436

1 Коринф. 10, 4.

437

Исайи. 9, 1–2.

438

Иоан. 8, 1-11.

439

Числ. 5, 14–29.

440

Surrensius, Mishna 2, 290, 293.

441

Sotah 1,5; Mishna III, 189

442

Иерем. 17, 13.

443

De conjug. Adulter II, 6.

444

Apol. David. II, 1.

445

Jos.Antt. XIX, 6, § 1; сравн. Лук. 21, I. Марк. 12, 41.

446

Surrensius. Mishna, II, 260.

447

Псал. 119–132

448

Иоан. 8, 12–59.

449

Лук. 7, 22. Матф. 22. 32.

450

Галат. 4, 9.

451

Gfrorer, lahrhund. d. Heils 1. 183; Wagenseil, Sota, p. 1057.

452

Иоан. 9, 39–41.

453

Иоан. 10, 1-21.

454

Иоан. 10, 22–42.

455

Лук. 9, 57–62. Сравн. Матф. 8, 19–29. Лук. 11,1 -13 и Матф. 6, 9-15, 7, 7-12. Лук. 11, 14–26 и Матф. 32–35. Лук. 11, 29. 12, 59 и Матф. 5, 7.

456

Лук. 13, 1-10, 31–35.

457

Деян. 21, 34

458

Jos. Ann. XVII, 9, § 3, X, § 2; XV1I1. 3, § I; B.1Л1.9, § 4

459

Иова 6, 7. 8, 20, 22, 5.

460

Лук. 9, 51,

461

Пав. Тар. стр. 205.,

462

Лук. 10, 1-20.

463

Ср. Матф. 10, 5-42. Лук. 10, 1-12.

464

Ios. B.1.111, 7. § 31.

465

Лук. 10, 21–24.

466

Матф. 11, 28–29.

467

Лук. 9, 51–56.

468

Land, and Book. II, XXX.

469

Иоан. 3, 17. 12, 47.

470

Деян. ап. 8, 14–15.

471

Лук. 14, 25–33.

472

Лук. 17, 11–19.

473

Лук. 13, 10–17.

474

Иоан. 5, 17–47.

475

Лук. 6, 3–5.

476

Лук. 6, 3–5.

477

Иоан. 5, 10. Марк. 2, 23. Матф. 12, 10. Иоан. 9, 14. Лук. 13, 14.

478

Лук. 14, 1–6.

479

Сирах. 15. 5. 39, 4. срав. притч. Солом. 6, 8.

480

Триклинием назывались три возвышенные места для возлежания, установленные в виде буквы «П». Гости возлежали поперек устроенных мест, а рабы разносили блюда с открытого конца. В середине среднего места садился архитриклин, или начальник пиршества, а справа и слева, гости, смотря по важности звания или положения в свете. ***Примеч. переводчика.***

481

Лук. 14, 7-11.

482

Лук. 14, 12–14.

483

Лук. 14, 15–24.

484

Лук. 14, 15–21.

485

Высказанное Спасителем выражение «не зови друга» имеет смысл «не зови только друзей, но также…», потому что в еврейской грамматике существует правило, что сравнительная степень принимает такую описательную форму, в которой одно из двух и притом низшее отрицается, а другое, которому приписываются высшие качества, утверждается. ***Прим. автора***

486

Лук. 16, 1-13.

487

Лук. 16, 14–18.

488

Лук. 13, 22–30. Матф. 13, 31–32. Марк. 4, 30–31.

489

Лук. 10, 25–37.

490

Лук. 10, 17–20.

491

Псал. 90, 13–14.

492

Лук. 15, 1–2.

493

Лук. 17, 39.

494

Матф. 19, 11.

495

Лук. 18, 1–8.

496

Лук. 18, 9-14.

497

Лук. 12, 49–53.

498

Лук. 17, 20–37.

499

Иов. 34, 30.

500

Второзак. 28, 49.

501

Апокал. 19, 17- 21

502

Лук. 10, 38–42.

503

Маккав. 6, 52–59 и 2 Мак. 10. 1–8.

504

Jos. Antt. xii, 7, пар. 7; Derenbourg Hist. Pales. 62.

505

Jost. Ant. XX, 9. пар.7; Ioan. 10, 23.

506

Иоан. 10, 22–42.

507

Иоан. 5, 8.

508

Псал. 81, 6.

509

Иоан. 10, 41–42.

510

Матф. 19, 3-12. Марк. 10, 2-12.

511

Второз. 24, 1–2.

512

Ewald. Hebr. Cram. § 286, f.

513

Сирах. 25, 29.

514

Gettin 90; Selden De uxor. Hebr. III, 17.

515

Bad. lomah. f, 18, 2.

516

Allens Mod Iudaism. p. 428

517

Второз. 10, 16. Исаии 48, 4. Иезек. 3, 7 и т. д.

518

Матф. 19, 13–15. Лук. 18, 15–17.

519

Марк. 9, 35. Лук. 22, 26. Матф. 20, 26–27. 28, 11.

520

Матф. 19, 16–30. Лук. 18, 18–30. Марк. 10, 17–31.

521

Исаии 42, 9. 45, 17. Римл. 8, 19. 1 Корин. 3, 22. 2Кории. 6, 10.

522

2 Ездры5, 42.

523

Матф. 20, 1-16.

524

Иоан. 11, 1-46.

525

Epiphan. Haer. 66.

526

Лук. 1, 1.

527

Clemen. Alex. ap. Euseb. Hist. Eccl. VI. 41.

528

Иоан. 11, 37.

529

Матф. 16, 6–7. Марк. 14, 3.

530

Лук. 10, 38, 19, 29.

531

Иоан. 12, 10.

532

Иоан. 11, 47–54.

533

Roland. Antt. Hebr. p. 160.

534

Ios. B. I. III, 8. § 3.

535

Числ 9, 10. 2 Паралин. 30, 17. Ios. Antt. XVII; 9, § 3.

536

Матф. 20, 20–28. Марк. 10, 35–45. Лук. 18, 32–34.

537

Марк. 10, 32.

538

Деян. 12, 9. Апокал. 1, 9.

539

Матф. 18, 4. 23, 11.

540

Матф. 20, 30–34. Марк. 10, 46–52. Лук. 18. 35–43.

541

Ios. B. I, 8, § 3.

542

Лук. 19, 1-10.

543

Ios. Antt. XIV, 4, § 1; XV, 4. § 2. Justin. Hist. 36, 3.

544

Clemen. Нот. 2, 1.

545

Jos. Antt. 17, 9, § 4.

546

Ios. Antt. 17, 13, § 2.

547

Ios. Antt. 17, 13, 1.

548

Лук. 19, 28.

549

Матф. 26, 6-13. Марк. 16, 3–9. Иоан.12, 1–9.

550

Матф. 26, 14–16. Марк. 14, 10–11. Лук. 22, 3–6.

551

Исход. 21, 32. Захар. 11, 12.

552

Матф. 21, 1-11. Марк. 21, 1-11. Лук. 19, 28–40. Иоан. 12, 12–19.

553

Деян. 1, 11.

554

Числ 19, 2. Второз. 21, 3. 1 Царст. 6, 7. Срав. Ovid Met. HI, 12. Hor. Erod. IX, 22.

555

Ios C. Ap. II, 10. Tasit Hist. V, 3–4. Mimic. Fel. Oct. 9. Tert. Apol. 16. Sepp. Seet. VI, гл. 6.

556

Захар. 9, 9.

557

Псал. 111–118.

558

Ios. B. l. V, 5, § 6.

559

Tacit. Hist. V, 8.

560

Лук. 19, 41–44.

561

Иезек. 11, 23, Wetstein, p.459, Keim. 3, 93.

562

Ios. B. I, 6, 1 § 1.

563

Матф. 21, 12–17. Марк. 11, 15–19. Лук. 19, 45–48.

564

Аввак. 2, 11.

565

Марк. 11, 11.

566

Исаии 2, 2.

567

Berach. 9, 5.

568

Малах. 3, 1–3.

569

Ios. B. I. 4, 3. § 7.

570

Там же, § 10.

571

Исход. 12, 1–5.

572

Иер. 7, 6. Исаии 56, 7.

573

Псал. 8, 3.

574

Иоан. 12, 20–50.

575

Euseb. Ilist. Eccl. 1, 13.

576

B.N.Cooper. Apocr. Gosp.p. 200.

577

Матф. 21, 17. Марк. 11, 1.

578

Fronde Hist, of Engl. VIII, 30.

579

Матф. 21, 18–22. Марк. 11, 12–14. 20–26.

580

Plin. Ilist. Nat. XV, 21.

581

Второз. 23, 24.

582

Plin. Hist. Nat. XVI, 27.

583

Ios.B. I. III, 10, § 8.

584

Иезек. 17, 24.

585

Осии 9, 10. Иоиля 1, 7. Михея 7, 1.

586

Charact. of the Gosp. Miracle p. 25.

587

Лук. 23, 31. Анок. 6, 13. Сравн. Коран, Сура 95.

588

Матф. 21, 23–33. Марк. 11, 23–27. Лук. 20, 1–8.

589

Ios. Antt. XVIII, 5, § 2.

590

Матф. 21, 33–46. Марк. 12, 1-12. Лук. 20, 9-19. Исаии 5, 1–7. Псал. 79.

591

Псал. 117. Исаии 28, 16.

592

Даниил. 2, 34–44.

593

Матф. 22, 1-14.

594

Софон. 1, 8.

595

Марк. 11, 20–26.

596

Матф. 22, 15–22. Марк. 12, 13–17. Лук. 20, 19–26.

597

Neander p. 397. Bohor.

598

Замечание это относится к церкви римско-католической. ***Прим. перев.***

599

Ewaid. Geschich. Christ, p. 83.

600

Maimonid. Gezelah, 5, Jer. Sanhedr. **20, 2.**

601

Срав. Иер. 27, 4–8. Римл. 13, 1. 1 Петр. 2, 13–14. Iust. Apol. 1, 17.

602

Tertul. de Idol 15.

603

Лук. 23, 2.

604

Матф. 22, 23–33. Марк. 12, 18–27. Лук. 20, 27–39.

605

Матф. 22, 34–40. Марк. 12, 28–34.

606

Числ. 15, 38.

607

Исаии 55, 6–7. Михея 6. 8. Аввак. 2, 4. Maccoth. 1, 24.

608

Jabbath. 11, 83.

609

Jak. 2, 10.

610

Лук. 10, 27.

611

Второзак. 6, 4.

612

Срав. Числ. 15, 39.

613

Царст. 15, 22. Осии 6,6. Михея 6, 6–8.

614

Iritt. Haeres. 1, 17.

615

lak. 2,10.

616

Матф. 22, 41–46. Марк. 12, 35–37. Лук. 41–44.

617

Псал. 109, 1.

618

Матф. 23, 1-39. Марк. 12, 38–40. Лук. 20, 45–47.

619

Baba Metzia f. 86.

620

Iuven. Sat. 14, 101.

621

Martial. Ep. XI, 94.

622

Ios. B. I. IY, 5, 4.

623

Захар. 1, 1.

624

Паралип. 24, 1-20.

625

Лук. 11, 51.

626

Срав. Второзак. 22, 11. Захар. 13, 10. Осии. 3, 4–5.

627

Срав. Второзак. 22, 11. Захар. 13, 10. Осии. 3, 4–5.Ier. Berachoth. IX, 7; Bab. Sota. f. 22 a; Abhoth de R. Nathan. XXXVII.

628

Ios. B 1, 1Y, 5, 2. Срав. Мих. 3, 12.

629

Ios. B. I. 5, 6;6, 10.

630

Марк. 12, 41–43. Лук. 21, 1–4.

631

2 Коринф. 8, 12.

632

Матф. 24, 1. Марк. 13, 1. Лук. 21, 5–6.

633

Ios. B.J. 5, 5.

634

Ios. B.J. 6, 5, 3; Tac. Hist. 5, 13.

635

Срав. 4 Ездры 10, 28.

636

Матф. 24, 25. Марк. 13, 3-37. Лук. 21. 7-38.

637

Clem. Rom. Ep. 2, 12; Clem. Alex. Strom. 3, 9, 63.

638

Срав. Лук. 13, 23–24.

639

Псал. 79. Петр. 3, 8.

640

Лук. 21, 24.

641

Ios. Ann. XIX, 1, 2. Senec. Ep. 91; Tac. Ann. XIV, 13; XII, 38; XV. 22.

642

1 Фессал. 5, 3. 2 Фессал. 2, 2.

643

Ios. B. I. IV, 9, § 10.

644

Ios. B.J. IV, 3, § 7.

645

Enseb. Hist. Ecel. III, 5.

646

Epiph. Haer. I, 123.

647

Ios, B. I. V, 10, § 5.

648

Матф. 26, 1–2.

649

Матф. 26, 3–5. Марк. 14, 1–2. Лук. 22, 2–6.

650

Salvad. Vie de Iesys, II, 10.

651

Паралип. 35, 8. Деян. 4, 1–5, 24.

652

Исх. 21, 32. Быт. 36. 28. Захар. 11, 12–13.

653

Иоан. 12, 6.

654

Иезек. 13, 19.

655

Амос. 2, 6. 8, 6.

656

Лук. 10, 3.

657

Иоан. 6, 70.

658

Матф. 26, 17–19. Марк. 14, 12–17. Лук. 22, 7-13.

659

Матф. 27, 62. Марк. 15, 42. Лук. 23, 54. Иоан. 19, 31.

660

Матф. 26, 2-17. 18, 19.

661

Марк. 14, 14–16. Лук. 22, 11–13.

662

Лук. 22, 7.

663

Иоан. 13, 1.

664

Иоан. 13, 29.

665

Иоан. 18, 28.

666

Иоан. 19, 31.

667

Второз. 12, 22.

668

Лук. 22, 52.

669

Марк. 16, 2.

670

Деян. 12, 4.

671

1 Коринф. 10, 16.

672

Матф. 26, 20–29. Марк. 14, 18–25. Лук. 22. 14–38. Иоан. 13, 14–15. 16, 17.

673

Maimonid. Pesah. 10, 1.

674

Лук. 22, 24.

675

Матф. 18, 1. Марк. 9. 34.

676

Иоан. 13, 1-20.

677

1 Коринф. 10, 16.

678

1 Коринф. 1, 16. 23–25. Матф. 26–30. Марк. 22, 26. Лук. 22, 17.

679

Матф. 26, 30–35. Марк. 4, 25–32. Лук. 22, 14–38. Иоан. 13–17 гл.

680

Иоан. 7, 34-8, 21.

681

Левит. 19, 18.

682

Иак. 2, 8.

683

1 Иоан. 3, 11.

684

Иоан. 11, 16.

685

Лук. 22, 34.

686

1 Петр. 5, 10.

687

Матф. 26, 36–46. Марк. 14, 32–42. Лук. 22, 39–46. Иоанн. 18, 1–2.

688

Зах. 13, 7.

689

Luc. Phars. 1, 445.

690

Псал. 48, 21.

691

Матф. 26, 47–57. Марк. 14, 43–51. Лук. 21, 47–53. Иоан. 18, 3-13.

692

Неем. 2, 8. 7, 2.

693

Иоан. 18, 12.

694

Матф. 26, 50.

695

Марк. 14, 44.

696

Марк. 14, 45.

697

Лук. 12, 48.

698

Лук. 13, 49.

699

Иоан. 18, 8.

700

Vell. Paterc.II, 19.

701

Лук. 4, 30. Иоан. 7, 30. 8, 59. 10, 39. Марк. 11,18.

702

Лук. 22, 52–53.

703

Марк. 14, 50–52.

704

Иоан. 18, 12.

705

Матф. 26, 57. 59–68. 27, 1–2. Марк. 14, 53, 55–65. 15, 1. Лук. 22, 52–54. 63–71. Иоан. 18, 13–14. 19–24. 28.

706

Матф. 26, 57–68. Марк. 14, 55–66. Лук. 22, 54, 63–71. Иоан. 18, 19–24.

707

Иоан. 18, 24.

708

Ios. Antt. XIII, 10 § 6.

709

Матф. 21,15. Марк. 11, 18. Лук. 19, 47.

710

Деян. 23, 3.

711

Sanhedrin, VI, 1.

712

Maimonid. Sanhed 3.

713

Sahnedr. 43.a.

714

Матф. 26, 61. Марк. 14, 58.

715

Даниил. 7, 13.

716

Левит. 10, 6. 21, 10.

717

Маккав. 11, 71. Ios. B.J. II, 15. § 4.

718

Сравн. Числ. 35, 31.

719

Матф. 26. 58, 69–75. Марк. 14, 54 66–72. Лук. 22, 54–62. Иоан 18, 15–18, 25–27.

720

Марк.14, 66.

721

Лук.22, 54.

722

Лук.22, 55.

723

Лук.22, 56.

724

Матф.26, 70.Марк. 14,68.

725

Матф. 26, 71.

726

Марк 14, 68.

727

Иоан. 18, 25. Лук. 22, 58.

728

Rerachoth. 27, 1.

729

Матф. 26, 73. Марк. 14, 70. Лук. 22, 59. Иоан. 18, 26.

730

Марк. 14, 71

731

Иоан.17,61.

732

Марк. 14, 72.

733

Матф. 26, 67. Марк. 14, 65. Лук 22, 63–64.

734

Zohar 56.

735

Лук. 22, 66–71.

736

los. Arm. XX, 9, § l.B. 1. IV, 5, 54.

737

Aboda Zara, 8.

738

Иоанн. 18, 31.

739

Иоан. 5, 18. 7, 25. Деяп. 23, 27.

740

Деян. 2, 23.

741

Perke. Abhoth. Sanhedr. I, f. 7.

742

Ios. Antt. XIV, 9, § 4; Bab. Sanhedr, f. 19, a, b.

743

Иоан. 22, 67–71.

744

Матф.27, 3–5.

745

Деян. 1,18.

746

Иерем. 18, 1–2. 32, 6-12. Захар. 11, 12–13. Матф. 27, 6–8.

747

Матф. 27, 1–2. 11–26. Марк. 15, 1-15. Лук. 23, 1-25. Иоан. 18, 28–40. 19, 1-16.

748

Ios. Ann. XVIII, 3. § 1. B. I. II, 9. §§ 2, 3.

749

Ios. Antt. XVIII, 3, §§ 1. 2. B. I. II, 9, §§ 2. 3. 4.

750

Legat. ad cajum. § 38.

751

Ios. Antt. XVIII, 4 § 1.

752

Деян. 23, 35.

753

Ios B. J. V, 4, § 4.

754

Ios. B. I. II; 14, § 8; 15. § 5.

755

Матф. 27, 2. Марк. 15, 1.

756

Иоан 18, 29.

757

Второзак. 21, 22–23.

758

Иоан. 18, 30.

759

Иоан. 18, 31.

760

Второз. 21, 23. Числа 25, 4. Ios. B. 1. VII, 6, § 4.

761

Деян. 18, 14.

762

Иоан. 18, 33.

763

Иоан. 18, 34-36

764

Иоан. 18, 37.

765

Иоан. 18, 38.

766

Лук. 23, 5-12.

767

Иоан. 19, 13. Luct. Jul. Caes. 46.

768

Второзак. 15, 3. Ios. B. I. VII, 6, § 4.

769

Матф. 27, 18–19.

770

Hor. Sat., 10, 31; Ovid. Nas. Her. XIX, 195.

771

Матф. 27, 21.

772

Исаии 53, 3.

773

Марк. 15, 12–13.

774

Лук. 22, 23.

775

Матф. 27, 26. Марк. 15, 15.

776

Cic. Verr. V, 54; Hor. Sat. I, 3; Athen. 153, A; Luc. Asin. 38; Apul. Met. 8; Liv. I, 26; XXVII, 13; XXVIII, 36.

777

Tacit. Ann. XV, 44.

778

Матф. 27, 27–30. Марк. 15, 16–19.

779

Иоан. 19, 4–5.

780

Иоан. 19, 6.

781

Иоан. 19, 7.

782

Иоан 19, 8-11.

783

Иоан. 19, 12–14.

784

Иоан. 19, 15.

785

Иоан. 19, 14. Марк. 15, 25.

786

Иоан. 19, 15–16.

787

Иоан. 19, 12.

788

Lex XII. De pocnis.

789

Матф. 27. 24–25.

790

Матф. 27, 26.

791

Iust. Mar. Apol. I, 76; Tertull. Apol. 21; Euseb. Hist. Eccl. II, 2; Lardner. VI, 606.

792

Матф. 27, 26–61. Марк. 65, 15–41. Лук. 12, 26–49. Иоан. 19, 16–37.

793

Деян. 19, 33. 1 Тимоф. 1, 20. Римл. 16, 13.

794

Лук. 23, 26.

795

Осии 9, 12–16. Исаии 2, 10. Апокал. 6,16. Иезек. 20, 47. 21, 4. 1 Петр. 4, 17.

796

Матф. 24, 26.

797

Лиг. Viet. Consi. 41.

798

Cic. Verr. V, 66, Phil. II, 8; Cic. pro Res. 5.

799

Senec Ep. 101; Orig. in Math. 140.

800

Suet. Jul. Caes. I. 74.

801

Прем. Солом. 31, 6.

802

Suet. Jul. Caes. 1, 74.

803

Иоан. 19, 18.

804

Greg. Naz. de Chris., Patient

805

Cypr. de Pass.

806

Лук. 23, 34.

807

Иоан. 19, 19–22.

808

Иоан. 19, 23–24.

809

Псал. 21, 19.

810

Марк. 15, 29–31.

811

Лук. 23, 39.

812

Cic. Ver. V, 62; Ios. B. I. VII, 6, § 4; IV, 6, § 1; Iustin. XXII, 7; Len, de Vit. Beal. 19.

813

Лук. 23, 41–43.

814

Арав. ев. 23.

815

Матф. 27, 45. Марк. 15, 33. Лук. 23, 44.

816

Иоан. 19, 25–27.

817

Матф. 27, 46–49.

818

Псал. 21, 2.

819

Tertul. ad Marc. III, 19.

820

Иоан. 19, 28–30.

821

Евр. 5, 7–8. 2, 10. Филип. 2, 8–9.

822

Лук. 23, 46.

823

Псал. 21, 2.

824

Иоан. 19, 30.

825

Евр. 6, 19. 9, 3. 10, 19–20.

826

Матф. 27,51–53.

827

Матф. 27, 54. Марк. 15, 39.

828

Лук. 23, 48.

829

Senec, de Clemen.

830

Псал. 67, 14.

831

Иезек. 37, 27.

832

2 Коринф. 6, 16.

833

Иоан. 19, 31–34.

834

Исх. 12, 46.

835

Иоан. 19, 35.

836

Матф. 27, 62–61. Марк. 15, 42–47. Лук. 23,50–56. Иоан. 19, 38–42.

837

Иоан. 19, 31. Второзак. 21, 22–23. Лев. 23, 7.

838

Деян. 24, 26. Plul. Galb, 28. Ios. B. J. IV, 5.

839

Herod. Ill, 12; Cic Tusc. Q. I, 43; Plaut Mil. glor. II, 4. 19; Hor. Ep. 1, 16, 48; Suet. Nar. 49; Iuv. Sat. XIV, 77.

840

Второзак. 21, 23. luc. Лав. 8, 29. Ios. Antt. IV, 8, § 24; Марк. 6, 29. Деян, 8, 2. Ios. B. J. IV, 5, § 2.

841

Деян. 24, 26. Plut. Galb. 28

842

Марк. 15, 46. Иоан. 19, 40, 20, 7.

843

Исаии 53, 9.

844

1 Иоан. 19, 41.

845

Марк. 16, 1–7. Иоан. 20, 1. Лук. 24, 1-10. Матф. 28, 1–7.

846

Иоан. 20, 11–18.

847

Марк. 16, 9-20.

848

Матф. 28. 9-10.

849

Матф. 28, 11–15.

850

Римл. 6, 4. Ефес. 1, 20.

851

Лук. 24, 34. 1 Коринф. 15, 5.

852

Лук. 24, 13–35.

853

Ios. B. 7, 6, § 6.

854

Лук. 24, 36–53.

855

Иоан. 20, 24–29.

856

Иоан. 21, 1-24.

857

Матф. 28, 16–20.

858

1 Коринф. 15, 6.

859

1 Коринф. 15, 3–8.

860

Лук. 24, 50–53.